

Татьяна Щедрина
Свобода и История:
стиль мышления
Владимира Петровича
Зинченко

«Я думаю, что существуют какие-то общие тенденции мысли, изменяющиеся очень медленно и образующие определенные философские периоды с характерными для них идеями во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в науке. Паули в недавнем письме ко мне употребил выражение “стили”: стиль мышления — стили не только в искусстве, но и в науке. Принимая этот термин, я утверждаю, что стили бывают и у физической теории, и именно это обстоятельство придает своего рода устойчивость ее принципам. Последние являются, так сказать, относительно априорными по отношению к данному периоду. Будучи знакомым со стилем своего времени, можно сделать некоторые осторожные предсказания. По крайней мере можно отвергнуть идеи, чуждые стилю нашего времени».

Макс Борн¹

Когда мы задумываемся о том, как можно выразить специфику личности, то ищем ключевые слова — символы, знаки ее культурно-исторического выражения. Ключевые слова стиля мышления² Владимира Петровича Зинченко, характеризующие его движение во времени, — «свобода» и «история». Они проявляются во всех сферах его жизненного мира: и в динамизме его интеллектуального поиска, и в его научном интересе к произвольным действиям, «викарным движениям», и в стилистике его текстов, и в его иронии и самоиронии (язвительной принципиальности и добром подтрунивании), и даже в его улыбке. Эта свобода внутренняя, органично ему присущая, без напря-

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 10-03-00077-а.

¹ Борн М. Состояние идей в физике // Физика в жизни моего поколения. М., 1963. С. 227–228.

² Понятие стиля научного мышления содержит в себе, «во-первых, идею внутренней смысловой целостности истории познания, реализующейся в стиле как специфической характеристике языка различных периодов развития науки и, во-вторых, идею поливариантности, предполагающую стилистическое многообразие выражения в научном языке знания об одном и том же фрагменте мира». Эти составляющие — целостность и поливариантность — выгодно отличают понятие «стиля научного мышления» от «парадигмы», «научной программы» или «концепции». Пружинин Б. И. Стиль мышления. См. наст изд. С. Именно в силу этих особенностей, размышляя о научном движении Владимира Петровича Зинченко, я предпочитаю говорить о его стиле мышления.

жения, без натуги. И, что самое главное — эта свобода исторична, она проявляет себя в истории. Владимиру Петровичу «посчастливилось» жить в разные эпохи, исторический вектор его внешней научной жизни порой кардинально менялся, и тем не менее, он никогда не изменял себе, своей внутренней свободе. А это значит, что он умеет откликаться на вызовы времени, быть к нему ответственным (ответным), оставаясь при этом самим собой. История придавала его свободе смысл.

Я думаю, что «свобода» и «история» это ключевые слова не только Владимира Петровича. Они могут служить характеристикой целого поколения людей в науке и философии — шестидесятых годов. Их часто рисуют как невидимых борцов с властью, которые своей деятельностью подтачивали советский строй изнутри. Иногда даже получается, что понятие «шестидесятники» оказывается тождественным понятию «диссиденты». И за этим акцентом «борьбы» с властью, с идеологией часто забывают о положительном содержании их деятельности. Об этом очень точно сказал Б. И. Пружинин, когда характеризовал стиль мышления другого «шестидесятника» Е. П. Никитина. «Суть дела, однако, заключалась в том, — писал он, — что к числу борцов “за общественный прогресс” Е. П. Никитин себя никогда и не причислял. Его волновало совсем другое — то, что сегодня, кстати, очень часто упускается в суждениях о шестидесятниках. Он боролся лишь за право быть самим собой, быть личностью, за право иметь собственное мнение, зачастую очень неудобное для других, и за право свободно выражать это мнение. Борьба вообще за свободу его мало привлекала. Однажды он заметил:

Настолько долго, трудно и сурово
Они боролись за свободу слова,
Что уж когда свободу обрели
Само-то Слово вспомнить не могли»³.

Стиль жизни и мысли поколения шестидесятых заключался отнюдь не в том, чтобы противостоять власти, сколько в том, чтобы сохранять свободу внутреннего движения в тех социальных сферах, где это было возможно. Такой сферой деятельности в 1960-е годы была наука. Именно наука как относительно автономный социальный институт была в тот исторический момент носителем демокра-

³ *Мудрагей Н. С., Пружинин Б. И.* Lucidus ordo Евгения Никитина // *Никитин Е. П.* Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся вселенная? М., 2004. С. 6.

тических идеалов социального устройства. В тот момент люди науки были убеждены, что именно их исследовательская деятельность дает обществу свободу от идеологии. Но свободу особого рода. Дело в том, что XX век — это время коренных научных преобразований. Ученые того времени приобретали «непосредственный опыт переживания революционной ломки основных научных представлений <...> и связанных с ними философско-методологических оснований»⁴. А. Койре писал: «Мы, пережившие два или три глубоких кризиса нашего способа мыслить (“кризис оснований” и “утрату абсолютов” в математике, релятивистскую и квантовомеханическую революции), разрушившие старые идеи и сумевшие адаптироваться к новым, мы более способны по сравнению с нашими предшественниками понять кризисы и полемику прошлого. Я считаю, что наша эпоха особенно благоприятствует исследованиям, а равно и обучению такому предмету, который может быть назван историей научной мысли»⁵. Более того, XX век научил ученых *переживать* изменения. Они приобрели опыт положительного отношения к изменяющимся фундаментальным основаниям научного мышления. И их свобода напрямую была связана с возможностью переосмысления собственной историчности. Они понимали, что от их видения и понимания истории науки зависит будущее развитие мысли. Ведь, как писал В. И. Вернадский, «прошлое научной мысли рисуется нам каждый раз в совершенно иной и все новой перспективе. Каждое научное поколение открывает в этом прошлом новые черты и теряет установившиеся было представления о ходе научного развития. <...> Поэтому в истории науки постоянно приходится возвращаться к старым сюжетам, пересматривать историю вопроса, вновь ее строить и переделывать»⁶. Поэтому Владимир Петрович особое внимание уделял именно истории психологии, причем не столько в ее эмпирическом развитии, сколько в движении методологического самосознания психологов. Этому осмыслению научного стиля мышления психологов посвящены его работы последних двадцати лет.

С устремленностью к профессиональной научной деятельности связывалось у поколения шестидесятых годов и понятие настоя-

⁴ *Кузнецова Н. И.* На подступах к теории физического знания. Иван Васильевич Кузнецов // Судьбы творцов российской науки / Отв. ред. и сост. А. В. Сурин, М. И. Панов. М., 2008. С. 125.

⁵ *Койре А.* Направление исследований и проекты обучения // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 1. С. 22.

⁶ *Вернадский В. И.* Кант и естествознание // *Вернадский В. И.* Очерки и речи. Пг., 1922. С. 58.

шей «интеллигентности», смысл которого состоял не в том, чтобы иметь определенную социально-политическую позицию (как оппозицию), но в том, чтобы стремиться к знаниям, дающим настоящую свободу. Этот принцип они усвоили в общении с учеными и философами начала XX века. Как писал Б. Ярхо: «Наука проистекает из потребности в знании и цель ее (основная и первичная) есть удовлетворение этой потребности. <...> Потребностью этой люди одарены в разной мере <...> и этой мерой измеряется степень “интеллигентности”. Человек интеллигентный не есть субъект много знающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы»⁷. В этом устремлении к знаниям и состоял их опыт настоящей, а не «революционной»⁸ борьбы с идеологической системой, — это философская и научная работа в обстановке «закручивания партийных гаек»⁹. «Я понял, — говорит В. А. Лекторский, — что главное, что я могу сделать в этой ситуации, это писать новую книгу. Так в 1980 году появилась моя книга “Субъект, объект, познание”»¹⁰. «Вспоминаю, — пишет В. С. Степин, — что после партсобраний и парткомиссий, на которых приходилось выслушивать обличительные речи, я шел в библиотеку. <...> И как-то мир обретал порядок, мне начинало казаться, что все, происходящее за стенами библиотеки, — это какая-то ненужная и глупая мелочь по сравнению с тем, чем я сейчас занимаюсь»¹¹.

Особое место среди наук шестидесятых годов занимала психология, в которой всю жизнь работает Владимир Петрович. Как и другие научные области, имевшие прямое отношение к человеческому сознанию, она долго третировалась партийными идеологами. «Социальная ситуация в стране — вспоминает Владимир Петрович — и социальная ситуация развития науки в годы моего обучения, скажу мягко, не способствовала возникновению интереса не только к проблематике сознания, которую почти не погрузившись в нее, исчерпала советская марксистско-ленинская философия, но даже и к

⁷ Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. М., 2006. С. 19.

⁸ Л. Н. Митрохин вспоминает: «Большинство из нас никаких “подрывных” надежд не лелеяло и уж тем более не подвергало сомнению историческую обоснованность коммунистического идеала». О прошлом и настоящем. Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским // Как это было: воспоминания и размышления / Под ред. В. А. Лекторского. М., 2010. С. 262.

⁹ Там же. С. 254.

¹⁰ Там же.

¹¹ Важно, чтобы работа не прекращалась... Интервью И. Т. Касавина с В. С. Степиным // Как это было: воспоминания и размышления / Под ред. В. А. Лекторского. М., 2010. С. 42.

теоретическим проблемам общей психологии»¹². Ученые-психологи прошли и сквозь прямые репрессии, и сквозь Павловские сессии, и сквозь идеологические монографии типа «Советский человек», однако не потеряли своего настоящего научного лица. Их интерес проявлялся не столько в идеологическом призыве «созидать нового человека», сколько в стремлении раскрыть потенциал человеческих возможностей, показать свободный, творческий характер интеллектуальной деятельности. Это стремление сохранялось на всех этапах научного движения Владимира Петровича: и когда он вместе с Н. Ю. Вергилесом занимался экспериментами по формированию зрительного образа, и когда вместе с Н. Д. Гордеевой строил модель предметного действия, и когда вместе с В. М. Муниповым разрабатывал основы эргономики, и когда он обратился к истории методологического самосознания психологов. Последняя монография Владимира Петровича «Сознание и творческий акт» (М., 2010) — это саморефлективное восхождение к собственной историчности. Действительно, как он сам признается: «Книга такого объема не могла быть написана в один присест. Первые подступы к анализу творческого акта были сделаны мною более 40 лет тому назад. Еще через 20 лет я осмелился вступить на территорию сознания. <...> Многие годы зародившиеся сюжеты не отпускали, но и не захватывали целиком. Сейчас, видимо, пришло время собирать камни»¹³.

* * *

Наша книга — не просто подарок Владимиру Петровичу к юбилею. Он сам в ней участвует и как заслуженный собеседник, и как автор. Его стиль его мышления — свободный и историчный, — задает тематическую целостность этой коллективной монографии, а его идеи присутствуют во всех разделах.

В первом разделе — «Культурно-историческая психология: философские основания» — содержатся философские статьи, напрямую связанные с тематикой Владимира Петровича. В них обсуждаются проблематика внутренней формы слова и стиля мышления, проблема деятельности, сознания и бессознательного, осуществляются контент-анализ понятия «личности» в текстах одного из любимых Владимиром Петровичем философов начала XX века Густава Густавовича Шпета, социально-эпистемологическая интерпретация культурно-исторической психологии, культурно-исторический

¹² Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 20.

¹³ Там же. С. 20–21.

анализ религиозного опыта, представлены свободные размышления о поэтике и эвристике.

Во *втором разделе* — «Культурно-исторический подход в психологических исследованиях» — Владимир Петрович Зинченко становится собеседником современных психологов, которые раскрывают продуктивные возможности культурно-исторического подхода к психологическим феноменам, и, конечно, как и положено в юбилейной книге, к личности самого Мастера (так психологи, любя, называют между собой Юбиляра). В данном разделе не только осуществляется историческая реконструкция научного развития Владимира Петровича. Коллеги ищут созвучия его идей со своими исследованиями и пытаются применить его научные подходы к разным формам психологической действительности.

В *третьем разделе* собеседниками Владимира Петровича становятся его учителя и коллеги. В каждом тексте раздела в полном смысле раскрываются ключевые слова его стиля мышления: *свобода и история*. Владимир Петрович «возвращается» к исходной точке интеллектуального пути, осуществляя осмысление своего слова, своих образов, своих действий, своей жизни. Он ведет своеобразный внутренний разговор с философами начала XX века, своими друзьями, коллегами, учениками. Но это прежде всего разговор с самим собой, позволяющий тем самым оценить и переоценить автору свое «слово» в науке, свой более чем шестидесятилетний опыт работы в области психологии.

* * *

Коллектив авторов благодарит студентов 2 курса философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Павла Александрова и Ирину Щедрину за помощь в подготовительной научно-библиографической работе, а также Российский гуманитарный научный фонд, без финансовой поддержки которого эта книга не была бы подготовлена и не увидела бы свет.

Раздел I.

Культурно-историческая психология: философские основания

В. А. Лекторский
**Деятельностный подход
вчера и сегодня**

Владимира Петровича Зинченко я знаю не менее пятидесяти лет. Нас связывают узы дружбы, общие интеллектуальные пристрастия, общее понимание реалий отечественной жизни. Владимир Петрович — один из крупнейших наших психологов — экспериментатор и теоретик. Он и философ, и культуролог, и блестящий публицист.

Он был одним из лидеров того «когнитивного поворота», который произошел в нашей философии, психологии и других науках о человеке в 60-е годы прошлого столетия и ознаменовался появлением целой плеяды выдающихся людей, создавших оригинальные концепции, а иногда и собственные школы. В те годы среди наших самых интересных философов и психологов был весьма популярен «деятельностный подход». В его разработку весомый вклад внес и Владимир Петрович — прежде всего в связи с исследованиями в области психологии действия. В последние годы Владимир Петрович высказывается критически о деятельностном подходе — по крайней мере, в отношении глобальных притязаний последнего.

Мне же представляется, что при определенном переосмыслении деятельностный подход может быть понят не как прошлое, а скорее как настоящее и, может быть, ближайшее будущее философии и когнитивных исследований в мире. В этом тексте я попытался дать свое осмысление того, что было сделано в свое время в нашей философии (отчасти и психологии) в контексте современных когнитивных исследований.

Я поздравляю Владимира Петровича, моего друга и исключительного человека, с замечательным юбилеем. Желаю ему доброго здоровья, долголетия, творческой неутомимости.

Может быть, мой текст его заинтересует.

* * *

Мне неоднократно приходилось говорить и писать о деятельностном подходе, который был весьма популярен в отечественной философии и психологии в 1960–1980-е годы, а потом был отчасти забыт, отчасти раскритикован, в том числе и некоторыми его бывшими адептами. Мне кажется, что есть смысл попытаться понять в современном контексте некоторые особенности тех деятельностных идей и концепций, которые были популярны в то время в нашей стране: как в философии, так и в некоторых науках о человеке, прежде всего в психологии — между философией и этими науками в то время существовала довольно сильная связь. Необходимость «нового прочтения» этих философских и методологических идей связана в числе прочего с тремя обстоятельствами.

Во-первых, сегодня в когнитивной науке весьма популярны концепции «телесно-воплощенного» и «энактивированного» познания и психики, исходящие из неразрывной связи познания, действия и предметных форм культуры. Существует два варианта этого подхода. Один из них связан с идеями Ф. Варелы и его сторонников, второй с идеями американского философа Э. Кларка. Ф. Варела в числе прочего опирается на работы французского феноменолога М. Мерло-Понти, Э. Кларк отталкивается от экологической теории восприятия Дж. Гибсона и в то же время ссылается на идеи Л. Выготского и советскую школу культурно-исторической деятельностной психологии. Наш известный специалист в когнитивной психологии Б. М. Величковский в одной из последних своих книг пишет о необходимости возврата к «несколько позабытому деятельностному подходу».

Во-вторых, среди ряда наших философов, психологов, специалистов в области гуманитарных наук стали популярными сегодня разного рода конструктивистские теории (радикальный эпистемологический конструктивизм, социальный конструкционизм и др.), претендующие на более адекватную интерпретацию тех феноменов, с которыми имел дело в свое время деятельностный подход. Есть смысл разобраться в том, какое отношение имеет современный конструктивизм к деятельностному подходу.

В-третьих, сегодня в психологии и других науках о человеке деятельностный и культурно-исторический подходы к пониманию психики успешно разрабатываются в ряде стран. Я имею в виду, например, концепцию известного финского психолога Ю. Энгештрёма, который создал оригинальную теорию с опорой на ряд идей нашего психолога А. Леонтьева и советского философа Э. Ильенкова, а также ряд других концепций.

Во всяком случае деятельностные идеи, разрабатывавшиеся в нашей стране (в философии, психологии и других науках о человеке) тридцать—сорок лет тому назад, оказываются связанными с теми дискуссиями, которые сегодня идут в когнитивных исследованиях. Я попробую проанализировать основные идеи, которые были высказаны отечественными философами в связи с разработкой этого подхода, попытаюсь понять их смысл тогда и сегодня.

Я хочу подчеркнуть, что разработка представлений о теснейшей связи сознания, психики, познания и деятельности началась не в 1960-е годы, а гораздо раньше. В 1935 году наш известный философ и психолог С. Л. Рубинштейн в статье «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса» развертывает со ссылкой на ранние работы Маркса психологическую концепцию, согласно которой сознание не есть нечто непосредственно данное, что психологический субъект формируется в процессе собственной деятельности, а психические процессы опосредуются культурными объективациями. В этой связи он сформулировал известный принцип единства сознания и деятельности, который был принят в качестве методологического многими отечественными психологами. Важно однако заметить, что ряд особенностей понимания связи сознания и деятельности были сформулированы С. Л. Рубинштейном в начале 1920-х годов, когда он еще не был марксистом и не был психологом, а был философом и разделял основные идеи марбургской школы неокантианства (он был в свое время учеником Г. Когена). Именно в этих ранних его работах обосновывается положение о том, что субъект не стоит за деятельностью, а именно в этой деятельности формируется, возникает, что реальность, с которой имеет дело субъект, не противостоит ему извне, а включена в его деятельность, что мир не дан, а «задан» деятельному субъекту. На стадии рецепции идей К. Маркса С. Л. Рубинштейн связал эти идеи с известным марксовым положением о том, что практика должна быть понята как совпадение изменения обстоятельств и самого себя.

Нужно, правда, сказать, что сам принцип единства сознания и деятельности не был очень четко сформулирован, а в поздних своих работах С. Л. Рубинштейн критиковал универсализацию деятельностного подхода и подчеркивал, что деятельность не может вытеснить созерцание, которое с его точки зрения есть не менее важный способ отношения человека к миру (некоторые наши исследователи полагают даже, что в поздние годы он отказался от деятельностного подхода). В этой связи я хочу сформулировать свое понимание деятельностного подхода как он был понят в философии и науках о человеке в XX веке.

Смысл этого подхода был в попытке снятия резкой оппозиции субъективного и объективного, «внешнего» и «внутреннего» мира, оппозиции, из которой исходила по сути дела вся европейская философия, психология и другие науки о человеке на протяжении нескольких столетий после Декарта. Принятие этой оппозиции определяло понимание как субъективности, так и внешнего мира, т. е. влияло на исследовательские программы в науке, особенно в науках о человеке. XX век — это многочисленные попытки снятия указанной оппозиции в разных философских концепциях, включая прагматизм, феноменологию Мерло-Понти и Сартра, философию позднего Витгенштейна. Во всех этих концепциях (хотя они весьма различны) деятельность понимается как своеобразный посредник между человеком с его «внутренним» миром и миром объектов, других людей, произведений культуры. В известном смысле все эти концепции можно считать деятельностными. В Советском Союзе понимание человека и деятельности разрабатывалось прежде всего в рамках традиции немецкой философии: не только Маркса, но и Фихте, Гегеля (и даже, как можно увидеть на примере С. Л. Рубинштейна, немецкого неокантианства). Важно однако подчеркнуть, что и ряд западных философов, и советские философы, разрабатывавшие деятельностный подход, имели дело с одной и той же проблемой и поэтому результаты их разработок можно сопоставлять. Что же касается деятельностных концепций советских психологов, то они, как я уже говорил, включены в развитие мировой психологической мысли.

Хочу заметить, что деятельностный подход в нашей стране принимался в штыки официальной советской философией. По многим причинам. Во-первых, потому, что его подозревали в отходе от теории отражения и философского материализма. Во-вторых, потому, что подчеркивание человеческой творческой активности, ее свободы воспринималось официальными лицами как покушение на руководящую роль партии и направляющую роль марксистско-ленинской идеологии. Советских сторонников деятельностного подхода подозревали в близости к возникшей в 1960-е годы в Югославии философской группе «Праксис», претендовавшей на возврат к аутентичным взглядам Маркса и на гуманистическую трактовку марксизма. Эта группа считалась в Советском Союзе ревизионистской.

В этой связи скажу сразу об отношении деятельностного подхода в советской философии и идей группы «Праксис». В ряде пунктов между теми и другими существовало сходство. Оно было обусловлено прежде всего тем фактом, что и советские сторонни-

ки деятельностного подхода, и югославские философы из группы «Праксис» исходили из одних и тех же идей — идей Маркса (особенно выраженных в его ранних работах). Были и определенные личные связи: например, с одним из лидеров «Праксиса» М. Марковичем, который часто приезжал в Советский Союз. Однако были и существенные различия. Философы «Праксиса» в основном были заняты социальной критикой (бюрократического социализма в СССР, авторитарных явлений в Югославии, общества потребления на Западе, отчуждения во всем мире и т. д.). Советские философы не имели таких возможностей для социальной критики, хотя были настроены весьма критически по отношению к той социальной реальности, которая их окружала. Они тоже исследовали проблематику отчуждения (например, в известной статье Э. В. Ильенкова, опубликованной сначала на Западе и вызвавшей шквал идеологических нападок), анализировали проблематику гуманизма (об этом много писал, например, Г. С. Батищев, за что и сильно пострадал), но их интерес был связан прежде всего с изучением самой структуры деятельности и с методологическими проблемами наук о человеке, а также науки вообще. Отсюда тесная связь наших сторонников деятельностного подхода с психологией (Э. В. Ильенков, Г. П. Щедровицкий), с педагогикой (Г. С. Батищев), с историей естествознания (В. С. Степин, И. С. Алексеев). Наконец, югославские философы группы «Праксис» считали, что принятие в качестве исходного философского положения тезиса о практическом отношении человека к миру снимает противоположность материализма и идеализма. Никто из отечественных сторонников деятельностного подхода не отказывался от материализма, хотя критики упрекали их именно в этом и хотя их понимание материализма действительно отличалось от примитивного его понимания, разделившегося официальной философией.

Деятельность и деятельностный подход стал одной из центральных проблем для нового движения в советской философии, начиная с 60-х годов прошлого века. Я связываю это прежде всего с работами Э. В. Ильенкова, в частности, с его известной статьей «Идеальное», опубликованной в «Философской Энциклопедии» в 1962 году. Эта статья была воспринята нашей официальной философией как величайшая ересь. Автор обосновывал положение о том, что идеальное существует прежде всего в формах коллективной человеческой деятельности, т. е. вне головы отдельного индивида как деятельная форма вещи вне самой вещи. Субъективный мир возникает на основе включения индивида в эту деятельность. Внешняя реальность дана человеку через деятельность и в формах

этой деятельности. И человеческая свобода, и нормы жизни возникают именно в деятельности и через нее. Иными словами, вопросы, связанные с пониманием того, что такое сознание, субъективный мир, мир языковых значений, норм и категорий мышления были поняты в связи с человеческой деятельностью.

Те отечественные психологи, которые продолжали традиции культурно-исторической школы Л. С. Выготского (А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов и др.) приняли позицию Э. В. Ильенкова. Более того, я полагаю, что именно разработка Э. В. Ильенковым деятельностной проблематики повлияли на создание А. Н. Леоньевым в начале 1970-х гг. его известной психологической теории деятельности. Поэтому когда известный философ М. А. Лифшиц, в ряде отношений близкий к Э. В. Ильенкову, но категорически не принимавший деятельностный подход во всех его вариантах, писал о том, что на идеи Ильенкова относительно деятельности плохо повлияли отечественные психологи, он совершенно не прав. Думаю, что влияние было скорее обратным.

В этой связи я хочу обратить специальное внимание на то, как идеи Э. В. Ильенкова относительно деятельности влияли не только на теоретические представления отечественных психологов, но даже на их экспериментальную практику. Я имею в виду знаменитую работу наших психологов по воспитанию слепоглухих детей, по формированию у них полноценной человеческой психики. Э. В. Ильенков включился в эту работу: для него это было своеобразной проверкой его философских идей. В экспериментально-практической работе психологов было показано, что усвоение предметного значения слов языка может произойти у такого ребенка только в том случае, если соответствующий предмет включен в коллективную деятельность. Первоначально это так называемая совместно-разделенная деятельность ребенка с взрослым человеком. Так как именно зафиксированные в коллективной деятельности способы обращения с предметом выделяют в нем соответствующие объективные свойства. Деятельность предметна, зависит от объективных характеристик предмета. Вместе с тем она выделяет в предмете то, что важно и нужно для деятельности. Поэтому попытки обучения ребенка языку посредством простого соотнесения знаков языка с самими по себе предметами не давали результата. В данном случае хорошо видно, что общение включено в деятельность, является ее неотъемлемым компонентом: вне отношений с другим человеком деятельность невозможна. Особую роль в этом процессе играют специальные предметы. Это вещи, созданные самим человеком: ложки, чашки, ботинки, одежда и т. д. Это не просто вещи,

а способы межчеловеческой коммуникации. Для Э. В. Ильенкова случай со слепоглухонемыми детьми не какой-то особенный и специфический (хотя специфики там достаточно), а своеобразный «жестокый эксперимент» самой природы, позволяющий как бы «в чистом виде» наблюдать особенности человеческой деятельности и ее роль в формировании психики, сознания, личности.

Важную роль в философской разработке деятельностной проблематики играли работы Г. С. Батищева. В статье «Деятельная сущность человека», опубликованной в 1971 году, и в ряде других текстов он осуществил развернутое исследование структуры деятельности, взаимоотношения в ней опредмечивания и распределенности, опредмечивания и отчуждения, трансформации внешней реальности (субъектно-объектные отношения) и межчеловеческих (субъектно-субъектных) отношений. Он специально анализировал творческое измерение деятельности, ее открытость, выход за пределы существующих стереотипов, ее связь с критической социальной установкой, внутренне связанную с ней свободу, специфические особенности культурных объективаций деятельности («произведений»). Тексты Г. С. Батищева вызвали большое неудовольствие официальных идеологов,

Но в дальнейшем отношении Г. С. Батищева к деятельностному подходу начинает серьезно меняться. Если в начале он противопоставил два компонента деятельности — субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения, отдав приоритет последним, то потом (в 1980-е годы) он вообще писал о границах деятельностного подхода, о существовании вне-деятельностных слоев сознания (интуиция, эмпатия, бессознательное и др.), о необходимости дополнения деятельности «глубинным общением» как наиболее адекватным отношением к Универсуму. Это связано с его отходом от марксизма (он даже написал работу с критикой марксовых «Тезисов о Фейербахе», оставшуюся неопубликованной).

Своеобразную разработку деятельностный подход получил в отечественных работах по методологии науки. В этих работах деятельность изучалась прежде всего в ее субъектно-объектном аспекте.

В. С. Степин разработал в 1970-е годы своеобразную философскую концепцию научной теории на основе анализа строения и динамики теории в физике. Он специально исследовал роль такого своеобразного вида деятельности как научный эксперимент и выяснил взаимоотношение экспериментальных действий с формальными и содержательными операциями в процессе построения и развития научной теории, связь картин мира и научных онтологий с этими операциями. Оригинальность концепции В. С. Степина

была в демонстрации того, что в естественных науках теория строится не гипотетико-дедуктивным способом (как полагали многие специалисты в этой области), а при посредстве генетически-конструктивного метода, который предполагает мысленное экспериментирование с идеальными объектами. Автор обосновывал идею об операциональном смысле и конструктивном обосновании теоретических схем.

В этой связи В. С. Степин обсуждал вопрос о том, какое отношение к человеческой деятельности имеет наблюдение тех объектов (например, Луна, планеты, звезды в астрономии), на которые человек непосредственно не может воздействовать. Его позиция состояла, во-первых, в том, что при астрономических наблюдениях имеет место некоторая аналогия приборной ситуации, когда взаимодействие одного объекта с другим используется в качестве некоего естественного эксперимента, во-вторых, в том, что деятельность выделяет из бесконечного набора актуальных и потенциальных признаков объекта только ограниченный подкласс этих признаков.

В. С. Степин спорил по этому вопросу с другим отечественным специалистом в области философии науки — И. С. Алексеевым. Согласно последнему, любые наблюдаемые объекты вне деятельности не существуют, мир не состоит из стационарных объектов, обладающих актуальными свойствами. Он — скорее набор потенциальных возможностей, лишь часть из которых может реализоваться. Деятельность осуществляет те возможности, которые в природе самой по себе реализоваться не могут. В этом смысле деятельность создает свои объекты. Свою позицию, исходящую из понимания деятельности как субстанции И. С. Алексеев назвал «субъективным материализмом». Ее сегодня мы по праву можем считать конструктивистской.

Особую роль в разработке деятельностного подхода в нашей стране играли идеи философа и методолога Г. П. Щедровицкого. Он начал (в 1960-е годы) с проекта деятельностной теории мышления, которая исходила из того, что мышление было понято как деятельность в двух плоскостях: порождения содержания и движения в знаковой форме. Содержание генерируется при помощи операций предметно-практического сопоставления, а затем происходит оперирование с самой формой. Все операции были разложены на составляющие, при этом было предположено, что набор операций конечен. Г. П. Щедровицкий и группа его последователей изучали конкретные образцы мышления и взаимодействовали с психологами и специалистами в области педагогики, предлагая конкретные

рекомендации. Затем (в 1970-е годы) Г. П. Щедровицкий построил Общую теорию коллективной деятельности. Деятельность, по Г. П. Щедровицкому, — это коллективная система, включающая цели деятельности, средства ее осуществления, нормы, разделение позиций участников. Задача методолога, по Г. П. Щедровицкому, — проектирование разного рода организованностей в виде разных систем деятельности: в науке, в образовании, в обществе. Проблемы сознания, идеального, личности лежали вне сферы интересов так понятой теории деятельности. Г. П. Щедровицкий и его группа установили тесные связи с рядом областей практической жизни. Из такого понимания деятельности выросли так называемые организационно-деятельностные игры, которые успешно развиваются до настоящего времени.

Г. П. Щедровицкий испытал влияния К. Маркса, Г. В. Ф. Гегеля и организационной теории А. А. Богданова и создал своеобразный технократический вариант деятельностного подхода (принципиально отличающийся от того, какой имел место у Э. В. Ильенкова и Г. С. Батищева). Для Г. П. Щедровицкого деятельность — это саморазвивающаяся субстанция. Индивид захватывается этой субстанцией и только в той мере, в какой он занимает определенное функциональное место в деятельности, он может стать человеком. Но в целом индивид, его субъективность, его личность не интересуют Г. П. Щедровицкого. Его понимание деятельности принципиально бессубъектно.

Таким образом, в отечественной философии того времени были созданы разные концепции деятельности. Они имели между собою нечто общее, но в то же время серьезно друг от друга отличались и полемизировали друг с другом. Я хочу обратить внимание на то, что эти разногласия были неслучайны, так как касались реальных проблем. Я считаю, что это именно те проблемы, с решением которых связана современная разработка деятельностного подхода в науках о человеке.

Прежде всего это понимание основного тезиса деятельностного подхода: мир дан человеку в формах его деятельности. Означает ли это, что объективный мир — это что-то вроде кантовской вещи в себе, а человек может иметь дело только с тем, что он сам сотворил, построил (это по сути дела тезис философского конструктивизма)? Мне представляется, что сторонники И. С. Алексеева и Г. П. Щедровицкого положительно отвечают на этот вопрос. Такому пониманию противостоит другая позиция, отстаивавшаяся, например, Э. В. Ильенковым и «ранним» Г. С. Батищевым с опорой на соответствующие высказывания К. Маркса: деятельность чело-

века всегда предметна и при том осуществляется не в соответствии с особенностями организации человеческого тела, а в соответствии со специфической логикой каждого специфического предмета — в этом и состоит «универсальность» человека, отличающая его от всех других живых существ.

Популярный сегодня в когнитивной науке «телесно-ориентированный подход» противостоит философскому конструктивизму, ибо исходит из того, что любое познающее и действующее существо имеет дело с самым реальным миром. Вместе с тем с точки зрения «телесного подхода» деятельность выделяет в мире те его особенности, которые существенны именно для того или иного типа познающих существ: а это выделение зависит от размеров и других особенностей тела познающего и от его потребностей. Поэтому нужно различать физический мир и окружающий мир, а внутри последнего следует выделять разные «под-миры» или типы реальности (это одна из основных идей Дж. Гибсона, существенно повлиявшего на формирование концепции «телесно-ориентированного подхода»). Например, реальность, воспринимаемая человеком и летучей мышью, не одна и та же (об этом написал американский философ Т. Нагель в нашумевшей статье). Казалось бы, «телесно-ориентированный подход» как современная форма подхода деятельностного и утверждение об «универсальном» отношении человека к миру противоречат друг другу. В действительности это кажущееся противоречие. Отношение человека к миру не ограничивается особенностями его тела и его потребностями: он как бы «выходит» за свои телесные границы и создает мир искусственных предметов и пытается понять отношение различных миров и «под-миров» в их собственной специфике. Это одна из идей популярного сегодня «расширенного» понимания познания (Э. Кларк, Р. Уилсон и др.).

Другая проблема: взаимоотношение созерцания и деятельности. Я уже писал, что такие основоположники деятельностного подхода в советской философии, как С. Л. Рубинштейн и Г. С. Батищев в конце жизни противопоставили деятельность и созерцание, подчеркивая несводимость второго к первой. В этом пункте действительно имеется определенная сложность. Если деятельность есть трансформация реальности, то познание есть постижение ее такой, какова она есть. Поэтому нельзя отождествить деятельность и познание (что пытаются делать сегодня некоторые теоретики когнитивной науки, в частности, Ф. Варела). Однако важно иметь в виду, что познание исходно вплетено в деятельность, ибо именно последняя связывает познающий субъект и познаваемый объект и

выделяет существенные особенности последнего. Если восприятие понимать как простой результат переработки мозгом той информации, которая получается в результате воздействия внешнего мира на пассивного субъекта, то неизбежны выводы подобные концепции «методологического солипсизма», предложенной в свое время Дж. Фодором. В рамках деятельностного понимания возникает новая концепция восприятия, отказывающаяся от многих идей, связанных с его классической трактовкой в философии и психологии. Речь идет в частности о том, что восприятие — это не простой результат переработки информации, а непрерывный процесс ее извлечения из мира, поэтому восприятие не «дается» и не конструируется, а «берется» с помощью предметных действий (Дж. Гибсон, У. Нейссер и др.).

Наконец, еще одна проблема: взаимоотношение деятельности и общения. О том, что общение не есть деятельность, что нельзя субъектно-субъектное отношение свести к отношению субъектно-объектному писали противники деятельностного подхода в психологии, в частности, Б. Ф. Ломов, а в философском плане — С. Л. Рубинштейн и Г. С. Батищев. В самом деле, отношение к другому субъекту не есть отношение к неодушевленному предмету. Если я воспринимаю другого как внешнюю реальность, то одновременно допускаю, что и он воспринимает меня таким же образом. А это значит, что в само мое восприятие другого человека включено сознание восприятия меня другим. Но почему деятельность нужно понимать только как трансформацию неодушевленных вещей? Деятельность — это изменение реальностей разного типа, в том числе и реальности межчеловеческих отношений. А это может быть достигнуто и с помощью коммуникации. Поэтому коммуникация — это, конечно, деятельность, хотя особого рода. Вместе с тем важно иметь в виду, что познавательное и деятельное отношение человека к миру изначально предполагает коммуникацию, ибо человек имеет дело с миром лишь через посредство особого рода предметов, сделанных другими людьми. Пользование такими предметами необходимо включает общение с другими (я писал об этом в данном тексте в связи с проблемой психического развития слепоглухонемых детей). И, наконец, любой акт коммуникации имеет смысл только в рамках более широкой системы деятельности. Разрабатывающиеся сегодня концепции «расширенного познания» и «расширенного сознания» имеют дело именно с этой проблематикой.

Сегодня у нас среди некоторых философов, психологов, культурологов пользуются популярностью разные конструктивистские

концепции, особенно так называемый социальный конструкционизм (К. Герген и др.) и связанный с ним нарративный подход в философии и психологии. Некоторые наши философы считают, что именно в конструктивизме более адекватно выражено то, что остается ценным в деятельностном подходе. Однако я считаю, что социальный конструкционизм, во-первых, противостоит деятельностному подходу, и, во-вторых, не может быть перспективной методологией в науках о человеке.

Дело в том, что с точки зрения социальных конструкционистов при исследовании психики, сознания, человеческой личности мы имеем дело не с реальными предметами, а лишь с конструкциями двоякого рода. Во-первых, это продукты социальных взаимодействий, разного рода коммуникаций, имеющих культурно-исторический характер. Во-вторых, сам исследователь вместе с тем, кого он исследует, строит изучаемый предмет, который вне этого процесса не существует. То, что принимается за познание, в действительности таковым не является. Психолог или социолог, с этой точки зрения, являются в действительности не исследователями, не учеными, а участниками в создании определенных социальных отношений, некоей эфемерной социальной реальности, о которой можно говорить лишь в условном смысле, ибо она существует только в рамках конструктивной деятельности. С этой точки зрения в социальной психологии, например, эксперимент как способ получения объективного знания невозможен, потому что экспериментатор и объект его экспериментов (другой человек) вступают друг с другом в коммуникационное взаимодействие, в ходе которого объект исследования принципиально изменяется. Поэтому, с этой точки зрения, бессмысленно говорить и о научной теории при изучении человека.

В социальном конструкционизме есть нечто, что роднит его с культурно-историческим деятельностным подходом: идея о том, что психика, сознание, личность являются продуктом социальных взаимодействий и коммуникаций и имеют культурно-исторический характер. Сторонники этой концепции ссылаются в этой связи на Л. С. Выготского и М. М. Бахтина и заявляют о том, что именно социальный конструкционизм является современным развитием идей последних. Между тем, тезис о том, что исследователь имеет дело не с познанием чего-то реально существующего, а создает исследуемую реальность, принципиально отличает его от деятельностного подхода, как он был понят в советской философии и психологии. В действительности любая конструкция предполагает реальность, в которой она осуществляется и которую она

выявляет и пытается трансформировать. С другой стороны, реальность выявляется, актуализируется для субъекта только через его конструктивную деятельность.

Сконструированность не обязательно означает нереальность того, что построено. Если «Я», личность, идентичность — это социальные конструкции, из этого вовсе не следует их нереальность. И стол, за которым я сижу, тоже построен, сконструирован. Однако он не перестает от этого существовать. Можно сказать, что все социальные институты есть продукт человеческой деятельности, т. е. в некотором смысле конструкции. Но из этого не следует их нереальность. Человек вообще создает такие предметы (как материальные, так и идеальные), которые как бы выходят из-под его контроля и начинают жить вполне самостоятельной реальной жизнью. Это и социальные институты — и поэтому можно и нужно изучать их структуры, строить о них теории. Это и субъективный мир человека — предмет психологических исследований: как теоретических, так и экспериментальных. Это мир идеальных продуктов человеческого творчества, развивающийся по своим особым законам, хотя и в рамках человеческой деятельности, как это показал Э. В. Ильенков. Эти идеальные предметы до такой степени отделяются от породившего, сконструировавшего их творца, что сегодня многие считают бессмысленным ставить вопрос об их авторстве.

Я думаю, что развитие современной философии, психологии и когнитивной науки вновь делают актуальной разработку проблематики деятельности и деятельностного подхода. То, что уже было сделано в этом отношении в отечественной философии, может быть интересным сегодня. Это означает не то, что во второй половине XX века в советской философии были найдены ответы на вопросы, которые сегодня интересуют исследователей познания и сознания, а только то, что плодотворность ряда идей, высказанных и обоснованных в то время, может быть осмыслена в современном контексте. Современная разработка деятельностного подхода предполагает исследование ряда проблем, которые не обсуждались и не могли обсуждаться тридцать-сорок лет тому назад. Сегодня, наверное, можно говорить и некоем «неодеятельностном» подходе, который должен ассимилировать то, что было сделано в последние десятилетия в философии и когнитивных науках. Но преемственная связь этого современного подхода с тем, что делалось в свое время в отечественной философии и науках о человеке, для меня является очевидной.

Б. И. Пружинин

Культурно-историческая природа познания и стиль научного мышления

С тех пор как Владимир Петрович погрузился в культурно-историческую психологию и до сравнительно недавнего времени его научные интересы представлялись мне достаточно далекими. Но, надо полагать, познание, а тем более, научное познание в его широком культурно-историческом смысле, все же органически целостный феномен. В различных его направлениях вдруг возникают перекликающиеся темы, возникают идеи, стилистически созвучные или, как теперь говорят, взаимодействующие по синергичному принципу. Результатом одного такого взаимодействия стала совместная книга В. П. Зинченко, Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной, честно говоря, совершенно неожиданная для меня¹. Предлагаемая статья, написанная специально к юбилею Владимира Петровича, — еще одно свидетельство (надеюсь, надежное) в пользу того, что научные интересы наши оказались в итоге, более чем близкими. Чему я искренне рад.

* * *

Сами философы науки описывают и оценивают состояние и перспективы современной философии науки очень по-разному. Но почти во всех случаях, в размышлениях о ее сегодняшних горизонтах очень немного места занимает ее собственная история. Возможно, происходит это потому, что история философии науки кажется вполне обозримой, как в смысле продолжительности, так и в смысле содержания ее основных этапов. Ее, так сказать, мейнстрим очевиден: от различных вариантов эмпиристского индуктивизма (в основном, позитивиз-

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ.
Проект № 11-03-00011-а.

¹ Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010.

ма) через неопозитивистские программы логико-методологического анализа языка науки к «историзации» и «социологизации» представлений о научно-познавательной деятельности. Так что с точки зрения этого мейнстрима ее сегодняшнее состояние представляется, хотя и не очень обнадеживающим, но неизбежным. Однако были ведь и отклонения — была, например, рационалистическая неокантианская версия философии науки, а, кроме того, что меня в данном случае более всего интересует, была попытка методологической разработки понятия «стиль научного мышления»: и в западной философии науки (Л. Флек, М. Борн) и в рамках отечественной². В своем поступательном движении философия науки прошла мимо концептуальных возможностей, которые содержались в этих вариантах ее динамики. Однако как раз «неизбежность» ее сегодняшнего состояния заставляет более внимательно присмотреться именно к этим, открывающим перед ней иные горизонты, вариантам разработки эпистемологической тематики. В данном случае, речь пойдет о методологическом потенциале, содержащемся в концепции «стилей научного мышления».

Современная (нынешняя) философия науки, по сути, сложилась как одно из первых направлений постмодерна со всеми характерными для него чертами. Предложенные в ней модели динамики знания исключают какую-либо точку опоры внутри самого познания. Наука, научное познание задается в этих моделях исключительно внешними (социокультурными) обстоятельствами. При этом важно отметить, из поля зрения таких моделей фактически уходит язык науки, а вместе с ним, и собственно методологическая составляющая. Философия в этих моделях динамики науки фактически теряет роль познавательного ориентира. (Замечу, что как только философия отделяется от тематики языка, она теряет модус должностования и фактически становится излишней, ненужной.) Методологическая составляющая философии науки всегда формировалась в анализе научных текстов, и шире, всегда была связана с анализом языка науки. Сегодня же в философии науки господствует принципиальная описательность («дескриптивизм»). Так что если вообще говорить о методологической проекции нынешней философии науки, то, фактически, речь может идти лишь о ее роли в качестве научно-исследовательской программы социолого-культурологических исследований научно-познавательной деятельности.

Спору нет, современная наука представляет собой гигантский социально-культурный институт и соответствующие аспекты ее функ-

² См.: Пружинин Б. И. «Стиль научного мышления» в отечественной философии науки // Вопросы философии. 2011. № 6.

ционирования важны чрезвычайно. Проблема в том (для тех, естественно, кто вообще видит здесь проблему), чтобы найти путь к языку и к методологическому запросу современной науки, не игнорируя социальные аспекты научно-познавательной деятельности. Мне представляется, что сделать это можно обратившись (отчасти, вернувшись) к понятию стиля научного мышления. Вводя идею стиля научного мышления в философию науки, мы получаем иной, культурно-исторический взгляд на научно-познавательную деятельность, в том числе и на ее социальную обусловленность. Получаем иную философско-методологическую онтологию: не информационные потоки, функционирующие в социальном институте науки, а общение людей, размышляющих о мире и ищущих таким путем взаимопонимания, которое, в ходе познавательной деятельности, становится для «мыслительного коллектива» (Флек) способом его утверждения в культуре и истории.

Понятие «стиль научного мышления» достаточно широко использовалось в 70–80 годы прошлого столетия в отечественной философско-методологической литературе в ходе разработки исторического взгляда на методы научного познания. В методологический оборот оно было введено для осмысления учеными своего местоположения в истории науки, своих культурно-исторических координат, т. е. для осмысления того, какому собственно этапу истории науки принадлежит их деятельность. Затем, однако, это понятие фактически было вытеснено из западной и отечественной философии науки понятием «парадигма». А вместе с ним из сферы внимания философов науки ушло и важнейшее методологическое измерение научно-познавательной деятельности — осознание учеными *внутренних оснований и специфики того целостного смыслового поля, внутри которого они фактически работают в тот или иной исторический период*. Понятие стиля научного мышления несло в себе, во-первых, идею внутренней *смысловой связности истории научного познания*, реализующейся в преемственности стилистик различных периодов развития науки и, во-вторых, идею *поливариантности*, предполагающую стилистическое многообразие *выражения* в научном языке знания об одном и том же фрагменте мира. Понятие парадигмы так сместило внимание философии науки с этих аспектов культурно-исторического единства научного познания, что, в результате, в качестве определяющего фактора научного познания стала рассматриваться его внешняя социокультурная детерминация. При этом, в рамках понятия парадигмы утеря *смыслового* основания единства научного сообщества восполняется социологизацией механизмов, обеспечивающих единство мнений (и дискурса) его членов.

Обстоятельства, в силу которых понятие «стиль (научного) мышления» удерживало в себе отмеченное выше специфическое

содержание, заключались, по-видимому, в особенностях его введения в отечественную философию науки. В отличие от западной, постпозитивистской по сути реакции непосредственно на проблемы и сложности исчерпавших себя к тому времени неопозитивистских логико-методологических программ, идея стилей научного мышления в отечественной философии оформилась в контексте совсем иных идейных традиций. Конечно же, проблемы и конкретные сложности логико-методологических исследований языка науки были хорошо известны отечественным методологам и, естественно, ориентировали их методологические искания. Но, во всяком случае, концепция стилей научного мышления конституировалась в отечественной философии и методологии науки не в качестве альтернативы неопозитивистскому анализу языка науки.

Понятие «стиль научного мышления», скорее, как бы «отслоилось» (в общей атмосфере историзации философско-методологической рефлексии над наукой) от общеметодологических марксистских представлений об истории общества в целом и истории науки, в частности. Благодаря наличию в отечественной философии мощной диалектической традиции (отнюдь не растворившейся полностью в примитивном жонглировании понятиями³), обосновывающей идею единства логического и исторического, историческая, по своей сути, концепция стилей научного мышления не противопоставлялась логико-методологическому анализу языка науки, как это произошло в англо-американской методологической традиции. Методологический потенциал этой концепции раскрывался не столько как оппозиция логико-методологическим программам исследования структуры ставшего знания, сколько в качестве их исторически ориентированного дополнения. И кстати, надо полагать, именно по этой причине она и была вытеснена из философии науки своими более радикально «историзирующимися» и «социологизирующимися» конкурентами. Собственно, постпозитивистский радикальный историзм и утверждался через отрицание программ, ориентированных на логический анализ языка науки. А терявшийся при этом методологический потенциал компенсировался перспективностью социологического описания структуры научных сообществ.

Но именно этот потенциал и интересует меня в данном случае. М. Борн, перевод книги которого «Физика в жизни моего поколения»

³ Здесь я имею в виду не только работы Э. В. Ильенкова, А. А. Зиновьева, В. С. Библера и других советских диалектиков, но и тех, благодаря которым в советской России сохранилась философская и логико-методологическая культура (П. А. Флоренский, Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев, Б. А. Фохт, П. С. Попов, В. Ф. Асмус и др.)

(1963) фактически стимулировал обращение к понятию «стиль мышления» в отечественной методологии, использовал этот термин прежде всего для интегральной характеристики нового (релятивистского и квантовомеханического) этапа в развитии физики. Но при этом в его трактовке отчетливо проступал общеметодологический, общенаучный смысл этого понятия. «Я не хочу сказать, — писал Борн, — что (вне математики) существуют какие-либо неизменные принципы, априорные в строгом смысле этого слова. Но я думаю, что существуют какие-то общие тенденции мысли, изменяющиеся очень медленно и образующие определенные философские периоды с характерными для них идеями во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в науке. Паули в недавнем письме ко мне употребил выражение “стили”: стиль мышления — стили не только в искусстве, но и в науке. Принимая этот термин, я утверждаю, что стили бывают и у физической теории, и именно это обстоятельство придает своего рода устойчивость ее принципам. Последние являются, так сказать, *относительно априорными* по отношению к данному периоду. Будучи знакомым со стилем своего времени, можно сделать некоторые осторожные предсказания. По крайней мере можно отвергнуть идеи, чуждые стилю нашего времени»⁴. И отечественные методологи охотно подхватили это понятие. Как заметил В. Н. Порус, чрезвычайно много сделавший для анализа концепции стилей научного мышления в 1990-е годы, обратиться к понятию стиля позволяла его способность «схватывать» важные характеристики различных исторических периодов в науке, сравнивать их между собой и тем самым выявлять направления их развития»⁵. Собственно проекция этих идей на историю естествознания и образовала первоначальный содержательный стержень использования понятия «стиль» в отечественных работах по философии науки.

Конечно, на предпринимавшихся исследованиях стилей научного мышления сказывалось и влияние общих тенденций, превалировавших тогда в философии науки. Оно проявлялось прежде всего в том, что стили научного мышления рассматривались по большей части в экстерналистских контекстах, в связи с проблемой социокультурной обусловленности научно-познавательной деятельности и вообще всего комплекса методологической проблематики, заданной концепциями исторической динамики науки в постпозитивистском ее варианте. Так что идеи *целостности* и *поливариантности*, акцентирующие и концеп-

⁴ Борн М. Состояние идей в физике // Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963. С. 227–228.

⁵ Порус В. Н. Стиль научного мышления в когнитивно-методологическом, социологическом и психологическом аспектах // Познание в социальном контексте. М., 1994. С. 103.

туализирующие языковой (методологический) смысл понятия стиля обнаруживали его не прямо, не непосредственно, и лишь в контексте конкретного анализа психологических и социальных аспектов научного мышления тех или иных исторических периодов. Более того, в поле зрения исследователей попадают темы личностного творчества в науке, предполагающие анализ индивидуально-психологических особенностей научного мышления. И тем не менее, выявляемые в этих исследованиях стилистические характеристики научного мышления фактически не теряют связь с тематикой логико-аналитических исследований языка науки, исследований идеалов и норм научного познания, картины мира и с другими направлениями логико-методологического анализа языка науки. И на этом фоне проступал тот философско-методологический потенциал, который собственно и привлекает внимание к этой концепции философов и методологов науки сегодня.

Речь при этом шла не о попытках сведения понятия «стиль научного мышления» к логико-языковым структурам познавательных процедур, а, напротив — о погружении этих структур в познавательную деятельность ученых, работающих в стилистически едином смысловом пространстве. Здесь структуры, выявленные в свое время в ходе анализа языка ставшего знания (формальные и содержательные), как бы погружались в живую историческую реальность научно-познавательной деятельности. И в этой реальности, в контексте конкретных научных поисков, в столкновении альтернативных теорий, нерешенных проблем и споров, стилистические характеристики мышления ученых, реализующих в своих исследованиях тонированный смыслом целостный взгляд на мир, приобретали зримые, в языке выражаемые, очертания. Скажем, мир может представлять в научном исследовании то как однозначно детерминистский, то как вероятностный, то как кибернетический, то как синергетический. Что и выражается в стилистически целостных логико-языковых структурах соответствующих систем знания. При этом весь логико-методологический инструментарий фактически воспринимается ученым как набор средств, включаемых по мере необходимости в его познавательную активность в конкретных поисковых ситуациях и обретающих свой методологический статус в рамках стилистически целостного взгляда на мир. Сама логика исследований методологического потенциала понятия стиля приводила отечественных философов науки к трактовке логико-методологического инструментария науки как «регулятивных средств»⁶, которые лишь интегративно, т. е. как элементы исторически конкретного целого взгляда на мир ориентируют ученого в данный период и в данной предметной

⁶ Там же. С. 105.

области. А это значит, что не парадигма (образец), даже не исследовательская программа, но именно стиль может претендовать на роль основного методологического оператора, ориентирующего познавательную деятельность ученого.

Причем собственно стилистическая специфика выявляется в этом случае благодаря тому, что в ходе реального познания все эти элементы формальной структуры знания как бы теряют свой изначальный статус. Наличная картина мира в ходе конкретной познавательной деятельности ученого, увидевшего мир как-то иначе, может, скажем, фактически оцениваться как нечто третьестепенное, а красивое допущение малообоснованной гипотезы — как нечто решающее. И на первый план выступает организующее поиск ученого творческое стремление как-то выразить это новое, по-особому увиденное, для других членов научного сообщества. Даже требования логики могут терять статус решающих элементов познания и становятся объектами выбора — их использование определяется конкретным представлением ученого о стилистической уместности их применения. В этих случаях приобретает особую эпистемологическую значимость смысловая целостность познавательной деятельности, внутри которой ученый пытается выразить свое видение объекта. Эта выраженная в слове смысловая целостность и фиксируется понятием стиля научного мышления.

Таким образом, методологическая специфика этого понятия связывается с собственно познавательной деятельностью, с активной познавательной работой научных сообществ, а не только с ее готовыми результатами — не исключительно с контекстом обоснования (в терминологии Г. Рейхенбаха). Чтобы обосновать, и прежде чем обосновать тот или иной конкретный результат по стандартам научности, его смысл должен быть выражен понятным для сообщества образом в рамках целостной в смысловом плане языковой системы. Стиль как смысловая характеристика целостности познавательной деятельности ученых как бы сдвигает внимание методологии к контексту открытия, но «сдвигает» обязательно в связи с задачами его выражения⁷. Тем самым стиль одновременно может быть представлен в контексте обоснования в качестве сознательно избираемой и потому доступной рефлексии манеры выражения, подчиненной задаче донести смысл открывшегося ученому до «другого ученого». Стилистические особенности выражения смыслов научного откры-

⁷ См.: Пружинин Б. И. Между контекстом открытия и контекстом обоснования: методология науки Густава Шпета // Густав Шпет и современная философия гуманитарного знания / Под ред. Т. Г. Щедриной. М., 2006. С. 135–145.

тия — для «другого», для общения и для выработки общего взгляда — предстают, стало быть, в методологическом плане в качестве главной интегральной характеристики деятельности ученого. Очевидно, однако, чтобы продемонстрировать собственно методологическую эффективность понятия «стиль научного мышления», необходимо прояснить инструментальные возможности смыслового анализа языка науки, позволяющего достаточно точно идентифицировать релевантные параметры научных текстов. Мне представляется, что центральным в этом плане является понятие «внутренняя форма слова».

Для начала, с целью прояснить эту гипотезу, приведу «говорящую» цитату из работы В. В. Бибихина «Внутренняя форма слова»: «Выявление внутренней формы происходило в чем — в слове? В слове *отыскивали внутреннюю форму*, для Потемби слово *показывало* свою внутреннюю форму, как *око* в слове *окно*. Ведь *видно*, сказано самим словом: слово «окно» *отсылает* к око, ну буквально *заставляет* заняться им, исследовать, как же око скрыто, заложено в слове “окно”. Исследователь наивно шел за этой указкой и радовался: я увидел, я нашел. *Но ведь он увидел, потому что слово ему указало*. Он схватился за то, *что* ему указало слово, и вся так называемая научная лингвистика бросается туда, куда указывает слово, изучая “смыслы”, денотаты, коннотации слова и т. д., и радуется, что так много может “раскрыть” в слове, “видеть” в нем. Потому что слово *указывает* на многое. Научная наивность не задается вопросом, не водит ли его слово за нос. Не скрывается ли существо слова как раз в этом *указывании* — не “око” зерно слова “окно”, а само вот это *указывание* слова “окно” на око и есть существо слова. Суть слова в том, чтобы *сказать*, с-казать, показать. Слово *указывает* на внутреннюю форму. Оно *указывает* или так, что где-то *внутри* есть *внутренняя форма*, или так, что оно, слово, *и есть само* внутренняя форма. Но слово *сначала* может *указывать*, и только потом, *поэтому*, мы смотрим туда, куда оно *указывает*, и видим там всевозможные вещи. Слово служит для отвода глаз от себя к вещам. Но там, куда мы смотрим по указке слова, слова уже нет. Оно в *указывании*, в с-казывании. Здесь намечается другой, трудный подход к языку, нехоженный современной лингвистикой. Там, на том пути мы должны будем сначала спросить, что такое с-казывание, указывание. В каком свете оно возможно, откуда происходит свет. Откуда происходит то, что придает смысл указыванию, без чего указывание не имело бы смысла: выбор направления. Говоря о направлении, направленности, мы должны были бы задуматься о том, что *смысл* в своей сути и есть направленность. Но это совсем другая страна, совсем открылся бы другой пейзаж по сравнению с

тем, в котором нас заставляла находиться внутренняя форма как порождение лингвистической науки»⁸.

В цитируемой работе самого В. В. Бибихина интересовала, прежде всего, «тайна» Слова — природа языка как онтологической и, по сути, конституирующей человека способности. Для меня также чрезвычайно важен именно такой взгляд на Слово, на язык. Но меня этот аспект языка заботит в контексте куда более узкой и, отчасти, даже уходящей как бы в сторону от исканий В. В. Бибихина, темы — меня интересует в данном случае судьба методологической рефлексии, обеспечивающей, благодаря опоре на слово, культурно-историческое конституирование «человека познающего», «субъекта научного познания». Ибо, на мой взгляд, именно рефлексия и обеспечивает существование в культуре «человека познающего», коль скоро речь идет о науке. Благодаря рефлексии происходит конституирование и науки как культурного феномена. В. В. Бибихин стремится раскрыть антропологическую роль слова в становлении человеческого рода. Я же рассматриваю эту роль почти исключительно в рамках культурно-исторической эпистемологии. В данном случае я рассматриваю человека как феномен европейской культуры, и соответствующим образом рассматриваю роль слова в его культурном бытии внутри определенной разновидности культурной деятельности, внутри науки. Да и взгляды наши на роль Слова в человеческом бытии далеко не вполне совпадают. Но мне важно, прежде всего, что понятие внутренней формы слова «повернуто» у В. В. Бибихина так, что позволяет мне прояснить («указать»), мимо чего в языке науки проходит современная «философия науки». А проходит она мимо этого, кстати, вместе с лингвистикой, которой, впрочем, до функций и проблем методологии никакого дела нет.

История философии науки сложилась так, что из ее поля зрения практически полностью был вытеснен вопрос о самой «природе», о «качестве» той способности слова-знания, которая позволяет *отводить глаза от себя к вещам*, о способности знания «указывать» с помощью слова на объект знания. И тем самым, конституировать его как объект познания, а человека, произносящего слово, — как субъект познания. Иначе говоря, качественные характеристики той способности слова, которую акцентирует В. В. Бибихин в приведенной выше цитате, ушли на периферию внимания также и в философско-методологической рефлексии над познавательной деятельностью. Философия науки сконцентрировалась на описании и нормировании формальных процедур, с помощью которых фактически выпол-

⁸ Бибихин В. В. Внутренняя форма слова. СПб., 2008. С. 417–418.

няется это «указание» на объект, и тем самым как бы переняла лингвистический, т. е. позитивно-научный взгляд на язык, спроецировав этот взгляд на функции слова в формировании культурного феномена знания. Но ведь для лингвистики способность слова «указывать» на значения есть вполне «естественная» характеристика языка как знаковой системы, которую она и изучает (описывает, экспериментирует, объясняет, применяет). При этом, как и положено нормальной положительной науке, она не задает вопрос: почему, для какой цели слово указывает на значения? Она задает вопрос: «как», просто маркируя и, по возможности, типологизируя контексты употребления слов. И отвечает, тем самым, именно на этот вопрос.

Науку лингвистику интересует, как, какими средствами в реальных языковых практиках слово «указывает» на вещь? Семиология, семантика, которая меня здесь по понятным причинам, прежде всего, и интересует, описывает имеющие место значения единиц языка. Между тем, в познании как таковом речь фактически идет о перманентном формировании новых значений и вообще новых языковых практик, а не о функционировании сложившегося языка науки в рамках усвоенных учеными образцов и установившихся языковых практик. А когда во внимание принимаются процессы «самоизменения» языка, то становится видно, что сама-то способность слова «указывать» на вещи, «выполняется» лишь в силовом поле самосознания человека, «удерживается» усилием его рефлексии. Это «указывание» предполагает волевой, «энергичный» аспект и аспект культурный — «синергичный» (коль скоро речь идет не о случайном акте познания, а о познании как культурном, установившемся в виде культурного института феномене). Так что в случае познания «указание» требует колоссальных культурных и личных усилий. Сама наука может существовать лишь в силовом поле сознающего свои познавательные усилия человека. Здесь вполне уместен вопрос, почему человек, точнее, некое сообщество людей, вообще это усилие предпринимает? Для чего им творить новые языковые практики? Зачем? Что эти люди надеются найти, надеются увидеть в мире с их помощью? и пр. На такого рода вопросы положительные науки, даже если это науки о когнитивных способностях человека, вообще-то не отвечают, более того, и не должны — позитивисты, в данном случае, абсолютно правы!

Когда представление о мире опирается на сложившиеся языковые стереотипы, обеспечивающие привычное, так сказать, «указание» на вещи в рамках сложившихся и усвоенных человеком языковых структур, культурное усилие, необходимое для познания, действительно, становится ненужным, точнее, незаметным. Заключенные в языке

смыслы реализуются как бы сами собой. Но «человек познающий» говорить как раз учится, он непрерывно творит язык, в отличие от человека, просто говорящего достаточно бойко о самых разных известных ему вещах на известном ему языке. Последнему нет нужды рефлексивно осознавать себя говорящим о мире и вносящим в это говорение цель, чтобы удерживать на данном предмете процесс говорения как нечто целостное. В обыденном говорении нет нужды специально осознавать стилистические особенности своего именованного, заботиться о стилистическом единстве своей речи — процесс этот удерживается сам собой своими внутренними парадигмами и формальными структурами однажды усвоенного, ставшего «естественным» языка. И соответственно, в поле зрения лингвистики оказываются языковые структуры, поддерживающие и обеспечивающие этот процесс говорения. Даже когда лингвистика обращается к исторической динамике языка, она описывает «естественно-исторический» процесс. То же происходит и в методологии, если она просто переносит характерный для науки подход на осмысление научно-познавательной деятельности — в поле зрения такой методологии первоначально оказались формальные структуры языка ставшего, полученного и принятого знания. Их выявление было главной целью позитивистской «философии науки», намеревавшейся разработать универсальные рациональные критерии научности — критерии отбора знания, претендующего на статус научного. Своей целью эта методология ставила себе разработать парадигму научности, некое формальное лекало. Так что на долю философской составляющей этой методологии оставались лишь неконтролируемые процессы творчества, о которых только и можно сказать, что они, по определению, нестандартизируемые.

Надо сказать, такого рода разграничение (как бы контекстов открытия и контекстов обоснования) относится отнюдь не только к позитивизму, к позитивистской философии науки. Оно воспроизводится в предельно жесткой форме каждый раз, когда философия науки редуцируется к научному исследованию науки. Аналогичным образом «контекст обоснования» становится предметом исследования *так же и* в современной социологически ориентированной эпистемологии. Различие в данном случае лишь в том, что исследуются в ней не стандартные логические процедуры обоснования знания, но социологические механизмы установления парадигмы, т. е. того же лекала. Речь опять же идет о ставшем знании. При попытке же вернуться к реальности познания изнутри дилеммы («контекст открытия — контекст обоснования») познавательная деятельность ученых в лучшем случае оказывается микстурой из элементов того и другого, упорядочиваемой лишь благодаря дей-

ствию внешних для познания обстоятельств. На прояснение такого рода абсолютно внешних собственно знанию о мире обстоятельств и направила свои усилия постпозитивистская философия науки.

Вырваться за эти рамки позволяет именно понятие внутренней формы слова, но не в узко лингвистическом, а в философском смысле. И вот почему. Термин «внутренняя форма слова» в современной лингвистике определен достаточно точно — форма слова, отражающая мотивированность слова другими языковыми элементами и поэтому объясняющая его смысловую структуру. Или — признак, положенный в основу номинации при образовании нового лексического значения слова (т. е. признак, положенный в основу наименования как процесса соотнесения языковых единиц, прежде всего слов, с обозначаемыми объектами). Или иначе, ближе к интересующим нас сюжетам, — идеи, более или менее сознательно положенные в основу номинации и, тем самым, задающие определенный способ построения концепта, заключенного в слове (использованном для именованного (ментального образа) объекта). И во всех этих случаях определяющим фактором мотивированности номинации или выбора идеи, полагаемой в основу номинации является стиль мышления — стилистические особенности выражения мысли.

В приведенных формулировках («кочующих» с теми или иными вариациями по справочным изданиям) для меня важно, прежде всего, что мотивированность значения слова, коль скоро речь идет о внутренней форме слова, является всегда сознательной, рефлексивно доступной говорящему. Пусть в каждом конкретном случае эта мотивация может осознаваться в различной мере, важно, что она в принципе может осознаваться. Ибо это позволяет в принципе превратить процедуру номинации предмета (признака, события и пр.) в сознательное действие на основе данного смыслового основания, а при определенных условиях — в действие на основе выбора такого смыслового основания. Слово вообще может не иметь внутренней формы, или мы можем не фиксировать внимание на мотивах номинации, но в том и состоит эффективность для меня этого лингвистического понятия, что оно акцентирует заложенную в самой структуре языка возможность сознательной номинации, т. е. номинации, сопровождающейся рефлексией, осознанием оснований номинации предмета. Что, в свою очередь, открывает возможность, если угодно, управления и контроля над процессами номинации. Ведь если мы можем проследить способ построения концепта, заключенного в данном слове, то это открывает возможность сознательного использования языка как инструмента, конструирующего наш жизненный мир. Таким образом, понятие «внутренняя форма слова» позволяет выявить целенаправ-

ленную активность говорящего (скорее, пишущего, но для меня это различие здесь не важно), использующего язык сознательно, позволяет зафиксировать для него возможность подбирать слова, используя язык как орудие, как инструмент организации мира. Под свои цели и под целостный, стилистически целостный взгляд на мир, обеспечивая, тем самым, его понимание «другим». А стало быть, говорящий о мире способен и создавать смыслы под эту цель — под цель общения.

Итак, внутренняя форма слова в лингвистике — это мотивированность значения данного слова некоторым исходным значением того же слова. В таком виде термин «внутренняя форма слова» был введен в лингвистический обиход А. А. Потемной. Вводя это понятие, он отталкивался от идеи языковеда В. фон Гумбольдта о наличии в языке «*innere Sprachform*» — глубинного строя, фиксирующего в себе «дух народа» и проявляющего себя в языковой деятельности как бы стихийно. Но лингвист Потемня сместил концептуальные акценты так, что через понятие внутренней формы слова проявились механизмы, обеспечивающие конкретное словоупотребление — проявилась внутриязыковая мотивация, в определенной мере доступная и для лингвиста-исследователя, и для говорящего (при некотором, конечно, рефлексивном усилии с его стороны). Следующий и решающий шаг в релевантном для меня направлении сделал философ — Г. Г. Шпет. Он акцентировал в понятии внутренней формы слова рефлексивность мотивации словоупотребления, ее осознанность, ее осмысленную («омысленную») энергичность. Тем самым он, конечно, вышел за рамки лингвистики, рассматривающей языковую деятельность как естественный процесс. Но при этом, ход Г. Г. Шпета позволяет, отнюдь не теряя лингвистику из поля зрения, отнюдь не игнорируя ее результаты и методы, экстраполировать ее семиотический потенциал на область философско-методологического анализа научного познания.

Мне, далеко не лингвисту, наиболее ясной и доступной лингвистической статьей о внутренней форме слова показалась работа Анны Зализняк. Кроме всего прочего, показалась мне эта работа ясной еще и потому, что в ней автор предельно внятно обозначила с лингвистической точки зрения тот пункт, который привлекает внимание методолога к этому понятию. «Неверно было бы думать, — замечает она, — что внутренняя форма — понятие, нужное лишь лингвистам: как раз лингвисты могли бы без него и обойтись, так как соответствующие факты легко могут быть интерпретированы в других терминах — этимологии, словообразовательной семантики и лексикологии. Объединение довольно разнородных явлений в рамках единого понятия “внутренней формы” нужно лишь потому, что оно имеет под собой вполне определенную психолингвистическую

реальность. Дело в том, что представление о том, что “истинным” значением слова является его “исходное” значение, необычайно глубоко укоренено в сознании говорящих. Достаточно вспомнить, что с этимологии началась наука о языке, и еще в XIX веке слово *этимология* употреблялось в значении “грамматика”; при этом само слово *этимология*, обозначающее сейчас науку о происхождении слов, образовано от греческого слова *etymon*, которое означает “истина”. Поиск этого исходного (и тем самым “истинного”) значения — наивное этимологизирование — является неотъемлемой частью языкового поведения, и было свойственно человеку испокон веков»⁹.

Для лингвиста эта тяга человека к этимологизированию (как пути к истине) есть факт психолингвистики. Но, как известно, всякий «естественный» антропологический (психологический) параметр человеческого поведения может приобретать определенный культурно-исторический смысл: подобно «любопытности», лежащей в основе научного познания, или набору человеческих качеств, обнимаемых понятием «дух капитализма», легшим в основу социально-экономического феномена капитализма. Г. Г. Шпет своей интерпретацией понятия «внутренняя форма слова» фактически, указав на компоненту обычной языковой деятельности, которая, как я полагаю, и лежит в основании науки — целенаправленной коллективной познавательной деятельности как культурного феномена, ориентированного на достижение объективного, т. е. общезначимого представления о мире.

Внутренняя форма слова, по Г. Г. Шпету, — языковая форма в которой «живет» смысл, языковая форма в которой смысл становится, выражается и понимается. И именно с этой стороны, в этом ракурсе Шпет подходит к проблеме понимания. «Науки и особенно метафизика, — писал Шпет, — рассказывали о смысле, как он есть. Логика немало забот положила на то, чтобы узнать, как он выражается. Но как он постигается — на это логика не обязана была отвечать, а метафизике это было все равно. <...> С другой стороны, не правы ли, однако, те, кто выдвигает семасиологические проблемы, как основные; и не должны ли мы ожидать, что сама проблема понимания будет располагать достаточным материалом лишь после того, как семасиологическая логика раскроет роль всех возможных форм выражения, через которые нам дается понимаемый смысл, и в которых мы сами находим этот смысл»¹⁰. Надо сказать, со време-

⁹ Зализняк А. Внутренняя форма слова. Цит. по: <http://www.krugosvet.ru/articles/92/1009205/1009205a1.htm>

¹⁰ Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и слово. Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Шедрина. М., 2005. С. 471–472.

ни написания этих слов прошло почти 100 лет. Проблема осталась. Но сегодня мы, по крайней мере, можем внятно сказать, что Шпет учитывает здесь аспект выражения-исследования, связанный с ориентацией на «другого», и это ориентирует нас на анализ стилизованных аспектов текста как основания для взаимопонимания учеными в «научном сообществе», точнее в «мыслительном коллективе».

Несложно проследить, что понятие «внутренней формы слова» появляется в методологических работах Шпета, как правило, тогда, когда он, так или иначе, указывает на неявную логичность всего нашего мышления. Мы можем рассуждать совершенно неупорядоченно, мы можем развертывать наши мысли непоследовательно, мы можем что-то опускать, но за всем за этим, как внутренний фон, как внутреннее основание наших рассуждений, стоят логические формы. Однако, именно «стоят за», образуют фон, *подразумеваются*. Ибо когда мы начинаем выстраивать наше мышление по всем требованиям логики, мышление как познание заканчивается. В процессе же познания, в динамике осмысления слово опирается на внутреннюю форму, позволяющую соотносить предметность и логичность с целью изложения. Вот здесь, по Шпету, и формируются методологические процедуры. Именно в этой области Шпет и говорит о методе как таковом — о сфере приложения герменевтики. Герменевтика у Шпета не относится к процессу добывания знания, она — не о поисках истины. Она — об «изложении». Так Шпет выделяет ту область, где работают методологические процедуры. И применительно к этой области он рассуждает на методологические темы — о значении, о соотношении предметных областей различных наук и прочих собственно методологических сюжетах. Иными словами, рассуждает о том, как, какими логико-языковыми средствами в ходе изложения ученый осуществляет выбор способов номинации. И в этом плане понятие стиля научного мышления представляется весьма эффективным средством конкретизации условий такого выбора.

По Шпету, слово имеет неопределенное значение лишь до тех пор, пока не ясна цель его употребления, как только цель определена, значение становится единственным. Обращение к понятию «внутренней формы слова» в культурно-исторически ориентированной эпистемологии позволяет уточнить условия единственности значения в научно-познавательной деятельности — условия внутриязыковые и условия культурно-исторические, стилистически удерживающие познавательный контекст через осознание экзистенциально значимых смыслов познания, освященных и ориентированных культурой и историей.

В. Н. Порус

Социально-эпистемологический взгляд на культурно-историческую психологию

Прежде всего — о моем восхищении Владимиром Петровичем Зинченко. Его присутствие (Dasein) в отечественной и мировой психологии делает эту древнюю науку прекрасно юной, как он сам, какой бы возраст ни приписали ему биографы. Он дал Психологии возможность ощутить не только свою близость Культуре и Истории, но и родство с Поэзией, а эту заслугу нельзя переоценить. Ему в пору самая почетная мантия, но, Бог мой, как он далек от всякой чопорности, как умеет шуткой, улыбкой, одним прищуром глаз освобождаться от ритуалов, условностей — и заключать свою мысль в никогда не скучную, ироничную, зовущую к спору форму!

Культурно-историческая психология, как он любит напоминать, возводит свою родословную к платоновскому «Федру». Но если говорить о ее нынешнем облике, она носит явный след личности юбиляра... Нет, не буду повторяться. Только замечу, что ей свойственно поэтическое по сути и форме устремление к горизонтам своего предмета, если угодно, «трансцендирование» (сия ученость — из подражания ироническому стилю Владимира Петровича, а не пушей важности ради). Поэтому так трудно втиснуть ее предмет в жесткую упаковку дефиниций. Все же определения даются. Вот, например, из «Большого психологического словаря»: «Культурно-историческая психология сфокусирована на глобальной проблеме роли культуры в психическом развитии как в филогенезе (антропогенезе и последующей истории), так и в онтогенезе»; «Ее задачи вполне можно сформулировать в терминах культурно-исторической психологии в версии Л. С. Выготского, как разработку и овладение знаковыми средствами, которые превращают память из натуральной психической функции в культурную, в том числе высшую психическую

функцию»¹. Как заметили авторы, к подобным определениям, да и к самой статье, где они приведены, надо относиться *cum grano salis*, ибо она, статья, «не претендует на большее, чем быть средством предварительной ориентации в предмете»². Пусть так, но уже ясно: речь идет о главных проблемах, задачах и целях культурно-исторической психологии, иногда — о средствах, используемых ею для достижения своих целей, но вы нигде не найдете указаний на какие-то пределы, границы, разделяющие (а не соединяющие) культурно-историческую психологию с другими областями психологического знания. Напротив, почти всегда читателю дается понять, что эти границы можно перейти, преследуя свои цели и за ними.

В другой работе В. П. Зинченко культурно-историческая психология названа «органической психологией» и это не случайное соединение терминов. «Культурно-историческая психология действительно органична культуре и цивилизации, культурной антропологии, образованию, психологии искусства и искусству, психологии развития, детской и возрастной психологии, психологической педагогике, физиологии активности (психологической физиологии), нейропсихологии, психолингвистике и нейролингвистике, психоанализу, патопсихологии, психотерапии, дефектологии, социальной психологии, инженерной психологии и эргономике и т. д.»³. Что такое — эта «органичность»?

Во всех перечисленных исследовательских областях смысловым средоточием является человек, предстающий в разных «измерениях» и «аспектах», связанных с его психической жизнью. Последняя понимается не как то, что проистекает из природной данности, но как то, что образуется как собственно человеческое в определенных условиях, среди которых важнейшее — культура в ее историческом движении.

Из этого следует, что понятия, какими оперирует психология (психическое, личность, субъект и др.), значимы, если они погружены в смысловую ткань рассуждений о культуре и истории, соединяясь с ними в единое целое. Их единство органично, поскольку смысл каждого из них определен смыслами всех остальных и не может быть без искажения вычленен из целостности⁴.

¹ Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г. Культурно-историческая психология // Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Большой психологический словарь. М., 2003.

² Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г., Рубцов В. В., Марголис А. А. К авторам и читателям журнала // Культурно-историческая психология. 2005. № 1. С. 9.

³ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 19.

⁴ «Органичность» здесь противопоставлена механистическому объединению понятий в некую систему, которую можно «разбирать» на части, рассматривать их порознь, находить «стыкующие» моменты, чтобы вновь сложить в некое целое, если это зачем-нибудь нужно.

Является ли «органическая психология» теорией, удовлетворяющей известным критериям А. Эйнштейна: «внешнему оправданию» и «внутреннему совершенству»? Эти критерии были сформулированы для естественнонаучных теорий, но их применение к гуманитарному и социальному знанию вызывало и вызывает ряд вопросов и возражений. Есть и контрвозражения, хотя при этом самому понятию эксперимента придается расширенный и гибкий смысл. Все же я не хотел бы далее углубляться в эту проблему, поскольку понадобилось бы слишком много непродуктивных усилий, чтобы выпутаться из дискуссий о научности психологии, в которых, признаюсь, не нахожу интереса, особенно, если эти дискуссии ведутся на заезженных колесах редукционизма⁵. Можно сойтись на том, что культурно-историческая психология является «органической», если «внешним» оправданием для нее служит успешное объяснение фактов, составляющих предметное поле для перечисленных выше психологических теорий. Но внутреннее и содержательное оправдание этого названия остается, как признает В. П. Зинченко, проблемой⁶.

Я понимаю эту проблему так (не знаю, согласится ли со мной В. П. Зинченко). Культурно-историческая психология — теория, соединяющая понятийные ряды по крайней мере трех сфер: психологии, истории и философии культуры, взятой совместно (чтобы здесь не делать различий, полезных только, если они относительны⁷) с культурологическими дисциплинами. Сплавляются ли эти ряды в смысловое единство или сохраняют свои «суверенитеты» и дисциплинарную специфичность? Иначе сказать, могут ли такие понятия, как «культура», «история», «социально-культурное развитие» или «цивилизация», войти в рабочий словарь психологии, а такие, как «личность», «душа», «индивид», «психика» — получить интерпретацию в терминах культуры и ее истории? Здесь уже методологические компромиссы или расширения смыслов не к стати: либо культурно-историческая психология есть теория, синтезирующая эти ряды, либо она поселяет составляющие их понятия в некое «общезитие», образуемое для каких-то преходящих целей.

Возможно, ключ к ответу надо искать, исследуя взаимозависимость изменений, происходящих в указанных областях знания, а

⁵ См. об этом мою статью: Порус В. Н. Как объяснять? Знак развилки на пути психологии // Методология и история психологии. Т. 3. Вып. 1. 2008. С. 88–97.

⁶ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М., 1997. С. 19.

⁷ См. об этом: Порус В. Н. Культурная самоидентификация как проблема эпистемологии // Философия познания. К юбилею Людмилы Александровны Микешинной. Под ред. Т. Г. Щедриной. М., 2010. С. 130–150.

также в культуре и цивилизационных структурах. Главным моментом таких изменений является роль и место человека. В конечном счете, все центрировано вокруг человека: от того, каким смыслом наполняется это понятие, зависит приемлемость или неприемлемость выводов конкретных наук о нем; более того — смысл, который мы вкладываем в понятия «культура» и «цивилизация». Но в то же время смысл понятия «человек», в свою очередь, зависит от смыслов этих понятий. Поэтому содержание культурно-исторической психологии не может «возноситься» над процессами, происходящими в культуре, формулируя положения, истинность которых якобы устанавливается (или опровергается) независимо от них.

Такая, безусловно философско-методологическая, позиция выступает как теоретическая установка, реализуемая в культурно-исторической психологии. Является ли она эксплицитной частью культурно-исторической психологии как научной теории? Этот вопрос — частный по отношению к более общему, сформулированному выше. Повторю: как возможно соединение понятийных рядов философии культуры, истории и психологии в единой теоретической системе?

* * *

Пытаясь ответить, я прибегну к аналогии, какая, на мой взгляд, имеет место между культурно-исторической психологией и социальной эпистемологией. Недавно я имел возможность назвать последнюю *Мостом Интерпретаций*⁸, имея в виду следующее. Она, с одной стороны, ставит философские тезисы в зависимость от социологических фактов, образующих контекст познавательных процессов, а с другой — результаты социологических исследований этих процессов подвергает философской интерпретации. Таким образом, ее можно сравнить с мостом, перекинутым от философии познания к специальным наукам о познании, а обоюдное удовольствие от встречи на этом мосту измеряется свежестью впечатлений философов от путешествия по океану фактов и согласием социологов считать философские интерпретации удовлетворительными и успешными. Но получить такое удовольствие не просто. Можно ли надеяться, что встреча двух исследовательских процессов — философии познания и социологии познания — приведет к их «синтезу»? Или же участники встречи, испытав определенные чувства друг по отношению к другу (не факт, что эти чувства суть *взаимо-*

⁸ Порус В. Н. На Мосту Интерпретаций: Р. Мертон и социальная эпистемология // Социология науки и технологий. 2010. № 4. С. 102–115.

*проникновение и взаимоположение*⁹), все же остаются при своих интересах и убеждениях, не помышляя ни о каком «синтезе»? Тогда для чего же нужна социальная эпистемология?

Простейший ответ в том, что она решает практическую задачу: вместо того, чтобы спекулировать вокруг «вечных» гносеологических проблем, не лучше ли с приятностью расположиться в рамках конкретных case-studies, а если будут получены какие-то интересные результаты, пересказать в более конкретных и точных терминах сами эти проблемы? Но лишь только вопрос из теоретического превращается в практический, возникают практические же трудности.

Во-первых, кого и как убеждать в полезности и значимости подобной практики? Ведь социолог может и не явиться на встречу с философом на Мосту Интерпретаций, сочтя это пустой тратой времени. Более того, он может заявить, что он-то и занимается *настоящей* (т. е. дающей конкретные результаты, а не ворох спекуляций) философией познания, если уж кому-то угодно держаться за этот *устаревший* термин. Сегодня легче найти охотников до таких встреч среди философов, в сообществе которых все больше агитаторов за специфическое *обновление* философских методов и самой философской проблематики, после которого, по правде сказать, если и можно отличить философию от специальных наук, то лишь по сугубой вторичности и дилетантизму ее текстов. Но в таком случае уже вряд ли можно говорить о каком-то синтезе, скорее — о добровольном (или не очень) растворении эпистемологии в коктейле из специально-научного знания, включающего и такой ингредиент, как социология познания.

Во-вторых, если все же такие встречи нужны, надо принять во внимание, что Мост, на котором они назначаются, ощутимо шатается. Одна из его опор — философия познания — принципиально плюралистична. Существует множество различных философских концепций, часто решительно несогласных друг с другом в интерпретации фактов и результатов, которые поставляют специальные науки. Другая опора — область фактов — также шатка, ибо никаких «чистых фактов» и «эмпирических обобщений», свободных от теоретических интерпретаций, специальные науки о познании дать не могут. Информация, которая была бы, допустим, свободна от таких интерпретаций, никакого интереса для философии не представляла бы, а следовательно, Мост мало подходил бы для рабочих контактов.

⁹ Эти исполненные эротизмом термины заимствованы из жаргона, каким некогда пользовались для описания взаимодействия диалектических противоположностей; здесь они — лишь еще одно подражание ироническому стилю В. П. Зинченко.

Поэтому надо заключить, что на Мосту происходит не идиллическое братание философов и социологов, а *конкуренция* философских интерпретаций социологических, исторических (например, историко-научных) и социально-психологических данных. Чтобы превзойти конкурентов, приверженцы тех или иных философских интерпретаций иногда, скажем так, сбегают на тот берег, где Мост опирается на данные, собираемые учеными, исследующими процессы познания, заимствуют у них эти данные (а то и сами подключаются к их сбору), а затем, возвращаясь на Мост с полезным грузом, используют его в качестве дополнительной аргументации или улучшают интерпретативные концепции (ремонтируют вторую опору), например, уточняя их, внося какие-то дополнения и изменения. Без такой работы в конкуренции не преуспеть. Но происходит это тогда, когда (1) конкуренция действительно имеет место, т. е., когда работают различные (и даже принципиально различные) интерпретативные концепции (нет монополии на интерпретацию, наличие каковой свидетельствовало бы только о том, что в спор вмешались некие внешние силы, например, политические, подавляя оппонентов и прекращая конкуренцию в интересах одной из сторон), и (2) в этой конкуренции выявляются слабости ее участников, например, когда та или иная концепция подвергается слишком внушительной критике, хуже других справляется со своими функциями (например, с функцией объяснения фактов) и потому вынуждена все чаще и все беспомощнее оправдываться, а не наращивать свой экспланативный потенциал.

Особо примечательны те ситуации, в которых на конкуренцию интерпретаций оказывают наибольшее влияние не факты, и не «имманентные» характеристики интерпретирующих концепций, а изменения, происходящие в умонастроениях конкурентов (например, отражающих какие-то заметные и даже решающие изменения в культурном контексте). Такие изменения можно рассматривать как «социально-культурный заказ», воспринимаемый как фактор перемен в понимании того, что без такого заказа понималось бы иначе. Например, в социально-эпистемологических исследованиях науки, в зависимости от того, какой «образ науки» (прежде всего оценка профессиональной, нравственной и социальной ответственности ученых, но также и методологические характеристики науки) востребован «духом времени», именно этот образ и формируется так, словно он выводится из фактов, относящихся к работе научных институтов, школ, отдельных ученых и т. д.

Получается, что факты, интерпретируемые таким образом, работают на создание представления о науке (или шире — о позна-

нии как таковом), которое выполняет роль *мифа*. Он нужен прежде всего для того, чтобы поддерживать устойчивость культуры, время от времени колеблемую историческими изменениями, в том числе трансформациями смыслов «культурных универсалий». Характерная особенность подобных мифов в том, что они «облачены в научные тоги», но отличаются своей «ангажированностью», подчиненностью философски определяемым целям.

Например, Р. Мертон объявлял факты, свидетельствующие, что реальное поведение ученых значительно отличается от «нормативного»¹⁰, признаками некой «амбивалентности»: ученый может и должен находить разумную середину между различными, даже противоположными модусами поведения, не впадая в крайности, но и не уклоняясь от существа дела: поведение должно быть таким, чтобы оно способствовало «нормальному» развитию науки, а не тормозило его¹¹. Но миф о «Большой науке» оставался для Мертона позицией и ценностью, расставаться с которыми он не хотел и не мог. Когда требовалось, он вносил в него добавления и «уточнения», а некоторые из них получили не меньшую известность, чем «нормы этоса». Например, «эффект Матфея», ставший хрестоматийным в социологии познания: маститый ученый и малоизвестный труженик науки за одинаково значимые результаты получают отнюдь не равное вознаграждение (как в виде почестей и признания со стороны научного сообщества, так и в виде различных выплат)¹². Так устроен мир (и ведь не только научный!), ничего не поделаешь, да и делать не надо, ведь это не мешает, а скорее, даже помогает «правильно» или «успешно» развиваться научным (и не только!) институтам. «Признание со стороны сообщества может служить личной заинтересованности ученого в получении материальных и моральных благ, однако добиться его можно только путем скрупулезного соблюдения норм научного этоса»¹³. Вот и все, и не

¹⁰ Концепция «нормативного этоса науки» Р. Мертона хорошо известна, поэтому здесь я ограничиваюсь только беглыми ссылками на нее. См.: *Merton R. The Institutional Imperatives of Science // Sociology of Science. Ed. by B. Barnes. L., 1972. P. 65–79; Merton R. The Normative Structure of Science // Merton R. The Sociology of Science. Chicago, 1973. P. 267–268; Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.*

¹¹ См.: *Merton R. The Ambivalence of Scientists // Science and Society. Ed. by N. Kaplan. Chicago, 1965.*

¹² *Merton R. The Matthew Effect in Science // Science. 1968. Vol. 159. P. 56–63; Merton R. The Matthew Effect in Science, II. Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property // ISIS. 1988. Vol. 79. P. 606–623.*

¹³ *Конов В. И. Принципы научного самоуправления в современной социологии науки // Философские науки. 2007. № 4. С. 3.*

стоит, право, слишком задумываться над тем, что означает «скрупулезное соблюдение норм». В этом вообще суть мифа, он безучастен к критике — пока он нужен. А он действительно нужен, ибо вдохновляет тех, кто верит, что наука тем функционально успешнее, чем в большей степени ученые следуют нормам этоса.

Когда же приходит пора новых мифов (а чтобы они вошли в силу, надо опрокинуть старые!), на интерпретативную схему Мертонна сыплются упреки: она, де, неправильно (упрощенно, утопично и т. п.) описывает и объясняет действительность науки. Для примера можно взять критику мертоновской концепции И. Митроффом. В 70-х гг. прошлого века он опубликовал данные, полученные при изучении действий группы ученых-селенологов и свидетельствующие, по его мнению, о том, что этос успешного научного коллектива прямо противоположен тому, какой Мертон считал свойственным науке как таковой (вместо «универсализма» — «партикуляризм», вместо «бескорыстности» — «скарденность», вместо «организованного скептицизма» — «организованный догматизм» и т. п.)¹⁴. Вряд ли разумно трактовать этот вывод в том духе, что за тридцать лет после работ Мертонна нормы этоса ученых сменились на противоположные и более тщательный (или более добросовестный) социологический анализ эти изменения зафиксировал. Скорее, дело в том, что философская интерпретация социологических данных (влияющая, конечно, и на отбор последних) у Митроффа иная, нежели у Мертонна. И не случайно, что именно в эти годы усилились философские дискуссии, в которых громко звучали голоса критиков «классического» идеала науки (П. Фейерабенд и др.).

Когда напряжение дискуссий спало, пришло время иронической критики *любых нормативных изображений науки*. Чего стоит эта нормативность, если так легко заменить нормы «антинормами», т. е. показать удручающую симметричность положительных и отрицательных модусов поведения ученых? И вообще, о нормативном этосе как факторе функциональной успешности науки, казалось бы, пора забыть, когда наступают тяжкие времена для науки в целом или для отдельных ее отраслей, как это случилось в России после того, как рухнула система имперского патронажа, резко упало финансирование и наука беспомощно ввалилась в дикий рынок со всеми скорбными последствиями.

Но в ситуации общего функционального кризиса науки, как это ни парадоксально, именно поведенческие нормы ученых остаются более или менее стабильным условием выживания и даже порожда-

ют кое-какие надежды на выход российской науки из коматозного состояния. Возможно, в ситуации кризиса (а не при относительном благополучии) «бескорыстие» ученых как принцип этоса проходит решающую проверку, и над этим уже не так легко иронизировать. Здесь не стоит ссылаться на отдельные факты. Конечно, их не трудно подобрать так, что «нормативный этос» станет беспомощной мишенью для глумления; но, возможно, именно те, не такие уж редкие, случаи, когда ученые соблюдают эти нормы, хотя это и выглядит совершенно невозможным, оставляют надежду на то, что российская наука имеет достойную перспективу.

Мифы о науке, лишенной нормативных ориентиров, науке, едва ли не более аморальной, чем общество, в котором она существует, пришли на смену мифу о науке как о модели нравственного и действительно демократического общества, когда нужно было снять флер оптимизма, чтобы не оставаться в положении обманутых глупцов. Но проходит время, и они перестают выполнять свою культурную роль, ибо с такими мифами нельзя надеяться на будущее.

* * *

Посмотрим теперь, работает ли аналогия между социальной эпистемологией и культурно-исторической психологией. Не нужно сверхъестественных усилий, чтобы увидеть, как *психологические явления* подвергнуты в ней *философской интерпретации*. Например, возьмем такое психологическое состояние как чувство *доверия*. Можно умножать нюансы этого чувства: от осознания своей слабости и неполноты знания и действенных сил, понуждающего полагаться на чужую силу, знание и решимость действовать, до присущего человеку убеждения в том, что с другими людьми его соединяет природная необходимость в солидарности и взаимопомощи, которая преобладает над чувством покинутости и страха перед чужой волей. Доверие, как и недоверие (дефицит доверия, страх перед иллюзией доверия), можно рассматривать «в ряду защитных механизмов психики», выработанных в ходе жизненной практики¹⁵. В любом случае, это чувство, интенсивность и качество которого является существенной характеристикой личности. Но каков собственно психологический смысл понятия «личность»?

В. П. Зинченко часто подчеркивает, что такого общепринятого среди психологов понятия нет и, может быть, это даже очень хорошо, ибо «пока психологи не пришли к соглашению по поводу определения личности, она может чувствовать себя в относитель-

¹⁴ Mitroff I. The subjective side of science. A psychological inquiry into the psychology of the Appolo Moon scientists. Amsterdam, 1974.

¹⁵ Белянин А. В., Зинченко В. П. Доверие в экономике и общественной жизни. М., 2010. С. 14.

ной безопасности»¹⁶. Вот заявление, настораживающее методолога, приученного к строгости и точности научных дефиниций. Хорошо, пусть нет такого определения личности, какое удовлетворяло бы приверженцев различных психологических теорий, но уж в рамках одной из них, например, культурно-исторической психологии, даже возможность такого определения — почему она-то вызывает опасения? И как отнестись к таким высказываниям: «Личность — это таинственный избыток индивидуальности, ее свобода, которая не поддается исчислению, предсказанию, ее чувство ответственности и вины. Согласно А. Ф. Лосеву, личность есть чудо и миф. Она едина и цельна. Как говорил М. М. Бахтин, личность не нуждается в экстенсивном раскрытии. Ее видно по жесту, слову, взгляду»¹⁷? Ведь подобные «определения», уместные в поэтических или философских текстах, в научно-психологическом выглядят некой причудой, вольностью, простительной разве потому, что они все-таки порождают некие ожидания — вот закончится поэтическая или философская «преамбула» и начнется собственно научно-психологическое исследование, а уж тогда без *дефиниции личности* не обойтись¹⁸.

Однако эти ожидания напрасны. Не из нарочитой небрежности или оригинальничания, а исходя из самой сути культурно-исторического подхода к психологическим фактам и явлениям, В. П. Зинченко настаивает: «Личность — это не титул, а призвание, предмет восхищения, зависти, ненависти, предмет незаинтересованного художественного изображения, но не предмет формирования, тестирования, манипулирования. Она проявляет себя в поступке, в диалоге. <...> Личность избыточна в своих проявлениях, действует над порогом ситуативной необходимости, неадаптивна, ее активность невыводима из социального и несводима к нему, поэтому на личностях держится мир»¹⁹. Разумеется, это — не дефиниции. В текстах В. П. Зинченко поэтические, философские, художественные описания, зарисовки, намеки и метафоры — фон для основной идеи: понятие «личность» есть смысловая сердцевина понятия

¹⁶ Там же. С. 27. «Д. Б. Эльконин как-то сказал, что, просмотрев около двадцати определений личности в нашей литературе, он пришел к заключению, что он не личность». Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М., 1997. С. 16.

¹⁷ Белянин А. В., Зинченко В. П. Доверие в экономике и общественной жизни. М., 2010. С. 26.

¹⁸ Подобные требования и ожидания — забор, отгораживающий исследователей личности от соблазна или опасности придать своим исследованиям личностный характер. О таких исследователях Зинченко иронически замечает: «Создается впечатление, что число диссертаций, написанных и защищенных по проблематике личности, существенно превышает число личностей, их написавших и защитивших». Там же. С. 27.

¹⁹ Там же. С. 28.

«культура», и без понимания этого психология может до изнеможения блуждать в дебрях «дефиниций», так и не ухватывая собственно человеческого в этом понятии, сводя его на частности и аспекты.

То же относится и к любым характеристикам личности, попадающим в фокус внимания культурно-исторической психологии. Так, доверие — это чувство, несводимое на максимизацию собственной выгоды и/или минимизацию риска, особая (стереотипная) форма поведения, концентрирующая в себе ценностные установки, характерные для личностей, чье взаимодействие определяет культуру и определяется ею. Каковы эти установки, каковы ценностные ориентиры личностей, испытывающих или утрачивающих доверие друг к другу, какова культура, определяющая эти ориентиры и определяемая ими — таковы и психологические характеристики доверия, такова типология этого психологического состояния.

Теперь понятно, почему культурно-историческая психология избегает остроты дефиниций. Втискивая то, «на чем держится мир», в фанерные ящички, психология может получить вместо «личности» некий препарат, похожий на личность, как восковая кукла на живого человека. То же можно отнести и к «дефинициям» культуры. Вообще говоря, в рассуждениях В. П. Зинченко о культуре, как и о личности, заметен, так сказать, «апофатический» стиль: человеческая личность — не губка, впитывающая соки культуры, культура — «не движущая сила, не детерминанта развития»²⁰, не среда, в какую помещается человек с его психической и духовной жизнью и рассматривается как носитель свойств, необходимых для приспособления к этой среде, а будучи «извлечен» из нее, все же остается человеком, хотя и с другими, не зависящими от данной среды, психическими характеристиками. Культура не складывается из людей, их мыслей, действий и оценок, как автомобиль из комплектующих частей. Эта «машинная аналогия», если бы она могла быть принята, вела бы к стратегии *формирования человека* (его духовного строя) как «запчасти» для культуры с известными и заранее спланированными качествами (со всеми ассоциированными с этой стратегией опасными извращениями)²¹.

²⁰ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М., 1997. С. 20.

²¹ «В любой науке присутствует как культурная, так и цивилизационная компонента, когда в науке начинает преобладать цивилизационная, она перестает быть неотъемлемой частью культуры, возрождается социальный детерминизм, нарастают прикладные устремления. Не является исключением и психология. Человека ведь тоже рассматривают как машину, как вещь и манипулируют им как вещью. Когда в этом принимает участие психология, она перестает быть культурной, хотя, возможно, остается исторической в достаточно сомнительном смысле слова». Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Шедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010. С. 247–248.

Культура — не сила, выделяющаяся из природного человеческого материала нечто подобное своим образцам, взаимодействие личности и культуры не есть односторонний процесс наполнения внутреннего (интеллектуального, душевного, духовного) мира человека содержанием, оформленным в соответствии с культурными принципами (универсалиями), тем более — не приспособление этих универсалий к индивидуальным потребностям, устремлениям и притязаниям вместе с их соответствующими толкованиями.

Когда же разговор переходит на «катафатику» личности и культуры, то выясняется, что отдельных и исчерпывающих дефиниций того и другого дать нельзя или почти нельзя. Позитивный принцип здесь прост: культура зависит от человека так же, как человек от культуры. «Человек в целом и любая форма его поведения могут получить сколько-нибудь вразумительное объяснение только в контексте существующей в том или ином обществе культуры и истории. Культура как бы предоставляет человеку инструментарий, соответствующее материальное и духовное оборудование для его поведения и деятельности. Овладевая культурой, человек одновременно овладевает собой и своим поведением, становится человеком»²². В. П. Зинченко часто повторяет афоризм М. К. Мамардашвили: культура — это усилие человека быть человеком²³. Прекрасно сказано, но формула требует разъяснений. Что значит — быть человеком? Что поддерживает в человеке тягу к культуре, что делает его усилия целесообразными, что не дает угаснуть этим усилиям? Что очеловечивает культуру? Относятся ли эти вопросы к компетенции психолога или с ними нужно обращаться к философу?

Вслед за Л. С. Выготским и его последователями, можно назвать культуру «идеальной формой, которая усваивается и субъективируется в процессе индивидуального развития, т. е. становится реальной формой психики и сознания индивида. В первом приближении про-

²² Белянин А. В., Зинченко В. П. Доверие в экономике и общественной жизни. М., 2010. С. 153.

²³ Человек, способный на это усилие и реализующий свою способность, и есть личность. Это заветная мысль С. Л. Франка. Личность, по Франку, это именно тот модус человеческого существования, в котором человеческое и культурное соединены. «Мы не знаем и не можем допустить иного творца и носителя абсолютных ценностей, кроме личности и ее духовной жизни. Воплощение идеала в действительность, образующее сущность культурного творчества, может совершаться, лишь проходя через ту точку бытия, в которой мир идеала скрещивается с миром действительности и творение абсолютных ценностей совмещается с их реализацией в эмпирической жизни; эта точка есть личное сознание, духовная жизнь мыслящей и действующей личности». Струве П. Б., Франк С. Л. Очерки философии культуры // Франк С. Л. Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М., 2001. С. 50.

цесс развития культурно-исторической психологии можно охарактеризовать как драму, разыгрывающуюся по поводу соотношения реальной и идеальной форм, их трансформации и взаимопереходов одной в другую. Актером, а порой, и драматургом является субъект развития. Сцена — его жизнь в мире, или мир его жизни»²⁴. Здесь оставим в стороне вопрос о том, как «объективная идеальная форма культуры» переходит в «реальную субъективную форму психики и сознания». Классически эта важнейшая проблема рассмотрена в известной статье В. П. Зинченко и М. К. Мамардашвили, опубликованной почти четверть века назад²⁵. Обратим внимание на другое.

Понимание культуры как идеальной объективной формы человеческой психики есть не что иное, как *философская предпосылка* культурно-исторической психологии. И то, что культура есть средство и цель развития человеческой личности, — также философское положение. Идея о том, что трансформация культуры в индивидуальную психику совершается через особые медиаторы — мосты между идеальной и реальной формами психического, к которым относятся *слово, символ, знак и миф*²⁶, эти «психологические инструменты», не только стимулирующие реакции и поведенческие акты человека, отвечающие «требованиям культуры», но и вызывающие «внутренние» формы деятельности, обладающие собственной непредсказуемостью и, в конечном счете, работающие на трансформацию культуры, и эта идея, несомненно, является философской гипотезой, обретающей психологический смысл только после того, как на ее основе психологические факты и явления получают соответствующую интерпретацию.

Вообще говоря, в текстах В. П. Зинченко философские и психологические понятия так прорастают друг в друга, что граница между ними почти не удерживается настолько, чтобы привлечь внимание методолога. Создается впечатление, что ему не очень-то интересен вопрос, как и где проходит эта граница, а главное, зачем она нужна, если можно свободно ее пересекать в обе стороны, не обращая никакого внимания на погранзаставы, на которых томятся оставшиеся без дела специалисты по «демаркациям» между наукой и философией. Иногда в его текстах можно встретить «еретические» догадки о том, что это не психология некогда «отпочковалась» (что за нелепый термин!) от философии, а прямо-таки наоборот, философия

²⁴ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М., 1997. С. 20.

²⁵ Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. 1977. № 7.

²⁶ Зинченко В. П. Культурно-историческая психология: опыт амплификации // Вопросы психологии. 1993. № 4. С. 5–19.

есть развитие идущих от древности психотехник и учений о душе²⁷. Но это могло бы возбудить только уж очень ортодоксального историка культуры. Если философские гипотезы и принципы получают реальное содержание в психологическом контексте, а сам этот контекст буквально напоен философией, а также философской поэзией, философским искусством (имена Данте, Шекспира, Пушкина, Блока, Мандельштама, Пастернака, Толстого, Достоевского, Хлебникова встречаются на страницах работ В. П. Зинченко, кажется, не реже, чем имена выдающихся ученых-психологов), то сама идея об упомянутых границах выглядит скучной и непривлекательной.

Теперь аналогия начинает проясняться. Культурно-историческая психология — это действительно встреча философии культуры (вместе с историей культуры и культурологией) с психологией на Мосту Интерпретаций. И опять же следует заметить, что опоры этого моста нестабильны, что, впрочем, не вызывает тревоги у пришедших на эту встречу. Напротив, они радостно ощущают эту нестабильность, она их веселит, вызывает эйфорию и поэтический энтузиазм. Я бы сказал, что культурно-историческая психология — это действительно «веселая наука», если вспомнить этот термин Ф. Ницше. И у кого повернется язык отнести к ней слова Мефистофеля: «Теория, мой друг, суха, но вечно зеленеет жизни древо!»?

Нестабильность опор Моста Интерпретаций — почти та же, что и в случае социальной эпистемологии. Прежде всего, философия культуры, как и философия познания, плюралистична. Тезисы, которые В. П. Зинченко вводит в интерпретативный арсенал культурно-исторической психологии, принадлежат *вполне определенной* философии культуры и могли бы быть оспорены и отторгнуты ее оппонентами, для которых, например, культурные универсалии (принципы ценностных ориентаций) суть фикции (вымыслы), предназначенные для того, чтобы особым образом поддерживать стабильность социальных структур (нельзя же, чтобы «всевидящее око» Левиафана успевало всюду и всегда урвать хотя бы и возможность нестабильности и тут же исправлять положение с помощью полицейских, судебных и армейских). Увы, никакая «вертикаль власти» не может быть вполне надежным средством удержания этой стабильности, ибо сама она нестабильна, в чем легко убедиться, когда дуют ветры перемен. Такая «философия культуры», вытекающая, например, из «фикционализма» Г. Файхингера, имела и имеет множество разновидностей, среди которых и современные постмодернистские концепции

²⁷ Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 20.

с их «симулякрами», «инсталляциями» и «перформансами». Можно составить перечень оппонентов философии культуры, которая привлекает культурно-историческую психологию, связанную с именами Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Д. Б. Элькониной, П. Я. Гальперина, В. П. Зинченко и других ее представителей. Но в этом нет необходимости, уже и так понятно, в чем ее главное отличие от «конкурентов».

Культурно-философская позиция, которая является источником интерпретации психологических фактов и явлений в культурно-исторической психологии, называется «антропоцентрической». «Основной интерес для антропоцентрической теории культуры, которая еще не построена, должны представлять не культура и история, а человек в культуре, человек в истории, человек, который должен превосходить себя, чтобы быть самим собой (курсив мой. — В. П.) <...> Для антропоцентрической трактовки культуры характерно подчеркивание того, что культура — это труд, напряжение, усилие, даже тягостность. <...> Именно такая трактовка культуры необходима психологии и, шире, — наукам о человеке. И именно с позиций такого понимания культуры и оценивается состояние психологии в те или иные периоды ее развития, в частности, является ли сама психология, да и все науки о человеке антропоцентричными»²⁸. Суть именно в этом *центре*. Это не тот человек, знание о коем исчерпывается суммой сведений о его физиологии, процессах, происходящих в коре головного мозга или в каких-либо других органах его тела, природной обусловленности (например, когда даже нравственность или чувство красоты сводят на биологические диспозиции), не человек, как он есть, в его обыденности (каким он предстает, например, в феноменологической социологии), не остаток, полученный после *вычета ориентаций на культурно-ценностные универсалии*. Это человек в его *бесконечной потенции*, реализуемой в трудной духовной работе, без какой ему просто нечего делать в центре размышлений о культуре. Такая философия культуры, действительно, еще не построена, и надо сказать, строительство в наше время сильно заторможено.

Причин тому много, но главная, как я думаю, в продолжающемся и углубляющемся кризисе культуры. Для этого кризиса, вообще говоря, характерен отказ от антропоцентризма в том смысле, в каком это понятие важно для культурно-исторической психологии. Именно поэтому в ряде современных культурно-философских (и соответствующих им психологических) концепциях доминируют функционалистские, структуралистские, конструктивистские или прагматические подхо-

²⁸ Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 19.

ды: ценность культуры, в конечном счете, определяется тем, как она обеспечивает *удовлетворение потребностей* (от *первичных*, телесно-физических, до *высших*, душевно-духовных, но все же стоящих в одном ряду, где само деление на первичное и высшее относительно и условно²⁹). Понятно, что философия культуры, в которой главная мысль — о том, что историческим движком культуры является постоянная *неудовлетворенность* человека тем, что он есть, и стремление «стать больше самого себя», не хватываясь культурных благ, подобно хомяку, закладывающему за щеки избыток пищи, а присоединяясь к их созданию, умножению и сохранению, — такая философия, к сожалению, не в чести, а ее сторонники — не в большинстве.

Но если говорить о преодолении культурного кризиса, то культурно-историческая психология может сыграть в этом весьма важную роль. «Сегодняшние конструктивистские установки связаны с попытками изменить самого человека, поскольку граница между миром и человеком, между “первой” и “второй” природой переместилась в сознание. И попытки сконструировать “мягкий” и “удобный” мир связаны с манипулированием сознанием человека. Поэтому и роль культурно-исторической психологии как интегрирующей психологическую проблематику меняется. <...> Актуальной и острой задачей культурно-исторической психологии в современной нам культуре становится защита человека от манипулирования через понимание гуманитарных аспектов общения, не сводимых к коммуникации»³⁰. Присоединяясь к этой оценке, я только подчеркну, что культурный кризис, как это следует из всего сказанного выше, охватывает прежде всего и главным образом человека, человеческую личность. Поэтому и преодоление кризиса не может быть следствием воздействия каких-то внешних по отношению к личности сил, хотя это влияние, безусловно, важно. Мало защищать человека от манипулирования, абсолютно необходимо «включить» его внутреннюю самозащиту, а это очень непросто, учитывая, что манипулируемое сознание часто испытывает несравненно больший комфорт, чем сознание, сопротивляющееся и поддерживающее высокий уровень собственного достоинства. В этом, как мне представляется, одна из труднейших проблем культурно-исторической психологии: изучение (и поддержание) борьбы самосознания за свою независимость и свободу, сочетающейся с признанием ценностно-культурных универсалий ориентирами ума и действия.

²⁹ Я имею в виду популярную сегодня «гуманистическую психологию». См.: Мас-лоу А. Дальнейшие рубежи развития человека // Вопросы саморазвития человека. Вып. 2. Киев, 1990.

³⁰ Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Шедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010. С. 87.

Вряд ли можно полагать, что эта проблема решается одним только теоретизированием и объяснением психологических фактов. Здесь я еще раз хотел бы провести указанную выше аналогию: культурно-историческая психология, воспринимая импульсы, исходящие от культуры в ее нынешнем состоянии и преобразованные соответствующей философией культуры, интерпретирует психологические факты и явления так, чтобы воздвигнуть и укрепить культуротворческий и антропотворческий миф. Я вполне равнодушен к протестам, каких следует ожидать от записных глашатаев «научности» психологии, как правило трактующих эту научность по шаблонам, заимствованным из арсенала так называемой «классической научной рациональности»³¹. Прежде всего, это, конечно, будет банальное напоминание о том, что наука не поддерживает мифы, а «разоблачает» их. Вдаваться в рассуждения о тонких и совсем не банальных отношениях между научным знанием и мифом я здесь не буду, на эту тему также написаны фундаментальные работы, например, известная книга К. Хюбнера³². Проще напомнить критикам о разных смыслах, в которых здесь употребляется один и тот же термин. И указать, исходя из положений культурно-исторической психологии, на роль мифа как инструмента трансформации культуры, как медиатора между сознанием индивида и сознанием в его идеально-культурной форме.

Здесь важно, что сама культурно-историческая психология не только исследует работу мифа в культуре, но и участвует в этой работе. В ситуации культурного кризиса важна не только работа науки (ее результаты, кстати, совсем не обязательно служат преодолению кризиса, даже если это результаты исследований самого кризиса; все дело в том, как и кто станет использовать их, какие цели будут преследоваться и какими ценностями направляться). Это еще и время соперничества мифов, структурирующих сознание. И если «личность сама есть миф и чудо» (А. Ф. Лосев), то *миф личности* противостоит *мифу обезличенного человека*, функционала от природной и социальной среды, структуры или механизма. Перед психологом (как перед всяким ученым) выбор: на сторону какого мифа он станет со всем своим теоретическим и опытным арсеналом? Я уверен, что В. П. Зинченко свой выбор сделал давно, с тем и вошел в историю отечественной и мировой психологии.

³¹ О спорах вокруг «научной рациональности» и ее типологии написано неограниченное множество текстов; я в меру сил принимал участие в этих спорах, сейчас, кажется, несколько поутихших. Поэтому просто сошлюсь на классические работы В. С. Степина, например: Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2000.

³² Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.

Н. С. Автономова

Две проекции бессознательного и проблема перевода

Впервые я встретила с Владимиром Петровичем Зинченко в Тбилиси в октябре 1979 года — на знаменитом и даже эпохальном международном конгрессе «Бессознательное: природа, функции, методы исследования». С тех пор мне неоднократно доводилось с ним встречаться на конгрессах, на семинарах и просто в дружеском кругу — в России и за рубежом; в последний раз я слышала его выступление осенью 2010 в Хосте на семинаре для российских педагогов, где Владимир Петрович читал лекцию, в которой мощь практика-экспериментатора соединилась с художественным блеском оратора, исподволь подвопившего слушателей к самым сложным проблемам современной психологии и педагогики. Яркость и глубина, оказывается, сосуществуют, а иногда лишь яркость позволяет высветить то, что иначе увидеть невозможно.

Это относится и к проблеме бессознательного, о которой я хотела бы сказать более подробно. В центре моего внимания будет эпизод истории российской психологии, а также российской гуманитарной науки, который актуален и в наши дни. Речь пойдет о проблеме познания сознания и бессознательного и о тех двух «образах» бессознательного, которые мы находим в двух докладах Владимира Петровича для Тбилисского конгресса. Первый — это текст¹, опубликованный в трехтомнике материалов к Тбилисскому конгрессу², второй — доклад на самом конгрессе, впоследствии

Работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ. Проект № 11-03-00011 а.

¹ Зинченко В. П. Установка или деятельность: нужна ли парадигма? // Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Под ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. Т. I. Тбилиси, 1978. С. 133–146.

² Трехтомник трудов вышел за год до конгресса. Эта упреждающая публикация была мудрым шагом организаторов конгресса — российского психолога и нейрофизиолога Ф. В. Бассина (именно ему принадлежит заслуга реабилитации самого понятия бессознательного в российской науке после господства догматической

переработанный³ (будем далее называть их «предварительный доклад» и «доклад на конгрессе»). Идеи этих докладов позволяют нам сейчас многое прояснить и в современной ситуации исследования сознания и бессознательного, в частности, в отношении психоанализа. Эти тексты различны по форме, подходу, общему углу зрения. В одном случае контекст обсуждения — экспериментальный: это опыты с восприятием; во втором — интуитивно-«спекулятивный»: это размышления о роли бессознательного в творческих функциях человеческой психики. Сопоставление этих контекстов позволяет представить в новом свете гипотезу бессознательного, феномены бессознательного и возможности их постижения.

«Предварительный доклад» В. П. Зинченко внешне академичен, но одновременно скрыто полемичен — как по отношению к академической науке, так и по отношению к некоторой романтизации как сознания, так и бессознательного. Владимир Петрович говорил тогда, что изучать бессознательное в «классическом» смысле слова мало продуктивно из-за крайней неопределенности этого термина (само слово «бессознательное» в его статье практически не встречается⁴). Вместо этого он предлагает рассмотреть не бессознательное, но господствующие в советской науке того времени подходы к бессознательному — с позиции установки и с позиции деятельности. Тем самым проблема высвечивалась косвенно — через соотношение теории установки и теории деятельности. В. П. Зинченко предлагает читателю поразмыслить над проведенными им (совместно с коллегами) опытами по исследованию зрительного восприятия: в ходе этих опытов, как бы «помимо субъекта», обнаруживается, что «установка» и «деятельность» связаны друг с другом практически неразрывно, даже если это не всегда присутствует явно. Это выявляется при анализе различных параметров воздействия осознава-

рефлексологии), а также грузинских психологов А. Е. Шерозии и А. С. Прангишвили. С точки зрения официальной власти конгресс представлял повышенную идеологическую опасность, а потому его последствия — для людей и публикаций — были трудно предсказуемыми. См.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Т. I–III. Тбилиси, 1978; итоговый том IV вышел в том же издательстве в 1985 году и был переведен на французский язык.

³ Я пользуюсь вариантом этого текста, опубликованным в последней монографии Владимира Петровича «Сознание и творческий акт (М., 2010. С. 40–53). В. П. Зинченко отмечает, что этот доклад, подготовленный совместно с М. К. Мамардашвили, был переработан им с учетом более поздних публикаций. Я полагаю, что, несмотря на присутствие соавтора, у нас есть все основания судить по этой публикации и о собственной позиции Владимира Петровича.

⁴ Эту позицию он сохраняет и до сих пор. См. его последнюю монографию: Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 239–240.

мых (или же неосознаваемых) установок на осознаваемые (или же неосознаваемые) результаты деятельности.

Для современного читателя здесь нужны некоторые пояснения. Подход Владимира Петровича, в котором изящно соотнесены «установка» и «деятельность», можно рассматривать как своеобразный ответ на «висевшую в воздухе» потребность в марксистской разработке такой теории бессознательного, которую можно было бы противопоставить западным концепциям, начиная с фрейдовской. При этом немалая группа исследователей (особенно грузинские психологи, но не только они) выдвигали на роль марксистского экспликативного аналога идее бессознательного теорию установки — экспериментально фиксируемой предрасположенности к определенному типу действий — восходящую к идеям грузинского психолога Узнадзе⁵. Однако Владимир Петрович в этом своем тексте никаких идеологических (или контридеологических) целей не преследует, у него — другие задачи. Он, можно даже сказать, вообще не рассуждает абстрактно, но описывает и показывает возможности одной теории по сравнению с возможностями другой. Свободно оперируя обоими подходами, он фактически показывает непродуктивность наметившейся в тот период тенденции к *противопоставлению* теории установки и теории деятельности — в частности, в подходах к бессознательному. Для ученого гораздо важнее тезис о *гетерогенности* психической реальности, при которой гипертрофия любого ее компонента — с попытками выведения *всего* из чего-то *одного* — нисколько не приближает нас к научному пониманию того или иного круга явлений.

В данном случае мне важен еще один аспект этой статьи, который прямо не относится к главной идейной коллизии, но заслуживает приоритетного внимания и не случайно вводится в статью как предпосылка всего рассуждения. Это размышление о судьбе общих понятий — в психологии и в научном познании вообще. В истории исследований познания, внимательной к концептуальному оснащению наших мыслей, мы замечаем, что такие понятия, как «деятельность, сознание, личность, установка, бессознательное»⁶, могли обозначать то реальные предметы изучения, то объекты формирования и управления, то объяснительные принципы, с помощью которых люди в разные периоды строили свое понимание психи-

ческого. При этом, отмечает Владимир Петрович, «каждое из этих понятий неоднократно использовалось для объяснения круга явлений, обозначаемых другими понятиями»⁷. Эта полифункциональность и своего рода «круговая порука» фундаментальных категорий и абстракций, которые могут обозначать одновременно или по очереди средства, предметы, продукты, условия познания, — вещь в ряде отношений продуктивная, но одновременно и методологически опасная. А потому без рефлексивной проработки этой концептуальной «сверхнагрузки» или, можно сказать, следуя Л. Альтюссеру, «сверх-определенности», «сверх-детерминированности», познавательного аппарата никакое гуманитарное познание невозможно. И этот вывод важен не только для экспериментальной психологии, но и для теоретического осмысления любой проблемы, связанной с анализом сознания или неосознаваемой психической деятельности.

За всем этим стоит и еще одна важная тема: она относит общие методологические и эпистемологические размышления к проблеме изучения психики, сознания и бессознательного и фокусирует их на проблеме объективности познания. Эта тематика перекликается с идеями совместной статьи В. П. Зинченко и М. К. Мамардашвили «Проблема объективного метода в психологии», вышедшей незадолго до конгресса⁸. В изучении психики, сознания в широком смысле слова нас постоянно преследует дилемма: в погоне за объективностью метода мы теряем психическую реальность, а при акценте на психической реальности отказываемся от объективности анализа. Однако, утверждают авторы, эта дилемма ложная, так как и физиологический редукционизм, и самый возвышенный спиритуализм основаны на общей посылке, только с разными знаками. В обоих случаях мы ищем нечто субстанциональное, а если не находим, то спешим гипостазировать — то ли мозговые процессы, то ли феномены обыденного языка, которые «диктуют» нам те или иные представления о сознании. Общая задача заключается в том, чтобы как можно внимательнее относиться к языку, к предпосылкам рассуждения, к переходам анализа с одного уровня на другой, не допуская внедрения механизмов обыденного сознания с его склонностью к гипостазированию сущностей на уровень теории. Авторы статьи отсылают нас, в частности, к опыту Фрейда и Маркса, к фрейдовской «метапсихологии» и к марксовскому анализу «чувственно-сверхчувственных» предметов. Общий познаватель-

⁵ Разумеется, смысл и значение теории установки вовсе не сводится к этим идеологическим контекстам ее использования, однако ее анализ не входит сейчас в число наших задач.

⁶ Зинченко В. П. Установка или деятельность: нужна ли парадигма? Цит. изд. С. 133.

⁷ Там же.

⁸ См.: Вопросы философии. 1977. № 7 (статья неоднократно переиздавалась).

ный пафос и подход авторов актуальны в применении и к другим областям социального и гуманитарного познания.

Как избежать такой субстанциализации в наших подходах к бессознательному — об этом фактически идет речь в обоих тбилисских докладах В. П. Зинченко, при всех различиях их терминологического оснащения, их концептуального стиля. Если в первом случае бессознательное бралось на полюсе своих экспериментально засекаемых присутствий — в неосознаваемых явлениях психики, как они проявляются в человеческой деятельности, то во второй своей проекции бессознательное предстает в фокусе своих обнаружений в творческих процессах. Доминантой второго подхода становится «деятельно-семиотическая» трактовка сознания и бессознательного: она выдвигается как гипотеза. Как известно, Фрейд считал, что само существование бессознательного подтверждается феноменами вытеснения, и трактовал их подчас несколько натуралистично. В своем докладе на конгрессе В. П. Зинченко совместно с М. К. Мамардашвили выдвигали на первый план семиотическую трактовку бессознательного: это идея *переозначивания, перекодирования и новой шифровки*, выводящая нас к механизмам работы сознания в широком смысле слова. Отметим, что само обращение к бессознательному при изучении творчества или вообще проблемных ситуаций было явлением далеко не редким, однако бессознательное при этом рассматривалось субстанционально — как особое место, содержащее в себе источник озарений и открытий. А потому предложенный на конгрессе подход имел новый исследовательский потенциал в отношении проблем бессознательного и сознательного в широком смысле слова. В этом подходе нельзя не видеть переключку с некоторыми другими подходами, например, с подходом Жака Лакана, о чем мне неоднократно доводилось говорить, в том числе и на Тбилисском конгрессе⁹. В целом выявленный здесь момент переозначивания и перезашифровки в работе психики важен не только для повседневного ее функционирования, но и для выполнения ряда особых функций: например, в процессах запоминания или забывания можно видеть не натуралистический прирост или потерю, но переозначивающий процесс.

Как известно, экспериментальная психология активно вытесняла категорию бессознательного из описаний творческого процесса: редукционистские подходы (реактология, рефлексология, бихевио-

ризм в разных своих версиях) изгоняли из описания бессознательное, но также и сознание — вслед за душой и психикой. Однако избавиться от бессознательного (или сознания в широком смысле слова) им при этом все равно не удавалось, особенно на уровне интерпретации и синтеза, где место сознания или бессознательного занимали «демоны» и «гомункулусы». В подобных случаях указание на бессознательное могло служить защитой от крайних форм редукционизма, косвенно указывая на многоуровневое строение психики, побуждая к отказу от прямолинейных представлений о ее функционировании. Тем самым в наши представления о сознании вводятся *идеи относительности*: оказывается, что в психике протекают процессы разной размерности, друг к другу не сводимые. С одной стороны, это явления, контролируемые и развертываемые в сознании, с другой стороны, явления, такому контролю и развертке не поддающиеся (от почти объективно засекаемых присутствий до практически неуловимых сил и энергий).

Со времен Тбилисского конгресса прошло уже больше тридцати лет. Идеологическая и идейная конъюнктура обсуждения проблем бессознательного изменилась, однако целый ряд вопросов не потерял своей актуальности, тем более, что укрепившийся за это время российский психоанализ, которого в тбилисские времена не существовало, увлечен сейчас клиническими и институциональными вопросами, тогда как проблемы бессознательного — в теоретическом и методологическом ключе — находятся за бортом его внимания. Думается, что вопрос о реальности проблемы бессознательного, о его праве на существование вряд ли стоит сейчас особенно остро. Более актуальным представляется вопрос о познании бессознательного как одного из способов существования сознания, а также вопрос об управлении, формировании, перестройке бессознательного как одного из компонентов сознания в широком смысле. А следовательно, актуальными становятся не столько доказательство специфики бессознательного любой ценой, сколько исследование единства действий сознания и бессознательного в различных обстоятельствах человеческой жизни.

В этих исследованиях, как мне представляется, важное место должна занять проблема *перевода в широком смысле слова*. Она дает общую эвристическую схематику в анализе переходов, переносов между разными уровнями гетерогенных структур человеческой психики и поддерживает как поиск специфики, так и тенденцию к универсализации. Важен здесь для меня и общий контекст соотношения методов различных гуманитарных наук. В известном смысле можно утверждать, что проблема перевода существовала

⁹ Автономова Н. С. О некоторых философско-методологических проблемах психологической концепции Жака Лакана // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Цит. изд. Т. I. С. 418–425.

в культуре всегда, но только сейчас, в ситуации кризиса общения и понимания, она достучалась и до нашего философского и методологического сознания. Тем самым слепое пятно, место вытеснений, становится областью, подлежащей осмыслению и разработке. Применение методологических схем перевода в анализе бессознательного позволяет нам строить несубстанциальное представление об этом странном объекте — и на уровне онтологии, и на уровне познания, а связка с языком и языкоподобными образованиями разворачивает проблему бессознательного в сторону новых возможностей сознательного опыта. Я считаю необходимым ввести категорию перевода в сетку философских понятий, подчеркивая тем самым, что перевод становится неотъемлемым элементом процедур рефлексии и понимания¹⁰ во всем спектре разнообразных форм гуманитарного познания. В частности, применительно к анализу психической реальности возможности категории перевода (в узком и широком смысле) использованы пока недостаточно.

В современной литературе — психологической, психоаналитической и общегуманитарной — проблема бессознательного по-прежнему предстает как сложная и многоаспектная, а само понятие бессознательного — одновременно как многозначное и неопределенное. Оно многозначно, ибо у него много различных денотатов, фиксирующих как поверхностное рассеяние, так и ту или иную меру углубленности при постижении особого, неизвестного предмета «по смежности» с относительно известным — прежде всего с сознанием. Так, в понятии бессознательного особенно очевидно «обыденное» формирование понятия: бес-сознательное, под-сознательное, пред-сознательное суть то, что лежит рядом с чем-то более известным, но не укладывается в его рамки. Бессознательное может быть забытым, автоматизированным, не находящимся в фокусе внимания, в принципе недоступным осознанию и вербализации, относящимся к измененным состояниям сознания (таким, как сон, галлюцинация), к «фоновой» рефлексии, идущей параллельно тетическим, направленным процессам и др.

Когда-то для достижения искомой научности Фрейд стремился отыскать сначала соответствия между нейрофизиологическими и психологическими механизмами; затем — параллели между онтогенетическим развитием индивида и филогенетическим развитием человечества; наконец (и неизменно) важно было обеспечить контроль над эмоциональными процессами в душе пациента, используя для этого своеобразную лабораторию психоаналитического

¹⁰ См.: Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыт философии языка. М., 2008.

сеанса. Критерием научного подхода к психике человека было для Фрейда излечение через осознание — и в этом он был достойным наследником Просвещения. Позднее Фрейд во всем этом усомнился. Соответствия между нейрофизиологическими и психологическими процессами он не нашел, хотя никогда не оставлял надежду на то, что оно когда-нибудь обнаружится. Онто-филогенетическая параллель осталась гипотезой, граничащей с мифом. Надежды на окончательное излечение и надежный его результат предстали как нечто недостижимое, и анализ в принципе протянулся в бесконечность, как об этом свидетельствует одна из самых глубоких и самых последних статей Фрейда «Анализ конечный и бесконечный».

В самом деле, как возможно познание бессознательного? Для сознания бессознательное остается чуждым и постоянно ускользающим, а само бессознательное, собственно говоря, ничего не познает: оно лишь нанизывает противоречивые фрагменты опыта, не подчиняясь ни логике, ни хронологии. Но если нам не удастся толком сравнить разные психоаналитические техники друг с другом, а также психоанализ с другими психотерапевтическими техниками, то значит ли это, что нам остаются одни суждения вкуса? В послефрейдовскую эпоху разные направления философии сознания и философии языка по разным основаниям не принимали психоанализ и его концепцию бессознательного, фактически отождествляя одно и другое. Одни, экзистенциалистско-субъективистские, — из-за неспособности совместить ответственность мыслящего и действующего Я с наличием бессознательных детерминаций; другие, аналитико-позитивистские, — из-за неспособности психоаналитических теорий представить общезначимые критерии общезначимой проверки добываемого таким путем знания.

На каком-то этапе изучение бессознательного стало синонимичным психоаналитической практике и познанию, однако в наши дни эта жесткая связь себя изжила. Из этого не следует, что психоаналитический опыт — за рамками догматики — не порождает новых вопросов. Например, можно задаться вопросом о том, какие универсалии могут быть выведены из психоаналитического опыта. В этой связи представляется, что психоанализ еще не достаточно исследовался как лабораторная ситуация познания — уникальная и вместе с тем доступная типизации¹¹. Но в целом бессознательное как предмет рефлексии и (косвенного) познания может вновь обрести элементы определенной самостоятельности — по

¹¹ Ср.: David-Ménard M. Les constructions de l'universel. Psychanalyse, philosophie. Paris, 1997.

крайней мере, от привычной психоаналитической догматики. По сути, такие выходы делаются и в самом психоанализе, в частности, теми психоаналитиками, которые одновременно являются философами (особенно, во Франции). И тогда учет бессознательной компоненты психического опыта может прояснить что-то в целом ряде вопросов, например: какими аффектами направляется познание? Как построить связный язык для описания душевного опыта, который бы помогал учитывать как конфликтность собственных побуждений, так и синергетические перспективы взаимодействия сознательных и бессознательных компонентов психики и сознания в широком смысле слова? Подобно тому, как мы не можем увидеть себя полностью, не имея зеркала, так рефлексия, связанная не с образом, но с вербализацией опыта переживания, требует присутствия другого, который обеспечивает нам «возвраты» нашей речи на слабо контролируемых сознанием уровнях. Такое осознание — это еще не излечение, как думал Фрейд. Но это может быть хотя бы шагом к структурированию представлений, фантазий, образов собственного тела, образов ближайших других, в результате которого человек — в каком бы душевном состоянии он ни находился, учится быть «другим».

Реабилитация бессознательного, произведенная на Тбилиском конгрессе, была важным шагом вперед, но она, как известно, не была реабилитацией психоанализа в качестве теории и еще менее — практики. Однако нынешняя российская ситуация, фактически снявшая все ограничения с психоаналитической практики, притормозила и, кажется, вовсе остановила теоретические и методологические размышления о бессознательном. Хотелось бы надеяться, что это затишье не даст заглухнуть в этой области тем традициям, которые у нас, к счастью, есть, и не закроет те познавательные перспективы, которые можно открыть, изучая это наследие. Особенно, если — как в данном случае — речь идет об идеях экспериментатора и созерцателя, ученого и философа в одном — и очень симпатичном — лице.

Т. Г. Щедрина

Понятие «личность» в текстах Густава Шпета: аспекты значений и контексты употребления

Разумеется, недостатка в определениях личности мы никогда не испытывали...

Личность — это таинственный избыток индивидуальности — ее свобода, которая не поддается исчислению, предсказанию, ее чувство ответственности и вины. Личность, действительно, есть чудо, миф, предмет удивления, восхищения, преклонения, зависти, ненависти; предмет непревзойтого, бескорыстного, понимающего проникновения и художественного изображения во всем многообразии ее индивидуального, культурно-исторического опыта.

Владимир Зинченко

Если посмотреть на историю нашего общения с Владимиром Петровичем Зинченко сквозь призму его концепции медиаторов культуры (слова, символа, личности), то, конечно, для нас таким медиатором стал Густав Густавович Шпет. Его идеи сблизили нас и подружили. Благодаря Шпету я стала проникаться смыслами культурно-исторической психологии, понимать горизонт ближайшего развития Владимира Петровича. Я думаю, что его понимание «философской психологии» коррелятивно содержанию культурно-исторического подхода в методологии гуманитарного познания, о чем мы написали в нашей коллективной монографии¹. Этот подход открывает для гуманитарного познания новые перспективы. При этом для меня, как и для Владимира Петровича, важно, что подход этот опирается на мощную традицию исследования культурно-исторического сознания в русской философии. А это значит, что

¹ См.: Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010.

мы снова возвращаемся к философско-гуманитарным истокам культурно-исторической психологии, к общению русских философов начала XX века, для которых проблематика личности была ключевой.

Иногда культурно-исторический подход упрекают в расплывчатости, неточности. Раскрывая содержательную близость идей Владимира Петровича и Густава Густавовича в трактовке личности, я демонстративно (не декларативно) пытаюсь опровергнуть мнение о расплывчатости культурно-исторического подхода в гуманитарном знании. Для этого я провела своего рода герменевтический контент-анализ, т. е. качественно-количественный анализ содержания текстов Шпета в целях истолкования смысла слова-понятия «личность» и выявления всех аспектов его значений и контекстов употребления. Я называю этот анализ герменевтическим, поскольку он предполагает *понимание* содержания анализируемого слова-понятия, а не только формальный подсчет его присутствия в текстах.

Кроме того, я полагаю, что этот метод соотносится с методом микроанализа, который долгое время использовали в своих экспериментальных исследованиях «викарных действий» Владимир Петрович Зинченко и Наталья Дмитриевна Гордеева.

* * *

Шпет не делает «личность» отдельным и специальным предметом историко-герменевтического исследования, т. е. ни в одном произведении он не рассматривает в качестве предмета историю понимания понятия «личность» в разных культурных эпохах. Он употребляет понятие «личность» и как термин для анализа других философских концепций (Лаврова, Фихте, Гегеля, Герцена и т. д.), и как объект философско-методологического исследования, и как объект самоанализа (в качестве *Selbstevidence*), и как термин для описания социокультурной действительности.

Фактически после обработки частоты встречаемости слова-понятия «личность» («личный») в текстах Шпета можно выделить три смысловых круга этого понятия:

- термин в понимании исследователя (Шпета),
- термин в понимании исследуемого (Лавров, Фихте, Гегель, Дильтей и др.),
- исследовательская (шпетовская в данном контексте) интерпретация термина, употребляемого исследуемым автором.

Важно помнить, что реальность, которую исследует Шпет — это не эмпирическая реальность (в смысле материалистического ее понимания), но реальность сознания (понимания) исторических собеседников, объективированная (выраженная) в их произведениях,

т. е. в *словесной* форме. Поэтому его собственное понимание того или иного термина каждый раз требует особой реконструкции.

Для выявления аспектов значений и контекстов употребления понятия «личность» у Шпета были привлечены его философские тексты, архивные материалы, и эпистолярное наследие. В основном корпусе трудов² слова «личность» и «личный» употребляются Шпетом более 200 раз, что на самом деле не так часто, как производные от этого слова «различный» и «отличный» (частота употребления в четыре раза больше).

Основные аспекты значения понятия *личность* у Шпета таковы:

Понятие *личность* встречается в текстах Шпета в трех аспектах.

Прежде всего *личность* понимается им как «единство сознания», как целостный человек во всех его проявлениях экзистенциальных и интеллектуальных, как лицо (персона). Ср.

«Это значит, содержанием, имеющим свою *не* предметную, динамическую “форму”, — содержание *в движении*, — связанность самого движения (аналогий нет; наиболее близко для понимания, например, единство личности, единство моего Я, — разве это форма, — только очень условно!), динамические отношения между элементами, связанные во времени и пронизанные идеей. И если вдуматься глубже, то окажется, что эти-то акты и составляют не только существенное, но, так сказать, по количеству преобладающее, больше того, всезаполняющее место»³.

² При подсчете слов были использованы электронные версии следующих книг: Шпет Г. Г. История как проблема логики. В 2 ч. (Археогр. работа Л. В. Федоровой, И. М. Чубарова. М., 2002); Конспект доклада Г. Г. Шпета «Социализм или гуманизм» [конец 1917 года — начало 1918]. Реконструкция текста Т. Г. Щедриной // Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематические единство русской философии. М., 2008; Шпет Г. Г. Сознание феноменологическое и реальное. Реконструкция Т. Г. Щедриной // Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010; Шесть томов *Собрания сочинений* Г. Г. Шпета (Отв. ред. сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005–2009):

- Т. 1. Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005.
- Т. 2. Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005.
- Т. 3. *Philosophia Natalis*. Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006.
- Т. 4. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007.
- Т. 5. Очерк развития русской философии. I. М., 2008.
- Т. 6. Очерк развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция. Т. Г. Щедриной.

³ Шпет Г. Г. Язык и смысл. Т. 1. С. 498. См. также: шпетовский анализ индивидуализирующего метода Лаппо-Данилевского. Шпет ставит под вопрос правомерность этого метода, базирующегося на различении «чужого единство сознания» и «личного единства сознания» (термины Лаппо-Данилевского). Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы. Т. 1. С. 375. И еще: Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 267;

Кроме того, под *личностью* Шпет понимает отдельное человеческое я, человеческую индивидуальность, человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности. Ср.:

«Будет ли затем само значение (смысл) сведено к представлению и психическому образу, или психологическая интерпретация выступит как последнее углубление и завершение интерпретации, или психологический “фактор” будет выдвинут как последняя *ratio* самой действительности или как еще — все равно, проникновение в личность и ее жизнь делается, как правило, конечной целью понимания и интерпретации, и мы отойдем назад по сравнению с Шлейермахером — к *психологизму*»⁴.

«Литературоведение интересуется не классификация и *типизирование* психических действий, а характеристика отдельной поэтической личности, ее произведения и исторические связи»⁵.

«Наблюдая явления физического мира, мы всегда должны считаться с органами ощущений, как условиями наблюдения; так называемое личное уравнение в астрономии есть только частный показатель того, что физическое наблюдение есть наблюдение опосредствованное»⁶.

И в словоупотреблении прилагательное «личный» в наибольшем количестве из проанализированных случаев употребляется как индивидуальный. Ср.:

«Философия требует личного самоотречения, но не потому, что ей нужен человек, а потому, что истина не может быть личной. Нечего бояться, поэтому, что философия отнимет личное “дело” и личную “жизнь”. Не человек нужен философии, а философия нужна *человеку*, и он должен отдать *себя* ей, — только через это он может утвердить собственные права человеческой единственности: философия возвратит ему отданное очищенным и просветленным. Преображенный человек, — “философ”, — есть, таким образом, живая связь между истиной и делом: он постигает *единую* истину, но осуществляет свое *единственное* дело. И в этом — педагогическое значение философии»⁷

Или, например, в эпистолярном контексте, в письме к дочери Леноре он рассуждает о проблеме смысложизненных ориентиров:

Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Т. 6. С. 484.

⁴ Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 332. См. также: С. 361.

⁵ Шпет Г. Г. Заметки к статье «Роман». Т. 4. С. 83.

⁶ Шпет Г. Г. Работа по психологии. Т. 3. С. 171. Личное уравнение, термин, принятый в астрономии для обозначения ошибок (погрешностей) наблюдений (измерений), обусловленных физическими особенностями наблюдателя, т. е. личных погрешностей. На основании этого личного уравнения вносятся поправки в полученные им цифры.

⁷ Шпет Г. Г. Мудрость или Разум. Т. 3. С. 361.

«Пока напишу немного. — Хотя, как я говорил, все эти задачи — *личные*, но люди не перестают искать *общего* решения. Дать такое решение претендуют, прежде всего, религии. Но сколько ни есть религий на белом свете, каждая из них утверждает, что только она одна — истинна, а прочие — ложь и суеверье. Общего решения у них нет»⁸

Наконец, *личность*, в понимании Шпета, это человек с точки зрения черт его характера, поведения, общественного положения, т. е. устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих индивида, как члена того или иного общества или общности. Ср.:

«Раз возможны такие мысли и чувства, такие переживания, то что же здесь, значит, *мое* сознание? Но интересно, что и в чисто *личных* высказываниях мы сплошь и рядом подразумеваем не себя *только*. Такие выражения, как “*моя* родина”, “*мое* моральное сознание”, “*моя* служба”, “*мои* политические убеждения” и прочее, не только не указывают на меня как на «собственника», но прямо внушают мысль о моем участии в соборных отношениях, которые тут характеризуются указанием на “пункты”, “объединяющие” некоторое *общное сознание*»⁹

Именно в этом аспекте понятие *личность* рассматривается Шпетом в контексте возможности ее осуществления. Как возможна личность? Только ли как субъект познания и понимания? Фактически *личность* — это пласт социального в человеке, его социальный облик, совокупность социально-значимых черт, характеризующих индивида, как члена того или иного общества или общности. Т. е. некоторый объект доступный научному исследованию. И далее он обращается к Дройзену: «Но если прав Дройзен, что человек, скажем как *личность*, — осуществляется только в общении, в каких бы то ни было формах общения, то он при понимании его тем самым уже перестает быть психологическим субъектом, а становится объектом социальным и историческим»¹⁰.

Основные коррелятивные группы, в которых одним из терминов отношения Шпет ставит личность, таковы:

«личность—социальность (коллектив)»:

«Интерпретация состоит здесь в приведении общих мотивов как единого целого, т. е. как проистекающих из личности или коллектива, и изъяснения по ним данного индивидуального поступка: “текста” в

⁸ Густав Шпет: жизнь в письмах. Т. 2. С. 294.

⁹ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 307.

¹⁰ Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 367–368.

отношении к “контексту” личности. Раскрывая далее мотивы (“основания” интерпретации) поступка или поведения, мы также углубляемся в уразумение личности (нахождение *ratio*), которая, таким образом, опять-таки становится на одну ступень с уразумяемой грамматической интерпретацией и входит, следовательно, с ней в одну реальную цепь, что, со своей стороны, служит для нас также эвристическим приводом к объяснению как методу логического изложения»¹¹.

«личность — язык (слово)»:

«Всматриваясь в “целое”, к которому должно быть приводимо при интерпретации каждое отдельное место, мы можем заметить, что это “целое” может быть, так сказать, двух порядков: мы можем относить данное место к целому языка или также к целому мышления и всей личности автора. Ясное дело, что самый предмет, как носитель смысла, окажется разным в зависимости от того, в каком направлении мы будем восходить к целому: языка или лица»¹².

«В целом личность автора выступает, как аналогон слова. Личность есть слово, и требует своего понимания. Она имеет свои чувственные, онтические, логические и поэтические формы. Последние конструируются, как отношение между экспрессивными формами случайных фактов ее поведения и внутренними формами закономерности ее характера»¹³.

«личность — вещь (предмет)»:

Ср. также понимание отношения «личность — вещь» в контексте обсуждения этого отношения у В. Штерна:

«В. Штерн в своей книге “Person und Sache” (Lpz., 1906) различие “личности” и “вещи” кладет в основу всего философского мировоззрения. Но из всех известных мне определений его определение представляется мне самым неудачным. “Личность”, — говорит он, — есть такое существующее, которое, несмотря [?] на множество [а какое же единство не есть единство множества?] частей, образует реальное своеобразное и самоценное единство и как такое, несмотря [!] на множество частных функций, выполняет объединенную, целестремительную самодеятельность. — Вещь — контрадикторная противоположность личности. Она есть также существующее [как же одно ‘существующее’ контрадикторно противоположно другому, *также* ‘существующему’?],

¹¹ Шнем Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 332. См. также: Шнем Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 275–276.

¹² Шнем Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 327.

¹³ Шнем Г. Г. Эстетические фрагменты. Т. 4. С. 286. Ср. также: Шнем Г. Г. Язык и смысл. Т. 1. С. 608, 609.

которое, состоя из многих частей, не образует реального, своеобразного и самостоятельного единства, и которое, функционируя [как же ‘не реальное’ функционирует?] во многих частных функциях, не совершает объединенной, целестремительной самодеятельности” (S. 16). Если это определение не вовсе лишено смысла, то согласно ему “вещь” есть идеальный или абстрактный предмет, например, десятиугольник, добродетель и т. п., а “личность” — то, что принято называть вещью, например, солнце, земной магнитный полюс и т. п. — Другие определения либо ограничивают понятие “личности” привнесением моральных и юридических признаков, либо расширяют понятие указанием недостаточного числа их, как, например, тожество, самодеятельность и т. п.»¹⁴.

Эти отношения приобретают специфическую окрашенность в зависимости от контекста их употребления. Основные контексты употребления этого термина в текстах Шпета можно свести к следующим: феноменологический, герменевтический, философско-методологический (контекст критики «собственнических» концепций познания), психологический, гуманитарно-эпистемологический, историко-философский, философско-исторический, социально-политический, эпистолярный.

Контексты употребления:

Феноменологический контекст

Понятие *личность* не является центральным в феноменологическом анализе, который проводит Шпет в своих трудах. Оно отходит на второй план, составляя в некотором смысле интеллектуальный фон, на котором разворачивается (в той или иной форме) проблема социальности.

На уровне предметного обсуждения Шпет пытается поставить вопрос о границах феноменологической редукции и относит к сфере трансцендентного и «личность» (понимаемую как предметную сущность):

«Гуссерль разрешает вопрос следующим образом: согласно сказанному выше, феноменология, сосредоточивая все свое внимание на чистом сознании, обращается в своей специфической установке исключительно на *имманентное*. Но в таком случае не только действительность окажется для нее трансцендентностью, но и *не все сущности* останутся в сфере имманентного, напротив, многие из них придется отнести к трансцендентному, именно не только “сущности” материаль-

¹⁴ Шнем Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 271. См. также: Шнем Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 350.

ных онтологий “природы”, но и такие сущности, как “человек”, “человеческое ощущение”, “душа” и “душевное переживание” (переживание в психологическом смысле), “личность”, “свойство характера” и т. п., являются для феноменологии трансцендентными сущностями. Таким образом, получается возможность подвергнуть редукции и предметы материально-эйдетических наук, так как принципиально признано, что никакая трансцендентность не может служить предпосылкой при исследовании и чистом описании чистого сознания, феноменология должна до конца оставаться в совершенной независимости»¹⁵.

Герменевтический контекст

Личность в данном контексте понимается Шпетом как предмет интерпретации, требующий специфического к себе отношения (когда он анализирует разные исторически существующие толкования термина «понимание»). Наиболее отчетливо понимание Шпетом *личности*, как «объективно-социального предмета» проступает в процессе анализа этого понятия у Дильтея, который «в связи с этим и задается вполне законным и давно назревшим вопросом о *научном познании личности*»¹⁶. Шпет повторяет тот же методологический ход, что и в случае с Дройзеном: «“возвышение” личности до степени объективно-социального предмета, о чем я упоминал в связи с изложением взглядов Дройзена, приобретает свой смысл лишь тогда, когда мы понимаем, что такое объективно-социальный предмет вообще, и знаем, как прийти к его уразумению»¹⁷. В связи с этим Шпет ставит знак равенства между понятием личности и понятием собственной индивидуальности и делает вывод, что «проблема познания личности <...> остается все же самостоятельной проблемой, не сводимой к методам интроспективной психологии. И если этот вид познания есть именно понимание, то проблема понимания этим только ставится в своей методологической и принципиальной сущности»¹⁸.

Он ставит в заслугу Шлейермахеру различение двух «моментов», «планов» понимания: «события и лица, личности писателя». Фактически здесь он понимает личность как субъективный план (авторский), коррелятом которого выступает объективный (предметный, выраженный в языке) план понимания. Ср.

¹⁵ Шпет Г. Г. Явление и смысл. Т. 1. С. 82–83.

¹⁶ Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 382.

¹⁷ Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 383.

¹⁸ Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 383–384, 388. И в «Герменевтике», и в «Истории как проблеме логики» Шпет не раскрывает своих фундаментальных оснований, дающих ему право на такого рода критику Дройзена и Дильтея. Но понимание личности как философской проблемы — это сквозная тема творчества Шпета.

«Тогда, ограничиваясь эмпирической герменевтикой и принимая во внимание, что знание языка есть также знание историческое (языка, эпохи, народа и лица), не напрашивается ли само собою другое различие, которое, как увидим, имеет действительно значение первостепенной важности и осветить которое было великой заслугой Шлейермахера, — именно различие в понимании события, исторического факта, и лица, личности писателя. Это уже не «моменты» понимания, а разные его направления и типы»¹⁹.

И уже более развернуто о «персонном понимании» в «Эстетических фрагментах»: «Тут имеет место “понимание” совсем особого рода, — *понимание* в основе своей *без понимания*, — *симпатическое понимание*. Здесь восприятие направлено на самую личность N, на его темперамент и характер, в отличие от характера и темперамента других людей, и на данное его эмоциональное состояние в отличие от других его прошлых или вообще возможных состояний. Это есть восприятие личности N или *персонное* восприятие и понимание. <...> Только теперь восприятие эмоционального состояния N связывается нами не просто с психофизическим состоянием N, а с психофизическим состоянием, так или иначе приуроченным нами к *его* личному пониманию того, что он сообщает, и *его* личному отношению к сообщаемому, мыслимому, называемому, к экспрессии, которую он “вкладывает” в выражение своей мысли»²⁰.

Шпет показывает в герменевтическом контексте значение личности в корреляции к языку: *личность как индивидуальная субъективность*. «Пока мы анализируем сообщение со стороны его объективных условий, автор его, по словам Бека, сам является для нас “органом языка”; но язык есть также “орган говорящего”, и поскольку мы подходим к слову с этой стороны, мы рассматриваем слово как выражение *индивидуальной субъективности*. Всякий сообщающий пользуется речью на свой собственный, особенный лад, модифицирует ее сообразно своей индивидуальности. Речь идет не об интерпретации самой личности сообщающего, так как у нас имеется в виду один и тот же предмет все время — само сообщение “о чем-то”, но, как оказывается по Беку, это не есть и субъективно-психологическая интерпретация, раскрывающая представления, намерения, чувства сообщающего, вызываемые содержанием сообщаемого»²¹.

¹⁹ Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 316.

²⁰ Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Т. 4. С. 212.

²¹ Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 354.

Вот характерный пример объяснения этого положения у Шпета: «И в самом деле, совершенно непонятно, как можно “лучше всего” понять, что такое Пелопонесская война, если мы будем знать и “постигать” генезис произведения Фукидида, сообщающего нам о ней. Самое глубокое проникновение в личность автора, само собою разумеется, ничего дать не может для объяснения событий, о которых сообщает автор, если эти события не суть его собственные деяния. Попытаться понять произведение в его объективном содержании из психологических законов авторского творчества есть самый грубый вид *психологизма*»²².

Философско-методологический (эпистемологический или контекст критики «собственнических» концепций познания)

Шпет критикует понимание *личности* как субъекта, как условия познания, Поставив вопрос именно таким образом, Шпет апеллирует прежде всего к западноевропейской традиции такой критики:

«Вопрос собственно о “личности” был поставлен, разумеется, раньше, и послелокковская философия уделяет ему видное место. Можно было бы подумать еще, что античная и средневековая философия были слепы, но раз вопрос был поднят, значит, философия “прозрела”. И тем не менее мы встречаемся с фактами категорического отрицания непосредственной данности самотождественного я. Уже Лейбниц, как мы видели, указывал на тот факт, что для того, чтобы ему убедиться в тождестве своего я “в колыбели” и в момент полемики с Локком, ему пришлось вспомнить об “отношении других”»²³.

Но, что особенно важно, Шпет обращается и к русской традиции критики субъективизма (В. С. Соловьеву, С. Н. Трубецкому и др.): Он пишет: «И я опять апеллирую к другому русскому философу: “И потому, провозгласив личность верховным принципом в философии, все равно как индивидуальность или как универсальную субъективность, мы приходим к иллюзионизму и впадаем в сеть противоположных противоречий. — Поставив личное самознание исходною точкой и вместе верховным принципом и критерием философии, мы не в силах объяснить себе самого сознания”»²⁴.

Наиболее отчетливо критическая позиция Шпета в отношении субъективизма проявилась в «Сознании и его собственнике», где

²² Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 363.

²³ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 293.

²⁴ Шпет имеет в виду С. Н. Трубецкого. Цит. по: Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 291. См. также: С. 292.

личность не выступает в качестве самостоятельного предмета исследования, но берется как синоним «я», «имярека». Ср.:

«Это — только оборотная сторона названной многозначности термина “я”, когда я оказывается синонимом личности, индивида, души, субъекта, рассудка и пр. Не касаясь пока вопроса о правомерности этих и сходных с ними отождествлений и принимая во внимание только формальные отношения понятий, мы можем подметить, что в целом все значения термина “я” имеют в виду или сферу эмпирического предмета, как личность, душа и подобное, или идеального, как “субъект”, родовое (в логическом смысле) или общее я и т. п.»²⁵.

«Тут приступают к описанию, исходя из ложной в корне предпосылки об *одинаковости я* описывающего писателя, читающего читателя и фигурирующего в качестве примера Ивана или Сократа. Если в чем все эти я и схожи, то только в том, что каждое из них единственное, *unicum*, а потому как раз должно отмечать то, в чем они *неодинаковы*. Между тем, отыскивая сходное и “общее”, писатель говорит уже не о я, своем особенном, не о себе, а о “человеке”, о “личности”, “субъекте”, “душе” и прочем»²⁶.

Шпет видит проблему логико-методологического анализа в том, что «личность» (как синоним я) «обобщению не подлежит». А если и пытаются обобщать, то в таком случае происходит потеря ее индивидуальных признаков²⁷. Ср.:

«Если логика так или иначе, т. е. безотносительно к той или иной теории обобщения, допускает возможность того, что “объем”, — в конце концов, всегда “реальный”, — *сжимается* до идеи, преодолевая пространственную протяженность вещей, то нельзя отрицать возможности такого же “сжимания в идею” временной длительности каждой вещи. Каждая личность или я вполне поддается такой трансформации в “идею”. Как нет ровно ничего нелепого в том, чтобы, например, в Николае Станкевиче или Оливере Кромвеле видеть и социальное явление (т. е. конкретное), и идею (этого конкретного), так нет нелепости наряду с реальным эмпирическим я, Станкевичем, поднять вопрос о

²⁵ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 265. См.: также: С. 271, 275, 281.

²⁶ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 266–267.

²⁷ Шпет констатирует проблему «обезличивания личности» и в религиозном контексте: «Мудрость, таким образом, не только лишает смысла всякую самодеятельность и личный почин, она в самом зародыше убивает интерес к исследованию «сущего», так как до всяких вопросов она уже дает ответ самого Иеговы: “Я есмь Сущий”. И пред лицом Иеговы лицо живого человека — ничтожество; проблема каждого из нас заменяется безличным вопрошанием: “Что есть человек и что польза его? что благо его и что зло его?” (Иис. Сир.), вопрошанием, которое в своем тоне уже содержит готовый ответ: ничтожная малость». Цит. по: Шпет Г. Г. Мудрость или Разум. Т. 3. С. 362.

его идеи. И мы это делаем всякий раз, когда хотим найти и установить для него, для него одного и единственного, *типическое*; мы делаем это точно так же тогда, когда хотим воплотить в поэтический образ некоторое я; и мы делаем это, наконец, когда идею конкретного лица представляем себе как идеал и правило собственного или всеобщего нравственного поведения или религиозного преклонения и подражания»²⁸.

И далее Шпет опять употребляет понятие «личность» как синоним я, но уже в контексте проблемы интерсубъективности. Ср.:

«Во всяком случае, раз вспомнился Лейбниц, напомним его же замечание о необходимости свидетельства *других* для установления “тождества личности”, имрека, например, в колыбели, на поле сражения и на острове св. Елены. Свидетельства самого имрека, следовательно, тут недостаточно, и если предыдущие мои замечания вызовут вопрос: да *кто же* сознает этот предмет *suī generis*, “самого себя”, имрека? — я отвечаю пока: во всяком случае, *не только* я сам, *не только* сам имрек»²⁹.

Шпет осуществляет философско-методологический анализ понятия «личность», т. е. рассматривает это понятие как объект исследования гуманитарных наук (психологии, истории, искусствоведения, литературоведения). Он пишет: «Личность есть объект и термин как психологии, так и истории, — другие значения здесь можно оставить без рассмотрения. Как объект психологии, она рассматривается также в социальной и исторической психологии: личность, личное самосознание в данной социальной и исторической обстановке. Личность в этом смысле берется всегда как нечто в данных условиях времени и места *типическое*. Исторической реальностью в этом смысле личность не является, — никакого *института*, конституции или другой социальной организации такая личность не знает. Есть социально исторические категории гражданина, человека, юридического лица, подданного, совершеннолетнего, правомочного и пр. и пр., но нет “личности”. Другое дело, когда человек как психологически-психофизически — определенная личность является носителем или выразителем некоторой совокупности объективируемых социально-исторических потенций, является сама знаком, интерпретация которого раскрывает нам определенные социально-исторические институты и организации. Личность здесь говорит и действует как социальный фактор, она есть социально-историческая реальность»³⁰.

²⁸ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 269. См. также: С. 270

²⁹ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Т. 3. С. 282. См. также: С. 270.

³⁰ Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 402.

Психологический контекст

Шпет показывает односторонность понимания личности как единственно возможного предмета психологии (психологическая интерпретация *личности* не должна сводиться к субъекту). Он рассматривает личность как «высшую способность уразумения» (различая при этом уразумение и понимание)³¹. Такая интерпретация «личности» позволяет ему сделать вывод о том, что «и в самом деле, психологии не представляет труда допустить, что реальное единство сознания есть не сознание личное, а сознание соборное. →Т. е., я не только *знаю* с самим собою, но и с другими индивидами из множества»³².

И далее: «Личность, как полнота выражаемого сознания, есть полнота соборного сознания, а не индивидуального»³³.

Поэтому в психологическом контексте Шпет обозначит проблему личности («единства сознания») как духовный уклад. Ср.:

«Каждый живой индивид поэтому есть *suī generis* коллектив переживаний, где его личные переживания предопределяются *всего массово* апперцепции, составляющей коллективность переживаний его рода, т. е. как его современников, так и его предков. В целом коллектив переживаний, носимый в себе индивидом, можно обозначить как его *духовный уклад*, и вот в чем мы ищем “значений второго порядка”»³⁴.

Гуманитарный контекст (гуманитарно-эпистемологический)

Определенные трансформации понятие личности приобретает в контексте разработки Шпетом методологии гуманитарных наук: искусствоведение, литературоведение, театроведение. Здесь важнее не значения понятия личность, но проблемы, в контексте которых это понятие употребляется. В контексте методологии гуманитарных наук проблема «личности» приобретает знаково-семиотическую интерпретацию и рассматривается Шпетом как «личина», «внешнее»³⁵, т. е. знак, указывающий, или подводящий нас к значению. Ср.:

³¹ Шпет Г. Г. История как проблема логики: развернутый план III и наброски IV тома. Т. 1. С. 209–210.

³² Шпет Г. Г. Сознание феноменологическое и реальное. Цит. изд. С. 391. См. также: Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. Т. 3. С. 445.

³³ Шпет Г. Г. Сознание феноменологическое и реальное. Цит. изд. С. 391. Примечательно, что понятие «соборное» не имеет у Шпета религиозного содержания, но подчеркивает его «общность» (возникновение в общении людей друг с другом).

³⁴ Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. Т. 3. С. 492. См. также: Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Т. 4. С. 140, 135–136.

³⁵ Ср.: «Человек живет, пока есть у него внешность. И личность есть внешность.

«Лицо субъекта выступает, как некоторого рода *репрезентант*, представитель, “иллюстрация”, знак общего смыслового содержания, *слово* (в его широчайшем символическом смысле архетипа всякого социально-культурного явления) *со своим смыслом* (Цезарь — знак, “слово”, символ и репрезентант цезаризма, Ленин — коммунизма, и т. п.)³⁶. «И мы теперь легко можем убедиться также в *многократности* субъекта, которая вытекает из того, что субъект, как репрезентант, репрезентирует и себя лично в целом, и свой класс, и свой народ, и т. д.»³⁷.

В контексте проблем театральной постановки семиотический характер «личности» проявляется в различении «действительного» («маски-персоны»³⁸) и «действующего» лица. Ср.:

«И, наконец, действующая “сила”, в данном случае “лицо”, “личность” действующая есть не действительная и актуально действующая личность, скажем, Мочалова, Качалова или Щепкина, а “актер” — “личность” безличная, *свое* реальное лицо покидающая за кулисами, в своей уборной, и выносящая на сцену хотя *свое* же, но не реальное, а художественное лицо и свою “роль” вообразяемого лица»³⁹.

Тот же способ интерпретации проблемы личности в разработке методологии литературоведения. Ср.:

«За силою формы скрыто лицо говорящего, форма говорит за себя сама, — сама экспрессия, — экспрессия слова как такого! А в прагматической роли, — если это не штамп, — *лицо и личная экспрессия*»⁴⁰.

Таким значением, на которое указывает «личность», понимаемая как знак, становится, как полагал Шпет, одухотворяющая индивида идея⁴¹, смысл⁴² его жизни.

Проблема бессмертия была бы разрешена, если бы была решена проблема бессмертного овнешнения». Цит. по: Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Т. 4. С. 191.

³⁶ Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Т. 4. С. 486.

³⁷ Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Т. 4. С. 486.

³⁸ Шпет Г. Г. Театр как искусство. Т. 4. С. 30.

³⁹ Шпет Г. Г. Театр как искусство. Т. 4. С. 28. См. также: С. 29, 34, 39. Ср. также понимание личности (лица) как «чужого я»: Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 393.

⁴⁰ Шпет Г. Г. О границах научного литературоведения (конспект доклада). Т. 4. С. 44.

⁴¹ «Философское мировоззрение есть сам дух личности человеческой, — дух, который живет в человеке и которым человек живет». Цит. по: Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена. Т. 6. С. 206.

⁴² Было бы грубо ошибкою допустить здесь на этом основании отождествление, — как делают, когда не умеют отличить, например, индивид, как органическую категорию, от личности, категории культурной. Самодовление лица и экспрессии, как его индекса, *toto genere* иное, чем самодовление природно-необходимого явления. Художник *как такой* — это относится и ко всякому культурному лицу *как*

«Под мировоззрением человека, эпохи и пр. понимают или основную *идею* его личности, времени и т. д., каковая идея — всегда идея реальности и реальная, или просто мнение и мнения человека и эпохи, субъективные и случайные. Познание идеи — философия, изображение ее — поэзия»⁴³.

«Не постижение Абсолюта, а самого человека, как наивысшую, известную нам полноту: следовательно, индивида и социальное лицо, члена, представителя и выразителя времени и социального места — личное и коллективное культурное *самосознание*»⁴⁴.

Не менее важной проблемой методологии гуманитарных наук становится способ познания феноменов культуры и искусства. В этом случае Шпет делает акцент на цельности личности. Ср.:

«Цельное, не аналитическое, от аналитического и подобного <...> это есть познание *цельного предмета цельною личностью* в их взаимной *характерности*»⁴⁵.

Такая интерпретация личности в контексте методологических проблем гуманитарного знания связана с пониманием Шпетом искусства, как социокультурного феномена: «Искусство <...> не только социальная вещь и, как такая, средство, но также культурная “ценность”, будучи индексом и как бы “составною частью” основной культурной категории, — противопоставляемой социальной категории “только вещи и средства”, — “самоцели”, “лица”, “личности”»⁴⁶.

И еще одна проблема, вытекающая из семиотической интерпретации «личности». Она связана с авторством произведения искусства. Ср.:

«Автор умирает, его творчество сохраняется как общее достояние в общем богатстве языка. Поэтому, если мы читаем литературное произведение, следовательно, не личное к нам послание, обращение или письмо и если мы его читаем не с целью биографического или вообще персонального анализа, а читаем именно как литературное произведение. <...> *Формы личной экспрессии*, таким образом, объективируются в поэтические формы слова»⁴⁷.

такому, — не высшая порода обезьяны и также не “гражданин” или “товарищ”. В своем культурном бытии как таком он сам “выражение” некоторого смысла, а в то же время и экспрессия, т. е. составная часть некоторого *sui generis* бытия». Цит. по: Шпет Г. Г. Проблемы современной эстетики. Т. 4. С. 320.

⁴³ Шпет Г. Г. Заметки к статье «Роман». Т. 4. С. 75.

⁴⁴ Шпет Г. Г. Познание и искусство (конспект доклада). Т. 4. С. 99.

⁴⁵ Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Т. 4. С. 145.

⁴⁶ Шпет Г. Г. Проблемы современной эстетики. Т. 4. С. 320.

⁴⁷ Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Т. 4. С. 252. См. также: С. 285–286.

Историко-философский контекст

Понятие «личность» становится для Шпета предметом эпистемологического исследования в контексте реактуализации философских идей Герцена и Лаврова. Он обращается к их идеям в поисках традиции такой интерпретации на русской почве, т. е. он ищет исторического обоснования своего понимания проблемы личности как «единства сознания». Поэтому личность у Шпета является в историко-философском контексте не только одной из составляющих проблемы исторической реальности⁴⁸, но и «самостоятельной проблемой философии»⁴⁹.

Сравни его интерпретации понимания «личности» у Герцена и Лаврова:

Шпет, интерпретируя Герцена, рассуждает о разуме: «он должен сам индивидуализироваться и воплотиться в личности, или вернее должен распределиться во плоти живых и действующих индивидов и личностей. Это становится теперь ожиданием, с которым Герцен обращается к науке. <...> Она должна иметь силу воплотить себя из рода в вид, а из вида в индивид и в *личность*»⁵⁰.

«Личность — средоточие философского мировоззрения Герцена. Как понимать, теперь, осуществление ею себя самой. Чем заполнится все пространство мировоззрения вокруг своего средоточия? Найти в личности принцип примирения всяческих дуализмов и отпустить личность в жизнь, в практику, значит опять разорвать только что установленное единство. Теоретически, а не практически, нужно установить как идеалы предстоящего ей действия, так и мотивы; нужно, кроме того, чтобы, действуя сознательно, она и отчет себе отдавала сознательный в действиях уже совершенных.

Действующая личность может осуществлять себя в двух направлениях: (1) как личность *моральная*, когда она выступает как индивидуальность, действующая в интересах и по целям индивидуальности, сообразно некоторым определенным нравственным правилам и максимам, и (2) как личность *социально-нравственная*, действующая в интересах общих и по общим правилам, продик-

⁴⁸ «Если понимание есть путь постижения духа, то одинаково и на одном уровне для философии становятся вопросы о реальности “внешнего мира”, и реальности “чужой личности”, и реальности “меня самого”. В конечном итоге, — и следовательно, для исследования с самого начала, — это одна проблема: проблема духовной исторической реальности». Цит. по: Шпет Г. Г. Герменевтика. Т. 1. С. 414–415. См. также: Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Т. 6. С. 505.

⁴⁹ Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Т. 6. С. 448. См. также: С. 500, 501.

⁵⁰ Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена. Т. 6. С. 232.

тованным этими интересами. Во втором случае сфера действия личности расширяется, но расширяется и ответственность ее; она свободна, но она и связана, и притом не только *правилами* поведения, но и реальными условиями среды и обстановки, в которой ей приходится действовать. В первом случае, можно было бы говорить преимущественно о поведении, во втором — преимущественно — о деятельности и деянии. В первом случае, от того, как человек ведет себя, от легкомыслия или строгости его поведения, зависит прежде всего его собственная судьба и жизнь; во втором случае, он — деятель истории, и историей определяется серьезность его деятельности или бесполезность ее и неуместность»⁵¹.

«Лавров хочет, чтобы человек в его целом, в его действительности и как личность, был сделан основной проблемой философии, — такова *положительная* задача, к решению которой должна перейти философия»⁵².

И далее: «Но недаром Лавров упрекал Гегеля в том, что у него “мышление” заслонило *жизнь*. Человек, как предмет философии, не может быть ограничен только “знанием”, он есть также человек действующий и творящий — лишь в этом *полном* своем значении он есть подлинная личность. Как Герцен считал, что у личности, кроме призвания в сферу общего, науки, есть еще призвание в сферу частного, в сферу *действия*, так и Лавров требовал для человеческой личности, в ее “одном нераздельном целом” “начала отдельности, самостоятельности”, из которого проистекает творческая деятельность человек»⁵³.

Однако, Шпет критически переосмыслил учение Герцена и Лаврова о личности, поскольку показал их «психологистические ошибки»⁵⁴.

«Антропологическую задачу интеллектуализма, — можно сказать, прямо в духе античного интеллектуализма, — формулировал уже Герцен: “Личность человека, противопоставляя себя природе, борясь с естественною непосредственностью, разворачивает в себе родовое, вечное, всеобщее, разум. Совершение этого развития — цель науки... без

⁵¹ Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена. Т. 6. С. 240–241. См. также: Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Т. 6. С. 466. См. также: С. 464, 465.

⁵² Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Т. 6. С. 479. См. также: С. 507.

⁵³ Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Т. 6. С. 484. Шпет показывает гегелевские истоки в понимании «личности» у Герцена и Лаврова. См. также: С. 479–480, 486–487.

⁵⁴ Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Т. 6. С. 497. См. также: С. 482–483, 491, 493, 495.

ведения, без полного сознания нет истинно свободного деяния”. <...> Уже в статьях о Гегеле Лавров проводит эту же мысль. Произвол человека в определении блага, его недоумения на распутье добра и зла, его ошибки, проистекают из слабости личности. <...> Эта мысль и становится руководящей мыслью во всем философском учении Лаврова, <...> во всем его учении о “критически мыслящей личности” и во всех его опытах по Истории мысли»⁵⁵.

Погружение понятия «личность» в историко-философский контекст позволило Шпету показать преемственность с русской философской традицией, а также показать продуктивность исторического контекста для развития онтологической трактовки проблемы «личности». Ср.:

«Свободная, сознательная личность, ответственная за свое деяние руководится в нем разумно выработанными и разумно оправдываемым идеалом. Очень часто практический образ подлежащего осуществлению идеала создается в приспособлении к реальным условиям времени, как образ тепло и сочувственно воспроизводящий приукрашенное *прошлое* или, наоборот, как образ чистой фантазии, конструирующей какое-нибудь увлекательное *будущее*. Как ни внешне может показаться такое отыскивание идеала в полузабытом прошлом или в неведомо-туманном будущем, оно само по себе создает характеристику целого миропонимания»⁵⁶.

«Итак, мы исходим от личности с ее сознанием своего достоинства, с любовью к независимости, с готовностью принять ответственность за свои деяния и за свою самобытность. История и исполнение судеб человечества не имеет строгого и неизменного предназначения точно так же, как не есть она слепой и механический ход физического процесса. <...> Но где найти идеал и цель, по которым направлялось бы действительное раскрытие личности в ее общественной и исторической жизни? Ни в прошлом, ни в будущем они не лежат. Остается настоящее. И, конечно, это — так. Ибо, как же личности, живущей не в будущем и не в прошлом, и обнаружить себя, как не в ее настоящем? Тут только она и должна, и может полагаться лишь на себя, на свою волю и мощь»⁵⁷.

⁵⁵ Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Т. 6. С. 499. См. также: С. 491, 494, 496, 497–498.

⁵⁶ Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена. Т. 6. С. 257. См. также: С. 250–251, 254–255.

⁵⁷ Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена. Т. 6. С. 260. См. также: С. 261.

Философско-исторический контекст

Не менее важное значение приобретает понятие «личность» при постановке ее в контекст философско-исторический. Шпет принимает это в «Очерке развития русской философии». Здесь идея личности как «единства сознания» (философская интерпретация), как «духовного уклада» (психологическая интерпретация) приобретает философско-исторический оттенок и демонстрируется Шпетом в трех типах русской интеллигенции (духовенство, правительство, разночинство). Ср.:

«Другое дело революция в порядке идейном, культурном, духовном, революция “сознания”. Это уже не одни формы и лица, это — действительно новые меха, действительно новое вино, действительно новые “личности”, с душами, наизнанку вывороченными. Все мироощущение, жизнепонимание, вся “идеология” должны быть принципиально новыми»⁵⁸.

В заметках ко второму тому «Очерка» Шпет рассматривает уже не саму проблему личности, но отношение к ней в двух важнейших исторических слоях русского общества, влиявших на лицо России как языковой, государственной и культурной общности. Ср.:

«Задав себе проблему личности, западники решали проблему России [по-европейски], не поставив вопроса о *русской личности*, а переводя в сферу политической и гражданской личности. Для них вся проблема культуры — в политико-государственной проблеме. Форма без содержания. Форма показала, когда нашли содержание в общине и социализме. Славянофилы поставили проблему русской соборности и религиозной личности, и пренебрегали личностью культурной. Для них проблема религии — проблема всей культуры. Содержание без формы. Само содержание изменилось, когда нашли форму — в церкви»⁵⁹.

«Культура, как исторический факт — только одна: европейская. Исторически слова “культура” и “европейская культура” — синонимы. Выражение “европейская культура” есть тавтологическое выражение. Культура китайцев, персов, евреев — только метафора. Этого не поняли славянофилы. [Их положительная идея=ответ]: мессианство и особая культура (отсюда на деле — одно отрицание). Западники же не поняли, что Европа есть понятие коллективное, а не общее, и отрицали особое “назначение” России вообще. Они хотели включить личность {их положительная идея=ответ} прямо в общее, отчего наши

⁵⁸ Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. Т. 5. С. 43.

⁵⁹ Шпет Г. Г. Заметки к параграфу «Философско-историческое решение проблемы народности у славянофилов и у Герцена». Т. 6. С. 300.

западники иногда и становились не-русскими, «европейцами», однако не немцами, не англичанами, не французами, а “вообще себе”⁶⁰.

«Политически не было положительной идеи, а философски — была: поставлена была философски-исторически и в философии культуры проблема России. У славянофилов — мессианство, у западников — личность. Эпигоны славянофилов философски крупнее, западники отказались от национальности. Им еще предстоит поправиться!!»⁶¹

«Чтобы правильно судить о *духе*, нужно брать не лицо (отдельные лица признавали свободу и в России), а среду, и что делает она с лицами: как меняется личное от среды. — А если лицо упорствует, то, *что* слушают у лица, что встречают молчанием, а что приходится лицу говорить, если оно хочет, чтобы его слушали.

Как Пушкина приняли? Честно Писарев один! Остальные делали из Пушкина учителя мудрости, нравственности, политики и пр.»⁶²

Социально-политический контекст

Рассуждая о проблеме политической общности, о возможностях актуализации идеи социализма, Шпет пытается избежать «бинарных оппозиций» в трактовке личности. Он отчетливо осознает политическую реальность России после Октябрьского переворота. Его методологический ход — плюрализация контекстов, каждый из которых может обладать самостоятельной значимостью и в каждом из них личность приобретает свое самоценное значение. Вот почему личность в культурном контексте и личность в политическом контексте несводимы к общему знаменателю (социальности вообще). Фактически, Шпет абсолютизирует культурный контекст. Политическая общность в такой интерпретации становится псевдопроблемой, поскольку обезличивает личность. Ср.

«Воспитание и организация культурного сознания = воспитание в себе личности. Осуществление личности = творчество культурных благ. Личность уже не только идея, но реальность, — и это единственная подлинная реальность, ибо правда реальна только в личности. Каждый человек — потенциально — личность, но актуально — только наши “герои”, творцы культуры и ее благ. Осуществление личности, однако, по самому понятию — в обществе, в общей жизни. Отсюда понятно, почему личность, как высшее культурное благо, — идеал

общественных учений и движений. Как представить? Не только не “класс”, но вообще — нет того единства, которое предполагается этим понятием — иначе исключается личность. Здесь нужно очень остерегаться обобщений и аналогий: классовое сознание — коллектив, где единица может быть замещена другой. Этого нет в сфере творчества культурных благ, у личности, у “героев”. Смотреть на личность, как на “вещь”, значит идти против культуры»⁶³.

Эпистолярный контекст

В письмах к своим близким и родным Шпет употребляет слово «личность», «личный» довольно часто (на обыденном уровне). Примечательно его рассуждение о «личном усовершенствовании», показывающее, что Шпет находился в контексте публичной полемики по этой проблеме. Ср.:

«Идея так называемого “личного усовершенствования” стара и часто всплывает вновь на поверхность общественной жизни. Но знаменательно, что ее появление обусловлено всегда упадком общественного настроения. Сама эта идея свидетельствует о сознании общественного бессилия. <...> Есть что-то отталкивающее-отвратительное в человеке, “занимающемся” личным усовершенствованием в то время, как взрастившее его общество, народ падает духом и стонет в безвременье, ибо некому, некому указать ему пути! А те, на кого он возлагал свои надежды, увы, занялись “личным” усовершенствованием... <...> Во вселенской мудрости тонут, сливаясь, все личные усилия, этим она и жива, это ее Natalia... *Личное* усовершенствование ведет к омертвлению, оно против Natalia... и я на это не пойду»⁶⁴.

⁶⁰ Шпет Г. Г. Отдельные заметки. Т. 6. С. 529.

⁶¹ Шпет Г. Г. Заметки к параграфу «Философско-историческое решение проблемы народности у славянофилов и у Герцена». Т. 6. С. 304.

⁶² Шпет Г. Г. Отдельные заметки. Т. 6. С. 530.

⁶³ Шпет Г. Г. Социализм или гуманизм. Цит. изд. С. 252–253.

⁶⁴ Густав Шпет: жизнь в письмах. Т. 2. С. 97.

С. С. Хоружий

Темпоральность религиозного опыта

Владимиру Петровичу Зинченко
с благодарностью за щедрые дары общения

Если диапазон творчества Владимира Петровича Зинченко изумляет широтой, то круг научных интересов его кажется поистине безграничным. От этой безграничности я в свое время получил личную и немалую пользу. Мои исследования религиозного сознания, будучи еще в самом начале, привлекли благосклонное внимание Владимира Петровича, следствием чего стали встречи и беседы, ценные для моих размышлений и согревательные для моей души. Натурально, не ко всему в моих воззрениях и писаниях был он благосклонен; но общему нашей почвой было *человеческое сознание* — и пытливейший, неиссякаемый интерес Владимира Петровича ко всем измерениям, сторонам, мирам жизни сознания производил редкостно освежающее, стимулирующее воздействие. Надеюсь, что и эта работа, где, кажется, кое-что впервые подмечено о сознании — тут выявляется «элементарная единица», «атом» внутренней темпоральности мистического опыта — будет также созвучна его интересам и будет принята им как скромное мое подношение к его юбилею.

* * *

Тема, которую мы рассмотрим, — аналитика определенных аспектов религиозного сознания, аспектов, связанных с восприятием времени. Очевидно, что она сразу же обращает нас к сфере религиозного опыта: нам следует описать темпоральные измерения этого опыта, выяснить их конституцию. Данная сфера обширна и крайне гетерогенна. Здесь есть опыт индивидуальный и коллективный, опыт всевозможных религиозных практик, ритуалов, обрядов, опыт религиозного поведения, опыт и мистический, и вполне бытовой и т. д. Входя в эту сферу, мы немедленно обнаруживаем, что и образ времени здесь также отнюдь не является единственным. В религиозном опыте актуализируются разные формации (виды, модусы) темпоральности. Мы будем их последовательно описывать.

Для начала, однако, стоит коснуться одной формации, которая не присутствует, а, напротив, отсутствует в нашей сфере. Это — са-

мая привычная, базовая формация, отвечающая физическому или космическому, чисто внешнему времени. Физическое время заведомо не есть время религиозного опыта. Этот род опыта не сводится целиком к внутреннему опыту, к опыту самосознания, но он всегда и необходимо в себя включает хотя бы некую долю внутреннего опыта; соответственно, и его темпоральность никогда не свободна вполне от внутренней темпоральности. Как все помнят, первая концепция времени в христианской мысли, представленная в книге XI «Исповеди» Августина, полностью была концепцией внутреннего времени, и данная Августином дефиниция времени была в чистом виде дефиницией внутренней темпоральности, поскольку время она определяла как «протяженность души». Мы увидим, однако, что столь радикально интериоризованный характер темпоральности присущ вовсе не всем формациям темпоральности в религиозном опыте. В качестве еще одного предварительного замечания укажем, что внутреннее время разделяет с внешним, физическим, фундаментальную троичную структуру длительности: *прошлое — настоящее — будущее*.

Опыт темпоральности в религиозной жизни весьма богат и разнообразен, но в нем тем не менее отчетливо выделяются три основные формации темпоральности:

- время Священной истории,
- литургическое время,
- время духовной практики.

Две первые из них издавна много обсуждались и изучались, но третья начала анализироваться сколько-нибудь основательно лишь в последний период, когда стала раскрываться вся важность феномена духовной практики для принципиальной антропологической, философской, теологической проблематики. В определенном смысле, который мы поясним ниже, опыт духовной практики может рассматриваться как квинтэссенция религиозного опыта как такового. Вследствие этого, темпоральность духовной практики есть также квинтэссенциальная религиозная темпоральность, в известной мере, вбирающая в себя обе другие из вышеназванных основных формаций. Ей мы и уделим главное внимание, ограничившись для других формаций краткой характеристикой.

Время Священной истории

Священно-историческое время — весьма своеобразная формация темпоральности. К пониманию его генезиса и его строения удобно подойти, отправляясь от обычного исторического времени. Истори-

ческое время есть, очевидно, такая темпоральная формация, которая конституируется в существовании культурного сообщества, или же цивилизационного организма (хотя эти понятия, как известно, не равносильны, различия их для нас сейчас не существенны). Согласно положению Аристотеля в его «Физике»: «Время есть число движения»¹. Соответственно, ход исторического времени, его течение измеряется *культурным движением*, цивилизационным процессом и размечается культурно-цивилизационными событиями. Ясно, что это — социальное, коллективное время; а для индивида в истории, для единичного человека это — еще одна формация внешнего времени.

Аналогично, священно-историческое время следует определить как такую формацию темпоральности, которая конституируется в существовании религиозного сообщества. На языке Аристотеля, оно должно представлять собою «число *религиозного движения*», и его течение должно размечаться событиями религиозной природы. Однако событие религиозное в своей природе кардинально отлично от события эмпирической истории — и, соответственно, здесь конституируется столь же кардинально иная темпоральность. Я кратко опишу ее конституцию на примере Новозаветной Священной истории.

Христианское сообщество собирается и держится на основе определенного разделяемого сообществом опыта. Таковым опытом для него служит опыт актуального, жизненного соединения с Основателем и Главой сообщества, со Христом — Христом, Который согласно Символу веры имел земное существование при Тиберии и Пилате, был распят и воскрес. Каким же образом в существовании этого сообщества конституируется некоторая темпоральность или процессуальность (сейчас, в нашем контексте, это коррелятивные, соотносимые понятия)? Как увидим сейчас, она конституируется опять-таки за счет определенного движения, заключающегося в смене форм вышеуказанного базового, аутентично-христианского опыта.

Первоначальной его формой был опыт апостольский — общение учеников Христа со Христом в его земной жизни. Христос, однако, был не только человеком, но и Богом, и события Его жизни, начиная от Воплощения, были не только эмпирическими и антропологическими событиями, они также несли в себе мета-эмпирическое и мета-антропологическое содержание. Тем самым, они вносили в историю мета-эмпирическое измерение или, иными словами, конституировали, наряду с эмпирической, некоторую иную историю, которую естественно называть Священной исто-

¹ *Аристотель*. Физика. IV, 11, 219 b1 // *Аристотель*. Сочинения. В 4 т. Т. 3. М., 1976. С. ???

рией (ее предвещием и предвосхищением христианское сознание признает Священную историю Ветхого Завета). В дальнейшем это измерение уже не утрачивалось; однако нам следует выяснить, каким образом оно поддерживалось.

В силу Божественной природы Христа, мета-эмпирическое измерение присутствовало, не могло не присутствовать и в общении апостолов с Ним. Однако по завершении земной жизни Христа такое общение стало невозможным, а между тем опыт соединения со Христом оставался необходимым для христианского сообщества: именно этот опыт его породил, конституировал, и без него оно не могло бы продолжать существование. Соответственно, в следующий период рождается иная форма *этого же* опыта.

Шла эпоха гонений на христиан, и было осознано, что опыт мучеников, которые принимали смерть за веру, в своем существе также представляет собой соединение со Христом. Кончина мученика — это жертва собственной жизнью ради дела Христова, и это значит, что в существе своем она такова же, как смерть Самого Христа. Иными словами, в подобной кончине осуществляется приобщение мученика к смерти Христа. Но смерть Христа была смертью и воскресением, была событием, которое христианское сознание определяет как Жизнь-чрез-смерть, и поэтому тот, *кто приобщается к смерти Христа, приобщается и к Его жизни — соединяется с Ним*. И в итоге, при полном различии внешних форм, опыт апостолов и опыт мучеников представляет собой один и тот же базовый христианский опыт соединения со Христом. В силу этого, опыт мучеников также имеет мета-эмпирическое содержание и делает существование христианского сообщества не только эмпирической, но и Священной историей.

Однако в следующий период христианство делается из гонимой религии официальной и господствующей религией Римской империи. Феномен мученичества из истории уходит — но между тем базовый опыт соединения со Христом продолжает оставаться необходимостью. Соответственно, является проблема отыскания или выработки его очередной, новой формы. Эта проблема остро ощутилась христианским сознанием практически немедленно, едва Империя стала христианской. Переход христианства из гонимого в доминирующее положение, с неизбежной внешней регламентацией и институционализацией веры, был сразу же воспринят аутентично-христианским сознанием как ставящий новое трудное задание. Осознавалось, что реальность изменилась не только эмпирически, но и мета-эмпирически. Поэтому проблема ставилась христианским сознанием радикально и напрямик: как проблема

создания такой цельной стратегии или практики человека, в которой он актуально достигал бы соединения со Христом.

Для рационального разума подобное задание было полностью немислимо и абсурдно. В христианской же перспективе, вскоре было обнаружено и осознано, что искомое соединение требует полной трансформации человеческого существа, требует, как здесь выражается философия, трансцендирования фундаментальных предикатов человеческого существования. Устремление к соединению со Христом есть устремление к иному способу бытия, иному онтологическому горизонту. Тем самым, оно кардинально отлично от всех устремлений и стратегий обычного существования человека в мире и обществе, и может осуществляться лишь как особая, исключительная стратегия, альтернативная по отношению ко всему способу и порядку обыденного существования человека. И в первую очередь, эта «стратегия Богоустремленности» альтернативна по отношению ко всякой социальной активности: она требует того, что сознание ранних христиан обозначило формулой «уход от мира», или «исход из мира». Здесь выработаны были специальные понятия «мира» и «мирского» (мирской жизни, уклада), которые характеризовали не столько вещественный, предметный уклад жизни, сколько внутренний, душевный уклад, стихию, чуждую устремлению к богу.

По мере того как в христианстве осознавалась эта альтернативность богоустремленного и мирского укладов, разворачивался и набирал силу процесс так называемого «ухода в пустыню»; складывалась весьма знаменитая в истории раннего христианства «оппозиция Империи и Пустыни». На чисто социологическом уровне удивителен масштаб этого движения «ухода». Оно достигало тысяч и десятков тысяч ревностных участников, и в природе его был яркий парадокс: именно тогда, когда Империя стала христианской, из нее начинается бегство самых истовых христиан. Возникают феномены христианского монашества и отшельничества, анахорезы, и отцами-пустынниками начинает создаваться принципиально новая антропологическая практика — искусство восхождения человека к иному способу бытия. Такое искусство принадлежит к классу явлений, именуемых духовными практиками, и позднее оно получило название исихазма, или священнобезмолвия. Для него оказывался необходим целый ряд новых тонких методик и техник изменения себя, которые мы будем обсуждать ниже.

Что же касается исторического аспекта, то в строившейся духовной практике должен был добываться тот же аутентично-христианский опыт, как и в служении апостолов и мучеников, — опыт, наделенный онтологическим, мета-эмпирическим измерением.

Присутствие этого измерения отражалось в существовании христианского сообщества, и за счет этого, его история сохраняла природу не только эмпирической, но и Священной истории; в существовании христианского сообщества конституировалась формация священно-исторического времени. Безусловно, конституция этой формации включала также в себя, как необходимые предпосылки, Церковь и церковную жизнь, с центральной и ключевой ролью Евхаристии. Отметим некоторые свойства священно-исторического времени.

Содержание Священной истории составляют религиозные события, которые присутствуют также и в эмпирической истории, однако в Священную историю они входят в своих специфических религиозных измерениях. К примеру, святые входят в эту историю в своих житиях, а не в эмпирических биографиях, которые у них также существуют. Как время, конституируемое сообществом, священно-историческое время также, если можно так выразиться, «сообщественно» — коллективно, или соборно, или церковно. Но крайне существенно, что для любого участника сообщества это вовсе не есть чисто внешнее время. В этом — коренное отличие священно-исторического времени от исторического, которое по своей природе является чисто социальной и социо-культурной формацией темпоральности. Исток отличия в том, что конститутивным опытом Священной истории остается, безусловно, опыт соединения со Христом, — а это опыт отнюдь не социальный и не коллективный. Это — существенно личный, антропологический и мета-антропологический опыт; и потому причастность каждого к священно-историческому времени, приобщенность к нему создается именно личным опытом, личной связью с Богом, а отнюдь не социальной активностью, не реализацией себя как члена общества. Меж тем, в историческом времени человек соучаствует как социальное существо, как *Zoon politikon*. Это различие двух формаций глубоко принципиально. Если угодно, главное, что следует почувствовать и ощутить о христианском времени, — это именно его специфическую связь с личностной стихией, всегда и во всех формациях, его связь с тем базовым фактом, что христианство — религия личности.

Литургическое время

Литургическое время — формация темпоральности, конституируемая богослужениями христианской Церкви. Очевидно, что его аналоги существуют в любой религии. Богослужения Церкви разнообразны, и все они, разумеется, протекают во времени; часто

они и прямо связаны со временем и отсылают к нему в своем содержании. Поэтому представление о том, что существует некоторое особое «литургическое время», присутствовало в христианском сознании почти изначально. Об этой специфически церковной формации темпоральности мы скажем совершенно кратко, тезисно.

Весь корпус богослужений в своем отношении к времени делится на две неравные части. Первая часть — это главное, ключевое богослужение, которое и конституирует христианскую Церковь. Оно именуется литургией, и в нем совершается Евхаристия — главное таинство Церкви, причащение Телу и Крови Христа. По Евангелию, это приобщение было установлено самим Христом на Тайной Вечери. Отсюда следует, что каждое событие Евхаристии — это тождественное воспроизведение здесь и теперь события Тайной Вечери. Именно так говорит молитва причащающегося: «Вечери Твоя тайная *днесь* причастника мя приими»; *днесь*, сегодня, он делается участником *того*, евангельского события. В своей замечательной книге «Введение в литургическое богословие» отец Александр Шмеман, известный богослов русской эмиграции, пишет: «Смысл таинства в том, что совершаемое как повторение во времени, оно в нем являет реальность неповторимую и надвременную»². Александр Шмеман имеет в виду, что литургия может служиться, вообще говоря, в любое время, в любом часу, и всегда она является тем же тождественным воспроизведением единственного и неповторимого мета-эмпирического события. Тем самым, как он говорит, «Суть таинства состоит в возможности преодоления времен»³. Тут у него звучит сакраментальная формула, которой, что называется, многие соблазнились: о преодолении времени кто только и какого только вздора не говорил. Здесь эта формула употреблена, однако, по праву, в строгом онтологическом смысле.

К литургии примыкают богослужения, связанные с другими таинствами: крещения, рукоположения, брака и т. д. Их темпоральный аспект имеет ту же природу преодоления времени; и весь этот комплекс образует, согласно Шмеману, один определенный «полюс литургической жизни».

Другой же полюс — это так называемое «богослужение времени». Под этим понимается весьма обширный ансамбль церковных служб, которые по своему характеру и содержанию прямо связаны с течением земного времени: они служатся в строго определенном часу, в определенные дни или даты года и в своем содержании отсылают к

моменту своего совершения. Например, это утренняя, вечерняя, так называемые часы, то есть богослужения, которые сопоставляются 1-му, 3-му, 6-му и 9-му часам древнего римского исчисления времени; они связываются символически со священными событиями, которые приурочиваются к данным часам. Все множество таких служб организовано в три больших цикла, которые издавна называются «три круга времени». Это — суточный круг, или же литургический день; седмичный, или недельный круг; и круг годичный. Круг годичный имеет интересную темпоральную структуру: он состоит из неподвижной части (Месяцеслова, куда входят дни поминания святых) и части подвижной, включающей службы Великого Поста и Пасхи, именуемые, соответственно, постными и цветными.

По смыслу, в этих богослужениях структура земного времени связывается со священно-историческим временем и в нем закрепляется. Как непосредственно понятно, литургическая темпоральность не может не быть связана со священно-исторической. Она имеет ее своей необходимою предпосылкой: чтобы актуально существовало литургическое время, должно быть реальностью время Священной истории, время Церкви. И если это так — эмпирические день, неделя, год претворяются в литургический день, литургическую седмицу, литургический год. В своей совокупности эти три круга времени и образуют другой полюс литургической жизни.

Легко увидеть, что терминология Шмемана оправдана: на двух полюсах внутренняя структура темпоральности, действительно, радикально различна. В богослужении времени совершается сакральное закрепление структуры земного времени, и это заведомо расходится с отношением к эмпирическому времени на другом полюсе, в литургии и в Евхаристии. Сакральное закрепление отнюдь не равносильно преодолению. Преодоление времени, совершаемое на другом полюсе, нисколько не соблюдает структур земного времени: скорее, оно отменяет их, оно их трансцендирует без всякого сохранения, оно носит взрывной характер по отношению к ним! В итоге же, в сочетании этих двух своих полюсов *литургическое время приобретает антиномическую структуру*. В нем некоторым образом сопрягаются сохранение структуры земного времени в его трех кругах и преодоление, отмена этих кругов.

В свете выявленной нами антиномичности, анализ свойств литургического времени был бы весьма интересен. Мы, однако, не станем в него входить, лишь кратко упомянув, что эти свойства обнаруживают близкое родство с формацией священно-исторического времени. В частности, почти совпадают между собой свойства этих формаций по отношению к дихотомиям внутреннего и внешне-

² Шмеман А., *прот.* Введение в литургическое богословие. Париж, 1961. С. 53.

³ Там же. С. 52.

го, социального и индивидуально-личного. Хотя, казалось бы, любое богослужение есть коллективное, социальное действо, однако литургический опыт, в котором и конституируется литургическое время, сохраняет в качестве своего ядра все тот же аутентично-христианский опыт личного Богообщения. Наиболее наглядно это выражено в опыте Евхаристии, где все соборные измерения явным образом подчинены цели совершения глубочайше личного события, личного приобщения христианина — Христу.

Как видим, вновь у нас выступает на первый план тот же главный момент: примат личного общения, фундаментальный принцип христианства как религии личности. В литургическом времени данный момент вполне сохраняется. Но наиболее прямо и непосредственно примат личностной стихии реализуется не в священно-исторической и не в литургической темпоральности: в этих формациях, он далеко не очевиден сразу, он складывается в тесном переплетении и взаимодействии с социально-соборными аспектами. Напротив, духовная практика формируется изначально как сфера индивидуально-личного опыта

Время духовной практики

Выше мы уже заранее объявили, что данная формация может считаться стержневой и квинтэссенциальной формацией христианской темпоральности. Но прежде ее рассмотрения, следует дать сжатое описание самой духовной практики, поскольку ее темпоральность прямейше зависит от ее структуры, во многом определяясь ею.

Говоря о священно-историческом времени, мы уже затронули генезис исихастской практики, в ее преемственности от опыта апостолов и мучеников. Для анализа строения этой практики удобнее, однако, другая логика, другой угол зрения, когда данная практика берется как один из примеров общего антропологического феномена, который имеет место во всех мировых религиях и именуется «духовной практикой». В свою очередь, для характеристики духовной практики как таковой удобно отправляться от понятия практики себя; сейчас это понятие Фуко уже стало общеизвестным. Говоря упрощенно, духовная практика есть особая практика себя, которая направляется к актуальной онтологической трансформации человека, его целостному претворению в иной образ бытия, или онтологический горизонт.

В случае христианской практики, которой мы в данном тексте ограничимся, этот иной образ бытия есть *личное бытие-общение*. Так

в современной христианской мысли понимается онтологический горизонт, сопоставляемый Божественному бытию, образ бытия Бога-Личности, обладающей тремя единственными Ипостасями. Претворение человека в этот образ бытия есть в традиционной терминологии соединение с Богом; связанный с этим опыт мы и называли аутентичным христианским опытом соединения со Христом.

Анализом этого опыта занимается в христианстве, с одной стороны, догматика, в теоретическом дискурсе, с другой стороны, аскетика — в дискурсе практическом. Они полностью согласуются меж собой, употребляя для названного соединения один и тот же ключевой термин — *обожение, теозис*, и понимая его как всецелое соединение всех энергий человеческого существа с энергиями Божественными (которые, по христианскому учению о Боге, характеризуют Божественное бытие, наряду с Божественной Сущностью и Ипостасью). Таким образом, исихастская практика есть духовно-антропологический процесс, в котором человек совершает преобразование всего множества, или конфигурации собственных энергий, духовных, душевных и телесных, последовательно возводя всю эту конфигурацию к соединению с Божественными энергиями (обожению). Как обнаруживается на опыте, этот восходящий духовно-антропологический процесс происходит в ступенчатой парадигме, и в нем отчетливо выделяются определенные ступени. Соответственно, к нему издавна применялась метафора или образ лестницы, и первый же трактат, в котором исихастская практика была систематически описана, носил название «Райская лестница». Трактат был написан в VII веке, и автор его вошел в историю как преподобный Иоанн Лествичник.

Опишем структуру исихастской лестницы самым кратким образом, выделив лишь ее крупные этапы. Началом служит этап, когда человек принимает и осуществляет решение вступить на Путь практики — решение отвергнуть всякую активность в обществе, отвергнуть весь строй мирского существования и избрать альтернативную стратегию, направленную к иному бытию, к Богу. Этот этап носит название «Врат духовных». Прохождение Врат — сложное и очень интересное по структуре антропологическое событие. Оно включает в себя события обращения (универсальное религиозное событие, наличествующее во всех традициях и, в частности, описанное Платоном в мифологеме пещеры) и покаяния (что есть уже специфическое иудео-христианское событие). В целом, этот начальный этап наиболее адекватно характеризуется греческим термином *metanoia*, или же перемена ума: вступление на Путь есть в своем существе именно «перемена ума», всецелое изменение строя

сознания. Важно отметить, что аскетика настаивает усиленно: данное изменение никогда не может быть совершенно окончательно и необратимо, событие должно постоянно воспроизводиться и закрепляться.

Когда первичное прохождение Врат Духовных совершено, следует очередной крупный этап: борьба со страстями, или же «невидимая брань». В обобщенно-антропологическом понимании, страсти — это препятствия к восхождению, такие конфигурации энергий человека, которые циклически и устойчиво воспроизводятся, а потому подчиняют себе сознание и не дают продвигаться по лестнице духовного восхождения. Страсти многочисленны, разнообразны, и в каждую эпоху в их числе — как традиционные, классические (гордость, алчность, гнев, зависть...), так и иные, порожденные эпохой: каждое время изобретательно в прибавлении к списку каких-то своих, новых страстей. Для нас, скажем, одною из самых массовых страстей на наших глазах становится уход в виртуальный мир, в компьютерную, сетевую реальность. Для искоренения страстей аскетика развивает богатейший репертуар психологических методов и приемов; данный этап — наиболее психологическая часть Лестницы.

За одолением страстей следует то, что можно назвать экваториальной частью духовного процесса: этап, когда сознание изменяет свой вектор, свою обращенность. В покаянии и борьбе со страстями главные его задания, установки еще обращали его долу — были связаны с «миром», с покидаемым строем бытия. Далее же сознание в своем Пути как бы пересекает экватор: теперь его главные установки обращают его горе, оно становится занято достижением встречи и соединения с Богом. Здесь — центральная и сердцевинная часть практики, где она создает свои важнейшие и специфические ступени: такие конфигурации энергий человека, которые вне практики не существуют, не реализуются, так что она впервые открывает и отрабатывает их. Основные из этих ступеней таковы:

Исихия — Сведение ума в сердце — Формирование связки молитва-внимание — Непрестанная молитва.

Началом этой экваториальной части служит то, что дало название всей традиции, — исихия. Здесь еще не развивается новых техник, это скорее — сам экватор, уединенный покой сознания после «шума битвы», пройденной борьбы со страстями. Но далее уже вырабатываются весьма специальные антропологические процедуры. Ключевое свойство их в том, что с помощью этих процедур сознание обретает способность вертикального восхождения, продвижения со ступени на ступень — своего рода «подъемную силу», кото-

рая достигается путем создания прочной связи и одновременного сочетания двух крайне различных активностей сознания, молитвы и внимания.

Устремление к Богу осуществляет молитва; однако без особых дополнительных средств молитвенный процесс нарушается и рассеивается, не достигая искомых плодов подлинного бытийного претворения человека. Поэтому практика развивает специальные техники внимания, которые концентрируют сознание на молитве и обеспечивают изоляцию молитвенного процесса от всех внешних вторжений и помех. В этих техниках внимание развертывается в обширный, богатый комплекс или «топос внимания» из целого ряда разновидностей, выполняющих свои отдельные функции, — внимание ума и внимание сердца, трезвение, самонаблюдение, бдительность, стража ума и стража сердца и т. д., и т. п. В деятельности топоса внимания, сознание актуализуется как интенциональное сознание, откуда возникает философская и отчасти психологическая проблематика сопоставления практической исихастской науки о внимании с теорией интенционального сознания в философской феноменологии. Современный анализ этой проблематики приводит к важному выводу, что язык феноменологии достаточно адекватен для описания работы сознания в духовной практике (не в сфере молитвы, разумеется). Ср., например: «Феноменологический (интенциональный) строй — естественный строй если и не религиозного сознания вообще, то по крайней мере <...> сознания в духовной практике. Лапидарно выражаясь, феноменология есть естественный язык духовной практики»⁴.

Однако, хотя топос внимания в феноменологии и исихазме включает, в существенном, тот же комплекс разновидностей, модусов внимания, — роль и назначение этих модусов уже принципиально различны. В исихазме они определяются целиком целями духовного процесса. Соответственно, на первом плане здесь модусы «стражи», охранной деятельности: в них внимание неотрывно привязывается к молитве, и благодаря этому молитва (а именно, Иисусова Молитва, краткая исихастская молитвенная формула) становится непрестанной. Она аккумулирует в себе, развивает невозможную в обычных условиях интенсивность, и в этом предельно напряженном устремлении, сознание достигает некоторой начальной встречи с Богом. Это — ступень синергии, на которой энергии

⁴ Хоружий С. С. К пределам феноменологии: Шпет, Гуссерль и интенциональность в мире духовной практики // Густав Шпет и его философское наследие. У истоков семиотики и структурализма / Науч. ред. Т. Г. Щедрина М., 2010. С. 140.

человека начинают соработничать с энергиями иного образа бытия, действовать с ними сообразованно, согласно. Здесь человек начинает фиксировать действие «на своей территории», в пределах своего существа, некоторых энергий, которых он не может идентифицировать как его собственные энергии; их источник он не может локализовать где-либо в пределах горизонта его сознания. И далее, благодаря синергии, благодаря встрече с этими «энергиями Внеположного Истока», сознание обретает подъемную силу для восхождения по следующим ступеням духовного процесса. Силой иных энергий, разворачивается строительство этих высших ступеней, и это — весьма специфический процесс, природа которого близка к процессам синергетическим, процессам самоорганизации и т. п. В этом процессе совершается спонтанная генерация восходящей иерархии антропологических и личностных энергоформ. Эта возникающая иерархия антропологических и личностных структур восходит к финалу практики, обожению.

На высших ступенях практики, с приближением к ее финалу, к соединению с Божественными энергиями, начинают появляться уже явственные знаки фундаментальной трансформации человека. В первую очередь, эти знаки обнаруживаются в сфере перцептивных модальностей: начинают меняться способности восприятия и возникают новые перцепции, которые в аскетике издавна именовались «умными чувствами». Их формирование проявляется в феноменах, которые в исихазме получили название созерцаний Света Фаворского. Исихасты интерпретируют эти эффекты высших ступеней восхождения как тождественное повторение того восприятия Божественных энергий, которое совершилось с апостолами в событии Преображения на Фаворе. Наконец, актуальная полнота финала практики, обожение как таковое безусловно не достигается в пределах практики, поскольку она остается ограничена здешней эмпирической реальностью. Эта актуальная полнота принадлежит к области эсхатологии, «последних вещей», что относится, согласно учению Церкви, к смысловому исполнению истории.

* * *

На базе этого схематического описания, возможно теперь перейти к нашей проблеме темпоральности духовной практики. Каждая ступень практики — это определенная конфигурация всех энергий человека, определенный режим и способ действия сознания, если угодно, то и цельный модус существования человека. Речь идет не только о сознании, речь идет о человеке в целом. Отсюда следует, что на каждой ступени, вообще говоря, конституируется и своя

формация темпоральности. Иными словами, *Лествица исихастской практики имеет свое темпоральное измерение, в котором она представляется как лестница некоторых формаций темпоральности*. Соответственно, решение проблемы должно заключаться в дескрипции этого темпорального измерения практики и реконструкции составляющих его формаций темпоральности.

В начале Пути практика, разумеется, еще не успела сформировать собственной особой формации, и потому ее исходной ступени, Вратам Духовным, соответствует обычное эмпирическое время — но, понятно, внутреннее, психологическое время, о котором писал Августин; время внутреннего опыта человека. Итак, начало лестницы темпоральных формаций — это «обычное внутреннее время», как мы его будем называть, или время Блаженного Августина, по имени открывателя.

Далее, без особого анализа можно увидеть и главные черты финальной формации, соответствующей телосу практики, обожению. Этот финал принадлежит уже мета-антропологической реальности, только что упоминавшейся области «последних вещей», эсхатологии; а основания этой области отчетливо раскрываются уже и в самом Новом Завете, а затем в патристике. Центральный концепт церковной эсхатологии — *Исполнение*, под коим понимается обретение смысловой полноты вещей, явлений и мира в целом. В этой эсхатологии присутствует и играет крупную роль темпоральный дискурс: эсхатологическое Исполнение имеет свой темпоральный аспект, и в нем оно представляет собой «исполнение времени», или же достижение «полноты времен». Эти понятия — из числа важнейших в христианской темпорологии, в них заключается сама суть понимания времени в христианстве.

Тут полезно сравнение. Темпоральный дискурс проходит во всех духовных практиках и мистических учениях, они все так или иначе говорят о некоторых формациях мета-эмпирической темпоральности, о «выходе из времени». Как правило, и в восточных традициях, и в дохристианской эллино-римской мистике этот выход мыслится как уничтожение времени. Однако христианская полнота времен — это не уничтожение, а скорее, сгущение времени: сохраняя все накопленное содержательно-смысловое наполнение, время «во всем его историческом объеме» сгущается и сжимается до Единого Мига. В этом особом миге, все наполнение дано, явлено сразу и целиком, и потому он уже не может быть подчинен эмпирической структуре длительности, базовой троичной структуре Прошлое → Настоящее → Будущее. Итак, финальная формация темпоральности в исихастской практике — время обожения, время Телоса, как

мы будем говорить, — представляет собой эсхатологическое время полноты времен, имеющее строение не хронологической оси, а Единого Мига, насыщенного всем смысловым содержанием Священной истории. Понятно, что именно эта формация, Священная история возникает здесь, именно ее смысловое содержание вобрано в Едином Миге, который представляет собой исполнение времени, полноту времен и время обожения.

В результате, у нас очертились начало и завершение лестницы темпоральностей. Начальная формация — «обычное внутреннее время», финальная формация — эсхатологическое время Телоса, сгущенный Единый Миг. В промежутке между ними должны располагаться формации темпоральности ступеней восхождения к Телосу. В совокупности же, вся лестница темпоральностей имеет единое духовное задание, которое современный исихаст, игумен Софроний (Сахаров), выражает так: «Пред нашим личным духом стоит задание: пробить стену времени... Сему духовному событию имеем некоторую аналогию: авион, переходящий на сверхзвуковую скорость, производит потрясение, подобное взрыву»⁵. Нам предстоит рассмотреть, как это задание выполняется.

Темпоральные структуры ступеней Лествицы нельзя дедуцировать умозрительно, заключения о них можно делать лишь на базе свидетельств опыта. Поэтому здесь мы должны попросту обратиться к свидетельствам исихастов о темпоральной стороне их опыта. Таких свидетельств, которые прямо, эксплицитно освещали бы эту темпоральную сторону, очень немного. Тем не менее, в совокупности они все же образуют достаточно содержательный фонд.

Исихастская традиция развивается с IV века и по сей день, и потому свидетельства подвижников бывают разделены во времени даже и не веками, а тысячелетиями. Несмотря на это, они, как правило, обнаруживают поразительное единство и согласие между собой, что говорит о надежности получаемой базы данных. По содержанию же, эти данные чрезвычайно интересны. Нам открывается, что с восхождением по Лествице и, в особенности, с приближением к Телосу, характер темпоральности кардинально меняется — но при этом формации темпоральности, отвечающие разным ступеням, строятся одним и тем же универсальным образом. Чтобы не говорить голословно, я приведу несколько текстов, которые относятся к разным частям Лествицы.

Вот свидетельство преподобного Симеона Нового Богослова (начало XI века): «Являясь на краткое время и скрываясь, он

⁵ Софроний (Сахаров), арх. Видеть Бога как Он есть. Эссекс, 1985. С. 180.

<Свет Божественный> одну за другой изгоняет страсти из тела. <...> На краткое время как бы тонкий и наималейший свет, внезапно окружив ум, восхитив его в исступление, <...> скоро оставит его, с такою великою быстротою, что ни помыслить, ни вспомнить о красоте <Света> невозможно увидевшему. <...> Он показывается и убегает»⁶. Поскольку здесь речь об изгнании страстей, то перед нами опыт ранних, начальных ступеней Лествицы.

Далее, вот свидетельство преп. Исаака Сирина (VII век): «Бывает, что усовершенствовался <человек> в душевном делании, но еще не вошел в духовный образ жизни. <...> Некие духовные движения время от времени возникают в нем неразлично, <...> подобно некой вспыхивающей молнии некие таинственные прозрения возникают и возбуждаются в разуме его. <...> Хотя таинственные прозрения мгновенно пронесаются через разум и удаляются, тем не менее вспышка радости и вкус его <прозрения> длятся долго, и тишина, происходящая от этого, спустя долгое время после того, как это уходит, бывает разлита в мышлении его. <...> Есть люди, которые не только таким молниеподобным образом вкушают от истинных тайн, но на тверди сердца их само Солнце Правды взошло в сиянии лучей своих»⁷. Здесь много сходства с предшествующим свидетельством: речь также идет о внезапной «вспышке прозрения», то есть мгновенном опыте иной, смыслонаполненной темпоральности, которая есть — время Телоса; очевидно, что именно оно совершает вторжение в обычную темпоральность. Однако, в отличие от предшествующего, здесь есть и удержание следов опыта, последнее — в терминах Гуссерлевой теории внутреннего времени, *ретенция*. Соответственно, этот опыт относится скорее к средней, сердцевинной части Лествицы.

Наконец, приведем свидетельство Григория Паламы о созерцаниях света Фаворского: «Святые назвали Свет Преображения вопостасным, показывая тем его постоянство и устойчивость как длящегося и не мелькающего перед наблюдателем наподобие молнии, слова или мысли»⁸. Здесь вновь есть общее с предшествующим: речь идет об опыте явления Света Преображения, то есть о встрече с энергиями Телоса, а, стало быть, также и с темпоральностью Телоса; пред нами опять вторжение эсхатологической темпоральности в эмпирическую структуру темпоральности. Однако теперь

⁶ Симеон Новый Богослов, преп. Гимны // Симеон Новый Богослов, преп. Творения. Т. 3. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 159.

⁷ Исаак Сирин, преп. Новооткрытые тексты. М., 1998. С. 145–146.

⁸ Григорий Палама, св. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М., 1995. С. 282–283.

природа встречи характеризуется постоянством и устойчивостью, она противопоставляется вспышке молнии, тогда как прежде уподоблялась ей! И это уже — опыт, относящийся к высшим ступеням Лествицы. Надо только заметить, что даже на высших ступенях постоянство и устойчивость встречи относительны, они не могут быть на долгое время, ибо полнота Телоса — вне горизонта здешнего бытия. Палама здесь об этом не говорит, ему важно подчеркнуть именно различие с «молниеподобными» вторжениями времени Телоса; но то уточнение, что «постоянство и устойчивость» не могут быть достигнуты на долгое время, делают многие подвижники. Так пишет, например, уже цитированный игумен Софроний: «Благодать возлюбит человека, и уже не будет оставлять его, — это завершение подвига. <...> Третий этап, конечный. <...> Он не может быть длительным, <...> ибо состояние обожения благодатью земное тело не выдержит»⁹.

Из этих свидетельств, которые можно подкрепить многими другими, мы извлекаем важные структурные выводы. На разных этапах практики темпоральность исихастского опыта сохраняет в своей структуре один и тот же элемент с тройственным составом:

Выход из времени — Возврат во время — Последствие выхода.

При этом, выход из времени есть не что иное, как внезапное вторжение в обычную темпоральность темпоральности Телоса. Этот тройственный элемент может рассматриваться как универсальная структурная единица, или же порождающий элемент исихастской темпоральности, в том смысле, что формации темпоральности, отвечающие разным ступеням Лествицы, строятся на основе данного элемента, который в них может присутствовать в различном числе и в различных вариациях. Это означает, что каждая из формаций может включать разное число этих универсальных элементов (вторжений времени Телоса), и сами вторжения также могут быть разными по характеру выхода из времени и характеру последствий. Наряду с этим, самыми разными, вообще говоря, могут быть и интервалы между вторжениями.

В указанных интервалах, исихастское сознание пребывает, очевидно, в «обычном внутреннем времени», откуда мы заключаем, что, наряду с универсальным элементом мистической темпоральности, формации времени всех ступеней Лествицы сохраняют в себе также и формацию исходной эмпирической темпоральности, в качестве базовой, или фоновой темпоральности. В результате, каждая из формаций имеет двойственную, расщепленную природу,

⁹ Софроний (Сахаров), арх. Цит. соч. С. 213.

сочетая в себе формации начальную и конечную, эмпирическую темпоральность и темпоральность Телоса, предельно различные меж собой. Возникает отчетливая итоговая картина исихастской темпоральности: имеется базовая, или фоновая эмпирическая темпоральность, и в нее происходят вторжения эсхатологической темпоральности, характеризующиеся универсальным элементом тройственного состава.

Сделаем ряд замечаний к этой итоговой картине. Прежде всего, поскольку выходы из времени имеют природу дискретных миггов, которые не интегрируются, не сливаются ни между собой, ни с эмпирическим временем, формации, включающие такие выходы, по всей видимости, конституируют дискретную темпоральность. Не столь трудно найти свидетельства подвижников, выражающие довольно ясно это качество дискретности; например, как пишет игумен Софроний, вторжение времени обожения есть «Вечное мгновение, не поддающееся никаким определениям или измерениям, ни временным, ни пространственным, ни логическим»¹⁰. Далее, можно заметить, что с продвижением к высшим ступеням Лествицы существенно усиливается ретенция, последствие выхода из времени; при этом число таких выходов может расти, а интервал между ними — сокращаться. Это значит, что эсхатологическая темпоральность, время Телоса, по мере духовного восхождения, начинает занимать все более значительное место в темпоральности исихастского опыта. В этом общем процессе можно подметить один особый, переломный момент, совпадающий с переходом экватора процесса практики. Данный переход соответствует установлению непрестанной молитвы, и это установление отражается на темпоральном измерении практики как смена или перестановка ведущих формаций темпоральности. Как мы выяснили, темпоральность каждой из ступеней Лествицы включает две формации, базовую эмпирическую темпоральность и эсхатологическую темпоральность, которая проявляет себя вторжениями. Вплоть до экватора практики, преобладающей из них является эмпирическая темпоральность, но с переходом экватора две составляющие обмениваются ролями: на высших ступенях Лествицы, как ясно видно из описаний их опыта, ведущей формацией становится уже эсхатологическая, и вторжение времени Телоса делается доминирующим элементом.

В свидетельствах подвижников отчетливо выделяется и такая ступень практики, темпоральность которой можно со всем осно-

¹⁰ Там же. С. 107.

ванием считать максимальным, предельным приближением к времени Телоса. Это — ступень чистой молитвы, которую сами подвижники характеризуют именно определенным отношением ко времени или, что то же, к движению. Чистая молитва уже не развертывается во времени (обычном), она не есть процесс, движение, как прямо указывает Исаак Сирий: «Ум имеет возможность различать свои движения только до предела чистой молитвы... <здесь> молитва лишается движения»¹¹. Тем не менее, и для этой радикально не базовой, не обычной темпоральности дается весьма содержательное, хотя и образное описание: в чистой молитве, как пишет исихастский автор IV–V веков Нил Анкирский, «Ум приближается к Богу, Который видит расположение сердца, отверстое, подобно исписанной книге»¹². Этот яркий образ насыщен в том числе и богатым темпоральным смыслом. Чистая молитва — все же не полнота обожения, это — ступень Умного Делания, реально достигаемая в аскезе. Но ее темпоральность обладает уже главным качеством темпоральности Телоса: в ней совершается единовременное или скорее вневременное, *в единый миг*, предъявление Богу «исписанной книги» — всего, как мы выражались, содержательно-смыслового наполнения пути человека; и сгущение всего этого наполнения в единый миг мы сопоставляли понятию Исполнения. Темпоральность чистой молитвы, как она описана Исааком Сирием и Нилом Анкирским, мы можем назвать «темпоральностью являемой книги». И можно предполагать, что в данной формации достигается максимальное приближение ко времени обожения, к эсхатологической темпоральности.

На этом нашу беглую реконструкцию исихастской темпоральности сочтем завершенной.

¹¹ Исаак Сирий, *преп.* Слова подвижнические. М., 1993. С. 63, 67.

¹² См.: Добротолюбие. Т. 2. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. С. 229. Здесь данный текст (из соч. «К Магне, диаконисе Анкирской, Слово о нестяжательности») приписан св. Нилу Синайскому, которому в XIX веке атрибутировались сочинения св. Нила Анкирского..

В. Л. Рабинович
**Тайновидец и тайнодержец:
Сквозь термины — к звездам**

Сознание и творчество (точнее: сотворчество) — тайна *двух*, потому что со-знание с кем-то и со-творчество тоже с кем-то. Не с тем ли же самым кем-то? Попасть в резонанс, *обняться душами...* А потом и рассказать об этом, но на холдную — научную — голову.

А что после? Подвинуть своим рассказом новых двух к со-творчеству, а потом и со-знанию.

Таким образом, две тайны или все-таки одна-единственная, но зато тайна тайн?

Но... как подумать о душе иначе, как самой душою?..

Владимир Зинченко — тайновидец, но и тайнодержец, обладающий *умной душой* и ведущий нас *сквозь термины — к звездам*.

* * *

Поэтика и эвристика поэтического образа. Не эта ли тема занимала Владимира Зинченко последние 10–15 лет?

С эвристикой (не с сократовской ли майевтикой?) и, тем паче, с Архимедовой эврикой — как будто все ясно. А вот, говоря о поэтике (отречемся на время от ученых заморочек), будем пребывать в греческих видах — *только* в мелосах поэтического искусства, т. е. при начале творения — а где же еще? — когда никакой культурологии (и даже философии) не было и в помине. А под поэтическим образом, как водится, будем разумеать поэтическую речь — подстать ручью, воздуху и пламенам. И при этом, боже упаси, не пересказывать на философский лад тайну поэтического, потому что речь поэта и речь философа — разные речи, хотя смысл присутствует и там и тут. Но если в случае поэта *смысл* в звуке, то в случае философа смысл в значении. Эта мысль Поля Валери была бы абсолютно верной, если бы значение не было бы никем и никогда положено на звук. Так бы и жили порознь. Но... эвристика. Но... поэтика.

Конструкты, изобретаемые философом, всегда на пути к тайнам: воды, воздуха, огня; на пути к тайнам поэта, конгениального философу, формулирующему эвристику вопреки поэтике для того, чтобы стреножить тайну поэта, приручить ее при понимании тщеты этой утопии — приручить... Мелос ложится на Логос в его, логоса, искусительности стать голосом. Иногда случается, когда *луч* пронзает слово *случай*. И тогда... «чем случайней, тем вернее...» (Б. Пастернак).

Начинаются опыты.

Опыт № 1. Владислав Ходасевич. «...Ища пенсне или ключи».

Эта последняя — седьмая — строка стихотворения «Перешагни, перескочи...». Цитирую его за краткостью целиком:

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам потерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь —
Ища пенсне или ключи.

Поэт записал: «11 января кончил: последние 3 стиха. Начато еще весной 921».

Можно лишь догадываться о первоначальном импульсе к написанию этой вещи, при этом так никогда и не догадаться по этим четырём строкам о «действительном» случае, «вспомненном» поэтом почти год спустя.

Мои кавычки, заключающие эти слова, отрицают действительный повод. Он — не важен это повод. Важен пафос, зовущий к небесам, преодолевающий все преграды на пути: ступенями — *вперед и выше*: перешагни, перескочи, перелети... По земле, немного по воздуху, *только* в воздухах в отрыве от почвы. Или сразу — вверх: камнем из пращи. И — немедленно вниз, но побывав звездой наверху. Без всяких там восхождений. Неясный — крайне противоречивый — замысел. Так бы и остаться этому «замыслу» (снова спасительные кавычки) заготовкой без завершения, если бы не случай потери чего-то крайне необходимого: пенсне, ключей и т. п. Без очков ты слепой крот, а без ключей — ни туда, ни сюда. И поиск-то по сути дела невозможен — тщательный и подробный. Какое там тщательный! Ведь вслепую. Перебор исключен. Разве что случайно. Потому и *пере-*. На выбор. Или все подряд: *что хочешь*. И

все это — из области высокого, заключенного в бытовую незадачу. Вся вселенная уместилась в закут, где затерялось необходимейшее: ключи или пенсне.

Возвышенная, исполненная поэтизм речь — всего лишь ноль без палочки в сопряжении с насущным: «Бог знает, что себе бормочешь...». «Сам затерял — теперь ищи...» Сам, и только сам — в надежде на случай. Авось, найдутся...

А теперь пусть попробуют написаться эти стихи от действительной неприятности: потери ключей или очков. То есть того, что было (случилось) в начале (здесь же сказано только в конце). Вот так и будешь ползать по всему метражу своей квартиры вслепую. И не будет тебе ни камня из пращи, ни сорвавшейся с ночного неба звезды...

Ничего не найдешь и ничего не сочинится, если пойдешь от *факта жизни*. А если от действия, от занебесного *между тем* в пространстве *междуречья*. Может быть, тогда-то и случится нечто: например, это стихотворение.

А теперь спросим: о чем это стихотворение? Оно — вовсе не о потерянных вещах и совсем не о возвышенном небесном. Оно — о том, *как* написало это стихотворение, *вдруг* восставшее из божественного бормотания с виду ясных человеческих слов: *очь-в-ночь...* И это *вдруг* готовилось едва ли не год в скрежещущем столкновении быта и бытия, чтобы накоротко замкнуть весну 1921 и 11 января 1922 и, тем самым, пресуществив факт обыденного в акт поэтического.

Эвристика, т. е. *как сделалось*, — упразднила поэтику как начало песни: «Бог знает, что себе бормочешь...». И — само бормотание изначальное: «Перешагни...», ведомое Богу (уже не присказка, а в самом деле — Богу, который тоже набормотал весь мир). И продолжает этот мир от сотворения вновь и вновь перенаборматывать, только теперь уже с помощью Поэта. Разных поэтов.

Но если бы не эвристика — *как оно сделалось* — никогда бы не дознаться, с какого первоголоса все началось. Быт экранирует певчее бытие. Но экран прозрачный (конечно, не без эвристических усилий слышится песня о Мире в лад и в склад с богом-зачинателем. Запевалой...) И тогда песня может стать райской песенкой, не замкнутой второй раз на быт. Эвристика помогла поэтике сознательно напеть себя. Или так: эвристика быта пожертвовала собой ради поэтики бытия...

Опыт № 2: Константин Случевский. Любовь по расчету. Поэтическому.

Снова за краткостью цитирую целиком:

Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия.
Другого не было пути...
И я прошу, и ты прости.

1901

Что случилось? Какой секрет здесь зашифрован?

Будни как будто враз взорваны нежданной встречей ручья и молнии. (Вспоминаете бунинский солнечный удар? Страсть...) Удар ценой безразличия одного и лишения бытия для другой.

А будни вовсе не взорваны. На то они и будни, чтобы ими оставаться-длиться до их естественного окончания. Если только попросить прощения друг у друга. Но, лишившиеся бытия, они простят друг друга, оставаясь без-бытийными теперь уже навсегда. Давид Самойлов:

Нужно себя сжечь,
Чтоб превратиться в речь.

Точнее, в начало речи: может быть, ручей неслышно булькнет. Неслышно? И потому не будет услышан? Но мы, читатели, видим неслышимое и слышим невидимое, потому что эвристически перераскрыты наши некогда любовные дни, ставшие прощенными буднями в топике припоминания солнечного удара, случившегося не с нами — с нами — с другими...

А поэт все правильно расчислил.

Опыт № 3: Сергей Есенин. «Море голосов воробьиных...» (1925).

Две строки чистой поэзии. Остальные — подобию:

Море голосов воробьиных.
Ночь, а как будто ясно.
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно.
И на устах невинных
Море голосов воробьиных...

И вот эти удивительные строки:

Ах, у Луны такое, —
Светит, хоть кинься в воду.

Что это — «такое»? Какое оно — такое? Какая луна? И причем она здесь? Оказывается, Вержбицкий, друг и товарищ поэта, профессиональный китаевед, когда-то рассказал ему про китайского поэта VIII века Ли Бо, который сидел на берегу озера по вечерам, смотрел на воду и видел, как отражается в ней Луна, в которую он влюбился. И он кинулся в воду за этой Луной! Есенин забыл этот сюжет, но помнил что-то такое... Вот оно какое это самое «такое»! И на этом — собственно поэтическом — держится все стихотворение. Мелос — вот здесь, остальное — огласовка этого мелоса. Эвристическая расшифровка важна. Но и без нее неплохо. Чистый тон не нуждается в аранжировке. Но обнаружить его путем апофатически снятой эвристики означает прильнуть к перворечи чистой — осторожно и не расплескав.

И, наконец, чистый мелос — на все небо и над всей землей.

Опыт № 4. Хлебников. В начале 1908 года:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей!..

Почему глаголы во множественном, а стая в единственном? Не потому ли, что каждый времирь — квант времени, и все они — на одно лицо — сбились в одну — тоже легкую — стаю? А может быть, стая легких *воробей*, разливших свои голоса морем и окликнувших Ли Бо из VIII века, а с ним и Есенина из 1920-х годов, а спустя еще полвека подлунный Китай уничтожит всех своих воробьев, а времири Хлебникова все пролетают по российскому поднебесью, а мы

припадаем к случевскому ручью, не услышавшему своей молнии, лишившейся в соитии с ручьем собственного бытия... И ни к чему все эвристики, и дебри всех секретов, а с ними все мраки энигм. И только хрустальное чюрли-журль журавлей — времирей — воробей...

Бог знает, что себе бормочешь...

Спрашивается: нужна ли здесь культурология (= философия)? *Только* как провокаторша для промыва ушей и промывки горлышка выпавшего из стаи и залетевшего в приоткрытую форточку московской коммуналки Велимирова времиря...

Опыт № 5, заключительный: *Между тем*.

Не между чем и чем, тем или этим. И даже не между *быть* или *не быть*, чтобы прянуть в это невыплаканное *или*.

«Несказанное, синее, нежное» (*Есенин*).

Потому и не сказанное. Субстанция поэтического.

Над-национальное, над-мирное. Чистое *между тем*...

Откуда оно, это *между тем*? Кто его первый сказал? Кто, кто... Пушкин! Вот кто: «...шипя между тем выползала...». И в этом *между тем* — все: молч — мочь, иску — укус, точь-в-точь.

Между тем — навсегда и навезде, потому что именно тогда и там. При этом вселюдно бездомное. Бездумное... Серебряное *между тем*.

Змеино ускользящее междутемье. Междуречье. Между нами — тобой и мной?

А если не там, то где? И причем тут хайку и все русскоязычные хоккуисты с нею (или с ним?), если речь о поэтическом как субстанции? Оно столь же японское, сколь и есенинское, и латинское (*inter esse* — вместе с *Эпштейном*), и литовское (*Чюрленис*), и испанское тож (*Лорка*).

Чувство... Для всех времен сразу, но для каждого времени в отдельности. Взрыв чувства в противовес «ровному тону». Но... на фоне «ровного тона» — «синие ночи андалузских безлюдий».

Лорка:

Мне и вправду мало дела
До того, что птица с дуба
На другой перелетела.

Мало или много? Это не так уж и важно, потому что в пространстве *между тем* возможно все. Вдруг и сразу..

Апофатика философского во имя катафатики поэтического.

Раздел I. Культурно-исторический подход в психологических исследованиях

М. Коул, Дж. Верч

Свобода и скованность человеческого действия

*...те, кто пренебрегают перечитыванием,
обрекают себя на то,
чтобы повсюду читать одно и то же.*

Ролан Барт, S/Z (1970)

Написание статьи в честь восьмидесятилетия Владимира Петровича Зинченко — замечательного ученого и интеллектуала международного масштаба — большая честь для нас.

Эта возможность побудила нас поразмышлять о нашем долге и необыкновенно тесном сотрудничестве с Владимиром Петровичем. Мы, если так можно выразиться, родня Владимиру Петровичу и его другу, Василию Васильевичу Давыдову, а также многим другим последователям культурно-исторической и деятельностной теории. Мы разделяем с ними честь быть «третьим поколением» последователей Л. С. Выготского. Как и они, мы учились у А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьева. Мы посещали лекции и встречались с другими ключевыми фигурами того времени — Л. И. Божович, Р. Е. Левиной, Н. Г. Морозовой, А. В. Запорожцем, Д. Б. Элькониным, П. Я. Гальпериным, Б. В. Зейгарник и др. Мы вместе с ними разделяли опыт жизни в Советском союзе во время «холодной войны» и после нее. Как официальные представители Американского научного общества, мы конечно, не испытывали на себе такого идеологического давления, которое приходилось испытывать нашим русским друзьям, не говоря уже о старшем поколении советских людей. Тем не менее, для нас — американцев, находившихся в Москве во время «холодной войны», — одним из условий такой дружбы являлось подчинение местным ограничениям и требованиям. Неформальные отношения — это один из самых великих уроков, которые мы получили от наших русских друзей и учителей — понимание того, что такое настоящая дружба.

В то же самое время мы оба были связаны профессиональными отношениями, в которых мы играли роль «научных посредников» — в качестве переводчиков, иногда чиновников по обмену,

журнальных и книжных редакторов. И, как часто это бывает, в результате такого посредничества, мы стали увлеченными приемниками идей Выготского и его последователей, в каких бы отношениях они не находились друг с другом. Нам потребовалось несколько десятилетий общения, чтобы сделать русских и американских коллег понятными друг для друга. Например, американские коллеги всегда считали, что нас очень трудно понять, что мы методологически аномальные, иногда слишком пристрастно сконцентрированные на таких понятиях как «культурное посредничество», «полифония» и «развитие». Одновременно русские коллеги не всегда соглашались с нашей интерпретацией основополагающих идей и интеллектуальных взаимоотношений между концепциями Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, С. Л. Рубинштейна и др. Одним словом, американский Выготский часто кажется мало похожим на русского Выготского.

Мы оба и сегодня находимся в центре кросскультурных дискуссий, развернувшихся вокруг научного наследия Выготского. Поэтому стиль нашего изложения неизбежно должен быть диалогичным и полифоничным. Мы надеемся, что Владимир Петрович поддержит такой подход к его работам.

Открытие связующей нити

Поскольку Владимир Петрович жил в различных социально-политических контекстах и разработал такой широкий спектр различных проблем, мы столкнулись с необходимостью поиска такого аспекта, на котором следует сосредоточиться. Развитие предметной деятельности и психологические эксперименты с маленькими детьми? Формирование зрительного образа? Эргономика когнитивных и исполнительных актов для улучшения деятельности работника высокотехнических профессий? Сущность человеческой культуры? Духовность, выраженная в искусстве? Следуя общеизвестной истине: «чтобы понять поведение, мы должны понять историю поведения», мы стали перечитывать работы Владимира Петровича, начиная с его новых статей и книг, в которых он ссылается на «неклассическую психологию» Выготского. Затем мы проследили ход развития его идей, начиная с ранних публикаций конца 1950–1960-х годов, когда он работал со своим учителем Александром Запорожцем. Мы ожидали найти общую связующую нить между понятиями и проблемами, над которыми работал Владимир Петрович. И мы ее нашли. Такой нитью является исследование действия (во всех формах его существования) как идеальной единицы анализа и понимания возможностей и границ человеческой свободы. Далее

мы постараемся проследить, как понимание и изучение человеческой деятельности в ее историческом развитии может оказаться ключевым для размышлений о трансформации прошлого в будущее, «данного в новое», «предположений в гипотезы», памяти в воображение. Такое изучение, говоря словами Владимира Петровича, позволяет характеризовать «жизнь как асимметрию, с постоянным колебанием на острие меча между познанием и действием, сознанием и деятельностью, опытом и его использованием»¹. Именно этот процесс балансирования на острие меча позволяет каждому человеку приобретать свой и только свой, единственный и неповторимый опыт и прочерчивать собственную траекторию социокультурной жизни.

Краткое отступление

В процессе написания статьи мы задались вопросом: почему центральная позиция — проблема свободного действия, которую всю жизнь разрабатывал Владимир Петрович, не стала для нас ясной несколько десятилетий назад, когда мы изучали и переводили его работы? Это произошло по разным причинам. Прежде всего, нам было трудно выйти за пределы собственных научных исследований и увидеть за конкретными его исследованиями в разных областях психологической науки целостность замысла. Кроме того, нам пришлось вращаться в контексте двух языковых и культурных традиций, что, безусловно, затрудняло наше понимание его идей. Эти и другие факторы могут служить некоторым оправданием нашей научной близорукости.

Однако, на наш взгляд, трудности нашего понимания, возможно, обусловлены особенностями идеологической ситуации в советском обществе. Мы имеем в виду не наши неофициальные взаимоотношения с Владимиром Петровичем, а его, порой, эзопов язык и подтексты, в которые нам не всегда удавалось проникнуть. Так или иначе, но мы должны констатировать, что он в своей высоко профессиональной и социально полезной научной и практической работе настойчиво проводил линию изучения свободного человеческого действия, которое имеет существенное значение с фило-софской и психологической точек зрения. Эти важнейшие «контекстуальные» факторы мы будем держать в уме при обсуждении его работ и при формулировании наших выводов относительно идей Владимира Петровича.

¹ Зинченко В. П. Алексей Алексеевич Ухтомский и психология (К 125-летию со дня рождения) // Вопросы психологии. 2000. № 4. С. 85.

Связующая нить — человеческое действие

В самом начале научной жизни Владимир Петрович опирался на идеи Н. А. Бернштейна. И мы полагаем, что его понимание этих идей может стать своеобразной точкой отсчета для понимания всей его концепции человеческого действия. В статье, написанной в 1996 году, Владимир Петрович замечает, что Бернштейн увидел в каждом отдельном движении неповторимость и уникальность. Оно «не повторяется, а строится, поэтому упражнение — это повторения без повторения»². Это означает, что при попытке копировать даже самое простейшее из движений — точное воспроизведение невозможно, следовательно, всегда остается пространство для творчества и саморазвития. Если мы рассмотрим простые движения на достаточно тонком структурном уровне, то обнаружим некоторые вариации. Два удара по клавиатуре и два произнесения одной и той же фонемы никогда не будут совпадать, даже если мы будем стараться делать это одинаково. Такие несовпадения в процессах воспроизведения стали своего рода краеугольным камнем многих психологических дискуссий о человеческой природе как таковой. С одной стороны, человек социализируется, вовлекается в социальную систему, среду, подчиняется ее установлениям, с другой стороны, чтобы быть человеком, нужно создавать собственную социальную и психологическую реальность таким образом, чтобы всегда оставалось вариативное пространство. Западные аналитики занимались этими проблемами, например, сравнивая взгляды Ж. Пиаже и Л. Выготского. Такие дискуссии нередко носили специфический характер, поскольку затрагивали ситуацию развития советской науки в тоталитарном обществе. В этом контексте работы Владимира Петровича и его учителей могли восприниматься как спорные, близкие к идеям кибернетики Н. Винера, которая на протяжении ряда лет третирувалась в Советском Союзе. Конечно, не столько Владимиру Петровичу, сколько его учителям, прежде всего, А. В. Запорожцу приходилось маскировать проблематику свободного действия терминами «произвольного движения», «ориентировочно-исследовательского действия». Именно исследование живого движения и свободного действия во многих сферах человеческой жизни как раз и может считаться средостением работ Владимира Петровича.

Ниже мы рассмотрим работы Владимира Петровича в хронологическом порядке, чтобы показать ведущую линию его исследований. Наше изложение мы разделили на четыре части, соответствующие четырем периодам в исследовательской деятельности

² Зинченко В. П. Движение — это живое существо (к 100-летию Н. А. Бернштейна) // Вопросы психологии. № 6. 1996. С. 136.

Владимира Петровича. Эти периоды были наполнены разным эмпирическим и теоретическим содержанием, менялись и области приложения, внутри которых разворачивались его исследования. Неизменным оставался предмет: *свободное человеческое действие*.

*Период 1**Перцептивное действие*

Главная идея, которую Владимир Петрович унаследовал от своего учителя и друга А. В. Запорожца, заключается в том, что восприятие есть вид человеческого действия. С этой точки зрения наши глаза на самом деле «опознают» окружающую среду практически аналогично тем способам, которыми руки «опознают» носовой платок в кармане, или когда человек берет руками предметы с полок магазина и кладет в тележку для покупок, даже не взглянув на них. Человек берет бутылку не так, как берет банан. Любое действие есть форма ориентации человека во внешнем мире. А. В. Запорожец и В. П. Зинченко полагали, что в процессе взаимодействия человека с предметом формируется перцептивная или «мыслительная модель» окружающей среды, а также отношения и способы действия в этой среде. Другими словами, у человека формируются «внутренняя картина» и «внутренняя моторика», определяющие осуществление произвольных движений и действий. И та и другая в структуре действия представлены как формы *активного покоя*. «Внутренняя картина» — это образ, представление человека о пространстве возможных действий, а во внутренней моторике представлены возможные способы действий в той или иной ситуации³. Первые исследования А. В. Запорожца и В. П. Зинченко, а также их коллег фокусировались на перцептивном действии, изучавшемся посредством регистрации движений глаз и рук у детей. Это исследование позже было продолжено в работах по формированию зрительного образа в условиях стабилизации изображений относительно сетчатки глаза.

Развитие осязательного и зрительного восприятия

В серии экспериментов, начатых во второй половине 1950-х годов, Владимир Петрович и его коллеги предлагали детям фигуры неправильных форм и просили их ощупать или рассмотреть. После осязательного ознакомления их просили найти эту фигуру зрительно, а после зрительного — осязательно. Когда детей просили исследовать предмет зрительно, можно было проследить разные паттерны движений глаз: трехлетние дети главным образом сосре-

³ См.: Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. М., 1982.

дотачивались на центре предмета и делали несколько движений по направлению его контуров, тогда как дети постарше в значительной степени исследовали глазами его контуры. Движения руки и движения глаз детей подвергались кинорегистрации.

Был получен ряд интересных результатов⁴, (мы используем результаты, полученные при изучении поведения трехлетних и шестилетних детей в целях контраста). Самые маленькие дети не могли гаптически обнаружить предмет, они предпочитали играть с предметом, а не ощупывать его. Шестилетние ощупывали его контуры. Трехлетним в основном не удавалось идентифицировать предмет, когда он был перемешан с другими предметами, тогда как шестилетним детям это не составляло никакого труда.

Что же тогда получается — знает ли рука то, что видел глаз? Ответ заключается в следующем: дети постарше сформировали образ действия, адекватный заданию. Когда их просили вообразить предмет, который они до этого изучали осязательно, движения их глаз были подобны тем движениям, которые они совершали ранее руками.

В этих экспериментах фактически осуществлялся методологический подход к восприятию и познанию, известный и в американской когнитивной психологии. Мы также обладаем некоторой интересной информацией относительно тех условий, которые помогают развитию способностей по созданию образа (создание образа как центральный компонент перцептивных действий). Но что мы узнали о самом процессе формирования образа? Это теоретический подход, направленный на анализ процесса формирования образа. Полученные данные значимы для развития сенсорных способностей у детей. Они также важны и для развития перцептивных способностей взрослых, работающих со сложной техникой.

Стабилизированные изображения относительно сетчатки

Работа Владимира Петровича над феноменом стабилизированных относительно сетчатки изображений пересекается с его экспериментальными изучениями осязания и зрения у детей. В ней соединяются две исследовательские линии, которые могут показаться различными. Одна линия направлена на изучение сенсорных возможностей у детей, в то время как другая фокусируется на экспериментальном исследовании восприятия.

Суть исследования состоит в следующем: наши глаза находятся в постоянном движении не только вследствие свободных действий глаз

⁴ См.: Запорожец А. В., Венгер Л. А., Зинченко В. П., Рузская А. Г. Восприятие и действие. Гл. 6. «Сравнительный анализ осязания и зрения». М., 1967. С. 210–249.

и головы, но и благодаря произвольным, саккадическим, движениям глаз. Следовательно, глаза двигаются с отклонениями относительно стабилизированного изображения, даже если максимальные усилия затрачены на то, чтобы пристально смотреть на предмет. Когда изображение стабилизировано относительно сетчатки с помощью специальной присоски,двигающейся вместе с глазом, через две-три секунды изображение исчезает (визуальное поле становится серым), но переходит в это состояние так, что изображения сначала распадаются, а затем исчезают. При движении глаза вместе с присоской возможны восстановления фрагментов изображения. Однако полное изображение восстанавливается только тогда, когда возможно его свободное рассматривание. Физиологический механизм для полного угасания изображения вполне понятен: элементы сетчатки, адаптируясь к постоянному свету, теряют чувствительность. Следовательно, тот факт, что произвольные движения глаза требуются для поддержки зрительного контакта с миром, ставит перцептивные действия прямо в центр самых важных когнитивных способностей человека.

Эти наблюдения заставили В. П. Зинченко и его коллег задуматься над тем, что бы произошло, если бы было возможно «поиграть» с глазом, т. е. найти способ, позволяющий испытуемому длительно рассматривать стабилизированное изображение. Оказались бы в такой ситуации движения глаз излишними? Владимир Петрович и его коллеги нашли способ «поиграть» с глазом с помощью цветовой модуляции стабилизированного изображения.

В одном исследовании они представили иллюзию куба Неккера — двухмерный рисунок трехмерного предмета. Куб появляется не только как трехмерный, но также кажется, что он выдается из страницы, на которой нарисован. Испытуемые подтверждали, что они видели превращения куба и его очевидную трехмерную ориентацию, даже тогда, когда движения глаз уже не были необходимы для поддержания изображения. Тем не менее, Зинченко и Вергилес обнаружили движения глаз, которые показались им сначала бессмысленными, так как они не помогали смещать стабилизированное изображение. Авторы назвали такие движения викарными перцептивными действиями. «В отличие от внешних перцептивных действий, осуществляющих съем информации из внешнего мира, с помощью викарных действий информация снимается со следа (со стабилизированного образа или послеобраза), накопленного сетчаткой»⁵. «Посредством викарных перцептивных действий осуществляется управление чувствительностью отдельных участ-

⁵ Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного образа. М., 1969. С. 37.

ков сетчатки»⁶. На основании этих фактов они заключают, что «моторика глаза, таким образом, организует движение внимания в зрительном поле даже в том случае, когда это поле неподвижно относительно сетчатки»⁷ — следовательно, предметные образы являются частью познавательной системы, которая может действовать иначе, нежели система мгновенного восприятия мира. Они пришли к идее функциональной фовеа централис, где, по их терминологии, первичная функция викарных предметных действий с образами замещает действия с реальными предметами. Восприятие — это, пользуясь термином А. А. Ухтомского и Н. А. Бернштейна, «функциональный орган», который помимо внешней формы движения имеет еще и внутреннюю форму (внутренний план деятельности). Формирование перцептивных и мысленных образов посредством тактильной перцепции невозможно, если только не рука управляет объектом и не обследует некоторые из его составляющих частей. В визуальной перцепции движения глаза играют подобную роль. Никакого постоянного образа не формируется в сознании одновременно с предъявлением объекта, но его различные компоненты должны быть выделены движущимся глазом⁸. Разумеется, данная трактовка не отрицает превращения сукцессивного восприятия в симультанное, одноактное схватывание. Это еще один предмет исследований В. П. Зинченко.

Каждое из этих заключений предполагает, что существует сфера «психологического», «психологического действия». Есть периоды, когда состояние *в* мире и *вне* мира не изоморфно по отношению к миру. Другими словами, образ может иметь избыточное число степеней свободы по отношению к оригиналу. Используя термины, предложенные А. Н. Леонтьевым, внутренний мир был построен в процессе уподобления воспринимающих систем свойствам воздействия. Его результат связывает последующее действие с предыдущим. Процесс осуществления такого уподобления как раз и составляет «острие меча». Здесь мы приближаемся к сфере человеческого сознания.

Обобщение Периода I

Сопоставляя статьи, посвященные исследованию восприятия у детей с текстами, в которых изложены результаты работы над стабилизированными изображениями у взрослых, мы можем заметить, что

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 36.

⁸ См.: Зинченко В. П. Движения глаз и формирование зрительного образа // Вопросы психологии. 1958. № 5. С. 63–76.

они имеют между собой тесные связи. Работа с младшими детьми описывает процесс, при котором дети мало способны формировать мыслеобразы: когда они становятся старше, они способны представить предмет при помощи движений глаза, подобных тем, которые они совершали, когда рассматривали объект ранее. Внешние, наблюдаемые действия легче «перемещаются» из одной модальности в другую.

Исследования стабилизированных образов у взрослых показывают, что даже когда образы внешних предметов отражены на сетчатке, все же имеют место малоамплитудные движения глаза. О таких «викарных» движениях, замещающих в том смысле, что они не являются необходимыми в физическом значении, мы можем думать как об умственных действиях «думающего глаза».

Как в работе над внешне регистрируемыми движениями глаз и рук детей, так и в экспериментах со стабилизированными образами, процесс формирования образа включает комплекс процессов «туда-обратно» между организмом и окружающей средой, которые, как все движения, *не могут себя повторить в точности*. Особенно в период обследования в образе появляется нечто непредсказуемое, новое, какой бы незначительной ни была эта новизна. Образ не может полностью контролироваться действием извне. Это, снова, пусть и слабое, проявление степеней свободы действия.

Также центральной является идея, что перцептивное действие находится в центре взаимоотношений между избытком степеней свободы и их преодолением в человеческой жизни. По мере развития дети становятся менее «контекстуально связанными». От внешнего, очевидного человека отделяет мысль — акт, занимающий по существу мгновение. Но и она все же остается действием, с его балансированием на «острие меча». Этот момент создания образа является существенным для человеческой жизни. В целом данная работа есть напоминание о том, насколько глубоко человеческие существа требуют «свободы движения», чтобы адекватно функционировать даже в состоянии очень ограниченной окружающей среды.

Этот вывод сейчас кажется для нас очевидным. Но он не казался нам таким очевидным ранее. Одна из причин — это то, что мы читали эти тексты с предвзятыми идеями о значении технических терминов, которые, казалось, играли важную роль в мышлении русских психологов. Например, наша интерпретация взаимосвязи перцептивного действия с идеей ориентировочного рефлекса, стала популярной благодаря работам Е. Н. Соколова. Мы понимали ориентировочный рефлекс как реакцию на новый или неожиданный стимул или на изменения в интенсивности, длительности, частоты и других параметров стимула. Ориентировочный рефлекс был,

как известно, использован А. Р. Лурией в его работе, посвященной семантическим рефлексам⁹. Базовая сущность ориентировочного рефлекса есть привыкание, он исчезает при повторном предъявлении. Если репрезентация стимула сформирована, и последующие репрезентации «подходят», дается ответ. Но если есть диссонанс, ориентировочный, рефлекс появляется снова.

Какое отношение этот немедленный «ответ-на-изменение» имел к ощупыванию предмета детьми в течение нескольких минут с попыткой представить, что это может быть за предмет? Неужели мгновенная реакция на различие параметров эквивалентна продолжительному обследованию?

Кончено, нет, но дело в том, что в 1952 году русские психологи были вынуждены принять павловский язык, чтобы продолжать работать. Они пришли к гениальному решению обозначить понятиями И. П. Павлова те реальные психические процессы, которые были исследованы ими в 1930-х и 1940-х. Ориентировочный рефлекс был одним из таких понятий, поскольку И. П. Павлов сам ссылался на него и связывал его с исследовательской деятельностью. По тому же самому принципу, используя работы Маркса и Энгельса, они выбрали понятие деятельности (Tätigkeit), чтобы примирить их собственные теоретические идеи с идеологической ситуацией в стране. Вот как Владимир Петрович пишет об этом¹⁰: «Категория деятельности служила для С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева своего рода заказником, резервацией, средством идеологической защиты психологии, точнее — выживания ее как науки. Психика либо отождествлялась с деятельностью, либо деятельность выступала в качестве объяснительного средства, синонима принципа детерминизма всей психики. В обоих случаях психика (а вслед за ней и психология) оказывалась внутри относительно безопасного с идеологической точки зрения “круга деятельности”, что и позволяло психологии существовать»¹¹.

⁹ Luria A.R., Vinogradova O.S. An objective investigation of the dynamics of semantic systems // British Journal of Psychology. 50 P. 89–105.

¹⁰ Журнал по русской и восточноевропейской психологии, сборник 42, № 2, март-апрель 2004, стр. 30–68. Теперь стало понятно, что немецкие и русские слова, переведенные на английский как «деятельность» (Tätigkeit и dejatel'nost') не соотносятся. Это одна из многочисленных проблем перевода русских исследований по психологии на английский, на которые мы ссылались в этом эссе.

¹¹ Зинченко В. П. Психологическая теория деятельности («воспоминания о будущем») // Вопросы философии. 2001. № 2. С. 66–67. См. также: Зинченко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета. Возвращение из изгнания. М., 2002. С. 116–117; Zinchenko V. P. The Psychological Theory of Activity. «Remembrances of the Future» // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 42. № 2. March–April 2004.

В дальнейшем эти исследования привели В. П. Зинченко к работам Г. Г. Шпета¹².

В работе 1927 года «Внутренняя форма слова» Шпет последовательно излагает концепцию «внутренней формы языка» В. фон Гумбольдта. Он говорит о языке как об активной силе, преобразующей социальную и интеллектуальную жизнь человека. По мнению Шпета, «надо рассматривать язык не как мертвый продукт производства (ein Erzeugtes), а, скорее, как само производство (ein Erzeugung)»¹³. Этот тезис Шпет повторяет несколько раз. «Для Гумбольдта было величайшим откровением, что язык есть *энергея*. К этому у него также “все сводилось”. В этом смысле надо понимать и все другие оттенки в описании этого термина: язык есть “духовная деятельность” и “имманентное произведение души”, он заложен в самой природе человека. <...> Язык можно рассматривать не только как субстанцию, но и как субъект, не только как вещь, как продукт, произведение, но и как производство, как энергию»¹⁴. Однако Шпет идет дальше Гумбольдта и формулирует концепцию внутренней формы слова как динамических алгоритмов языка, законов смыслообразования.

В своих исследованиях познания, памяти и других процессов человеческой психики Владимир Петрович опирался именно на концептуальные положения Гумбольдта и Шпета. Следуя за ними, он рассматривает слово, как «акт, действие, входящее в состав языка, понимаемого как деятельность. К слову вполне применим образ Н. А. Бернштейна, уподобившего движения живому существу. Органическая структура (в том числе и духовный организм) способна к развитию, к созданию новых, недостающих ей функциональных органов»¹⁵. Понятие функциональных органов является частью его исследования по «органической психологии»¹⁶. Это понятие «широко использовали и развивали Н. А. Бернштейн, А. В. Запорожеч, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия. Они наделяли их телесными свойствами и качествами, исследовали их развитие, инволюцию, реактив-

¹² Ср.: «Викарные действия, совершаемые с нереализуемыми вовне моторными программами, обеспечивают динамику внутренних форм, о которой постоянно говорил Шпет». Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 517.

¹³ Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Этюда и вариации на тему Гумбольдта // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007. С. 330.

¹⁴ Там же. С. 348–349.

¹⁵ Зинченко В. П. Мысль и слово Густава Шпета. Возвращение из изгнания. М., 2002. С. 98.

¹⁶ Зинченко В. П. От классической к органической психологии. На рус. и англ. яз. М., 1996. С. 9.

ность, чувствительность и т. п. Функциональные органы, психологические функциональные системы следует рассматривать как материал (материю), из которого в конце концов конституируется духовный организм. Они действительно могут рассматриваться как анатомия и физиология духа»¹⁷.

В этот период интеллектуального развития Владимир Петрович рассматривает деятельность как пространство для человеческого творчества и свободы. Если выражаться точнее, такая деятельность всегда содержит произвольные и непроизвольные действия. Непроизвольные действия формируются в процессе социализации, усвоения стандартного набора медиаторов (знаков, слов, символов, образов, мифов и др.). Большая часть современных психологических исследований фокусируется именно на этом полюсе¹⁸. Но Владимира Петровича всегда интересовали именно произвольные движения, которые позволяют говорить о «повторении без повторения». Именно этот интерес обусловил его интеллектуальное движение к исследованиям избытка степеней свободы действия, воли, слова, культуры. Элемент творчества или, по крайней мере, новизны всегда присутствует в человеческих действиях, поскольку, — рассуждает Владимир Петрович, — «нечто в сознании же обладает бытийными (и поддающимися объективному анализу) характеристиками по отношению к сознанию, наблюдаемому самим субъектом, совершающим осознанные, контролируемые акты, т. е. по отношению к сознанию, понимаемому в традиционном смысле как индивидуально-психологическая реальность¹⁹»²⁰. Человеческое действие — это источник таких бытийных характеристик сознания, неисчерпаемый источник духовной жизни человека; оно представляет собой сложнейшую реальность, обладающую своим особым членением и специфическими свойствами. Действие, как и всякая живая форма, содержит в единстве противоположностей внешнее и внутреннее²¹.

В большинстве ситуаций повседневной жизни это единство внешнего и внутреннего включает в себя баланс между повторяемым и неповторяемым, что делает наши действия различимыми, опознаваемыми и даже относительно предсказуемыми. Но увле-

¹⁷ Там же. С. 9.

¹⁸ На самом деле любое упоминание о развитии, которое фокусируется на процессе воспитания детей в русле существующего познавательного, образовательного и социального порядка, имеет тенденцию к концентрации на нем.

¹⁹ См.: Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. 1977. № 7. С. 109–125.

²⁰ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 251.

²¹ См.: Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. М., 1982.

чение Владимира Петровича сферой неповторяемого привело его к изучению совершенно необычных эпизодов человеческой жизни. Например, в одном из текстов он обсуждает «свободное действие». Эпизоды такого рода появляются в экстремальных ситуациях, когда люди должны действовать быстро и без промедления, как, например, в случае предотвращения авиационной катастрофы. В таких случаях человек может действовать таким образом, как он никогда бы не смог в нормальной жизни. Вот как он пишет об этом: «Здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно трудной для понимания ситуацией. Так же, как мы с трудом осваиваемся с идеей относительности в физике, нам трудно освоить мысль, что внутри самого сознания возможно различие (и оперирование ими) явлений двоякого рода: 1) явлений, сознанием и волей контролируемых и развертываемых (и в этом смысле идеалконструктивных) и 2) явлений и связей, хотя и действующих в самом же сознании, но неявных по отношению к нему и квазипредметных (и в этом смысле неконтролируемых субъектом)»²².

Период 2

Эргономика: изучение познания в сложных системах «человек-машина»

Мы не знаем, какие обстоятельства привели Владимира Петровича к сложным разработкам, позже названным «информационными» технологиями: изучению операторов, работающих посредством органов управления, контролирующими движение на экране компьютера. Каким бы ни был повод к этому переходу, как мы теперь видим, эта работа была прямым продолжением изучения стабилизированных образов и действий у детей. Он то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что операторы, как и дети, приходят в новый для них мир — мир, созданный инженерами, — и должны научиться в нем жить и работать. Однако этот новый период в исследовательской деятельности Владимира Петровича протекал в рамках «военно-промышленного комплекса». Статья о перцептивном действии появилась в «Инженерной психологии» в 1964 году, когда категория инженерной психологии только стала восстанавливаться после идеологически-обусловленного отказа в 1930 годах. В конце 1960 годов эргономика — наука, изучающая взаимоотношение техники и человека, — стала развиваться. Статьи, содержащие результаты исследовательской работы В. П. Зинченко и Н. Д. Гордеевой, стали появляться в «Эргономике» — трудах ВНИИТЭ (Всесоюзно-

²² Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 251.

го научно-исследовательского института технической эстетики). Экспериментальный аппарат состоял из системы для контроля курсора на экране с использованием трехстепенного органа управления (джойстика). Испытуемые в эксперименте должны были научиться работать с изображениями на экране, которые двигались вдоль осей X и Y. (слева-направо, снизу-вверх), когда менялись в размере (третье измерение ассоциировалось с действием туда-обратно). Такой тип задания часто встречается в работе космонавта, железнодорожного диспетчера или пилота — им часто требуется выполнять его с высокой скоростью и точностью.

Вот как авторы обобщили эти исследования.

Использование компьютера в эксперименте позволяет оператору представить на экране маршруты движения, изменяющиеся по сложности, по числу и набору элементов. «В соответствии с методологией микроструктурного анализа, заключающейся в выделении компонентов, сохраняющих свойства целого, была составлена программа выделения, регистрации, анализа и обсчета текущих характеристик действий оператора, которые по ходу эксперимента регистрировались и хранились в памяти ЭВМ»²³. Хотя данные, полученные от этого направления исследования, были куда более сложными, чем то, что рассматривалось на ранних стадиях исследования Владимира Петровича, все равно не могло быть сомнений о тесной связи со сформированными ранее теоретическими ожиданиями²⁴: «Действие не повторяется, а строится. Согласно Н. А. Бернштейну, упражнение — это повторение без повторения. Иными словами, при построении действия всегда можно наблюдать соревнование или конкуренцию его консервативных свойств, определяемых сложившимися программами и мнемическими схемами, и его динамических свойств, определяемых новизной ситуации, новизной целей и смыслов возникшей двигательной задачи»²⁵.

Снова нам не удалось бы понять значения многих деталей в таких пассажах, как этот, без написания данного эссе. И тот же набор условий, который ранее неправильно указал направление, остается существенным. Более того, это оказалось в целом ассимилируемым к стандарту «боксографии» или «ящиков в голове» того типа, что был

²³ См.: Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. *Модель предметного действия* // Системные исследования. М., 1991. С. 167, см. также: 168–169.

²⁴ Здесь мы представляем наше собственное повторение без повторения. Еще одна встреча с идеей Бернштейна о невозможности точного воспроизведения включает в себя вышеупомянутые принципы.

²⁵ Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. *Модель предметного действия* // Системные исследования. М., 1991. С. 163.

и остается популярным в американской когнитивной психологии. Мы были не единственными, кто интерпретировал эту работу как стандартную экспериментальную, когнитивную психологию. В недавнем сборнике под названием «Действуя с технологией» Виктор Каптелинин (сам ранее студент Московского университета) и Бонни Нарди написали следующее об этой линии его работы: «Функциональные блоки, о которых писал Зинченко, почти идентичны “ящикам” (boxes), типичным для информационно-процессуальных моделей конца 1960-х, таких, как, например, модель, предложенная Аткинсоном и Шифриным (1968). <...> Эта работа Зинченко показала, что теория деятельности и когнитивная психология не являются несовместимыми, и что, в принципе, когнитивные модели могут быть встроены в теоретико-деятельностные описания»²⁶.

Перечитывание этой работы в настоящем контексте показывает, как Владимиру Петровичу удалось вывести психологическое исследование из привычной рутины информационно-процессорного подхода на иные пути. Это противоречие может быть показано путем сравнения типичной «боксологической» схемы процесса формирования образа ситуации и абсолютно не-боксологической схемы, которые присутствуют в работах Владимира Петровича.

Дух не-боксологической репрезентации психологического маршрута движения наиболее ярко может быть проиллюстрирован тем, как Мерло-Понти описывал работу Матисса, записанную на камеру замедленного действия: «Кисть, которая, если смотреть на нее невооруженным глазом, просто перескакивала от одного действия к другому, теперь, как стало видно при замедленной съемке, ведет себя по-другому: она как будто размышляет в растянутом времени, делает десятки пробных движений, танцуя перед холстом, несколько раз едва касаясь его, и вдруг стремительно, как удар молнии, наносит единственно нужную линию»²⁷. Особый интерес представляет комментарий: «это “размышление в растянутом времени”, наполненное десятками мелких движений как бы направляет, ориентируя в пространстве, будущее, единственно возможное действие, наполняя его общим замыслом. Приведенное красочное описание творческого поиска как нельзя лучше иллюстрирует и подтверждает наши представления о построении осмысленного осознанного, предметного действия»²⁸.

²⁶ *Kaptelinin V., Nardi B. A. Acting with technology: activity theory and interaction design.* Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2006. С. 184.

²⁷ Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. *Модель предметного действия* // Системные исследования. М., 1991. С. 188.

²⁸ Там же. С. 188.

Период 2. Итог

Второй период профессиональной работы Владимира Петровича продолжался более двух десятилетий. В это время он, Наталья Дмитриевна и их студенты провели десятки, если не сотни опытов по исследованию микроструктурной динамики формирования образа и действий как части различных сложных когнитивных заданий. В этих условиях изучаемые образы уже более не являлись изолированными объектами, как в предыдущем исследовании, но выступали как комплексы действие—ситуация—действие или действие—образ—действие, развертывающиеся в различные временные периоды. Этот ряд экспериментов позволил им, по их словам, заключить, что «развертывающаяся во времени система предметных операций приводит к формированию целого и одновременно воспринимаемого пространственного образа предмета. Значит, действие является средством трансформации времени в пространство и пространства во время. В последнем случае одномоментный пространственный образ, выступающий в качестве регулятора действия, развертывается во временную картину движений»²⁹. Мы снова вернулись к Бернштейну и идее живого движения.

Это был также период, когда Владимир Петрович вместе с В. В. Давыдовым работал над статьей «Принцип развития в психологии». Авторы показывали ограниченность официально признанной доктрины «материалистической диалектики» как основания психологических исследований. Они рассуждали о живом движении, ссылались и на Л. С. Выготского, и на Н. А. Бернштейна, и на Н. Винера. Представляли их идеи в широком историко-философском контексте, цитируя Аристотеля, Р. Декарта, и Августина: «Так, Августин писал следующее: “Ожидание относится к вещам будущим, память — к прошедшим. С другой стороны, напряжение действия относится к настоящему времени: через него будущее переходит в прошедшее... Следовательно, в действии может быть нечто такое, что относится к тому, чего еще нет”»³⁰.

Периоды 3 и 4

Чтобы упростить наш рассказ в свете ограничений в объеме статьи и границами наших сегодняшних знаний, мы обсудим третий и четвертый периоды в одном параграфе. Его краткое изложение можно проиллюстрировать словами Владимира Петровича о собственной научной карьере.

²⁹ Там же. С. 163.

³⁰ Августин. Творения. Ч. 2. Киев, 1905. С. 302–303. Цит. по: Давыдов В. В., Зинченко В. П. Принцип развития в психологии // Вопросы философии. 1980. № 12. С. 52.

«Мое собственное становление как психолога, — это инверсия истории развития российской психологии: первый — культурно-историческая психология, второй — психология деятельности. Я начал с последнего и постепенно иду к первому. От ранних исследований сенсомоторных и перцептивных действий я перешел к изучению зрительного образа, визуального мышления, кратковременной зрительной памяти; затем, благодаря достаточно позднему увлечению поэзией и психологией искусства, я обратился к Слову и Культуре»³¹.

Третий период можно характеризовать более отчетливым присутствием идей Л. С. Выготского в работах Владимира Петровича. В связи с этим нам представляется важным вспомнить, что отец Владимира Петровича тоже был психологом — участником Харьковской школы психологов, и, следуя Леонтьеву, вошел в поколение теоретиков деятельности вместе с С. Л. Рубинштейном. Представляется важным отметить, что В. П. Зинченко не отверг теории А. Н. Леонтьева, когда стал склоняться к позиции Л. С. Выготского. Он, вслед за своим отцом, П. И. Зинченко, настаивал на органической связи культурно-исторического и деятельностного подходов.

Кардинальный момент, который отличает переход от третьего периода к четвертому — изменение социально-политического климата в 1985 году. Этот момент был обозначен использованием Владимиром Петровичем заглавных букв, когда он писал о Слове и Культуре. Переход от слова к Слову и от культуры к Культуре соотносится с термином «духовность», появляющемся в работах Владимира Петровича. Он определяет духовность как «нематериальные аспекты реальности»³². Как он сейчас пишет об этом, теория деятельности стала слишком приземленной, слишком «материалистической». Ее претензии на объяснение высших психических функций и сознания оказались чрезмерными. Мы, очевидно, не можем надеяться на то, чтобы выстроить все его работы в логически связанную историю. Следовательно, на оставшихся страницах мы расскажем подробно о двух направлениях его работы, которые нам самим показалось интересным изучить и которые более всего волнуют Владимира Петровича. Нам представляется, что в них есть много общего с нашими размышлениями, хотя мы осознаем, что мы пишем в стиле «полифонического» языка — Выготский и русская культура, смешанные с культурными традициями американского прагматизма. Оба этих направления сосредоточены на идее

³¹ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 433.

³² Зинченко В. П. Алексей Алексеевич Ухтомский и психология (К 125-летию со дня рождения) // Вопросы психологии. 2000. № 4. С. 82.

опосредования, которая является ведущей как для нашего подхода, так для подхода Владимира Петровича.

В качестве первого примера рассмотрим эксперименты Владимира Петровича Зинченко и Николая Юрьевича Вергилеса, направленные на изучение восприятия в условиях стабилизации изображения на сетчатке. Главное, что вытекает из этих исследований, это опосредованность формируемых образов.

В качестве второго примера мы обратимся к нарративу как к форме опосредования. Оба релевантны тому, что можно назвать главным нервом концепции Владимира Петровича о «нематериальных аспектах реальности» как царстве человеческой свободы.

Стабилизированные образы: фокусировка на процессе фрагментации.

Мы уже упомянули использование Владимиром Петровичем стабилизированных образов для характеристики перцептивного действия. Его исследование показало, что даже когда никакое движение глаза не может повлиять на его пространственное положение по отношению к воспринимаемому объекту, он продолжает двигаться, как будто бы глаз продолжает исследовать различные части перемещающегося объекта. Таким образом, этот феномен свидетельствует о возможности свободы не только от мира, но и свободы внутри него.

Американские исследования стабилизированных образов, проведенные в то же самое время, сосредотачивались не на перцептивном действии, которое имело место во время стабилизации, а на фрагментации образа в процессе стабилизации или его появлении после периода полной стабилизации, когда восстанавливается свобода движения глаза.

Позволим напомнить положения, о которых говорилось выше. В экспериментах со стабилизацией изображений, зрительные образы проецируются и фиксируются на сетчатке с помощью специального прибора, который движется в полной координации с сетчаткой. Когда она достигается, визуальное поле становится серым. Поскольку это происходит медленно, образ рассыпается на составные части перед тем, как исчезнет. Но если возникает мельчайшее скольжение в приборе, так что движения глаза освобождаются от координации с проецированным изображением, фрагменты изображения возникают вновь. Полный образ, однако, появляется снова только тогда, когда есть свободная игра света из мира сквозь сетчатку.

Физиологический механизм, объясняющий феномен исчезновения образа, понятен. Элементы сетчатки отвечают только на изменения и различия освещенности. Стабильность освещения снижает их



Рис. 1. Формы, в которые женский профиль и монограмма НВ превращаются, когда они фиксированы благодаря движению сетчатки (взято у Причарда)

чувствительность даже при сохранении полной координации³³. Другое исследование показало, что вся полезная информация поступает в моменты, когда глаз фиксирован на цели; а во время саккадических движений глаза никакая полезная информация не поступает³⁴. Кроме того, промежуток времени между фиксациями обеспечивает то, что когда

мы фиксируемся на предмете, то обязательно видим его с другой точки зрения, и на другом физическом и физиологическом фоне, нежели в момент, предшествовавший этой фиксации. Кажется, что поток информации, поступающей из внешнего мира по определению дискретен. Хотя несмотря на присутствие объективной физической прерывности мы воспринимаем мир как непрерывный. Как такое возможно?

Американские исследователи обратили внимание на то, что исчезновение и восстановление фрагментов не является случайным; это не похоже на ситуацию, когда важнейшие компоненты образа размываются, как будто линза теряет фокус. Наоборот, появление и исчезновение фрагмента образа определяется типом предъявляемых в экспериментах стимулов.

В контексте настоящего обсуждения важны две разновидности актуализации образа.

Первый — жестко ограничен человеческой филогенией (например, обнаружением и распознаванием лиц); второй тип актуализации образов вырастает из накопленных и воплощенных в культуре паттернов (например, графические изображения букв в алфавите).

Различие между двумя типами стимулов проиллюстрировано на рис. 1. В каждом ряду рисунка, самое левое изображение — это то изображение, которое зафиксировано на сетчатке, в то время как изображения правее — это образы, которые, как уверяют испытуемые, они видят, когда начальный образ пропадает и снова появляется³⁵.

³³ Pritchard R. M. Stabilized images on the retina // Scientific American. 1961. Vol. 204. P. 72–78; Inhoff A. W., Topolski R. Use of Phonological Codes during Eye Fixations and in On-Line and Delayed Naming Tasks // Journal of Memory and Language 33 (5). 1994. P. 689–713.

³⁴ Matin L., Matin E., Pola J. Visual perception of direction when voluntary saccades occur. II. Relation of visual direction of a fixation target extinguished before the saccade // Perception and Psychophysics. 1970. № 8. P. 9–14.

³⁵ Pritchard R. M. Stabilized images on the retina // Scientific American. 1961. Vol. 204. P. 72–78.

Существенным для интерпретации изображения служит тот факт, что «НВ» монограмма и женский профиль разделяют общие, биологически ограниченные свойства, такие как резкие изменения освещения у границ между черным и белым. Чувствительность, дифференцирующая степень освещения присутствует с рождения. Новорожденные сосредотачивают внимание на линии волос и на других линиях, которые дают высокий контраст с остальным фоном. Используя термины Выготского, мы считаем, что фрагменты, на которые изображение разбивается, вызываются преимущественно природными, филогенетическими причинами. Что кажется распознаванием лица матери новорожденным, есть различие степени освещения. Такой специфический культурный элемент во фрагментах, как линия волос, является вторичным.

Прямо противоположное наблюдается в случае монограммы НВ, являющейся специфически культурным объектом, значение которого зависит от знания алфавита. Различное по степени освещение, конечно, присутствует, но в каждом случае образы, на которые составные части НВ монограммы распадаются и вновь появляются, выглядят как написанные буквенно-цифровые символы, а не как точки высокого светового контраста (см. нижнюю строку рисунка 1). Чувственная ткань не может относиться к филогенетической истории. Каждый из фрагментов организован как осмысленная культурная единица (для грамотных людей).

Чтобы объяснить фрагментацию НВ-монограммы, Причард, вслед за Хеббом³⁶, предположил, что это результат опыта использования графических символов. Человеческий мозг сформировал «ансамбль клеток», который может быть назван «кортикальным программным обеспечением» для облегчения поддержки и активации их внутренней организации.

Следуя этой интерпретации исследований компонентов зрительного образа, мы можем заключить, что один компонент обусловлен факторами из филогенетического развития человеческих существ. Второй — согласовывается с индивидуальным культурно организованным опытом. Однако оба источника (или условия) опыта недостаточны для того, чтобы дать целостный образ объекта. Необходим третий компонент, т. е. активное сопряжение первых двух компонентов самим человеком, придающим смысл этим двум различным источникам опыта в реальном времени. Активное сопряжение информации, поступающей в различные моменты

времени, достигается путем саккадических движений глаз. Такая «разрешающая работа» необходима для возникновения целостного образа мира, а также для того, чтобы стали возможны мысль и действие. Следовательно, то, что мы называем образом, строится на трех источниках: во-первых, это набор биологических условий человеческого филогенетического развития; во-вторых, набор культурных условий и их социально-исторического генезиса. И, наконец, в-третьих, сам индивид, постоянно преодолевающий несовпадение между двумя этими источниками. Это и есть то, благодаря чему ежесекундно строится образ.

Именно на этом третьем условии были сконцентрированы усилия Владимира Петровича в раннем периоде его исследований. Он использовал «боксоподобные» (boxological) функциональные блоки для того, чтобы рассеять процесс формирования образа на относительно дискретные измеримые части, так что будучи взяты как целое, они составляют перцептивное действие. Однако, как прекрасно знал Владимир Петрович, на сколько бы функциональных блоков не рассекалось живое движение, в нем всегда будет присутствовать остаточный элемент, т. е. процесс между блоками, представленный только тонкой, черной линией в модели, где выход не предопределен. Здесь имеется место способности воображения, неотъемлемой «духовной» стороне человеческого познания.

Мы можем сделать три самых главных вывода. Во-первых, процесс формирования образа, буквально говоря, воображения — порождения образа, представлен даже тогда, когда «предмет» нашего воображения дан в наших ощущениях; это не (только) мысль о чем-то отсутствующем. Это можно условно назвать сном наяву. Во-вторых, кажется необходимым для человеческого познания то, что индивиды постоянно вовлечены в процесс формирования образа. Формирование образа есть «соединяющий мостик» между двумя состояниями опыта: один дается филогенетической историей человеческих существ, другой задается культурно-исторической средой и предшествующим индивидуальным опытом. Люди, по сути, всегда вовлечены в процесс формирования образов, находящихся между природой и культурой. В-третьих, существование культурно-опосредованных, исторически устоявшихся условий, обеспечивает дополнительный слой «данного» людям инструментального средства для того, чтобы иметь дело с новым материалом. Это обеспечивает больше степеней свободы, с которыми имеют дело непрерывные жизненные процессы. Культура и свобода глубоко укоренены в человеческой психике.

³⁶ Hebb D. O. The organization of behavior. N.-Y., 1949.

Бахтин, Шпет и опосредованное действие

Еще одна область идей, которые развивает Владимир Петрович о культурном опосредовании человеческой жизни восходит к работам Михаила Михайловича Бахтина и Густава Густавовича Шпета. Погружаясь в нее, можно проследить, как он включал многие идеи Выготского в свои размышления и как в определенных пунктах он выходил за границы Выготского, чтобы придать большее значение культурной/духовной стороне «острия меча», повернутого к новому, воображаемому будущему. Такие мысли в работах Владимира Петровича прослеживаются в его размышлениях о языке и том пути, на котором он дополняет Выготского идеями Бахтина и Шпета. О концепции «внутренней формы слова» Г. Г. Шпета и ее роли в творчестве Владимира Петровича мы уже говорили выше. Здесь сосредоточимся только на концептуальном влиянии М. М. Бахтина.

Развивая представления о творчестве и свободном человеческом действии, Владимир Петрович значительным образом расширил свои работы за счет его идей, на первый взгляд, кажущихся весьма отдаленными от эргономики или психофизиологии перцептивного действия. Например, Бахтин исследовал текст как базовую единицу анализа человеческого общения и предложил метод распознавания по своей сути уникальных измерений использования языка: «За каждым текстом стоит система языка. В тексте ей соответствует все повторенное и воспроизведенное и повторимое и воспроизводимое, все, что может быть дано вне данного текста (данность). Но одновременно каждый текст (как высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради чего он создан). Это то в нем, что имеет отношение к истине, правде, добру, красоте, истории»³⁷. Заявления Бахтина возвращают нас к бернштейновскому «повторению без повторения».

Используя этот культурологический подход, Владимир Петрович представил множество точек зрения на свободное действие и функциональные органы, дополнив концепты давнего времени новым содержанием. Особого внимания в этой связи здесь заслуживает то, как он характеризует функциональные органы в терминах их «биодинамической, чувственной, аффективной ткани»³⁸, исследование которых указывает на более динамическую, органически

³⁷ Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: опыт философского анализа // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 283.

³⁸ Зинченко В. П. От классической к органической психологии. На рус. и англ. яз. М., 1996. С. 9.

ориентированную картину психологического функционирования в контрасте с механическим и детерминистским, одним из любимых в «боксологии».

Эти идеи особенно явно пересекаются с размышлениями Владимира Петровича об опосредовании, которое составляет самое основание культурно-исторической психологии³⁹. С одной стороны, в некотором смысле, идея опосредования играла более важную роль в исследованиях Выготского, чем в работах Владимира Петровича. Однако, в идеях В. П. Зинченко сам взгляд на опосредование выходит за рамки той сферы, в которой оно было представлено у Выготского. Например, Выготский рассматривал появление опосредования в онтогенезе в качестве поворотного пункта в развитии, отделяющего природные функции и высшие психические функции: «Включение в какой-либо процесс поведения знака, при помощи которого он совершается, перестраивает весь строй психологических операций наподобие того, как включение орудия перестраивает весь строй трудовой операции»⁴⁰.

В контраст к вышесказанному Владимир Петрович подвергает сомнению наличие у младенца натуральных, примитивных психических функций, существующих независимо от языка и лишь через 1,5 — 2 года трансформирующихся в высшие психические функции, благодаря встрече с речью. Не соглашаясь с предшествующими исследованиями развития детей, он говорит, что даже на самых ранних стадиях жизни «ребенок далек от того, чтобы быть безразличным к атмосфере языка, которая окружает его»⁴¹. Его идеи относительно культурной природы человека идут не только от исследований детского развития, но из таких разнообразных источников, как работы русских философов — Павла Флоренского и Николая Бердяева относительно культуры, творчества и свободы. Наиболее важно, что они основаны на целостном взгляде на психическую жизнь, который выражается в понятии функционального органа. Эта идея артикулирована в работах А. А. Ухтомского, выдающегося физиолога первой половины XX столетия. К числу таких органов относятся действие, образ и слово. Они имеют не только близкую архитектуру, но и представляют собой своего рода метаформы, в которых соединяются внешнее и внутреннее. Например, слово, рассматриваемое как внешняя форма, практически с рождения прони-

³⁹ Там же. С. 10.

⁴⁰ Выготский Л. С. Проблема культурного развития ребенка // Педология. 1928. № 1. С. 64.

⁴¹ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 438–439.

кает во внутренние формы образов, действий, аффектов ребенка⁴². Будем ожидать развития этого многообещающего сюжета.

Заключительные комментарии

Мы надеемся, что наш рассказ убедил читателя в пользу тех уроков, которые мы извлекли в процессе изучения работ Владимира Петровича Зинченко. В заключение мы хотели бы присоединиться к нему в убеждении, что необходимость диалога как условие самопроверки или рефлексивности, также применимо к культурно-исторической психологии. Это эссе является своего рода упражнением — самоизучением наших ограниченных представлений о психологии в России с помощью работ Владимира Петровича. Мы, как убеждал нас Барт, перечитали их. Мы надеемся, что написали историю, которая может быть вновь перечитана будущими поколениями психологов.

⁴² Там же. С. 514.

Б. Г. Мещеряков

Z–концепция, как я ее понимаю

«Мастер во всяком деле (в математике, в живописи, в музыке, в психологии...) характеризуется именно тем, что, не справляясь о том, дозволено ли и возможно ли то, что он собирается сделать, с точки зрения существующих взглядов, убеждений и учений, — делает и осуществляет! Так что для педантов остается лишь задумываться, “как возможно” было то, что фактически сделал!»

А. А. Ухтомский

«Просто очень хотелось бы, чтобы психология еще при моей жизни стала более человеческой и интересной»

В. П. Зинченко

Одним нравится литературный стиль Л. С. Выготского, другим — С. Л. Рубинштейна. Приходилось встречать психологов, которые признавались, что им не по вкусу литературный стиль А. Н. Леонтьева. Откровенно говоря, я не являюсь большим поклонником литературного стиля В. П. Зинченко. Тем не менее я готов его претерпевать ради того, чтобы дойти до смыслового содержания, с которым можно соглашаться или не соглашаться, полностью или частично, но которому нельзя отказать в оригинальности, как и самому стилю изложения. Впрочем, и в этом стиле совсем нередко встречаются афористические шедевры, которые, с одной стороны, оправдывают усилия автора и его читателей, а с другой стороны, становятся непреодолимым Рубиконом для массы подражателей.

В данной статье я попытаюсь осветить и проанализировать основные творческие мотивы (и немного психологические), представленные в работах В. П. Зинченко последних двух десятилетий. Тем самым, надеюсь, частично компенсировать большой накопленный долг за то постоянное внимание этого человека и ученого, которое он проявляет к работам своих коллег и к судьбе психологии.

Реконструкция философско-гуманитарного контекста культурно-исторической психологии

Один из ведущих мотивов научной деятельности В. П. Зинченко последних двух десятилетий — дойти до самой сути идей Л. С. Выготского, созданного им варианта культурно-исторической психологии. Хорошо зная практически все, что написано самим Л. С. Выготским и другими о его идеях, В. П. Зинченко, тем не менее, соглашался¹ со словами Д. Б. Эльконина, сказанными в 1984 году: «...при чтении и перечитывании работ Льва Семеновича у меня всегда возникает ощущение, что чего-то я до конца не понимаю. И я все время стараюсь найти и отчетливо сформулировать ту центральную идею, которая руководила им с самого начала его научной деятельности до самого ее конца»². По-видимому, убедившись, что эта проблема не решается методом прямых путей, В. П. Зинченко предположил, что она может быть решена методом обходных путей: «Для лучшего понимания его <Выготского. — Б. М.> идей полезно выявление широкого научного и культурного контекста, в котором они возникали. Тем более что многое из этого контекста у самого Л. С. Выготского находится в подтексте»³. К сожалению, некоторые авторы оказались абсолютно не способными ни увидеть этот контекст, ни понять подтекст⁴.

Не берусь судить, был ли В. П. Зинченко первым, кто такую задачу выдвинул. Известно, что примерно в то же время, что и он, такую же задачу пытался решить М. Г. Ярошевский, признававший, что «сложившись как мыслитель в условиях “серебряного века” русской культуры, будучи воспитан на философии Спинозы и Гегеля, Выготский искал в марксизме ариаднину нить в лабиринте психологических проблем»⁵. И хотя М. Г. Ярошевский в одном примечании отметил постоянную вовлеченность Л. С. Выготского «в анализ такой формы культуры, как философия»⁶, однако всеосто-

¹ Например, в написанном им предисловии к моей работе «Логико-семантический анализ концепции Л. С. Выготского» (1998).

² Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 475.

³ Зинченко В. П. Посох Манделштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 269.

⁴ Поразительным примером может служить категоричное утверждение: «...под культурой Выготский понимал совокупность социалистических идей и степень их усвоения людьми». Курек Н. С. История ликвидации педологии и психотехники в СССР. СПб., 2004. С. 60.

⁵ Ярошевский М. Г. Л. С. Выготский: в поисках новой психологии. СПб., 1993. С. 17.

⁶ Там же. С. 44.

ронного и детального анализа внутрикультурного диалога не представил⁷.

Решая ту же задачу в духе «культурно-исторического подхода» к самой психологии (в первую очередь, культурно-исторической), В. П. Зинченко⁸ поставил под сомнение традиционную точку зрения, согласно которой «вклад Л. С. Выготского в развитие отечественной психологии считался феноменальным, но появившимся неожиданно исключительно в силу его гениальности. Такая точка зрения фактически отражала разрыв культурной традиции, насильственно произведенный в годы сталинщины»⁹. В качестве альтернативы была выдвинута новая гипотеза о широком культурном фундаменте культурно-исторической психологии, чему во многом и была посвящена книга «Человек развивающийся». В дальнейшем эта тема была продолжена в книге «Посох Манделштама и трубка Мамардашвили». К ней же В. П. Зинченко вернулся в недавних книгах: «Сознание и творческий акт» и «Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст»¹⁰.

При всей оригинальности эта гипотеза просто чудесно согласовывалась с тем, что и раньше было известно о Л. С. Выготском — например, о его филологических, эстетических, лингвистических, этнографических и философских интересах, а также с трагическим признанием его «одним из последних энциклопедистов в психологической науке»¹¹. В рамках новой гипотезы все это вставало на свои места и легко объяснялось: «Культурно-историческая психо-

⁷ Немногим ранее в 1991 году, на английском вышла книга Р. Ван дер Веера и Я. Вальсинера «Понимание Выготского: Поиски синтеза», в которой тоже сделаны начальные шаги к выяснению широкого фона для творчества Выготского, в частности, его связей с работами Бахтина, Шпета, Шестова, поэзией Манделштама, Гумилева и др., произведениями Достоевского, Чехова и др., но эти связи детально не анализировались, а такие философы как Соловьев, Лосев и Франк вообще не упоминаются.

⁸ Эта тематика разрабатывалась В. П. Зинченко в статьях 1991–1993 годов, а позднее в собранном виде представлена в ряде книг, начиная с «Человек развивающийся», написанной в соавторстве с Е. Б. Моргуновым. Из соображений удобства я преимущественно буду цитировать книжные источники.

⁹ Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 12.

¹⁰ Работа по реконструкции философско-гуманитарного контекста культурно-исторической психологии увлекла В. П. Зинченко на многие годы. Более того, ему удалось вовлечь в нее профессиональных философов, о чем свидетельствует недавняя книга: Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Шедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010.

¹¹ Леонтьев А. Н. Вступительная статья. О творческом пути Л. С. Выготского // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. М., 1982. С. 40.

логия в варианте Л. С. Выготского возникла на закате Серебряного века российской культуры. Тогда не было строгого разделения труда между наукой и искусством, эстетикой, философией и даже теологией. Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев, М. М. Бахтин, П. А. Флоренский профессионально работали в перечисленных сферах творческой деятельности. Еще были живы идеи В. С. Соловьева о «всеединстве» чувственного, рационального и духовного знания. Замечательные поэты Б. Л. Пастернак и О. Э. Мандельштам были широко образованы и в философии, и в научном знании. Основатель культурно-исторической психологии Л. С. Выготский был блестящим литературоведом, философом, методологом науки. Он не умещался в узкие рамки нашего сегодняшнего разделения профессий»¹².

Трудно не согласиться и с таким утверждением: «Нам кажется чрезвычайно важным, что Л. С. Выготский, имея филологическое образование, не мог оказаться в стороне от того самого культурного ренессанса начала XX века, о котором свидетельствуют Н. А. Бердяев и А. Ф. Лосев. Если мы примем это предположение, взгляды и место Л. С. Выготского в отечественной психологии перестанут быть внезапно возникшим феноменом, но станут вполне закономерными. Тем более что имеются значительные параллели в развиваемых им положениях и воззрениях его современников: П. А. Флоренского, Г. Г. Шпета, М. М. Бахтина»¹³.

Объем работы был столь велик, что авторы имели основания расширить исходную задачу до «реконструкции культурного поля (пространства), существовавшего в первые десятилетия» XX столетия¹⁴, называя это время то «русским Ренессансом», то «Серебряным веком». Своих читателей они предупреждали: «Многое из сказанного о взаимных влияниях недоказуемо. Да и надо ли доказывать? Поле ведь было!»¹⁵.

В результате обширных «полевых работ» было, в частности, установлено, что «идеи В. С. Соловьева о духовной вертикали расшифровывались А. Ф. Лосевым в его учении о медиаторах (знак, слово, символ, миф). В то же время, возможно, В. С. Соловьев и

А. Ф. Лосев оказали влияние на создателя культурно-исторической психологии Л. С. Выготского и его выбор медиаторов (знак, слово). Видимо, не меньшее влияние на развитие идеи опосредования оказали представления Г. Г. Шпета о внутренней форме слова»¹⁶.

Не удивительно, что эти открытия, с одной стороны, привели к тому, что в терминах А. Н. Леонтьева называется сдвигом мотива на цель — и В. П. Зинченко до сих пор не прекращает свою культурно-историческую экспедицию. С другой стороны, обогащенный новыми философскими и поэтическими «орудиями» он решается на смелый штурм крайне сложных проблем психологии. Среди них на первом месте стоит проблема психического (и шире — духовного) развития человека.

Z-концепция путей построения теории развития человека

Проблема культурного развития ребенка, которая занимает центральное место в исследованиях Л. С. Выготского и всей его школы, с точки зрения В. П. Зинченко является законной частью проблемы духовного развития человека. По его словам, последняя проблема не является чисто академической и тем более ситуативной — «она вечная и всегда актуальная для индивида и социума в какой бы ситуации они не пребывали»¹⁷. Попытки ее решения продолжают и будут продолжаться. Такую попытку в 1990-е годы предпринял и В. П. Зинченко. Было бы странно, если бы он, затратив много сил и времени на выяснение культурного поля культурно-исторической психологии, не сделал этого.

Замысел сформулирован так: «Я хочу на основании опыта психологии развития, накопленного, прежде всего, в школе Л. С. Выготского, предложить *гипотезу о возможном пути построения теории развития человека*»¹⁸.

Обратим внимание на три примечательных момента этой заявки и ее концептуального продукта (Z-концепции)¹⁹: *гипотетичность*,

¹⁶ Там же.

¹⁷ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 12.

¹⁸ Там же. С. 65.

¹⁹ Здесь и далее под «Z-концепцией» понимается оригинальная концепция сознания и «духовного развития», предложенная в работах В. П. Зинченко. Такое сокращение удобнее многословной конструкции и позволяет избежать двусмысленности родительного падежа в названиях, типа «теория сознания В. П. Зинченко» или «гипотеза духовного развития В. П. Зинченко». Подобные обозначения я мог бы рекомендовать и для концепций других известных авторов: V-концепция — для

¹² Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 276; ср.: Зинченко В. П. Культурно-историческая психология: опыт амплификации // Вопросы психологии. 1993. № 4. С. 5; Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 268.

¹³ Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 47.

¹⁴ Там же. С. 97.

¹⁵ Там же. С. 98.

антропологичность и *энциклопедичность*. Во-первых, речь идет о гипотезе, причем по ходу изложения В. П. Зинченко неоднократно подчеркивает гипотетический характер своих схем развития и Z-концепции в целом²⁰.

Во-вторых, говорится не только о развитии высших психических функций, психическом развитии и даже не просто о развитии личности, а о развитии *человека*: «проблема формирования, становления личности — это часть, конечно, важнейшая, но все же лишь часть более широкой проблемы развития человека»²¹. Эту особенность гипотезы (и Z-концепции) можно обозначить словом «*антропологичность*».

В-третьих, в основание гипотезы положен широкий теоретический фундамент, который не ограничен лишь теоретическим наследием Л. С. Выготского и его ближайших сподвижников. В ее фундаменте объединены, как писал сам автор, достижения: «физиологии активности (психологической физиологии) А. А. Ухтомского и Н. А. Бернштейна, в которой развито учение о функциональных органах индивида; учения Г. Г. Шпета о внешних и внутренних формах слова; психологической теории деятельности, действия и сознания А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, в которой развиты представления о видах и формах деятельности, их структуре и роли в формировании психики и сознания; семиотики, в особенности учения о знаковых, семиотических системах и семиосфере Ю. М. Лотмана; философии, в особенности представлений А. Ф. Лосева о культуре, мифе и символе и представлений М. К. Мамардашвили о форме превращенной и топологии пути к самому себе; наконец (или в первую очередь), культурно-исторической теории развития психики и сознания Л. С. Выготского, его представлений о зоне ближайшего развития ребенка»²².

На самом деле, этот список не является полным. В других местах В. П. Зинченко признает существенную важность для своей концепции, по крайней мере, идей еще трех российских мыс-

теории развития высших психических функций, разработанной Л. С. Выготским, P-концепция — для теории интеллектуального развития, созданной Ж. Пиаже, L-концепция — для теории деятельности А. Н. Леонтьева, R-концепция — для психологической системы С. Л. Рубинштейна, E1-концепция — для теоретических идей Д. Б. Эльконина и т. д.

²⁰ См., например, *Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 149; Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 162.*

²¹ *Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 16.*

²² *Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 161–162.*

лителей: В. С. Соловьева, П. А. Флоренского и М. М. Бахтина, и это отлично видно из анализа содержания Z-концепции. Нетрудно, к примеру, догадаться, что применением термина «духовный» в названиях рассматриваемого развития и процессуальных схем В. П. Зинченко хотел подчеркнуть, что его концепция, равно как и культурно-историческая психология (проект Л. С. Выготского), связаны своими корнями с тем, что В. С. Соловьев называл «духовная вертикаль»²³.

При таком внушительном количестве и разнообразии теоретических источников, оснований и конструктивных элементов разработанная автором гипотеза вполне заслуживает характеристики «*энциклопедическая*».

Предвидя возможные недоумения у некоторых читателей относительно «нетрадиционного» характера ряда упомянутых выше источников, сам автор с присущим ему диалогическим стилем изложения ставит вопрос: «Можно ли на основании идей, опыта, имеющихся в христианской антропологии, в религиозно-философских трудах более конкретно представить себе проблематику развития человека?»²⁴ Его собственный ответ сформулирован достаточно четко: «Едва ли следует сомневаться в полезности для науки этого опыта, хотя, как указывалось выше, на протяжении десятилетий наша наука к нему не прикасалась»²⁵.

Кажется, У. Джеймс не мучился таким вопросом. И вряд ли бы он стал особо переживать по поводу осуждающих или недоумевающих высказываний со стороны каких-то коллег, в глазах которых подобные занятия не совместимы с научностью. Но в процессе чтения трудов З. Фрейда постоянно наталкиваешься на мучительные для него оправдания научности, к примеру, его исследования сновидений — не только их методологии, но и самого предмета. Подобные переживания заметны и в работах Л. С. Выготского, когда, например, он оправдывается за свои анализы так называемых рудиментарных психических функций. В каком-то смысле проще было бы большевикскими приемами постмодернизма объявить: «отныне и вовеки веков, настоящая наука стала неклассической, и в ней теперь действуют другие нормы и законы».

В работах В. П. Зинченко все иначе, намного интеллигентнее, но, к сожалению, именно этого стараются не замечать «осуждаю-

²³ См.: *Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 91.*

²⁴ *Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 272.*

²⁵ *Там же.*

шие и недоумевающие», для которых сам факт разговоров о духовном опыте стереотипно интерпретируется как религиозная проповедь с вытекающими отсюда выводами о кончине науки и намеками на необходимость оздоровительных санкций и борьбы с ненаучной контрабандой. Для этих педантов²⁶ В. П. Зинченко пояснял: «Духовность — более широкое понятие, чем религиозность. Она может быть и светской. Аналогично, и понятие культуры значительно шире понятия культа»²⁷; «...никто и никогда не давал религии монопольного права на владение духовностью. Ее состояние и развитие — не меньшая забота светских институтов общества. Духовное бытие человека, духовно-практическая деятельность — это не только широкий контекст проблематики развития сознания, но и источник сознания как такового»²⁸.

С другой стороны, надо понимать, что «мир знания, а соответственно и мир образования не полностью совпадают с миром науки»²⁹, но это понимание, как считает В. П. Зинченко, относится к категории «самого трудного», поскольку оно требует определенной широты взглядов и души, необходимой для преодоления стереотипных матриц этноцентризма, наукоцентризма, психоцентризма, мозгоцентризма и т. п.

Если наука берется за изучение целостного человека и его полноценного развития, то *volens nolens* ей придется расширить традиционное поле исследований. Именно к этому призывает в своих работах В. П. Зинченко: «Признание духовного опыта, погружение в него вовсе не означает отказ от реальных достижений научной психологии. Напротив, это приведет к ее обогащению, сделает ее более интересной и привлекательной, а, соответственно, более деятельной и действенной, будет способствовать повышению психологической культуры, наконец, откроет перед психологией новые горизонты развития. Вместе с признанием возможно и появление путей (пока рано говорить о методах) познания духовной жизни. <...> Акцент на духовности вовсе не означает отказа от проблематики, связанной с природой человека, с его телесностью, чувственностью, аффективностью. Конечно, время духа еще не наступило, но ведь без этого не будет и времени тела»³⁰.

²⁶ О них же писал и А. А. Ухтомский, см. эпиграф.

²⁷ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 101.

²⁸ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 156.

²⁹ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 100.

³⁰ Там же. С. 268.

Не сомневаюсь, что, обратившись к новой тематике, В. П. Зинченко не изменял ни науке, ни школе Л. С. Выготского, и вообще был в полном здравии (как утверждал М. К. Мамардашвили: «духовность — это не болезнь»). Скорее, можно говорить о ставшем реальностью творческом прорыве в развитии научно-исследовательской программы этой школы.

Разумеется, необходимо критически оценивать и обсуждать реальные результаты исследования В. П. Зинченко на новом пути. Видимо, именно такого внимания ожидает и сам автор от своих коллег, к которым обращены, в частности, следующие слова: «Уверен, что многие читатели видят развитие Я иначе. Мое видение соответствует изложенному представлению о духовном развитии»³¹. В своей книге 1997 года он даже позаботился о них, создав рисунок с приглашающей подписью: «Пространство для концептуального творчества заинтересованного читателя». По моим наблюдениям, не многие весьма маститые ученые пройдут тест на спокойное и доброжелательное восприятие критики³².

Кроме уже упомянутых трех характерных особенностей Z-концепции развития, для нее в высшей степени характерны еще две взаимосвязанные характеристики: *метафоричность* и *иконичность*. Открыто признавая таинственный характер проблем человека и его развития, сознания, личности, творчества, смысла, живого движения, души и неопределимости этих понятий, В. П. Зинченко не боится в своих обсуждениях использовать их метафорические образы. Что же здесь необычного и оригинального? В предисловии к первому русскоязычному психологическому словарю авторы писали: «В психологической терминологии, правильно замечает Лаланд, часто метафоры употребляются как формулы; персонификация психических функций заменяет их точную номенклатуру; маленькие мифологические драмы подменяют точное описание процессов»³³. И в современной психологии, в том числе и когнитивной, наряду с ненамеренным употреблением завуалированных метафор нередко в явной форме употребляются ставшие уже хре-

³¹ Там же. С. 234.

³² Не буду утверждать, что В. П. Зинченко в своем отношении к критике полностью подобен А. Н. Леонтьеву, о котором писал, что для него «своеобразным образцом отношения к критике был Ж. Пиаже, отвечавший на любую критику, кроме Л. С. Выготского, «Согласен» (Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 109), но могу засвидетельствовать, что Владимир Петрович регулярно собирал своих коллег и всегда с благодарностью выслушивал любые, даже самые резкие высказывания по поводу его очередной работы.

³³ Варшава Б. Е., Выготский Л. С. Психологический словарь. М., 1931. С. 8.

стоматийными метафоры сознания, внимания, памяти и т. д. В работах В. П. Зинченко поиск глубокой и «незатертой» метафоры превращается в самостоятельный и крайне важный этап творческой работы с понятием. И этому есть объяснение: «Живая метафора может служить важным шагом на пути к живому понятию, назначение которого состоит в схватывании вещи, поэтому заслуживает названия когнитивной, даже эпистемологической метафоры, часто имеющей символический характер»³⁴.

Интересны и другие высказывания В. П. Зинченко о полезности метафор: «Преимущество метафоры перед определением, помимо ее выразительности, состоит в том, что она характеризует не сторону, не часть, не срез целого: она сама целокупна, она не упраздняет, а сохраняет целое. <...> Метафоры и выражаемые посредством их смыслы живут дольше теорий»³⁵. Или более афористично: «Мне кажется, что одна живая метафора много полезнее десятка мертвых понятий»³⁶, и далее, не менее афористично: «Уверен, что эвристическая роль живых метафор, которые можно было бы вслед за Л. С. Выготским назвать “искусственными понятиями”, в гуманитарном знании ничуть не меньше, чем роль иррациональных выражений в знании точном»³⁷. В то же время весьма важным является уточнение, что метафоры — не самоцель, не конечный результат: «нахождение живой метафоры — это путь к исследованию, а не замена его»³⁸.

Основным источником метафор для него, как правило, служит поэзия, а не, скажем, математика, мифология или фольклор. Например, при создании Z-концепции развития автор использует поэтические метафоры, обнаруженные им у М. Волошина, О. Мандельштама и Данте. Следовательно, метафоричность данной концепции имеет поэтический характер. Эта дополнительная характеристика обосновывается тем, что поэзия есть «самый совершенный орган или орган языка — средство саморазвития и самопознания человека»³⁹. Этой идеей пронизана вся работа В. П. Зинченко, которая называется «Возможна ли поэтическая антропология?» (1994), а также глава «Пролегомены к поэтической антропологии» в книге

³⁴ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 311.

³⁵ Там же.

³⁶ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 223.

³⁷ Там же. С. 223–224.

³⁸ Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Шедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010. С. 318.

³⁹ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 77.

«Посох...» (1997). Недоумевающим педантам В. П. Зинченко адресуется еще одно оправдание (или обоснование) любимого им поэтического саундтрека к своим теоретическим и методологическим размышлениям: «Поэтические формулы не менее строги, чем формулы математические, и таят в себе семена научных теорий, в том числе (и прежде всего) психологических. Их создание требует не меньшего таланта: работа над словом столь же трудна, как и с числом»⁴⁰.

Наконец, «иконичностью» Z-концепции можно назвать стремление ее автора воплотить свои, как правило, весьма абстрактные идеи в символические изображения, о чем он прямо и с самого начала предупреждает своих читателей: «Памятуя о полифоническом мышлении как наиболее адекватном средстве понимания сознания, я не буду чураться образов. Более того, буду апеллировать к визуальному мышлению читателя»⁴¹.

Конечно, перечисленные характеристики Z-концепции, по всей видимости, не исчерпывают всех ее особенностей и тем более не отражают ее содержания. Содержательному анализу концепции посвящены следующие разделы. Здесь же я хотел бы обратить внимание на интересную методологическую установку В. П. Зинченко относительно понятийного аппарата психологии, которая, на мой взгляд, близка к стилю мышления Л. С. Выготского. Я имею в виду осознанное конструирование понятий, которые описываются в последнем издании «Большого психологического словаря» (2009) в статье «Гибридные понятия». Прибегну к самоцитированию:

«Гибридные понятия — <...> особый тип понятий, весьма распространенный в психологии, для которого характерно объединение таких противоположных признаков, как внутренние и внешние, субъективные и объективные, формально принадлежащих к разным реальностям. Примерами понятий, имеющих гибридную (смешанную, комплексную) субъективно-объективную природу являются эмоция, мотив, цель, потребность, ценность, психологическое поле, новизна, фрустрация, социальная ситуация развития, деятельность, задача, проблема, проблемная ситуация и многие другие. Количество признаков может быть небольшое, но их разнородность выходит за рамки одной традиционной научной дисциплины. Парадигмальным примером гибридных понятий может служить определение речевой деятельности, данное Ф. Соссюром: “Взятая в целом, речевая деятельность многообразна и разнородна; протекая одновременно в ряде областей, будучи одновременно физической, физиологической

⁴⁰ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 69.

⁴¹ Там же. С. 157.

и психической, она, помимо того, относится и к сфере индивидуального и к сфере социального; ее нельзя отнести определенно ни к одной категории явлений человеческой жизни, так как неизвестно, каким образом всему этому можно сообщить единство⁴². Осознание гибридности ряда психологических понятий может способствовать преодолению длительных споров относительно их содержания⁴³.

Уже после того, как эта словарная статья была написана, я обратил внимание на следующее высказывание в работе В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунова: «Как это ни странно, чем больше развивалась гносеология, логика и методология науки, тем труднее становилось психологии, от которой требовался своего рода методологический ригоризм. Из психологии стали исчезать синкретические знания, кентаврические понятия типа аристотелевской “умной души” или понятия “смертная жизнь” (*vita morta*), введенного алхимиками. Подобные понятия возникали и использовались в доцивилизационных формах культуры. Наука, отпочковавшись от культуры, лишилась синкретизма. Последний, согласно Л. С. Выготскому, остался достоянием детского мышления, житейских понятий⁴⁴. Возможно, из-за этого анамнеза гибридность многих существующих психологических понятий остается недостаточно эксплицированной и осознанной, но у меня есть твердое убеждение, что Л. С. Выготский совершенно не боялся гибридных понятий, и целенаправленно их конструировал.

Содержание Z-концепции

Должен с самого начала предупредить, что я не ставил задачу представить полное и детальное описание этой концепции и предложить ее детальную критику. Моя задача значительно скромнее, и не простирается далее лишь краткого или схематичного ее анализа и постановки некоторых критических вопросов. Этому есть, по крайней мере, два оправдательных обстоятельства. Во-первых, данная концепция является очень сложной, о чем неоднократно писал и сам автор, например: «Хочу заранее предупредить читателя, что терминологически и понятийно схема сложна⁴⁵; «конечно, пред-

⁴² Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 48.

⁴³ Мещеряков Б. Г. Гибридные понятия // Большой психологический словарь. 4-е изд. / Сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. М.—СПб., 2009. С. 125.

⁴⁴ Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994. С. 106.

⁴⁵ Зинченко В. П. Посох Манделштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 151.

ложенная схема не проста⁴⁶. Во-вторых, она не является законченной и находится еще в процессе развития, чему, как мне хотелось бы, должна служить и ее критическая оценка.

Прежде всего, в рассматриваемой концепции можно выделить две до некоторой степени взаимосвязанные части: одну из них для удобства назовем «Z-моделью сознания», а вторую — «Z-моделью духовного развития».

Z-модель сознания описывает структуру сознания, в которой выделяются слои и образующие (компоненты) сознания, а также взаимодействия и трансформации между образующими (эти процессы я не буду рассматривать). Что описывает Z-модель духовного развития, сразу и не скажешь, но об этом немного позже.

В качестве прототипа для Z-модели сознания используются представления А. Н. Леонтьева о структуре сознания, согласно которым в ней различаются три типа образующих — чувственная ткань, значение и смысл, а о слоях ничего не говорится. По сравнению с представлениями А. Н. Леонтьева Z-модель сознания описывает гораздо более сложную конструкцию с тремя слоями и шестью образующими, причем последние делятся на две категории — объективные и субъективные (или субъектные) образующие. Между слоями и образующими допускается определенное соответствие, позволяющее представить структуру сознания в виде достаточно простой таблицы:

Слои сознания	Образующие (компоненты) сознания	
	Объективные	Субъективные
Бытийный	Биодинамическая ткань	Чувственная ткань
Рефлексивный	Значение	Смысл
Духовный	Ты (Другой)	Я

В. П. Зинченко очень четко описывает преобразование структуры сознания в представлении А. Н. Леонтьева в свою модель: «При добавлении еще трех образующих: биодинамической ткани, Я, Ты (Другой) — мы получаем трехслойную, или трехуровневую, структуру сознания. Бытийный слой образуют биодинамическая ткань живого движения и действия и чувственная ткань образа. Рефлексивный слой образуют значение и смысл. Духовный — Я и Ты⁴⁷».

Исторически это преобразование произошло в два этапа: сначала (по-видимому, еще в 1980-е годы) В. П. Зинченко ввел биоди-

⁴⁶ Там же. С. 156.

⁴⁷ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 251.

намическую ткань движений и действий в число образующих сознания (модель двухслойного сознания), а трехслойная модель с шестью образующими, если не ошибаюсь, впервые была описана в «Посохе...» (1997). Автор об этой истории пишет так: «В своих ранних работах по структуре сознания я развивал двухслойную модель. Теперь я убежден в ее недостаточности. Духовный слой сознания в человеческой жизни играет не меньшую роль, чем бытийный (экзистенциальный) и рефлексивный»⁴⁸.

На первом этапе своей ревизии леонтьевского представления В. П. Зинченко не считал ее особенно неожиданной. Напротив, он считал удивительным, «что один из создателей психологической теории деятельности не включил в число образующих биодинамическую ткань движения и действия»⁴⁹. Историческую почву для этого введения В. П. Зинченко видел в работах 1930–1940-х годов Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. В. Запорожца, П. И. Зинченко и особенно Н. А. Бернштейна. Добавим, что дополнительной мощной поддержкой идеи В. П. Зинченко о двигательной образующей сознания могла бы послужить концепция сенсомоторного интеллекта, разработанная Ж. Пиаже, а также концепция Дж. Брунера о трех способах репрезентации: действие, образ и символ (включая язык).

Духовный слой является, пожалуй, самым оригинальным новообразованием по сравнению с представлениями А. Н. Леонтьева. Благодаря этому модель структуры сознания приобрела отчетливое личностное содержание (и центрирование). Не случайно в связи с введением этого слоя В. П. Зинченко цитирует слова В. Франкла о том, что, согласно немецкой философской антропологии (в лице М. Шелера): «Личность — центр духовных актов, <...> и соответственно центр всего сознания, который сам не может быть, однако, осознан»⁵⁰. С точки зрения Z-модели «...глубинная и вершинная психологии одинаково важны. Одна невозможна без другой, а вместе они составляют одно целое. Вне бытийного и рефлексивного слоев сознания невозможно образование слоя духовного. Лишь взятые вместе все три слоя сознания составляют полифоническое, полноценное, открытое миру и смыслу сознание»⁵¹.

Мне представляется, что Z-модель сознания с тремя слоями и шестью образующими является важным шагом в развитии представлений о структуре сознания, выводящей эти представления на

⁴⁸ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 318.

⁴⁹ Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 22.

⁵⁰ См.: Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 266.

⁵¹ Там же. С. 320.

новый уровень сложности и эвристических возможностей. Однако некоторые принципиальные особенности этой конструкции вызывают сомнения и замечания (которые могут быть обращены и к другим подобным моделям), о которых речь пойдет после краткого описания второй части Z-концепции.

Z-модель духовного развития в достаточно полном виде описывается в «Посохе...» (1997), хотя ее базисная метафора (самотрансформируемая в полете многоступенчатая ракета) и концептуальные единицы разрабатывались автором в более ранних статьях 1990-х и в книге «Человек развивающийся» (1994). Если говорить о прототипах этой модели, то в области психологии отдаленным прототипом, вероятно, должна быть названа теория развития высших психических функций, но ее сходство с Z-моделью прослеживается не в конкретном содержании (наполнении) этапов развития, а преимущественно на глубинном уровне — на уровне «основных принципов, логики построения схемы», что проглядывает, например, в использовании для описания механизма развития таких понятий как реальная и идеальная форма, опосредствование и т. д.

Вертикаль духовного развития представлена В. П. Зинченко в виде оригинальной графической схемы⁵², имеющей семь ступеней (узлов развития), возникновение которых описывается (подобно библейской генеалогии) как цепь переходов от одной формы активности к другой (или от одного функционального органа к другому) посредством семи медиаторов (знак, слово, смысл, символ, миф, лик и духочеловек): 1) живое движение порождает действие, 2) действие порождает самосознание, 3) самосознание порождает деятельность, 4) деятельность порождает сознание, 5) сознание порождает поступок (свободное действие), 6) поступок порождает личность, 7) личность порождает деяние (или в другой формулировке: «новые формы деятельности»).

Для сравнения реконструированная нами (на основе логико-семантического анализа работ Л. С. Выготского) последовательность стадий развития высших психических функций⁵³ также включает семь стадий:

⁵² Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 150.

⁵³ См.: Мещеряков Б. Г. Логико-семантический анализ концепции Л. С. Выготского. Самара, 1998; Мещеряков Б. Г. Логико-семантический анализ концепции Л. С. Выготского: систематика форм поведения и законы развития высших психических функций // Вопросы психологии. 1999. № 4. С. 3–15; Мещеряков Б. Г. Стадии развития ВПФ и их эмпирические референты: реконструкция имплицитной концепции Л. С. Выготского // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2004. № 3. С. 57–72.

- 1-я стадия — натуральная функция,
- 2-я стадия — примитивная (доречевая) интерпсихическая функция,
- 3-я стадия — высшая интерпсихическая функция,
- 4-я стадия — стадия наивной психологии (она же — магическая),
- 5-я стадия — экстрапсихическая функция,
- 6-я стадия — спонтанная интрапсихическая функция,
- 7-я стадия — произвольная интрапсихическая функция (или высшая психическая функция в узком смысле).

Очевидно, что сходство этих двух концепций в количестве стадий развития следует признать фактом чисто случайным и не принципиальным. В. П. Зинченко, обращая внимание на совпадение количества отраженных на схеме узлов (ступеней) развития с магическим числом 7, подчеркивает гипотетичность своей схемы: «Теоретически их может быть больше, а практически всегда — меньше. На самом деле нас должно интересовать не число ступеней, а возможное направление и принципы, которым следует духовное развитие человека. Фактически на схеме представлены не обязательные, а желательные или потенциально возможные узлы духовного развития»⁵⁴.

Вопрос о том, насколько согласованы Z-модель сознания и Z-модель духовного развития, требует особого рассмотрения. Если верить картинке «вертикаль развития», то, очевидно, они согласованы в том, что вектор развития направлен от бытийных (экзистенциальных) уровней через рефлексивные к духовным уровням. Но некоторые утверждения автора заставляют усомниться в таком понимании.

Критические замечания к Z-концепции

Относительно анализируемой концепции можно высказать два основных замечания. Во-первых, в Z-модели не дифференцированы и не скоординированы три аспекта: форма (материал, ткань), содержание и процессы (если угодно, функции) сознания. В каком-то виде все эти аспекты используются автором, но нет ясного представления о том, как с ними соотносятся понятия слоев и образующих. Во-вторых, и это логически связано с предыдущим замечанием, жесткое распределение образующих по слоям не является обоснованным и, как мне кажется, продуктивным. Оно по-

⁵⁴ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 149; ср.: Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 162–163.

рождает массу вопросов, например: неужели Я, Ты, значение или смысл не представлены на бытийном уровне (скажем, в чувственной⁵⁵ или биодинамической ткани), почему живое движение рассматривается отдельно от Я (т. е. живое движение и Я отнесены к разным слоям). В то же время создается впечатление, что в противоречии с исходными положениями своей модели автор иногда отходит от строгого распределения образующих сознания по его слоям. Примером могут служить следующие утверждения: смысл «присутствует не только во всех компонентах структуры, но и воплощается в продуктах деятельности индивида»⁵⁶; «образ мира и смысл в принципе не могут существовать вне биодинамической ткани движений и действий...»⁵⁷.

Подозреваю, что многие проблемы этой концепции (в обеих ее частях) порождаются именно тем, что автор изначально распределил образующие сознания по разным слоям, тогда как на самом деле такие образующие, как значения, смыслы, Я, Ты и т. д. образуют не тот или иной слой, а сами имеют «слоистую» структуру.

В качестве содержательных образующих сознания могли бы выступать такие единицы как Я (вместе с его смысловыми переживаниями, движениями, действиями и поступками) и не-Я (в том числе Другой, предметы, знаки и их значения), дифференциация которых начинается в онтогенезе достаточно рано. Понятие слоев сознания можно было бы связать с разными *способами репрезентации* образующих сознания и отношений между Я и не-Я. Например, бытийному слою можно поставить в соответствие сенсорно-перцептивную репрезентацию, рефлексивному слою — идеаторную репрезентацию, а духовному слою — абстрактную (безобразную). И Я, и не-Я, а также их взаимоотношения (взаимодействия — физические, информационные или коммуникативные) репрезентируются всеми слоями (и всеми способами), если, конечно, они сформированы.

В нормальном развитом сознании все слои работают совместно и синергично. Идеаторный образ (воспоминание о прошлом событии, представление невидимого предмета, образное проектирование предстоящего движения или действия) базируется на сенсорном материале (чувственной ткани). В свою очередь идеаторный образ может служить опорой для интерпретации высоко абстракт-

⁵⁵ Мне представляется вполне разумной идея Ф. Е. Василюка ввести в модель структуры сознания такие компоненты как чувственная ткань значения и чувственная ткань личностного смысла. См.: Василюк Ф. Е. Структура образа // Вопросы психологии. 1993. № 5. С. 5–19.

⁵⁶ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 260

⁵⁷ Там же.

ных понятий. Собственное Я представляется не только в духовном слое, но и в других слоях. Во второй части Z-концепции, посвященной развитию человека, В. П. Зинченко с большим вдохновением пишет о том, что «восхождение к духовности начинается с живого движения, в котором неразличимы его внешняя и внутренняя формы»⁵⁸, но что такое живое движение как не одна из форм активности Я, исходно представленной в бытийном слое? Развитие Я начинается с живых движений и благодаря им. В своем чисто абстрактном философском значении Я не является ни живым, ни близким нам, хотя, по-видимому, и очень духовно.

Значение слова (термина) также может воплощаться на всех уровнях: сенсорные понятия, конкретно-образные понятия, абстрактные понятия. Такие как бы однослойные значения способны к синергичному взаимодействию, создавая полифоническое многослойное значение. Использование метафор для высоко абстрактных понятий (например, развитие, сознание, Я, дух, субстанция и т. п.) служит тому, чтобы обогатить это понятие предметно-чувственным содержанием.

В последних работах В. П. Зинченко можно обратить внимание на появление нового термина — «аффективная ткань», в котором можно заподозрить заявку на новую образующую сознания. С моей точки зрения, этот термин вполне можно интерпретировать как представление смысла на сенсорно-чувственном (бытийном) уровне, в то время как (в терминах А. Н. Леонтьева) собственно эмоции (эмоциональные переживания) являются реализацией смысла на идеаторном (рефлексивном) уровне, а ценностные ориентации являются представителями смысла на абстрактном (духовном) уровне.

В Z-модели духовного развития также можно обнаружить противоречия, главное из которых, скорее всего, является следствием указанных проблем Z-модели сознания. К не главному и легко исправляемому можно, к примеру, отнести следующее: в одной книге живое движение характеризуется как «живая душа», а «утрата живого движения — это утрата души»⁵⁹, в другой книге утверждается, что «живое движение, во всяком случае в его исходных “бесформенных формах”, представляет собой допсихическое образование»⁶⁰, но там же говорится, что живое движение «не является внешним по отношению к психике. Оно и есть психика, во всяком случае, ее душа!»⁶¹

⁵⁸ Там же. С. 167.

⁵⁹ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 167.

⁶⁰ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 167.

⁶¹ Там же. С. 481.

С моей точки зрения, главным противоречием Z-модели духовного развития является то, что она должна быть признана парадоксальной концепцией развития почти без развития. Автор и сам очень точно фиксирует этот парадокс (противоречие?), но особой беды в нем не видит: «Что же это за развитие, в котором все основные новообразования появляются практически сразу. Попытаюсь показать, что это не произвол интерпретатора, а другое понимание развития»⁶². Одним из конкретных примеров такого понимания служит следующее положение: «Духовный слой сознания, конструируемый отношениями Я—Ты, формируется раньше или, как минимум, одновременно с бытийным и рефлексивным слоями. Иными словами, формирование сознания осуществляется не поэтапно, впрочем как и формирование умственных и других действий (пора отказываться от привычного советского лексикона: лагерь, этап, зона, светлое будущее и т. п.). Формирование сознания — это единый синхронистический акт, в котором с самого начала вовлекаются все его образующие. Иное дело, что этот акт может продолжаться всю жизнь и, конечно, не совершается автоматически»⁶³. И чтобы совсем не было сомнений: «Как я старался показать выше, развитие ребенка, благодаря *свету слова*, начинается с “верхнего до”, с образования духовного, символического слоя сознания, с “вершинной психологии”...»⁶⁴.

Заметим, что представленный выше вариант отказа от жесткого распределения образующих сознания по разным слоям устранял бы противоречие с положением о том, что «формирование сознания — это единый синхронистический акт, в котором с самого начала вовлекаются все его образующие», но сохранял бы перспективу генетической развертки слоев в соответствии с разными способами репрезентации образующих сознания.

Таинственный избыток индивидуальности

В. П. Зинченко любит цитировать слова М. К. Мамардашвили: «Вне духовного содержания — любое дело — это полдела. Не представляю себе философию без рыцарей чести и человеческого достоинства. Все остальное — слова. Люди должны узнавать себя в

⁶² Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 161.

⁶³ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началу органической психологии. М., 1997. С. 324; ср.: Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 271.

⁶⁴ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 454.

мысли философов»⁶⁵. И часто добавляет: «И в мысли психологов тоже»⁶⁶. С давних пор вполне справедливым считается испытывать любое изобретение в первую очередь на самих изобретателях. Попробуем и мы провести такое испытание, применив рассуждения Владимира Петровича к нему самому.

Следует признать наличие тайны в этом человеке, в его душе и в его сознании, и не пытаться ее раскрыть: разве только прикоснуться⁶⁷. Кто бы ни сотворил этого человека, «сделано это с умом: его телесный и духовный организм снабжен огромным числом избыточных степеней свободы»⁶⁸. Несомненно, у него «имеется все достаточное и необходимое: есть избыток степеней свободы кинематических цепей <...> тела, избыток степеней свободы образа по отношению к оригиналу, избыточен язык, память, свободно мышление, <...> сознание приближается (иногда) к абсолютной свободе»⁶⁹. Наконец, он «обладает избыточным числом своих собственных Я»⁷⁰. И он «по мере активного, деятельного или созерцательного проникновения во внутреннюю форму слова, символа, другого человека, произведения искусства, природы, в том числе и своей собственной, строит свою внутреннюю форму, расширяет внутреннее пространство своей души, говоря словами О. Мандельштама, создает *пространства внутренней избыток*»⁷¹.

Его полифоническое мышление полисемично и синкретично: в нем встречаются и перекликаются голоса понятий, образов, аффектов, символов, ощущаемых смыслов, метафор, метонимий, перебивающих, упреждающих, сопровождающих и дополняющих монологический голос радио⁷².

Его сознание — «живое, текстовое, мифологическое, — в отличие от плоского, одномерного, идеологического, имеет многослойное строение. Оно сплетено из биодинамической ткани действий, чувственной ткани образов, ткани (материи) языка, мыслительной, аффективной ткани, ткани переживаний, ткани социальных отношений и ткани живого человеческого опыта. Все это сплетение пронизано смысловыми швами, скрепляющими его»⁷³.

⁶⁵ Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 199.

⁶⁶ Например, Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 102.

⁶⁷ Ср.: Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 68.

⁶⁸ Там же. С. 548.

⁶⁹ Там же. С. 214.

⁷⁰ Там же. С. 200.

⁷¹ Там же. С. 559.

⁷² Ср.: Там же. С. 98.

⁷³ Там же. С. 105–106.

В своем духовном развитии он подобен многоступенчатой ракете, ступени которой конструируются по ходу полета⁷⁴, а траектория полета (равно как и траектория развития его сознания и творчества) — уникальна, неповторима, непредсказуема. Такое спонтанное и свободное конструктивное развитие можно понять «не как усвоение, присвоение, послушание, а как саморазвитие, самостроительство, творчество себя»⁷⁵. Однако самым темным и загадочным моментом этого развития является «переход от внешней детерминации развития к внутренней, к самоопределению и саморазвитию»⁷⁶.

Его «дух сам находит, в чем опредметиться. <...> Он свободен и в этом его непреоборимая сила»; его «духовность — это не какие-то воспарения, не витающий в нашей духовной жизни пар, а материя. Поэтому не случайны сравнения живого духа и его движения с машиной, самолетом, ракетой и т. п., которые произведены им же и стали орудиями человеческого духа»⁷⁷.

Его «личность есть предмет восхищения, зависти, ненависти, незаинтересованного художественного изображения, а не предмет изучения. Она не требует экстенсивного раскрытия: ее видно по жесту, взгляду, слову...»; она «непосредственна, ей свойственны “участность в бытии”, “поступающее мышление”, свободные действия — поступки»⁷⁸. В целом, эта личность — «таинственный избыток индивидуальности», от встречи с которой остается ощущение: *Esse homo*⁷⁹.

Для меня лично мой собственный опыт общения с В. П. Зинченко является достаточным аргументом о возможности большого сходства реальной и вышеописанной идеальной формы личности. На этом можно было бы поставить точку. Но с теоретической точки зрения может представлять интерес аргументация, полученная, так сказать, обходным путем. Дело в том, что личные качества самого В. П. Зинченко могут служить прекрасной иллюстрацией к тому концептуальному портрету самоактуализирующейся личности, который составлен А. Маслоу⁸⁰. В свою очередь, перечисленные выше

⁷⁴ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 148–149; Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 158.

⁷⁵ Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 124

⁷⁶ Там же. С. 153.

⁷⁷ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 165.

⁷⁸ Там же. С. 545.

⁷⁹ Там же. С. 546.

⁸⁰ См., например, Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. СПб., 2009. С. 189–190. Я не буду аргументировать это положение, так как оно требует много допол-

характеристики идеальной личности и процесса ее развития хорошо дополняют этот портрет. Это, кстати сказать, означает, что развшиваемое В. П. Зинченко представление о личности вряд ли может быть широким и общим (по данным самого А. Маслоу, в изученной им популяции процент самоактуализирующихся личностей не превышает 2%, а среди студентов — 0,1%). Учитывая скептическое отношение В. П. Зинченко к тому, что личность может быть предметом изучения, трудно было рассчитывать на то, что он согласится ответить на внушительный по объему самоактуализационный тест (САТ), состоящий из 126 пунктов, в каждом из которых надо осуществлять выбор из двух длинных утверждений. Для упрощения задачи я рискнул воспользоваться не слишком идеальным переводом Short Index of Self-Actualization⁸¹ с 15 пунктами, предложив ответить на них (каюсь, без раскрытия целевой направленности данного теста) двум испытуемым — В. П. Зинченко и В. М. Мунипову⁸². Они оба, по моим наблюдениям, являются ярко выраженными самоактуализирующимися личностями. Хотя я не очень доверял тесту, но его результаты вполне подтвердили мои ожидания — полученные значения самоактуализации соответствовали высокой степени⁸³. Впрочем, в большей степени подтвердилось то, о чем давно писал В. П. Зинченко: «личность видна сразу и целиком и тем отличается от индивида, свойства которого подлежат раскрытию, испытанию, изучению и оценкам»⁸⁴; бесспорно, если эта личность — самоактуализирующаяся.

нительного места и времени. Для тех, кто знаком с концепцией А. Маслоу, но не знаком с В. П. Зинченко, могу посоветовать статьи из данной книги его друзей и коллег (например, А. И. Назарова и В. М. Мунипова).

⁸¹ Jones A., Crandall R. Validation of a Short Index of Self-Actualization. *Personality and Soc. Psychology Bulletin*. 1986. Vol. 12. № 1. P. 63–73.

⁸² Владимир Михайлович Мунипов — известный в нашей стране и за рубежом психолог, один из создателей отечественной эргономики. С Владимиром Петровичем Зинченко его связывает многолетняя дружба, сотрудничество и соавторство; они авторы знаменитых и уникальных книг по эргономике: «Основы эргономики» (1979) и «Эргономика. Человекоориентированное проектирование техники, программного обеспечения и среды» (1998). И, между прочим, оба в 2011 году отмечают одинаковый юбилей.

⁸³ Для сравнения: общие оценки самоактуализации у всех 15 контрольных испытуемых-студентов были ниже.

⁸⁴ Зинченко В. П. Добавление редактора к статье «Личность» // Большой психологический словарь. 4-е изд. / Сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. СПб., 2003. С. 266.

В. М. Мунипов

От психотехники к инженерной психологии и эргономике (исторический очерк)

Автор этой статьи — ровесник Владимира Петровича Зинченко — известный психолог, один из основателей эргономики. Долгие годы он работал с Владимиром Петровичем. Коллектив авторов этой книги сердечно поздравляет его с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и творческого вдохновения на ниве психологии!

* * *

Писать о В. П. Зинченко и легко, и сложно. Легко и приятно лишний раз вести, хотя и заочно, диалог с умным и мудрым собеседником. Сложно охватить многогранные проявления его таланта, достоинство которого не в одной из граней, а во всем их многообразии, позволяющем представить всю глубину и ценность того, что он делает.

Не буду писать о научных достижениях Зинченко в психологии, они известны и без меня, и о них напишут другие. Хотел бы только подчеркнуть, что он не устает предостерегать от легких решений в психологии. Он не уходит от понятия тайны человека, но рассматривает ее не как недостаток психологии, но как ее существенное завоевание. Наиболее сильной и привлекательной стороной творчества Зинченко является его духовность, т. е., как он сам пишет, устремленность, неутоленность — «духовной жаждой томим», — беспокойство, напряженность, энергия, направленные на поиск истины. При этом у него не чувствуется претензии на правильность своих размышлений. Он не боится сомнений, рассматривая их как путь к истине.

Огромная заслуга Зинченко — стремление одухотворить психологию. Дьявольски сложная задача. И во многом это связано с тем, о чем глубоко размышлял в своих дневниковых записях 1984 года

Р. Быков — гениальный режиссер, с которым Зинченко поддерживал творческие контакты. Нам достались, считает Быков, понятия духовности от старого, несовершенного, нищего и голодного мира. Сострадание и милосердие были единственным исходом. Так что, очевидно, заключает он, наш мир должен родить какие-то новые устои духовного. И добавляет в скобках: (Ой, как трудно! Как мало я знаю!).

Зинченко достоин восхищения, он осмелился искать новые устои духовного в психологии и во многих работах высказывается по этому поводу достаточно определенно. Мы легко рассуждаем о бездуховности, но как только речь заходит о духовности, становимся нерешительными и зачастую замолкаем. Зинченко фактически продолжает масштабные замыслы и дела Д. С. Лихачева: «Я давно уже остро ощущаю необходимость найти точный термин, который вмещал бы в себя комплекс понятий, связанных с внутренним миром человека, его развитием, с тончайшими и сложнейшими системами контактов людей между собой, человечества со всей природой планеты и с Вселенной. Нечто всеобъемлющее, как ноосфера Вернадского, как биосфера, но заключающее в себе иную основу — человечность, гуманность, одухотворенность»¹.

И еще одна черта творчества Зинченко, всегда завораживающая меня, его прикосновение к искусству и прежде всего к поэзии как поиску жизни духа и его пределов. «Признанием актуального бытия художественной вещи, — писал горячо любимый Зинченко Г. Г. Шпет, — мы поглощаемся им, через отрешенность ее отрешаемся и сами от прагматической и теоретической жизни своей, и только наслаждаемся, — мы сами здесь в своей полной и безусловной чистоте. В этом — незаинтересованность, самоцель, самооценочность искусства, в этом — относительная правда формулы: искусство для искусства. Но его бесполезность превращается в высшую полезность, когда мы вновь возвращаемся к прагматической и теоретической жизни очищенными и обогащенными новым опытом, новым знанием, возвращаемся новыми и с новой жизнеспособностью, с новым в целом самосознанием. Таким образом, — заключает мыслитель, — это, действительно, есть знание, которое расширяет наш опыт, и в этом смысле знание *синтетическое*»². Давно не включал я в свои тексты длинных цитат, но здесь не мог остано-

¹ Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет. Л., 1989. Цит. по электронной версии: <<http://dkpc.narod.ru/1/cultura/oCulture/lihachevDS/str2-2.html>>

² Шпет Г. Г. Искусство как вид знания (этюды) // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 142.

виться, так как мысль Шпета, как мне представляется, предельно точно и глубоко характеризует один из важнейших путей, по которому идет Зинченко. Двигаясь по нему, он делает в подлинном смысле открытия в психологии.

Ну вот я, кажется, продемонстрировал, как легко писать о Зинченко. Забыл даже об основном содержании статьи, хотя поймал себя на мысли — все высказанное имеет прямое отношение и к нему.

Еще несколько слов о личных качествах Зинченко, как я их воспринимаю, много лет работая с ним. Мощный и острый ум, помноженный на творческое воображение и неисчерпаемую энергию, в сочетании с чувством юмора — характерные черты Владимира Петровича. Он прямой, смелый и надежный человек, с которым радостно работать и дружить. Не могу забыть, когда президент РАО поступил по отношению ко мне несправедливо и вызывающе, Зинченко буквально ринулся в бой, не осторожничая и называя вещи своими именами. Он человек, на которого можно положиться. Сегодня такое качество все чаще попадает в разряд дефицитных. Непорядочным людям высказывает свое мнение в лицо, так что они его избегают. Его высочайший профессионализм в сочетании с указанными чертами личности зачастую приводят к тому, что его боятся приглашать на работу в организации психологического профиля. Не случайно он создал не в Москве, а в г. Дубна одну из лучших кафедр психологии в стране. Все, кто работает, общается или сталкивается с Зинченко, отмечают, что он общительный и веселый человек, любитель анекдотов и метких афоризмов. С ним всегда интересно, и он ценит интересных людей. Зинченко не лишен недостатков, они у него так сложно вплетаются в положительные черты, что их трудно расчлнить. Зинченко без его недостатков, убежден я, — не будет Зинченко, которого все знают.

В последние годы Зинченко сосредоточился на подведении итогов и дальнейшем развитии теоретических и экспериментальных исследований в психологии, о чем свидетельствует фундаментальный труд «Сознание и творческий акт», изданный в 2010 году. Вместе с тем, мне показалось, что одно из важнейших направлений его работ отходит на второй план (а многие молодые психологи вообще не знают о нем). Имеется в виду, что он один из основателей в нашей стране инженерной психологии и эргономики.

Мне приходилось спорить с отдельными учеными при обсуждении вопроса: является ли Зинченко одним из основателей эргономики? Сам вопрос — отголосок жарких споров, за которыми нередко просматривалось болезненное самолюбие отдельных ученых и связанных с утратой инженерной психологией в 1960-е годы в на-

шей стране монополии на то, чтобы представлять область изучения и учета человеческих факторов в технике. Дисциплинарное разделение инженерной психологии на две области, вызванное появлением эргономики, и успешное развитие последней сменили у части ученых накал страстей в спорах на неприязнь к возникшей научной и проектировочной дисциплине, что отрицательно сказалось на ее возрождении в нашей стране. Сегодня ясно, что инженерная психология и эргономика — это две органично связанные дисциплины. Более того, инженерная психология является составной частью эргономики. В нашей стране, как, кстати, и в США, ведущую роль в развитии эргономики играет психология. Поэтому инженерная психология не только составная часть эргономики, но и в определенной степени ее ядро. И поэтому Зинченко, бесспорно, один из основателей эргономики в нашей стране.

После расформирования психотехнических учреждений и прекращения соответствующих исследований в 30-е годы состоялась реабилитация, правда молчаливая, психотехники в СССР в 1960–1970-е годы. Выразилась она в том, что опыт и традиции психотехники стали общим научным и методическим источником одновременного становления в нашей стране психологии труда, инженерной психологии и эргономики. На кафедре психологии труда и инженерной психологии, которую возглавил Зинченко, началось, едва ли не впервые, изучение теоретической и практической проблематики психотехники. С подлинными работами психотехников 1920–1930-х годов сотрудники кафедры не были знакомы, за исключением Ю. В. Котеловой. Ей принадлежал замысел и первоначальная структура работы, которую начала готовить кафедра. К сожалению, Котеловой не удалось завершить свое начинание. Работа была продолжена и завершена под руководством Зинченко. В ней приняли участие известные психотехники: К. М. Гуревич, В. М. Коган, К. К. Платонов, Л. И. Селецкая, Ю. И. Шпигель, В. В. Чебышева. Огромные трудности были связаны и остаются по сей день с поиском работ по психотехнике, так как после ее разгрома в 1936 году все они были изъяты из библиотек и вообще — из свободного обращения. Эти работы давно уже стали библиографической редкостью, а многие сохранились лишь в архивах и личных библиотеках. Характерный вопрос задал редакторам-составителям ответственный работник, когда сборник был готов к изданию: «Почему у вас много авторов репрессированных и одной национальности?». Ответ был произнесен сразу: «Потому что они умные и мудрые». Последовала команда сократить число тех и других. Пришлось искать компромисс, иначе ра-

бота не увидела бы свет. В 1983 году в издательстве Московского университета издана книга «История советской психологии труда. Тексты (20–30-е годы XX века)». Открытием стало, что многие разработанные в то время в психотехнике принципы, методы и рекомендации могут быть использованы при решении целого ряда задач эргономики, инженерной психологии и психологии труда. И это закономерно, так как психотехника в нашей стране создавалась под руководством И. Н. Шпильрейна, Л. С. Выготского и С. Г. Геллерштейна как практическая, а не прикладная психология, основателем которой был Г. Мюнстерберг.

Период интенсивного развития инженерной психологии в нашей стране приходится на десятилетие с начала 60-х до начала 70-х годов XX века. Как и во многих промышленно развитых странах, формирование инженерно-психологических исследований в СССР стимулировалось запросами военно-промышленного комплекса, который располагал существенно большими людскими, финансовыми, научными и техническими ресурсами, чем гражданская промышленность. В институтах различных оборонных ведомств Министерства обороны СССР начинались, по сути дела, инженерно-психологические исследования, которые проводились инженерами и военными. Не все из них, как потом выяснялось, знали о существовании науки психологии. Позже, когда военные специалисты начали заботиться об официальном статусе инженерной психологии в Министерстве обороны, неожиданно этому решительно воспротивилось Главное политическое управление Советской Армии. Аргументация была типично советская и в высшей степени убедительная. Руководители Управления заявили, что они главные психологи в Советской Армии и никакой другой психологии не потерпят.

В 1959 году в оборонную промышленность, в Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры, пришел доктор технических и физико-математических наук, профессор Д. Ю. Панов — замечательная и зачинательная личность. Именно он организовал знаменитый Физико-технический институт, был инициатором работ по машинному переводу, организатором и директором Всесоюзного института научно-технической информации. Он возглавил в НИИ автоматической аппаратуры теоретический отдел, сразу же открыл научно-исследовательскую программу по учету человеческого фактора при создании военной техники. Программа имела обычное для оборонной промышленности претенциозное название «Атмосфера-1» (потом были «Атмосфера-2», «Окуляр» и т. д.). Для выполнения программы он привлек психо-

логов В. Д. Небылицына и В. П. Зинченко и предложил им, в свою очередь, привлечь к ее выполнению университетских и академических психологов. По существу, речь шла о создании в нашей стране новой науки — инженерной психологии.

В 1960 году к выполнению программы по учету человеческого фактора при создании военной техники были привлечены кафедры психологии и психологические лаборатории Московского, Ленинградского, Харьковского университетов, Институт общей и педагогической психологии Академии педагогических наук РСФСР. Позднее к ним присоединились Тартусский, Тбилисский, Вильнюсский университеты, Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики и его многочисленные филиалы, Институт психологии Грузинской Академии наук и др. В начале 1961 года в отделе Д. Ю. Панова была создана лаборатория инженерной психологии, возглавил которую В. П. Зинченко.

В начале 1960-х годов на средства оборонной промышленности создаются лаборатории инженерной психологии в университетах, принимавших участие в выполнении программы по учету человеческого фактора при создании военной техники. Эти начинания не были бы успешными, если бы к ним доброжелательно не отнеслось старшее поколение психологов: Б. Г. Ананьев, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, П. А. Шеварев и др., которые и словом и делом помогали развертыванию инженерно-психологических исследований. Серьезную поддержку инженерная психология получила от академиков А. И. Берга, В. С. Семенихина и других известных ученых, а также и конструкторов военной техники.

Лаборатория инженерной психологии в НИИ автоматической аппаратуры выполняла не только координирующую роль. Ее сотрудники стали принимать участие в оценке и проектировании рабочих мест, средств отображения информации, органов управления и т. д. Вскоре в ее составе появились и дизайнеры. Лаборатория установила контакты с коллективами аналогичного профиля в оборонной промышленности, с Институтом авиационной медицины, Военно-медицинской академией, затем с Институтом медико-биологических проблем и др.

Результаты не замедлили сказаться. С 1962 года пошли потоком публикации по инженерной психологии. В 1963 году была издана первая монография по инженерной психологии, в которой содержался солидный обзор зарубежных работ и представлены первые отечественные исследования в этой области. В 1964 году публикуется сборник оригинальных отечественных работ. Наряду с ними издаются сборники переводов работ западных авторов. Несколько

позже стали появляться издания, посвященные рекомендациям, стандартам, нормам и т. д.

Развитию инженерной психологии способствовало то, что привлеченные в нее ученые не были приучены к секретности. Зинченко сразу заявил, что в человеке нет ничего секретного, хотя есть много таинственного и загадочного.

Откликаясь на запросы практики, инженерная психология обрала все более широким кругом задач и проблем. В коллективы, призванные решать инженерно-психологические задачи, стали привлекать антропологов, биомехаников, физиологов, гигиенистов, дизайнеров и других специалистов. Инженерную психологию все чаще стали рассматривать как комплексную научно-техническую дисциплину, решение задач которой требует широкого размаха исследований, концентрации усилий специалистов, компетентных в самых разнообразных областях знаний. Может быть, поэтому для части инженерных психологов было удивительным появление в начале 1960-х годов в нашей стране эргономики. Действительно, на первый взгляд трудно понять, почему при таком успешном, даже бурном (по нашим меркам) развертывании исследований по инженерной психологии, консолидации ученых и специалистов из академических, университетских, промышленных, военных учреждений (чему в немалой степени способствовало семь Всесоюзных конференций по инженерной психологии) возникла эргономика. Это тем более удивительно, что в стране не было дипломированных эргономистов.

Однако ничего удивительного в появлении, а точнее, в возрождении феномена эргономики в нашей стране не было. Она возникла на фоне развития противоречий в формировании инженерной психологии и в определенной мере явилась закономерным результатом поиска путей их разрешения. Претендуя на статус комплексной научно-технической дисциплины, инженерная психология одновременно все больше тяготела к «академической» психологии. На всесоюзных конференциях по инженерной психологии все чаще звучали призывы к ее «психологизации». По существу, это означало требование более строгого определения и сужения сферы исследований инженерной психологии в целях ее развития как области психологии, ведущего раздела психологии трудовой деятельности. Такая установка отражала профессиональную позицию определенной части психологов, формировавших инженерную психологию. Не следует упускать из виду также и то, что многие психологи не были подготовлены для проведения исследований и тем более выполнения разработок в промышленности.

Инженерная психология, которая все меньше отличалась от областей психологии, где акцент делался на научном исследовании, а не на практическом решении задач, приходила в противоречие с тенденциями, позволявшими квалифицировать ее как комплексную научно-техническую дисциплину. Это реальное противоречие развития науки, когда одна дисциплина монополюно представляет область изучения и учета человеческих факторов в технике, тогда как во многих странах существовали инженерная психология и эргономика (в США — исследование человеческих факторов в технике).

Дисциплинарное разделение на инженерную психологию и эргономику ранее единой области было обусловлено не какими-то формальными или субъективными соображениями, но логикой развития этих научных областей и самое главное — определялось запросами промышленности, которая благодаря первым инженерно-психологическим работам почувствовала вкус к тому направлению исследований и отдельных разработок, в котором просматривалось формирование комплексной научно-технической дисциплины, решающей и практические задачи. Разграничение инженерной психологии и эргономики не преследовало цели возведения барьеров между ними, что было бы противоестественно, а предполагало более тесное их объединение и развитие. Эргономисты на всех этапах добивались этого и предлагали конкретные и реализуемые формы совместных исследований и разработок, способы выполнения масштабных программ с максимальным учетом интересов развития инженерной психологии. Эти предложения или отвергались, или принимались, чтобы затем от них отказаться. Последствия, как всегда в таких случаях бывает, оказались негативными и для инженерной психологии, и для эргономики.

В соответствии с постановлением правительства в 1962 году образован Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) с первым в стране отделом эргономики. Институт был оснащен первоклассным оборудованием и техническими средствами для выполнения проектных работ и проведения экспериментальных исследований. В 1962–1965 годах в крупных промышленных городах — Ленинграде, Свердловске, Хабаровске, Киеве, Харькове, Баку, Тбилиси, Ереване, Вильнюсе, Минске — организуются специальные дизайнерские бюро с подразделениями эргономики, ставшие затем филиалами ВНИИТЭ.

В конце 1960 годов в отделе эргономики сменилось два руководителя. Трудно было найти ученого и организатора, который мог возглавить коллектив, состоящий из представителей почти всех научных дисциплин, изучавших человека в труде, а также включаю-

щий дизайнеров и инженеров (замечу, что каждый из них пришел в институт заниматься новым и интересным делом по зову сердца). В 1969 году автор статьи стал заместителем директора ВНИИТЭ по научной работе. Передо мной была поставлена задача: найти авторитетного ученого и умелого организатора для отдела эргономики. Я обратился за советом к Зинченко. В это время в Москву уже переехал Б. Ф. Ломов. Ему много обещали, но главное, как у нас часто бывает, не выполнили. Зинченко тогда дружил с Ломовым, знал всю ситуацию, в которую он попал, и предложил с ним переговорить об отделе эргономики. Зинченко договорился о встрече, и мы поехали к Ломову (Он жил, как оказалось, в маленькой квартире, хотя ему обещали большую и приличную). Состоялся интересный и содержательный разговор, продолжавшийся до четырех часов утра. Ломов дал принципиальное согласие, но попросил в силу объективных и уважительных причин отложить его приход в институт на год. На мое замечание, что Комитет по науке и технике не будет ждать, Ломов сказал: «Проявите все ваши способности и договоритесь с директором, а потом и с Комитетом». На следующий день утром у меня раздается телефонный звонок, и я услышал зычный голос Зинченко: «Ты так увлекательно, предметно и всесторонне рассказывал об институте, отделе и их перспективах, что я созрел перейти к вам на работу». Звучало все так неправдоподобно, что вначале показалось, Зинченко разыгрывает меня. У него интересная работа, замечательная лаборатория, сотрудничество с Д. Ю. Пановым и многое другое. Потом оказалось все серьезно. Я был вне себя от радости. Ведущий психолог страны, работавший в военно-промышленном комплексе и развивавший там инженерную психологию, руководивший крупными проектами и привлекая к их выполнению все возможные организации, — отдел эргономики, да и институт в целом, и мечтать не могли о таком руководителе. Первый наш совместный разговор с директором в одном пункте напугал меня. Будучи независимым и свободным человеком, Зинченко по ходу разговора заявил директору: «Мне нравится отдел, институт и направленность их работы, но не думайте, что только этим буду заниматься. Я ученый, экспериментатор и мне по ходу моих исследований может понадобится препарировать лягушек. Как вы к этому отнесетесь?». У меня екнуло сердце — все так прекрасно начиналось и так быстро закончится. Надо отдать должное директору Ю. Б. Соловьеву, который моментально и спокойно ответил: «Нет проблем». Правда, проблемы другого рода возникали, так как не только Зинченко был независимым и свободным, но и директор не уступал ему в этом.

Зинченко привлек новых научных сотрудников в отдел и в основном завершил его формирование. Костяк отдела составили психологи, работавшие вместе в одном подразделении с антропологами, биомеханиками, физиологами, гигиенистами, дизайнерами и другими специалистами. На первом этапе сформировалось общее видение основных работ, которые необходимо было проводить в области эргономики, принимая во внимание, что уже в то время ВНИИТЭ осуществлял координацию в данной области. Направление работ определялось на основе анализа состояния наук, изучавших человека в труде, освоения их результатов в промышленности, а также зарубежного опыта развития эргономики и инженерной психологии. Система дизайнерских организаций в стране стала уникальным проектным, научным и производственным полигоном развития эргономики, о котором инженерные психологи и психологи труда могли только мечтать. Преодолевался серьезный барьер, связанный со взглядом на эргономиста как на специалиста с большим багажом знаний, но мало что умеющего делать практически в проектировании, да и не только в нем, а потому обреченного на резонерство. Во ВНИИТЭ и его филиалах в качестве главных направлений развития эргономики выделены следующие:

- теоретические и методологические исследования;
- разработка основных принципов создания базы эргономических данных и их использования с целью более полного и всестороннего учета роли человеческого фактора в производстве и системах управления;
- определение функциональных особенностей различных видов профессиональной деятельности руководителей, операторов и диспетчеров в системах автоматизированного управления, рабочих массовых профессий, режимов и условий эффективного ее осуществления;
- разработка эргономических требований к организации рабочих мест, к созданию информационных средств и средств управления;
- разработка и использование эргономических требований и рекомендаций при проектировании производственного, сельскохозяйственного, транспортного, медицинского, строительного и другого оборудования, а также товаров культурно-бытового назначения;
- развитие всесоюзной, региональной и отраслевой систем проведения эргономических разработок с использованием средств пропаганды, обучения и оказания методической помощи.

В высших учебных заведениях СССР к подготовке эргономистов так и не приступили. Министерство высшего и специального образования СССР принимало, выслушивало и даже обсуждало предложения по организации подготовки указанных специалистов, но ничего не предпринимало для их осуществления на практике. В 1984 году два решительных академика — Н. Н. Евтихийев и В. С. Семенихин — с подачи В. П. Зинченко, не согласовывая свои действия с Минвузом СССР, организовали первую в стране кафедру эргономики в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики. В 2011 году ее бесславно упразднили, хотя безусловно ее надо было сохранить как символ передовых традиций МИРЭА и того, что вуз оправдывает название технического университета.

Решению основных проблем эргономики в сжатые сроки с меньшими затратами и на высоком профессиональном уровне существенно способствовало начатое в 1975 году научно-техническое сотрудничество стран-членов СЭВ (Совета Экономической Взаимопомощи) по проблеме «Разработка научных основ эргономических норм и требований».

По предложению уполномоченных представителей стран-членов СЭВ координатором исследований и разработок по программе был утвержден Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) с аппаратом в виде Координационного Центра под руководством В. М. Мунипова. Научно-технический совет по проблеме сотрудничества возглавил В. П. Зинченко.

Организация деятельности Координационного центра и Совета строилась таким образом, чтобы по каждому вопросу достигалось общее согласие, во внимание принимались все предложения и замечания. Возглавляя научно-технический совет, Зинченко блестяще справлялся с этой сложной не только научной, но и политической задачей. Речь шла о том, чтобы в научно-техническом сотрудничестве не завелась бацилла «старшего брата», которая могла парализовать работу вообще и во всяком случае творческое начало в ней. Имеется в виду, что в других многочисленных Координационных центрах, как рассказывали их руководители, работа велась без сучка и задоринки, т. е. все заседания и советы проходили быстро и гладко, без споров и дискуссий. Вставал советский представитель и высказывал мнение своей делегации, после чего все соглашались с ним и единогласно голосовали за все, что он предлагал. С предельной щепетильностью к этому аспекту деятельности стали относиться после посещения сотрудником Координационного центра международной машиностроительной выставки-ярмарки в

Брно (Чехословакия). Золотую медаль за лучший дизайн и эргономику получил советский комбайн, который, по мнению жюри конкурса, не отвечал ни одному требованию дизайнера и эргономики, а также некоторым нормам безопасности труда. Изучив комбайн на месте, сотрудник Координационного центра убедился в этом. На вопрос, почему комбайн все же получил золотую медаль и помещен в центр экспозиции выставки, последовал ответ, что когда недостатки комбайна со всей тщательностью анализировались на заседании жюри, встал один человек и заявил, что рассматриваемый вопрос не профессиональный, а политический. После этого членам жюри ничего не оставалось, как проголосовать за присуждение золотой медали.

Результаты теоретических и прикладных исследований и разработок в области эргономики нашли отражение в руководствах по эргономике для инженерно-технических работников³, в учебных пособиях⁴, в изданных во ВНИИТЭ методических пособиях⁵. Многолетний опыт эргономических исследований и разработок организаций Советского Союза и других стран-членов СЭВ обобщен в фундаментальном методическом руководстве «Эргономика. Принципы и рекомендации» (1-е издание — 1981 год, 2-е издание — 1983 год). Многие издания включали работы Зинченко и выходили под его научной редакцией.

Эргономика стала реальностью в нашей стране, но отсутствовали экономические, да и многие другие стимулы и условия ее развития. У одного выдающегося деятеля культуры однажды спросили, что в искусстве важнее — «что» или «как»? Он ответил: не «что» и не «как», а «кто». В. П. Зинченко, несомненно — «кто» в эргономике и психологии, и это во многом предопределило успешное ее развитие в нашей стране.

³ См., например: Введение в эргономику. М., 1974; Производственная эргономика. М., 1979 и др.

⁴ См.: Основы эргономики. М., 1979; Эргономика: Лабораторные работы. Киев, 1976; Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Материалы к курсу лекций. 1980; Эргономика: человекоцентрированное проектирование техники, программных средств и среды. Учебник. М., 2001 и др.

⁵ См.: Эргономика в определениях: (Материалы к терминологическому словарю). М., 1980. Методы и технические средства предпроектного эргономического моделирования. М., 1983; Анализ и оптимизация операторской деятельности. М., 1986; Труды ВНИИТЭ. Сер. Эргономика. Вып. 1–32. М., 1970–1986.

Сет Чайклин

Всего восемьдесят лет, и все еще растем: «Разговор» с Володей Зинченко о теории деятельности

Микрофон работает? Я хотел бы поднять тост за Володю Зинченко, чья великая, многогранная душа осветила путь в прошлое, так что мы можем лучше видеть путь в будущее.

Хорошо. Можно теперь выключить микрофон?

Создается ощущение, что я говорю в микрофон, когда пишу эти строки для книги в честь Володи. Я хочу сделать наш диалог с Володей открытым для русских коллег. Неловкое чувство испытываешь, стоя здесь, на этой сцене, обращаясь в зрительный зал, где в отдалении от меня сидят люди, которые внимают моим словам, пытаются понять, зачем я стою на этой сцене с микрофоном. Но я считаю, что я должен говорить.

За последние тридцать лет я смог углубиться в мысли В. Зинченко (и многих других) в частности благодаря английским переводам «Советской психологии», «Журнала восточно-европейской и русской психологии» и некоторых сборников. И хотя я не могу читать по-русски, но могу следить за статьями журналов «Вопросы психологии» и «Культурно-историческая психология». Каждый раз аналитические статьи В. Зинченко, в которых не только обсуждаются актуальные проблемы современной психологии, но особое внимание уделяется культурно-исторической традиции, заставляют меня задумываться и вызывают вопросы. В. Зинченко — мой постоянный собеседник, ведь чтение его статей вызывает в памяти наши реальные разговоры в последние десять лет.

Каждый раз, когда я сажусь за его текст, я погружаюсь в увлекательное чтение, сопровождаемое множественными ссылками на разные источники, богатством размышлений и тем для обсуждения. Вначале было дело. Оно же было и в конце. Когда я вижу интеллектуальные результаты «действий» Володи Зинченко, я исполняю

изумлением, восхищением и уважением. И я думаю, что наши московские коллеги испытывают такие же чувства, читая его работы.

Но слишком рано делать из Зинченко «музейный экспонат» — поэтому я бы хотел воспользоваться возможностью вовлечь его в следующую беседу — в этот раз на русском! Для меня было большим удовольствием и честью участвовать в интеллектуальной истории культурно-исторической традиции в России. Это сложная история, иногда семейная история — и как в большинстве семей, иногда наполненная конфликтами и драмой. И теперь, когда я на сцене, отдельная драма, которую я хотел бы обсудить — это теория деятельности. Можно спорить с тем, что это теория родилась примерно в то же время и в том же месте, что и Володя. Я хочу рассказать ему и нашим коллегам, как я понимаю теорию деятельности и обсудить некоторые спорные моменты.

Теория деятельности: «монологический» диалог с Володей

Володя, ты однажды сказал мне, что теория деятельности тебе наскучила, что ты устал от нее. Я прекрасно понимаю, почему ты «устал» от «деятельности». Психологическая теория деятельности была предметом многократного обсуждения в России. Я могу об этом судить по переводам этих дискуссий на Западе.

Долгое время ты отзывался критически о теории деятельности. Я думаю, твоим главным возражением против деятельностной теории была тенденция — по крайней мере, на твой взгляд — свести деятельность к механистической системе отдельных операций, действий. В результате, жизнь человека (его душа, в твоём понимании) оказывалась вытесненной из объяснения человеческой деятельности. Ты выражал свое несогласие с механицизмом психологической теории деятельности в течение многих лет, и часто таким образом, что людям могло показаться, что ты противник теории деятельности. Когда такой ученый как ты резко высказывается, это сложно не заметить. Только в последнее время я понял, что твоя «критика» призвана привлечь внимание к культурно-исторической традиции.

Ты взялся за сложную задачу. Возможно, невыполнимую. Я симпатизирую твоим неустанным попыткам восстановить историю психологической науки в России и показать богатство нашего интеллектуального прошлого. Но меня беспокоит, что не критичные слушатели извлекут только общее представление, как например «теория деятельности — это плохо», нежели увидят нюансы и положительные возможности, заложенные в твоей критике. Я понимаю

твою критику как указание на неадекватность современных теоретических построений, а не как критику каких-то общенаучных подходов, связанных с современным состоянием теории деятельности.

Поэтому, я хотел бы здесь показать свое понимание твоих идей и наметить перспективы по проблемам, которые ты обозначил в своих трудах. Рассказывая тебе свою историю, я буду следовать твоим путем, который ты прорисовал в тексте «Психологическая теория деятельности («воспоминания о будущем»»).

В современной деятельностной концепции, как я ее понимаю, есть два основных момента. Первый, встроенный в концептуальную структуру понятия деятельности, — это большая потребность понять человеческую деятельность как деятельность предметную, т. е. источник и результат человеческих действий с внешними предметами. Научные интерпретации этого понятия в Советском Союзе, ограничивались главным образом аспектами предметной деятельности без развития понимания ее социо-культурной природы. Второй момент заключается в том, что понятие «деятельность» — можно определять не только как психологический процесс, но и как психологическое явление, что требует уже онтологической интерпретации. Онтологическая интерпретация понятия «деятельность» выходит за рамки различения, предложенного Юдиным, где деятельность выступает и как объяснительный принцип и как предмет научного исследования¹. И если бы у нас было время для чашечки чая, тогда бы я мог начать обсуждать некоторые более важные моменты, такие, как понятие социальной реальности, проблемы с осмыслением человеческих мотивов, и их эмпирическим изучением, и т. д. Но пока будет достаточно остановиться на рассмотрении двух обозначенных выше моментов, подчеркивающих культурно-историческую природу человеческой деятельности. Мой интерес здесь состоит в том, чтобы критически переосмыслить (т. е. поставить под вопрос, прояснить и определить современное значение) понятия «деятельность», а не употребляет его как нечто само собой разумеющееся.

Как зародилось понятие деятельности?

Ты, Володя, начал свое обращение к конгрессу ИСКАР-2008, ссылаясь на идею Фуко, согласно которой «чтобы обратиться к сущности, необходимо вернуться назад». Я понимаю твое возвращение

¹ См.: Юдин Э. Г. Деятельность как объяснительный принцип и как предмет научного изучения // Вопросы философии. 1976. № 5.

назад в прошлое, как способ показать нам «путь в будущее». Это не просто ностальгическое возвращение. Я думаю, ты возвращаешься в прошлое, чтобы уберечь нас от нашего будущего. Со «слабым» историческим чутьем сложно видеть дальше своих собственных предрассудков и предпочтений. Если мы не знаем историю, мы не знаем землю, по которой мы ходим. С развитым историческим чутьем легче увидеть важнейшие вопросы и элементарные ошибки.

С этими соображениями я задал себе простой вопрос: Как появилось понятие деятельности в советской психологической традиции? Объяснение Леонтьева² дает представление о том, почему оно сформировалось — чтобы дать способ преодолеть проблему ассоционистской психологии или репрезентационной психологии (например, с внутренними схемами). Мне помог сформировать представление об исторических корнях деятельности Леонтьев. Если верить ему в этом вопросе (а почему бы и нет?), то можно утверждать, что исторической предпосылкой, побудившей советских психологов к созданию теории деятельности, была идея «практического интеллекта». Об этом также свидетельствуют комментарии Выготского к Кёлеру в работе «Орудие и знак в развитии ребенка». Не менее важными в этом смысле являются идеи «развития» и «практической деятельности», изложенные в главе «Развитие высших психологических функций в течение переходного периода». Они впервые появились в его «*Педологии подростка*» (1930).

На мой взгляд, понятие деятельности возникло из научных попыток понять развитие психологических функций. Особый интерес представляют попытки объяснения происхождения этих функций без обращения к помощи механистических или бихевиористских идей, в которых условия окружающей обстановки (например, стимулы) были причиной или источником действия. Если отрицается гипотеза о том, что человеческое поведение может быть понято исключительно как ответные реакции на условия окружающей обстановки, тогда для объяснения процесса, благодаря которому формируются психологические способности, нужна другая концепция. В основание такой концепции было положено понятие деятельности. Но эта идея стала очевидной только потом. Я склонен верить этому мнению. Другими словами, исследователи осознали понятие деятельности после попыток решения проблем практического интеллекта. Этот распределенный процесс развития дает возможность понять, почему Леонтьев в своей книге 1975 года подчеркивал, что Выготский «выделял два главных взаимосвязанных момента, кото-

² Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. Гл. 3.

рые должны быть положены в основание психологической науки. Это орудийная («инструментальная») структура деятельности человека и ее включенность в систему взаимоотношений с другими людьми»³. Я бы добавил к этому и идею «развития», которую обсуждал Выготский в главе «Развитие высших психологических функций в переходном возрасте».

По-моему, легко согласиться, что понятие деятельности не было «обнаружено» в теоретическом споре, требующем обоснованной критики, но скорее появилось из попыток объяснить происхождение психологических способностей. Это освобождает нас от споров о том, у кого было и у кого не было понятия деятельности. Это освобождает нас от поисков истинного основателя концепции. А также это позволяет нам сосредоточиться на более важных вопросах о том, какие проблемы ставятся перед нами этим понятием.

Какие проблемы решаются?

Я уже упоминал, что понятие деятельности представляет собой способ осмысления происхождения психологических способностей. Ты, Володя, даешь (более или менее) такое же определение — происхождение, структура и функция различных форм человеческого действия как базовый элемент деятельности⁴. В то же время, когда смотришь на ранние годы развития теории деятельности, сталкиваешься с идеей умственной деятельности. Это просматривается в концепции Выготского о социокультурной обусловленности развития. Гальперин также ссылается на идею умственной деятельности в течение этого раннего периода. И ты замечаешь, даже если и критически, что Леонтьев часто обращался к такой идее, согласно которой за деятельностью находятся жизненные процессы (хотя, на мой взгляд, Леонтьев приписывает эту идею Выготскому). Иными словами, если мы обращаем внимание только на человеческие действия (а не на деятельность в целом, в которой они могут быть осмыслены), тогда мы лишаемся научного понимания культурно-исторической традиции.

Я высоко ценю тот факт, что ты знал Гальперина и Леонтьева. Может быть, А. Н. Леонтьев как историческая личность и не был способен поместить идею жизненных процессов в свой способ обоснования теории деятельности, но когда я читаю тексты Леонтьева

³ Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 96.

⁴ См.: Зинченко В. П. Психологическая теория деятельности и психология действия // Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы. М., 1990.

и Гальперина, то вижу, как они ищут психологию, которая должна взаимодействовать с богатством и сложностью исторической человеческой жизни. Поэтому мне непонятно, отрицаешь ли ты, критикуя их недостатки, что теория деятельности может помочь нам в исследовании умственных жизненных процессов как процессов социокультурно обусловленных.

Наконец, не историческая личность нам здесь важна, но те идеи, которые мы можем развить. Мы должны сфокусироваться на этой установке, а не на исторических неудачах. Их неудачи могут заставить нас задуматься над вопросом о том, не является ли такая установка в принципе недостижимой, но пока я не теряю надежды на то, что мы можем добиться значительных успехов в понимании жизненных процессов, используя теорию деятельности. В простых, схематических терминах, аргумент выглядит таким образом: психологические способности человека возникают из участия в умственной деятельности. Вся человеческая жизнь организована как умственная деятельность, в которой эти практики развились исторически. Изучить развитие психологических способностей, значит, изучить последствия человеческого действия в рамках умственной деятельности. В этом и состоит цель. Проблема, к которой мы пытаемся подойти с позиции деятельностной теории, состоит в том, возможно ли рассматривать развитие человеческих способностей как следствие участия в культурно и исторически существующих видах деятельности.

Какие проблемы остаются?

Однако многие проблемы сохраняются. Изначальный (и все еще действительный) интерес состоял в том, чтобы обратиться к некоторым простым и умеренным вопросам о развитии психологических функций. Однако, осознание необходимости рассмотрения умственной деятельности как части этого анализа имеет тот же эффект, что и открытие ящика Пандоры. Но до сих пор большинство так называемых культурно-исторических исследований преуспели только в том, что игнорировали то «зло», которое выпускается на волю всякий раз, когда признают, что невозможно изучать психологические процессы без рассмотрения исторически существующих видов деятельности, в которых они производятся.

Советская версия теории деятельности не допускала этого «зла», фокусируясь на «психологических» аспектах деятельности. Это можно ясно наблюдать в двух статьях ранних 1980 годов, одна написана Б. Ф. Ломовым, а другая В. В. Давыдовым, В. П. Зинченко,

и Н. Ф. Талызиной. Я использовал эти статьи для того, чтобы помочь аспирантам (и себе!) понять теорию деятельности. Изумительно, сколько усилий потрачено в обеих этих статьях для того, чтобы определить и разграничить психологические аспекты теории деятельности. Ты делаешь такое же замечание о Давыдове в статье 2001 года. И книга Леонтьева 1975 года тоже фокусируется на этом. Почему существовал такой интерес к установлению и разграничению психологических элементов деятельности?

Можно обратиться к воспоминаниям Гальперина, в которых он отмечает, что все действительное содержание «объективных» и «материальных» аспектов рассматривалось как нечто внешнее по отношению как к деятельности, так и к психологии. Как я понимаю, ты присутствовал, когда Гальперин давал эти пояснения, так что мне не нужно конкретизировать. Кажется, ты утверждаешь в своей статье 2001 года, что существовала тенденция превращения психического в деятельность, но тогда было бы бессмысленным искать специфические психологические аспекты. Одна из моих гипотез состоит в том, что в 1920 годы все исследовательские вопросы о социальных условиях деятельности переместились в сферу философии. Психологи были фактически отрезаны от исследований результатов их собственного теоретического развития. Это можно было заметить пятьдесят лет спустя в статьях по теории деятельности. В ретроспективе я теперь могу лучше понять, почему Давыдов в 1990 годах (например, его доклад на конгрессе ISCRAT в 1995 году) особо подчеркивал, что теория деятельности была междисциплинарной инициативой как способ указания на необходимость выйти за пределы одного только психологического аспекта. Столь же серьезный вопрос можно было бы заметить в его дразнящем риторическом вопросе о том, как такое возможно, что марксистская страна не имела марксистской социологии. Не легкая задача — понять, каким образом анализировать историческую деятельность человека в связи с развитием психологических способностей. Но когда это измерение задействуют более основательно, тогда оно откроет нашу науку для многих других важных проблем, а также снимет некоторые «старые» проблемы в спорах о деятельности. Я приведу один пример в объяснении моего второго пункта о деятельности как онтологическом понятии.

Как понятие онтологическое, деятельность является базовым допущением о том, как осмысливать психологические феномены. Здесь я должен представить проблему «предметно ориентированной деятельности». Пока ты принимаешь ценность в отношении к тому, что можно назвать когнитивными функциями памяти,

восприятия, мышления, ты подвергаешь сомнению ценность пространства этой идеи на всю психологию. Но здесь, я думаю, ты не рассмотрел онтологическую природу понятия деятельности! Если мы вернемся к исходным проблемам, для которых было введено понятие деятельности, тогда, полагаю, смысл «предметной ориентированности» в том, чтобы предъявить требование, которое предотвратит дуализм внутреннего и внешнего (который ты также решительно критиковал полезным и продуктивным образом). Оно также вводит понимание того, как и почему психологические способности могут развиваться из взаимодействия с объективным миром. Но важно заметить, что не только предметно ориентированная природа делает это, и это не мотивационный аспект (на который ты также указываешь). Скорее мы должны вернуться к идее интеллектуальных социальных практик как организующих человеческие действия, через которые психологические способности и развиваются — как ты говоришь, вначале экстериоризация (в действии) до интериоризации. Идея предметной ориентированности дает возможность избежать идеалистической точки зрения, согласно которой существуют аспекты человеческой психологии, которые могут быть поняты независимо от предметов. Эта необходимость понимания действия в отношении к предмету является решающей для понимания того, как культурно-историческая теория работает с отношением между индивидуальным действием и общественной деятельностью. Социальные условия встроены в предметы и практики, в рамках которых человек действует. Ты сам объяснил эту идею в своем обращении на конгрессе ИСКАР в 2008 году, в котором ты обратил внимание на то, что новорожденный младенец понимает действие, обозначенное словом, прежде чем он поймет само слово. Причастие *предметно-ориентированная*, используемое со словом *деятельность*, является излишним, так как всякая деятельность «предметно-ориентирована». Но, как нам известно, ученые обычно вводят термин, чтобы обратить внимание на то, что обычно или ранее не признавалось. В этом смысле, человеческая жизнь (и психологические способности человека) не может быть понята только с точки зрения предметов, но также с точки зрения умственной деятельности, которая обычно укоренена в предметном действии.

Рассматривая эти две идеи вместе, — значимость исторически осмысленной деятельности и предметно ориентированная природа деятельности, — я нахожу несколько альтернативных объяснений и интерпретаций для проблем, которые ты обсуждал. Например, проблема единства сознания и деятельности. Это утверждение единства, а не тождества. Я согласен с твоим возражением исполь-

зованию этой идеи как простого процесса копирования внешнего во внутреннее. Если это все, чего достигла теория деятельности, значит, мы не продвинулись дальше, чем «психологии», основанные на теориях репрезентации. Но я понимаю это утверждение как указание на важность понимания того, что психологические характеристики развиваются посредством действия в умственной деятельности. Это не призыв к редуцированию психологического развития к решительному навязыванию внешней реальности. Скорее, оно может быть понято (в некотором смысле) в том же духе, что и призыв Гуссерля «*Назад к вещам*», но с той критической разницей, что «вещи» сами по себе неотделимы от исторической деятельности, в которой они сложились. Сложно передать этот смысл, так как необходимо иметь в виду две очень разные идеи в одно и то же время. С одной стороны, мы действуем в отношении к предметам в материальной жизни, но с другой стороны, значимость этих предметов может быть понята только в связи с традициями деятельности, которая развилась в отношении к тем предметам. Наши действия с этими предметами формируются в традициях действия, воплощенного и передаваемого другими (родителями, учителями, сверстниками), с которыми мы взаимодействуем. В этой перспективе, деятельность есть простое отношение к базовой онтологической концепции происхождения психологических функций. В этом смысле она не является ни объектом исследования, ни объяснением психологического феномена. Фактически, ты приходишь к такому же заключению, когда отмечаешь, что интериоризация есть онтологическое, а не эпистемологическое действие.

Эта концепция, в которой деятельность понимается как онтологическое понятие, относящееся к нераздельной связи между личностью и материальным миром исторически сложившихся традиций деятельности, имеет многие последствия и выводы. Теперь я укажу на некоторые из них.

- Я не согласен с твоей интерпретацией, согласно которой аргументы Гальперина были простым повторением внешнего ко внутреннему, даже если я разделяю твои доводы на этот счет. Можно понять замысел Гальперина по-другому, или, по крайней мере, увидеть возможности того, к чему он стремится другим образом.
- Всякое действие — это всегда деятельность, потому что люди всегда ориентируются в объективном мире. Деятельность проявляется в действиях, в которых понятие деятельности относится к структурным связям, в которых действие происходит, и в которых эта структура нераздельна с действием, а не

просто выступает фоном или посредником между личностью и другими личностями и вещами. Надо сказать, Леонтьев пишет об этом в Главе 3. Ты пишешь то же самое в главе своей книги 1990 года, или по крайней мере замечаешь, что Юдин показал что действие является психологической сущностью объектно-ориентированной деятельности. Согласно этой точке зрения, невозможно отделять действия от деятельности, как ты это делал в своей статье 2001 года, когда ты написал, что Леонтьев исследовал только действия, а не деятельность. Слишком легко можно попасться на это неудачное разделение действия, операции, деятельности, что свидетельствует о том, что мы сталкиваемся с трудностями, контролируя понимание нашей теоретической перспективы. Слишком часто можно встретить идею «уровней» в литературе на английском языке. Я написал свой аргумент против этой идеи в журнале «International Journal of Human-Computer Interaction» в 2007 году, поэтому я не буду повторять его здесь. Также, единственный уровень, найденный в анализе Леонтьева, находится где-то между психологическим и физиологическим уровнями.

- Я согласен с твоей заинтересованностью в избегании редукции деятельности к механической перспективе, и я понимаю твой интерес в том, чтобы сохранить «душу» деятельности как способ обращения к этой проблеме. Но кажется, что такое «решение» отбрасывает нас обратно к рассмотрению индивидуального. «Душа» (как личность) развивается посредством деятельности в социальной практике.
- Также обрати внимание, что если деятельность осмысливается как онтологическое понятие, то получается непоследовательно говорить о деятельности, как, например, о трудовой деятельности или игровой деятельности. Как я уже утверждал здесь, деятельность относится к основной и универсальной концепции человеческого действия, ориентирующегося на объекты в исторически сложившихся практиках. Необходимо понять, как анализировать эту деятельность, в которой мы участвуем, и следствия тех действий для психологической мысли и развития. Такую же идею можно найти вначале, но, я указываю на необходимость более дифференцированного описания, в котором идея общественной деятельности понимается как источник объектно-ориентированной деятельности (как психологический процесс), но не должна приравниваться или превращаться в деятельность как таковую. Как я уже указывал, идее социальной деятельности не было дано адекватного теоретического

выражения в Советской теории деятельности, и я считаю, что в результате слишком большая ответственность была возложена на плечи *деятельности*. Нет никакой аналитической пользы в том, чтобы использовать понятие деятельности как неопределенное выражение всех видов человеческих действий.

- Различение, сделанное Юдиным, кажется важным, и многие согласились с ним или признали его (включая тебя и Давыдова). Мне не удалось прочитать непосредственно его работу, и поэтому я пребываю в неуверенности относительно своих доводов по поводу взглядов Юдина, но безотносительно к Юдину, это различение, применительно к деятельности, на самом деле, в большей мере является источником замешательства, а не прояснения. Деятельность ничего не объясняет! Она просто дает отправную точку, из которой мы должны попытаться построить содержательный анализ человеческой практики, и ее значения для психологического развития. Такая концептуализация не была ясно или достаточно осознана в большинстве специальных исследований, проводимых в культурно-исторической традиции.
- Я был поражен вступительным обсуждением в твоей статье 2001 года, в котором ты отметил, что не существует признанного имени для теории деятельности. Это знак (для меня), что сложно составить целостное представление о том, что такое деятельность, а также это знак того, что деятельность не может быть объектом исследования, потому что она слишком абстрактна. Необходимость состоит в том, чтобы обратиться к тем проблемам, которые слишком долго оставались вне сферы культурно-исторического исследования, к таким, как, например, содержание материальной деятельности.
- Я думаю, что мы оба можем с уверенностью согласиться с тем, что деятельность не системна и не треугольна. Проблема в том, как понять, сформулировать и представить аналитическое описание развития психологических способностей.

А что теперь?

Психология (как академическая дисциплина) — это выдумка XIX века. Ее дальнейшее развитие в культурно-исторической традиции подрезало целостность ее изначальных предположений о возможности исследований, которые фокусируются только на психологических характеристиках. Я начал приводить доводы в пользу

культурно-исторической науки, отправной точкой которой является деятельность как объект исследования. Концентрация на действии и деятельности отвлекает внимание от жизненных процессов. Возможно поэтому ты концентрируешься на культуре, но это тоже часть жизненной деятельности. Мы не просто интерпретаторы, — мы также ответственны за действия по отношению к нашим условиям, — возможно поэзия позволяет легче переносить невыносимые условия, но мы также должны найти способы противостоять нашим несовершенствам.

Я знаю, что ты любишь поэзию, и думаешь, что я должен читать больше. Но я также узнал, в частности, благодаря тебе, что экстерииоризация должна начинаться до интериоризации, так что я начну с отрывка моего собственного стихотворения.

Вот он — сияющий во славе
родник бездонный, бесконечный,
источник споров и мечтаний —
живет в движении он вечном!

А когда я думаю о сокровищах, которые ты собрал для нас, а также о недостаточности своей экстерииоризации, тогда я думаю о поэме Уильяма Карлоса Уильямса:

Просто сказать это

(Перевод М. Гунина)

Я съел
тот изюм
из нашего
холодильника

должно быть
ты собиралась
его оставить
на завтрак

Прости меня
он был так вкусен
так сладок
и прохладен

Перевод статьи Александра Кабанова

Е. Б. Моргунов

Человек развивающийся: профессиональная организация как «зона ближайшего развития»

Концепт «зона ближайшего развития», введенный Л. С. Выготским, по-прежнему популярен, однако не стоит забывать, что обширные эмпирические исследования связанных с ним явлений проводились с участием в качестве испытуемых преимущественно детей. Конечно, в экспериментах участвовали и взрослые. Но по отношению к ним вопрос о развитии во взаимодействии с детьми как-то не ставился. Между тем, исследование именно этого аспекта представляется мне актуальным. Мы сегодня должны ответить на вопрос: «Имеет ли смысл использовать концепт “зона ближайшего развития” в контексте анализа процессов, связанных с развитием взрослого человека?» Ведь мы имеем дело с людьми, у которых уже сложились высшие психические функции? Необходимо уточнение как самого этого концепта, так и связанных с его употреблением условий. В данной статье я попытаюсь это сделать применительно ко взрослым, вступающим в производственные отношения (в рамках психологии труда).

У детей интериоризация происходит, так сказать, воочию. Со взрослыми сложнее, так как они уже не «табула rasa». И тяжело различить прежние и вновь онтогенетически сформированные феномены. Тяжело установить и доказать связь или разницу в истоках ценностей, определяющих поступок. Какие ценности нынешние, а какие — прежние?

При попытке использовать возможности зоны ближайшего развития в приложении к взрослым, вступающим в производственные отношения, возникает вопрос: «Кто выступает в качестве важного второго в зоне ближайшего развития работника?» Это может быть коллега равный по опыту (один из нас, или мастер своего дела), который хоть и один из нас, но другой, так как обладает собственными нам пока не известными секретами, а может быть, это начальник, обладающий в организации более высоким статусом и

поэтому считающий себя вправе учить подчиненных, как им работать. А может, все они вместе создают неповторимое сочетание взаимодействий, облегчающее или затрудняющее процесс профессионального развития человека.

Не стоит забывать о том, что профессиональная организация — это одна из форм контактной культурной среды. Но это не означает, что ее влияние сильнее, чем влияние дистантной среды, с которой у человека нет в настоящий момент непосредственного контакта, например, профессиональное сообщество в целом. Индивид может существовать на перекрестье нескольких контактных культурных сред: образовательного учреждения, родительской семьи, собственной семьи, дружеских связей, референтной группы, деловых и досуговых знакомств. Освоение норм и процедур происходит как в физическом, так и в ментальном взаимодействии с образцами субкультуры или собственными представлениями о них.

Возможно ли организовать компоненты профессиональной организации таким образом, чтобы они помимо основных функций выполняли бы по отношению к рядовому работнику и развивающие? Здесь вступает в действие методология поиска и исследования факторов, оказывающих воздействие на профессионализм работников. Под профессионализмом принято понимать определенную системную организацию сознания, психики человека. Профессионализм зависит от большого числа личностных качеств человека, от способности работника смотреть на себя со стороны, но кроме того — и от его ближайшего окружения. А. К. Маркова предложила такое определение профессионализма: «профессионал — это специалист, овладевший высокими уровнями профессиональной деятельности, сознательно изменяющий и развивающий себя в ходе осуществления труда, вносящий свой индивидуальный творческий вклад в профессию, нашедший свое индивидуальное предназначение (профессионал — это специалист на своем месте), стимулирующий в обществе интерес к результатам своей профессиональной деятельности и повышающий престиж своей профессии в обществе»¹. Для нас важно, что здесь профессионал определяется как человек, способный к саморазвитию в процессе трудовой деятельности и общении. Ниже я представляю наиболее актуальные исследования, демонстрирующие эффективность этого подхода.

Так, В. Д. Шадриков в значительном теоретическом и экспериментальном исследовании рассмотрел связи профессионально важных качеств на разных уровнях развития профессионализма, тем самым проследив динамику формирования профессионала в единстве раз-

¹ Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 1996. С. 48.

ных аспектов выполнения профессиональной деятельности². В центре его исследования находились прежде всего корреляции между разными профессионально важными качествами, для выявления которых использовались многочисленные тестовые методики. В нынешних условиях сотрудничества психолога с руководством организаций использование большого числа тестовых методик не всегда возможно, поскольку от психолога требуется не столько академические, сколько практические результаты. И сам исследовательский этап по возможности должен быть достаточно компактным и не вызвать напряжения у работников, которые сейчас более настороженно относятся к замам любого рода, иногда справедливо опасаясь, что результаты могут повлиять на кадровые решения. И только на таких условиях директор готов распахнуть ворота предприятия специалистам извне.

В исследовании Ю. М. Жукова выявляется специфика развития так называемого компетентностного движения в западных странах, в рамках которого выделяются специальные понятия «компетентность» и «компетенция». Первое касается преимущественно характеристик субъекта, группы и организации, а второе связывается с результатами специализированных заданий и их соответствия заданиям³. Такое различие основано на методологически привычном для организационного поведения рассмотрении организационной и производственной динамики в рамке схемы «вход — процесс — выход». И в этой модели компетентность находится на входе, а компетенции на выходе производственной деятельности. Далее, ссылаясь на книгу Д. Шона «Рефлексирующий практик» (1998), Ю. М. Жуков предлагает использовать еще одно понятие для более отчетливого изучения процессов и свойств, происходящих в деятельности профессионала. Это понятие — «метакомпетентность», обозначающее компетентности широкого профиля. В качестве примеров таковых выделяются коммуникативные, управленческо-организационные и аналитические способности, которые нужны профессионалу при решении широкого круга задач и могут объединять компетентности частного характера при выполнении сложных профессиональных задач. С моей точки зрения, понятие «профессионализм» имеет более широкий объем даже по сравнению с понятием «метакомпетентность», поскольку охватывает все три упомянутых выше метакомпетентности.

² Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 1982.

³ Жуков Ю. М., Ерофеев А. К., Литатов С. А. и др. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: Учебное пособие для вузов / Под ред. Ю. М. Жукова. М., 2004. С. 104.

Ссылаясь на работу Р. Бояциса⁴, Г. Робертс приводит классификацию, различающую природные, приобретенные, адаптивные и исполнительские компетенции⁵. Данная классификация позволяет оптимистически рассматривать возможности развития профессионализма, имея в виду воздействие на приобретенные и адаптивные компетенции. В то же время сам Г. Робертс менее оптимистичен в отношении возможностей развития компетенций. Он без устали повторяет, что «даже самый совершенный тренинг не в состоянии сделать так, чтобы из свиного уха можно было бы сшить шелковый кошелек»⁶. Тем самым он скорее является сторонником качественного подбора персонала, чем его последующего развития. Тем не менее, он осознает, что многое в решении дилеммы отбор или развитие персонала зависит от ситуации в демографической сфере и на рынке труда. Если демографическая ситуация и экономика на подъеме, больший вес приобретают методы оценки и отбора персонала. Если же трудовые ресурсы на рынке не богаты, более важно совершенствовать методы развития тех работников, которые имеются в наличии.

Ю. К. Стрелков проанализировал сложившуюся в отечественной психологии схему анализа деятельности профессионала: «субъект — действие — объект — окружающий мир»⁷, позволяющую развернуть широкомасштабную программу эмпирических исследований в профессиональной психологии. В то же время Ю. К. Стрелков отмечает, что часто используемая триада «субъект — деятельность — объект» «определяется вся целиком: сразу и тавтологически, т. е. каждый член определяется через целое и два других. Триада и функционирует соответствующим образом — всегда целиком присутствует в каждом шаге логического процесса...»⁸. Поэтому необходима ее дальнейшая методологическая и методическая разработка.

В процессе анализа специфики профессии арбитражного управляющего М. В. Паршин предлагает набор из тринадцати критериев (объективных и субъективных; результативных, процессуальных, нормативных, индивидуально-вариативных, наличного уровня, прогностических, профессиональной обучаемости, творческих, социальной активности и конкурентоспособности профессии в обществе, профессиональной приверженности, качественных и количественных)⁹.

⁴ См.: Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы. [1982] М., 2008.

⁵ Робертс Г. Рекрутмент и отбор. Подход, основанный на компетенциях. М., 2005. С. 80

⁶ Там же. С. 28.

⁷ Стрелков Ю. К. Инженерная и профессиональная психология. М., 2001. С. 35.

⁸ Там же. С. 36.

⁹ Паршин М. В. Психологическое содержание деятельности арбитражного управляющего. Дисс.... канд. психол. наук. М., 2002. С. 151–154.

Я думаю, что в рамках перечисленных критериев требования к разным аспектам профессиональной деятельности сосуществуют. Так, содержание объективных критериев предъявляет требования одновременно к когнитивным и исполнительским аспектам профессиональной деятельности. Содержание творческих критериев имеет непосредственное отношение к когнитивному и коммуникативному аспектам профессиональной деятельности. В определенной части критериев ясно прослеживаются требования к развитию и саморазвитию профессионала. Например, содержание критерия профессиональной обучаемости таково: «Арбитражный управляющий готов признать мастерство других (даже более высокое, чем его собственное), готов учиться у них, что проявляется в стремлении к обмену опытом, посещении профессиональных конференций, изучению профессиональной литературы и др.»¹⁰. Содержание данного критерия помимо заметного развивающего наполнения обращается одновременно к коммуникативному и когнитивному аспектам профессиональной деятельности. Можно с уверенностью утверждать, что среди девятнадцати выделенных мною в результате повторного анализа тринадцати критериев из упомянутого набора не было ни одного, который предъявлялся бы к какому-либо другому аспекту профессиональной деятельности кроме четырех: когнитивного, коммуникативного, регуляторного и исполнительского. При этом критерии были представлены почти поровну (по четыре — шесть) к каждому из аспектов.

На примере работников налоговых органов Т. А. Подольская показала, что слушатели программ повышения квалификации, в основном имеющие значительный опыт профессиональной деятельности, по ряду психологических характеристик (уровень мотивации, профессиональная идентичность, структура ценностей и т. п.) существенно превосходят слушателей программ профессиональной переподготовки¹¹. Иначе говоря, первая группа работников демонстрирует преимущества в регуляторном компоненте профессионализма.

Заслуживают внимания также и правила самосовершенствования профессионала, предложенные В. С. Дудченко¹²:

Занимайтесь своими затруднениями и проблемами.

¹⁰ Там же. С. 153.

¹¹ Подольская Т. А. Психологическое обеспечение дополнительного профессионального образования госслужащих (на примере повышения квалификации и переподготовки специалистов налоговых органов). Автореферат дисс.... д-ра психол. наук. М., 2005.

¹² Дудченко В. С. Методологические проблемы развития персонала в организации // Управление человеческими ресурсами / Под ред. В. В. Щербины. М., 2004. С. 282–308.

Разрешайте свои затруднения вместе с другими людьми.

Концентрируйтесь на содержании затруднения.

Прорывайтесь к действительному содержанию затруднения.

Вырабатывайте новое видение себя, мира, новые идеи и решения.

Как и в исследования М. В. Паршина приведенные выше правила обращены к разным компонентам профессионализма и носят преимущественно когнитивный и коммуникативный характер.

Исторически первая отечественная психологическая модель развития профессиональных умений на микроуровне была предложена А. Н. Леонтьевым, который определил их как «закрепленные операции»¹³. А. В. Запорожец так отозвался о вкладе А. Н. Леонтьева в решение проблемы развития навыков: «А. Н. Леонтьев рассматривал его <навык — *Е. М.*> как результат фиксации лишь определенной части действия, его оперативно-технической части, находящейся в постоянной зависимости от других компонентов деятельности, прежде всего от ее целей и мотивов»¹⁴. Эта зависимость проявляется и видоизменяется в процессе развития навыка. А. Н. Леонтьевым было введено различие, существенное для понимания механизмов развития профессионализма, — различие «актуально сознаваемого» и лишь «оказывающегося в сознании» содержания деятельности. «Актуально сознается, — писал А. Н. Леонтьев, — только то содержание, которое является предметом целенаправленной активности субъекта, то есть занимает структурное место непосредственной цели внутреннего или внешнего действия в системе той или иной деятельности. Положение это, однако, не распространяется на то содержание, которое лишь “оказывается сознанным”, т. е. контролируется сознанием. Для того чтобы “оказаться сознанным”, т. е. сознательно контролироваться, данное содержание в отличие от актуально сознаваемого не должно непременно занимать в деятельности структурное место цели»¹⁵. Таким образом, навык может эффективно развиваться лишь через отработку действия. Лишь в этом случае впоследствии может происходить его «подтягивание» в сознание при появлении затруднений и его коррекция сознанием под конкретные условия окружения.

В теории Н. А. Бернштейна детально разработаны представления о структуре и процессе развития двигательного акта. Эти разработки имеют для психологических исследований профессиональ-

ной деятельности особое значение. Бернштейн различает уровень построения, соответствующий смысловой структуре движения (он назван ведущим), и уровни, обеспечивающие реализацию движения (фоновые). Смысловая структура двигательного акта определяется, по Бернштейну, содержанием возникшей перед человеком задачи. Именно смысловая структура формирует тот сенсорный синтез, который приведет в движении к решению задачи. На базе определенного сенсорного синтеза формируется двигательный состав, включающий в себя перечень последовательных элементов движения и определения двигательных приемов, соответствующих этим элементам, а также фоновый состав компонентов сложного движения. Двигательный состав есть результат столкновения, «итог подстановки в некоторые общие уравнения двигательной задачи и кинестетических возможностей, находящихся в распоряжении организма для решения данной задачи»¹⁶. И далее: «двигательный состав есть функция как двигательной задачи, так и ее исполнителя»¹⁷. Н. А. Бернштейн определил развитие движения как процесс, состоящий из нескольких основных этапов. Движение развивается от робких, скованных, зачастую неверных попыток выполнить задачу к более уверенным, но легко сбиваемым движениям и, наконец, к свободным устойчивым движениям, которым не страшны какие бы то ни было возмущения внешних условий. Более того, на завершающем этапе обучения человек научается использовать особенности сложных внешних условий в своих целях, что в еще большей степени повышает эффективность движения. По Бернштейну, результатом первого этапа развития является распределение функций между уровнями построения двигательного акта. Ведь в начале первого этапа вся сенсорная информация о выполнении движения и условиях этого выполнения предоставляется на ведущий уровень построения и тем самым контролируется непосредственно сознанием. Это создает определенные трудности для выполнения движения и сказывается как на процессе реализации, так и на его результатах. Однако, по мере «усвоения» происходит постепенный перевод сенсорных коррекций с ведущего осознаваемого уровня на фоновые уровни, соответствующие разным аспектам движения. На втором этапе происходит оптимизация работы как каждого из уровней построения движений, так и взаимодействия между ними. Этот этап характеризуется появлением такого движения, результатом которого является не борьба с внешними

¹³ Леонтьев А. Н. Психологические вопросы сознательности учения // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. М., 1983. Т. 1. С. 348–380.

¹⁴ Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960. С. 38.

¹⁵ Леонтьев А. Н. Психологические вопросы сознательности учения. // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. М., 1983. Т. 1. С. 361.

¹⁶ Бернштейн Н. А. О построении движений. М., 1947. С. 121.

¹⁷ Там же.

условиями, а филигранное их использование. Он связан обычно с достижением высокопрофессионального исполнения.

Дальнейшая разработка воззрений на развитие движения в теории деятельности связана с именами А. В. Запорожца и П. Я. Гальперина¹⁸. Для выяснения структуры двигательного действия было проведено его рассмотрение как состоящего из двух частей (компонентов): ориентировочную и исполнительную, первой из которых в большей степени соответствует функция планирования движения, а второй — его исполнения. В исследовании А. В. Запорожца было показано, что больших успехов в освоении действия достигают те люди, которые с самого начала больше внимания уделяют планированию движений¹⁹. Занимая в начале большую часть во времени действия, планирующий ориентировочный компонент затем быстро сокращается. Было подмечено важное отличие двигательных действий от других (перцептивных, мнемических, мыслительных), состоящее в особенностях их совершенствования. Если ориентировочный компонент движения сокращается при достаточной стабильности исполнительного, то у других действий происходит параллельное сокращение как ориентировочного, так и исполнительного компонента.

Методологический принцип единства внешней и внутренней деятельности привел к гипотезе о возможности основанного на интериоризации направленного формирования умственных и двигательных действий. При этом основная роль в такого рода формировании была отведена организации ориентировочного (планирующего, когнитивного) компонента действия. Содержание этого компонента, представляющее свойства объекта, на который направлено действие, и последовательность операций с ним, приводящая к достижению некоторой цели, получили название ориентировочной основы действия (ООД). Были выделены типы ООД, в большей или меньшей степени соответствующие успешной реализации действия, а также несколько форм выполнения действия: материальная/ материализованная, внешнеречевая, внешнеречевая — «про себя», внутриречевая, соответствующих этапам интериоризации действия. Разработанная в многочисленных исследованиях методика поэтапного формирования умственных действий позволяла формировать действие с заданным набором параметров: по форме, обобщенности, развернутости, освоенности, разумно-

¹⁸ Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. Современное состояние теории поэтапного формирования умственных действий // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1979. № 4. С. 54–63; Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1984.

¹⁹ Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960.

сти, абстрактности, прочности. В ООД, составленной и сформированной оптимально, должны быть зафиксированы все существующие свойства как класса объектов, на которые будет направлено формируемое действие, так и его операционный состав. Иначе говоря, на любую задачу, предложенную испытуемому, в ООД всегда должно найтись то или иное изменение в операционном составе, предусмотренное еще до формирования. В оптимальной ООД, таким образом, должны содержаться качества, позволяющие действию быть достаточно гибким и в то же время эффективным²⁰.

Широкие исследования развития предметных исполнительных действий человека методами микроструктурного анализа с привлечением системных представлений проводились под руководством В. П. Зинченко²¹. В качестве одной из теоретических основ этих исследований стало положение Л. фон Берталанфи о системе как «совкупности взаимодействующих между собой более или менее сложных структур или процессов, объединенных в целое выполнением некоторой общей функции, которую не может осуществить ни один из ее компонентов»²². Путь развития функциональной структуры действия проходит от «нерасчлененного гетерогенного образования к выделению в нем все более специализированных компонентов, к установлению все более многообразных связей между ними»²³. В условиях микроструктурного эксперимента было показано развитие структуры действия, его компонентов: когнитивного, исполнительного и контрольно-коррекционного; развитие, демонстрирующее взаимные переходы между функциями разных компонентов и неравномерную динамику их формирования. Метод микроструктурного анализа исполнительного действия, предполагающий его «разворачивание» в контролируемых экспериментальных условиях, позволяет рассматривать как макропоказатели и их изменения по мере становления действия, так и микропоказатели каждого появляющегося в эксперименте компонента (блока): моторных программ, реализации и контроля; их взаимоотношения, а также развитие взаимоотношений. Разработанная В. П. Зинченко, Н. Д. Гордеевой и их сотрудниками функционально-структурная модель действия может быть преобразована для задач описания процессов, происходящих при развитии профессионализма.

²⁰ Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1984; Ильясов И. И. Структура и формирование процесса учения. Автореф. дисс... д-ра психол. наук. М., 1988.

²¹ Зинченко В. П. Функциональная структура исполнительных перцептивно-моторных действий // Эргономика. 1978. Вып. 6. С. 7–40.

²² Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. М., 1982. С. 174.

²³ Там же. С. 174–175.

На макроуровне анализа также высок интерес к профессионализму организации в целом. При этом под профессионализмом организации понимается не столько сумма уровней профессионализма ее работников, сколько некоторое системное качество организации. В зарубежных исследованиях организационного поведения в центре рассмотрения находятся отдельные свойства профессиональной организации: ее креативность, обучаемость, адаптивность и т. п. Очевидно, что многие из подобных исследований выполнены в традиции когнитивного подхода к организации. Одно из самых известных направлений в этой области — концепция «управления знаниями», предполагающая поставить под контроль процесс приобретения организацией в целом и всеми ее сотрудниками нового опыта и в итоге добиться преимуществ в своем сегменте рынка²⁴.

Таким образом, говоря о профессионализме работника, исследователи анализируют данное понятие с разных точек зрения, в большей или меньшей степени ориентируясь на психологический, социологический, управленческий или консультативный контексты. В зависимости от избранного контекста в область рассмотрения включаются наборы разных факторов, влияющих на профессионализм. Здесь и демографические, и организационные, и экономические и управленческие факторы. Однако данное многообразие подходов усложняет и без того непростую картину, а также затрудняет перспективы конструктивного подхода к развитию профессионализма, предполагающего создание системы условий, позволяющей в разумные сроки качественно повысить эффективность деятельности сотрудников организации.

Я полагаю, что назрели все предпосылки для рассмотрения проблемы развития профессионализма работников в рамках единого комплексного подхода, увязывающего большинство условий, воздействующих на него. В рамках такого подхода помимо привычного понятия «зона ближайшего развития» необходимо введение понятия, характеризующего наполнение этой самой зоны ближайшего развития в приложении к профессиональной деятельности взрослого человека. Для решения данной задачи мы предлагаем использовать понятие «детерминанта развития профессионализма», означающее некий фактор, который оказывает на профессионализм модулирующее влияние; может ускорять или притормаживать его развитие, изменять и конфигурировать направление развития, затрагивать профессионализм локально, т. е. отдельные его стороны, или в целом. Необходимо также выделить

²⁴ Мильнер Б. З. Управление знаниями. Эволюция и революция в организации. М., 2003.

различные виды детерминант развития профессионализма: организационные, групповые и индивидуальные (по критерию масштаба).

Организационные детерминанты можно разделить на организационно-культурные и принадлежащие различным стадиям в рамках жизненного цикла организации; формальные и неформальные по критерию источника управления развитием. Кроме того, в отношении организации работает различие естественных и искусственных детерминант развития. Первые являются следствием естественного развития организации, усиливают свое влияние вследствие накопления опыта самими работниками, подразделениями. Вторые создаются работниками, а чаще руководством в ходе разработки документарных инструментов управления: положений, распорядков, распоряжений; а также технологий и процедур аттестации, повышения квалификации, кадрового резерва.

Групповые детерминанты развития можно подразделить на формальные и неформальные по критерию принадлежности к подразделению (отделу) или неформальной группе в рамках подразделения (отдела) и микрогрупповые (диадные) и макрогрупповые (включающие троих и более сотрудников). Так, популярный метод коучинга можно отнести к неформальным или формальным микрогрупповым детерминантам в зависимости от того, насколько этот метод прописан в положениях об отделе и в какой мере он пользуется популярностью у работников организации из разных возрастных и квалификационных групп. Так, в случае если супервизия с молодыми сотрудниками включена в нормы, диктуемые организационной культурой, и при этом никак не закреплена в положении об отделе, этот аспект взаимодействия носит скорее неформальный характер. В то же время все документы могут быть оформлены, но реальное наставничество отсутствует, что свидетельствует о формально работающей детерминанте развития профессионализма.

Возможно деление на детерминанты общего и парциального развития по критерию охвата воздействия на аспекты профессионализма. Так, детерминанты общего воздействия развивают все аспекты профессионализма работника: когнитивный, коммуникативный, регуляторный и исполнительский. Детерминанты парциального воздействия влияют только на часть аспектов или даже только на один из них.

Адресатом воздействия детерминант развития профессионализма в рамках предложенной концепции может быть как отдельный человек (работник), включенный в профессиональные отношения, прошедший профессиональную подготовку, использующий свой труд как источник существования, так и группа (команда, подразде-

ление), которая в состоянии совершенствовать процедуры и характеристики своего взаимодействия, а также организация в целом. За границами комплексного подхода остается более широкая, чем организация социальная общность, например, профессиональное сообщество или социальная страта как объекты воздействия. Критерии классификации и компоненты процесса детерминации см. в табл. 1.

Таблица 1.

Критерии классификации и компоненты процесса детерминации развития профессионализма

Критерии классификации	Компоненты процесса детерминации
Организованность действия	Формальные/неформальные
Инициатор детерминации	Человек, группа, организация, внешняя среда
Природа	Естественная/искусственная
Адресат детерминации	Человек, группа, организация
Охват детерминации	Общие/парциальные
Начало действия детерминанты	Срочная/отсроченная
Использование промежуточных звеньев	Прямая/опосредованная
Параллельность воздействия	Одноуровневая/многоуровневая
Число используемых инструментов	Инструментальная/полиинструментальная
Фокус воздействия	Когнитивный, регуляторный, коммуникативный, исполнительский

Имеет смысл также ввести понятие «инструмент детерминации» развития профессионализма. Это средство воздействия на развитие профессионализма, используемое в рамках одной или нескольких детерминант. Так, на организационном уровне используются штрафы, премии, программы обучения работников. На групповом уровне осуществляется обратная связь, групповое обсуждение при аттестации и принятии решений. На индивидуальном уровне используется анализ собственных профессиональных действий, анализ затрат времени, уходящего на те или иные задачи, и анализ собственных поступков. Профессионал высокого уровня в состоянии сам подобрать детерминанты развития, которые в наибольшей степени ему подходят: профессиональную среду коммуникации, сеть поддержки, источники для когнитивного и исполнительского совершенствования. Он активно ищет их в различных социально-знаниевых средах. В итоге он может стать и субъектом формирования подобных детерминант для своих менее опытных коллег — учеников. В других случаях такими

субъектами формирования детерминант развития профессионализма может выступать профессиональное сообщество, руководство организации, государственные и неформальные экспертные группы.

Отдельная тема размышлений — современная информационно-технологическая среда (Интернет) и ее место в качестве детерминанты развития профессионализма. Не случайно так высок интерес к Интернету в среде профессионалов, независимо от их принадлежности. Интернет достаточно разнообразен и универсален, чтобы претендовать на ведущее место в качестве инструмента развития профессионализма работников, особенно, в части когнитивных и коммуникативных составляющих. Использование Интернета и других информационных технологий делает особенно актуальной проблему «распределенного» профессионализма, предполагающую, что при использовании информационных технологий профессионализм приобретает новое качество, не доступное профессионалам без указанных средств деятельности. Компьютер может выступать в роли «органопроекции» интеллекта и других когнитивных функций, дополняя возможности естественной памяти, восприятия, воображения²⁵. Моделируя с помощью компьютерных программ варианты развития ситуации в различных задаваемых извне условиях, различные группы специалистов (управленцы, биржевые брокеры, инженеры — конструкторы, ученые и пр.) могут принимать решения более качественные и лишенные ошибок, делаемых в реальности без использования компьютера. Тем самым специалист приобретает дополнительные степени свободы и возможность прогнозирования отдаленных последствий того или иного решения²⁶. На современном производстве использование ERP-систем (систем планирования ресурсов предприятия) значительно расширяет диапазон контроля над процессами, происходящими в разных подразделениях организации. В то же время новые возможности контроля со стороны руководства ведут к повышению производственной дисциплины и точности в отчетах, что не может не сказаться на повышении общего уровня профессионализма предприятия в целом.

Подводя итоги, замечу, что большинство характеристик организации как субъективных, так и объективных, оказывают конфигурирующее влияние на профессиональное и личностное развитие человека и в этом смысле могут быть оценены как компоненты «зоны ближайшего развития».

²⁵ Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994.

²⁶ Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. Изд. 2. испр. и доп. М., 2005.

В. А. Петровский

Начала персонологии «Я»: существует ли ее предмет?

С тем фактом, что *сознание* — «ничье», философски просвещенная часть общественности еще не свыклась. Но этот тезис, сохраняя сегодня свою бесспорную нетривиальность и методологическое значение, благодаря усилиям отстаивающих его теоретиков (В. С. Соловьев, С. Н. Трубецкой, Г. Г. Шпет, Г. П. Щедровицкий, М. К. Мамардашвили, В. П. Зинченко), «как бы уже» не шокирует. Развивая именно эту завоевывающую себе право на существование идею, мы обсуждаем вопрос о принадлежности *самосознания*: оно — «чье-то», или также — «ничье»?

Казалось бы, «внутренняя форма слова» (не по Шпету, а по Потебне, находящему подсказку к пониманию внутри звучащего слова), исключает сомнение: раз «само», то уж — и «чье». Но может быть, самосознание, как таковое, есть *иллюзия* сознания в коллективном пользовании социума? Рассматривая этот вопрос, мы будем неоднократно обращаться к идеям В. П. Зинченко¹, являющих опыт синтеза феноменологии, логики, культурологии и психологии сознания. Перед нами — уникальный опыт «порождающей активности» в понимании бессубъектных истоков сознания. В работах В. П. Зинченко и его коллег реализована отнюдь не очевидная для исследователей (будь то философы или психологи) *логическая* необходимость десубъективировать сознание, возможность понять его «из себя», не постулируя при этом избыточных сущностей, но

Работа выполнена при поддержке научного фонда Государственного университета — «Высшая школа экономики» в рамках проекта № 08-01-0143 «Идеи и методы мультисубъектной персонологии». Статья подготовлена в рамках франко-русского проекта «Проблема “Я”: традиции и современность», поддержанного Центром фундаментальных исследований Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики (Москва) (Программа 2011 г., ТЗ № 50.0).

¹ Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст, М., 2010.

опираясь только на его собственную — сознания — избыточность (обнаруживаемую уже на уровне «чувственной ткани сознания»). Речь идет, подчеркиваю, о необходимости и, одновременно, возможности осмыслить сознание, начиная с самых низов его — от «недостаточно еще одушевленной <в психологическом познании — В. П.> физики» «перцептивных, мнемических, интеллектуальных, исполнительных процессов»² — постепенно поднимаясь вверх к высшим уровням духовности (и, в частности, отношению Я–Ты).

В контексте этих исканий — проблемы, обсуждаемые в данной статье (сформулирую их кратко):

- как безличное «со-» в сознании производит личное знание «о...»?
- как язык, точнее, многие языки культуры, запечатленные в психике индивидуума, превращаются в его речь?
- как индивидуальное бессознательное — «речь Другого» — «осознаивает» нас, порождая то, что может быть названо «Я-говорением», или, «по школьному», «родной речью»?
- как знаковое бытие обуславливает новое бытие знаков в психике индивидуума, как превращается оно в причину себя (causa sui)?
- как осуществляет себя в говорении и действии персональное Я?

Словом, речь идет о контексте, концептуальном фундаменте того, что может быть названо в целом *персонологией самосознания* («персонологией Я»).

Центральный для нас вопрос состоит в следующем: существует ли «Я» как «центр» сознания индивидуума, как некая производящая сила и средоточие его субъективности (а ведь именно так выглядит положение дел с точки зрения здравого смысла³)? Существует ли некое Я, обладающее самосознанием и способное постигать, чувствовать, творить⁴?

² Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 39.

³ Не слишком, может быть, способного разобрать смысл написанных слов.

⁴ Эти заметки, скажу сразу, — не дань М. Фуко и его вольным или невольным «соавторам», как в прошлом, так и в будущем. Нет смысла размывать *свою* субъектность посредством *чьей-то* еще, уже размытой, хоть бы и самого Фуко. Ведь и она, *его* субъектность, как следует из сочинений *этого* автора (авторство в которых он сам, по сути, подвергает сомнению), легко растворяется в *чьих-то* еще субъектностях... Речь в этой статье идет только о том, что «субъекта», «Я», в обычном (обыденном) значении этого слова, фактически нет. Я бы сказал: он *просто* не существует (если и существует, то с ним все не так просто, как представляется обыденному сознанию). Его нет в качестве *самодостаточного непосредственно сущего «Я»* — самостоятельного источника и основания активности, будь то познание, переживание, действие в мире. *Такой* субъектности, — говорю я, — нет, хоть бы и мыслить ее, вслед за Фуко, в минимальной, гомеопатически расходящейся в «водах» социума, степени.

Этот вопрос упирается в само понимание «Я» (хотя, может быть, именно Я упорствует, упирается, не желая слышать ответ?).

Здесь Я рассматривается на трех ступенях анализа. Прежде всего, это *слово*, существующее в обычном языке, в культуре: «Я» — как культурный знак. Далее — это способ присутствия культурного знака «Я» в психике индивида. В этом случае можно говорить о прообразах Я⁵. Именно здесь, в вопросе о локусе бытия и форме существования «Я» как культурного знака, есть место сомнению. Наконец, обратимся к прообразам Я (как к *идее*, творящей объект), воплощающимся в Я-действительное (*реальное Я*). На этой ступени движения мысли я надеюсь восстановить в правах Я, живущее (виртуально) в культуре.

Итак, подлежат различению:

- слово «Я», существующее в культуре, — «Я» как культурный знак;
- Я-прообразы в психике — чувственные оттиски «Я» как культурного знака;
- идея Я в жизнедеятельности индивида.

«Я» как культурный знак. Этот знак обладает сложным строем. Он включает в себя *имя* (в русском языке звучит как «я») и ассоциированные с ним *символические модели*⁶. Здесь «имя» соответствует *означающему*, «модель» — *означаемому*. Опираясь на традиционную соссюровскую трактовку знака, подчеркну важный нюанс, отсутствующий в классике. *Имя* («означающее» знака «Я») не может рассматриваться как случайно связанное с *моделью* («означаемым»). Оно — применительно к Я — есть часть модели. Само звучание — «я» («Ich», «I» и т. п.) — входит в состав модели, неотделимо от нее (вне произнесения в данном случае не существует и носимого содержания). Так окраска и форма крыла птицы, по которым мы можем понять, «что за птица», неотделимы от птицы как таковой. Модели-означаемые «Я» присутствуют в языке повседневного общения, фольклоре, литературных произведениях, искусстве, науке, философских сочинениях, религиозных трактатах (как часть языка, символические модели также имеют свои *имена*, к которым я буду последовательно обращаться).

Таких моделей — в культуре — несколько (я пока не ставлю вопрос о «моделируемом» — о предсуществующих объектах этих моделей, «оригиналах», существующих наяву). Это — «Я-познающее», «Я-устремленное», «Я-переживающее». Я сродни «экзистенции»

⁵ Теоретический конструкт «прообраз Я» вводится впервые мною.

⁶ Вводим для них символ Я — используем в записи курсив и пишем с заглавной буквы.

в трактовке М. Хайдеггера (само себя открывающее и себе открывающееся бытие — так можно было бы выразить суть «Dasein», «здесь-бытия», «экзистенции» в его понимании). Об этом «здесь-бытии» можно сказать, что вместе с его бытием и через его бытие само бытие раскрыто для него самого. Dasein есть такое здесь-присутствие, через которое «говорит» само бытие. Как видно, здесь нет посредников, нет чего-либо или кого-либо, что служило бы цели раскрытия. Бытие в экзистенции раскрывает себя непосредственно, как бы соединяясь с самим собой, оно есть и причина себя и следствие себя самого. «Я» как культурный знак заключает в себе именно этот смысл — непосредственного самообнаружения, самоустановления, самоохвата (или — «захвата»). Внешние объекты при этом могут втягиваться в орбиту «заботы» (термин Хайдеггера) раскрывающего себя бытия, но, в конечном счете, экзистенция озабочена самой собой: реализуя «заботу», она преодолевает тревогу «не быть».

Наряду с общим ядром, можно указать также различия между ипостасями Я. Рассмотрим их конспективно.

«Я-познающее» перенимает форму объекта, существующего по ту сторону экзистенции, и размещает ее в материале, живущим по сю ее сторону; формирует, как говорят, *субъективный образ* объекта, сводит единство формы объекта и новой «материи» его бытия.

«Я-волевое» ставит цель; само порождение цели (целеобразование) — всецело в пространстве Я; оно совершается в экзистенции и завершается на границе Я и не-Я; но Я-волевое на этом как бы не останавливается, оно получает свое продолжение за границами экзистенции, воплощает себя вовне, в действиях и вещах, перенимающих форму цели (в этом случае говорят о воплощении устремлений, мы могли бы предложить слово «целевоплощение», в пару к «целеобразованию»). Целеобразование и целевоплощение образуют то, что принято считать *целеполаганием*, которое производится Я.

«Я-переживающее» коренится в бытии индивида, в живом потоке его бытия, но являет собой нечто большее, чем его жизнь, большее, чем его активность, большее, чем связь того и другого. Подобно демону Максвелла, «Я-переживающее» перехватывает «теплые молекулы» жизни, элементы «психофизического бытия» индивида, пропуская их в круг экзистенции, но в отличие от этого вышколенного мифического, лишь открывающего и закрывающего дверцы существа, оно не ограничивает себя функцией швейцара на входе и выходе. «Я-переживающее» расширяет территорию «Я», оно не только «открывает» себя опыту, но и «прикраивает» себе новый опыт, — переступает черту. Исследования показывают притягатель-

ность для «перешагивания» черты, ограничивающей возможный опыт⁷. Но такова только одна из сторон работы переживающего Я.

Другая сторона (или «функция») — переживание того, что однажды уже пережито: «переживание переживания». Основатель эст-тренинга Вернер Эрхард говорит о *пере-переживании*. Таким образом, перед нами сочетание двух функций переживания: *первичное* переживание, относящееся к бытию, до сих пор не включенному в круг экзистенции («человек вдруг почувствовал то, что ранее не было открыто ему в переживаниях»), и — *вторичное* переживание, соотносимое с тем, что уже пережито, например, страх страха, или радость, переживаемая как восторг.

Заметим, что «переживание» включает в себе важный смысл приобщения к целому, и соответственно — расширения, возвышения, углубления целого. Это значит, что переживание, в отличие от ощущения, не фрагментарно, не точечно. Оно обнимает, как бы прижимает к себе весь объем доступного ему бытия, смешивает свое тепло с его собственным, доводит бытие до состояния экзистенции. Возможна и другая метафора — с гедонистическим уклоном. Экзистенция как бы пытается «распробовать» бытие, ощутить его вкус, чтобы сказать, испытав: «Мне это пришлось по вкусу» («Это — мое»), или, едва попробовав, тут же и отвернуться («Это — совсем не мое!»). Добавим, что «проба» в любом случае не остается «непереживаемой» — в процессе опробования рождается новое переживание (например, «приятное-неприятное»). Я еще вернусь к этому пункту чуть позже (впрочем, даже не к «пункту», и не к «точке», а к многоточию).

Во всех рассмотренных выше случаях «Я» — *знак*, функционирующий в культуре. Подобно другим знакам, он может быть соотношен с объектами, либо существующими, либо не существующими за пределами его самого. В том случае, когда мы находим, что *означаемое* знака соответствует объекту, *предсуществующему* данному означаемому (т. е. имеет свой реальный прототип вовне), мы говорим о *гипостазе* знака, а процесс объективации означаемого называем *гипостазированием*. Обыденное сознание с легкостью необыкновенной наделяет знак «Я», его означаемое, коррелятом вовне, будто бы знак — лишь отражение того, что существует «и так» — наяву.

Однако, как я пытаюсь показать здесь, на пути к столь привычному замещению словесного знака «Я» его гипостазой (как если бы изначально, до этого знака, в мире существовало что-то способное воспринимать-действовать-переживать»), вырастают стражи логи-

ческого порядка, контролирующие возможность самого перехода из области фантазии в область реального. Они как бы расставляют для нас предупредительные знаки: «Дальше — нельзя! Дорога ведет в никуда... В бесконечность... Дурную!»

Именно так! Допуская на время, что «Я» как культурный знак, означаемое которого есть образ чего-то «до-знакового», реально сущего, присутствующего в физическом пространстве-времени, а именно знак индивида, способного воспринимать мир, действовать в нем, переживать свои взаимоотношения с миром, мы превращаемся в заложников дурной бесконечности — трех ее разновидностей, определяемых тремя ипостасями Я. Присмотримся:

- быть *познающим* существом — значило бы: «познавать, что познаешь, что познаешь, что познаешь... и т. д.»;
- быть *целеустремленным (волевым)* существом, значило бы не просто ставить и достигать свою цель, но еще и стремиться к этому, а также «стремиться к тому, чтобы стремиться стремиться... и т. д.»⁸;
- быть *переживающим (чувствующим)* существом, значило бы: «переживаешь, что переживаешь, что переживаешь... и т. д.».

Как видим, условием существования Я (в трех обозначенных его ипостасях), является нечто, чего нет как безусловно сущего. Верхние этажи небоскреба опираются на нижние, мы спускаемся ниже и ниже, фундамент отсутствует. Перед нами логическая дилемма: либо признать Я существующим наяву (реально сущее), однако не имеющим под собой прочной опоры (безусловно сущее), либо признать, что Я, если и существует, то в мире *условно-сущего*, т. е. там, где «живут» значения знаков, созданных воображением человека или, скорее, воображением всего человечества в целом. В последнем случае, в терминах семиотики Морриса — это знаки, не имеющие денотата. И уж тем более, добавлю, — знаки, не подразумевающие существование *ноумена* (общей основы реально существующих объектов, к которым отсылает знак).

В разрешении этой логической дилеммы, я — на стороне второй отмеченной возможности. Дурная бесконечность, регресс к бессосновности Я, есть свидетельство *несуществования Я* как реально сущего. Перед нами знак и не более, чем знак «Я». Если же его условное бытие в мире культуры принимается ошибочно за реальное бытие, то имеет смысл говорить о *мнимости Я* (ведь в этом случае мы попросту *мним* его существующим, а не мыслим).

⁷ Петровский В. А. Мотив границы: знаковая природа влечения // Мир психологии. 2008 № 3. С. 10–26.

⁸ В детстве мне говорили (да простит мне читатель «очень личные» воспоминания): «Надо сделать над собой усилие, каких бы усилий тебе это усилие не стоило...».

Тот факт, что перед нами именно знаки, а не реально существующие, точнее *предсуществующие* объекты, когда мы говорим о Я, подтверждается тем, что в культуре существуют некие обереги от призраков — специальные знаковые средства «преодоления» дурной бесконечности (обратим внимание на кавычки!). Например, в повседневной речи встречается словосочетание «и так далее, до бесконечности». Что это значит? Перед нами выраженное словами *означающее* недостижимого *означаемого*, символ незавершенности процесса. К *реальности* мы не можем приделать уходящий в бесконечное далеко символический «хвост». Слова «и так далее», которые сами являются знаками, мы можем присоединить к словесным *знакам* и только. Так обстоит дело и с другими знаками-номинациями бесконечности.

Примечательно, что означаемое приобретает здесь свой смысл *через* означающее (*имя*). Ну, в самом деле: что значит — «незавершенное»? Для нас это означает, что мы говорим о чем-то: «И так далее, до бесконечности». Само *говорение* (*произнесение этих слов*), а также, иногда, — смутные *образы-переживания, сопровождающие* произносимые слова, — *являют для нас* смысл бесконечности; ее не существует для нас каким-либо иным образом (есть только *знаковое* ее бытие). В формальных языках есть уловки-значки (уловители бесконечности), например:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

(латинской аббревиатуры «*lim*», знака переменной «*n*», стрелочки « \rightarrow », значка бесконечности « ∞ », расположения первого знака над тремя расположенными слева направо другими элементами символа, сочетание элементов «*x*» и чуть ниже «*n*», расположенных справа по центру). Человеку, знакомому с этими символами, вполне достаточно взглянуть на них, чтобы вызвать в сознании нечто, *переживаемое* как зыблущееся, теряющее отчетливость, разве что только «походящее» на бесконечность (зримый проход, или переход к бесконечности субъективно обрывается на третьем-пятом «ходу»). А «охват» бесконечности, за небольшим, нередуцируемым, остатком, сводится к только что нарисованной в центре страницы композиции из значков «*lim*», «*n*», « \rightarrow », « ∞ », « x_n »⁹.

⁹ Мне помнится, как музыкальный критик А. С. Агамиров, на вопрос ведущего радиопередачу, *что* он, «человек музыки», *видит* перед собой, слушая музыку (какие зрительные образы перед ними возникают, может быть, волны морские, может, что-то еще), коротко ответил: «Ноты». Так и многие образы, в том числе смутные образы бесконечности, перестают играть роль поддержки или подсказки к осмыслению слова; в конечном счете, математик видит перед собой запись «бесконечности», «бесконечно малых», «предела», т. е. видит «ноты» — правда, математические.

Психологически самым интересным и принципиально важным для всего дальнейшего является тот самый «нередуцируемый остаток», необъективируемый смысл бесконечности, живущий в переживаниях индивида. Может быть, размытость образа, тот факт, что он как бы на наших глазах тает, его все еще продолжающееся исчезновение переживается нами как «модель» бесконечности, «мини-вечность»? Или, может быть, «чувство порождающей активности», о которой пишет В. П. Зинченко¹⁰, дает нам переживание бесконечности, притом — бесконечности истинной, а не «дурной»? Ведь в чем различие между ними — на уровне переживаний? Если речь заходит об истинной, актуальной бесконечности, в философии именуемой *трансфинитностью*, то ее суть — в двойном отрицании: *отрицается само отрицание*, бытие нечто выступает как *отграниченное от ограничений*, — как неограниченное (безграничное, подлинно бесконечное) бытие. Чувство порождающей активности таково, что человек пребывает на старте процесса. Активность пока еще не ограничена ничем, — даже целью. Она (активность) ощущает себя, свое присутствие в плоти слова, ощущает и плоть его, — в альпинистской связке элементов «*и*» (союз, связь) — «*так*» (определенность, прочность) — «*даль*» (простор без границ) — «э-й-э»(эхо)...; она, как в лодочке, — во внутренней форме слова; она раскачивает эту лодочку, ощущая свою свободу, неограниченность в своих первых движениях, — не бесконечность вообще, а бесконечность *собственную*, т. е. бесконечность, как мог бы сказать Б. Спиноза, «в своем роде»; такая вот бесконечность наполнена тем, что пребывает по сю сторону отрицаемой границы.

Однако здесь мы выходим за очерченные (рефлексируемые культурой) пределы *слова* «Я», за границы значения этого знака, закрепленного в текстах культуры; теперь мы — на суверенной территории индивида, его психики: в первичном (бытийном) слое ее, т. е. там, где обитают *переживания* (первое определение психики, по С. Л. Рубинштейну), или — что тоже самое — там, где уже соткана психикой, но еще не скроена и не сшита портным на заказ, *чувственная ткань сознания* индивида (первая «образующая» сознания, по А. Н. Леонтьеву).

Только людям, по инерции верящим, что *все в психике* есть отражение того, что находится по ту сторону психики, «в окружающем мире», может представиться (надеюсь, только на миг!), будто переживания или чувственная ткань сознания суть означающие чего-то внешнего, объективно-сущего, т. е. *предсуществующего* означаемого (между тем, ни Рубинштейн, ни Леонтьев, конечно, не думали ничего подобного, хотя Рубинштейн писал о соотношенности переживаний с

¹⁰ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 103.

чем-то внешним, а Леонтьев выделял функции чувственной ткани в построении образа мира). Нелишне подчеркнуть противоположный тезис (даже если он покажется кому-нибудь очевидным): «переживание» есть чувственное сопровождение (но отнюдь не отражение) жизни, субъективно-психическая сторона проживания индивидом тех или иных жизненных ситуаций. Точно также и «чувственная ткань сознания» — субъективно-психическая сторона физических процессов, протекающих в организме, внутренняя ипостась «живого движения» индивида, биодинамики его тела, но ни в коей мере не отражение *физики* этих процессов. Вынесение вовне, объективация, гипостазирование переживаний, *как таковых*, «чувствований» (И. М. Сеченов), надделение их статусом самостоятельно сущего (а потом, возможно, и «отражаемого») — абсурд, проявление инерции мысли, воспитанной в духе известной моим коллегам с университетских времен ленинской теории отражения¹¹. Трансфинитность «Я» есть особое переживание, чувственная ткань порождающей активности. Я — не зеркальная комната, с неисчислимым количеством «зазеркалий», не родник, бьющий из бесконечных глубин, и не солнечный зайчик, который всегда поверх ловящей его руки. Все это — в своем исходном определении — фантом рефлексии, приписывающей Я статус реальности.

Но можно ли, положа руку на сердце, согласиться с подобной — уничижительной — оценкой онтологического статуса Я? Можно ли смириться с тем, что *логика* «Я» наотрез отказывается ратифицировать договор с феноменологией «Я» (*логика* настаивает, что Я — *мнимость*, феноменология свидетельствует: Я *есмы*)? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

¹¹ Я заострю эту мысль, предлагая некий перевертыш традиционной «теории отражения», что доминировала в течение многих десятков лет в умах подневольных философов и психологов советской закалки. Как вам такой ответ — вопрос на вопрос — о соотношении «внутреннего» и «внешнего», «психического» и «физического», «души» и «тела», «субъективного» и «объективного»?

ЗАЧЕМ — ДУША?

Душа, — не чья-нибудь, — моя
латает дыры бытия...
Смеетесь вы: «Ума палата!...»
Но даже если «Номер Шесть»,
когда в пространстве дыры есть,
душа — отменная заплатка.
А «сотня талеров» —
оплата:
что есть в кармане, что не есть.

Читатель, конечно, помнит кое-что из А. П. Чехова, а известный пассаж философа я все-таки напомним — уж больно хорош, особенно в наше время: «Сто действительных талеров не содержат в себе ни на йоту больше, чем сто возможных талеров» — писал И. Кант.

Присутствие Я в психике. Прообразы Я. Имея дело с феноменом чувственной презентации знака «Я», его запечатленностью в психике, мы будем говорить о *прообразах Я*, — источниках становления Я-действительного в противоположность Я-мнимому. Прообразы Я — сами по себе — не являются Я. В противном случае, как мы уже говорили, мы имели бы дело с дурной бесконечностью, — бесконечной отсрочкой ответа на вопрос о том, как мыслить безусловную основу Я (фундамент его бытия-наяву).

Но что представляют собой прообразы Я в психике? Попробуем назвать их, не детализируя каждый. На мой взгляд, это: переживания, присущие индивиду («чувственная ткань сознания»), представления («рисунки») в «материи» переживаний («рисунки, вытканые на чувственной ткани»), названия-имена («мне», «мною», «во мне», «для меня» и т. д.). Вся композиция в целом *никем не воспринимается, никем не переживается, не исходит ни из кого*; имя этой композиции — «я» (и это имя — также часть композиции, один из ее элементов — не более чем элемент!)

Приведу небольшой фрагмент текста (и сегодняшние добавления к нему) из интервью, которое я дал своему коллеге, профессору Андрею Юрьевичу Агафонову¹²:

Вы можете спросить меня так: а кто, все-таки, видит субъективные содержания-творения психики? И я Вам отвечу: «Никто».

Никто, понимаете... Картинная галерея пуста. В ней зрителей нет. Нет и художника. Автопортрет его, впрочем, присутствует — и это одна из картин в галерее. Автопортретов таких может быть много. На одном из них — он, рисующий себя (можно добавить — рисующий себя рисующим себя и т. д.). На другом — тот же художник, изображающий мир, окружающий его. Есть портреты других людей... Но никто никого не видит... Звучит голос, называющий имена, вещи... Например: «Я вижу эти картины», «Я знаю этих людей», «Я узнаю эти предметы». Но никакого «видения» этих картин в галерее нет, как нет и никакого «знания» или «узнавания» чего-то кем-то «внутри». Просто, на одной из картин — мольберт, кисточка, зеркало, и «видящий», «рисующий» себя, художник, да подпись еще: «Автопортрет». Безумцы, дети и некоторые собраты-философы могут поверить в то, что все это происходит в действительности: это — художник, он держит кисть, видит себя в зеркале, считает, что видит себя, подписывает картину и т. п.

Вы скажете: «Деперсонафикация?! Клиника утраты “Я”?»

¹² См.: Петровский В. А., Агафонов А. Ю. Научный диалог // Журнал прикладной психологии. М., 2004. № 4–5.

Нисколько! Скорее, демистификация. Остранение. «Деконструкция» привычных слов, привычных высказываний, типа: «Я вижу что-то», «Мне явлено нечто». Картинки, конечно, есть. Нет, не точно... Слово «картинка» предполагает «зрителя». Как, впрочем, и слово «образ» (образы, говорим мы, нам «даны»). Увы, мы не можем вырваться за пределы слов, искажающих суть. Примысливаем (приговариваем) «Я-созерцающее» автоматически, как если бы, говоря, «Сепир», тут же присовокупляли «Уорф». В действительности все содержание сознания и самосознания может быть сведено к ... Вот ведь, на мой взгляд, нет таких слов! Я хочу сказать, мы должны сойти с кода «вижу — не вижу», применительно к тому, что возникает в сознании, твердо придерживаясь просто «есть» или «нет». К примеру, высказывание: «Я видел сон» означает: «был сон», «был кто-то», о ком говорят «Я» (присутствует автопортрет субъекта) и — цепочка звуков: «Я видел сон», привычное значение которых — фикция, которая, впрочем, может быть еще «зарисована» в сознании в виде объекта, символизирующего сон, в виде обычного символа, которым изображают глаз, в виде стрелочки, символизирующей «видит». Ничего, кроме этого, в высказывании «я видел сон» — нет¹³.

Добавлю, что и «вера в себя», в свое Я как «субстанционального деятеля», есть *переживание* индивида; как таковое, непосредственно, оно не имеет статуса «двигателя» или «восприемника» материальных процессов¹⁴. В действительности, никаких демонов или гомункулусов не существует. «Население» психики такими фантастическими существами («осуществляющими выбор и принимающими решение») со-

¹³ В контексте сказанного хочу процитировать Б. Пастернака: «Больной следит. Шесть дней подряд / Смерчи беснуются без устали. / По кровле катятся, бодрят, / Бушуют, падают в бесчувствии. / Средь вьюг проходит Рождество. / Он видит сон: пришли и подняли. / Он вскакивает: “Не его ль?” / (Был зов. Был звон. Не новогодний ли?) / Вдали, в Кремле гудит Иван, / Плывет, ныряет, зарывается. / Он спит. Пурга, как океан / В величье, — тихой называется». Функция субъекта смещена к объекту. Больной не «видит». Больной — «следит». Перед его глазами происходит что-то, к чему он сам не имеет касательства, все происходит без всякого участия со стороны свидетеля. И только потом он — вдруг «вскакивает...», что подчеркивает, по контрасту, его безличное присутствие в том, что происходило с ним раньше.

¹⁴ Критику онтологических допущений Н. О. Лосского дает Г. Г. Шпет. Он критически оценивает идею, согласно которой «всякое человеческое я есть субстанциональный деятель, осуществляющий материальные процессы отталкивания и направляющий, по крайней мере, некоторые из них, соответственно своим желаниям» Цит. по: Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Шедрина Т. Г. Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010. С. 151. В данной статье я не рассматриваю логических аргументов против гипостазирования «субстанционального деятеля»: идею взаимодействия природных (физическая энергия) и «иноприродных» (В. И. Слободчиков) афизических (А. И. Миракян) «сил» и др.

держит в себе «опасность неадекватного опредмечивания» — об этом пишет в своей книге «Сознание и творческий акт» В. П. Зинченко¹⁵.

Но не упраздняется ли при таком подходе столь дорогая мне идея субъектности человека? Нет! Наоборот, мне думается, — она только выигрывает при этом. Я думаю, мы ни на шаг не продвинемся вперед в постижении активности, если позволим себе утвердиться в мысли о том, что «субъект», «субъектность», «Я» суть эпифеномены, призраки сил, регулирующих поведение и сознание. В действительности, схема субъекта («причина себя»), прообразы Я и т. п. — как культурные знаки активного индивида — образуют узоры ментальности, конфигурируют своим присутствием феноменальное поле, соучаствуют в гештальтах, направляющих поведение. Присмотримся¹⁶.

Присутствие Я в жизнедеятельности индивида. Г. В. Ф. Гегель говорил, что идея свободы сделала людей свободными. Точно также и схема Я (прообраз Я, присутствующий в психике), приобретая статус *идеи*, превращает индивидов в *субъектов* своих деяний; она сопровождается рядом глубинных переживаний: мы чувствуем, что есть какой-то источник, какой-то родник наших чувств и мыслей. Прообразы Я как таковые не являются (подчеркну эту мысль повторно), каким-либо непосредственным «источником» или «родником» активности. Думать так — ошибочно. Но они, *приобретают* это особое качество *действительного* (а не мнимого) Я, когда *опосредуют* органически присущую индивиду активность (целевые и нецелевые тенденции, импульсы, реактивные силы, ансамбли процессов, протекающих в теле и т. д. и т. п.). Подлинное Я есть результат синтеза, сплава активности (энергии действия — иногда до действия, потока сознания — никогда полностью не осознаваемого) природного (бессубъектного) происхождения и схемы Я (прообраза Я, произведенного, в конечном счете, культурой). О таком действительном, подлинном Я мы говорим «субъект», различая в нем *форму* (схема Я, = прообраз Я) и динамический *материал* (активность, энергия).

Метафорически, активность индивида в процессах такого опосредования можно уподобить световому лучу, проходящему сквозь отверстие в перфокарте, конфигурация просветов которой аналогична узору прообраза Я (напомню, что сделанная из тонкого картона перфокарта, применявшаяся в компьютерах первого поколения, представляет информацию наличием или отсутствием от-

¹⁵ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 38.

¹⁶ См. также: Петровский В. А. Смысловые миры личности, или «Во что верит мысль?» // Психология субъекта и психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Знакова, З. И. Рябикиной, Е. А. Сергиенко. Краснодар, 2010 (в печати).

верстий в определенных позициях карты). Сказанное означает, что прообразы *Я* конфигурируют проходящий сквозь них поток активности, и в этом случае прообраз *Я* превращается в *Я как таковое*, становится действительным *субъектом* происходящего («субъект», в нашей трактовке, есть *causa sui* — *причина себя*)¹⁷.

Мы оставляем без обсуждения, могут ли конфигурации психики *порождать* динамические тенденции в психическом слое бытия («установки» Д. Н. Узнадзе, «инстинктивные влечения» З. Фрейда «локализованы» именно в этом слое), например, присутствует ли здесь что-то наподобие гештальт-тенденций или «формообразующей тяги» (О. Мандельштам), которую отмечает в своей книге В. П. Зинченко¹⁸. Мы подчеркиваем пока — иное: психические

¹⁷ См.: Петровский В. А. Феномен субъектности в психологии личности: Дисс. ... доктора психол. наук. М., 1992. Эта аналогия задает ракурс постановки проблемы *конфигурирования* активности со стороны психических структур, несущих в себе прообразы *Я*. Этот вопрос, в свою очередь, существенно расширяет предмет нашего анализа: мы вступаем здесь на территорию дискуссий о природе психики, способах решения (как, впрочем, и уходах от решения) знаменитой психофизической проблемы (не путать с психофизиологической и психогностической — в терминах М. Г. Ярошевского). Я не буду здесь углубляться в эту дискуссию. Ограничусь только *определением* психики как *третьей* реальности, занимающей положение *между* субъективным и объективным. В нашей совместной с М. Г. Ярошевским статье приводится следующее определение психики: «По В. А. Петровскому, система неотторжимых от живого существа процессов и состояний взаимоперехода объективных и субъективных атрибутов его бытия». Ярошевский М. Г., Петровский В. А. Психика / Общая психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь. В 6 т. / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровского. М., 2005. С. 25. В своих публикациях, посвященных понятию «психика», я ссылаюсь на работы М. В. Басова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе и др., в том числе и на свои собственные, но рассуждал в стороне от разработок Г. Г. Шпета, с которыми познакомился позже благодаря книгам В. П. Зинченко и в контексте его собственных размышлений. Может быть, читателей заинтересует один из возможных ответов о природе психического и некоторые подходы к решению психофизической проблемы, предложенные в статье: Петровский В. А. Психология: «непредметность предмета» // Труды ярославского методологического семинара «Предмет психологии». Ярославль, 2004. В этой статье речь идет о дифференциации «физического» и «психического» по критерию транспонируемости—нетранспонируемости объектов, принадлежащих этим мирам (идея совпадения локуса порождения качеств и локуса существования их применительно к психическому — ни переместить, ни подсмотреть психические содержания «со стороны» нельзя; гипотеза о суперпозиции физических волн, не порождающей новых волн). В настоящей статье я еще раз озвучиваю важную для рассмотрения психофизической проблемы идею, что субъективно-психическое изначально *не воспринимается никем* («воспринимающее Я» изначально есть такое же образование психики, как и «объект восприятия», или (и) «процесс восприятия субъектом объекта»).

¹⁸ «Поэму насквозь пронзает безостановочная, формообразующая тяга» (О. Мандельштам). Цит. по: Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 105.

формы, опосредующие проявления бессубъектной активности индивида, способны превращаться в *формообразующее начало*, они могут приобретать особую *функцию*: конфигурировать «живое движение», поток жизни, поток сознания.

Мысленно мы могли бы проследить траекторию активности *от* индивида *к* объекту *сквозь* культурные знаки «Я» (и знаки окружения), а после — ответные послания мира, «вызовы», порождающие новый виток активности. Заметим при этом, что активность, реализуемая индивидом, «проходя» сквозь знаки, опосредуется ими, приобретая новые формы, но и сама трансформирует знаки, вносит динамику в символическую картину мира и себя в мире, реорганизует знаковую среду, проницаемую ею. Быть может, именно эта, вторичная, *знаковая динамика* ощущается «формообразующая тяга», о которой писал Мандельштам?

В связи с постановкой этого вопроса, отметим, что знаковая картина мира — это не только посредник в ряду «активность — знак — мир», но и следствие самой себя как возвращающейся к себе причины, которая заново конфигурирует активность индивида. Гегель говорил в таком случае — свободная причина (причина себя). И в этом смысле прообразы *Я* выступают в роли *causa sui* — детерминирующих свое собственное бытие знаков. Возможно, под этим углом зрения может быть осмыслена приводимая в цитируемой книге В. П. Зинченко «антигипотеза Сепира-Уорфа», высказанная М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорским. «Мне важно подчеркнуть, — пишет В. П. Зинченко, — что, вводя даже не понятие, а символ “сферы сознания”, они размышляют о ней как о безличной и бессубъектной. Но этого мало. Они, как бы продолжая ход мысли Шпета, делают еще один важный шаг, который они назвали “антигипотезой” Сепира-Уорфа: не язык является материалом, на котором можно интерпретировать сознание, не он является средством для какого-то конструирования сознания. Напротив, определенные структуры языка выполняются, или, вернее, могут быть выполнены, *в материи сознания*»¹⁹. Частичка «ся» в слове «выполняются», мне кажется, и заключает в себе этот смысл самоопосредования («самоотнесенности» в терминах психологии сознания Г. Ханта²⁰) знака *Я* в психике (схема самоопосредования: внутренняя активность индивида → динамика и посредничество со стороны прообраза *Я* → поведение → «ответы мира» → активность индивида → динамика и посредничество со стороны обновленного прообраза *Я*

¹⁹ Зинченко В. П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 28.

²⁰ См.: Хант Г. О природе сознания. М., 2004.

→ поведение →... и т. д.). В этих переходах «выполняет себя» идея *Я*, существующая в языке.

Перечислим теперь последствия событийных «встреч» названных элементов: «бессубъектной» активности индивида, прообразов его *Я*, поведения, конфигурированного ими, и — порождаемых «ответами» извне новыми его акциями и реакциями. В этом (и только в этом) случае нам приоткрываются *субъектные* способы существования *Я*, а именно:

- истинный субъект *познания*, строящий образ мира (*Я-созерцающее, Я-мыслящее, Я-получающее, Я-обладающее*);
- истинный субъект *воли* (*Я-целеполагающее, Я-достигающее, Я-влияющее, Я-дарящее*);
- истинный субъект *переживания* бытия, производящий чувство целостности и продолженности существования индивида в мире (*Я-претерпевающее, Я-событийное, Я-трансцендирующее*).

Говоря о субъектности *Я*, понимаем, что предложенный список — лишь конспект, мы бы сказали, — опережающий конспект — результатов предстоящих исследований в области логики и феноменологии «*Я*».

Особый предмет персонологического исследования — изучение того, как представление о «*Я*» (и в частности, о его существовании или несуществовании в статусе субъекта) способно участвовать в процессах индивидуальной жизни, увеличивая, сужая, или, возможно, не изменяя число степеней свободы, «размерность» бытия человека в мире.

Подытожу:

1. Подлежат различению: *слово* «*Я*», существующее в культуре («*Я*» как культурный знак); *Я-прообразы* в психике — чувственные оттиски «*Я*» как культурного знака; *идея Я* в жизнедеятельности индивида.

2. Абсурдны попытки гипостазировать существующее понимание «*Я*» как производящей основы восприятия, действия, переживания (в этом случае получаем три варианта дурной бесконечности). Иными словами, никакого гносеологического (познающего), волевого (действующего), экзистенциального (переживающего) субъекта как *непосредственной* основы активности индивида — нет. Все это — фикции, миражи, мнимости. Однако, как мы убеждаемся далее, они способны, будучи *комментированными рисунками* «*Я*» (визуальными знаками, вытесненными в психике), опосредовать живой поток активности индивида, и в этом смысле обнаруживать свою соучастность бытию.

3. Культурные знаки «*Я*», чувственно запечатленные в психике, будучи прообразами *Я*, сами по себе еще не являются *Я*. Но индивид, активность которого опосредствуется прообразами *Я* — «узoram», «композициям», «рисункам», «чертежам», «иконками» в чувственном материале психического, а также — текстами, описывающими взаимоотношения между ними, — заявляет о себе в качестве реального *Я* (здесь «*мнимое Я*» превращается в «*Я-подлинное*», «*Я-действительное*»); на месте призрачного, миражного, статичного «*Я*», которое, на поверку, есть всего-то прообраз *Я*, появляется **живой знак Я**, обладающий длительностью, осмысленностью, самоценностью («для себя бытием»); рождаются истинные: *субъект познания, субъект воли, субъект переживаний*.

4. Культурный знак *Я*, приобретает черты самодействующей (самостроящейся, самоподтверждающейся) *идеи*. Овладевая поведением, *идея Я* становится (как тут не вспомнить слова еще не забытого философа?) «материальной силой».

В. М. Аллаhverдов

**Субъективные заметки
при чтении книги В. П. Зинченко
«Сознание и творческий акт»
(к юбилею Мастера)**

Самое трудное в статье, написанной в честь юбилея мастера, определить жанр. Раз Юбилей — надо, вроде бы, рассыпаться в славословии. Но какой смысл? Все и так знают, что В. П. Зинченко — гордость отечественной психологии, последний из могикан великой школы, соединившей Харьков и Москву, тонкий исследователь, блестящий вольнодумец и острослов, да еще, к тому же, первый (и по времени, и по значению) когнитивный психолог России, в последние годы, как и положено отцам-основателям, выступающий ярким ее критиком. Тогда о чем писать? Самое разумное — поделиться воспоминаниями о встречах с мэтром. Но их-то у меня почти и не было.

Был восторг от встреч с книгами. И самое первое сильное впечатление от глав, написанных Владимиром Петровичем в книге «Восприятие и действие». Я тогда спрашивал своих однокурсников в Ленинграде: кто такой Зинченко? И получил ответ: так это же брат Татьяны Зинченко, преподающей у нас экспериментальную психологию. Татьяна Петровна была для меня очень значимым и светлым человеком. Много лет спустя я признался ей, какое огромное влияние на меня оказали ее лекции. Она удивилась: ну, что вы, я тогда только начинала. А при упоминании о брате гордо улыбалась. Однажды в середине 1980-х зашел в ее лабораторию — там был Владимир Петрович. Она меня представила, но я просто окаменел от неожиданности и ничего более не помню. Надеюсь, я был настолько косноязычен, что Владимир Петрович не обратил на меня, окаменевшего, никакого внимания и забыл об этой встрече.

Впрочем, до этого я уже слушал его выступления. В Ленинграде перед студентами, на различных съездах и конференциях. И всегда поражался манере изложения и безудержному остроумию. То, что мы едем не туда, — говорил он о психологии, — всем известно. Наша задача, как говорят в Одессе, — сесть хотя бы туда лицом. (Позднее в своих статьях выражался еще жестче: мы ищем не там, где потеряли, а там, где светлее.) А вот замечательное высказывание о советских учебниках по истории психологии: история в них выглядит как поле брани, на котором лежат тела наших умственно отсталых предшественников. Впрочем, повторить все его шутки и афоризмы невозможно.

В 2006 году в Санкт-Петербурге проходила II конференция по когнитивной науке. Я предложил организаторам посвятить один из симпозиумов памяти Т. П. Зинченко. И стал вместе с Владимиром Петровичем сопредседателем этого симпозиума. В подготовке и проведении симпозиума столкнулся с новым для меня Зинченко — не просто мудрым, хотя иногда и ершистым остроумцем, а добрым, мягким, деликатным человеком. В Самаре на банкете по окончании конференции по психологии сознания В. П. Зинченко предложил тост за моих учеников (за «аллахвердята», как он выразился) — я был очень тронут. Потом мы несколько раз пересекались в Москве. Вот, собственно, и все. Об этом статью не напишешь.

Некоторые авторы статей в юбилейных сборниках, отделившись уважительным абзацем, просто рассказывают о своих исследованиях. И иногда неплохо получается. Но вот беда: хоть и в моих текстах, и в текстах В.П. Зинченко постоянно встречается слово «сознание», понимаем мы под ним разное. И исходим из разных оснований. Как быть? Наконец, пришла идея: возьмем я написанное мэтром и сопоставлю со своими построениями. Пусть я заведомо субъективен, пусть не все понимаю. Но если соединить в диалоге разные подходы — вдруг получится? Конечно, творчество Владимира Петровича настолько разнообразно и масштабно, что попытка рассмотреть все им сказанное в короткой статье немыслима.

Я решил выбрать всего одну книгу. Вначале подумал — книгу о посохе Мандельштама. Все ж-таки Мандельштам и для меня много значит. (Не случайно я как Президент студенческого клуба в 1972 году провел в лучшей аудитории факультета психологии ЛГУ первый в СССР вечер его памяти.) И тут вдруг встречаю молодую сотрудницу с новой и еще не известной мне работой маэстро — «Сознание и творческий акт». Вот та самая книга, решил я, еще даже не заглянув в нее саму, даже не зная еще, чем все в ней закончит-

ся. Ибо, уверен, самое дорогое для автора — то, что создано им в самое последнее время. Именно о нем ему бы, прежде всего, хотелось услышать. И, нагло вырвав книгу из рук сотрудницы, начал читать... Остается надеяться, что юбиляру будет приятно внимание к его тексту, даже если я как читатель увидел в нем не совсем то, что было написано.

* * *

«Сознание — это серьезно», — начинает Зинченко (с. 12)¹. Меня поразила будничность и потому точность этого высказывания. Для меня оно звучит как призыв не говорить о сознании выпендренно как о бесценном даре, данном человеку, о великой роли этого дара и т.п., а просто серьезно поразмышлять о сознании. Впрочем, должен сразу признаться, что я не всегда уверен, что правильно понимаю сказанное В.П. Зинченко. Философический стиль письма, столь характерный ныне для его работ, труден для меня. Пассажи из М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского, книгу которых автор постоянно цитирует, просто ставят меня в тупик (как, впрочем, и сама их книга). Меня, разве лишь, оправдывает указание В. П. Зинченко, что предложенная ими метатеория сознания *трудна и для его понимания* (с. 28). Я знаю, что цитаты из М. К. Мамардашвили, конечно же, выражают глубокую мысль. Но, к сожалению, эта мысль зачастую оказывается для меня недоступной. Правда, и сам Зинченко замечает: «*Не уверен, что я правильно толкую М. К.*» (с. 209). И добавляет: *Его «можно не столько понять, сколько почувствовать»* (с. 199). И даже цитирует М. К.: «*Понятность — это вовсе не обязательное требование к статье»* (с. 222). Я не был знаком с Мамардашвили, никогда его не видел и не слышал. Только с почтением стоял рядом с поставленным ему в Тбилиси памятником, ибо многие уважаемые мной люди — не только В.П. Зинченко — чрезвычайно высоко его ценили. Я не уверен в своем толковании текстов Владимира Петровича хотя бы потому, что не всегда способен уловить в высказываниях грузинского философа нечто явно важное для В. П. Зинченко. Уже поэтому очевидно, что мне не удастся величественное полотно, созданное Зинченко, изложить на своем языке. Все, что могу, так это попытаться найти параллели к моим высказываниям в тексте мэтра.

Для Зинченко «*задача состоит <...> в работе над теоретическим миром психологии»* (с. 59). «*Психология должна же когда-нибудь*

¹ Здесь и далее все цитаты из книги В.П. Зинченко «Сознание и творческий акт» (М., 2010) набраны курсивом.

стать наукой о субъективном мире человека, а не только изучать, как человек ориентируется во внешнем мире» (с. 239). «*Поскольку предметная область, называемая сознанием, далеко не всегда дается непосредственно, ее нужно принять как заданную, сконструировать»* (с. 235). А при создании концептуальной схемы сознания «*важно лишь одно — сохранение духовной вертикали»* (с. 180). Безусловно, готов со всем этим согласиться, однако с важным дополнением: мне кажется, надо еще построить логику возникновения самой духовной вертикали.

Для меня исходной точкой выступает познание. Когнитивный подход, пусть не всегда последовательно, рассматривает человека как познающую систему, а психику и сознание как необходимые инструменты познавательной деятельности. Я уверен: ответы на все вопросы о природе сознания следует искать в логике познания. В качестве идеального объекта, лежащего в основаниях теории, я предложил рассматривать человека как идеальную познающую систему, утверждая, что в теории все процессы приема, хранения и переработки информации осуществляются идеальным мозгом без каких-либо ограничений на объем или скорость, равно как им автоматически выявляются все возможные закономерности в поступающей информации. В реальности это, конечно, не так. Однако идеализация делается для того, чтобы отбросить из рассмотрения несущественные детали. Тем самым предполагается, что логика познавательной деятельности сама по себе накладывает ограничения на информационные преобразования в психике и сознании и что эти ограничения настолько мощнее физических или физиологических, что последними можно пренебречь. Поэтому же физиологические аргументы нельзя использовать для объяснения психических явлений. Физиологические процессы обеспечивают психическую деятельность, но не объясняют ее. И феномен самоочевидности, и ограничения на возможности сознания по переработке информации, и порождение значений, и социальное взаимодействие, и эмоциональные переживания, и духовные ценности, и безумие — все это, в соответствии с введенным постулатом, определено логикой познания.

Хотя В. П. Зинченко не вводит подобной идеализации и, по видимому, не согласится со столь радикальной трактовкой когнитивного подхода (ср.: *гносеологизм недооценивает момент оплотненности сознания в бытии — с. 81*). Но, по сути, мог бы согласиться с моими выводами. Он пишет: *Размерность работы когнитивных механизмов «космически превышает» размерность*

акта сознательной координации «или по своим микроскопическим характеристикам остается ниже порога ее различений» (с. 45). И цитирует Б. Спинозу: «То, на что способно человеческое тело, никто еще не определил» (с. 189). В исследованиях нашей группы мы продемонстрировали: человек способен воспринимать и реагировать на различие сигналов в зоне сенсорного неразличения; считывать, не осознавая этого, текст, зашифрованный в автостереограммах; способен опознавать второе значение двойственного изображения, которое ему никак не удастся увидеть; почти мгновенно перемножать трехзначные числа или переводить даты в дни недели, искренне уверяя, что совершенно не умеет этого делать; сразу расшифровывать предьявленные анаграммы, не только не осознавая результат, но даже не замечая, что перед ним анаграммы, и т. д.

В. П. Зинченко мог бы согласиться и с предлагаемым мною взглядом на роль физиологических процессов. Он говорит о том, что *попытки локализовать сознание в структурных образованиях материальной природы бесперспективны, а поиск нейронов сознания анекдотичен* (с. 34). *Функционирование духовного организма обеспечивается телесными механизмами, в том числе механизмами нервной системы и мозга* (с. 108). И совсем изящно: «*Мозг человека — великая тайна. Не менее великой является тайна сознания. И подмена одной тайны другой в равной степени мешает тому, чтобы прикоснуться к ним обеим*» (с. 74). Сознание, — говорю я, — это теоретический конструкт. Все теоретические конструкты описывают ненаблюдаемое. Сознание порождает осознание (Зинченко, однако, различает сознание и *орган осознания* — см. с. 241), но сам процесс порождения наших мыслей и чувств хотя и происходит в сфере сознания (или, по Вундту, в глубинах разума, или, по Дьюи, — его цитирует Зинченко: из темных источников, неизведанными путями — см. с. 374), тем не менее, нами не осознается. Мне кажется, что и Зинченко так полагает, заявляя, что *сознание не сводится к «эмпирическим и доступным самонаблюдению феноменам»* (с. 33). Да, я тоже думаю, что работа сознания не осознается. Тем не менее она подчиняется логике (для меня: логике познания). Зинченко пишет: *Сознание само по себе не является вполне прозрачным, и в нем действуют неявные, скрытые зависимости, не контролируемые путями самого же сознания. Это, однако, не означает, что такие зависимости обязательно иррациональны* (с. 92).

Но зачем идеальному мозгу нужны психика и сознание? Ведь он и так вроде бы все может. Рассмотрим проблему, которую

У. Джеймс называл самой неразрешимой из философских головоломок: как представления сознания можно сопоставить с реальностью? Ведь в сознании непосредственно реальности нет, там есть только представления о реальности. Еще Дж. Локк спрашивал: «Как же ум, если он воспринимает лишь свои собственные идеи, узнает об их соответствии самим вещам?»² Для психологии это далеко не праздный вопрос. Как человек может сравнить свое представление о себе с самим собой? Ведь он не знает, кто такой он сам, он знает только свои представления о себе. Непонятно даже, как он догадывается, что после долгих попыток правильно вспомнил очередную «лошадиную фамилию»? Если он заведомо знает эту фамилию, то почему долго вспоминает, а если не знает, то, как он удостоверяет, что правильно вспомнил?

На мой взгляд, наиболее плодотворной выглядит идея решения, восходящая к И. Канту и развитая постпозитивистами: мир сложен и вероятность его точного отражения очень мала, зато вариантов ошибочного отражения — сколько угодно. Если построить несколько полностью независимых друг от друга моделей мира, отражающих реальный мир хотя бы частично, то вероятность совпадения этих моделей, если они полностью ошибочны, будет весьма невысока, учитывая множество имеющихся вариантов. Значит, с высокой степенью надежности можно ожидать: если пересечение построенных принципиально разными, не связанными друг от друга способами моделей не пусто, то это пересечение скорее всего правильно отражает мир. Итак, должны существовать принципиально разные, не связанные между собой пути познания реальности. Каждый такой путь должен опираться на свою специфическую информацию, свой способ генерации гипотез, свою собственную проверку этих гипотез и т. д. Два варианта путей познания были выделены уже в XVII веке: рационализм (или дедуктивизм) и эмпиризм (индуктивизм). Поэтому же современная методология науки вводит как обязательное требование независимой проверяемости научных построений. Если представления, построенные эмпирическим путем, совпадут с представлениями, построенными независимо логическим путем, то есть шанс, что это совпадение не случайно и отражает закономерности реального мира. Можно предположить, что организация независимой проверки — это структурообразующий принцип идеального мозга, реализация которого, в конце концов, и порождает психическую деятельность.

² Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения. В 3 т. Т. 2. М., 1985. С. 41.

Разные пути познания как бы образуют между собой *диалог* (любимое слово и М. М. Бахтина, и В. П. Зинченко). Может быть, нечто подобное имеет в виду и Зинченко: «*Событие сознания* (я бы сказал: результат познания — В. А.) *может совершиться лишь при двух участниках, что предполагает два не совпадающих сознания* <я бы сказал: две схемы познания — В. А.>, *пусть даже совмещенных в одном лице*» (с. 77).

В основаниях познавательного процесса должны существовать, как минимум, две независимых схемы познания, получающих разную информацию и принципиально по-разному ее обрабатывающих. Назовем одну схему индуктивной, а вторую — дедуктивной. Индуктивная схема получает информацию, выделяет в ней регулярности, строит и проверяет гипотезы о том, какую информацию следует ожидать в будущем. Условно эту схему можно назвать схемой сенсорного познания. Вторая схема — условно назовем ее моторной — конструирует по некоторым правилам набор действий и проверяет, насколько эти действия реально осуществимы. Однако работа этих схем не осознается. Теперь читаем Зинченко: *Биодинамическая ткань соотносительна чувственной ткани* (с. 432). «*Никакая рефлексия не может “замечать” чувственную ткань в образе, биодинамическую ткань в живом движении*» (с. 39). «*Чувственная ткань, как и биодинамическая ткань движения, представляют собой “строительный материал” образов и действий, но этот материал может пойти в дело, а может остаться неиспользованным, неопределенным, некатегоризованным*» (с. 35).

Далее, однако, необходимо сличить результаты индуктивного и дедуктивного познания. Это сложный процесс, поскольку исходные схемы используют разные языки. Можно предположить, например, что сенсомоторная схема соединяет успешные сенсорные и моторные результаты по смежности во времени и проверяет в действии существование этой гипотетической связи. Более высокий уровень познания, как правило, имеет приоритет в проверке своих гипотез. (Это утверждение согласуется с положением И. М. Сеченова: верхнее регуляторное образование является регулятором нижних регуляторных систем организма.) Если, например, моторная схема предполагает совершить некоторое действие для проверки своих гипотез, а сенсомоторная схема предполагает совершить другое действие, то приоритет, как правило, будет отдан сенсомоторному. Главная задача сенсомоторной схемы — сообщать исходным сенсорной и моторной схемам о совпадении-несовпадении принятых ими гипотез. Может быть, нечто подобное имел в виду Н. А. Бернштейн, когда говорил о «перекрестной вы-

верке показаний сенсорных синтезов»³. В этом суть независимой проверки. Однако прямой обмен информацией между разными схемами познания невозможен, иначе теряется их независимость друг от друга. Поэтому же никакие количественные оценки (например, о величине расхождения) сообщаться не могут. Единственное, что возможно, давать качественный сигнал — все идет хорошо или не очень. (Для меня в этом и заключается *единство аффекта и интеллекта*, о котором вслед за Выготским часто говорит Зинченко). Этот сигнал одновременно пронизывает все структуры познания и выступает в качестве непосредственно данного организму критерия эффективности его познавательной деятельности.

Весь описанный процесс полностью определяется физиологическими механизмами, осуществляется автоматически и никакого представления о психике и сознании не требует. По сути, сенсомоторный уровень познания очень напоминает представления физиологов и бихевиористов, но ни тем, ни другим сознание не нужно. Этот уровень познания можно было бы назвать эмпирическим. Он достаточен для жизнедеятельности, но не способен выйти за пределы непосредственного опыта.

А вот как пишет В. П. Зинченко: «*Часть сознания, приравненную действительному положению вещей, можно назвать “сознанием до сознания”*» (с. 35). «*Существуют явления и связи, действующие в самом сознании, но не явные по отношению к нему и им не контролируемые (вообще бессубъектные)*» (с. 46). Далее он пишет о необходимости выхода за пределы опыта: «*Отправляясь от Сознания <...> мы только и можем наблюдать действительно высшие психические функции, то есть самосущие проявления жизни (или, как говорили раньше, “Невидимого”, “Высшего”), не конструируемые последовательности в некотором непрерывно прослеживаемом действии*» (с. 48).

Теоретический уровень познания предполагает конструирование ненаблюдаемых причин наблюдаемой реальности. Так, опираясь на созданный сенсомоторный алфавит, строится образ мира. Полученные результаты, разумеется, не должны противоречить эмпирическим данным сенсомоторного уровня, но этого мало, ибо сам сенсомоторный алфавит извлечен из опыта — представления о мире должны еще независимо проверяться. Но с чем их можно сопоставить? С представлениями о мире, созданными другими людьми. Новация этого в том, что именно познавательная деятельность

³ Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966. С. 228.

объявляется причиной социального взаимодействия, а не ее следствием.

Итак, чтобы проверить свои представления о мире, человек должен сравнивать их с представлениями других людей. Предположим, что человек не имеет языка как средства общения. Ему следует совершать какие-то действия, предполагать в ответ на них определенное изменение поведения партнера и проверять, соответствует ли реальное поведение предполагаемому. Если партнер — в ответ на действия субъекта — ведет себя в строгом соответствии с физическими законами (его толкнули, он падает и т. д.), то такое поведение позволяет проверять лишь гипотезы о физических законах. Оно мало что говорит о самом важном — о внутреннем мире человека. Поэтому гораздо более информативной была бы ситуация, когда действия субъекта вызывали бы встречные действия партнера, лишённые какого-либо иного содержания, кроме того, что они являются реакцией *ответа*. Но это значит, что субъект, проверяя свои гипотезы, совершает такие действия, которые не должны влиять на другого человека, не должны вызывать у него реакции, но тем не менее эти действия побуждают к ответным действиям. Б. Ф. Поршнев называл такие действия неадекватными. Все дело в том, что партнер — не только объект, но и субъект познания. Он тоже строит и проверяет гипотезы о внутреннем мире другого человека. И ему тоже удобно выбирать такие проверочные действия, которые заведомо не имеют ни физического, ни физиологического смысла. При этом оба найдут причину странных действий партнера в самом себе и в своих действиях, поскольку никакого иного естественного смысла у наблюдаемых ими действий партнера нет. Эта гипотеза о причине, разумеется, ошибочна, но вся тонкость в том, что после своего возникновения она перестает быть ошибочной. Ведь оба проверяющих друг друга субъекта формируют одинаковую гипотезу о взаимозависимости своих действий. Оба партнера заинтересованы в подтверждении собственных гипотез, а потому оба склонны повторять совместные действия. Эти действия — подлинно взаимозависимые действия, потому что никакого иного содержания, кроме взаимозависимости, у них нет.

Не о подобном ли пути создания новых структур пишет В. П. Зинченко? Вот его слова: «*В своем существовании и развитии это новообразование <функциональный орган> оказывается вполне самостоятельным, утрачивает черты сходства с породившим его источником. <...> Новая форма, возникнув как артефакт, становится вполне автономным “натуральным” фактом, способным породить*

новый артефакт» (с. 169–170). Действительно, постепенное развитие взаимозависимых действий (назовем их вслед за Зинченко артефактами) уже начинает порождать социальные явления (другие артефакты — ритуалы, социальные нормы, язык, совместный труд и т. п.) и, в конечном счете, человеческую историю. Здесь мне кажутся уместными приводимые В. П. Зинченко цитаты. Из Г. Г. Шпета: «*Игра и жизнь сознания — слово на слово, диалог*» (с. 278, 433). Из М. М. Бахтина: «*Одинокое сознание — иллюзия или ложь и узурпация*» (с. 63).

Высказывание Зинченко о том, что «благодаря языку мы расширяем число степеней свободы для познания и действия» (с. 301), и это позволяет нам строить новую схему теоретического познания. (Зинченко: «*Логика развития человеческого языка состоит в освобождении слова от вещи*» — с. 431). Эту схему можно было бы назвать схемой языкового сознания, или просто сознания. Содержанием этого сознания являются смыслы и значения, причем как осознаваемые, так и неосознаваемые. (Зинченко: «*Сознание опутывает и пронизывает нас сверху донизу своими смыслами*» — с. 234 и цитирует М. Мерло-Понти: «*Мы приговорены к смыслу*» (с. 307). Здесь только скажу, что, с моей точки зрения, смысл всегда задается через оппозицию к чему-либо, определяется системой возможных в данной ситуации, но отвергнутых и потому актуально не осознаваемых значений. Такой взгляд отчасти подтверждается в экспериментах. Я не нашел аналога этой идеи в тексте Зинченко, но его высказывания не противоречат сказанному мной. Он пишет: «*Смысл трудно вербализуем* (с. 255); «*Задача непосредственного восприятия, ощущения, чувства смысла вовсе неразрешима*» (с. 301). Разумеется, мы ведь обычно не осознаем все отвергнутые значения. «В реальности всегда имеется полисемия значений и полизначность смыслов» (с. 256). А, значит, всегда должен производиться выбор смысла. Любой знак, интерпретируемый в сознании, есть омоним (т. е. несет несколько принципиально разных значений), а после выбора одного из значений и тем самым отвержения других, тут же оказывается синонимом (т. е. выбранное значение не уникально — оно наличествует и у других знаков). В. П. Зинченко, впрочем, выделяет два противоположно направленных процесса: «*означение смысла и осмысление значения*» (с. 325). И, по-видимому, имеет в виду нечто иное, чем я.

Именно к осознаваемому смыслу применимо высказывание Джеймса о потоке сознания: содержание сознания непрерывно изменяется. А значит, человек не может осознавать неизменную информацию — она исчезает из сознания или трансформируется.

Смысл нельзя зафиксировать, ибо он постоянно ускользает (только отвержения устойчивы). Кстати, такая трактовка идеи Джеймса сложилась у меня, в том числе, под воздействием результатов давних исследований В. П. Зинченко с Н. Ю. Вергилесом о субъективной трансформации изображений, стабилизированных относительно сетчатки (*Испытуемые были поражены, им казалось, что в маленькой присоске, прикрепленной к глазу (ее вес был около 1 г), помещен проектор, с помощью которого предъявляются все новые картинки* — с. 408). Отсюда следует, в частности, (без стандартной и ничем не обоснованной гипотезы об ограниченности физиологических ресурсов) невозможность осознанно удерживать без изменений большие массивы информации в так называемой кратковременной памяти.

Построенные языковые представления о мире могут соотноситься с языковыми описаниями мира, созданными другими людьми, соотноситься с миром культуры (миром идей, в терминологии К. Поппера). И здесь даю слово В. П. Зинченко, написавшему со свойственным ему блеском: *«Культура — это не давно прошедшее, а бессмертное настоящее, которое нуждается в продолжении. Культура — приглашающая сила, а мы для нее — желаемость и ожидаемость»* (с. 434–435); *«Культура и сознание взаимно порождают друг друга, а средством их порождения является все тот же диалог»* (с. 66). Наконец, фраза В. П. Зинченко, погрузившая меня в глубокую задумчивость: *«Возможности человека должны быть соизмеримы с потенциалом культуры, а порой в каких-то сферах и превосходить его»* (с. 178). Я не до конца ее понял, но почувствовал верность сказанного. Человек потенциально должен быть соразмерен культуре, иначе невозможна их встреча. Но я пока не знаю, как это утверждение облечь в более понятную мне форму.

Тем не менее даже соотнесенные с культурой представления должны еще независимо проверяться. Так появляется еще одно сознание — с равным успехом можно назвать его неязыковым сознанием, можно — когнитивным бессознательным (последние лет тридцать любимый термин когнитивных психологов). Слово — В. П. Зинченко: *«Бессознательное — это не отсутствие сознания, хотя бы потому, что оно может быть только у существ, наделенных сознанием»* (с. 240). *«Сознание и бессознательное подразумевают друг друга»* (с. 244). Впрочем, в теории первоначальный смысл слов — всегда не более чем метафора, удобный мнемотехнический прием для запоминания. Так, волна в физике не имеет отношения к водной стихии, а аромат кварка не означает, что кварк имеет запах. (Зинченко цитирует Л. С. Выготского: *«Все слова психологии*

суть метафоры, взятые из пространства мира» — с. 311). Поэтому, кстати, спор о «словах» (терминах) вне теории вообще не имеет теоретического смысла. Могу лишь повторить вслед за В. П. Зинченко: *«Поиск более адекватной терминологии продолжается»* (с. 251). Когнитивное бессознательное фактически осуществляет рефлексию, т. е. автоматически переводит любое решение сознания на язык исходных сенсорной и моторной схем и влияет на их работу: отождествляет нетождественное, различает неразличимое и делает это так, чтобы достичь позитивного сигнала от этих схем об успешности их работы, чем и проверяет свою деятельность. Поэтому для меня важно рассуждение В. П. Зинченко о том, что рефлексивность человеческой активности *«позволяет говорить не просто о бессознательном, а о бытийном слое или уровне работы сознания»* (с. 233).

Сознание — величайший теоретик и выдумщик. Оно, в частности, строит идеальные объекты, а идеальные объекты никогда не могут быть построены в результате эмпирического наблюдения. Поскольку сознание работает с идеальными конструктами, то оно, разумеется, менее полно и точно описывает то, что известно на других уровнях познания. Как известно, любое явление богаче теории. Именно поэтому сознанию свойственно ошибаться. Сознание ведет себя так, как будто пытается угадать правила игры, по которым «играет» природа, а затем организует деятельность по проверке своих догадок и зачастую — подгонки реальности к ним. Угадывая, сознание как бы исходит из того, что природа действует по заранее заданным правилам, т. е. что в мире все детерминировано и взаимосвязано, все наполнено смыслами (такая природа сознания, в частности, делает неизбежным появление непроверяемых утверждений, мифологии).

На самом деле требуется и еще один уровень — условно его можно было бы назвать уровнем личности. Именно на этом уровне возникает проблема *«объяснения соединения в действии двух несовместимых вещей — порядка (закона) и свободы»* (с. 207). Однако я не уверен, что проник в суть предложенного В. П. Зинченко решения. Моя попытка выхода из антиномии «свобода — детерминизм» лежит в совсем другой плоскости. Мне предстоит еще много думать над поиском аналогии в наших подходах. Вполне допускаю, что я тоже ищу не там, где потерял, а там, где светлее. Поэтому здесь остановлюсь. В конце концов, *наиболее существенным является принципиальное построение схемы, а не ее концептуальное наполнение*, как справедливо рассуждает В. П. Зинченко о схеме развития (с. 180).

Мне хотелось *почувствовать* сказанное Мастером, и соотносить со своим *пониманием*. Сколько еще раз придется перечитать написанное! Маэстро прав: «*Освобождение сознания от «схематизмов сознания» — дело чрезвычайно сложное, очень нужное, но, как показывает опыт изучения сознания, почти безнадежное*» (с. 66). Мы в экспериментах постоянно получаем, что человек имеет тенденцию повторно не осознавать то, что он уже однажды не осознал (правда, для этого, он должен заведомо знать, что ему осознавать не следует)⁴ — но это все-таки тенденция, а не запрет. Может, когда-нибудь мне удастся преодолеть это «почти» и подняться на иной, пока мне недоступный, уровень понимания текстов Мастера? Меня оправдывает лишь то, что я *чувствую* существование этого иного уровня.

⁴ См. *Аллахвердов В. М.* Сознание как парадокс. СПб., 2000; *Аллахвердов В. М.* Размышление о науке психологии с восклицательным знаком. СПб., 2009 и др.

Раздел III. Владимир Зинченко. Мои Учителя и Заслуженные собеседники

*Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток...*
А. С. Пушкин

*Наши классики — это пороховой погреб,
который еще не взорвался.*
О. Э. Мандельштам

*Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нет у их. И все разрешено.*
Д. Самойлов

*Культурные завоеванья
Рассеиваются, как дым...*
И. Северянин

*Не иди по следам древних,
Но ищи то, что искали они.*
Кобо-Дайси

Рефлексия — это самопроникновение духа.
Новалис

Духовность — это не болезнь.
М. Мамардашвили

Алексей Алексеевич Ухтомский И ПСИХОЛОГИЯ

Жизнь — требование от бытия смысла и красоты.
А. А. Ухтомский

Вчерашний день еще не родился.
О. Мандельштам

Сказать, что А. А. Ухтомский — психолог, или даже сказать, что он больший психолог, чем многие выдающиеся психологи XX века, — значит ничего не сказать и в то же время сказать очень многое. В начале ушедшего века еще раздавались стенания о том, что раньше психология была наукой о душе, а теперь стала наукой об ее отсутствии. На это обращали внимание и историк В. О. Ключевский, и его современники — философы, и психологи. Не без иронии и не без оснований стали говорить о раздражающе избыточном «душесловии», о «душежном водолействе». Психология, действительно, пожертвовала душой ради научной объективности своей субъективной науки. Выражаясь современным языком, в младенческой душе психологии завелась сциентистская червоточинка, которая выела душу изнутри. Вначале это казалось остроумным методическим приемом: отойти от души, вооружиться объективными средствами исследования, чтобы потом взять ее приступом. Но в соответствии с еще неизвестным психологии того времени правилом произошел «сдвиг мотива на цель». Психологи увлеклись материей, психическими функциями, реакциями, рефлексам, поведением, ориентировкой, позднее — мозгом, нейронами и многими другими не менее интересными и полезными предметами. О душе они вовсе забыли, а если вспоминали, то искали не там, где потеряли.

Потеря души далеко не безобидна. А. А. Ухтомский нарисовал картинку того, что обещается «объективными» методами изучения психологии: «Будет царство немое и глухое, ибо никто никого понимать не будет при уверенности, что каждый для себя все понимает! На вопрос, заданный в лечебнице параноику: хорошо ли ему тут, — он отвечал: “Все переносимо, за исключением разве только оловянных глаз психиатров, которые упрутся в вас с тупою уверен-

ностью, что они все в вас понимают! А сами то ведь ничего не понимают!” <...> Вот и наши ученые Вагнеры готовят будущему человечеству свою “объективную психологию” значительное отупение к междучеловеческим отношениям. Потеряли личность, потеряли собеседника, а значит — потеряли самое главное. Собеседника не построить из тех абстракций, которыми живет филистер!”¹.

Физиолог И. П. Павлов от своей души не отказывался. Он был великодушен и *от души* поздравил Г. И. Челпанова с открытием Психологического института. Он отказался лишь от психологической терминологии при интерпретации физиологических и поведенческих фактов. Нельзя отказать в наличии души и многим психологам, у которых она не только сохранялась как их личная, интимная принадлежность, но и руководила их поведением. Однако в науке душа стала раздражающим, мешающим, субъективным фактором, а потом психологи ее просто вытеснили из сознания и памяти. Разговоры о душе в научном контексте стали восприниматься как свидетельство религиозности. (На это можно, правда, ответить словами А. Блока: свою обедню отслужу.) С такой *научной* психологией мы вошли в XXI век. Выделенное курсивом слово я не взял в кавычки. Психология действительно стала настолько научной, что человеку в ней трудно себя узнать. Проще обратиться к гадалке или к шаману, где все узнаваемо. Психологи, позавидовав гадалкам, сами стали шаманить, камуфлируясь научной терминологией: «онтопсихология», «НЛП», «имиджеология», «имиджмейкерство», «харизмейкерство» и т. д., и т. п. Так что научный багаж не остался втуне. Но душа не нашла себя и в этой, с позволения сказать, практической психологии.

И все же в XX веке были исключительные фигуры, которые не только не отказывались от души как от предмета *научного* исследования, но и предлагали свои варианты онтологии души, психики, сознания. А. А. Ухтомский, безусловно, принадлежит к их числу, являясь главной, ключевой фигурой. Он предложил естественнонаучный и, несмотря на это, не редукционистский подход к исследованию души и духа.

Словосочетание «зачинательная личность» я встретил у нашего замечательного поэта Вяч. Иванова. Оно с полным правом может быть отнесено к великому физиологу и мыслителю А. А. Ухтомскому. Пора без всяких скидок признать его полноправным участником плеяды великих физиологов России конца XIX — середины XX сто-

¹ Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 171.

летия. А. А. Ухтомский стоит в одном ряду с И. М. Сеченовым, И. П. Павловым, В. М. Бехтеревым, Н. Е. Введенским, Л. А. Орбели, хотя он ни при жизни, ни после кончины не был оценен и понят. Из всех вышеперечисленных он наиболее близко подошел к изучению механизмов душевной жизни. Строго говоря, он никогда не отходил от этой темы, которая составляла лейтмотив его исканий. Дух и душа повлекли его в Троице-Сергиев Посад, из интереса к душевной жизни он написал диссертацию, посвященную теории познания И. Канта, и, будучи кандидатом богословия, поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета для того, чтобы понять анатомию и физиологию человеческого Духа, а не только мозга. Утверждая это, я нисколько не умаляю его выдающиеся достижения в области изучения физиологии нервных процессов как таковых. И все же лейтмотивом его исканий было преодоление рубежа «от физиологической теории и методологии к зависимостям психологического опыта»². При этом, переваливая указанный рубеж, входя в новую область, нужно было оставаться физиологом. Именно так А. А. Ухтомский характеризовал научный подвиг И. П. Павлова. Сказанное в значительной мере относится к нему самому.

А. А. Ухтомский абстрактному изложению научных результатов предпочитал более конкретный путь *биологической перспективы*³. Можно добавить: психологической и даже шире — духовной перспективы. В его трудах замечательно сочетаются изначально одухотворенная характеристика жизни и естественнонаучная характеристика духа.

А. А. Ухтомский понимал, что библейская последовательность творения «Дух– Жизнь — Разум» вовсе не гарантия наличия всей триады в каждом человеке. Жизнь автономизируется от духа, утрачивает ценность, обесмысливается; разум автономизируется от жизни, превращается в рассудок. Потом возникают (если возникают) задачи поиска духа, смысла, разума, задачи постройки дома своей души, решение которых не гарантировано. Знакомство с рукописным наследием ученого убеждает, что не только фоном, но и содержанием его жизни, определявшим, в частности, научные искания, были размышления о душе и духе, о жизни и смерти, о сознании и деятельности, о мысли, слове и действии, о личности и истории, о вере и разуме.

² Ухтомский А. А. Великий физиолог. Памяти И. П. Павлова // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 313.

³ Ухтомский А. А. Физиологический покой и лабильность как физиологические факторы // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 167.

Прежде чем излагать предложенный А. А. Ухтомским подход к психике, обратимся к личности, сознанию, убеждениям и жизненным принципам, просвечивающим сквозь тексты А. А. Ухтомского — подлинного «мужа науки». Обратим внимание и на его живое слово, живую мысль, живое знание и умное делание, которых так недостает современной науке и образованию. Автопортрет ученого я нашел в замечательных посмертно изданных книгах: «Интуиция совести» и «Заслуженный собеседник», «Доминанта души», с вниманием и любовью составленных, прокомментированных и изданных его последователями и поклонниками. По стилю и содержанию они напоминают самые высокие образцы исповедального жанра, существующие в мировой культуре.

Задачу настоящей статьи я вижу в том, чтобы привлечь внимание психологов к удивительно цельной личности А. А. Ухтомского и к его диалогическому и полифоническому сознанию. В сознании и личности А. А. Ухтомского будут выделены лишь некоторые доминанты. Осмысление его вклада в психологию — дело будущего, хотелось бы надеяться, не столь отдаленного.

Духовность. Духовность есть устремление, неутоленность, беспокойство, напряженность, энергия, направленная на поиск истины: «Люди не столько велики тем, что “перделывают мир”, сколько тем, что открывают новые области истины, в мире до сих пор не известные!»⁴. Духовность — это практическая деятельность, направленная прежде всего на переделку самого себя, на создание духовного мира и собственного духовного организма.

Возможной единицей анализа духовного организма является функциональный орган индивида, под которым А. А. Ухтомский понимал всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение. Функциональные органы — это новообразования, которые возникают в активности индивида, взаимодействующего со средой. Понятие «новообразование» затем сыграло ключевую роль в культурно-исторической теории психики и сознания Л. С. Выготского, в физиологии активности Н. А. Бернштейна, в психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева.

Замечательно понятие «духовный возраст», которое в равной степени относится к отдельному человеку и к наукам о нем. Духовный возраст не совпадает с биологическим и с тем, что в психологии называется «психологическим возрастом». Духовный возраст, конечно, менее прозрачен, чем психологический, но зато эта как

⁴ Ухтомский А. А. Заметки на полях книг // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 398.

бы непосредственная интегральная характеристика человека более наглядна и интуитивно убедительна. Хотелось бы, чтобы психология достигла, наконец, возраста, при котором она смогла бы понять и разделить размышления А. А. Ухтомского о душе и духе. Приятно, что разумные психотерапевты, которые, к сожалению, слишком малочисленны, тоже подвигают психологию к этому. Естественно, раз есть духовный возраст, то есть и духовное рождение, и духовная смерть. Рождение, развитие, рост, возраст и смерть относятся к духовному организму в не меньшей степени, чем к телесному. Согласно А. А. Ухтомскому, духовный организм может возникнуть при наличии особой доминанты души. Такой доминантой должно быть внимание к духу: «Это постоянное бодрственное прислушивание к тому, что желается в нашем духе, как он живет, болеет, поднимается и растет. Тут источник тех “сокровищ ведения”, о которых говорили святые отцы»⁵.

«Любовь в качестве руководительницы к познанию и к истине не понятна тем, кто знает лишь критерий самоутверждения и самохранения!»⁶ Любовь — это возрастание в духе: «Песни Петрарки и Данте стали определителями поведения для дальнейшего человечества»⁷. Человек, размотавший душу без осторожности на суете, характеризуется духовным неплодием, крайняя степень которого — духовное блудилище. Ад и духовная смерть присутствуют в обыденной жизни. Не стану спорить с читателем, у которого возникнут отчетливые ассоциации с неким религиозно-духовным трактатом, тем более что А. А. Ухтомский имел духовное образование, и оно, несомненно, оказало влияние на его искания, хотя и не было их единственным медиатором.

Монашеский опыт *проникновения в жизнь духа* А. А. Ухтомский назвал «психологией религиозного опыта». Для понимания всего учения о доминанте, о функциональных органах — новообразованиях очень существенно, что такая психология вполне онтологична. В 1900 году, еще до получения университетского образования, А. А. Ухтомский писал: «Дух будет вполне и а priori силен против всякого давления “мира” тогда, когда религиозный мир откроется ему не как насильное создание представлений и идей, но как явная психологическая действительность, более “действительность”, чем

⁵ Ухтомский А. А. Из Записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 93.

⁶ Ухтомский А. А. Заметки на полях книг // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 399.

⁷ Ухтомский А. А. Доминанта как фактор поведения // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 83.

какой-либо “материальный мир”⁸. Потом познание этой действительности стало целью его исследований, не только тела, не только мозга, а их вместе с духовным организмом. Как говорил Александр Блок: «...нам опять нужна *вся* душа, все житейское, весь человек. Назад к душе, не только к человеку, но ко “всему человеку” — с духом, с душой и телом, с житейским — трижды так»⁹.

А. А. Ухтомский приводит афоризм Г. Лихтенберга «Человек должен развиваться весь целиком». И человек деятелен весь целиком. В восприятии истины в особенности человек движется и должен двигаться лишь целиком — всей своей природой: и умом, и чувством, и волей. Это означает участие души в развитии, в деятельности, в восприятии истины. Для понимания последней нужна не абстрактная мысль, а что-то внутри — теплое сердце. «“Вечная истина” не в действительном содержании современного “научного” знания, но лишь в его *пределе*, движущем идеале. Вот, что никто не может отрицать»¹⁰. Приобретаемые знания А. А. Ухтомский рассматривал как функциональные органы индивида.

Пути к духу и его развитию могут быть разными. Можно идти к небу от молитвы, от духовного образования, от монашеского опыта, а можно прийти к духу и от неба, от лётной деятельности¹¹. В любом случае — это труд: «Подчас именно среди боления и тяжкого труда находим мы впервые червонное золото, которым живем и питаемся всю последующую жизнь... Простые народы там, где они предоставлены самим себе и живут своею мудростью, хорошо понимают ту правду, что не “счастье”, а суровый труд жизни воспитывает нужного человека и ценную для человечества культуру»¹².

Жизнь. Извлечение предмета научного исследования из жизненного контекста и возвращение в него результатов такого исследования — это задача, которая рано или поздно возникает перед наукой, хотя, конечно, далеко не всегда успешно решается. Препятствием на пути к ее решению служит реальное противоречие между богатством представлений о жизни, множественностью ее образов и односторонней скудостью научных абстракций, почти не имеющих отношения к жизни во всем богатстве ее проявлений. В советской науке

⁸ Ухтомский А. А. Из Записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 93.

⁹ Блок А. А. Сочинения. В 8 т. Т.5. М., 1963. С. 149.

¹⁰ Ухтомский А. А. Из Записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 67.

¹¹ Пономаренко В. А. Психология духовности профессионала. М., 1997.

¹² Ухтомский А. А. День ожидаемого огня. Письма к В. А. Платоновой // Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 192–193.

многие годы бытовало (а в советской жизни — практиковалось) столь же бесспорное, сколь и бессодержательное определение жизни как способа существования белковых тел. «Наука — это *принципиально* связанное миропонимание, или (как теперь привыкли говорить более конкретно) “жизнепонимание”. Поэтому — *проступок против основного принципа науки*, когда хотят понимать жизнь с ее какой-нибудь одной стороны. Так грешит современная физиология, современная биология, так грешил и грешит материализм всех времен»¹³. Об этом же конкретнее: «Когда физиология трактует о жизни, о характерных признаках жизни как *обмене веществ*, <...> то ее *выводы отсюда* *нисколько не трогают вопроса о жизни — непосредственного сознания и философии*. Жизнь, интересующая непосредственное сознание и философию, — жизнь человека остается здесь вне сферы зрения, мысль попадает мимо нее... Определение жизни, *которое надо черпать из опыта, если мы хотим войти в существо, в положение возбуждаемых ею вопросов*, — определение жизни основывается на *ценности* ее, но *ценности* этого понятия для обозначения действительности»¹⁴.

А. А. Ухтомский не уставал подчеркивать, что предмет физиологического исследования — динамика живого организма в его целом. В 1927 году он дал замечательную характеристику («определение») жизни, которая не замечалась советской наукой: «Жизнь — асимметрия с постоянным колебанием на острие меча, удерживающаяся более или менее в равновесии лишь при устремлении, при постоянном движении. Энергический химический агент ставит живое вещество перед дилеммой: если задержаться на накоплении этого вещества, то — смерть, а если тотчас использовать его активно, то — вовлечение энергии в круговорот жизни, строительство, синтез, сама жизнь. В конце концов, один и тот же фактор служит последним поводом к смерти для умирающего и поводом к усугублению жизни для того, кто будет жить»¹⁵.

Присмотримся к этой удивительно емкой характеристике. В ней использовано понятие «живое вещество», которое является центральным в концептуальном аппарате В. И. Вернадского. Хотя на этом уровне анализа еще нет, и не может быть речи о субъекте и объекте, живое вещество может существовать лишь при постоянном движении, при устремлении. На языке психолога Д. Н. Узнадзе «первичная установка» эквивалентна понятию первичного устремления, напри-

¹³ Ухтомский А. А. Из Записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 83.

¹⁴ Там же. С. 75.

¹⁵ Ухтомский А. А. Раздражение и возбуждение с точки зрения эндокринологии и физиологии нервной системы // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 235.

мер, к свету, которое использовал П. А. Флоренский. Устремление, установка есть проявление отношения, но отношения особого рода: это еще не отношение к действительности, поскольку еще даже нет субъекта, а отношение в действительности, т. е. действительное, а не потенциально мнимое отношение. Можно согласиться с Д. Н. Узнадзе, что подобные первичные установки не являются еще в прямом смысле слова психическими образованиями, они предшествуют психике. А. А. Ухтомский также не использует понятия «доминанта» для характеристики, даваемой «устремлению», в контексте его размышлений о жизни. Примечательна энергетическая, или энергийная характеристика жизни: устремление, постоянное движение живого вещества, идущее навстречу среде в поиске «энергического химического агента», «вовлечение энергии в круговорот жизни, строительство, синтез, сама жизнь». Энергийная характеристика жизни трансформируется А. А. Ухтомским в энергийный образ духовного организма.

Еще одно ключевое слово в приведенной характеристике жизни — асимметрия. «Несоответствие, несимметричность есть норма? Несимметричность между импульсом и его эффектом есть, пожалуй, “общее место” физиологической деятельности, поскольку она вновь и вновь служит побудителем для последней!»¹⁶. В жизни преобладает дисгармония. Равновесие — лишь момент, условием возникновения которого является постоянное движение. Эти идеи высказаны А. А. Ухтомским задолго до того, как наш знаменитый соотечественник И. Р. Пригожин начал работать над проблемой созидательной роли неравновесных состояний и вытекающей из этого необратимости природных процессов. Сегодня теория необратимых процессов И. Р. Пригожина в значительной мере определяет развитие естествознания. Вклад А. А. Ухтомского в нее до сих пор не оценен.

В трактовке необратимости процессов, принадлежавшей А. А. Ухтомскому, содержится не только отрицательная, но и положительная характеристика, связанная с порождением нового, будь-то состояние, событие или новый орган. Поэтому-то асимметрия, дисгармония, неравновесные состояния приводят не к вожделенному многими поколениями физиологов и психологов равновесию, гомеостазу, единству, гармонии, покою и т. п., а к возникновению все новых и новых состояний, к порождению функциональных органов — новообразований. А. А. Ухтомский настаивал: то, «что мы называем “физиологическим покоем” органов и организма не есть само собой разумеющееся состояние бездеятельности “за отсутствием импульсов”,

¹⁶ Ухтомский А. А. Возбуждение, утомление, торможение // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 130.

но представляет собой активную форму реакции»¹⁷. Поучительна терминология, используемая ученым: «деятельное мгновение», «оперативный покой». «*Возрастающая дееспособность и возрастающая способность к оперативному покою — это две стороны одного же биологического достижения*. Оперативный покой есть готовность к действию, могущая устанавливаться на различные степени высоты. Более высоко организованная способность к оперативному покою вместе и более организованная, срочная готовность к действию»¹⁸. Значит не равновесие, а *относительная физиологическая лабильность*, стремящаяся к компенсации, к равновесию, но никогда не достигающая их. А. А. Ухтомский приводит слова О. И. Романенко, о парабозе, как о *роковым образом необратимом процессе*¹⁹.

В гуманитарной традиции интервалы в активности, паузы также получали содержательные характеристики: «вневременное зияние между двумя моментами времени» (М. М. Бахтин), «зазор длящегося опыта» (М. К. Мамардашвили), «внутреннее действие», «внутреннее движение души» и т. д. Приведу поэтический образ оперативного покоя:

В закрытыя глаз, в покое рук —
Тайник движенья непочатый.

О. Мандельштам

Согласно А. А. Ухтомскому, интервал, конечно, существует во времени, и вместе с тем «интервал» — очень продуктивное, конкретное и богатое понятие. Он больше, чем отрезок времени. За ним скрывается некая внутренняя форма, непосредственно ненаблюдаемая реальность: «Дело идет о всей совокупности событий и изменений, которые успевают совершиться за данный отрезок времени»²⁰. Не является ли мышление таким оперативным покоем?

От этой характеристики, казалось бы, элементарных форм жизни А. А. Ухтомский прочерчивает путь к анализу ее более сложных форм: «*Всякий “закон природы” есть сам по себе постановка жизнеразности* и поэтому требует сам еще противовеса. Отсюда достаточно открывается, что все поле нашего сознания и знания есть

¹⁷ Ухтомский А. А. Очерк физиологии нервной системы // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 279.

¹⁸ Ухтомский А. А. Физиологический покой и лабильность как физиологические факторы // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 175.

¹⁹ Ухтомский А. А. Физиологическая лабильность и равновесие // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 203.

²⁰ Ухтомский А. А. Возбуждение, утомление, торможение // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 124.

постоянное колебание равновесия, борьба идеалов, — с чисто научной точки зрения вполне равноправных»²¹.

Чтобы еще раз убедиться в емкости характеристики жизни, предложенной А. А. Ухтомским, можно заменить в ней химическое вещество на информацию или — лучше — на знания, опыт, а живое вещество — на живое существо. Тогда мы получим характеристику жизни как асимметрию, с постоянным колебанием на острие меча между познанием и действием, сознанием и деятельностью, опытом и его использованием и т. д. На этом же острие меча странным сюрреалистическим образом пока еще балансируют два других — меч железный и меч духовный. Опыт показывает, что выковать последний значительно труднее... Примечательно, что даваемая А. А. Ухтомским характеристика мысли подобна приведенной выше характеристике жизни: «Мысль или ускоряет наступление того опыта (той реальности), о которой говорит, или научает избегать его, может быть, даже предотвращает его наступление.

Последняя проверка мысли продолжает оставаться в том, к гибели или к торжеству приводит она своего носителя»²².

Включение в характеристику жизни не только энергии, движения, но и устремления, т. е., казалось бы, субъективного обстоятельства, для А. А. Ухтомского отнюдь не случайно. Он неоднократно подчеркивал, что субъективное не менее объективно, чем так называемое объективное: «субъективное и объективное идут об руку и соотносительно, непосредственно переходя одно в другое»²³. Наличие у субъективного, в том числе и у жизни души, собственной онтологии до сих пор с трудом принимается большинством психологов, представляющих себе (и — что хуже — другим) психологию как науку об отсутствии, а не о присутствии души и духа.

Онтология душевной жизни. В чем же состоит реальность душевной жизни, какова ее онтология? Каковы значение и смысл сделанного А. А. Ухтомским для психологии? Ему, действительно, удалось реализовать свой дерзкий замысел приоткрыть пути познания анатомии и физиологии человеческого духа (ср. Н. В. Гоголь: «душевный анатомик»). Ему принадлежит естественнонаучная интерпретация понятия «духовный организм», которое, конечно, и до него было широко распространено в теологии, философии, искусстве, в науках о человеке.

²¹ Ухтомский А. А. Из Записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 78.

²² Ухтомский А. А. Из Записных книжек. 1820–1929 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 138.

²³ Ухтомский А. А. Великий физиолог. Памяти И. П. Павлова // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 311.

Самое удивительное, что он реализовал свой замысел, став физиологом, т. е. на основании изучения вполне телесных процессов. Если попытаться кратко сформулировать итоги его исследований и размышлений, то он наметил пути понимания «одухотворенного тела» и «овнешненного, объективированного духа». Вслед за И. М. Сеченовым, А. А. Ухтомский говорит о «предметном мышлении», вслед за Ч. Шеррингтоном — о «предметных рецепторах», намечающих для поведения организма предмет в среде с тем, чтобы организм реагировал на него задолго до контактного соприкосновения с ним²⁴.

В его исследованиях показано (и предсказано), что активность живых существ представляет собой не только зависимую от тех или иных механизмов и обстоятельств, но и задающую переменную. Активность порождает, формирует, оттачивает механизмы своего собственного осуществления, своих собственных органов-новообразований (ср. О. Мандельштам: «Я и садовник, Я же и цветок»). Эти органы-новообразования, например доминанты, становятся между нами и реальностью. Такое возможно только потому, что они сами реальность, хотя совершенно особого рода. Реальность, называемая психикой, которую его современник А. Н. Серверцев признал фактором эволюции.

Поскольку индивид простирает свою активность в мир, то ее механизмы, как и механизмы нашего тела — это не механизмы первичной конструкции, — писал А. А. Ухтомский. Они не могут быть *только* интрацеребральными, интрателесными, интраиндивидуальными. Человек деятельно идет навстречу среде, «борется за внешние связи со средой» (Ф. Д. Горбов), поэтому механизмы его активности столь же интраиндивидуальны, сколь и экстраиндивидуальны. Они и внутри, и вне организма. Это, конечно, можно понимать в том смысле, что активность живого существа определяется внешними обстоятельствами и внутренними условиями ее осуществления. Для реакции, для рефлекса, для инстинкта это справедливо. Можно даже сказать, что внешние обстоятельства действуют не прямо, а *через* внутренние условия. Эта позиция С. Л. Рубинштейна уводит от прямолинейной и примитивной трактовки активности и поведения как зависимых от внешних факторов. Она существенно расширяет число видов и форм активности, которые могут более или менее удовлетворительно объяснены на ее основе. Однако следует сделать следующий шаг и признать наличие относительно автономных форм активности индивида, который способен преодолеть как внешние обстоятельства, так и внутренние

²⁴ Ухтомский А. А. Доминанта как фактор поведения // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 81.

условия и механизмы, т. е. выйти за пределы ограничений накладываемых теми и другими, выйти за пределы самого себя. Для этого нужно набраться духа (или окаянства), которого нет в рефлексах и инстинктах. Ф. Ницше, с явным пренебрежением относившийся к душе, произнес вполне двусмысленную фразу: «Созидающее тело создало себе дух, как дань своей воле». Он, правда, не сказал, как? Подобные формы созидательной активности в философии, психологии и, вообще, в культуре получали различные наименования: «акт», «акция», «поиск», «деяние», «действие», «свободное поведение», «полнезависимое поведение», «надситуативная активность», «свободное действие», «поступок» и т. п. П. А. Флоренский даже заметил, что человек — это не факт, а акт. Последний предполагает свободу воли. Свободное действие, разумеется, так же, как и реактивное, должно осуществляться посредством тех или иных механизмов, но это уже не только механизмы нервной деятельности, пусть даже и высшей, а механизмы психической, в том числе и сознательной деятельности.

А. А. Ухтомский воздержался от соблазнительного (то ли простотой, то ли нелепостью) отождествления (редукции) нервной активности и психической деятельности. Ему, как физиологу, претило обращение к морфологическим объяснениям, ибо в этом случае физиолог «уходит со своей родной функционально-количественной почвы и морфологический аргумент является для него своего рода *deus ex machine*»²⁵. Он выдвинул идею функционального органа нервной системы или функционального органа индивида и дал строгое определение понятия подвижного, интегрально целого функционального органа: «С именем “органа” мы привыкли связывать представление о морфологически сложившемся, статически постоянном образовании. Это совершенно не обязательно. Органом может быть всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение»²⁶.

А. А. Ухтомский называл функциональный орган динамическим, подвижным деятелем, рабочим сочетанием сил. К числу подвижных функциональных органов он относил интегральный образ, воспоминание, доминанту, парабиоз, желание и т. п., подчеркивая, что это новообразование, возникающее в активности индивида, взаимодействующего со средой. Их изучение облегчается тем, что функциональные органы проявляют себя в том или ином симптомокомплексе. Обращу

²⁵ Ухтомский А. А. О состоянии возбуждения в доминанте // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 61.

²⁶ Ухтомский А. А. Парабиоз и доминанта // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 95.

внимание читателя на этот вполне почтенный в физиологии и медицине, но не вполне привычный в психологическом контексте термин.

Функциональный орган, согласно А. А. Ухтомскому, — это не морфологическое, а энергичное образование («сочетание сил», «вихревое движение» Декарта). Его определение соответствует энергичной характеристике жизни, которая приводилась выше. Сказанное не означает, что А. А. Ухтомский вовсе пренебрегал морфологией. Он намного опередил идеи Д. О. Хебба (1949) о роли клеточных ансамблей в организации поведения. В 1934 году А. А. Ухтомский писал, что рабочий ансамбль возбуждения на своем месте «есть множество, охваченное одними и теми же законами во всех частях; множество и вместе с тем целое»²⁷. Ансамбль работы, или констелляция нервных центров, отвечает понятию интервала во времени и пространстве, о котором речь шла выше.

А. А. Ухтомский называл функциональные органы *виртуальными механизмами*. Приведу наглядный пример несовпадения морфологического и функционального органа. Известно, что ось зрения может не совпадать с осью внимания. В исследовании зрительного восприятия изображения, стабилизированного относительно сетчатки, был обнаружен механизм функциональной фовеа, которая перемещалась по зрительному полю, превышающему по своим размерам 40 угловых градусов. Он индуцируется малоамплитудными викарными движениями глаз и обеспечивает полноценное формирование образа, хотя изображение остается неподвижным относительно сетчатки. Эффект исчезновения стабилизированного образа преодолевался за счет цветовой модуляции его освещения. В этом же исследовании была обнаружена динамика функциональных отношений между центром и периферией, наблюдаемых в поле зрения. Даже если поле зрения ограничено одним-двумя угловыми градусами, в нем отчетливо наблюдаются центр и периферия²⁸.

Итак, функциональный орган есть сочетание или сплетение духовных, душевных и телесных сил. Подобное сплетение даром не дается:

Так век за веком — скоро ль, господа? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Н. Гумилев

²⁷ Ухтомский А. А. Возбуждение, утомление, торможение // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 127.

²⁸ Зинченко В. П., Вергулес Н. Ю. Формирование зрительного образа. М., 1969.

И он же о власти духа:

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

М. К. Мамардашвили часто ссылался на Уильяма Блейка, говорившего о новых и более многочисленных органах чувств, о расширенных чувствованиях. По словам Блейка, они уходят в тот же момент, когда приходят. На языке А. А. Ухтомского, — это и означает виртуальное существование функциональных органов, актуализирующихся лишь по мере надобности (как ложноножка у амёбы).

Явно под влиянием А. А. Ухтомского Н. А. Бернштейн, хотя и без должной ссылки на него, назвал живое движение функциональным органом, который реактивен, эволюционирует и инволюционирует. А. А. Ухтомский оказался щедрее. Он еще в 1927 году одобрительно отозвался о первых исследованиях Н. А. Бернштейна и характеризовал развитые им методы анализа движений как «микроскопию хронотопа». Это «микроскопия не неподвижных архитектур в пространстве, но микроскопия движения в текуче-изменяющейся архитектуре при ее деятельности. И здесь будет новый переворот в естествознании, последствий которого переоценить мы пока не можем»²⁹. Изобретение Н. А. Бернштейна А. А. Ухтомский поставил в один ряд с изобретением Левенгука и Мальпиги. Слова А. А. Ухтомского оказались пророческими: сегодня на микроскопии хронотопа основана вся когнитивная психология и психология действия.

Время в исследованиях А. А. Ухтомского выступало как «действующее лицо». Не просто время, а система времен. Его интересовали не столько константы возникновения возбуждения (хронаксии), сколько законы нормального изменения лабильности субстрата: «именно изменение состояния в тканевых элементах является всегдашним и нормальным средством перехода одного и того же множественного и разноинтервального субстрата к гармоническому и слаженному единству действия»³⁰. Другими словами, гетерохрония — условие возможной гармонии. «Увязка во времени, в скоростях, в ритмах действия, а значит и в сроках выполнения отдельных моментов, впервые образует из пространственно раздельных ганглиозных групп функ-

ционально определенный “центр”. Тут вспоминается известное напоминание Германа Минковского, что пространство в отдельности, как и время в отдельности являются лишь “тенью реальности”, тогда как реальные события протекают безраздельно в пространстве и времени, в хронотопе»³¹. Хронотоп также может быть рассмотрен как функциональный орган индивида, обеспечивающий не только актуальное восприятие и действие, но и предвкушение и проектирование: «Если мы вспомним, что у более сильных из нас глубина хронотопа может быть чрезвычайно обширной, районы проектирования во времени чрезвычайно длинными, то вы поймете, как велики могут быть именно у большого человека ошибки»³².

Хронотоп сознательной и бессознательной жизни соединяет в себе все три цвета времени: прошлое, настоящее, будущее, разворачивающиеся в реальном или виртуальном пространстве. Как говорил М. М. Бахтин, заимствовавший понятие хронотопа у А. А. Ухтомского, приметы времени раскрываются в пространстве и пространство осмысливается, измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет и характеризуется хронотоп, представляющий элементарную (она же сложнейшая для изучения) и виртуальную единицу вечности и бесконечности. Как следует из изложенного, принцип хронотопической организации достаточно универсален. А. А. Ухтомский обнаружил его на уровне организации нервных процессов, экстраполировал его на поведенческий и психологический уровни. Затем, благодаря М. М. Бахтину, понятие хронотопа вошло в концептуальный аппарат современного искусствоведения и литературы и постепенно входит в психологию. Примером может быть гетерохрония различных уровней, участвующих в организации человеческой памяти: сенсорный регистр, иконическая память, кратковременная, оперативная, автобиографическая память имеют разные постоянные времени хранения и обработки материала, которые колеблются от десятков миллисекунд (сенсорный регистр) до десятков лет (автобиографическая память). Сейчас все эти виды памяти изучаются изолированно один от другого. Не только перед физиологией, но и перед психологией все еще стоит сформулированная А. А. Ухтомским задача одновременного, *параллельного наблюдения* многих разновидностей «параметров времени». Без этого человеческая память, как и другие психологические феномены, будут производить впечатление чуда.

³¹ Ухтомский А. А. Очерк физиологии нервной системы // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 269.

³² Ухтомский А. А. Доминанта как фактор поведения // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 88.

²⁹ Ухтомский А. А. К пятнадцатилетию советской физиологии (1917–1932) // Ухтомский А. А. Собрание сочинений. Т. 5. Л., 1954. С. 75.

³⁰ Там же. С. 75.

Идея функциональных органов прочно вошла в психологию (к сожалению, по распространенной у нас советской привычке часто без должных ссылок на А. А. Ухтомского). Эти органы-новообразования называют функциональными системами, артефактами, амплификаторами — усилителями способностей и возможностей индивида, машинами рождения, формами превращенными (и извращенными) и т. д. Функциональные органы, обладающие биодинамической, чувственной и эмоциональной тканью, уже рассматриваются как материал (материя), из которого можно конструировать духовный организм. Они, действительно, могут рассматриваться как единицы анализа анатомии и физиологии духа. Если, в полном соответствии с определением функциональных органов, данным А. А. Ухтомским, добавить их энергичную природу, то мы получим энергичную проекцию человека, которая, на мой взгляд, не менее интересна, чем «мозговой человек» В. Пенфилда. Это проекция в мир и проекция на самого человека, своего рода автопроекция. Действие творящее и действие творимое. Слово творящее и слово творимое. Другими словами, функциональный орган двулик.

Понятие «орган» применительно к психическим явлениям (образ, галлюцинация, воспоминание) и состояниям (утомление, рабочая поза, внимание, иерархия доминант, вплоть до «доминанты юности» у талантливого человека или «доминанты на лицо другого») свидетельствует об их объективности. Пожалуй, наиболее детально к настоящему времени изучена функциональная структура, микроструктура и микродинамика живого движения и предметного действия, понимаемых как функциональные органы, т. е. в полном соответствии с традицией А. А. Ухтомского, Н. А. Бернштейна и А. В. Запорожца. Обнаруженная в исследованиях система разнообразных связей внутри функционального органа и между органами представляет собой как бы кровеносную систему, которая может склеротизироваться, закупориваться, вызывать ступор, шок. В исследованиях живого движения и предметного действия становится достижимой задача параллельного наблюдения разновидностей «параметров времени», благодаря чему удается не только выделять волны и кванты живого движения, но и обнаруживать их различные функциональные роли в организации целого действия³³.

Следует сказать, что объективность функциональных органов — это объективность особого рода. Дело даже не в том, что имеются взаимопереходы объективного в субъективное и субъективного в

объективное, а в том, что функциональные органы существуют как в актуальной, так и в виртуальной форме. А. А. Ухтомский утверждает, что «принцип общего пути есть не что иное, как *принцип виртуальных механизмов*, последовательно осуществляемых в группе исполнительных путей и органов афферентными импульсами, причем для каждого отдельного полносвязность очередного механизма достигается не иначе, как срочным торможением всех прочих, на месте возможных механизмов»³⁴. В отличие от технического механизма в живом организме на одних и тех же конструкциях может быть осуществлено последовательно столько переменных механизмов, сколько есть налицо степеней свободы. Аналогичен ход рассуждений Н. А. Бернштейна: построение движения есть преодоление избыточных степеней свободы кинематических цепей человеческого тела. Поэтому-то человек не двурукое, а тысячерукое существо, обладающее огромным числом последовательно актуализируемых функциональных разновидностей действия, выработанных в онтогенезе и в функциональном генезе. Вот эти-то виртуальные предметные механизмы, сформированные в ходе развития способности, и есть онтология психического. И дело вовсе не в том, субъективна ли психика, а в том, что она предметна и субъектна в смысле принадлежности индивиду. Она, конечно же, субъективна, но лишь в смысле ее неповторимости, уникальности у каждого ее носителя.

Сегодня разговоры о виртуальной реальности вошли в моду, а сама она все более властно вторгается в жизнь, не дожидаясь, пока ученые поймут и объяснят, что она собой представляет. Такая ситуация не уникальна: «И в научном методе и в житейской практике люди сначала научаются ходить, а лишь много времени спустя отдают отчет, как им это удалось»³⁵. Тем более уместно напомнить размышления А. А. Ухтомского о *виртуальных механизмах*, высказанные 60 лет тому назад. Термин механизм предполагает не только их объективность, но также их объективируемость. Психологи назвали бы это экстериоризацией, а философы — экстраекцией. Виртуальные механизмы не только проецируются, как образ, в мир. Они вторгаются, инкорпорируются в него, воплощаются в нем. Это, конечно, благо, но еще большее благо, что это происходит, если происходит, не одновременно, а последовательно. (Достаточно себе представить, что любая мысль, пришедшая здесь и теперь в голову, немедленно реализуется... Хаос

³⁴ Ухтомский А. А. Очерк физиологии нервной системы // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 284.

³⁵ Ухтомский А. А. Параметр физиологической лабильности и нелинейная теория колебаний // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 189.

³³ См.: Гордеева Н. Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. М., 1995.

неизбежен.) Это подобно «нейрональной воронке» Ч. Шеррингтона. К тому же вторжение виртуальных механизмов в жизнь происходит под контролем, хотя и слабым, рефлексии, сознания, аффектов, а иногда и совести. Если предположить невозможное: вдруг воплотились все существующие виртуальные механизмы — на Земле не осталось бы живого места, которого и без того не так уж много; реки бы потекли вспять... В. В. Набоков в эссе о Н. В. Гоголе заметил, что жизнь подлю подражает художественному вымыслу. Подражает она и вымыслу научному. Так что виртуальная реальность, вкупе со своими механизмами, оказывается реальнее реальности *per se*, оставаясь при этом субъективной и субъективной, пристрастной. Не буду драматизировать ситуацию. Это особый сюжет, который М. М. Бахтин обозначал как сознание вины и ответственности в их единстве, а А. А. Ухтомский как интуицию совести. Сказанное о виртуальных механизмах относится не только к отдельным функциональным органам, будь то предметное действие, внимание, память, мышление, аффект и т. п., но и к духовному организму в целом. Последний представляет собой виртуальную реальность, ненаблюдаемую онтологию, о которой мы можем судить лишь по ее отдельным проявлениям. Она никогда не дана нам целиком. Например, поступок манифестирует личность во всей ее асимметричной, недосказанной сложности и неожиданной цельности. В этом трудность и прелесть изучения человека, внешность которого обманчива, а внутреннее — таинственно, хотя оно дано нам, если дано, только во внешнем. Прав парадоксалист О. Уайльд: «Только поверхностный человек не судит по внешности». И все же, если бы внешнее и внутреннее совпадали, не было бы науки о человеке, не было бы и его самого.

Интуиция совести. А. А. Ухтомский настойчиво рассеивает заблуждение, которым живет современный человек. Оно заключается в фантоме, в ошибочном представлении о том, что истина, правда, нам доступная, есть искомый продукт (плод) нашего абстрактного ума. От такого ума, лишённого жизни, сердца, чувства, нравственности, один шаг до безумия, с которым давно граничит, например, технократическое мышление. Знать Истину — значит знать закон существующего, закон действительности. Далее следует примечательное пояснение: Истина есть вместе с тем и дело, человеческое действие, созвучное Природе и закону Бытия. В этом качестве она мыслится как этическое действие³⁶. Этическое действие А. А. Ухтомский связывал с интуицией совести, которой он сам обладал в полной мере.

³⁶ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1920–1929 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 124.

Сначала об интуиции. Он считал ее дологическим аппаратом, который принципиальнее, первоосновнее, возник раньше, чем буква. Под интуитивным аппаратом он понимал наблюдательность, чуткость, проницательность и включал в него совесть. Вместе с тем последнюю он рассматривал и как относительно автономный аппарат, включающий в себя интуицию. Возможно, отсюда это замечательное понятие «*интуиция совести*». Совесть — это главнейший физиологический (?) орган, конкретнейший аппарат познания-предвидения, аппарат цельного знания, который руководит нами обыденно — и в мелочах, и в крупном. А. А. Ухтомский не обольщался относительно совести и предупреждал, что «совесть, как и всякий другой показатель и отметчик реальности, с ее законами может быть более или менее надежным слугою, более или менее субъективной или объективной, более или менее здоровой или заболевшей! Она ведь может быть совершенно спокойной, удовлетворенной и ни о каких бедах не предупреждающей, в то время как человек или целое общество давно охвачены преступлением! Это тогда, когда преступление стало привычным!»³⁷. Удивительно узнаваемо! Видимо, для нас и про нас написано!

И все же совесть — орган, наиболее дальновидный «рецептор на расстоянии», наиболее глубокий зритель будущего. Его «надо бы назвать совесть («со=весь»»). Таинственный, судящий голос внутри нас, собирающий в себе все источники и порядки ведения, все унаследованные впечатления от жизни рода, и предупреждающий особыми волнениями и эмоциями высшего порядка о должных последствиях того, что сейчас делается перед нами»³⁸. Эта запись, помеченная 1914 годом, отчетливая артикуляция того, что впоследствии А. А. Ухтомский назовет функциональным органом индивида. Весьма показательно, что он начал развивать свою теорию со сложнейшего, как бы сверху — с психологии религиозного опыта, с совести. И тогда же он дал свое объяснение этому. Возражая против того, что эстетика и этика — «прикладные отрасли знания», А. А. Ухтомский пишет: «Эстетика и этика — дисциплины практические и одновременно руководящие именно потому, что практические. Они дают впервые реальный импульс самым теоретическим исканиям науки!»³⁹ В истории науки это не такой уж редкий случай. В. фон Гумбольдт начал с анализа внешней и внутренней формы художественных произведений И.-В. Гёте, а потом пришел

³⁷ Ухтомский А. А. Заметки на полях // Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 455.

³⁸ Там же. С. 458.

³⁹ Там же. С. 458.

к идеям внутренней формы языка. Л. С. Выготский тоже шел в своих исканиях от психологии искусства. А мы до сих пор убеждены в том, что для подготовки психологов анатомия и математика важнее эстетики и психологии искусства.

Вернемся к интуиции совести. Что она предвидит и какова цена ее ошибок? Соответствие истины, понимаемой как этическое действие, законам действительности «достигается прозорливостью, интуицией, художественно-философским прозрением в совершающийся порядок вещей. *В попытке определить те законы, через которые интуиция совести проникает в подлинный смысл вещей, в их правильную оценку, так что закон бытия становится законом возмездия, и заключается дело этики как науки*»⁴⁰.

Таким образом, А. А. Ухтомский связал этику с интуицией совести, а за последней признал права на проектирование действительности. Интуиция совести, или *душевный интеграл* в подсознательной жизнедеятельности человека, позволяет предвидеть ситуации, когда нарушение законов бытия, вносимое проектами действительности, превращает эти законы в законы возмездия. К сожалению, чем дальше *прогрессирует* (а не *развивается*) человечество, тем легче искать примеры возмездия за нарушение законов бытия. Пожалуй, с автором можно поспорить лишь по одному пункту. Я бы в этом контексте предпочел использовать термины «досознательное», «дологическое», которыми он, впрочем, широко пользовался, а не «подсознательное». Интуиция, в том числе и интуиция совести, может быть и постсознательной, постлогической, хотя по своим высшим проявлениям она кажется, как и поступок, вполне непосредственной.

Требования к уму. Весьма поучительна характеристика ума, данная А. А. Ухтомским: «Ум в нас есть высшее и единственное зрение истины, вещей и бытия. Но бывает, что он последним замечает то, что очевидно для самого примитивного наблюдения; и это последний признак падения жизни, в которой поколебался ум»⁴¹. С этой характеристикой связано его понимание абстрактного и конкретного: «...если самая конкретнейшая “вещь” в своей отдельности от среды есть уже плод нашей абстракции, то и обратно, самое отвлеченнейшее из понятий фабрикуется не за чем другим, как за выяснением того, в чем же подлинное, настоящее бытие, что в самом деле есть!»⁴². Это очень близко к тому, что Г. Г. Шпет называл не-

⁴⁰ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1920–1929 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 124.

⁴¹ Там же. С. 125.

⁴² Там же. С. 126.

уничтожимым «корнем» конкретности в абстрактном. Вообще, по отношению к абстрактному у А. А. Ухтомского наблюдается даже нескрываемая неприязнь: «Вся живая действительность застлана плотную сетью абстракций досуже-кабинетного происхождения, так что уже ничто в природе не видно открытым сердцем, открытым взором, непосредственным восприятием... Куда бы спастись от этих абстракций, от искаженной ими природы — где бы найти те пустыни, омуты, дебри, где бы не успел еще устроить себе абстрактный человек курорта?»⁴³ А. А. Ухтомский противопоставляет *живую истину мертвой абстракции*.

Образцом мышления для него служит искусство: «Художественная работа как работа исследовательская. Так и смотрел на свое художественное дело Ф. М. Достоевский. Это продолжение научной работы, т. е. исследование законов бытия в области человеческого духа»⁴⁴. Искусство имеет преимущество перед наукой, ибо оно сохраняет жизнь живой. Вот что он пишет о Л. Н. Толстом: «Плавная уступчивость, непрерывность переходов, связность и в то же время богатое разнообразие переживаний при сцепленности и единстве целого: вот когда способность к общности мысли, к обобщению оказывается в то же время свободною от абстрактности! Вот где корень для этого фокуса, когда мысль и ее предмет могут быть весьма общими и наиболее конкретными, свободными от умерщвляющей абстракции с подменами действительности “успокоительными формулками”!»⁴⁵

Наличие «корня» конкретности в абстрактном есть залог и гарантия предметности и ответственности мышления. Эти качества мышления чрезвычайно важны, поскольку, согласно А. А. Ухтомскому, мысль человека есть действие его; мысль есть проект реальности; человек есть деятельный участник своих мыслей. Невольно напрашивается аналогия с М. М. Бахтиным: мысль есть поступление; по М. М. Бахтину поступающее мышление есть единая «ткань моего эмоционально-волевого, действенно-живого мышления — переживания»⁴⁶.

Видимо, под влиянием Р. Декарта А. А. Ухтомский характеризовал сложные человеческие поступки как образы действия, называемые страстями. Страсть, эмотивные реакции, влечения и волне-

⁴³ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1930–1940 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 227–228.

⁴⁴ Ухтомский А. А. Из писем Н. Н. Малышеву // Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 470.

⁴⁵ Ухтомский А. А. Заметки на полях // Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 453.

⁴⁶ Бахтин М. М. Работы 20-х годов. Киев, 1994. С. 36.

ния, переживаемые и пережитые доминанты, согласно А. А. Ухтомскому, представляют собой неотъемлемое свойство научного творчества, тогда как «противопоставленные мысли, инстинкты, страсти — это стихия слепая и в то же время принудительная как “закон природы”, действующий явочно и с собственным смыслом, как всякий другой натуральный механизм, который мы изучаем в физике и технике»⁴⁷. Овладение такой стихией, в терминах Л. С. Выготского, есть достижение единства аффекта и интеллекта. Примечательна с этой точки зрения оценка А. А. Ухтомским великого И. П. Павлова: подлинный «муж желаний». Акцент все же на страсти, на живой энергии, на духе, а не на интеллекте.

Доминанта на лицо другого. Важная черта личности самого А. А. Ухтомского — доминанта на лицо другого человека и убеждение в том, что пока не сформируешь у себя такой доминанты, о тебе самом нельзя будет говорить как о лице. А. А. Ухтомский дает замечательное пояснение: «Представление мое о моем собеседнике — это гипотетический проект человеческого лица, составленный мною по интерполированным данным опыта и ради практической потребности войти в соприкосновение с данным лицом, жить с ним, делать с ним общее дело. Евангельский совет “не судить”, т. е. не осуждать собеседника, грозящий тем, что тут ты сам судишь и осуждаешь себя, говорит: когда интерполируешь лицо ближнего и собеседника в другую сторону, заканчивая образ его в отрицательную сторону, тем самым предпрещаешь для самого себя возможность совместного дела с данным человеком, и притом на основании твоих собственных отрицательных черт, которыми ты интерполировал своего собеседника! Собеседник твой таков для тебя, каким ты его заслужил! Тем, что не заканчиваешь его образ и не произносишь над ним окончательного суда, открываешь себе возможность его идеализировать, любить, проектировать и осуществлять вместе с ним новую лучшую жизнь!»⁴⁸ Доминанта на лицо другого, ближних, прежде всего друзей активна: «мое дело *сочувствие, любовь и развитие воли — всегда им помочь. Но мои отношения к ним отнюдь не должны включать в себя хотя бы тень личного экстенсивного искания, или побуждения*»⁴⁹.

Доминанта на лицо другого человека несколько отличается от того, что пишут некоторые наши специалисты по *социальной перцепции*, интересующиеся деталями туалета, например, пуговицей на

⁴⁷ Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 312.

⁴⁸ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1920–1929 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 128.

⁴⁹ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 70.

сорочке. Другие вступают в спор с М. М. Бахтиным, утверждавшим недопустимость «овнешняющего заочного определения личности». В отличие от них А. А. Ухтомский убежден в недопустимости даже очного «окончательного суда», о чем следовало бы задуматься без меры расплодившимся диагностам и тестологам личности.

Для А. А. Ухтомского «каждый человек, индивидуально существующий перед нами, *есть новый, вполне исключительный случай!* Никем он не может быть заменен, он совершенно единственное “лицо”. Тут приходится внести в опыт новую категорию мысли — уже не предмета, не вещи, а лица... Тут и встает впервые во всем своем своеобразии проблема Собеседника и Друга. Сумей построить и заслужить себе собеседника, какого ты хотел бы! Это недостижимо никакими абстракциями!»⁵⁰ Человеческому лицу и внутреннему человеку, его неповторимости, неценности А. А. Ухтомский посвятил многие патетические страницы: «с переходом в новую несравненную, еще более конкретную область опыта, где учитывается сам человек и его лицо, — придется заранее ожидать совсем новых законов и зависимостей, к которым мы не подготовлены и которые надо будет брать непредвзятыми, чистыми от привычек и предупреждений руками! Старые, привычные, казавшиеся универсальными законы войдут потом в эти новые законы как частность и провинциализм»⁵¹. Например, все усредняющий, «поганый “закон Вебера–Фехнера” делает то, что Бетховен более не будит человека в спящем животном»⁵².

Лицо человеческое — это новая грань, которую добавляет А. А. Ухтомский к обсуждению проблемы взаимоотношения понятий «я», «субъект», «личность», «вещь», «предмет», затрагивавшейся П. А. Флоренским, Г. Г. Шпетом, М. М. Бахтиным, А. Ф. Loseвым⁵³. Несмотря на вполне определенную и убедительную аргументацию того, что подлинная жизнь личности доступна только *диалогическому* проникновению в нее (М. М. Бахтин), в нашей психологии снова и снова воспроизводятся идеи о «внешнем бытии» личности, о том, что личность — это система, т. е. механизм, или его таинственное «системное качество». Главное состоит в том, чтобы уберечь в психологии личности так называемый принцип детерминизма. А. А. Ухтомский высказался на этот счет вполне

⁵⁰ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1920–1929 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 145–146.

⁵¹ Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник. Письма к Е. А. Бронштейн-Шур // Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 270.

⁵² Там же. С. 273.

⁵³ См.: Зинченко В. П. Мысль и слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М., 2000.

категорично: «Устройство жизни по принципу механизма — это и есть рабовладельчество. Но никогда не удавалось превратить человека в механизм безраздельно и в этом сказывалось вечно уходящее вперед и вечно ищущее новых путей существо человека!»⁵⁴

Свобода — труд преодоления. А. А. Ухтомский подчеркивал высказывания святителя Тихона о том, что Вселенная управляется, в сущности, Свободой. А. А. Ухтомский распространял это и на человека, воспитывающего себя «через образование привычек и их организацию. Это и значит, что “материя дана для упражнения свободы”! Через темную привычку, через инерцию старайся подняться к лучшему»⁵⁵, заключал А. А. Ухтомский. Норма для А. А. Ухтомского представлена в живом собеседовании, в котором открыты уши каждого для всех прочих и в котором строится история.

Постоянный мотив А. А. Ухтомского — мотив преодоления принуждения, вынужденности, даже дрессуры; подробные акты он противопоставлял «естественному» (в кавычках), инстинктивному ходу событий в развитии человека. Под *естественным* (без кавычек) он понимал не фактическое, но *нормальное*. Норма же для него — не в налично сложившемся, не в статистическом среднем, но в достижениях, в *требующихся перспективах*. Это есть характеристика «зоны ближайшего развития», для которой он намечал свои ступени личностного развития: «Так последовательно переходим со ступени на ступень от этики гедонизма к этике медицинской, а от нее к этике долга и, наконец, милости»⁵⁶. В последней ступени слышится пушкинская «милость к падшим». Под медицинской этикой, видимо, нужно понимать этику заботы о другом, о ближнем. Этика долга отличается от того, что и «как скажет моя душа». Значит, мы можем заключить, что А. А. Ухтомский задавал культурные нормы (ступени), но при этом понимал происходящее не только как норму обучения и развития, о которой так хлопочут (к сожалению, уже не только лицом) «стандартизаторы образования». Он рассматривал само развитие как норму. Норма — это культурная деятельность. При этом активность, деятельность имеют два вектора: один направлен вовне, т. е. на культурное задание, другой — вовнутрь, т. е. на себя грешного, на овладение собой: «Единство внимания и единство духа — единство и крепкая устойчивость личности в противо-

⁵⁴ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1930–1940 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 217.

⁵⁵ Ухтомский А. А. Из писем Н. Н. Малышеву // Ухтомский А. А. Интуиция со- вести. СПб., 1996. С. 496.

⁵⁶ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1930–1940 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 228.

положность многообразному распаду личности, психическому калейдоскопу большого и грешного внимания. Это не постоянно-данное, но становящееся, делающееся единство, — единство деятельного внимания, переносимого сосредоточенно на приходящее лицо, или вновь встреченный предмет так, чтобы читать его и заданную в нем его судьбу с возможной адекватностью»⁵⁷. Если необходимы ассоциации с нашими психологическими делами, то они очевидны. «Естественное» в кавычках у А. А. Ухтомского, т. е. фактическое, — это *натуральное* у Л. С. Выготского. Естественное, нормальное у А. А. Ухтомского — это культурное у Л. С. Выготского. Переход фактического, натурального в нормальное и культурное — это осознание и овладение у Л. С. Выготского и деятельность у А. Н. Леонтьева. А. А. Ухтомский, анализируя анатомический аппарат произвольных движений, который обладает десятками степеней свободы, пришел к заключению, что ни костно-мышечный аппарат в целом, ни какая-либо часть его не составляют готового механизма для выполнения таких движений. Такой механизм (функциональный орган) строится каждый раз заново путем ограничения и *преодоления* избыточных степеней свободы кинематических цепей человеческого тела. Мы видим, что и здесь А. А. Ухтомский шел сверху: от культуры духа, культуры личности. Эти идеи впоследствии легли в основание теорий построения движений Н. А. Бернштейна и развития произвольных движений А. В. Запорожца. Последний пришел к установкам личности снизу — от изучения движений.

Собеседование — общение. Размышления А. А. Ухтомского о роли *собеседования* в развитии человека ничуть не менее значимы, чем размышления М. Бубера о «я — ты» или размышления М. М. Бахтина о диалогизме сознания. Нормой в собеседовании также является преодоление: «собеседование, эмпирически данное и постоянно нас сопровождающее, еще не есть собеседование в подлинном смысле слова и в подлинном понимании каждым другого! Эмпирическое собеседование может быть сопряжено с солипсизмом. Настоящее собеседование есть дело трудного достижения, когда самоутверждение перестает стоять заслонкою между людьми»⁵⁸. Такой заслонкой «*между собеседником и им самим становится свое самоутверждение, свое успокоение, свое успокоительное миротолкование, своя персона и своя подушка успокоения под голову*»⁵⁹. Можно условно назвать достигаемую норму собеседования культурной, отличной от

⁵⁷ Там же. С. 228–229.

⁵⁸ Там же. С. 229.

⁵⁹ Там же. С. 228.

«естественного», эмпирического собеседования. Можно назвать его и живым собеседованием. Это главный императив психологии общения, если таковая хочет быть живой и культурной. Пока же психология общения в изучении своего предмета не поднималась выше эмпирического уровня. Психологи не раз пытались поднять общение на недостижимую высоту, называя общение деятельностью, в том числе и ведущей. При этом оказывалось, что в анализе и общении, и деятельности психология не поднималась выше эмпирического обобщения и не достигала уровня теоретического обобщения в смысле В. В. Давыдова. Иначе говоря, общение не было построено как предмет психологического исследования. Оно выступало в основном в своей социальной функции, рассматривалось как средство социализации. Споры нет: оно таковым и является. Оно может быть и средством внушения, орудием тоталитаризма, механизмом управления толпой. Но общение — не в меньшей степени средство индивидуализации: «Это сосредоточенное собеседование со встречным лицом и лицами, когда они читаются до глубины и потому получают ответы на свои дела, которые для них самих еще не понятны, а только носят в досознательном и готовятся открыться»⁶⁰.

Слиянное общение, совокупная деятельность ребенка и взрослого (она же предметная, она же коммуникативная) действительно представляет собой генетически исходную единицу психики, клеточку развития. Эту идею, вполне отчетливо сформулированную, я слышал от ученика А. А. Ухтомского Д. Б. Эльконина. Но полноценной такая деятельность может быть лишь на полюсе взрослого. На полюсе ребенка она пока еще протодеятельность, активность, например, не предметная, а манипулятивная. То же и с общением: не общение, не коммуникация, не собеседование, а их протоформы, или начальные формы, к числу которых относятся команды, управление взрослым со стороны ребенка, капризы и другие богатые формы экспрессии⁶¹. Необходимо еще проследить драму превращений протоформы совокупной деятельности в полноценные формы индивидуальной деятельности, которая вовсе не обязательно случается. Есть люди, у которых указующий перст является не только первой, но и единственной формой общения.

Понимание. Доминанта на лицо другого, живое собеседование предполагает понимание. Мало сказать, что эрудиция и понимание А. А. Ухтомского, казалось бы, безграничны, и они у него со-

⁶⁰ Там же. С. 229.

⁶¹ Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г. Совокупная деятельность как исходная единица психического развития // Психологическая наука и образование. 2000. № 2.

впадают, что бывает далеко не всегда. Среди эрудитов встречаются всё знающие и мало понимающие. А. А. Ухтомский, пользуясь выражением О. Манделъштама, был человеком всепонимания. Я рискованно использовать для характеристики А. А. Ухтомского именно этот термин, хотя он считал *иллюзией всепонимания*, в том числе и друг друга, одним из самых вредных настроений человека. А. А. Ухтомский замечательно иллюстрирует такой вред: «Работники по условным рефлексам переживали это внутреннее убеждение, что они до тонкости понимают те силы, которые управляют текущим внутренним миром человека и мотивами его поведения. Не понимая хорошенько своих ближайших опытов на собаках, они храбро перерабатывали свои умозаключения на внутренний мир человека. И это делало их *невеждами по преимуществу*»⁶². К сожалению, и сегодня не редкость подобная храбрая невежественность при описании и объяснении естественно-научных основ психической жизни.

Всепонимание А. А. Ухтомского совершенно другого рода. Оно неизменно давало ему сократовское ощущение недостатка осведомленности, знания, вызывало внутреннее беспокойство и напряжение, придавало силы его исканиям. Понимание у А. А. Ухтомского соседствует с любовью. Последняя выступает у него как метод, прием искания истины, не только предчувствие, но и предположение: «мир есть не предмет, не вещь, не “механизм” и не толчея *regretuum mobile*, но текущий процесс, и процесс трагический по своему содержанию! Об этом знает всякий, кто знает жизнь достаточно полно, и у кого было что любить и понимать»⁶³. Такое *любственное понимание* близко к тому, что Г. Г. Шпет называл *симпатическим* (ср. А. С. Пушкин: *симпатическое волнение*), а М. М. Бахтин — *сочувственным пониманием*. Позднее С. В. Мейнен сформулировал своего рода методологический *принцип сочувствия* в науке. А. А. Ухтомскому по душе был «принцип унаследования», которому он неуклонно следовал как в изучении физиологических событий, так и в науке. Иллюстрацией второго может быть его отношение к деятельности и к научным трудам И. Ф. Циона, И. М. Сеченова, Н. Е. Введенского, Ч. Шеррингтона, И. П. Павлова, К. М. Быкова. Он жил в культурной научной традиции, стремился к пониманию и согласию, но не к соглашательству, и не поддавался входившей в моду советской манере начинать науку с себя, собой же ее и за-

⁶² Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1930–1940 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 230–231.

⁶³ Ухтомский А. А. Из писем Н. Н. Малышеву // Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 497.

канчивать: «Опять и опять змея хватает зубами свой собственный хвост! Там, где думали “сказать последнее слово”, начинают с белого бычка!»⁶⁴ Частенько в России бывало и такое: науку приканчивали те, кто ее не зачинал. Так случилось, например, с психоанализом, психотехникой, педологией, генетикой, кибернетикой. Чудом выжила психология. А. А. Ухтомский хотел бы, чтобы наука была царством терпимости, а не хозяйством авторитетов.

Всепонимание А. А. Ухтомского не было благодушным, часто оно было весьма суровым, даже беспощадным. Приведу из его трудов несколько примеров, не нуждающихся в комментариях: «ленинизм до иступления»; «диалектическое свинство»; «олигархический социализм»; «Храни Господь нас от поповства и загребуших рук его!»; «мертвенность (с одной стороны) и безалаберщина (с другой стороны) в среде университетских»; «тупая и слепая злоба мещанского мирозерцания»; «самодержавие поповства»; «поучающая церковь»; «Русь перестала быть Святою, она покрыта нечистотою с головы до ног, она стала блудницей, вся бесновата, опозорена, искажена...»; «одна из очень больших бед нашего времени состоит в том, что дураки научились теперь говорить, как умные люди»; «С Ивана III на Москве уже вошло в “норму”, что правитель есть тот, кому закон не писан! Начал же этому еще при Симеоне Гордом и при Калите!»; «Безумие абсолютного самодовольства, когда всех хотят сделать такими же, каковы сами. «Обойти море и землю, чтобы хоть одного сделать еще хуже себя самого!»; «“Воспитание народа” — это типичная и, можно сказать роковая претензия индивидуализма и интеллигенции... Никого не коробит претензия шизотимиков и циклотимиков “воспитывать народ”». К этому можно добавить и претензию на формирование личности. Следует помнить, что народ и сам обладает недюжинной воспитательной силой. Например, приезжающие в Россию гастарбайтеры довольно быстро привыкают к алкоголю, а приезжающие менеджеры и чиновники — к взяткам. В то же время, наши эмигранты столь же быстро расстаются с этими «народными» привычками.

Пожалуй, довольно. Все это звучит не только современно, но и своевременно, что, возможно, свидетельствует не столько о прозорливости А. А. Ухтомского, сколько о том, что Россия пребывает в «хронологической провинции» и не замечает, «какое тысячелетие на дворе». Протест глубоко верующего А. А. Ухтомского против «самодержавия поповства» и «поучающей церкви» подобен утверждению А. А. Ахматовой: «Христианство на Руси еще не проповедано».

⁶⁴ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1930–1940 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 233.

В приведенных безжалостных оценках нет презрения, есть констатация, скорбь, боль, сочувствие. Да и констатация, скорее, вынужденная, безрадостная, что вполне естественно. Ведь А. А. Ухтомский был истинным патриотом. «Я считаю, — писал он — что целиком и безраздельно принадлежу родине и родному народу и никому более, — им принадлежат мои помышления и душевные болезни. С мыслями о них я переходил из Корпуса в Духовную академию и с мыслями о них ушел из среды духовных к свободной, т. е. общенародной, науке. Значит, для меня и не может быть какого-либо выбора; “или с родиной-народом, или как-нибудь иначе”. Я живу и, Господь даст, буду жить только с родиной-народом и никак иначе. И это не “умствование” с моей стороны, что сейчас говорю Вам об этом, а то, что есть»⁶⁵. А. А. Ухтомский больше радовался победам русского слова, чем русского оружия. Он намечал далекие, все еще утопические перспективы *исторической совести* — самоликвидация военщины. Пока же представление об исторической совести незнакомо не только политикам, но и многим ученым.

Сознание и самосознание. Обратимся к следующему кругу свойств личности ученого. Условно их можно назвать *сознанием*, доминантой на самого себя, вниманием к самому себе, самосознанием, самооценкой: «Достаточно пронизательная бдительность внимания и чтения себя самого — это редкое состояние человека. Обычно царит “досознательное”... Собственно “сознательная” и самоуправляющаяся личность есть редкое и очень трудно достигаемое состояние. Можно сказать, то господствует подлинно поддерживаемый дурман от страстей в ветхом Адаме.<...> Поэтому Н. Е. Введенский был прав, когда говорил, что подлинно сознательная, самопонимающая деятельность есть редкое состояние в человеке, — отдельные острова посреди преобладающего моря стихийного волнующегося психофизиологического ширения»⁶⁶.

Подлинно сознательная самопонимающая деятельность есть редкость, ее нельзя назвать данностью или даже заданностью, так как далеко не каждому по плечу такое задание. Физиологи Н. Е. Введенский и А. А. Ухтомский лучше психологов понимали исключительность так называемого единства сознания и деятельности. Нам мало было идеологемы о вторичности сознания, его нужно было вовсе растворить в деятельности. Такое состояние, включающее сознание

⁶⁵ Ухтомский А. А. День ожидаемого огня. Письма к В. А. Платоновой // Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 72–73.

⁶⁶ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1930–1940 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 255.

«второй свежести», могло уже совершенно безвредно для идеологии служить одним из главных методологических принципов психологии. Разумеется, соотношения сознания и деятельности в жизни человека могут быть весьма различными. Есть ситуации, в которых резкое превалирование сознания оказывается тормозом деятельности, даже вызывает страх, ужас. В таких случаях человек гонит свое сознание от себя, закрывается от него деятельностью. Не это ли произошло с советской психологией, сконцентрировавшей свои усилия на изучении деятельности? Сознание в ней присутствовало лишь номинально или пребывало в такой относительно безопасной нише, как исторические корни возникновения сознания и развитие сознания в онтогенезе. И в том, и в другом случаях мы имели дело с протосознанием. А. А. Ухтомский не бежал от своего сознания, но изливал его в доверительной переписке и в записях для себя. И не только: сознание было для А. А. Ухтомского инструментом духовного роста и личностного развития. Он писал, что доминанты могут продолжать свое влияние на психику и жизнь и тогда, когда они спустились ниже порога сознания. Они могут становиться патогенными комплексами, внутренними врагами. А. А. Ухтомский достаточно равнодушно упомянул психоаналитический прием преодоления этого, поскольку сам он предпочитал молитвенное сосредоточение внимания, молитвенное чтение своей души: «Рассматривая себя в зеркале, переводит тайных внутренних врагов своих в свет сознания; вплетай в его оздоравливающую, регенерирующую ткань!»⁶⁷ Много позже Н. А. Бернштейн писал о биодинамической ткани движений и действий, А. Н. Леонтьев — о чувственной ткани образа, В. П. Зинченко — о том, что переплетение биодинамической и чувственной ткани составляют онтологический слой сознания. Однако я не припомню автора, который бы так точно и красиво определил психологическую и жизненную функцию сознания, хотя, конечно, сюжет «осознание — овладение» в психологии не новость. Это сюжет и Л. С. Выготского. Посмотрим на его развитие А. А. Ухтомским: «Молитвенная дисциплина есть по преимуществу дисциплина всеобъемлющего внимания, освещающего все уголки и тайны подсознательного, соединяющая и собирающая личность в одно деятельное целое, скрепленное притом могучею эмоцией — эмоцией любви ко всякому Бытию!»⁶⁸ Эмоция, согласно А. А. Ухтомскому выполняет роль *махового колеса*. Она укрепляет центральную нервную систему

⁶⁷ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1920–1929 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 138.

⁶⁸ Там же. С. 138.

на одном определенном устремлении, не дает ей подчиняться случайным побочным импульсам и направляет ее на определенные достижения. Значит, эмоция — ядро личности, особый функциональный орган индивида; это вывод, к которому в последствии пришел А. В. Запорожец. Очень многие мысли, высказанные А. А. Ухтомским при «чтении своей души», просятся в учебники психологии.

Личность. Как мы видели выше, деятельность и сознание А. А. Ухтомский связывает с личностью. Личность — это состояние; забегая вперед, можно назвать ее функциональным органом. Приведенное выше разъяснение Н. Е. Введенского говорит о том, что личность как труднодостижимое состояние (второе рождение?!) может быть преходящим. Личность — не диплом, не сертификат, она может потерять лицо. Поэтому А. А. Ухтомский писал: чтобы стать лучше, надо становиться лучше! «Человеком нельзя быть, им можно лишь делаться. И это дело не статических свойств интеллектуального аппарата, но динамики достижений, т. е. аппарата стремлений, изволения, морального определения и достижения!»⁶⁹ Личность — это не только состояние организма, но и состояние духа, «человек собранный». Если согласиться с тем, что я вычитываю из А. А. Ухтомского (или вчитываю в него?), то он действительно сделал шаг от функционального органа к духовному организму, который не так-то просто разобрать на отдельные субъектные функции, не разрушив целого, не обезличив, не деперсонифицировав его.

А. А. Ухтомский с большим подозрением, а то и с презрением относился к тому, что в педагогике и психологии стало схематизмом сознания, именуемым «формирование личности»: «*Нравственная личность* не есть то, что должна *сделать* этика, а то, что она должна *изучить*; для этики это не ожидаемая впереди конструкция, а отправной *факт* опыта... Совершенно освободившийся от предвзятых теорий естественнонаучный ум обратился к исследованию *теплого, живого и конкретного нравственного факта* именно, прежде всего в тот момент, когда им *незаметно достигаются жизненные результаты*, т. е. пока он не вступил в пределы “социальных” абстракций»⁷⁰. Справедливости ради нужно сказать, что в отечественной психологии о формировании личности, о формировании нового человека больше всего говорили личности весьма и весьма сомнительные. Многие из них с легкостью забыли о «социальных» абстракциях и

⁶⁹ Ухтомский А. А. Из писем Н. Н. Малышеву // Ухтомский А. А. Интуиция — осязание. СПб., 1996. С. 492.

⁷⁰ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 86.

кинулись в примитивное имиджмейкерство, в восточную эзотерику. Разумеется, было немало психологов, например, И. А. Соколянский, А. И. Мещеряков, Л. И. Божович, А. В. Запорожец, М. И. Лисина, А. Р. Лурия, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин и их последователей, изучавших «теплые, живые и конкретные нравственные факты».

И все же приведу оптимистическое утверждение, скорее, аванс, выданный А. А. Ухтомским нашей науке: «Весь особый характер современной психологии, возвышающий ее над старой, — в том, что волевая сторона и вера уясняется ею таким уходящим вперед фактом, как окружающая действительность представляется уходящей все вперед от теоретических толкований»⁷¹.

Возвращаясь к личности, повторю уже звучавший выше мотив. «*Материя* это и есть тот *носитель сопротивления* нашему вожделению, от соприкосновения с которым рождается истина. Можно сказать: что было бы, если бы не было сопротивления! Куда занесло бы тогда человека и его попытки неудержимого прожектерства! Если бы не зависящее от нас благодетельное сопротивление, что бы мы успели уже наделать в нашем детском устремлении все ломать и переделывать по-своему?!

Итак, все вновь и вновь, все с разной стороны начинаем мы понимать, что сопротивление материи, ее непроницаемость, ее упорство, инертность и инерция — даны нам “для упражнения свободы”! Из столкновения с нею мы приходим к закону. Пока свобода не воспитана, пока она представляется “дичком”, как гибельна она оказывалась бы в своих вожделениях!»⁷². И в то же время А. А. Ухтомский пишет, что никогда элемент человеческой воли и свободы — элемент веры — не будет исключен из его истины.

Упражнение свободы есть преодоление материи, преодоление себя, претерпевание, страдание, а по сути — преодоление «несотворенной добытийственной свободы» (термин Н. А. Бердяева) и достижение собственной, самим сотворенной свободы, преодоление избыточности степеней свободы кинематических цепей человеческого тела при построении движений, преодоление избыточности степеней свободы образа по отношению к оригиналу, преодоление избыточности языка при порождении речевого высказывания, преодоление избыточности внимания при его концентрации, преодоление избыточности вариантов (гипотез) при принятии решений и т. д. без конца. Видимо, это общий закон психического развития. Он

⁷¹ Там же. С. 83.

⁷² Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1930–1940 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 212.

распространяется и на развитие личности, которая по мере своего становления преодолевает избыток собственной индивидуальности, укрощает ее. Парадокс состоит в том, что личность, преодолевая избыток индивидуальности, создает новый избыток по отношению к ней. Ибо «обнуление» степеней свободы есть смерть. Для укрощения вновь созданного избытка личность зовет на помощь сознание и совесть. А. А. Ухтомский отчетливо понимал разницу между личностью и индивидуальностью. Стремясь к деятельному единству своей личности, он преодолевал духовную болезнь самоуверенности, зло самоудовлетворения, ядовитую сторону самоутверждения, старался достичь *святого недоверия себе*, вернуть свое греховное Я, укрепившуюся самость и тяжелое тело на место слуги и орудия духа... Самоуверенности он противопоставил скромность, а истину видел в кротости: «Истина, — а это понятие прежде всего нравственного порядка, — открывающаяся человеку до всякой науки и, зачастую, не внушаемая и многими годами научной работы, — в кротости»⁷³. Далее звучит откровенная издевка над коллегами: «“Чем вы теперь занимаетесь”? — спросили бы меня товарищи по мысли. “Занимаюсь, вникаю в философию этих самонадеянных людей естественной науки”, — ответил бы я»⁷⁴. Замечу, что при всей своей скромности и кротости А. А. Ухтомский отчетливо осознавал свою особость и отличие от “людей естественной науки”. Он страдал от одиночества и ценил его. Гордыня, зависть ему были совершенно чужды.

Судьба не баловала этого замечательного человека. Его труды умудрилась не заметить школа И. П. Павлова, хотя именно А. А. Ухтомскому принадлежит наиболее пронзительное слово о великом ученом, зато заметил Ч. Шеррингтон, что было А. А. Ухтомскому очень приятно. Психологи значительно выше оценили труды ученого, но он об этом не узнал. Не узнал он и о том, что в гуманитарной науке его имя прославил М. М. Бахтин, заимствовавший и развивший понятие «хронотоп». Это понятие заимствовал (без ссылки) и неверно истолковал В. И. Вернадский. Социальная ситуация развития науки в стране была труднопереносимой. Но А. А. Ухтомский относился к этому философски. В 1938 году он не без горечи написал: «Была высказана претензия: “Не допускать больше великих ученых!” Это — претензия такая же древняя и типичная, как и попытка Ареопага корригировать Сократа! Как только начала помнить себя наука, началась и эта претензия.

⁷³ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 77.

⁷⁴ Там же. С. 77.

Но ведь и «сие от нас не зависит»! Тут — нечто, выходящее уже из границ нашей нормальной компетенции, — *независящее* обстоятельство из спасательных для человечества вопреки его вожделениям самоутверждения!»⁷⁵.

И все же свое счастье А. А. Ухтомский видел в *научной продуктивности*: «Вне его мне ничего не надо в жизни. (Конечно — нравственное спокойствие духа; но именно — насколько оно условливает свободную работу мысли)». Не нужно думать, что это легкая ноша. «Я мучаюсь тем, что моя жизнь, и именно даже умственная жизнь, представляется для меня *более биографическим, чем логико-систематическим*»⁷⁶. На языке методологии науки это означает, что А. А. Ухтомский не просто обладал живым, личностным знанием, но и порождает таковое. Условием научной плодотворности он считал не только умственный труд, но также труд и пот при работе над сердцем своим: «наука не может пойти плодотворно, пока внутренняя горница человека не вычищена»⁷⁷.

Остается только позавидовать А. А. Ухтомскому. Сегодня по отношению к внутреннему миру психологов язык не повернется произнести замечательное слово «горница». В лучшем случае — «полуподвал». Внутренняя горница — не только ум. Необходимо «очищение помыслов». А. А. Ухтомский спрашивает своего адресата, «можно ли сказать, что сердце усваивает правду. Не будет ли это подобная же односторонность, как если бы мы сказали: уму открывается истина? Истина открывается деятельному духу, насколько он очищает свое сердце, а затем ум, т. е. воле, сердцу и уму вместе»⁷⁸. Значит, истина открывается деятельному духу, опирающемуся (?), ориентирующемуся (?) на душу со всеми ее атрибутами. Напомню еще раз: эти слова принадлежат физиологу, которому не то что в принципе — в кошмарном сне не могла бы прийти идея искать в мозгу нейроны сознания или что-нибудь подобное.

Гипотеза о происхождении учения А. А. Ухтомского о доминанте. А. А. Ухтомский отчетливо представлял себе масштабность диапазона возможных применений общего пути и необозримость последовательно осуществляющихся на этом пути виртуальных функциональных органов. Возможно поэтому он не спешил компоновать

⁷⁵ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1930–1940 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 230.

⁷⁶ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 64.

⁷⁷ Ухтомский А. А. День ожидаемого огня. Письма к В. А. Платоновой // Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996. С. 50.

⁷⁸ Там же.

существующих виртуально «динамических подвижных деятелей», имеющих отчетливые измеримые характеристики в виде сил, а также их физиологические проекции или корреляты, в искомый образ духа, в духовный организм, а обозначал их всего лишь как симптомокомплекс. (Я вовсе не хочу принизить значения последнего понятия: пусть бы и в симптомокомплекс тоже.) Ведь от функционального органа до духовного организма меньше шага. Тем более что замысел был сформулирован как жизненный и не мог быть забыт. Казалось бы, от виртуальных механизмов, от функциональных органов индивида логично перейти к духовному организму, во всяком случае, признать их его возможным основанием. И такой намек, действительно, был сделан. В 1923 году А. А. Ухтомский в контексте рассказа о доминанте писал о высшей психической жизни, о душевной работе, в частности, о том, что яркая и живая доминанта в душе держит в своей власти все поле душевной жизни⁷⁹. Как раз в это время психология в очередной раз потеряла душу. И хотя науки о жизни, о поведении, психология, философия, искусство были постоянными спутниками А. А. Ухтомского, прямого упоминания об анатомии и физиологии человеческого духа в опубликованных при жизни работах ученого не встречается. Почему?

Возможный ответ на этот вопрос состоит в том, что замысел А. А. Ухтомского имел своим источником несомненно хорошо знакомую ему, благодаря богословскому образованию, традицию православной патристики. Кроме того, по-видимому, здесь могли сказаться очевидно известные Ухтомскому традиции исихастских практик, которые С. С. Хоружий реконструирует как «исихастскую антропологию». В ней особенно детально прорабатывается своего рода энергийная проекция человеческого существа и намечается интереснейший концептуальный аппарат для ее описания. Сюда входят понятия свободы, динамических и этических установок, телесной, душевной и умственной доминант, их упорядоченного энергийного единства и др. С. С. Хоружий следующим образом суммирует представление о человеке, развитое в традиции исихазма: «Итак, энергия — первый импульс и актуальный почин движения; и тварь всегда обладает целым множеством разнородных и разнонаправленных энергий. Следует различать энергии телесные и душевные. Анализ сознания приводит к дальнейшим подразделениям; выделяются также различные виды душевных энергий. Уже у Григория Нисского, а затем у Евгария возникает трехчастное деле-

⁷⁹ Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 17.

ние души, на части мыслительную, (по) желательную и раздражительную (она же яростная, включающая эмоции); отсюда, можно говорить и о соответствующих видах энергий...

Все в целом множество энергий человека, непрерывно меняющееся образует своего рода энергийную проекцию человеческого существа. Человек — (само) деятельный центр, энергии — разнонаправленные, разнородные, а также взаимосвязанные, взаимодействующие выступления, “ростки деятельностей” этого центра, в совокупности образующие подвижную систему, меняющуюся конфигурацию — проекцию человека в план энергии, которую естественно назвать *энергийным образом* человека...

Можно выделить различные типы энергийных образов. Любая цель человека предполагает, вообще говоря, комплексную деятельность, включающую ряд различных энергий. Поэтому обычно энергии объединяются в группы, собранные вокруг некоторой центральной энергии, которая связана с определенной целью, стремлением. Такую энергию, объединяющую и подчиняющую себе некоторую группу энергий, будем называть *доминантой*. Порождаясь определенными стихиями тварного бытия, энергии — в том числе, доминанты — могут быть телесны, душевны, умственны. Соответственно, можно говорить о таких же типах энергийных образов: если в образе заведомо преобладают доминанты данного типа»⁸⁰.

Сходство с учением о доминанте А. А. Ухтомского, на мой взгляд, поразительно. Каждый может убедиться в этом, прочтя, например, статью А. А. Ухтомского «Доминанта как фактор поведения», где идет речь о телесных, умственных, душевных, личностных, социальных и других видах доминант (установок). Хотя первые факты, давшие основания будущему учению о *доминанте* были обнаружены А. А. Ухтомским в эксперименте еще в 1904 году, оно получило свое оформление и развитие только в 1920-е годы. Совершенно ясно, что в условиях уже возникшего в то время советского «идеологического общежития» автор не мог сослаться на существующую в XIV веке религиозную практику. Косвенным подтверждением этого были звучавшие в середине 1920-х годов упреки в адрес А. А. Ухтомского по поводу того, что теория доминанты — это, скорее, богословская, а не физиологическая теория. Возможно, поэтому А. А. Ухтомский, делая в 1927 году доклад о доминанте, видимо, лукавил, говоря, что он заимствовал термин «доминанта» из книги Р. Авенариуса «Критика чистого опыта». (Такое лукавство

⁸⁰ Хоружий С. С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. М., 1995. С. 54–55.

вполне объяснимо. Ведь Ухтомский имел не только предосудительное богословское образование, но был к тому же князем и старообрядцем.) Правда, он подробно оговаривает, что заимствовал лишь термин, а сходство между явлениями, которые он обозначает, у Авенариуса и у него самого, весьма поверхностное.

Я изложил свою версию возможных истоков учения А. А. Ухтомского о доминанте и — шире — функциональных органов, поскольку оно сыграло большую роль в дальнейшем развитии отечественной физиологии и психологии.

Стиль научной деятельности. Нельзя не сказать о стиле научной деятельности и письма А. А. Ухтомского. М. М. Бахтин когда-то сказал, что индивидуальность — это свое слово в культуре. В этом смысле А. А. Ухтомский был глубоко индивидуален. Выражаясь его словами, он обладал своим особым стилем восприятия и понимания вещей, имел свой стиль экспериментальной работы, теоретического увязывания фактов и их интерпретации. Его теоретический подход имеет свою «манеру красоты». Он не принимал теоретиков, «оглушенных своей теорией», не считал теорию «подушкой для успокоения». «Фокусам теории» он противопоставлял действие. Характеризуя умственный склад своего учителя Н. Е. Введенского, он писал, что ему чуждо абстрактное математическое мышление. Как Фарадей, Введенский предпочитал мыслить конкретными образами, картинками⁸¹. А. А. Ухтомский подчеркивал относительность и подвижность исходных понятий и образов и способность их к переинтеграции по мере роста знания. Даже «истины», которым мы преданы он считал *интегральными образами*. А. А. Ухтомский стремился «понять связь явлений в них самих, без дополнительных гипотез» и всегда был «готов учиться у природы». Его труды дают богатую пищу для историков и методологов науки.

А. А. Ухтомский как-то заметил, что теории имеют свой фатум. Фатум его теории состоит в том, что она многие десятилетия, скажу мягко, признавалась существующей, но это признание было каким-то формальным. Понималась и развивалась она весьма узким кругом его единомышленников, да и то не по всему фронту. У его современников еще не сложился вкус к междисциплинарным исследованиям, а его учение о доминанте было подлинно междисциплинарным. Он пристально вглядывался в соседние научные области, в том числе и в гуманитарные. У него не вызвало большого удивления знакомство с системным подходом Л. фон Берталанфи.

⁸¹ Ухтомский А. А. Николай Евгеньевич Введенский и его научное дело. Некролог // Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978. С. 307.

Для него было совершенно естественным понимание функционального органа, переименованного позже в функциональную систему, как распределения активности в пространстве и времени. Он подчеркивал динамизм, временность, виртуальность функциональных органов. Когда системный подход вошел в моду, динамизм исчез, а его адепты, за редким исключением, стали претендовать на конечные объяснения слишком многих реальностей, феноменов, превращая их в косные и неизменные системы. Это дало повод М. К. Мамардашвили сказать: там, где система, там смерть. Система, вожделенный гомеостаз, единство сознания и деятельности или аффекта и интеллекта — всего лишь моменты в развитии. В психологии поветрие системного подхода превратилось в ветрянку, следы которой еще видны на ее теле.

Не хочется говорить банальности вроде той, что А. А. Ухтомский опередил свое время. Он жил в своем времени. Будут ли такие мужи в XXI веке? Или его захлестнет “искусственная интеллигенция” вкупе с искусственным интеллектом? Я надеюсь, что судьба теории А. А. Ухтомского в XXI веке будет счастливее, чем в веке ушедшем. Чтение его научных трудов и записей, опубликованных его учениками и последователями, способствует возвращению в науку свободного ума и забытого русского языка, осмысленной и одухотворенной речи.

Психология издавна тоскует по собственной онтологии, по механизмам душевной жизни. Наиболее привычный путь их поиска состоит в обращении к физиологии. И действительно, психология извлекла из физиологии множество полезных уроков, которые даже оформлены в специальные области знаний, получившие названия физиологическая психология, психофизиология, нейропсихология и т. д. Пожалуй, главный урок, который извлекла психология из своих контактов с физиологией, состоит в том, что зона поиска онтологии психического должна быть расширена, т. е. вынесена за пределы нервной системы, даже за пределы физического тела человека в сферу его активности, поведения, деятельности, поступков, вынесена в мир. А. А. Ухтомский преподавал психологии замечательные уроки, которые она все еще не усвоила в полной мере. (У меня есть подозрение, что его уроки недостаточно усвоены и физиологией.)

Общепризнанно, что учение великого И. П. Павлова определяло развитие психологии в первую половину XX века. Оно определило ее естественно-научную, материалистическую и детерминистическую парадигму. Сегодня ее объяснительный потенциал, во всяком случае для психологии, исчерпал себя не только с точки зрения культурной философии, но и с точки зрения естествознания. Вторая половина

столетия прошла «без царя в голове», что, может быть, и не так уж плохо. Конечно, весьма значимы фигуры Ж. Пиаже и Л. С. Выготского, но их влияние, к сожалению, оказалось значительно меньше, чем влияние И. П. Павлова. Мне кажется, что психологию XXI века в большой степени будет определять учение А. А. Ухтомского, на основе которого может быть создана «психологическая физиология» (не надо смешивать с психофизиологией). Ее предсказывали Л. С. Выготский, А. Р. Лурия. Последний внес в нее значительный вклад. Психологическая физиология — порыв или прорыв к духовности и свободе — теснейшим образом связана с культурно-исторической психологией, которую у нас развивал Л. С. Выготский и его последователи. И для одной и для другой ключевым является понятие «новообразование», порождаемое либо в тех или иных формах активности, предметной деятельности, либо в мышлении и сознании индивида, которые конечно, также активны и предметны. А. А. Ухтомский знал оба способа рождения новой виртуальной реальности и ее воздействия на поведение и деятельность человека. Он писал о новых надстройках над рефлексам и инстинктами, надстройках, которые будут действительно объективными достижениями, способными конкретно предопределять дальнейшее поведение. В. В. Кандинский начал свою книгу «О духовном в искусстве» словами: «Всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств». В этом же смысл «Психологии искусства» Л. С. Выготского и культурно-исторической психологии. Эти взгляды можно обобщить формулой М. М. Бахтина: «Душа — это дар моего духа другому»⁸². Поучительно совпадение взглядов естествоиспытателя, гуманитария и художника. Это не может быть случайностью.

Заключение. Я пытался представить портрет ученого. Главное в нем — двоякий вектор его взора: вовне и на себя, что, впрочем, в культуре не новость. И все же мы увидели доминанту на лице другого и глаза, обращенные внутрь самого себя, доминанту души на развитие собственного духа и высокую требовательность к себе. Увидели интерес к жизни души и духа и встретились с замечательными описаниями этой жизни, с выпуклым изображением ее отдельных феноменов. В 1899 году А. А. Ухтомский определил задачу своей научной карьеры: выяснить *психологическое существо* «религиозной жизни»⁸³. Удалось ли это А. А. Ухтомскому, не напрасно ли

⁸² Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. С. 201.

⁸³ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1896–1911 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 55.

он пошел в университет, в науку? Реализовал ли он свой дерзкий замысел — познать анатомию и физиологию человеческого духа? Вопрос не случаен, так как внешне А. А. Ухтомский поступил, казалось бы, так же, как и другие психологи: обратился к научной объективности, к физиологии нервной системы. Однако, в отличие от них, он не забыл о душе и духе.

Психологические воззрения А. А. Ухтомского были культурными и историческими, духовными, живыми и конкретными, теоретическими и практическими, холистическими и аналитическими. Рискну сказать, что их характеризовал *духовный академизм*. Поясню, что это значит. Классическая, или академическая психология в своем стремлении к объективности иногда доходила до того, что превращала человека, т. е. духовное существо (это не большой комплимент, чем *Homo sapiens*), во вполне телесный «нервно-мышечный препарат». В этом случае психологическая наука стремилась измерять абсолютные пороги, скорость адаптации, время простой реакции, чистую мнему, максимально изолируя ту или иную психическую функцию от других и от ее жизненного контекста. А. А. Ухтомский, напротив, изучая реальный нервно-мышечный аппарат, не утрачивал *биологической перспективы* и смотрел на живое вещество духовным взором, оком своей души.

В первом случае «психология оплотневала в физиологию» (А. Белый), во втором — физиология одушевлялась, одухотворялась. Приведу запись Ухтомского от 24 ноября 1899 года: «Когда Розен говорил мне: “с физиологией вы все равно до души не доберетесь; займитесь-ка лучше Упанишадами — там больше глубины и ближе душа”, — тут выразилась старая борьба *классицизма* с его надеждами и убеждениями и нашего математического *реализма* с его верой. Я — верующий реалист и решительный антагонист всевозможного классицизма. Пойдем далее, будем мучениками нашей веры, бодро вступим в жизнь *мысли*, тут *созидания еще впереди*»⁸⁴. Впереди оказалось создание «психологической физиологии». Именно так А. Р. Лурия назвал физиологию активности Н. А. Бернштейна и не без оснований считал, что его собственные исследования представляют собой психологическую физиологию и нейропсихологию.

С сожалением приходится констатировать, что ни Н. А. Бернштейн, ни А. Р. Лурия не оценили в должной мере вклад А. А. Ухтомского в становление этих сфер знания. А. Р. Лурия много ссылался на П. К. Анохина, на используемое им понятие «функ-

циональной системы», являющееся более поздним и слабым аналогом понятия «функциональный орган», хотя П. К. Анохин в молодые годы работал у А. А. Ухтомского и лишь затем перешел к И. П. Павлову. К сожалению, Н. А. Бернштейн и А. Р. Лурия использовали понятие «функциональный орган» без должных ссылок на А. А. Ухтомского. Более корректно использовали это понятие А. В. Запорожец и А. Н. Леонтьев. Однако во всех случаях это понятие использовалось вне культурно-исторического и духовного контекста, в котором оно возникло у А. А. Ухтомского. Сказанное, конечно, не следует воспринимать как упрек в адрес Н. А. Бернштейна, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, так как и сам А. А. Ухтомский в советское время вынужден был скрывать этот контекст, а его рукописное наследие открылось лишь несколько лет тому назад. И из него мы узнаём нечто совершенно удивительное. Оказывается, А. А. Ухтомский около 20 лет вынашивал *свое* учение о доминанте. В 1922 году (это год кончины его учителя Н. Е. Введенского) он писал: «Насколько учение о доминанте вытекает из данных Введенского, это можно видеть из того, что я не решался выступать с этим учением при жизни Н.Е.-ча: как только покойный увидел бы, что учение это имеет под собой достаточную почву и солидные факты, а также обширные перспективы, он стал бы настаивать, что оно целиком принадлежит ему, ибо предвидится его фактами и общими точками зрения. Со своей стороны, имея основание считать значительную долю участия в установке этого учения за собою, я оставлял его опубликование и развитие для будущего»⁸⁵.

Но «обширные перспективы» наступившему *на Россию* будущему были не нужны. Более того, прямой разговор о них стал опасен, поэтому в последующие 20 лет жизни в публикуемых научных трудах А. А. Ухтомский старался не выходить за пределы физиологии, хотя это ему не всегда удавалось. Вначале он сам укрощал доминанту души, а потом ее укрощали извне. Мы должны быть признательны А. А. Ухтомскому за то, что ему достало мужества писать в стол и своим адресатам (иногда под чужим именем). Вот такой странный и страшный хронотоп в бытии ученого и его идей можно охарактеризовать словами О. Мандельштама: «вчерашний день еще не родился». Не только моим учителям, но и современным поколениям психологов обширные перспективы учения о доминанте еще не открылись.

⁸⁴ Там же. С. 80.

⁸⁵ Ухтомский А. А. Из записных книжек. 1820–1929 // Ухтомский А. А. Заслуженный собеседник: этика, религия, наука. Рыбинск, 1997. С. 141.

Густав Шпет и Михаил Бахтин: оппоненты или единомышленники

Комментируя впервые полностью публикуемую работу М. М. Бахтина «К философским основам гуманитарных наук», написанную между 1940 и 1943 годом, Л. А. Гогтишвили показывает, что героями, оппонентами, с которыми мог бы полемизировать М. М. Бахтин, являются Г. Г. Шпет и А. А. Мейер. Первый символизирует «арелигиозно-феноменологическую», второй — «православно-платоническую» позицию. М. М. Бахтин, по словам комментатора, сознательно «совмещает» два разнящихся философских плана с целью высечь из этого совмещения необходимую уже самому М. М. Бахтину смысловую искру. Итогом оказываются записи, которые «благодаря такой их двойной перекрещивающейся амбивалентности, в определенном смысле являются, несмотря на их краткость, “ключевым” текстом для бахтинских работ 40–50-х годов»¹. Кратко обозначу вслед за Л. А. Гогтишвили свободное движение М. М. Бахтина в «шпетовском» поле и приращение бахтинского голоса к некоторым его секторам.

Внимательный анализ текстов Г. Г. Шпета свидетельствует о том, что его взгляд не так далек от взгляда М. М. Бахтина: «...я, имрек, есть нечто индивидуальное, конкретное, единственное и даже необобщаемое, следовательно, есть бесконечная полнота содержания, неисчерпаемая в своем богатстве, сама действительность в ее необъятности, — и это не только эмпирически, но по существу и принципиально»². Едва ли найдется человек, который откажется быть таким «предметом» и такой «социальной вещью». И далее: «Я, как предмет, хотя находится в отношениях и в связи с другими предметами, тем не менее совершенно основательно может быть

¹ Гогтишвили Л. А. Комментарии // Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 388–389.

² Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 299.

назван абсолютным, ибо нет такого соотношения, из которого единственно и необходимо можно было бы его определить. Кроме того, само его понятие как единственного и незаменимого исключает даже возможность какого бы то ни было соотношения, раз последнее носит общий характер. Другими словами, если бы здесь была корреляция, она была бы также всякий раз новой и незаменимой, а это уже лишает смысла само коррелятивное определение. Я, как социальный предмет с собственным именем, абсолютно в том смысле, что я не только “носитель”, но и “источник”, не только “предназначенность”, но и “свобода”. Однако, раз мы находим наряду с я и другие “единства сознания”, в том числе и такие коллективные, которые “связаны” только “узами” свободы, сама свобода обнаруживается здесь, как общее, но и как *общее*. Следовательно, полное определение или, лучше, самоопределение я, имрека, требует еще чего-то, что, как мы уже вскользь указали, “неизреченно”. “Божественное есть дело Бога, а человеческое — ‘человека’. Мое же дело не есть божественное, ни человеческое дело; оно не есть ни истина, ни благо, ни право, ни свобода; оно есть лишь *мое* дело, и это дело не есть общее дело; оно есть дело *единственное*, как и я сам — Единственный”³⁴.

Очень интересна и продуктивна аргументация Г. Г. Шпета того, что ни предопределенность, или предназначенность, ни свобода сами по себе не могут объяснить единственность Я, внутреннюю различимость индивидов и Я: «Единственный выход я вижу, прежде всего, в признании факта как он есть, т. е. наличности предопределенности и наличности свободы, или, объединяя это в одном термине, наличности *разумной мотивации*. Что же делает я, имрека, абсолютно единственным? Не его единство само по себе и не сама по себе наличность координации предопределенности и свободы, объединение которых выражается в раскрытии индивидуализирующей целесообразности, а только своеобразная интерпретация всего этого единства. Интерпретация есть обнаружение смысла, истолкование, как раскрытие уразумения, т. е. тот выход в третье измерение, о котором шла речь выше. Тут обнаруживается, что я не отрезано или не отвешено только по объему, а вплетается как “член” в некоторое “собрание”, в котором он занимает свое, только ему *предназначенное* и никем не заменимое место»⁵.

³ Шпет цитирует М. Штирнера. См.: Щедрина Т. Г. Комментарии // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 557.

⁴ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 304.

⁵ Там же. С. 273.

Предназначенность для Г. Г. Шпета выступала вполне недвусмысленно и определенно и означала быть самим собою, что лично он реализовал в полной мере: «Я, имрек, необходимо выступает в своей предназначенности, которая и есть установление и ограничение его пределов, его “определение”: *я не может не быть самим собою*. Но его пределы суть также пределы других имреков, внутри же этих пределов каждый свободен: *я — свободно, раз оно во всем остается самим собой*. “Собрание” есть то, что уничтожает эти пределы, т. е. пределы каждого имрека, что уничтожает раздельность, дистрибутивность, — другими словами, что приводит к абсолютной свободе: здесь я освобождается от предназначенности, *оно может не быть самим собою*»⁶. Мне кажется, что Г. Г. Шпет никогда не освобождал себя от своей предназначенности. Он не был западником, не был славянофилом. Он, пользуясь выражением Ф. М. Достоевского, был «русским европейцем» и делал все возможное и невозможное для возрождения России. Он не причислял себя ни к какому цеху, будь то психология, лингвистика, философия, логика, эстетика. Он был всем и во всем оставался самим собой. Оставался свободным...

Обращу внимание на то, что Г. Г. Шпет интеллигентно говорит о «собрании», а не о «соборе со всеми», не о коллективе. Для него Я — это подлинная единственность, а не «совокупность всех общественных отношений» и не «продукт коллектива». Думаю, что Г. Г. Шпет согласился бы с А. А. Зиновьевым, горько охарактеризовавшим сущность человека как такую совокупность общественных отношений, которую человек в состоянии выдержать.

В заметках «Сознание и его собственник», опубликованных в 1916 году, откуда взяты эти выписки, Г. Г. Шпет постоянно подчеркивает, что такая «вещь», как Я, характеризуется единственностью места и времени, единственностью животного происхождения, социальной и исторической единственностью, что всякое Я есть собственное, что сходство многих Я только в том, что каждое из них — единственное, *unicum*, что они неодинаковы. «Словом, я выделяется среди конкретных вещей тем, что оно не допускает образования общих понятий, выходящих за пределы единичного объема. И нельзя сказать, что это зависит от нашего “желания” или “интереса”, но это зависит исключительно от самого я, как предмета. В силу тех же особенностей я, которые не допускают обобщения в его изучении, о я, как таком, не может быть никаких теорий, и, как такое, я — *необъяснимо*. Оно подвергается только истолкованию, т. е.

⁶ Там же. С. 305.

“переводу” на язык другого я или на некоторый условный, «искусственный» язык поэтического творчества»⁷. Г. Г. Шпет говорит, что нужно «отрешиться от мысли, от предрассудка, будто “индивид” есть минимальный вид, <...> что суждения с субъектом я не могут быть суждениями общими, ибо само я обобщению не подлежит»⁸.

А вот что на эту же тему, спустя несколько лет, писал М. М. Бахтин: «И я-есмы — во всей эмоционально-волевой, поступочной полноте этого утверждения — и действительно есмь — в целом, и обязуюсь, сказав это слово: и я причастен бытию единственным и неповторимым образом, я занимаю в единственном бытии единственное, неповторимое, незаместимое и непроницаемое для другого место. В данной единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единственном времени и единственном пространстве единственного бытия не находится. И вокруг этой единственной точки располагается все единственное бытие единственным и неповторимым образом. То, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может. Единственность наличного бытия — нудительно обязательна. Этот факт моего *не-алиби в бытии*, лежащий в основе самого конкретного и единственного должествования поступка, не узнается и не познается мною, а *единственным образом признается и утверждается*»⁹.

Понимание «единственности», о которой пишут Г. Г. Шпет и М. М. Бахтин, может облегчить древнеиндийский образ сферы, который в европейской традиции использовал Николай Кузанский. Это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность или окраина — нигде. В таком пространстве места всем хватит, и каждый будет иметь свое собственное и единственное место. Но человек становится центром такой сферы лишь в меру того, как принимает ее в себя, становится микрокосмосом. Это и есть Я и мое обстояние, или мое обстоятельство.

Из приведенных рассуждений Г. Г. Шпета следует, что он не хуже М. М. Бахтина понимал, что есть принципиальные различия в познании вещи и в познании личности. Следует учесть также, что статья «Сознание и его собственник» была написана Г. Г. Шпетом задолго до «Записей» М. М. Бахтина. А до них обоим по этому же поводу в 1914 году высказался П. А. Флоренский: «Личность же, разумеемая в смысле чистой личности, есть для каждого Я лишь

⁷ Там же. С. 267–268.

⁸ Там же. С. 305.

⁹ Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 38–39.

идеал — предел стремлений и самопостроения. <...> Дать же понятие личности невозможно, ибо тем-то она и отличается от вещи, что, в противоположность последней, подлежащей понятию и поэтому “понятной”, она непонятна, выходит за пределы всякого понятия, трансцендентна всякому понятию. Можно лишь создать символ коренной характеристики личности, или же значок, слово, и, не определяя его, ввести формально в систему других слов, и распорядиться так, чтобы оно подлежало общим операциям над символами, “как если бы” было в самом деле знаком понятия. Что же касается до содержания этого символа, то оно не может быть рассудочным, но — лишь непосредственно переживаемым в опыте само-творчества, в деятельном само-построении личности, в тождестве духовного само-сознания»¹⁰.

Позволю себе (вслед за Л. А. Гоготишвили) пофантазировать об источниках «Записей» М. М. Бахтина. Возможно, что М. М. Бахтин говорит о «чистой вещи» по аналогии с «чистой личностью» П. А. Флоренского. В «Записях» мы читаем: «Познание вещи и познание личности. Их необходимо охарактеризовать как пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только внешность, существующая только для другого и могущая быть раскрытой вся сплошь и до конца односторонним актом этого другого (познающего). Такая вещь, лишенная собственного неотчуждаемого и непотребляемого нутра, может быть только предметом практической заинтересованности. Второй предел — мысль о Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва. Необходимость свободного самооткровения личности. Здесь есть внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить, где сохраняется всегда дистанция, в отношении которого возможно только чистое бескорыстие; открываясь для другого, она всегда остается и для себя»¹¹.

Нужно отметить еще одно обстоятельство. Г. Г. Шпет понимал вещь иначе, чем М. М. Бахтин. Он говорил о социальности всех вещей, окружающих человека, включая Венеру, Сатурн, поскольку человек дал им имя. Он говорил и о третьем — глубинном, социальном, интимном измерении вещи. В этом Г. Г. Шпет близок В. фон Гумбольдту, Х. Ортеге-и-Гассету, В. В. Кандинскому. Приведу два удивительно близких по смыслу высказывания о том, что собой представляет произведение искусства. Первое: «Всякое произведение искусства, как и создавшего его художника, можно рас-

¹⁰ Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 79, 83.

¹¹ Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 7.

сматривать как самостоятельный индивид. Это живое целое. Оно имеет внутреннюю силу и жизненный принцип, благодаря которому оно воздействует определенным образом»¹². И второе: «Истинное произведение возникает таинственным, загадочным, мистическим образом “из художника”. Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально реальную жизнь; оно становится существом. <...> Оно живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы»¹³.

И еще о том же. В. В. Кандинский и Ф. Марк писали в предисловии к «Синему всаднику»: «Произведение, <...> будучи связанным с Великими переменами, обладает внутренней жизнью. И это естественно, так как мы хотим живого, а не мертвого. Как эхо живого голоса — всего лишь пустая форма, не вызванная определенной внутренней необходимостью, так пусты отголоски произведения. Пустая, слоняющаяся без дела ложь отравляет духовную атмосферу. <...> Дорогой обмана ложь ведет дух не к жизни, а к смерти... Мы хотим попытаться разоблачить пустоту обманчивого»¹⁴.

В те же годы Н. Гумилев в статье «Жизнь стиха» писал: «...искусство, родившись от жизни, снова идет к ней, но не как грошовый поденщик, не как сварливый брюзга, а как равный к равному»¹⁵. Закончу сюжет о живости произведений искусства на иронической ноте. Замечательная актриса Ф. Г. Раневская, как-то услышав о человеке, которому не понравилась «Сикстинская мадонна», сказала что-то вроде того, что Мадонна сама уже может выбирать, кому нравиться, а кому нет.

Не только художник творит живое произведение. Утварь (тварное) — ведь тоже живая вещь. Или только когда-то была такой? М. М. Бахтин же говорит о «чистой, мертвой вещи». И тем не менее, сходство размышлений о Я, о личности у П. А. Флоренского, Г. Г. Шпета, М. М. Бахтина очевидно, особенно, если учесть, что у Г. Г. Шпета речь идет не о «чистой, мертвой вещи», а о социальной и уникальной вещи; об «абсолютной единственности я в противоположность экземплярному характеру других конкретных предметов»¹⁶. Конечно, не следовало бы так характеризовать Я. Но свои резоны у

¹² Гумбольдт Г. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 224.

¹³ Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 99.

¹⁴ Рылеева А. Н. Время Кандинского в большом времени XX века: Автореф. канд. дис. М., 1998. С. 56.

¹⁵ Гумилев Н. Л. Жизнь стиха // Аполлон. 1910. № 7. С. 13.

¹⁶ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 272.

Г. Г. Шпета, видимо, были. Ведь психология до сих пор мечется между бесплотным человеком, фантомным психологическим субъектом и человеком — объектом — предметом — вещью. Над первым Г. Г. Шпет откровенно издевается: «Психологический “субъект” без вида на жительство и без физиологического организма есть просто выходец из неизвестного нам света, где субъекты не живут и физиологических функций не отправляют. Психологического в таком субъекте — одно наваждение, и стоит его принять за всамделишного, он непременно втащит за собою еще большее диво — *психологическое сказуемое!*»¹⁷. Правда, Г. Г. Шпет — оптимист. Он говорит, что здоровые и трезвые люди никогда и не видели рогатых рож психологических субъектов — ни во сне, ни наяву. Здесь Г. Г. Шпет оказался неправ. Психологический субъект все же привиделся, не знаю уж как, то ли во сне, то ли наяву, В. В. Набокову, который, вслед за Н. В. Гоголем, коллекционировал причуды человеческой психики. Его герой — гностик Цинцинат был настолько бесплотен, что его и казнить было невозможно (см. «Приглашение на казнь»). А. Платонову (уверен, что и Г. Г. Шпету) повезло меньше. Он психологического субъекта увидел воочию: «Новый человек — голый, без души и имущества, в предбаннике истории, готовый на все, только не на прошлое»¹⁸. Сегодня философски и психологически подозрительные субъекты и их тени заменили «нового человека» и все чаще блуждают по страницам нашей психологической литературы. Бессовестный субъект, бездушный субъект — это, скорее всего, не вполне нормально, но привычно. А душевный, совестливый, одухотворенный субъект — смешно и грустно. Даже «умный субъект» звучит издевательски. Иное дело, субъект как знак. Г. Г. Шпет писал, что он хочет сделать объектом принципиального анализа самого субъекта, как своего рода объект, и при том как «социальную вещь», но не в качестве только средства, а и в качестве также знака как такового и носителя знаков. «Лицо субъекта выступает, как некоторого рода репрезентант, представитель, “иллюстрация”, знак общего смыслового содержания, слово (в его широчайшем символическом смысле архетипа всякого социально-культурного явления) со своим смыслом (Цезарь — знак, “слово”, символ и репрезентант цезаризма, Ленин — коммунизма)»¹⁹. Г. Г. Шпет для этих субъектов подобрал удивительно

¹⁷ Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 225.

¹⁸ Платонов А. Дневник 1929 года. Цит. по электронной версии: <http://lib.ru/PLATONOW/r_rastenie.txt>

¹⁹ Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007. С. 486.

точное слово — «репрезентанты». Субъекты — репрезентируют, а личности — олицетворяют.

Возвращаясь к нашей психологической литературе, справедливости ради должен сказать, что сейчас появилось много адептов западной гуманистической психологии, лексикон которых более человечен. Мой краткий экскурс в проблематику «я», «субъекта», «личности», которой много сил отдали П. А. Флоренский, Г. Г. Шпет, М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев и другие отечественные мыслители, адресован именно им. Гуманизм — это, конечно, хорошо, хотя и не очень свежо. Но и ответственность — это тоже кое-что: «Личность должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее жизни, но проникать друг друга в единстве вины и ответственности»²⁰. Единство вины и ответственности — это совесть как самоосновное, бытийное явление. Только «там, где есть совесть, развивается психология и, следовательно, — сама наша возможность говорить о поступках на языке психологии; это и будет осмысленный язык»²¹. Конечно, необходимым условием использования осмысленного языка является наличие реальности, называемой совестью, когда эта реальность достаточно долгое время и при участии достаточно большого числа людей охвачена действием определенных формализмов. М. К. Мамардашвили называет совесть чистым формализмом, т. е. условием появления точки отсчета внутри самой реальности.

В конце концов, дело не в словах «вещь», «субъект», а в наличии реальности, называемой совестью, в том числе и у психологов. Что же касается «вещности» человека, то эмпирические или, лучше сказать, жизненные основания для такой характеристики, к несчастью, имеются. XX век дал слишком много явных примеров (и методов) превращения личности в вещь, в «предмет практической заинтересованности», чему отвечает и словечко «субъект», репрезентирующее не человека, не личность, а лишь ту или иную функцию. И эти методы до сих пор цинично называются методами формирования личности, превращающейся в наличность того, кто ее сформировал. Так что если М. М. Бахтин и отталкивался в своих размышлениях от терминологической пары «личность» и «вещь», использованной Г. Г. Шпетом, то это только способствовало более четкой кристаллизации его позиции и очерчиванию пределов, в которых двигалась его мысль. Сказанное вовсе не означает того, что М. М. Бахтин лишь повторил П. А. Фло-

²⁰ Бахтин М. М. Искусство и ответственность // Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 5.

²¹ Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. М., 1999. С. 31.

ренского и Г. Г. Шпета. Необычайно значителен тезис М. М. Бахтина о том, что, имея дело с познанием личности, мы должны вообще выйти за пределы субъект-объектных отношений, какими субъект и объект рассматриваются в гносеологии. За эти пределы начали выходить С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев. Сегодня нам могут помочь размышления Г. Г. Шпета и М. М. Бахтина об этом предмете.

В нашей литературе мелькают в качестве оппозиции субъект-объектным отношениям отношения субъект-субъектные, но они остаются какими-то бездушными и безличностными, напоминающими, скорее, объект-объектные отношения, а не человеческие отношения Я — Ты, Я — Другой, Я — Мы и т. п. В этих последних речь идет не столько о познании, сколько об особом рода понимании. Г. Г. Шпет называл такое понимание симпатическим (ср.: А. С. Пушкин — «симпатическое волнение»). По Г. Г. Шпету, психологическое узрение чужой индивидуальности в ее «целом» и есть симпатическое понимание²². Такое понимание может быть естественным, непосредственным, ненавидящим, персональным. Для него характерны со-чувствие, со-мыслие, со-переживание, подражание, вчувствование. Гумбольдт добавил бы со-действие, являющееся со-ощущением. Г. Г. Шпет эти аффективные пласты рассматривает не как пласты внутренней формы слова, а как его поверхность, субъективную оболочку, которую он называет выразительностью, экспрессивностью слова²³. На указанных страницах читатель найдет превосходное описание диалога и его внелингвистических средств, называемых сегодня пресуппозициями²⁴.

У М. М. Бахтина аналогом симпатического понимания является понимание сочувственное. Трактровка сочувственного понимания М. М. Бахтиным²⁵, на мой взгляд, дает основания расширить представления Г. Г. Шпета о внутренней форме слова и «поместить» в нее субъективные и аффективные пласты. Но это особый сюжет, требующий специальной аргументации. Пока же можно сказать, что именно внутренняя форма слова в соединении с его выразительностью и экспрессивностью делает слово живым.

Вернемся к «вещи» и «личности». Л. А. Гоготишвили разворачивает положение о познании вещи и личности в абстрактном,

²² Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 151.

²³ Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007. С. 246–252.

²⁴ Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. М., 1996.

²⁵ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 71.

чисто гносеологическом ракурсе. Она сопоставляет «вещь» и «личность» с гносеологическими «субъектом» и «объектом». Приводя известный тезис о том, что «нет субъекта без объекта» (и обратно), поскольку, по формулировке самого М. М. Бахтина, они сделаны «из одного куска», Л. А. Гоготишвили отмечает, что этот тезис, видимо, не разделялся М. М. Бахтиным полностью. Он оказывается правомерным лишь тогда, когда к предмету познания подходят как к «вещи». В этом случае «вещь», действительно, во многом будет зависеть в своих качествах от субъекта, формируясь, в частности, за счет исходящей от субъекта оценки. Но если к предмету подходит как к «личности», то образ познающего и познаваемого как сделанных из «одного куска» теряет силу: «Между познающим и познаваемым в гуманитарных науках никакого сущностного (субстанционального) единства быть не может. Между ними — всегда диалог, то есть тоже общность, но особого — функционального — типа, предполагающая одновременно и *неслиянность* (невозможность субстанционального отождествления) и *нераздельность* (невозможность исключения какого-либо участника без того, чтобы не умертвить сам диалог) личностей»²⁶. Г. Г. Шпет также приводит старую, фихтевскую формулу «нет субъекта без объекта, нет объекта без субъекта» и следующим образом комментирует ее: она «приобретает смысл в утверждении корреляции между самими предметами: *нет предмета без другого предмета*. Предмет есть предмет или становится предметом только по отношению к другому предмету или другим предметам. Я, имрек, только так и существует: предмет среди предметов, — Павел Иванович (Чичиков) в им освещаемой и согреваемой, и его питающей и прославляющей, обстановке, “среде”»²⁷. Другими словами, предмет, кем бы и чем бы он ни был, может иметь свое предметное бытие только в контексте.

Думаю, что на самом деле позиции М. М. Бахтина и Г. Г. Шпета не столь далеки одна от другой. Они оба предпочитают говорить не о единстве, не об «общем», а об общем, проистекающем из общения. Различия между ними связаны с пониманием слова-понятия «слово» и его внутренней формой: «вещь», «предмет», «личность». Мне кажется, что различия могли бы быть уменьшены, если бы под «вещью» в смысле М. М. Бахтина понимать «предмет», как его понимал Г. Г. Шпет. Еще раз об этом. Под «смыслом», под «интимным»

²⁶ Гоготишвили Л. А. Комментарии // Бахтин М. М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 392.

²⁷ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 303.

предмета Г. Г. Шпет понимал «тот действительный центр, из которого исходят все нити его конституции, — адекватное усмотрение его давало бы предмет не только в его смысле, но и в его разумной мотивированности, хотя бы только в состоянии “потенциальном”, в состоянии “готовности быть”»²⁸. (Кстати, в таком «интимном» предмета лежат корни вполне справедливого положения А. Н. Леонтьева о том, что мотив — это предмет. Указанное положение вызывало множество недоумений, которые его автор так и не разъяснил.)

Сам Г. Г. Шпет иногда говорит о «личности» как о «вещи», а иногда — как о «предмете», делая в обоих случаях такое количество оговорок, что почти исчезает и вещьность, и предметность личности. Если воспользоваться терминологией К. Маркса, ее можно представить как «чувственно-сверхчувственную вещь». К несчастью, личность нередко выступает как товар. Попробуем выйти за пределы этих «трех сосен» в жизненный мир.

Так называемый объективный мир действительно существует и находится там, где ему надлежит быть, т. е. вне и независимо от сознания человека. Но он существует таким образом лишь до тех пор, пока он не станет миром человеческим. Стать таковым он может, лишь войдя в круг, в континуум бытия-сознания, в мир человеческой деятельности. Попадая в этот круг, объективный мир или его объекты очеловечиваются, вочеловечиваются, получают названия, Имя собственное. Прекрасное слово «вочеловечивание» я встречал у блаженного Августина, у А. Блока. Есть и другие упоминавшиеся выше термины, несущие ту же смысловую нагрузку. М. Мерло-Понти говорил об инкрустации, М. М. Бахтин — об инкарнации, Р. Авенариус — об интроекции. С таким же успехом можно говорить об интериоризации объектов мира в континуум бытия-сознания, в мир человеческой деятельности. Здесь уместно вновь обратиться к П. А. Флоренскому: «Итак, познание не есть захват мертвого объекта хищным гносеологическим субъектом, а живое нравственное общение личностей, из которых каждая для каждой служит и объектом, и субъектом. В собственном смысле познаваема только личность и только личностью. Другими словами, существенное познание, разумеемое как акт познающего субъекта, и существенная истина, разумеемая как познаваемый реальный объект, — обе они — одно и то же реально, хотя и различаются в отвлеченном рассудке»²⁹. Г. Г. Шпет еще больше усиливает личност-

²⁸ Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 151.

²⁹ Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 74.

ную составляющую познания, когда интерпретирует философские идеи А. И. Герцена: «Личность не может любить безличное и хотеть безличного; это относится к ее существу»³⁰. Надо ли говорить, что идеи о личностном знании (М. Полани) появились в философии и психологии несколько десятилетий спустя.

Между прочим, в этом высказывании П. А. Флоренского содержится и идея М. М. Бахтина о причастности (участности) психики, мышления, сознания бытию и причастность бытия разумности. Пожалуй, к этому можно было бы добавить, что акт познания не только гносеологический, не только онтологический, но и диалогический, что соответствовало бы не только М. М. Бахтину, но и Г. Г. Шпету. Диалогическим, согласно Г. Г. Шпету, является и сознание. Оно не имеет собственника. Индивид, скорее, является носителем своего индивидуального сознания «подключенного» к ничейной сфере сознания. Замечу, что совместное поле деятельности — это мир со-знания, мир культуры. К этому был близок Л. С. Выготский и от этого удалился А. Н. Леонтьев. Г. Г. Шпет не считал нужным начинать «от печки», от предметной деятельности. Для него слово, знание, культура были предметны по определению. Они все содержали «предметный остов».

Во внутренней жизни слова, как любил говорить Г. Г. Шпет, *in potentia* содержится живой разговор, диалог, поэтому слово может быть живым и живящим. Приведу его гимн слову и диалогу, которой мы сегодня можем узреть бахтинскую полифонию сознания: «Уединенность рождает грезы, фантазии, мечту — немые тени мысли, игра бесплотных миражей пустыни, утеха лишь для умирающего в корчах голода анахорета. Уединение — смерть творчеству: метафизика искусства! Благо тому, кто принес с собою в пустыню уединения из шума и сумятицы жизни достаточный запас живящего слова и может насыщать себя им, создавая себя, умерщвляя ту жизнь: смертию смерть попирая. Но это уже и не уединение. Это — беседа с другом и брань с врагом, молитва и песня, гимн и сатира, философия и звонкий детский лепет. Из Слова рождается миф, тени — тени созданий, мираж — отображенный Олимп, грезы — любовь и жертва. Игра и жизнь сознания — слово на слово, диалог»³¹. Такому слогу мог бы позавидовать и М. М. Бахтин, а уж о психологах и говорить нечего. Видимо, и с этой стороны можно

³⁰ Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена // Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. II. Реконструкция Т. Г. Щедриной. М., 2009. С. 249.

³¹ Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007. С. 177.

будет подобраться к тайне и традиции игнорирования психологами работ Г. Г. Шпета.

Весь приведенный выше заочный диалог о личности, о Я, об их «предметности», «вещности» (лучше бы — вечности) преследовал, помимо познавательной, определенную прагматическую цель. Диалог нужно рассматривать как своего рода обращение к психологам, к их личной ответственности. Итак, личность, как чудо, как миф, как единственность, не нуждается в экстенсивном раскрытии. М. М. Бахтин резонно заметил, что она может выявить себя в жесте, в слове, в поступке (а может и утаить). Следует задуматься над тем, не прав ли был А. А. Ухтомский, говоря, что личность — это состояние, хотелось бы добавить — состояние духа и души, а не почетное пожизненное звание. Она ведь может потерять лицо, исказить свой лик, уронить свое человеческое достоинство, которое усилием берется. А. А. Ухтомскому вторил Н. А. Бернштейн, говоря, что личность — это верховный синтез поведения. Подчеркну — верховный! Ведь наше поведение далеко не всегда осуществляется на верхнем «до». Можно сказать, что в личности достигается интеграция, слияние, гармония внешнего и внутреннего. А там, где гармония, психология умолкает.

Приведенные высказывания — это прививка против обыденного толкования понятия личность, упражнений в изображении ее структуры, бездумного тестирования, заочного определения и претензий на ее формирование. Может быть, есть смысл задуматься над тем, что свобода и неприкосновенность личности включает в себя также свободу от вторжения в ее мир педагогов и психологов. Русское слово «личность» — не калька с английского «personality». Лицо и персона — это не одно и то же. Этимологически персона — это маска. А. Ф. Лосев связывал происхождение слова «личность» с ликом, а не с личиной.

Слово о Сергее Леонидовиче Рубинштейне

Есть не так много положительных вещей, которыми российская наука, в частности психология, обязана революции 1917 года. Одна из них — приход С. Л. Рубинштейна в психологию. Профессиональный философ, получивший образование в Марбургском университете и занимавшийся этикой, после революции стал психологом. Он быстро сообразил, что в Советском Союзе этика исчезла как реальность, и деформировалась как философская проблема. Она заменилась «классовым интересом». Впрочем, сам Сергей Леонидович сохранял и то и другое. О проблемах этики он писал «в стол». Спасибо его ученикам — К. А. Абульхановой-Славской и А. В. Брушлинскому, — что они опубликовали его размышления об этике.

С. Л. Рубинштейн нашел новую сферу приложения сил, обратившись к психологии, где сразу стал заметной фигурой (аналогична судьба другого профессионального философа — П. П. Блонского). В апреле 1958 года после сорока лет работы в психологии в подготовительных фрагментах к своей последней неоконченной книге «Человек и мир», он писал: «Юмор в последнее время все более распространяется на всю мою судьбу, на все противоречия, несоответствия с ней. По призванию, по складу мысли я философ и притом философ, сердцу которого особенно близки не только теория познания, но особенно этика, а официально я — психолог. Отсюда юмористический аспект моего отношения к моей специальности («в психологии я случайный человек»)¹. Сегодня без трудов этого «случайного» человека психология не представима. К нашему стыду, вынужден признать, что его «Основы общей психологии» (1940) не только лучший, но и единственный полноценный университетский учебник. Столь же уникальны его книги по философской психологии: «Бытие и сознание», «Человек и мир».

¹ Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки, воспоминания, материалы. К 100-летию со дня рождения. М., 1989. С. 421.

Начну с замечательного, поразившего меня эпизода. В 1954–1956 годах я был аспирантом НИИ психологии АПН РСФСР, а «по совместительству» — секретарем комсомольской организации этого института. И в этой моей должности беспартийный директор института А. А. Смирнов был вынужден иногда принимать меня. Я старался не докучать ему, но приходилось... Однажды я встал в очередь на прием. Дело происходило в узеньком коридорчике, так как приемной скромный Анатолий Александрович не имел. В очереди стояли солидные сотрудники института и среди них — ворчливый и вечно недовольный (мне почему-то кажется, что это была игра) Николай Дмитриевич Левитов. Он был не в духе. Не помню, то ли он сам, то ли кто-то из ожидавших вспомнил сюжет Марка Твена о том, кем могли бы быть те или иные люди, если бы их жизнь сложилась счастливо. Н. Д. Левитов стал охотно развивать этот сюжет применительно к самым известным психологам, многие из которых работали в то время в институте. Оценки были нелицеприятные, порой жестокие, но очень точные. Перечислю те, что помню, но воздержусь от персонификации, дед пасечник, архивариус, кардинал, отец дьякон, генерал, биржевой маклер... Кто-то спросил: а есть кто-нибудь, кто при счастливом стечении обстоятельств все же был бы психологом? Н. Д. Левитов задумался и ответил, что есть, — это Сергей Леонидович Рубинштейн, и после некоторой паузы добавил, что видит его только профессором психологии и философии. Не уверен, что Н. Д. Левитов знал, что С. Л. Рубинштейн получил образование по философии в Марбурге. Тогда афишировать подобное было не принято.

Нужно ли говорить, что для меня это был замечательный урок даже не по психологии, а по человекознанию. С какими-то оценками я согласился сразу, в справедливости других убедился многие годы спустя, с какими-то мог бы поспорить и сегодня. Но оценка С. Л. Рубинштейна была абсолютно точной. Он остался у меня в памяти как классический университетский профессор старого закала. Очень внимательный к студентам и очень щедрый. Мы жили скудно, и некоторые студенты осмеливались обращаться к нему за помощью. Он не только не отказывал, но и говорил, что возвращать деньги не нужно.

Мое поколение было леонтьевским, а не рубинштейновским. Поколения тогда различались по этому признаку в зависимости от того, кто читал двухлетний курс «Общей психологии». Сергей Леонидович читал нам лишь небольшой курс по проблемам мышления. Его содержание, конечно, вымылось из памяти, но образ и облик академического и вместе с тем увлеченного профессора

остался. Осталось впечатление и от эрудиции, которая, казалось, не знает границ.

Очень жаль, что Сергей Леонидович — создатель отделения психологии на философском факультете — был уволен из Московского университета и многие поколения студентов были лишены удовольствия его слушать. Постыдная стенограмма с обсуждением его «заблуждений» была опубликована в «Вопросах психологии» (1989. № 4, 5). Впрочем, быть уволенным из МГУ не стыдно. Знаю это на собственном опыте, правда, меня уволили без обсуждения, просто и со вкусом — по телефону. Досада, конечно, была, но я нахожусь в хорошей компании с С. Л. Рубинштейном, Н. А. Бернштейном, Вяч. Вс. Ивановым, М. К. Мамардашвили и др.

В глубине и эрудиции С. Л. Рубинштейна может и сегодня убедиться всякий, кто возьмет на себя труд прочесть его «Основы общей психологии». Когда Институт «Открытое общество» (Фонд Дж. Сороса) доверил мне заказать новое поколение учебников по психологии, я назвал около 30 авторов. Среди них: Г. М. Андреева, Б. С. Братусь, А. И. Донцов, В. П. Зинченко, В. М. Мунипов, В. С. Мухина, А. В. Петровский, В. Д. Шадриков, М. Г. Ярошевский. На резонный вопрос, почему так много, я ответил, что если бы был жив С. Л. Рубинштейн, я назвал бы его одного. Сейчас, когда почти все заказанные книги изданы, могу сказать, что, отвечая так, я не ошибался. С. Л. Рубинштейн своим учебником расплатился и за свое немецкое университетское образование. В Германии его издавали десять или более раз. Замечательные для тех лет свойства учебника — минимальная (по тем меркам) идеологизированность и полное отсутствие политизированности. Еще одно достоинство состоит в том, что автор скрупулезно собирал все ценное и интересное в области психологии из того, что делалось в нашей огромной, но совсем «не психологической» стране. Это сегодня, почти как в советской песне, «у нас психологом становится любой».

Мой отец, П. И. Зинченко до конца дней своих сохранял пietet и признательность Сергею Леонидовичу. Он был и удивлен, и обрадован тем, что его первая серьезная публикация в вузовских «Научных записках» спустя год с небольшим нашла отражение в фундаментальном учебнике. Не мог забыть отец и того, что Сергей Леонидович во время войны, в 1943–1944 годах, будучи короткое время директором Института психологии, делал все возможное и невозможное, чтобы демобилизовать доцента психологии П. И. Зинченко из действующей армии. Это не удалось, но порыв был, и он тем более ценен, что Сергей Леонидович хлопотал за

представителя другой, уже тогда конкурирующей школы А. Н. Леонтьева.

Вернусь в студенческие годы. Мне посчастливилось общаться с Сергеем Леонидовичем по поводу моей курсовой работы, руководителем которой он был. Сочинение, как я теперь понимаю, было вполне примитивным. Оно каким-то чудом у меня сохранилось, хотя давно исчезли обе мои диссертации. Я о другом. Консультации проходили у него дома, и меня потрясла его библиотека, в основном, немецкой психологической и философской литературы (где она сейчас?). Такого богатства я не видел ни у А. Р. Лурии, ни у А. Н. Леонтьева. Я о ней вспоминал, когда мне доводилось быть на кафедрах психологии Вильнюсского университета, Берлинского университета и в лаборатории В. Вундта в Лейпциге. И вновь впечатление от его доброты, душевной щедрости. Ни тени снисходительности, хотя повод для нее, несомненно, был. Он — одесит — без улыбки читал мои полудетским почерком написанные рассуждения о том, что думал И. М. Сеченов о памяти.

Сергей Леонидович привнес в психологию культуру мысли, характерную для философии и философской психологии. Последняя ведь никогда не исчезала, когда психология «отпочковалась» или «отщепилась» от философии.

Важное место в творчестве С. Л. Рубинштейна занимали не только проблемы деятельности и сознания, но и проблема человеческого действия. Отсюда, между прочим, его огромное уважение и интерес к трудам Н. А. Бернштейна. Вообще, на мой взгляд, его размышления о действии много интересней и продуктивней размышлений о деятельности. В первых чувствуется нечто интимное, по-настоящему его задевающее; в последних — нечто служебное, марксистское, формальное, хотя, конечно, не идеологическое, а научное и тоже интересное. Он, если можно так выразиться, был думающим, понимающим, интеллигентным марксистом. Многие мои друзья-философы, слушавшие его лекции, работавшие рядом с ним в Институте философии АН СССР, отдавали ему должное и благодаря его трудам психологизировали свои работы в области теории познания.

С. Л. Рубинштейну был чужд «ленинизм до исступления», как выразился рекомендовавший его в члены Академии наук СССР А. А. Ухтомский. Следуя марксизму (возможно, добровольно-принудительно), С. Л. Рубинштейн никогда не прерывал работы понимания. Отталкиваясь от марксизма, он почти оттолкнул его от себя. Думаю, что он это сделал также и по этическим соображениям. Согласно позднему С. Л. Рубинштейну, принятие и следование марксистской формуле о сущности человека как совокупности всех

(?!) общественных отношений разрушает природное в человеке, его природные связи с миром, и тем самым то содержание его духовной и душевной жизни, которое определяет его субъективное отношение, отражающее эту его природную связь с людьми². А ведь и в самом деле разрушает, в чем все больше и больше убеждаются многие люди, а не только ученые. В другом месте С. Л. Рубинштейн, приводя эту Марксову формулу, поместил рядом другое положение К. Маркса, существенно ограничивающее, если не опровергающее ее. Оно состоит в том, что сущность общественных отношений складывается из индивидуальных сущностей.

Я уже как-то писал, что С. Л. Рубинштейн — это целый мир, и не теряю надежды в него погрузиться. Уверен, что это будет очень увлекательным путешествием. Выражаясь словами самого С. Л. Рубинштейна, в памяти ряда поколений он останется как «педагог в большом стиле».

Пожалуй, относительно нашей историографии, связанной с научным наследием С. Л. Рубинштейна, выскажу одно соображение. Его интеллектуальное движение не следует ограничивать обращением к категории деятельности и созданием одной из версий деятельностного подхода. Не ограничено оно также его взглядами, кстати, менявшимися с течением лет, на соотношение или соподчинение внешнего и внутреннего в человеческой жизни. На самом деле, важна ведь не эта странная, чтобы не сказать комичная, оппозиция: внешнее через внутреннее или внутреннее через внешнее. Бывает всякое. Значительно существеннее соотношение суггестивных сил внешнего и сопротивляемость внутреннего давлению первых. Подобная сопротивляемость характеризует силу духа, которой С. Л. Рубинштейн обладал в полной мере. Надеюсь, убедить в этом читателя.

Остановлюсь на одном эпизоде, который случился во время Великой отечественной войны. Речь идет об избрании С. Л. Рубинштейна членом-корреспондентом Академии наук СССР. В то время, как и многие годы спустя, выдвижение ученого в Академию должно было быть согласовано и одобрено ЦК ВКП(б). Туда обратилась группа ведущих психологов страны — профессора Московского государственного университета А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов, А. А. Смирнов, Г. Х. Кекчеев и профессор Центрального института офтальмологии С. В. Кравков. Привожу полный текст письма³:

² Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М., 1997. С. 104.

³ Я благодарен своему школьному другу Ю. И. Кривоносову, работающему в Институте истории естествознания и техники РАН РФ, обнаружившему в Архиве ЦК КПСС это письмо и передавшему его мне.

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Маленкову

За 25 лет своего существования советская психология прошла большой путь развития, богатый теоретическими и экспериментальными исследованиями. Она превратилась в передовую советскую науку. Отразившая состояние советской психологии книга проф. С. Л. Рубинштейна была удостоена высокой оценки — она получила Сталинскую премию.

Психология приобретает все возрастающее значение для различных областей практики. Во время Великой отечественной войны психология успешно включилась в работу на помощь фронту — по выполнению ряда оборонных заданий, связанных с разведкой и маскировкой, с противовоздушной обороной, с обучением летных кадров и кадров военно-морского флота, по восстановлению трудоспособности и боеспособности раненых бойцов.

В условиях борьбы с фашизмом вопросы психологии, связанные с изучением сознания, мотивов поведения человека, путями формирования личности приобретают все более острое идеологическое значение. В послевоенный период значение психологии несомненно еще более возрастет.

Психология вводится сейчас в преподавание: она вводится в качестве учебного предмета в среднюю школу, соответственно расширяется и преподавание психологии в ВУЗах (отделение психологии и логики в Университетах, психология в педагогических институтах).

Основываясь на марксо-ленинской философии, советская психология тесно связана с рядом других смежных наук — с передовым советским естествознанием, языкознанием, с психопатологией и т. п. Однако, до настоящего времени психология вовсе не представлена в Академии наук и таким образом до сих пор не входит в общую систему научного планирования, координации и руководства, осуществляемых Академией.

Мы считаем такое положение неправильным. Мы полагаем, что в целях дальнейшего плодотворного развития советской психологии ее изоляция в этом отношении должна быть прекращена. Поэтому мы просим Вас поддержать наше ходатайство перед Президиумом Академии и Бюро отделения истории и философии об организации в системе Академии наук группы по психологии, путем привлечения наиболее видных специалистов и об оформлении ее в качестве одного из постоянных, органических звеньев работы отделения, а также нашу просьбу учесть в связи с этим принципиальное значение выдвинутой рядом научных учреждений Советского Союза кандидатуры в члены-корреспонденты Академии наук СССР директора Института психологии Московского Университета профессора С. Л. Рубинштей-

на, который является ведущим представителем психологической (так в тексте — В. З.)⁴ науки.

Подписи

/Профессора: А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов, Г. Х. Кекчеев,
С. В. Кравков, А. А. Смирнов/

Письмо было датировано 20 августа 1943 года, а 24 августа Г. М. Маленков наложил резолюцию: т. Александрову. Считаю, что эти предложения надо поддержать. (Философ Г. Ф. Александров в то время возглавлял Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).) Далее на письме следуют еще две записи с неразборчивыми подписями: первая: В Архив. Кандидатура т. Рубинштейна выдвинута в член-корр. АН. 8/IX; и вторая — видимо, о принятии письма: Архив. 10/IX 43 года. Скорость рассмотрения и решения вопроса для сегодняшнего дня немыслимая.

Выдвижению и последующему избранию С. Л. Рубинштейна, несомненно, способствовало присуждение ему в 1942 году Сталинской премии за книгу «Основы общей психологии». Книга была представлена на премию двумя выдающимися мыслителями — геохимиком В. И. Вернадским и физиологом А. А. Ухтомским. Думаю, что признание ими научных заслуг Сергея Леонидовича значило для него не меньше, чем премия и избрание в Академию наук. Обращу внимание на то, что психологи, обратившиеся в ЦК ВКП(б) и до и после этого обращения далеко не во всем были согласны друг с другом и с С. Л. Рубинштейном, но все они, заботясь о судьбе психологии в стране, отложили в сторону свои разногласия. В своем главном жизненном деле они были единомышленны, чего, к сожалению, нельзя сказать о последующих поколениях психологов.

Через год, в 1944 году, С. Л. Рубинштейн был включен в число учредителей Академии педагогических наук РСФСР, а затем стал ее действительным членом.

Авторы письма деликатно умолчали о том, что психология в 1920—1930 годы была в числе «репрессированных» наук (этот термин появился много позже). Были разгромлены педология и психотехника. Но этим дело не кончилось. Репрессии конца 1940-х — на-

⁴ Эта опечатка заслуживает того, чтобы обогатить коллекцию феноменов внимания. Пять профессоров психологии, подписывая далеко не рядовое письмо в главное учреждение страны, не заметили ее в слове, обозначающем их профессию. И это при том, что слово располагалось не в середине текста, а непосредственно над их подписями.

чала 1950-х годов затронули и С. Л. Рубинштейна, его талантливого ученика М. Г. Ярошевского и др. Ни Сталинская премия, ни членство в двух академиях, ни безусловный авторитет, которым пользовался замечательный человек и ученый в научных кругах, не спасли Сергея Леонидовича от гонений во время антисемитской компании 1948–1953 годов, называвшейся борьбой с безродными космополитами. В двух «дискуссиях» по «Основам общей психологии» его называли лжеученым и заметным агентом американского империализма. Он был снят со всех должностей, его труды были запрещены и изъяты из библиотек. В 1954 году С. Л. Рубинштейн был восстановлен в правах и плодотворно работал до своей кончины в 1960.

Сергей Леонидович был поразительно мужественным, человеком, он стойко выносил превратности своей научной судьбы: «Мое все более юмористическое отношение к проработкам, которым я подвергался, к непрерывным “претензиям” и “козням” моих “друзей”. <...> Они не могут также простить мне того, что они меня прорабатывали. Когда-то это вызывало немало горя — не без того (тогда преобладала жестокая ирония)... Эта научная творческая пустота, выступающая из под внешней административной “импозантности”», — писал он в цитированных выше очерках. Он называл такое юмористическое отношение отношением «с позиций силы»: «Рост собственной творческой силы — вот основа, на которой изживалась горечь и крепко добродушие и снисходительность юмора»⁵. С. Л. Рубинштейн, конечно, сознавал, что «здесь не отделаешься одним лишь юмором, поскольку дело было не только во мне, но и в судьбе всей советской науки»⁶.

Печально, но факт, среди «проработчиков» был и один из моих учителей — А. Н. Леонтьев, возглавивший в 1948 году вместо С. Л. Рубинштейна кафедру и отделение психологии в Московском государственном университете. Кто знает, когда он был искренен, то ли подписывая письмо в ЦК ВКП(б), то ли когда публично упрекал С. Л. Рубинштейна в идеологических, а для того времени — смертных грехах? А. Н. Леонтьеву, видимо, пришлось вытеснить из памяти, что С. Л. Рубинштейн выступал официальным оппонентом на защите его докторской диссертации и дал ей высокую оценку.

Вполне философски Сергей Леонидович относился к смерти: «Две есть в жизни прекрасные поры — годы юности и завер-

шения жизни. Еще раз — смятение чувства. Великий перелом. Подведение итогов... Завершение — обращение к своему народу и человечеству»⁷. Он действительно был космополитом, но не в сталинско-ждановском, а в подлинном и возвышенном смысле слова, т. е. — Человеком Мира. И далее: «Смерть моя — для других — остающаяся жизнь после моей смерти — есть мое не-бытие. Для меня самого, т. е. для каждого человека, для него самого — смерть — последний акт, завершающий жизнь. Он должен отвечать за свою жизнь и в свою очередь определять ее конечный смысл. Отношение к своей смерти как к своей жизни»⁸.

Осмелюсь предположить, что, хотя и случайно, делом его жизни была все же психология. Побольше бы нам таких пришельцев, но, конечно, не ценой переворотов, подобных Октябрьской революции.

1999, 2009

⁵ Рубинштейн С. Л. История создания книги «Человек и мир» // Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки, воспоминания, материалы. К 100-летию со дня рождения. М., 1989. С. 421.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 420.

⁸ Там же. С. 415.

Лев Семенович Выготский: жизнь и деятельность

В истории человечества никогда не было простых времен, а в человеческой жизни не бывает прямых путей. Судьба человека определяется не вероятностями, а превратностями, которых в жизни Льва Семеновича Выготского было достаточно. Он, как и Жан Пиаже, родился в 1896 году. Несмотря на то, что Выготский жил почти на столетия меньше, их теории развития психики, хотя и различны, но одинаково популярны, авторитетны и высоко ценятся мировой психологической наукой. Джером Бруннер в 1996 году на конференции, посвященной 100-летию Жана Пиаже, выступил с докладом: «Торжество разнообразия: Пиаже и Выготский». Их теории — это два континента на будущей «карте» Человеческого развития. Связи между ними упрочиваются, а различия углубляются. Сегодня, в XXI столетии нет признаков того, что интерес к ним убывает.

Выготский родился в состоятельной семье в г. Орше. Вскоре семья переехала в г. Гомель, находившийся в Белоруссии, в черте оседлости, где разрешено было жить евреям. Он получил хорошее домашнее, а потом — гимназическое образование. Доминантами его интересов были: история (в том числе еврейского народа), философия, литература. Преобладание гуманитарных интересов вполне объяснимо: в России на рубеже XIX и XX веков наблюдался необыкновенный культурный взлет, получивший название Серебряного века, хотя длился он всего около одной четверти века. С «зияющих высот» культуры века нынешнего не будет большим преувеличением назвать его Золотым, Платиновым и даже Бриллиантовым.

В 1913 году Выготский (по настоянию родителей) поступил на медицинский факультет Московского университета, что было почти чудом. Он по жеребьевке попал в трехпроцентную норму (квоту), которая была установлена для евреев. Однако гуманитарный склад его личности победил волю родителей, и он вскоре пере-

шелся на юридический факультет. Параллельно он стал изучать гуманитарные науки в Народном университете А. Л. Шанявского, где слушал лекции у замечательных психологов и философов П. П. Блонского и Г. Г. Шпета. У последнего он два года работал в семинаре. Это были его первые уроки профессиональной психологии. Окончание Университета и возвращение в Гомель совпали с Октябрьским переворотом в России (1917). Приобретенная Выготским в Московском университете профессия юриста к несчастью для России (и к счастью для психологии) оказалась ненужной. Наступившая в России «Революционная законность» попирала Римское и вообще всякое право. Выготский начал пробовать себя в журналистике, в литературной и театральной критике, в преподавании логики, психологии, литературы в школах и педагогическом училище, где организовал психологическую лабораторию. Годы 1918—1924, проведенные в Гомеле, были очень продуктивны. Интерес к литературе и искусству не отпускал, но привлекала и психология. Он совместил эти интересы, работая над книгой «Психология искусства», которую завершил к 1925 году и защитил по приезду в Москву в качестве диссертации (впервые издана она была только в 1965 году). В этой книге содержались начала или зародыши того, что впоследствии получило название неклассической или культурно-исторической психологии, где самое, казалось бы, субъективное — человеческие чувства — рассматривались как вполне объективное, выраженное в произведениях искусства и других творениях человека. Выготский называл искусство «общественной техникой чувств», т. е. оно выступало для него культурным средством-медиатором развития аффективно-смысловых образований человеческого сознания. И в дальнейшем искусство служило Выготскому не только источником вдохновения, но и источником многих важных научных идей и замыслов.

Параллельно с психологией искусства Выготский работал над книгой «Педагогическая психология», которую точнее надо было бы назвать «Психологическая педагогика». Видимо, ее написание было стимулировано рефлексией по поводу собственного опыта педагогической деятельности. В книге, изданной в 1926 году, уже просматривается проблематика взаимоотношений обучения и развития, обучения и воспитания, личной учебной деятельности учащихся. «Ребенок будет действовать сам, преподавателю же остается только руководить и направлять его деятельность»¹, — писал Выготский. Он говорил о необходимости *сотрудничества* учителя с

¹ Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991. С. 118.

ребенком, о воспитании у детей желания и готовности действовать самим вместе с учителем. Позднее, уже в московский период своей деятельности Выготский сформулирует положение о том, что обучение должно идти впереди развития. Но это довольно странное опережение, так как обучение делает один шаг, а развитие — два и более. Если сам учитель окажется чувствительным к зоне ближайшего развития ребенка, то она превратится в перспективу его бесконечного развития. Это такая забавная ситуация, когда Ахиллес и черепаха должны попеременно обгонять друг друга. Сейчас, оглядываясь назад, трудно поверить, что обе книги принадлежат перу начинающего психолога. В Гомеле Выготскому становится тесно, и в 1924 году он переезжает в Москву, становится научным сотрудником Института психологии Московского университета. Как вспоминал А. Р. Лурия, Л. С. Выготский приехал в Москву с достаточно отчетливой программой развития психологии, и вокруг него очень быстро собралась группа молодых людей, ставших его единомышленниками и составивших впоследствии ядро научной школы Выготского. Это прежде всего А. Р. Лурия и А. Н. Леонтьев. Потом к ним присоединились непосредственные ученики Выготского: А. В. Запорожец, Л. И. Божович, Н. Г. Морозова и др. Со временем образовался и более широкий круг Выготского, который далеко вышел за пределы нашей страны.

То ли под влиянием случившейся в России революции, то ли генетически — по своей натуре — и вопреки его теории, Выготский был реформатором. Борис Мещеряков выдвинул интересную гипотезу о том, что Выготский в поисках своей идентичности, по примеру Мартина Лютера, сменил в своей фамилии букву «д» на букву «т». ЛюТер по рождению был ЛюДером, а ВыгоТский — ВыгоДским. Он охотно повторял лютеровский императив: «На том стою и не могу иначе». Выготский принял революцию, принял марксизм, принял задачи переустройства общества и даже задачу создания нового человека. Важнейшим условием их решения он считал перестройку психологии, чему и посвятил оставшиеся ему десять лет жизни. Реформаторство Выготского было особенно страстным и решительным в первые годы московского периода его научной жизни. В работе «Исторический смысл психологического кризиса» он как бы расчищал площадку для строительства новой психологии. При этом, анализируя течения мировой психологии, в том числе и российской, он не стеснялся в оценках и пришел к печальному заключению о том, что вся психология находится в глубочайшем кризисе. Сейчас, оглядываясь назад, сознаешь несправедливость такой оценки. В то время в мировой психологии было

множество замечательных интеллектуальных событий и прорывов: достаточно назвать имена М. Вертгеймера, К. Коффки, Э. Клаппарда, Ф. Бартлета, Э. Толмена, Ж. Пиаже, да и самого Выготского. Такому расцвету может позавидовать любая эпоха. По неясным причинам Выготский не опубликовал эту работу. Она была издана более чем через пятьдесят лет. Справедливости ради нужно сказать, что в ней, наряду с критическим пафосом, был и созидательный. Его работа носила творческий характер, что особенно ярко выступило в его последующих работах.

Удивительно интересно проследить эволюцию взглядов Выготского. К нему относятся слова поэта Иосифа Бродского: «Скорость внутреннего прогресса быстрее, чем скорость мира» (Речь о пролитом молоке, 1967). Его путь в психологии можно обозначить как путь к смыслу и к сознанию. Приведу три примера. 1. Выготский начинает «Психологию искусства» с анализа эстетической реакции, а заканчивает поисками скрытого, «второго» смысла «Трагедии о Гамлете» — молчанием, как бы «впаданием» в пропасть смысла. 2. Книгу «Мышление и речь» автор начинает с характеристики значения, как единицы анализа речевого мышления, а заканчивает гимном смыслу, вовсе забывая в последней блистательной главе «Мысль и слово» о значении. 3. Анализ сознания Выготский начинает с его определения как «рефлекса рефлексов», а заканчивает характеристикой «переживания переживаний» как единицы его анализа и утверждением о смысловом (и системном) строении сознания.

К проблеме смысла и сознания вели и его исследования происхождения высших психических функций, которые рождаются в совместной деятельности людей. Он говорил об этом в терминах интер- и интрапсихических функций. В осуществлении обоих видов деятельности решающую роль играют орудия — средства-медиаторы, такие как знак, слово, символ, поэтому главным положением в теории Выготского является опосредованность высших психических функций. Если воспользоваться терминологией М. Бубера, то вся драма психического развития происходит в пространстве *между* — в пространстве между людьми. Именно в этом пространстве складываются разнообразные формы знаково-символической, предметной, речевой, и в широком смысле слова, психической деятельности. Разумеется, к числу медиаторов относятся не только знак, слово, символ, но и овеществленный смысл, миф, произведение искусства. Огромную роль в развитии играют, так сказать, персональные медиаторы: родители, учителя, боги².

² См., например, «Исповедь» Блаженного Августина.

Это положение соответствует, если не букве, то духу теории Выготского. Пожалуй, относительно медиаторов следует сделать одно добавление. Медиаторы — не только орудия, средства развития. Они представляют собой целые миры: мир знаков, мир языка, мир смыслов, мифов и искусства. Эти миры можно назвать одним словом, они представляют собой культуру, которая является приглашающей силой. А каждый человек для культуры — это желаемость, ожидаемость. Человек свободен. Он может принять приглашение, может и уклониться. Нужно помнить, что неучастие человека в культуре наносит ущерб не только ему, но и культуре, так как он не выполняет тем самым своего жизненного предназначения. Именно в этом, на мой взгляд, состоит главный смысл культурно-исторической теории развития психики и сознания, созданный Выготским.

Не могу обойти стороной вопрос о марксизме Выготского. В-первых, в этом, как и в религиозности верующего человека, нет ничего стыдного. Во-вторых, марксизм Выготского, если можно так выразиться, был мягким (*soft-marksism*), не догматическим. Он был смягчен его философской культурой, и особенно его стойким увлечением «Этикой» Б. Спинозы. К концу жизни ранние марксистские убеждения (или, что точнее, иллюзии) Выготского и вовсе испарились. В таких фундаментальных работах, как «Мышление и речь», «Учение об эмоциях» и др. формально и по существу незаметно какого-либо влияния марксизма на развиваемые им взгляды. Увлечения молодости были забыты или обесценены складывающейся социальной ситуацией в СССР, в том числе и ситуацией «развития» науки, когда запрещались психоанализ, психотехника, педология и т. д. Секрет успеха Выготского был не в идеологической предзаданности его поисков, а в его устремленности к практике, к психотехнике, понимаемой в самом широком смысле этого слова, будь то детское развитие (норма и дефект), школьное обучение, театр и кино (сотрудничество с Сергеем Эйзенштейном), или даже психология труда. Как теоретик и методолог он ставил задачу создания особой философии практики.

Выготскому не удалось реализовать проект разработки психологии «в терминах драмы». Он писал, что «динамика личности есть драма»³. Видимо, этот проект родился на основе личного опыта его собственной жизни. Его благополучная семейная жизнь сопровождалась тяжелой болезнью, его научные успехи сопровождалась

жесткой, не только научной критикой, но и политическими обвинениями. Педология, развитию которой он отдавал много сил, была запрещена. Еще при его жизни были запрещены и его психологические труды. Он все это сносил достаточно мужественно, порой с горькой иронией. По свидетельству А. В. Запорожца, он говорил: «Плохое положение от хорошего отличается не тем, что из него нет выхода, а тем, что из него нет хорошего выхода». Свой «выход» он находил в невероятно интенсивной работе, которой он отдавал себя до последнего часа своей жизни. Он как бы следовал максиме Льва Толстого «Нужно делать свое дело, а там будь, что будет».

Ключевые слова развивавшейся им новой психологии — культура, история, переживания, как источник сознания и смысла — советской власти оказались не нужны, более того, — вызывали агрессию. Этой агрессивной критике мы даже обязаны наименованием теории Выготского как культурно-исторической. Так ее с оттенком презрения назвал один из критиков-марксистов. Мы об этом вспомнили, когда в 2005 году начали издание международного журнала «Культурно-историческая психология». В последние годы жизни, его, как и любимого им литературного героя Гамлета, мучили экзистенциальные проблемы «скорби бытия». Счастье, что в эту страшную эпоху Выготскому, в отличие от некоторых его коллег-современников, удалось умереть в своей постели. Но, как говорил Михаил Булгаков: «Рукописи не горят». И сегодня мы имеем многотомное собрание сочинений Л. С. Выготского и его посмертная жизнь продолжается. Его творчество до сих пор анализируется и дискутируется многими психологами. В 2007 году Cambridge University Press опубликовало солидный том «Cambridge Companion to Vygotsky», в создании которого приняли участие ученые из десяти стран, в том числе из России. Уверен, что наследие Л. С. Выготского еще долго будет служить источником вдохновения для тех, кого волнуют вечные проблемы развития человека.

³ *Выготский Л.С.* [Конкретная психология человека]. Публикация А. А. Пузыря // Вестник МГУ. 1986. Сер. 14. Психология. № 1. С. 59.

Николай Александрович Бернштейн: психологическая физиология

*Вся жизнь его — искание исканий.
Он будущее видит в настоящем.
Он весь — цепь бесконечная стремлений.*
Роберт Фрост

Александр Романович Лурия в своих воспоминаниях не без гордости писал, что он в своей жизни был знаком с тремя гениями: Л. С. Выготским, С. М. Эйзенштейном и Н. А. Бернштейном. Дж. Брунер в письме к А. Р. Лурия (1967) сравнил вклад Н. А. Бернштейна в науку с вкладом Л. С. Выготского и выражал сожаление, что он не познакомился с ним во время его визита в Москву. О жизни и судьбе Н. А. Бернштейна (1896–1967) можно узнать из посвященной ему книги И. М. Фейгенберга¹, написанной с большой любовью автора к своему герою. Кроме любви виден высокий профессионализм и огромная работа: И. М. Фейгенберг признается, что ему повезло, так как в семье Н. А. Бернштейна, в библиотеках и архивах Москвы, Одессы и Нью-Йорка он нашел сведения о нескольких поколениях рода Николая Александровича.

Несмотря на сравнительно небольшой объем книги, она представляет собой неспешное, написанное прекрасным языком повествование о родословной Н. А. Бернштейна, прослеженной с XVII столетия, о его детстве и юности, о становлении ученого и его научных корнях и истоках, о его взаимоотношениях с выдающимися отечественными учеными, например, с А. А. Ухтомским и Л. С. Выготским, об особом явлении, которое можно назвать «кругом Бернштейна», а в последние десятилетия жизни — его «невидимым колледжем». Книга И. М. Фейгенберга полна живыми свидетельствами жизни ученого. Не менее важны его живые свидетельства, порой весьма страшные, об эпохе, в которой пришлось творить Н. А. Бернштейну.

И. М. Фейгенберг следующим образом характеризует яркую и многогранную личность Н. А. Бернштейна: крупный ученый — экс-

периментатор и мыслитель, физиолог и психолог, а к тому же до некоторой степени математик и музыкант (он не только хорошо играл на фортепиано, но и сочинял музыку), полиглот (он знал восемь языков), художник и мастер слова, знаток литературы и поэт. И все это правда. Он и при жизни был человеком-легендой. Я много слышал о нем от своих учителей и до сих пор корю себя за робость, которая не позволила мне приблизиться к этому человеку, хотя, начиная с середины 1950-х годов, постоянно опираюсь на его методы и результаты исследования живого движения и предметного действия².

Очень интересно и поучительно, вслед за И. М. Фейгенбергом, проследить поиск и обретение Н. А. Бернштейном собственного пути в науке. Он как будто с самого начала знал девиз И. П. Павлова: «Все в методе», благодаря чему он не только нашел счастливый, вечно актуальный и неисчерпаемый предмет исследования — живое движение, — но усовершенствовал старые и разработал принципиально новые методы его исследования, за что удостоился высшей похвалы А. А. Ухтомского. Последний сказал, что Н. А. Бернштейну принадлежит заслуга создания микроскопии времени, микроскопии хронотопа при изучении не неподвижных архитектур, но микроскопии движения в текуче меняющейся архитектуре при ее деятельности. А. А. Ухтомский поставил имя Бернштейна рядом с именами Левенгука и Мальпиги.

Поражает, так сказать, номенклатура движений и действий, учававшихся Н. А. Бернштейном: ходьба, бег, прыжки, письмо, разнообразные трудовые и спортивные движения, движения пианиста и т. д. С известной мерой условности вслед за И. М. Фейгенбергом можно назвать экспериментальные исследования разнообразных движений первым этапом научной деятельности Н. А. Бернштейна. Строго говоря, такие исследования, вероятно, продолжались бы им до конца жизни, если бы ему не мешали. Помех на долю Н. А. Бернштейна выпало не меньше, чем научных достижений, что показано в книге И. М. Фейгенберга.

Н. А. Бернштейн был не только блестящим экспериментатором, но и мыслителем. На основании полученного экспериментального материала Н. А. Бернштейн преодолел распространенную в психологии и физиологии «абстракцию простого движения», согласно которой двигательный эффект рассматривался как неизменное и простое «точечное» событие, однозначно вызываемое другим, столь же простым

² Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. М., 1982; Зинченко В. П. Интуиция Н. А. Бернштейна: Движение — живое существо // Вопросы психологии. 1996. № 6. С. 134–138.

¹ Фейгенберг И. М. Николай Бернштейн: от рефлекса к модели будущего. М., 2004.

событием — возбуждением определенной зоны коры больших полушарий³. К началу 1930-х годов Н. А. Бернштейн понял, что движение, интересное и самое по себе, может служить средством познания законов работы центральной нервной системы. И. М. Фейгенберг с одобрением приводит тезис Н. А. Бернштейна о том, что «движение уже перестает быть интересным нам своей чисто феноменологической стороной. Мы уже уловили, что в нем содержится богатейший материал о деятельности центральной нервной системы, правда, содержится он там в зашифрованном виде, но ведь нет такого шифра, которого нельзя было бы раскрыть при достаточном внимании и упорстве, при достаточной воле к этому»⁴. У Н. А. Бернштейна хватило внимания, упорства и воли, и он показал и доказал, что движение, действительно, представляет собой важнейший ключ к пониманию принципов работы мозга. Пожалуй, трудно согласиться с тем, что феноменологическая сторона движения утрачивает свой интерес. Дальнейшее изучение этой стороны помогает нам проникнуть в тайны ментальной жизни, в частности, в тайны формирования образа и мышления. Движения, конечно, регулируются чувствованиями (И. М. Сеченов), но столь же верно, что чувствования, — образ, регулятор, — строятся посредством движения. Подтверждается положение И. М. Сеченова о том, что элементами мысли, наряду с чувствованиями, являются личные действия. К сожалению, эта линия изучения движения, признанная С. Л. Рубинштейном в 1940 году, кстати, не без влияния работ Н. А. Бернштейна, не получила развития в трудах ученого.

* * *

К Н. А. Бернштейну и к стилю его научной работы вполне может быть применена пушкинская характеристика: *Гений — парадоксов друг*. Чего стоит его уподобление движения живому существу! Чтобы принять вызов И. Ньютона: «Как движения управляются волей?» скромных способностей недостаточно. Упомяну исходные парадоксальные утверждения, открывающие простор и перспективы исследований движения.

Первый парадокс. Ударное движение — это монолит и паутина на ветру. В 1922–1924 годах, анализируя циклограммометрические записи ударом молотком по зубилу или ударов кузнечной кувалдой, он назвал каждое движение монолитом, а серию записей движений, наложенных друг на друга, — паутиной на ветру. Это заключение, выте-

³ Васильюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. М., 2003. С. 63.

⁴ Фейгенберг И. М. Николай Бернштейн: от рефлекса к модели будущего. М., 2004. С. 44.

кающее из анализа внешней формы движения, породило *второй парадокс*: упражнение есть повторение без повторения. В соответствии с формальной логикой обучение невозможно, потому что нет эталона-стандарта. Просто нечего заучивать. Среди тысяч реализаций одного и того же даже простейшего движения компьютер не может найти двух совершенно одинаковых. Однако по нормальной человеческой логике и практике обучение почему-то происходит, и в высшей степени успешно. Н. А. Бернштейн приводит ироническое замечание А. П. Чехова: «Заяц, если его бить, научится спички зажигать». У обучения человека, говорит Н. А. Бернштейн, другие мотивы.

Н. А. Бернштейн увидел в отсутствии повторяемости движения проблему, и мы до сих пор пытаемся понять, что значит: движение не воспроизводится, а каждый раз строится. Конечно, он не отрицал существования энграмм, программ, обобщенных или конкретных эталонов. Но очень рано, еще в 1920-е годы, в эпоху расцвета бихевиоризма в США, рефлексологии и реактологии в России он понял, что прежде всего нужно замкнуть рефлекторную дугу или закрыть, замкнуть открытый контур регулирования движения, сделать схему кольцевого управления.

Парадигма реактивности уступила место парадигме активности. Мертвая реакция, линейная стимульно-реактивная схема стала живым кольцом. Но даже если в кольце действительно происходит вихревое движение Декарта, оно не может вечно оставаться кольцом. Оно разрывается или взрывается, но не только по внешней, а по своей собственной логике (и психологии), итогом чего является превращение замкнутого кольца в бесконечную спираль развития действия, деятельности, сознания.

Н. А. Бернштейн увидел проблему в том, как обучающийся ощущает свое движение изнутри. Для ее решения недостаточно знания внешней формы движения, необходимо понять его внутреннюю форму. Это не значит, что Н. А. Бернштейн недооценивал внешнюю форму живого движения. Напротив, он понял, что его нужно описывать не метрическими, а топологическими категориями, что его фазовый портрет помогает проникать в его внутреннюю форму. Действительно, анализ внешней формы движения, вплоть до его квантово-волновых свойств, приносит исследователям все новые и новые сюрпризы. Труды Н. А. Бернштейна учат расшифровывать внешние формы движения, проникать в его внутренние формы, реконструировать смыслы и значения. Остановлюсь на существенных чертах стиля научной деятельности Н. А. Бернштейна.

Талант Н. А. Бернштейна как экспериментатора и изобретателя проявился в том, что он разработал метод микроскопии времени,

микроскопии хронотопа. Микроскопия времени уже в начале 1930-х годов давала характеристики пространственных и угловых перемещений звеньев тела, скоростей и ускорений точек этих звеньев, наконец, динамических усилий в центрах тяжести как отдельных звеньев, так и целых систем.

Циклограмметрические данные соединяли в себе преимущество высокочастотной киносъемки (от 100 до 200 снимков в секунду) со значительной точностью измерения. Измерение мгновенных положений движущихся частей тела идущего и бегущего человека производилось с точностью 0,5 мм натуральной величины. Сегодня эта микроскопия времени выполняет функцию зонда и позволяет проникать в микроструктуру и микродинамику движения.

Н. А. Бернштейн обладал абсолютным музыкальным слухом и абсолютным научным вкусом. Его хобби — проектирование мостов. Сделанные им проекты были ажурны, необыкновенно изящны и, по отзывам специалистов, вполне реализуемы.

Многие годы он работал над проектом — моделью построения действия. Концептуально модель была готова в 1930-е годы. Первый набросок модели без упоминания этого термина был опубликован в 1945 году. Затем она уточнялась и детализировалась в 1947 и 1957 годах. Последняя предложенная им конструкция модели (1961) широко известна. Она до сих пор остается самой красивой, равновесной, прочной, как спроектированные им мосты. При сравнении вариантов модели хорошо виден путь, по которому шел поиск внутренней формы движения: первоначальное кольцо постепенно заполняется когнитивными и эмоциональными компонентами. В последней модели заключен богатый потенциал развития. Многие «эксплуатируют» его модель, осуществляют ее декомпозицию, переименовывают те или иные ее блоки, вводят новые, дают свои варианты композиции новых и старых компонентов модели и связей между ними. Несмотря на это, модель Н. А. Бернштейна вот уже несколько десятилетий остается базовой. Она лежит в основе огромного числа модельных представлений двигательного акта, предложенных учеными разных стран, в их числе и нашей страны⁵. Он выполнил самую трудную часть работы. Нельзя забывать, что он строил свою теорию на огромном эмпирическом и экспериментальном материале. Большую помощь ему оказали исследования в области развития движений (локомоции, ходьба, бег, прыжки) и данные патологии движения. Очень многое построено им из осколков патологии, в чем большую помощь оказали его дружба и сотрудничество с А.Р. Лурией.

⁵ Гордеева Н. Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. М., 1995.

Н. А. Бернштейн построил еще один мост — от биомеханики и физиологии к психологии, назвав его физиологией активности. А. Р. Лурия назвал этот мост психологической физиологией, о которой мечтал в свое время Л. С. Выготский. Многие и до и после Н. А. Бернштейна строят свои мосты. Иногда они строят их не между, не поперек, а вдоль или вертикально. Далеко не все могут пройти по мосту, уже построенному Н. А. Бернштейном.

Как теоретик Н. А. Бернштейн обладал не так уж часто встречающимся у ученых визуальным мышлением. Он видел то, что не видят другие. Он порождал новые образы, несущие смысловую нагрузку. За скелетно-мышечной механикой, за механизмами мозга и нервной системы, за натуральными движениями и их следами на записях он, как и его современники — физиолог А. А. Ухтомский и поэт О. Мандельштам, видел функциональный орган, столь же реальный, как печень, сердце, другие морфологические органы. По его словам, движение как функциональный орган обладает биодинамической и (добавим сегодня) чувственной тканью. Этот орган эволюционирует, инволюционирует, обладает реактивностью, добавим сегодня, чувствительностью, зачатками рефлексии: движение реагирует как живое существо. Мало этого, функциональный орган пронизывает кровеносная система смысла (метафора Г. Г. Шпета), обеспечивающая прямые и обратные связи, которые могут закупориваться, склерозироваться, вызывать ступор, шок и т. п.

Н. А. Бернштейн был честный теоретик. При его совершенном знании физиологии мозга ему было бы значительно легче и проще продолжать работать над уровнями построения движений в том ключе, в котором написана его книга 1947 года, т. е. строить нервные или мозговые модели движения. Но он понимал, что разгадка тайны построения движения лежит не вне его, а в нем самом, в порождаемом посредством движения образе, который берет на себя функции управления движением. Подчеркивая роль образа, он признавал, что физиология очень мало знает о нем, но *ignoramus* не значит *ignorabimus*. Нужно сказать, что в те годы и психология знала о них немногим больше; образы в нее только начинали возвращаться из изгнания⁶.

Как строится образ ситуации, образ будущего, образ действий, которые в ситуации должны быть выполнены с участием прошлого и будущего — это особый сюжет. Он в России связан со школой А. В. Запорожца, к которой принадлежу и я. В США эта линия исследований интересно развивается М. Турвеем.

⁶ Holt R. R. Imagery: the return of the ostracized // American Psychologist. 1964. Vol. 19. № 4. P. 254–264.

Новая-старая книга Н. А. Бернштейна

Горят ли рукописи, — вопрос достаточно спорный. Слава Богу, что часть из них, спустя многие десятилетия после написания, все же доходит до нашего времени и находит своих читателей⁷. Судьба книги Н. А. Бернштейна отличается от судьбы репрессированных рукописей многих репрессированных советских ученых. Отличается и от рукописей, написанных, так сказать, «в стол». Эта книга в 1936 году была близка к выходу в свет. Автор, руководствуясь нравственными соображениями, по доброй воле остановил ее издание. Он счел невозможным публикацию книги, в которой содержалась полемика с учением о высшей нервной деятельности И. П. Павлова в год его смерти. Как свидетельствует автор предисловия И. М. Фейгенберг, ученый счел себя не вправе опубликовать книгу с острой критикой, когда его оппонент не мог на нее ответить и вступить в дискуссию.

Знакомясь сегодня с этой книгой и вспоминая печально известную объединенную сессию Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР (1950), приходишь к выводу, что первая содействовала бы развитию физиологии нервной системы и ряда смежных наук, а вторая — нанесла физиологии непоправимый урон. Пострадали и психологи, которых о сложнейших проблемах восприятия, мышления, сознания обязывали «мыслить» на уровне условных рефлексов. Как хорошо известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. «Павловцы» не простили благородства Бернштейну, и он подвергался гонениям, оказавшись, впрочем, в хорошей компании с Л. А. Орбели, И. С. Бериташвили, П. К. Анохиным. И. М. Фейгенберг не без оснований пишет, что если бы книга была в свое время издана, удар по Бернштейну в начале 1950-х годов мог бы оказаться значительно более тяжелым. Впрочем, для России подобные интервалы между написанием и изданием в порядке вещей. Так или иначе, но книга перед нами и ее название вполне адекватно. Это не былые, а вполне современные искания, можно с уверенностью сказать, что время ее издания не прошло, а пришло, как пришло, наконец, и время издания упоминавшейся выше книги И. М. Фейгенберга

В емкой формуле «От рефлекса к модели будущего» (я бы предпочел сказать: к образу будущего) в концентрированном виде представлены усилия нескольких поколений отечественных физиологов, для которых характерно изучение функций нервной системы в широкой биологической и гуманитарной, в частности, психологической

перспективе. И. М. Сеченов, конечно, отец русской физиологии, но от него идут две различные ветви ее развития. Одна из них — линия И. П. Павлова, вторая — линия Н. Е. Введенского. Н. А. Бернштейн принадлежал ко второй, хотя он, как и А. А. Ухтомский, несомненно, представлял собой вполне самостоятельную фигуру. В то же время он признавал, что на его мировоззрение и исследования оказали большое влияние Сеченов и Ухтомский. Это выразилось, в частности, в том, что он на протяжении всей своей научной биографии старался понять механизмы деятельности нервной системы не только в контексте поведения, но и в контексте психических функций, например, памяти, мышления, и даже сознания. Трудно сказать, знал ли Н. А. Бернштейн замечательную статью А. Н. Северцова «Эволюция и психика» (1922), в которой психика признается фактором эволюции, но то, что он разделял такой взгляд на нее, не вызывает сомнений. Иначе и не может быть, так как только в психике представлены «три цвета времени» — прошлое, настоящее и будущее, благодаря чему она, если и не указывает, то помогает определять вектор развития, придает ему извлеченный из бытия смысл. Забегая вперед, скажу, что понятие «смысл» в естественнонаучных воззрениях Н. А. Бернштейна было ключевым, что приближало его взгляды к гуманитарным. Это же характеризовало и воззрения А. А. Ухтомского, определившего жизнь как требование от бытия Смысла и Красоты.

В научной деятельности Н. А. Бернштейна, естественно условно, можно выделить три основных этапа, или периода. Это, конечно, хронология, но как бывает в работе большого ученого, это одновременно и активная, творческая хронотопия, где властвует осмысленное «время-пространство», т. е. идея. Вся жизнь Н. А. Бернштейна была посвящена изучению механизмов произвольного, в пределе — свободного, действия. Он пришел в итоге к парадоксальному результату: чтобы осуществить свободное действие, необходимо преодолеть и ограничить избыток кинематических степеней свободы человеческого тела. Это трудно. Но во много крат труднее, когда извне ограничивают твои собственные степени свободы. Несмотря на многие внешние ограничения Н. А. Бернштейн всегда оставался свободным, в чем сможет убедиться читатель, знакомясь с книгой.

Первый и третий периоды хорошо известны, хотя переход от первого ко второму мне всегда казался не вполне оправданным. Теперь, после выхода старой-новой книги эволюция научных взглядов Н. А. Бернштейна приобретает более строгий и заверченный вид.

После получения медицинского образования Н. А. Бернштейн начал свою практическую работу с самого сложного — с психиатрии, с нарушений высших психических функций и сознания. Иное

⁷ Бернштейн Н. А. Современные искания в физиологии нервного процесса / Под ред. И. М. Фейгенберга, И. Е. Сироткиной. М., 2003.

дело, что он быстро оставил профессию врача и предпочел заняться наукой, но интерес к психологии он сохранил на всю жизнь.

Н. А. Бернштейн был первый, кто понял, что наиболее информативным признаком живого движения является ускорение, и вычислял его (с помощью логарифмической линейки), изучая игру пианиста. К настоящему времени на основе бернштейновских методических находок созданы методы микроструктурного и микродинамического анализа не только моторных, но и когнитивных процессов (восприятия, внимания, кратковременной памяти).

Хорошо известен результат второго этапа деятельности Н. А. Бернштейна, обобщенный в книге «О построении движений» (1947), удостоенной Сталинской премии. Видимо, это была одна из последних работ в области физиологии (и не только!), при обсуждении которой Комитет по премиям руководствовался критериями научности. Спустя пятьдесят лет значительная ее часть переиздана в составе трудов Н. А. Бернштейна⁸. В книге изложена разработанная автором иерархическая система функциональных и неврологических уровней построения движений: от простейших, фоновых уровней, поддерживающих мышечный тонус и обеспечивающих синергические взаимодействия мышечных групп... до уровня действий и их символических координаций. Замечательная особенность этой работы состоит в совмещении эволюционного, структурного, функционального, неврологического, поведенческого и культурного аспектов рассмотрения движений и действий. Поразительно, что все эти аспекты выступили в высшей степени органично.

Об этом приходится говорить, чтобы предупредить схематически упрощенное понимание вклада Бернштейна в изучение движений. Дело не только во введении идеи сенсорных коррекций (обратных связей). Необходимость последних понимал Р. Вудвортс еще в конце XIX века. Новизна подхода Бернштейна состоит во введении представлений о функциональной структуре движений, понимаемых как органы человека и в расшифровке соответствующих им структур нервной системы.

Цельность теории построения движения, казалось, прямо не вытекает из биомеханического, феноменологического и психологического анализа движений и действий, выполненных на первом этапе его научной деятельности. Теперь издано, так сказать, промежуточное звено, которое И. М. Фейгенберг назвал в предисловии к книге «Стартовой площадкой».

⁸ *Бернштейн Н. А.* Биомеханика и физиология движений / Под редакцией В. П. Зинченко. М.; Воронеж, 1997.

Когда читаешь книгу, не покидает ощущение, что она написана свободным человеком, пришедшим в науку 1930-х годов как будто из другого времени и не заметившего социальных перемен, наступивших в эпоху «Великого перелома». Книга начинается с «Вступления», имеющего подзаголовок «О динамичности научных теорий», где совсем не ко времени утверждается, что всякая наука переживает смену взглядов, теорий и мировоззрений и рассказывается о возрастных периодах развития теорий: рождение, зрелость и смерть. Автор не ставит задачу создания собственной теории, а обещает обрисовать сложность, спорность воззрений и динамичность борьбы мыслей в области физиологии нервных процессов в том виде, как она происходила в науке того дня. Не сравнивая книги Н. А. Бернштейна с книгой Л. А. Орбели «Лекции по физиологии нервной системы» (1934), думаю, что они прекрасно дополняли бы одна другую. Бернштейн, как и Орбели, далеко выходит за пределы нервной системы в области поведения, работы органов чувств, разнообразных форм активности двигательного аппарата и т. д.

Данное во «Вступлении» обещание автор выполняет с лихвой. Перед читателем разворачивается впечатляющая панорама работы нервной системы от характеристик нерва, нейрона и импульса, данных в первых главах, до — целого мозга и его архитектоники, в частности, взаимоотношений центра и периферии, проблематики локализации функций, пластичности нервной системы. Специальные главы посвящены общей патологии корковых очагов, изложению опытов с раздражениями коры больших полушарий, анализу явлений выпадений при поражении лобных долей и др.

Второй этап научной деятельности Бернштейна замечателен тем, что ученый ведет разговор «на ты» не только с движением и действием — первым предметом своих исканий, но и с психологией и психиатрией познавательных процессов (восприятие, память, мышление, сознание), обсуждает проблематику их неврологической организации. Знакомству его с психологией и глубине ее понимания могут и сегодня позавидовать многие психологи. Из этой книги я узнал о содержательных контактах между Н. А. Бернштейном и Л. С. Выготским — создателем культурно-исторической психологии и теории развития высших психических функций и сознания. В своих размышлениях о восприятии, памяти, сознании и хроногенности их локализации Бернштейн прямо опирается на труды Выготского, в том числе и на неопубликованные в то время. (О том, что Бернштейн и Выготский в 1920-е годы работали в Психологическом институте, было известно и ранее.) Думаю, что влияние было взаимным. Не известно, знаком ли был А. Р. Лурия с рукописью Бернштейна, но

создается впечатление, что материалы и идеи, изложенные им, были (или могли бы быть) «стартовой площадкой» и для нейропсихологии, признанным создателем которой считается А. Р. Лурия.

Конечно, книга Н. А. Бернштейна написана семьдесят пять лет тому назад и за истекшие десятилетия появился новый и еще менее обозримый, чем во времена Бернштейна, материал. Но непреходящую ценность имеет способ анализа представленного в ней материала, отношение к нему, отношение к авторам и разговор с ними. Чрезвычайно важна и методологическая культура. В книге нет речи о марксизме и его «материалистической диалектике», но постоянно идет вполне предметный разговор о вечных для любого естественнонаучного исследования методологических проблемах. Ограничусь лишь некоторыми примерами.

Одна из таких проблем — это споры между морфологизмом и атомизмом, с одной стороны, и динамизмом и целостностью, — с другой. Автор говорит о них, как о качаниях маятника между локализационизмом и антилокализационизмом. Между прочим, такие качания продолжают и сегодня. Фр. Крик последнее десятилетие своей жизни искал нейроны сознания. У нас есть его последователи, ищущие нейроны эгоизма и альтруизма. Интересно, что такой поиск ведут последователи П. К. Анохина, выведившего из специфических динамических свойств импульса морфологические преобразования центров (структурная форма реинтеграции) и основывавшего на них свою теорию онтопластического формирования центров периферией. Н. А. Бернштейн по поводу вековых споров пишет, что локализационизм принципиально невозможен без антилокализационизма. Они неотделимы как лицо и изнанка одной математической плоскости. «Чем выше растет морфологическая локализационная расчлененность мозга, тем интенсивнее растут и предпосылки к развитию в нем нелокализуемых процессов, и, судя по всему, рост этих предпосылок идет быстрее (как третья или четвертая степень независимой переменной), нежели рост самой морфологической дифференциации»⁹.

Обсуждая оппозицию — атомизм и целостность, Бернштейн говорит о *системной организации* коры головного мозга, о том, что она обладает большим количеством неврональных «этажей», более далеких от периферического тела, чем ее первичные «входные и выходные ворота». Бернштейн пишет: «Кора оказалась *субординационной системой*, в которой одни поля являются проекционными по отношению к другим и которой бесспорно доступны бесчисленные иные органи-

зационные формы, кроме элементарного суммирования параллельно включаемых слагаемых. И именно в *этой субординационной организации и заложена для мозга возможность неограниченного созидания новых качеств и категорий*»¹⁰. А. А. Ухтомский сказал бы — созидания новых функциональных органов нервной системы. Замечу, что идея организации коры больших полушарий как субординационной системы была высказана Бернштейном тогда же, когда были опубликованы первые работы Л. фон Берталанфи, посвященные системному анализу и пришедшие к нам четверть века спустя. Но Бернштейн не ограничился идеей системности. Ему принадлежит интереснейший анализ функций нервной системы как целого и путей ее развития. Он оспаривает «армаду авторитетов», включая Ч. Шеррингтона и И. П. Павлова, что нервная система играет интегрирующую (объединяющую) роль. В интегрировании и объединении может нуждаться только то, что само по себе не интегрально и не едино — чего о нервной системе и ее отправлениях сказать никак нельзя. Но эта интегрирующая функция, продолжает Бернштейн, может быть, и существует у нервной системы, но только как одна из самых древних, первоначальных функций во всем ее филогенезе, которая может быть возглавляющей только на самых ранних ступенях эволюционного процесса. А более новые отправления нервной системы протекают на основе этой первичной интегральности, но протекают как *борьба с нею*, как преодоление этой доисторической генерализации¹¹.

Н. А. Бернштейн достаточно категоричен: «*Деятельность современной нам нервной системы высокоорганизованного позвоночного — не интеграция, а борьба с первичной интегральностью*. Можно, пожалуй, сказать, что нервной системе присуща не интегрирующая, а интегрировавшая функция <...> Формы борьбы с древней интегральностью могут быть чрезвычайно разнообразными и, как мы видели на протяжении всей этой книги, видимо, реже проявляются в виде анализа (расчленения), нежели в виде *вычленения*, оформления отдельной части на фоне создания оформленных подсовокупностей. Как морфологическое развитие многоклеточного организма совершается не по линии интеграции, а по линии дивергенции (расхождения) структурных форм его элементов, заострения качественных различий между ними и вычленения организованных подсистем — *органов*, так и генез нервного процесса есть постепенное повышение дифференциации (мы видели это хотя бы на примере онтогенеза психических образований) и вычленение организованных, структурированных *действий* из льюще-

⁹ Бернштейн Н. А. Современные искания в физиологии нервного процесса / Под ред. И. М. Фейгенберга, И. Е. Сироткиной. М., 2003. С. 317.

¹⁰ Там же. С. 324.

¹¹ Там же. С. 318.

гося сквозь нервную систему первоначального неделимого (интегрального) потока»¹². Поразительно, что О. Мандельштам, расшифровывая и поясняя космологическую теорию (гипотезу, фантазию) Данте, почти буквально повторяет логику Н. А. Бернштейна, о которой поэт едва ли мог знать: «И подобно тому, как единый виталистический поток создает для себя органы: слух, глаз, сердце[, кровеносную систему, а в дантовском понимании человеческого тела не только создает, но в них и через них буквально протекает, поскольку органы являются соподчиненными потоками в едином потоке и только через них и может осуществиться виталистический порыв], конкретизирующие сферы являются рассадниками качеств, внедренных в материю»¹³.

Примечательно обращение Н. А. Бернштейна к онтогенезу психических образований — это линия исследований Л. С. Выготского, которая до сих пор не стала общепринятой в среде психологов. Выготский тоже оперировал понятием органа, психологического орудия, новообразования, действия. Все эти *организованные* подсовокупности целого обобщаются понятием функционального органа, под которым А. А. Ухтомский понимал всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение. Такие органы существуют виртуально, т. е. их можно наблюдать лишь в моменты их функционирования. Это эквивалентно идеям Выготского и Бернштейна о хроногенности локализации психологических новообразований, включая и сознание. Естественно, что функциональные органы-новообразования создаются в психической сфере и создаются в нервной системе. В конце концов, точно так же, как рука является *орудием орудий* (Ф. Бэкон), так и нервная система является таким же орудием орудий и функциональных органов. И для их создания равно необходимы морфология и динамика, интеграция и дифференциация.

Образ мира, конечно, интегральный орган. Об этом писал А. А. Ухтомский. Сегодня достаточно хорошо изучено формирование или композиция (микрогенез) зрительного образа. Но когда последний начинает выступать в качестве регулятора движений и действий (или, как говорил Бернштейн, двигательных действий), происходит его дезинтеграция или декомпозиция, обеспечивающая припасовку строящегося действия (его композиции) не только к интегральным, но и к частичным, дифференциальным свойствам представленной в образе ситуации. Существенно, что вместе с композицией действия происходит и композиция нового образа ситуации, измененной осуществившимся действием.

¹² Там же.

¹³ Мандельштам О. Э. Слово и культура: Статьи. М., 1987.

Продолжу изложение логики Н. А. Бернштейна относительно вычленения из нервного потока структурированных действий: «В наинизшем плане этот процесс дает вычленение рефлексов, в наивысшем — оформление сложнейших психологических и идеологических структур. Рефлекс — не сумма рефлексиков, деци- и миллирефлексов, скомпонованных в одно целое благодаря вмешательству интеграции. <...> В то же время рефлекс не есть и слабое, суммирование которого с ему подобными может дать (с помощью интеграции) действия любых уровней качественной сложности; эти высокоорганизованные действия, в свою очередь, не гекто- и не килорефлексы»¹⁴. Бернштейн приводит изящное выражение Ф. Бейтендайка, «рефлекс — не элемент действия, а его предельный случай». Сам он на основании физиологических данных отрицает существование безусловных рефлексов: «*Безусловного рефлекса*, как его понимали раньше, *не существует в природе*; существуют только *более или менее стойкие формы проводимости данного синапса в данных условиях*, немедленно меняющиеся, если испытать этот же синапс в изменившихся условиях»¹⁵.

Итак, интегрированная деятельность — лозунг атомистов, которые в предлагаемых ими моделях мозга придают решающее значение элементарным процессам, привязанным к определенным путям следования и целиком определяемым этими путями. Бернштейн называет эту идею великим недоразумением. Но и целостность его не удовлетворяет: «Целостность как принцип отходит в удел крайним динамистам, которые рисуют себе нервный процесс в виде единой и неделимой волны или волновой сети, не видя того, как отрыв от субстрата делает эту волну диффузной, безличной и приковывает доступные для нее уровни расчлененности снова к интегральному прауровню медузы. Ни тот, ни другой взгляд, ни атомизм, ни целостность не способны выразить той *борьбы* между первичной интегральностью и высшим структурированием, которая составляет самое ядро нервного процесса и проходит как красная нить через всю историю нервной системы. Атомизм пытается вдунуть жизнь в форму без содержания, “целостничество” (wholism) — в содержание без формы, и оба тем самым подменяют реальный процесс мертвыми схемами, возможными только на бумаге»¹⁶. Разумеется, первичная интегральность необходима, ее

¹⁴ Бернштейн Н. А. Современные искания в физиологии нервного процесса / Под ред. И. М. Фейгенберга, И. Е. Сироткиной. М., 2003. С. 318.

¹⁵ Там же. С. 185.

¹⁶ Там же. С. 325.

наличие есть залог высшего структурирования, а то, что Бернштейн называет борьбой с ней, есть действие организма в среде, есть, как сказал бы Ф. Д. Горбов, его борьба за внешние связи со средой.

В сказанном нет противоречия. Кольцо Бернштейна принципиально открыто, что, конечно, не возвращает идею кольца к идее разомкнутой рефлекторной дуги. Дело в том, что «пустое», на первых порах, кольцо постепенно заполнялось самим Бернштейном, а затем его многочисленными последователями, использовавшими методы микроструктурного и микродинамического анализа движений, целым рядом когнитивных, эмоционально-оценочных и исполнительных компонентов, опутанных паутиной прямых и обратных связей. К их числу относятся такие блоки функций, как образ ситуации, образ действия, блоки интегральных и дифференциальных программ, схем памяти, контроля и коррекций и др. Все вместе они позволяют осуществлять не только переход от наличной ситуации к потребной, но и оценивать состояние и возможности такого перехода. Поэтому речь должна идти не о рефлекторном, а о рефлексивном кольце, скорее даже о нескольких встроенных одно в другое кольцах. Наружное кольцо открыто к ситуации и к полю действия. Подобная организация обеспечивает не только оценку смысла двигательной задачи, но также и оценку ее решаемости, достижимости цели действия и цены такого достижения. Иное дело, что такие оценки бывают ошибочными: встречаются люди, пытающиеся преодолеть пропасть в два прыжка, встречаются и такие, которые вооружаются компасом, переезжая через лужу. Только вместе — открытость к среде и рефлексивная проработка целесообразности, возможности реализации действия и его последствий обеспечивают эффективное поведение и деятельность, в том числе не только адаптацию к среде, но и ее преодоление.

Протест Н. А. Бернштейна вызывают и коммутационные или переключательные модели работы нервной системы. При этом ему безразлично, работают ли они по типу проволочной электросети или — по типу радио. Первые он называет «правыми», вторые — «левыми». Оценка и тех и других вполне иронична: «Если коммутационные модели “правых” пытаются вывести все свойства мозга из одной планировки его дорог, без учета подвижного состава, то модели “левых” покушаются пускать поезда без рельсов. Их волновые процессы протекают на субстрате (почти можно их снять пинцетом и перепустить на другой субстрат или на бульон), а не вытекают из субстрата, как и должно было бы быть»¹⁷.

¹⁷ Там же. С. 326.

Позволю себе высказать одно соображение по поводу уверенности Н. А. Бернштейна, с которой он критикует существовавшие в его время соматотопические, коммутационные и прочие представления о работе мозга и отстаивает собственные взгляды. Думаю, что перед его внутренним взором был опыт его собственных исследований живого движения, предметного и символического действия. Этот опыт научил его, что движение неповторимо, что разброс неустраним. Одна и та же цель может быть достигнута многими способами (траекториями), и все они эффективны. Это же наблюдается в восприятии, узнавании, памяти и т. п. Почему же столь ригидными постулируются маршруты в нервной системе? Лишь спустя более чем пятьдесят лет, близкую аналогию использовали нейрофизиологи, говорившие, что в живом организме сеть дендритов подвижна, как ветки дерева при легком ветре.

В книге время от времени мы встречаемся с довольно ироничным тоном. Иногда он становится откровенно издевательским, когда речь идет о работах А. Г. Иванова-Смоленского — гипотезотворческого автора, стремящегося во что бы то ни стало отразить в морфологическом плане социальные явления и категории¹⁸. Особенно жесткой критике подвергается идея о двух сигнальных системах, якобы привязанных к двум этажам коры больших полушарий. Бернштейн готов был простить Иванову-Смоленскому неразмышляющую позицию, недодуманности, но не намеренные недомолвки. Закончив критику, он предлагает обратиться к настоящей науке. Н. А. Бернштейн как бы предвидел бесчинства, которые будут совершены Ивановым-Смоленским во время и после упомянутой выше Павловской сессии и авансом расплатился с ним за себя и других ученых — его жертв.

Завершая характеристику книги, обратимся к методологии системного подхода. В конце книги Н. А. Бернштейн переходит к характеристике системности в работе мозга: «Мозг есть *организованная система*. Качества и возможности нервного процесса таковы, что каждому морфологическому атому по отдельности присущи элементы этих качеств и возможностей, а не потому, что они могут содержаться в готовом виде в отвлеченно мыслимой динамической волне. Этих качеств нет ни в одном, ни в другом слагающем; *они возникают как необходимое следствие организации нервного процесса и кроются именно в системных взаимоотношениях, определяемых этой организованностью*»¹⁹. Далее автор указывает на существенное

¹⁸ Там же. С. 179–184.

¹⁹ Там же. С. 325–326.

значение многоэтажности построения нервной системы и на то, что приобретаемые ею благодаря этажным усложнениям новые возможности — не коммутационные возможности: «Решающее значение новых нейронных каскадов зависит от более глубокого качественного обогащения не только в смысле появления топологических схем переключений, но и в смысле появления *новых качеств междунейронных взаимоотношений*, относящихся к простому переключению, как многоклеточный организм относится к амебе»²⁰.

В психологии мы сталкиваемся с чем-то подобным. Существует, казалось бы, иерархия психических функций (процессов, актов) от наиболее элементарных до самых сложных: поиск, обнаружение, выделение фигуры из фона, построение образа объектов или ситуаций, мышление, завершающееся решением проблем и принятием решений, исполнительные, разумные действия и т. п. Но несомненно существование мгновенных в высшей степени продуктивных актов, в которых невозможно выделение элементарных процессов, где восприятие и даже обнаружение как бы сливаются с мышлением и действием во времени. Это возможно за счет интеллектуализации восприятия и действия, что, между прочим, нашло выражение в языке: «разумный глаз», «глазастый разум», «живописное соображение», «умное делание» и т. п. И мы вместо иерархии последовательно разворачивающихся и следующих друг за другом процессов наблюдаем мгновенное озарение. Можно было бы сказать, что мы сталкиваемся с гетерархической организацией процессов. Но в последней они уже не те, какими были при их первоначальной структуре. Показателен, например, эксперимент, проведенный физиологом В. Б. Малкиным над одним из выдающихся шахматистов. Экспериментатор показал ему на 0,5 секунды сложную шахматную позицию с инструкцией запомнить, какие были фигуры и на каких местах они стояли. В ответ он услышал: я не помню, какие были фигуры и на каких местах они стояли, но позиция белых — слабее. В отличие от Цезаря, шахматист не пришел, не увидел, но... победил. Сложнейшая система действий трансформировалась в одноактное понимание сложной ситуации, при котором многие, казалось бы, обязательные действия проскакиваются или формируется новое, остающееся пока еще таинственным и для психологии, и для физиологии действие. Для понимания подобных актов эвристически полезны идеи Н. А. Бернштейна о процессах, протекающих по типу нелокализуемого качественного динамизма.

Н. А. Бернштейн предупреждает о зависимости результатов исследования не только от положения изучаемых элементов в систе-

²⁰ Там же. С. 326.

ме, но и от положения наблюдателя по отношению к этой системе: «Здесь получается нечто вроде принципа относительности: какую бы из транзитных зон мозга не выбрать за точку наблюдения — по отношению к этой зоне проходящая через нее фаза нервного процесса будет абсолютно локализуемой, и в то же время *по отношению к этой же зоне* удаленные от нее фазы процесса будут протекать по типу нелокализуемого качественного динамизма, тем более преобладающего над морфологией, чем нейронально и системно дальше область его распространения от непосредственно наблюдаемого поля»²¹. Эти положения Н. А. Бернштейн противопоставляет устаревшей идее «верховных ассоциационных центров», глубоко и качественно отличных от того, что им подчинено. Примерно в те же годы не без иронии об этом говорил А. А. Ухтомский: судьба реакции решается не на станции отправления, а на станции назначения.

Зависимость результатов физиологического исследования от положения наблюдателя имеет особое значение для психологии, которая уверовала в объективность физиологических методов исследования и до сих пор с недоверием относится к своим собственным методам. Парадоксально, что разумные физиологи доверяют последним больше, чем психологи. А. А. Ухтомский был в этом отношении более чем категоричен, говоря, что субъективное не менее объективно, чем так называемое объективное. У Н. А. Бернштейна это убеждение принимает вполне конструктивную форму. Если на первых фазах овладения действием субъект формирует предварительное представление о движениях, то есть то, как они будут *выглядеть* со стороны, то на последующей фазе он доходит до того, как должны ощущаться (изнутри) и сами эти движения и управляющие ими сенсорные коррекции. Сама эта идея, после того как она сформулирована, кажется очевидной. Ее по-своему выразил замечательный гуманитарий М. М. Бахтин, говоривший о значении чувства порождающей активности. Но Бернштейну принадлежит еще и научное, и технологическое (педагогическое) обоснование практики построения движений. Приведу заключительные слова книги Н. А. Бернштейна: «качества нервного процесса не суммируются из качеств отдельных частей его субстрата, а возникают из их совместной системной организации. Этим предположением я и заканчиваю свою книгу. Пусть она будет посильным и скромным даром моей стране»²².

Думаю, что эта книга больше, чем стартовая площадка. Во всяком случае, ее нужно воспринимать не только в качестве подготовитель-

²¹ Там же. С. 328.

²² Там же. С. 328.

ной фазы для написания книги «О построении движений». В ней отчетливо просматриваются не только корни, но и ростки третьего этапа научной деятельности Н. А. Бернштейна — создание им физиологии активности. Не только физиологии. В статье «От рефлекса к модели будущего», написанной незадолго до кончины, Н. А. Бернштейн, размышлявший о перспективах развития науки, расширил область физиологии активности. Он говорил «о физиологии (и психологии) активности», что полностью соответствует духу и смыслу его «Современных исканий...». *Психологическая физиология* Бернштейна, в отличие от физиологической психологии, не берет на себя функций сведения психических явлений к работе нервной системы. Она расширяет поле физиологических исследований за счет введения таких понятий и выражаемой в них реальности, как задача, цель, образ, предвидение, прогностика, мотивация, смысл и пр. Психология выступает для физиологии как источник эвристик. Именно с этим мы постоянно сталкиваемся в работах Бернштейна.

Время подтвердило адекватность Луриевской характеристики его исследований. Без научного наследия Н. А. Бернштейна современная психология непредставима. Правда, следует констатировать, что *скромный дар*, преподнесенный Бернштейном *родной стране*, в большей степени используется и развивается западными учеными, нежели отечественными. 100-летняя годовщина со дня рождения ученого (1996) была отмечена Международной конференцией, посвященной его памяти, прошедшей в Пенсильванском университете. Она собрала более 200 участников из Америки, Европы, Японии и Австралии. Участвовал в ней и один психолог из России. Было бы несправедливо не сказать об огромной роли в организации и проведении конференции, которую сыграли живущие на Западе ученики и последователи Н. А. Бернштейна, особенно профессор Марк Латаш.

Рассказ о третьем этапе научной деятельности Н. А. Бернштейна — о прошлом, настоящем и будущем физиологии и психологии активности далеко выходит за пределы настоящего изложения. Скажу лишь, что не только в зрительном восприятии действуют законы прямой и обратной перспективы. Им подчиняется и человеческая память. Бывает, что чем дальше от нас уходит время, тем величественнее становится фигура жившего в нем ученого. Нечто подобное происходит и с образом создателя теории построения движений, физиологии активности, психологической физиологии Н. А. Бернштейна.

Книга «Современные искания...» помимо высокой научной и методологической ценности, имеет и огромную педагогическую

ценность. Это как бы лаборатория, в которой мы видим работу выдающегося ума, решающего задачу творческого понимания деятельности самого сложного из всех реальных и, видимо, даже мыслимых устройств. Эта работа понимания вынесена вовне, представлена в тексте, написанном к тому же на великолепном русском языке, который доставляет не утратившему вкус читателю отдельное удовольствие. Это еще один мотив для чтения старых книг. Особенно таких, которые в значительно большей степени, чем многие современные, устремлены в будущее.

Вперед к Бернштейну

В заключении воспроизведу окончание моего доклада на упомянутой выше конференции, посвященной 100-летию Н. А. Бернштейна:

Сегодня наблюдается удивительное стечение обстоятельств. Я имею в виду совпадение задачи конференции и ее предмета. Задача любой конференции состоит в координации усилий научного сообщества для изучения какого-либо интересного объекта, в повышении «тонуса» его участников. Данная конференция решает задачу координации усилий в изучении координации усилий. Вот что писал об этом Н. А. Бернштейн в 1940 году: «Координационный процесс не течет ни в составе самого тетанического импульса, ни следом за ним; он течет впереди, прокладывая и организуя ему дорогу и притом течет явно по каким-то другим путям и пользуется какими-то особыми иннервационными процессами»²³. Эти другие пути и особые процессы Н. А. Бернштейн связал с тонусом, который «относится к координации как состояние к действию или как предпосылка к эффекту»²⁴. Если мне с моими коллегами удалось кое-что сделать в области психологии действия, то это сделано исключительно благодаря тому, что мы имели в качестве предпосылки труды Н. А. Бернштейна. Он как тонус, хотя это звучит парадоксально, все еще идет впереди нас и прокладывает нам дорогу.

Нередко, знакомясь с современными исследованиями движения и действия, мне хочется посоветовать и пожелать их авторам идти «вперед к Бернштейну».

²³ Бернштейн Н. А. Биодинамика локомоций (генезис, структура, изменения) // Исследования по биодинамике ходьбы, бега, прыжка. М., 1940. С. 46.

²⁴ Там же.

Психология в Российской академии образования¹

Когда я работал над текстом, то понял мудрость и трудность различения памяти и воспоминаний. Интересный вариант такого различения дал Федор Степун в предисловии к своей замечательной книге «Бывшее и несбывшееся». Он приводит стихи Вяч. Иванова:

Ты, память, муз вскормившая, свята,
Тебя зову, но не воспоминанья.

В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное, вечное, что не сбылось, не ожило; его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе.

Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, — это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковном — литургия². Говоря языком современной методологии науки, в воспоминаниях доминирует «личностное знание», в памяти — «познавательное отношение».

В предлагаемой вниманию читателя статье есть и память и воспоминания. Надеюсь, что мое пристрастное отношение к прошлому не будет воспринято как несправедливость к настоящему.

* * *

Несколько лет назад мы отмечали сразу два юбилея — академии и Психологического института, созданного Г. И. Челпановым в

¹ Статья написана на основе доклада, сделанного на общем собрании Российской академии образования 15 апреля 1994 года. Я благодарен А. В. Брушлинскому, В. В. Давыдову, Ю. А. Кораблевой, В. М. Мунипову и А. В. Петровскому за консультацию и помощь в подготовке доклада.

² Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1990. С. 6.

1914 году при Московском университете. В 1944 году этот институт «волею судеб» после многих типично советских мытарств из МГУ переместился в только что созданную АПН РСФСР, к счастью сохранив за собой здание, построенное для него знаменитым меценатом С. И. Щукиным. Меценаты начала века хорошо понимали, куда надо вкладывать средства.

И все же мне кажется, что это перемещение было несчастливым, а в итоге оказалось счастливым. Забота об образовании не только психологическом, но и об образовании в самом широком смысле слова, включая школьное, характеризовала всю научно-педагогическую деятельность основателя института профессора Г. И. Челпанова. В 1912 году он опубликовал работу «Психология и школа»; публиковался в дореволюционном журнале «Школа и жизнь»; в 1918 году опубликовал работу «Демократизация школы», которую давно пора переиздать. Вот небольшая выдержка из нее: «Составители проекта новой средней школы для России думали о ней не как о государстве, которое должно вести международное культурное состязание, а как о какой-нибудь колонии. По странной иронии судьбы о демократической школе для России хлопочут люди, которые не способны подняться выше бюрократических приемов мышления. <...> Русским педагогам следует бороться за истинно образовательную школу, достойную великой культуры России»³.

Это пожелание имеет прямое отношение ко многим последующим реформам школы. Не могу удержаться, чтобы не привести еще один завет Г. И. Челпанова психологии и российским психологам. Говоря в 1912 году о «Задачах Московского Психологического института», он подчеркивал, что при их реализации «развитие психологии в России достигнет той полноты и совершенства, при которых мы с гордостью будем говорить о “русской психологии”, как теперь принято говорить о немецкой, английской, американской психологии»⁴.

К счастью, при всех катаклизмах, катастрофах, перестройках психологии сохранились люди, бывшие учениками, сотрудниками Г. И. Челпанова либо учившиеся по его книгам и учебникам, просто знавшие его лично и хранившие его заветы, образ и облик его личности, старавшиеся сохранять (что не всегда удавалось) челпановский нравственный стиль и научный вкус в институте, а затем и в академии. О благородстве Г. И. Челпанова свидетельствует небольшой штрих. Когда его «уходили» из его же института, к нему

³ Челпанов Г. И. Демократизация школы. М., 1918. С. 31.

⁴ Челпанов Г. И. Задачи Московского психологического института // Вопросы психологии. 1992. № 3–4. С. 42.

пришел А. Н. Леонтьев и сказал, что он тоже покинет институт. Г. И. Челпанов не принял этой жертвы, сказав А. Н. Леонтьеву: «Вы еще молодой человек, у вас вся жизнь впереди. Работайте в институте». К числу питомцев и сотрудников института относятся первые члены академии Н. А. Рыбников, К. Н. Корнилов, П. А. Шеварев, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, П. А. Рудик, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев. Позднее был тесно связан с институтом (одно время даже был его директором) и С. Л. Рубинштейн, не вошедший в первый состав академии, хотя он входил в состав комиссии по ее созданию; в АПН вошли все члены комиссии, кроме него. Против С. Л. Рубинштейна категорически возражал В. П. Потемкин — нарком просвещения и первый президент, предъявивший ультиматум: «Или я, или Рубинштейн». С. Л. Рубинштейн был избран позднее. Кстати, первый том замечательной серии «Известия АПН СССР», вышедший в 1945 году под редакцией С. Л. Рубинштейна, был посвящен психологии.

Конечно, ученикам и сотрудникам Г. И. Челпанова пришлось в советское время сменить свою исследовательскую тематику, но они не забыли (кроме, пожалуй, К. Н. Корнилова) уроков Г. И. Челпанова о душе. Эти уроки если и не прямо сказывались на их научных работах, то весьма отчетливо проявлялись в их поступках и поведении, которое неизменно было доброжелательным и душевным.

Именно эти ученые на протяжении ряда десятилетий определяли психологическое лицо академии. Не менее важно, что они же определяли психологическое лицо отделения, а затем и факультета психологии МГУ. Незадолго до создания АПН была организована кафедра психологии МГУ (1942), и постепенно начало восстанавливаться преподавание психологии в университете, прекращенное в 1931 году. Эту кафедру один за другим возглавляли члены АПН С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев... Многие годы она располагалась в Психологическом институте. Старожилы института и факультета психологии помнят, что многие лекции читались в большой и в малой аудиториях института. Помнят и превосходный пропедевтический курс психологии А. А. Смирнова, как и фундаментальные курсы общей психологии, которые вели С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия. Многие студенты начинали свою исследовательскую деятельность в качестве испытуемых в разных лабораториях института, потом делали там курсовые и дипломные работы. Некоторые из них становились впоследствии членами академии. Ходили студенты-психологи на лекции-спектакли К. Н. Корнилова, которые он читал в МГПИ им. Ленина. Правда, одного посещения оказывалось достаточно.

Нужно сказать, что в 1944 году Психологический институт МГУ агонизировал. В нем оставалось всего несколько научных сотрудников. Перевод института в академию был спасительным актом и для него и для психологии в целом. После этого начала восстанавливаться психология и в Московском университете. Психологи должны помнить об этом, особенно психологи МГУ. Если к московским психологам, продолжавшим традиции Г. И. Челпанова, добавить Б. Г. Ананьева и В. Н. Мясищева, продолжавших традиции В. М. Бехтерева в Ленинграде, Г. С. Костюка в Киеве, Р. Г. Натадзе, продолжавшего традиции Д. Н. Узнадзе в Тбилиси, М. А. Мазманяна в Ереване, то можно с уверенностью сказать, что психологи — члены академии на протяжении многих лет определяли лицо всей психологической науки и психологического образования в стране.

Вещественным доказательством этого является семейство учебников, учебных пособий, курсов лекций, хрестоматий, психологических словарей, например учебники психологии для средней школы Б. М. Теплова; А. В. Петровского и Г. А. Фортунатова; для педучилищ — А. В. Запорожца; для педагогических институтов: учебник под редакцией К. Н. Корнилова, А. Н. Леонтьева, А. А. Смирнова; учебники под редакцией А. В. Петровского и под редакцией Г. С. Костюка; для университетов — знаменитый учебник С. Л. Рубинштейна «Основы психологии», изданные курсы лекций А. Р. Лурии по многим разделам общей психологии, учебное пособие по методологии психологии В. П. Зинченко и С. Д. Смирнова. Издавались и учебники по отраслям психологии: по возрастной и педагогической — Д. Б. Эльконина, А. В. Петровского, по детской — В. С. Мухиной, по социальной — Г. М. Андреевой, А. В. Петровского; по истории психологии — А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского; по психологии и педагогике для высшей школы — А. В. Петровского; по основам эргономики — В. П. Зинченко и В. М. Мунипова.

АПН РСФСР была создана в годы войны. Многие психологи ушли на фронт, часть из них погибла. Чудом остались живы А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев и А. Р. Лурия, добровольно вступившие в Московское народное ополчение, почти целиком погибшее или попавшее в плен. Но кто-то (!) в последний момент догадался и отозвал из ополчения профессоров, среди которых оказался цвет российской психологии. А. И. Богословский — замечательный психофизиолог — был всего лишь доцентом. Он попал в плен, оказался в Париже, работал у Анри Пьерона, а затем был в ГУЛАГе и ссылке. Его нелегкая судьба была описана А. И. Солженицыным.

Многие психологи, не попавшие на фронт, оставили свои научные программы и замыслы и стали работать «на войну». Среди них были С. Л. Рубинштейн, С. В. Кравков, А. Р. Лурия, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, П. Я. Гальперин, В. С. Мерлин, Н. А. Бернштейн, К. Х. Кекчеев и др. Думаю, что активная работа в интересах фронта оказала влияние на избрание ряда из них в АПН. Н. А. Бернштейн был избран в АМН СССР, С. В. Кравков и С. Л. Рубинштейн — в АН СССР.

Созданная АПН РСФСР тесно сотрудничала с АН СССР. Особенно это относится к ее «первому призыву». Достаточно вспомнить научные и дружеские контакты А. А. Смирнова и Б. М. Теплова с С. В. Кравковым, С. И. Вавиловым; А. Р. Лурии с И. П. Павловым, Л. А. Орбели, В. Н. Черниговским; А. Н. Леонтьева с И. Г. Петровским, А. Н. Колмогоровым, Б. В. Раушенбахом. Труды многих психологов получили мировую известность. К ним в гости приезжали Ж. Пиаже, Дж. Брунер, К. Прибрам, Ю. Бронфонбреннер, Дж. Нюттен, П. Фресс и др. Многие из активно действующих сегодня западных психологов (Ж. Карпей, Дж. Верч, М. Коул, Г. Пик, Л. Гараи, К. Обуховски и др.) приезжали и приезжают учиться и сотрудничать с психологами нашей академии. В отличие от нас они не стеснялись в оценках, называя Л. С. Выготского Моцартом, А. Р. Лурию — Бетховеном психологии, Н. А. Бернштейна — гением и т. д. А. Р. Лурия был почетным членом и почетным доктором пятнадцати зарубежных академий и университетов.

Большое преимущество психологии в нашей академии состояло в том, что она не инкапсулировалась в рамках одного научного направления. Челпановские, бехтеревские традиции вполне органично соединились с традициями Л. С. Выготского, затем — И. А. Соколянского, сейчас они дополняются традициями А. А. Ухтомского — Н. А. Бернштейна, традициями С. Л. Рубинштейна. Наконец, дожили и до восстановления традиций Г. Г. Шпета.

Среди учеников и последователей Л. С. Выготского в академии были представлены кроме А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурии, работавших еще с Г. И. Челпановым, Р. М. Боскис, Т. А. Власова, Л. В. Занков, А. В. Запорожец, Н. А. Менчинская, Д. Б. Эльконин.

Многие ученики Л. С. Выготского заканчивали педологический факультет 2-го Московского университета (А. В. Запорожец, Л. И. Божович, Р. Е. Левина, Ж. И. Шиф и др.). После трагично известного постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» все они писали в анкетах, что кончили *педфак* 2-го МГУ, чтобы не смущать отделы кадров словом «педология».

У челпановцев, бехтеревцев, выготчан был высокий уровень культуры, профессионализма, интеллигентности. Среди них, как и среди педагогов, педологов, физиологов, были ученые, испытавшие на себе влияние Серебряного века российской культуры. Несмотря ни на что, они оставались хранителями очага культуры и психологической утвари. Они, конечно, знали себе цену, но могли оценить и другого. А. Н. Леонтьев любил рассказывать, как они с Б. М. Тепловым гуляли в 1942 году по морозному Свердловску и без ложной скромности обсуждали, кто из троих (они оба плюс А. Р. Лурия) самый умный и самый талантливый. Решение нашел Б. М. Теплов: «Из нас троих, несомненно, А. Р. Лурия самый талантливый, а я самый умный». Если говорить серьезно, то они умели ценить таланты независимо от своих человеческих и научных пристрастий. Они заботились о будущем психологии, о том, чтобы в академии была представлена молодежь. В этом их поддерживали А. И. Маркушевич, В. Г. Зубов, А. М. Арсеньев, Э. И. Моносзон, А. А. Маркосян и многие другие члены академии.

Первым из молодых по рекомендации Б. Г. Ананьева был избран Б. Ф. Ломов, затем по единодушной рекомендации А. А. Смирнова, А. В. Запорожца, А. Р. Лурии, А. Н. Леонтьева был избран ученик Б. М. Теплова В. Д. Небылицын. Многие помнят, как А. И. Маркушевич умолял его не уходить из Психологического института в Институт психологии АН СССР. Он сулил ему директорское кресло в Психологическом институте, избрание в действительные члены, должность академика-секретаря отделения психологии и возрастной физиологии. К несчастью, Б. М. Теплова уже не было, иначе он просто бы запретил своему ученику уходить из института, как он это сделал в 1961 году, когда В. Д. Небылицын готов был уйти в оборонную промышленность создавать инженерную психологию. А. В. Запорожец не сделал этого. Он понял мое желание и оценил перспективность нового направления в психологии. Вообще старшее поколение психологов (Б. Г. Ананьев, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, В. С. Мерлин, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, П. А. Шеварев) и психотехников (С. Г. Геллерштейн, В. М. Коган) морально и деятельно поддерживало усилия молодых в то время Б. Ф. Ломова, В. Д. Небылицына, М. И. Бобновой, Е. А. Климова, О. А. Конопкина, В. М. Мунипова, В. Н. Пушкина, В. Я. Дубровского, Л. П. Щедровицкого и др. по воссозданию в стране психологии труда и созданию инженерной психологии и эргономики. Нас неизменно поддерживал, консультировал, учил создатель отечественной космической психологии невролог Ф. Д. Горбов, которого старшее поколение психологов сразу же приняло в свой клан.

Ветераны академии и психологии обратили внимание на первые серьезные исследования по истории советской психологии и избрали в академию их автора — А. В. Петровского. Сравнительно рано были избраны В. В. Давыдов и Н. Ф. Талызина, начавшие перспективные разработки в области педагогической психологии.

Нужно сказать, что и академия успела отдать должное ветеранам. По сегодняшним меркам можно считать человеческим, научным, организационным подвигом посмертное издание их трудов в 1980-е годы. Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Г. С. Костюк, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин — ведь это целая библиотека, сохранившаяся не в архивах, а на книжных полках, живая история поисков, результатов, перипетий российской психологии.

Членами академии, как ушедшими, так здравствующими, их учениками и последователями разрабатывался весь спектр фундаментальных проблем психологии, начиная теоретико-методологическими и кончая экспериментально-методическими. Не только научные направления, но и каждая из названных фигур заслуживает специального курса лекций, а такие, как Б. М. Теплов, — не одного, а нескольких; например, «Ум полководца». «Психология музыкальных способностей», «Индивидуально-психологические различия», «История отечественной психологии», «Методы психологии» — это неполный возможный перечень циклов лекций, которые можно читать по опубликованным трудам Б. М. Теплова. У меня есть подозрение, что в Б. М. Теплове не вполне раскрылся замечательный талант феноменолога. Об этом таланте свидетельствуют не только многие его подлинно гуманитарные работы по психологии, но и психофизиологические исследования, за результатами которых он хотел увидеть не только психофизиологический портрет (тип) индивида, но и его душевный строй, строй личности. Б. М. Теплов был профессионалом высочайшего класса и необычайно широких интересов. Ему принадлежит замечательная психологическая характеристика пушкинского Сальери: «Наличие одного лишь интереса, вбирающего в себя всю направленность личности и не имеющего опоры ни в мировоззрении, ни в подлинной любви к жизни во всем богатстве ее проявлений, неизбежно лишает человека внутренней свободы и убивает дух»⁵. Эссе о Моцарте и Сальери с замечательным текстом и

⁵ Теплов Б. М. Заметки психолога при чтении художественной литературы. Моцарт и Сальери А. С. Пушкина // Теплов Б. М. Избранные труды. В 2 т. Т. 1. М., 1985. С. 309.

еще более богатым подтекстом было найдено в рукописном наследии ученого и опубликовано после его кончины. Приведенная страничка о Б. М. Теплове — это даже не прикосновение к его научной биографии и судьбе, а указательный жест, свидетельствующий о многогранности таланта ученого.

Я вспоминаю этот ареопаг имен профессоров, потому что они определяли взгляды, мировоззренческие и нравственные установки многих поколений психологов, педагогов, философов. Незабываемо чувство юмора и самоиронии многих из них, которые помогали им даже в годы «осязаемой тьмы», когда слышался «звон оков духовных» (У. Блейк), жить полноценной жизнью. А. В. Запорожец нередко напоминал мудрое выражение Л. С. Выготского: «Плохое положение от хорошего отличается не тем, что из него нет выхода, а тем, что из него нет хорошего выхода». Могу с уверенностью сказать, что старшее поколение воспитанников Московского университета (как 1-го, так и 2-го), перейдя в академию, никогда не забывало свою *Alma mater* и с лихвой вернуло ей свои долги. Со своей стороны, Московский университет десятки лет готовит кадры для Психологического института.

В академии, конечно, развивалась и психология *per se*. Ее развитие давало приращение научного знания о психической жизни, деятельности, сознании, личности. Мы имеем все основания гордиться теперь уже не «по-советски», а реальными достижениями отечественной психологии, ее вкладом в мировую науку. Другими словами, сбылась мечта (или прогноз) Г. И. Челпанова о «русской психологии». В порядке критики и самокритики скажу лишь, что мы слишком медленно приближаемся к некоторому идеалу целостных (и ценностных) представлений о человеке, которые могли бы составить содержание психологической антропологии, необходимой не только образованию, но и всем другим сферам социальной практики. Практики, понимаемой не в утилитарном, а в возвышенном смысле слова, скрытом в понятии «философия практики».

Здесь нельзя обойти вниманием один деликатный вопрос. Вспоминаю практику социалистического строительства, важным элементом которой была реализация самых глупых и трагических, по словам М. К. Мамардашвили, идей и замыслов XX века о новом человеке и о новом человечестве, можно с чувством глубокого удовлетворения констатировать, что психологи всех поколений, в том числе и психологи академии, не справились с «культурно-педагогическим» заданием большевиков по фабрикации едиобразных человеков. Старшее — челпановское — поколение психологов, к счастью, обладало здоровым консерватизмом. Ведь их

духовной родиной была гуманитарная культура России XIX века. Они, как и их учитель Г. И. Челпанов, не были заражены радикализмом, мессианством, марксизмом, характерными для политически настроенной интеллигенции начала XX века. Пожалуй, из старшего поколения лишь П. П. Блонский, в бытность свою президентом Академии коммунистического воспитания, яростно говорил, подобно В. Маяковскому, что понятия души, сознания нужно сбросить с корабля современности и заменить их классовым интересом. Потом он в позитивном ключе работал в области педологии и научной психологии. Более молодые поколения психологов, конечно, оперировали термином «новый человек» (из песни слова не выкинешь). Их оправдывает (если они нуждаются в оправдании) то, что новый человек, к несчастью, становился реальностью. Как писал Б. Пастернак:

...телегою проекта
Нас переехал новый человек

Но и они вносили вклад не в технологию его воспитания, а в построение его утопического образа⁶. Многие делали это вполне искренне. Но и здесь они далеко отстали от идеологии и от выдающихся достижений в этом деле социалистического реализма (постоянно приходившего в противоречие с весьма реалистическим социализмом) в области литературы и искусства. Справедливости ради нужно сказать, что силовая технология «переделки», «перековки» старого и формирования нового человека не нуждалась в научном обеспечении, а ученые и педагоги очень скоро сами попали под телегу (спасибо, не под летящий вперед паровоз) и превратились в «объект воспитания». В ситуации, когда вместо перманентной революции получилось перманентное воспитание, нужно было иметь мужество, возможно не осознаваемое, чтобы дистанцироваться от него. Видимо, этому способствовали стены Психологического института и сохранявшийся в них дух российской культуры.

Лучшим показателем сохранности научной психологии в стране является участие психологов в 1954 году в XIV Международном конгрессе Ассоциации научной психологии (Монреаль). После смерти «Кормчего» было решено восстанавливать контакты с мировой наукой. Но был страх, что с нашими учеными капиталисты сделают что-то непотребное. Размышляли о том, кого не жалко. И первыми

⁶ Зинченко В. П. Послесловие к дружбе (М. К. Мамардашвили. 1930–1990) // Вопросы философии. 1991. № 5. С. 10–15.

послали психологов (А. А. Смирнова, Б. М. Теплова, А. Р. Лурию, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Е. Н. Соколова, Г. С. Костюка) и физиологов (П. К. Анохина и Э. А. Асратяна). О серьезности подготовки к этому неправдоподобному в то время международному событию говорит то, что президент академии И. А. Каиров читал все подготовленные для конгресса доклады и делал свои замечания. Наткнувшись на упоминание двух мозговых центров Брока и Вернике, он искренне удивился и написал, что «в мозгу может быть только один центр». По поводу характеристики условных рефлексов как временных связей И. А. Каиров сделал очаровательное по своей невинности замечание, что «у советских людей не может быть временных связей». На полях доклада Б. М. Теплова, посвященного индивидуально-типологическим различиям нервной системы, он написал, что «в СССР нет слабых типов». Как ни странно, но это несколько самонадеянное заявление президента участники делегации подтвердили своим поведением на конгрессе. Результат оказался замечательным. Наши ученые сразу же вошли в мировое научное сообщество и стали в нем полноправными и в высшей степени уважаемыми членами. Им не нужно было «догонять и перегонять Америку».

Что касается замечаний президента, то закаленные советской властью докладчики отнеслись к ним философски, приняли как должное, как скверную погоду, без досады и иронии. А впрочем, И. А. Каиров их устраивал. Ученые по привычке и не без оснований опасались худшего... И. А. Каиров болел за академию, был неплохим руководителем, как опытный царедворец давал полезные советы, вроде того, что не надо смешивать постановления политбюро ЦК КПСС с указаниями инструкторов ЦК, которых, надо ему отдать должное, он на дух не выносил. А. Н. Леонтьев, будучи недолгое время при нем вице-президентом, попытался поднять проблемы обучения и воспитания на принципиальную высоту, написав соответствующее обращение в ЦК КПСС с резкой критикой работы президиума АПН и особенно Н. К. Гончарова. Его вызвали в ЦК, посоветовали относиться к делам академии спокойнее, подать прошение об отставке с поста вице-президента и своим примером показать, «кому и как разрабатывать психологию» (и педагогику). Что он и исполнил. Между прочим, этот леонтьевский демарш И. А. Каиров воспринял вполне адекватно. У них после этого сохранялись вполне нормальные отношения. Своей мудрой и нарочитой медлительностью И. А. Каиров спасал школу от административного ража в хрущевские времена.

Я далек от идеализации психологии, где бы она ни развивалась — в академии, в университете, в Психологическом институте.

Как говорилось выше, из МГУ она в 1930-е годы исчезла, в институте — стала опасной. Из него многие психологи просто бежали, в том числе и на Украину (хорошо известный сюжет о Харьковской психологической школе).

В послевоенные, особенно в послесталинские годы ситуация стала нормализоваться. Но борьба с учеными чаще всего за беспредметную утопию продолжалась. Вспоминаю открытые партийные собрания 1950-х годов, после которых обычно следовали закрытые. Эта схема едко высмеяна А. А. Зиновьевым: «Открытое собрание закрывается, закрытое собрание открывается». На открытой части должна (!) была присутствовать беспартийная элита института: А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, П. А. Шеварев, Д. Н. Богоявленский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, Н. И. Жинкин, А. Н. Соколов, Л. И. Божович, Е. И. Бойко, П. М. Якобсон и др. Конечно, среди членов партии также были известные ученые, но было немало специалистов по классово-борьбе, борцов за чистоту рядов и идей, разрушавших институт еще в 1930-е годы. Последние смотрели на жизнь, на человека, на науку не живыми глазами, а мертвыми точками зрения. В целом это походило на нечто среднее между Олимпом и кунсткамерой (А. Н. Леонтьев сказал бы «зверильницей»). Помню, с каким неподдельным удивлением воспринимал происходящее прикрепленный к парторганизации института адмирал флота в отставке Н. Г. Кузнецов. Парторганизация тех лет действительно была мрачноватой. Например, один из коммунистов (не хочу называть фамилии) выступил на партсобрании, посвященном распределению аспирантов, со своего рода программным заявлением: «Дирекция допускает ошибку, оставляя в институте способных. Ведь способные, как правило, аполитичны, но так как они способные, с ними труднее бороться». На это А. А. Смирнов с неожиданной твердостью ответил: «Мне надоело оставлять в институте благонамеренных дурочек».

Взаимоотношения между психологией и педагогикой строились в академии двояким способом: как прямые и непосредственные и как опосредованные философией, культурой, этикой. Начнем со вторых, о которых писал еще Г. И. Челпанов. Он считал, что педагогика должна опираться в первую очередь на философскую этику, дающую обоснование идеалов воспитания. А психология указывает те средства, при помощи которых можно достичь этих целей. Г. И. Челпанов категорически возражал против взгляда на педагогику как на прикладную психологию. Педагогика имеет свой предмет и не может базироваться только на психологии.

Такая, конечно, не идеальная, но вполне разумная система взаимоотношений между психологией и педагогикой, опосред-

ствованных философией, а не идеологией, начала складываться в академии при президенте В. Н. Столетове, когда он привлекал к работе в академии философов-профессионалов — А. С. Арсеньева, В. С. Библера, Э. В. Ильенкова, Ф. Т. Михайлова.

Затем в Психологическом институте В. В. Давыдов во второй половине 1970-х годов собрал группу философов и культурологов и организовал философско-методологический семинар по проблемам психологии и образования, в котором принимали участие А. С. Арсеньев, Э. В. Безчеревных, И. И. Виноградов, В. А. Лекторский, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий и др. Участники семинара не забывали ушедших к тому времени Э. В. Ильенкова, Э. Г. Юдина и их вклад в философско-методологическую проблематику образования. Эти начинания неизменно поддерживал член нашей академии Б. М. Кедров, а несколько позже — академик Е. П. Велихов, возглавивший Межведомственный совет по проблемам сознания.

Благодаря этим контактам психологи начали размышлять над целями и ценностями образования и воспитания и даже формулировать цели, относящиеся к воспроизводству (не «присвоению») культуры; к организации предметной и творческой деятельности: к воспитанию личности, понимаемой как развитая форма исходной сущности человека, т. е. его родовой — порождающей — сущности, и как развитая форма ответственности индивида за дело его жизни, за самого себя перед собой и перед другими людьми⁷. Как говорил М. М. Бахтин, внутреннюю связь элементов личности гарантирует только единство ответственности и вины.

Не без влияния философов психологи стали рассматривать культуру не как самодействующий фактор, механизм, детерминанту развития человека, а как «приглашающую силу». Психологи стали возвращаться к проблематике свободы воли, рассматривая ее как неприродное явление, как результат сознательной культурной деятельности останавливающей хаос и небытие.

На какое-то время Психологический институт стал центром культурной жизни Москвы, особенно когда интеллигенция, стекаясь в институт, переполняла большую аудиторию, чтобы слушать «Картезианские размышления» М. К. Мамардашвили (1981), лекции Л. Н. Гумилева, посвященные проблемам этногенеза (1982).

Это была своеобразная переключка с началом жизни Психологического института, когда И. А. Ильин делал доклад «О смысле смысла». Подтвердилось и сожаление Г. И. Челпанова, высказан-

⁷ Философско-психологические проблемы развития образования / Под ред. В. В. Давыдова. М., 1981.

ное в письме Г. Г. Шпету о том, что «auditorium maximum оказывается мала»⁸.

Наши идеологи, в том числе и академические, вполне адекватно расценили это как прямой вызов существующей системе норм и правил «идеологического общежития». Разумеется, и реакция последовала соответствующая. Если бы не драматические последствия этой реакции, ситуацию можно было бы расценить как комическую. Комизм состоял в том, что к 1980-м годам наши идеологи, не знавшие даже схоластически-школьной философии, вступили в борьбу с учеными — знатоками подлинной, не опошленной диалектикой философии К. Маркса, которая казалась им ересью. Время было такое, что серые начинали и выигрывали, правда, как оказалось, временно.

Эта страница в истории взаимоотношений философии, психологии и педагогики в академии нуждается в реконструкции, в продолжении и развитии, для чего сегодня имеются соответствующие условия, вплоть до работающих в «мирных целях» в академии отделений философии образования и образования и культуры.

Контакты с философами способствовали возвращению в психологию духовности. Например, М. К. Мамардашвили, побуждая психологов к духовным поискам, успокаивал их, говоря, что «духовность — это не болезнь». А если всерьез, то до чего нужно было довести большого философа, чтобы он обронил такую фразу! Эти контакты способствовали также формированию культурной технологии психолого-педагогического мышления (и более широко — системы мыследеятельности). Последнее представляет собой не оцененный еще вполне вклад Г. П. Щедровицкого. Знаменательно, что первую решительную поддержку молодому логик и методологу оказали психологи П. А. Шеварев и А. Р. Лурия. Затем, на протяжении всей нелегкой жизни, его поддерживали А. В. Запорожец и В. В. Давыдов.

Обратимся к непосредственным взаимоотношениям, контактам, связям психологии и педагогики, которые начали строиться не по Челпанову, а по Выготскому. Здесь имеются варианты. Первый, казалось бы самый простой, — когда психолог меняет профессию, становится педагогом, дидактом. Классическим примером является Л. В. Занков, который создал оригинальную дидактическую систему начального образования, интенсифицирующую общее психическое развитие младших школьников. В основе этой системы лежат взгляды Л. С. Выготского на соотношение обучения и раз-

⁸ Письмо Г. И. Челпанова к Г. Г. Шпету от 30 ноября 1912 года. Публикация И. М. Чубарова // Логос. 1992. № 3. С. 247.

вития детей. Система Л. В. Занкова была конкретизирована и операционализирована в методических рекомендациях для учителей, в различных учебниках для начальной школы (математика, русский язык и др.). Думаю, что психологическое прошлое не помешало Л. В. Занкову, а, напротив, содействовало тому, что его система развивающего обучения в последние десятилетия достаточно широко и успешно используется учителями начальных классов во многих российских школах.

Достижения педагогической и возрастной психологии, о которых пойдет речь дальше, опирались не только на культурно-историческую психологию Л. С. Выготского, но и на психологическую теорию деятельности и психологию действия, связанную в нашей отечественной традиции с именами С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца. Большое значение для теории и практики образования имеют представления А. Н. Леонтьева о роли действия в усвоении различных научных понятий, представления А. В. Запорожца о роли образа в формировании произвольных (игровых, учебных, трудовых) действий. (Как человек, много занимающийся в последние годы историей культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности⁹, замечу, историческая компетентность не самая сильная черта нашей психологии. Кое-что переоткрывается заново иногда в ухудшенном виде, кое-что забывается или вытесняется, надеюсь не по злему умыслу.)

П. Я. Гальперин, к сожалению, не был избран в академию, но его последовательница Н. Ф. Талызина успешно развивает теорию поэтапного формирования умственных действий и основных типов учения. Ею создана оригинальная теория учения человека, основанная на понятиях деятельности и действия. Вместе с сотрудниками она разработала интересные учебники и учебные пособия по математике и некоторым другим учебным предметам, используемые сейчас в массовой школе. Интересное продолжение теория П. Я. Гальперина получила в работах А. И. Подольского, Н. Н. Нечаева и др.

Во многих ипостасях выступал Д. Б. Эльконин. Он создал оригинальную теорию периодизации детства, теорию детской игры, теорию обучения чтению. Недавно вышел (не первый по счету) массовым тиражом его замечательный букварь.

В. В. Давыдов разработал интересную теорию типов мышления и содержательного обобщения, развил психологические основы обучения математике в начальных классах.

⁹ Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся: Очерки российской психологии. М., 1994.

Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов разработали свой вариант системы развивающего обучения младших школьников, которая в своей основе имеет ряд положений Л. С. Выготского и представлений А. Н. Леонтьева о ведущей деятельности. Пожалуй, их главным достижением является разработка (вместе с созданным ими интересным и продуктивным научно-исследовательским коллективом) теории учебной деятельности, которая и составляет основное ядро их системы развивающего обучения. По этой системе в настоящее время ведется подготовка учителей начальных классов, работающих в России и в других странах СНГ.

Теория учебной деятельности развивается. Залогом ее успеха является то, что Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов органично соединили достижения культурно-исторической психологии и деятельностного подхода. Для них учебная деятельность выступала сначала исторически, культурно, а затем уже и структурно. Интересной ее проекцией является концепция учебного взаимодействия, предложенная В. В. Рубцовым. В нее органично вплетаются разрабатываемые в Психологическом институте рефлексивно (Г. И. Цукерман) и коммуникативно (В. В. Рубцов) ориентированные образовательные технологии. В связи с первыми невольно вспоминается замечательное эссе А. Н. Леонтьева «О сознательности в обучении», впервые опубликованное в 1947 году.

Продолжается начатая Д. Б. Эльconiным в 1930-е годы добрая традиция написания психологами школьных учебников. Г. Г. Граник создала не только оригинальную психолого-педагогическую концепцию построения учебников по русскому языку, но и реальные модели новых типов учебников.

Это семейство примеров, в которых психологи, не меняя профессии, принимают на себя роль педагогов, дидактов, методистов, завершу еще одним. Ш. А. Амонашвили, выступая в роли учителя, разработал оригинальное понимание роли оценки в усвоении знаний школьника, а также достаточно интересные подходы к педагогике сотрудничества, которые, к сожалению, в должной мере еще не оценены нашим научным сообществом. Он многое делает теоретически, а главное практически, для демонстрации того, что педагогика представляет собой своеобразный синтез науки и искусства.

Конечно, далеко не все психологи академии доводят результаты своих исследований до таких форм операционализации, о которых шла речь выше. От этого они не становятся менее интересными и полезными педагогике, школе, всей системе образования. Но это порождает пресловутую проблему «внедрения в практику». О нелепости ее постановки часто говорил Д. Б. Эльконин. Он имел на это

право, так как мало кто умел доводить свои результаты до практики, как он. Практика должна не только хотеть, но и уметь использовать научные результаты. А это большой труд, связанный с изменением сознания, привычных способов работы, с переучиванием, с адаптацией к новому языку, идеям и смыслам. Все это — объективные вещи, которые затрудняют и замедляют процессы ассимиляции и использования результатов даже в пределах одной науки, не говоря уже о разных, хотя бы и близких по предмету и духу.

Возвращаясь еще раз к приведенным выше примерам, включая Л. В. Занкова, рискну представить область, в которой работали и работают перечисленные ученые и которая их объединяет, как психологическую педагогику, а не как более привычное словосочетание — «педагогическая психология». Не уверен, что со мной согласятся здравствующие авторы и последователи перечисленных направлений. Пусть они примут это как вызов с моей стороны. Во всяком случае, мне казалось бы, что им необходимо собраться вместе, найти общее, а его, несомненно, будет немало, определить специфику каждого подхода, теории, концепции и на этой основе поразмышлять о принципах, методологии и методах психологической педагогики. Это не является экспансией ни на педагогическую психологию, ни на педагогику, дидактику *per se*. Просто психологическая педагогика есть реальность, требующая рефлексии, в том числе и относительно ее взаимоотношений с педологией. Мне кажется, что психологическая педагогика является своего рода суперпозицией методов каузально-генетического исследования психических функций и сознания: целенаправленного и поэтапного формирования умственных действий и понятий; проектирования учебных действий и учебной деятельности, учебного взаимодействия. Иными словами, психологическая педагогика носит проективный, психотехнический, в широком смысле слова, характер. Представляют большой интерес социально-психологические и социологические исследования, исследования развития личности, ведущиеся в контексте психологической педагогики.

Своеобразие психологической педагогики состоит в том, что она опирается на методологическую и методическую базу психологии и эффективно использует описательный, объяснительный, каузально-генетический, формирующий, проектирующий, эксплицирующий, трансформирующий подходы к исследованию психики, сознания, деятельности, поведения. Она опирается также на содержательные достижения культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности (экспериментальные исследования развития функциональных органов индивида, станов-

ления превращенных форм действия), на исследования их экстериоризации и объективации.

Психологическая педагогика представляет собой существенный шаг в развитии культурно-исторической теории и практики педагогики как таковой, подлинная философия которой состоит в том, что это педагогика не ответного, а ответственного действия, педагогики, понимающей, что не нужно формировать человека ни по своим, ни тем более по чуждым человеку меркам, а нужно помочь ему (хотя бы не мешать) стать самим собой. Как это ни удивительно, но в наше смутное время педагоги и психологи начинают думать не только о зоне ближайшего развития, но и о перспективе бесконечного развития человека.

Хочу подчеркнуть, что наличие психологической педагогики нисколько не умаляет исследований в области педагогической психологии, т. е. психологии, ориентированной на решение задач обучения, воспитания, формирования личности, детского коллектива и т. п. В этой области также имеются существенные результаты. Упомяну лишь некоторые. А. В. Петровскому принадлежит теория деятельностного опосредствования межличностных отношений и интересная концепция развития личности. В. С. Мухина интересно связала проблематику самосознания с проблематикой личности и предложила концепцию структуры самосознания личности, которая легла в основу исследовательской и практической деятельности по воспитанию детей и молодежи.

Аналогичное наблюдается и в отношениях между психологией и физиологией. Несомненно, имеется классическая и новая физиологическая психология и близкая ей психофизиология. Но имеется и то, что называется физиологией активности, наиболее яркими представителями которой в нашей традиции были И. М. Сеченов, А. А. Ухтомский, Н. А. Бернштейн. А. Р. Лурия довольно точно назвал область, в которой они работали, психологической физиологией. Думаю, что ряд исследований А. В. Запорожца и М. И. Лисиной, Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына, А. Р. Лурии, Е. Н. Соколова, Д. А. Фарбер, А. С. Батуева вполне могут быть отнесены к психологической физиологии, а не к утратившей во всем мире свой кредит высшей нервной деятельности. Разумеется, не по вине И. П. Павлова, который в конце своей жизни решил, что нужно устанавливать контакты с психологией, и предложил безработному Г. И. Челпанову, а не психологам-марксистам организовать отдел психологии в Колтушах, где располагался филиал Института физиологии АН СССР.

Продолжаются в академии и традиции С. Л. Рубинштейна в исследовании мышления. Я имею в виду прежде всего исследования,

проводимые А. В. Брушлинским и К. А. Абульхановой. Опираясь на эти традиции, А. М. Матюшкин разработал теоретические основания проблемного обучения, а сейчас разрабатывает проблемы одаренности.

Оригинальные представления о взаимосвязи психического развития школьников и их обучения на протяжении многих лет развивала Н. А. Менчинская, ее ученики и сотрудники. Хотя она была ученицей Л. С. Выготского, эти представления значительно отличаются от его взглядов и взглядов его последователей. Плюрализм в педагогической психологии был задолго до его официального объявления. Н. А. Менчинской принадлежат важные достижения не только в психологии обучения, но и в детской психологии. Интересны ее исследования развития ребенка. Видимо, далеко не все, что сделано в педагогической и в общей психологии, конкретизировано и операционализировано применительно к задачам образования. Здесь имеется большой задел и резерв для совместной плодотворной работы педагогов и психологов.

Психологи внесли также существенный вклад в становление дефектологии, в разработку методов диагностики, реабилитации, коррекции. Пожалуй, он даже больше, чем вклад в педагогику. Л. С. Выготского справедливо считают одним из создателей отечественной дефектологической школы. Редко вспоминают, что первые экспериментальные исследования А. Н. Леонтьева были посвящены дефектологической проблематике. Много работали в этой области А. Р. Лурия, Е. Н. Соколов. Их ученики — выпускники факультета психологии МГУ А. И. Мещеряков, Ю. А. Кулагин, В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева, Л. И. Тигранова и др. — стали дефектологами — профессионалами высшей квалификации. Они продолжали гуманистические традиции отечественной дефектологии, связанной с именами И. А. Соколянского, И. И. Данюшевского, Т. А. Власовой... В свою очередь и дефектологи становились психологами, как, например, А. П. Гозова.

И наконец, о своей первой любви — о детской психологии и психологии развития. Наконец потому, что, если бы я заговорил о ней в начале, я бы не смог остановиться и не сказал бы ни о чем другом. Мне выпало счастье быть учеником А. В. Запорожца, который со своими многочисленными учениками и сотрудниками — Л. А. Венгером, М. И. Лисиной, Н. Н. Поддьяковым, О. М. Дьяченко и др. — работал во многих областях детской психологии. Это развитие восприятия, мышления, эмоций, личности, развитие детской игры, произвольных движений и действий. Итогом его жизни было создание отечественной системы дошкольного воспитания,

получившей мировую известность. О ней говорить мне трудно, поскольку за последние годы она если и не разрушена полностью, то разрушается. Это тем более обидно, так как созданию системы дошкольного воспитания А. В. Запорожец посвятил двадцать лет жизни, будучи директором созданного им НИИ дошкольного воспитания. Поэтому он не реализовал своего замысла и не написал книги об эмоциях. Как-то А. Р. Лурия спросил его о том, чем он занимался в течение дня. Выслушав ответ, он сказал, что у него такое впечатление, что в нашей академии золотыми часами забивают гвозди. Тем не менее я уверен, что когда придет время восстанавливать дошкольное воспитание, ничего лучшего не придумают.

Я перечислил много теорий, концепций, развитых психологами — членами и сотрудниками академии. Не берусь предсказывать их дальнейшую судьбу. Сейчас уже можно твердо сказать, что в XXI столетие перешли две теории: теория развития Жана Пиаже и теория развития Льва Выготского, естественно обогащенные их учениками и последователями. Среди учеников Л. С. Выготского я бы особо выделил Л. И. Божович, А. В. Запорожца и Д. Б. Эльконина (что касается А. Р. Лурии, то он сам себе Выготский). Мне представляется необыкновенно плодотворной идея А. В. Запорожца (он не был «концептоманом» и не любил слов «теория», «концепция», «система», а предпочитал старые добрые слова «мысль», «идея») об амплификации детского развития, которую он противопоставлял бытующим формам симплификации, упрощения. Эта идея сочеталась у него с подходом к каждому возрастному периоду и к детству в целом как к уникальной и непреходящей ценности (ср.: А. А. Ахматова о Б. Л. Пастернаке: «Он награжден каким-то вечным детством»). П. А. Флоренский говорил о том, что секрет таланта в сохранении юности, а секрет гениальности — в сохранении детства на всю жизнь.

Не оценены в должной степени усилия А. В. Запорожца по отстаиванию и сохранению в детской психологии артикулированной еще в книге Бытия идеи спонтанности развития. Помню, с какой радостью и одновременно ехидством он говорил, что нашел у Ленина употребленное в положительном смысле слово «спонтанность», с помощью которого можно обороняться от идеологов. Приятно отметить, что идеи спонтанности и амплификации детского развития положены в основу научной концепции Исследовательского центра семьи и детства РАО.

Надеюсь, что и мне удастся если не развить, то разъяснить идеи своего учителя.

На первых порах существования академии психология и психологи были сконцентрированы в Психологическом институте и ча-

стично в Институте дефектологии. Сегодня положение резко изменилось. Психологи работают во многих научно-исследовательских учреждениях академии, в том числе и руководят некоторыми из них: Институтом развития личности, Исследовательским центром развития семьи и детства, Институтом педагогических инноваций, Исследовательским центром социологии образования, Международным образовательным и психологическим колледжем, который может составить здоровую конкуренцию факультету психологии МГУ. Многие работают в Институте управления образованием, НИИ высшего образования, Институте профессионального самоопределения молодежи и др.

Несколько слов в заключение. Я старался выдерживать юбилейный эпический стиль, излишне не драматизировать ситуацию, хотя ведь было всякое. Об этом «всяком» можно говорить в терминах «репрессированная наука», «мысль под запретом» или более мягко: «советское время не сезон для мысли». Но бывает ведь и так, что сезон есть, запрет снят, а мысли все нет. А тогда была. Мысль — дело тонкое, неподконтрольное, как слово. Она скрывается, но продолжает развиваться невидимо или под спудом, а потом вдруг возникает «из глубины» или «из-под глыб». Напомню очень актуальное в настоящее время мнение В. И. Вернадского: «Меня не смущает, что сейчас те лица, в глубинах духовной силы которых совершается сейчас огромная, невидимая пока работа, как будто не участвуют в жизни. На виду большей частью не они, а другие люди, действия которых не обузданы духовной работой. Но все это исчезнет, когда вскрыется тот невидимый во внешних проявлениях процесс, который является духовным результатом мирового человеческого сознания. Он зреет, время его придет, и последнее властное слово скажет он, а темные силы, всплывшие сейчас на поверхность, опять упадут на дно...»¹⁰.

Не следует принижать и слово. В конечном итоге оно оказалось сильнее тоталитарного государства. В это внесли вклад и психологи, которые в своем большинстве не были ни «самозванцами мысли», ни «торговцами смыслом жизни» или «печальными наборщиками готового смысла». Им удалось сохранить свою личную значимость и многое сделать в науке. Не следует забывать, что возрождение отечественной психологии, начавшееся в академии и в Московском университете в суровые военные годы, обязано тому, что многим поколениям психологов ученые привили вкус и любовь

¹⁰ Никольская А. А. Психолого-педагогические взгляды Г. И. Челпанова // Вопросы психологии. 1994. № 1. С. 36–42.

к науке, передали им культурный, в том числе и персональный или персонифицированный, код. То, что этот код, несмотря ни на что, сохранился, блистательно продемонстрировало с умом и сердцем организованное в апреле 1994 года торжество по поводу 80-летия Психологического института РАО. Это был настоящий праздник Духа, объединивший психологов многих поколений, принадлежащих к различным направлениям, течениям и школам нашей многострадальной, грешной и прекрасной науки. Науки, которая переживала не только нормальные в логике ее развития и вызванные имманентными причинами кризисы, но и вызванные внешними причинами катастрофы¹¹.

Этот праздник состоялся в освященных в 1914 году, обретающих свой первоначальный вид стенах Психологического института, в которых, несмотря ни на что, сохранялся дух и душа его создателей. Юбилей, на котором сотни психологов, не только москвичей, вновь переполнили auditorium maximum, способствовал оживлению нашей памяти, пробудил дорогие воспоминания. Он способствовал также нашему осознанию себя как принадлежащих прежде всего отечественной психологии и культуре. Слава Богу, психологи перестают разбрасывать камни и начинают их собирать...

В 1933 году А. Платонов написал в записной книжке: «Страна темна, а человек в ней светится». Вот об этом свечении я помнил и старался не вспоминать имена людей, которые гасили это свечение, мешали (и мешают!) развитию психологии. Бог им судья.

¹¹ Зинченко В. П. Кризис или катастрофа: о недавнем прошлом и неведомом будущем психологии / Психология и новые идеалы научности («круглый стол») // Вопросы философии. 1993. № 5. С. 4–10.

Алексей Николаевич Леонтьев: от генезиса ощущений к образу мира

Алексей Николаевич Леонтьев — один из моих учителей. Моя память о нем насчитывает более шестидесяти лет. Важной частью его многогранной научной деятельности была психология личности. Он развивал и отстаивал гуманистическую и оптимистическую идею самосозидания и самостановления личности, полемически заостряя ее против концепций, рассматривающих личность как продукт биографии и, тем самым, оправдывающих фаталистическое понимание судьбы человека. Согласно А. Н. Леонтьеву, личность способна воздействовать на свое собственное прошлое, что-то переоценивать, что-то отвергать в себе, она способна сбрасывать с себя груз собственной биографии. Личность должна быть понята не как результат механического наслаивания внешних влияний и собственных поступков, а *как то, что человек делает из себя, утверждая свою человеческую жизнь.*

Если продолжить намеченную А. Н. Леонтьевым линию рассуждений относительно статуса и функций психики и личности, то мы придем к следующим заключениям. Психика представляет собой средство выхода за пределы наличной ситуации, средство, обеспечивающее не ситуативное, а разумное, «полнезависимое», свободное поведение. Точно также и личность представляет собой средство преодоления поля или, точнее, пространства деятельности, средство свободного выбора одной из них или построения новой. Личность самого А. Н. Леонтьева формировалась в эпоху необыкновенного взлета российской культуры первых десятилетий XX века. И он сам, и многие его сверстники, коллеги и соратники сохраняли характерные черты взрастившей и вскормившей их культуры. Это выражалось и в их трудах. Хотя, конечно же, А. Н. Леонтьеву, как и многим другим, приходилось сбрасывать груз своей биографии. Возможно, точнее будет сказать, — не сбрасывать, а утаивать, упрятывать его, маскировать фигурами умолчания, витиеватым, порой, эзоповым языком, несправедливыми оценками «буржуазной реакционной психологии», идеологизированной фра-

зеологией, навязанным цитированием трюизмов и нелепостей. Все эти формы психологической и социальной защиты не проходили бесследно и создавали новый груз биографии, становились, если и не убеждениями, то схематизмами сознания, оседавшими не только в рефлексивных, но и в ценностных и даже бытийных его слоях.

Причудливое соединение до- и послереволюционных культурных хронотопов породило экстраординарную личность Алексея Николаевича. В нем совершенно неправдоподобно для советского времени сочетались, казалось бы, трудносовместимые качества: таланты педагога и ученого-исследователя (тонкого экспериментатора, теоретика, практика). Он был лидером одной из самых авторитетных научных психологических школ нашей страны, добровольно и охотно принятым ее участниками. Как организатор науки, он обладал гегелевской «хитростью ума»: редким даром сотрудничества с очень непростой партийной и государственной властью, которую он называл «инстанциями». Благодаря высокой интеллектуальной культуре и обаянию он был безоговорочно принят и признан международным психологическим сообществом, в том числе такими его деятелями, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, П. Фресс, Ж. Нютгин и др. Его научные достижения и усилия в организации и развитии психологии в нашей стране общеизвестны и неоспоримы. Ниже я остановлюсь лишь на одной проблеме из многих, занимавших его многие десятилетия.

Первые работы, посвященные изучению, процессов восприятия А. Н. Леонтьев начал проводить в середине 1930-х годов, будучи уже зрелым ученым, и на протяжении своей дальнейшей научной биографии он неоднократно обращался как к экспериментальным исследованиям зрения, слуха, осязания, так и к теоретико-методологическим проблемам исследования чувствительности и перцепции. Несмотря на то, что параллельно с этими исследованиями (и в промежутках между ними) А. Н. Леонтьев работал во многих областях психологии, его интерес к перцепции был достаточно устойчивым. При всем разнообразии сенсорных модальностей, которые он изучал, и при всем разнообразии методов, которые он использовал, его работы в области восприятия характеризуются единством замысла. Реконструкция этого замысла представляет большой теоретико-методологический интерес.

Для понимания мотивов, которые побудили А. Н. Леонтьева обратиться к проблеме генезиса чувствительности, полезно напомнить ситуацию, сложившуюся в те годы в школе Л. С. Выготского. Само Л. С. Выготского больше всего интересовала проблема генезиса и строения сознания. На ее решение были направлены проводившиеся Л. С. Выготским исследования высших психических функций, таких как эмоции, воображение, мышление, речь. В этом же направлении

двигался под руководством Л. С. Выготского и Леонтьев, осуществляя первые исследования внимания и памяти. Эта концепция психики уже тогда охватывала разные области психологической науки и приобретала все более определенные очертания. Впоследствии она получила наименование деятельностной. В этой концепции начал складываться и новый категориальный аппарат. Деятельность, предметность, опосредствованность, орудийность, смысл, значение, общение стали рабочими понятиями культурно-исторической концепции психики. Как показала дальнейшая эволюция школы Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, А. Н. Леонтьева, этими исследованиями была заложена содержательная программа изучения высших психических функций, реализация которой продолжается до настоящего времени. На этом фоне могло показаться удивительным обращение А. Н. Леонтьева к новой для него тематике генезиса чувствительности и возникновения ощущений. На самом же деле оно свидетельствовало о широте и единстве замысла запланированного в те годы цикла исследований. А. Н. Леонтьев прекрасно понимал всю сложность и значение решения проблемы генезиса чувствительности для любой психологической теории и рассматривал тот или иной вариант ее решения как пробный камень, важнейшее условие плодотворного развития собственной психологической концепции. А она к тому времени начинала не только приобретать все более определенные очертания, в ней уже проглядывал новый категориальный строй мышления ученого. И само по себе применение этого нового понятийного аппарата к проблеме происхождения чувствительности, отчетливо обнаружившееся не только в исследовании, но и в формулировании гипотезы, было беспрецедентным в истории мировой психологии.

Наступление на эту проблему началось широким фронтом. Здесь и продолжающиеся исследования онтогенеза и особенностей поведения некоторых видов животных. В экспериментах ставилась задача выявить зависимость этих особенностей от экологических условий существования данного вида, от образа его жизни и деятельности (эксперименты Ф. В. Басина, И. Г. Диманштейн, А. В. Запорожца, И. Н. Соломахиной и др.). Наконец, здесь экспериментальные исследования генезиса чувствительности. Онто- и филогенез оказались завязанными в один функциональный узел: «Проблема возникновения, т. е. собственно генезиса психики, и проблема ее развития теснейшим образом связаны, <...> то, как теоретически решается вопрос о возникновении психики, непосредственно характеризует подход к процессу психического развития»¹.

¹ Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 5.

Интересен и поучителен антиредукционистский, как теперь принято говорить, ход мысли А. Н. Леонтьева. Он отвергает идеи пан-био-, нейро- и антропопсихизма, ставя проблему собственных и специфических критериев чувствительности, ощущения и, соответственно, психики, по которым можно было судить об их наличии. А. Н. Леонтьев (совместно с А. В. Запорожцем) разрабатывал гипотезу, согласно которой возникновение элементарной чувствительности связано с кардинальным изменением условий жизни органических существ.

Преобразование раздражимости в чувствительность обусловлено переходом организмов от существования в гомогенной среде, «среде стихии», к жизни в среде, вещно оформленной, состоящей из отдельных предметов. Если организмы на допсихическом уровне развития жизни погружены в свою гомогенную среду и для них достаточно обладать раздражимостью по отношению к ее свойствам, имеющим непосредственное биологическое значение, то организмам, отделенным от предмета своей потребности, для овладения этим предметом необходимо ориентироваться на такие его свойства, которые сами по себе витально безразличны. Но эти свойства должны быть тесно связаны с другими жизненно значимыми свойствами, «сигнализировать» о наличии (или отсутствии) последних. Именно благодаря этому деятельность животного приобретает предметный характер, и одновременно с этим возникает в своем зачаточном виде специфическая для психики форма отражения предмета, обладающего взаимосвязанными свойствами (витально значимыми и сигнализирующими о них), т. е. имеющего смысл. Соответственно такому пониманию сущности рассматриваемого процесса А. Н. Леонтьев определяет чувствительность (способность к ощущению) как раздражимость по отношению к воздействиям, которые соотносят организм с другими воздействиями, ориентируют живое существо в предметном содержании его деятельности, выполняя сигнальную функцию. Теперь, зная уже дальнейшую эволюцию взглядов А. Н. Леонтьева, мы можем утверждать, что он, решая проблему возникновения психики, шел от мира (условий жизни), суживая его при формулировании своей гипотезы до предмета потребности. В этом, кстати, лежат корни впоследствии высказанного им положения о том, что мотив — это предмет, поскольку он несет в себе и значение, и смысл, равно как и корни интереса к проблеме образа мира, о которой еще речь будет впереди. В этой работе замечательно то, что через деятельность выводится само возникновение психики в филогенезе. Это открыло возможность построения логически и исторически непротиворечивого ряда: развитие (изменение) мира — развитие

деятельности, развитие психики. Следует специально подчеркнуть, что А. Н. Леонтьева всегда интересовало именно развитие психики, т. е. логика и история развития событий, в которых она могла бы возникнуть или измениться, а не сам «акт творения». Поэтому он никогда всерьез не обсуждал проблему начала, примата, первичности.

Много позже А. Н. Леонтьев писал о том, что «всякая деятельность имеет кольцевую структуру: исходная афферентация+эффекторные процессы, реализующие контакты с предметной средой, коррекция и обогащение с помощью обратных связей исходного афферентирующего образа. <...> Иначе говоря, осуществляется двойной переход: предмет—процесс деятельности и переход деятельность—ее субъективный продукт»². Экспериментальная проверка и дальнейшее развитие этой гипотезы, построенной на основании содержательного оперирования достаточно абстрактными объектами, составило важнейшую главу в творчестве А. Н. Леонтьева. Он провел, сначала в Харькове (совместно с В. И. Асниным), а затем в Московском институте психологии, исследование, в котором с помощью разработанной им методики в искусственных условиях воспроизводили процесс превращения неощущаемых раздражителей в ощущаемые (процесс возникновения у человека ощущения цвета кожей руки). Это исследование, интересное и само по себе, имеет принципиальное теоретическое и методологическое значение для развития психологической науки. А. Н. Леонтьев окончательно отказывается от натуралистического и эмпирического понимания предмета психологического исследования. Если при изучении памяти еще сохранялась оппозиция: натуральная — культурная (опосредованная) память, то в случае исследования процесса возникновения цветоощущения левый член этой пары отсутствует вовсе.

Предметом исследования стал отсутствующий (лишь теоретически возможный) объект — некоторое возможное новообразование, новая реакция на среду. Успех этого исследования объясняется тем, что его методика одновременно была и теоретической схемой, сконструированной на основе оперирования содержательными абстракциями. Неслучайно А. Н. Леонтьев называл собственный метод исследования каузально-генетическим. Этот метод послужил впоследствии прототипом и основанием для развития генетико-моделирующего метода, ряда новых гипотетико-дедуктивных экспериментальных схем и методов проектирования различных видов деятельности, в частности, трудовой. Не излагая результатов этого достаточно хорошо известного исследования, отметим лишь не-

² Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 86.

которые наиболее важные для дальнейшего изложения моменты, связанные с авторской интерпретацией результатов.

Во-первых, возникновение чувствительности и появление ориентировочной реакции возможны лишь в условиях активного действия в поисковой ситуации. Описание поискового действия соответствует последующим описаниям сенсорных и перцептивных действий, изучавшихся сотрудниками А. Н. Леонтьева на другом материале, хотя он сам не использовал эти термины применительно к цветоощущению кожи. Этому, видимо, помешала далекая от очевидности и в наши дни связь между движением и восприятием цвета даже в сфере зрительного восприятия. Заметим, что и в цикле исследований звуковысотного слуха А. Н. Леонтьев также не пользовался этими терминами из-за неспецифичности связей между действием вокализации и слухом. Тем не менее, результаты исследования цветоощущения кожи составили необходимый подготовительный этап для формулирования в последующем известной гипотезы о механизме чувственного отражения — гипотезы уподобления³.

Во-вторых, внимание А. Н. Леонтьева к процессу формирования способности к ощущению, ее генетическим корням и источникам, связанным с предметной деятельностью, с необходимостью привело к тому, что он и сам полученный результат, т. е. ощущение, стал рассматривать как имеющий достаточно сложное строение и несущий вполне определенные специфические функции. А. Н. Леонтьев сближает ощущение с восприятием, определяя его как чувственный образ объективного свойства, выполняющий «именно в этом своем качестве специфическую функцию ориентирования и только вместе с этим также функцию сигнальную»⁴. Это означает, что ощущение трактуется как предметное отражение, имеющее собственное значение в деятельности организма. Такая трактовка вполне может рассматриваться как прототип значительно позже возникшего понятия «предметного значения».

В-третьих, выполненное исследование дало первые основания для последующего введения в психологию категории функциональной системы или функционального органа нервной системы, в том смысле, в котором эту категорию использовал А. А. Ухтомский. Сам А. Н. Леонтьев в качестве иллюстрации вновь сформированных функциональных органов использовал затем результаты исследования цветоощущения кожи.

Таким образом, мы видим, что в своей докторской диссертации, частью которой было это исследование, А. Н. Леонтьев дал ориги-

³ Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972.

⁴ Там же. С. 172.

нальную трактовку первых этапов чувственного познания, введя в него в качестве необходимых элементов активность, предметность, опосредованность и осмысленность. Свое принципиальное звучание и значение эта трактовка приобрела в теоретических и экспериментальных исследованиях, выполнявшихся в послевоенные годы. Нельзя забывать и того, что найденное решение проблемы возникновения психики позволило расширить подходы к деятельностному пониманию не только фило-, но и онтогенеза психики.

Общий смысл новой трактовки механизмов чувственного познания А. Н. Леонтьев видел в противопоставлении ее рецепторной концепции ощущения, которая, получив свое отражение в стимульно-реактивных концептуальных схемах, не преодолена до настоящего времени и в ряде концептуальных схем современной когнитивной психологии. Свою трактовку механизмов чувственного отражения А. Н. Леонтьев развивал на основе рефлекторной концепции ощущений И. М. Сеченова — И. П. Павлова, не оставаясь, однако, в ее границах. Как в ранних, так и в более поздних работах А. Н. Леонтьева имеются многочисленные указания на своеобразие его трактовки ощущений по сравнению с той, которая представлена в рефлекторной концепции. Было бы интересно и поучительно сопоставить параллельно высказывавшиеся соображения и сомнения в непосредственной приложимости рефлекторной теории к анализу ощущений и более широко — субъективных явлений, да и психики вообще. Такие соображения высказывались А. А. Ухтомским, Н. А. Бернштейном, А. Н. Леонтьевым, и во многих пунктах они созвучны как между собой, так и отдельным высказываниям самого И. П. Павлова. Выше уже указывалось на то, что, развивая рефлекторную концепцию ощущений, А. Н. Леонтьев ввел в нее свой категориальный аппарат и тем самым далеко вышел за ее пределы. Положительный пафос своей концепции он вслед за И. М. Сеченовым видел в том, чтобы вскрыть «происхождение ощущений как психического явления, детерминированного предметной действительностью»⁵. Эту проблему, в общей форме поставленную еще Спинозой, А. Н. Леонтьев решил, вводя категории отражения, развития и опосредствования, ограничивая тем самым универсальность классических условно-рефлекторных схем, в том числе и принципа сигнальности.

Активность субъекта в предметной действительности выступает в форме предметной деятельности, и лишь в результате развития, формирования этой деятельности она может приобрести далеко не всегда желательный реактивный или рефлекторный характер. Поэтому

⁵ Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 158.

А. Н. Леонтьева не удовлетворяла простая замена принципа рефлекторной дуги на рефлекторное кольцо. С точки зрения детерминации отражения это кольцо «разомкнуто в “точках встречи” с объектом»⁶.

Важным шагом в эволюции взглядов А. Н. Леонтьева была выдвинутая им в 1959 году гипотеза уподобления. К этому времени в рамках его школы были выполнены многочисленные исследования осязательного, зрительного, слухового восприятия, проникнутые духом формировавшегося деятельностного подхода. Зарождались представления о сенсорных, перцептивных и умственных действиях. Получили широкое распространение исследования мнемической деятельности. Другими словами, назрела необходимость обобщения обширного накопленного материала и определения перспектив дальнейшего исследования познавательных процессов. Такая работа была выполнена А. Н. Леонтьевым в ряде статей, написанных и опубликованных на рубеже 1950–1960-х годов, которые были очень плодотворными в его научной деятельности. В статьях того времени с новой силой проявилась его необыкновенная способность обсуждать и поднимать кардинальные проблемы психологии на вполне конкретном материале. В данном случае таким материалом послужили исследования Ю. Б. Гиппенрейтер и О. В. Овчинниковой⁷: экспериментальный анализ системного строения восприятия высоты звука.

Опираясь на исследования осязания и зрения, А. Н. Леонтьев предложил содержательную расшифровку тезиса об активности восприятия. Функция движений рецепторных аппаратов или моторных компонентов рецепирующей системы есть функция воспроизведения своей динамикой отражаемого свойства объекта — его величины и формы; свойства объекта посредством движений преобразуются в сукцессивный рисунок, который затем вновь «развертывается» в явление симультанного чувственного отражения. Этот механизм А. Н. Леонтьев называет механизмом «уподобления динамики процессов в рецепирующей системе свойствам внешнего воздействия»⁸. Если такое понимание активности для процесса осязания, по словам автора, почти не нуждается в обосновании, то главный вопрос состоит в том, «может ли быть распространено это понимание также и на такие органы чувств, деятельность которых не включает в свой состав двигательных процессов, контактирующих с объектом? Ина-

⁶ Там же. С. 174.

⁷ Гиппенрейтер Ю. Б. Изучение звуковысотного слуха. Канд. дис. М., 1960; Гиппенрейтер Ю. Б., Леонтьев А. Н., Овчинникова О. В. Анализ системного строения восприятия // Доклады АПН РСФСР. М., 1957–1959. Сообщения I–VII.

⁸ Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 175.

че говоря, главным является вопрос о возможности рассматривать уподобление процессов в рецепирующей системе как общий принципиальный механизм непосредственно чувственного отражения природы воздействующих свойств действительности»⁹. Эта проблема занимала А. Н. Леонтьева многие годы, и он решал ее, если так можно выразиться, поэтапно. Первый вариант решения этой проблемы был предложен им в той же работе. Но, как это нередко бывает, видимо, из-за очевидности и простоты решения исследователь проходит мимо. А. Н. Леонтьев, приводя свой излюбленный пример с ощупыванием при помощи зонда, отмечает, что состав сигналов, поступающих от руки, держащей зонд, решительно меняется, как меняется и конкретная форма самого движения. «Неизменным остается только одно — отношение подобия рисунка, “снимающего” движения, форме объекта»¹⁰. Здесь имплицитно содержится предположение о необязательности наличия специфической (или, точнее, единственности вида) связи между конкретной формой движения по объекту и его отражением. Путь решения проблемы, избранный А. Н. Леонтьевым, был не менее парадоксальным, чем в случае исследования генезиса чувствительности. Как тогда была избрана сенсорная модальность (цвет), неадекватная органу рецепции (руке), так и теперь был избран один из менее «моторных» органов чувств (орган слуха) для доказательства участия моторных компонентов в восприятии, для доказательства гипотезы уподобления. Такое совпадение едва ли может быть случайным. Снова методика эксперимента полностью совпала с теоретической конструкцией. И снова были получены неоспоримые доказательства того, что в основе звуковысотного анализа лежит функциональная система процессов, «включающая в качестве необходимого и решающего компонента моторные реакции голосового аппарата в виде внешнего, громкого, или внутреннего, неслышного, “пропевания” высоты воспринимаемого звука»¹¹. А. Н. Леонтьев настойчиво подчеркивает, что моторные звенья рецепирующей системы «не просто дополняют или усложняют конечный сенсорный эффект, но входят в число основных компонентов данной системы»¹². Это, на первый взгляд, слишком сильное заявление обосновывается тем, что процесс интонирования в такой же мере адекватен отражаемому качеству звука, в какой процесс ощупывания при осязании является адекватным контуру предмета:

⁹ Там же. С. 176.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 178.

¹² Там же. С. 179.

«движения голосовых связок воспроизводят объективную природу оцениваемого свойства воздействия»¹³.

Полученные результаты и их интерпретация замечательны во многих отношениях. Отметим главные из них. Во-первых, можно сказать, что действие уподобления вовсе не обязательно должно осуществляться собственными средствами рецепирующей системы. Оно может быть осуществлено либо средствами других рецепирующих систем (ср. с исследованиями зрительно-осязательной транспозиции), либо средствами тех или иных исполнительных органов. Этим обеспечивается не только связь между органами чувств и восприятием различных, порой далеких друг от друга по своим физическим свойствам перцептивных категорий, но и связь между воспринимающими и исполнительными системами организма, создающая необходимую основу для формирования разнообразнейших и сложнейших координационных отношений между ними. Более того, детальное описание активного встречного со стороны субъекта процесса формирования звуковысотного слуха как процесса своеобразного «поиска», активной ориентировки, компарирующего анализа, установления своеобразного «резонанса» частотных сигналов, идущих от аппарата вокализации с сигналами, идущими от слухового рецептора, и есть построение, формирование «слухомоторных» координационных отношений, построение единой функциональной слухомоторной системы. Не случайно А. Н. Леонтьев, обсуждая полученные результаты, приводит высказывание Д. Мак-Кея о том, что в компарирующей системе акт познания есть акт ответа.

Было бы неправильно представлять себе дело таким образом, что А. Н. Леонтьев только перенес результаты, известные из исследований осязания, на слуховую систему и детализировал процессы, протекающие в ней под влиянием «включения» моторики. Он пришел к постановке совершенно новой проблемы, к анализу которой впоследствии он, к сожалению, почти не возвращался. Использование неспецифического для органа чувств средства уподобления заставило его предположить, что «процесс уподобления при исключении возможности внешнего практического контакта моторного органа с предметом происходит путем “компарирования” сигналов внутри системы, т. е. во внутреннем поле»¹⁴. Принятие тезиса о «внутреннем поле» как некотором пространстве, в котором происходит компарация, идентификация разномодальных образов (слухового, моторного), с неизбежностью влечет за собой вопрос о модальности итогового, результирующего

¹³ Там же. С. 180.

¹⁴ Там же. С. 182.

образа. В те годы этот вопрос перед А. Н. Леонтьевым еще не стоял. Он был увлечен идеей адекватного метода для доказательства гипотезы уподобления на других сенсорных (и в такой же степени, как слух, не моторных) модальностях. Но в последние годы он (видимо, не без влияния прежних результатов) все настойчивее повторял тезис о полимодальности и возможной амодальности образа. Соединение идей «внутреннего поля» и «амодального образа» дает решительные доказательства гипотезы уподобления и основания для трансформации в теорию уподобления как психологическую основу теории отражения. Положение об амодальности образа следует рассматривать одновременно и как основание и как следствие процесса уподобления. Образ амодален в том смысле, что он по способу своего происхождения адекватен не стимулу, а действиям субъекта в предметном мире (ср. с положением А. А. Ухтомского: «Отображение зависит от образа действия <...> в отношении событий среды»¹⁵). Разумеется, положение об амодальности образа не исключает наличия в нем на определенных этапах его формирования или актуализации вполне модальных, в том числе иконических (картинных) свойств, которые А. Н. Леонтьев предпочитал обозначать термином «чувственная ткань». Подобная интерпретация гипотезы уподобления порождает целый ряд новых интересных проблем, связанных прежде всего с формированием и функционированием «внутреннего поля», о котором писал А. Н. Леонтьев.

Расширение сферы приложения механизма уподобления вполне отвечает соображениям относительно его более узкого и более широкого значения, высказанным А. Н. Леонтьевым в последней книге: «Последнее, более широкое, охватывает также функцию включения в процесс порождения образа совокупного опыта предметной деятельности человека. Дело в том, что такое включение не может осуществиться в результате простого повторения сочетаний сенсорных элементов и актуализации временных связей между ними»¹⁶. Понятно, что в конечном счете речь идет даже не о предметной деятельности человека, но об исторически развившейся предметной деятельности человечества: «“оператором” восприятия являются не просто накопленные прежде ассоциации ощущений и не апперцепция в кантианском смысле, а общественная практика»¹⁷.

Остановимся кратко еще на одном цикле исследований, выполненных под руководством А. Н. Леонтьева В. В. Столиным и

¹⁵ Ухтомский А. А. Об условно-отражательном действии // Ухтомский А. А. Собрание сочинений. Т. 5. Л., 1954. С. 223.

¹⁶ Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 66.

¹⁷ Там же. С. 69.

А. Д. Логвиненко. Они выполнялись в классической области изучения псевдоскопических эффектов зрительного восприятия, и, казалось, сама постановка этих экспериментов не содержала никакого парадокса, подобного тем, которые имели место при изучении цветоощущения и звуковысотного слуха. Но парадокс все же «состоялся», да и само исследование, выполненное на совершенно другом экспериментальном материале, с использованием других методов, представляло собой логическое продолжение предшествующих исследований восприятия, обнаруживая единство общего замысла. Парадокс состоял в том, что для решения проблемы построения «картины мира» была использована экспериментальная ситуация искаженного восприятия этого мира.

В экспериментах В. В. Столина и А. Д. Логвиненко были прослежены детали процесса адаптации (в том числе и хронической) к искажающим очкам и установлен целый ряд новых интересных феноменов. Не излагая результатов исследования, обратимся к интерпретации их А. Н. Леонтьевым: «Их действительный смысл состоит <...> в открываемой ими возможности исследовать процесс такого преобразования информации, поступающей на сенсорный “вход”, которое подчиняется общим свойствам, связям, закономерностям реальной действительности. Это — другое, более полное выражение предметности субъективного образа, которая выступает теперь не только в его изначальной отнесенности к отражаемому объекту, но и в отнесенности его к предметному миру в целом»¹⁸. Здесь мы сталкиваемся не только с инвертированным зрением. Произошла или, точнее, стала очевидной инверсия общего замысла всего цикла экспериментальных и теоретических исследований, выполнявшихся А. Н. Леонтьевым в области ощущений и восприятий на протяжении более сорока лет. Если в начале при исследовании генезиса ощущений окружающий мир был сужен, редуцирован до отдельного предмета удовлетворения потребности или даже до его отдельных свойств, то в конце этого пути А. Н. Леонтьев делает «противоположный ход». Он расширяет отдельный предмет до границ предметного мира в целом. Оказывается, что условием адекватности восприятия отдельного предмета является адекватное восприятие предметного мира в целом и отнесенности предмета к этому миру.

Становится понятным и оправданным как с научной, так и с биографической точки зрения нереализованный, к сожалению, замысел новой книги А. Н. Леонтьева, которая должна была называться «Образ мира».

¹⁸ Там же. С. 68.

Участность в бытии: Александр Романович Лурия

*А все-таки жаль, что нельзя
с Александром Сергеевичем
поужинать в Яр заскочить
хоть на четверть часа.*

Булат Окуджава

В этом году исполнилось бы 95 лет со дня рождения Александра Романовича Лурия, и уже 20 лет как его нет с нами. Когда мы думали (и нам говорили), не надо ли подождать с конференцией, посвященной его памяти, до 100-летия, то мы решили не рисковать. Пока еще есть много людей, помнящих живой голос Александра Романовича и способных найти в себе силы для организации этого замечательного, но нелегкого дела. Спасибо, что Российский Фонд фундаментальных исследований, Российский Фонд гуманитарных исследований, Институт «Открытое Общество», а также ряд других организаций поверили нам и поддержали конференцию. Наша аргументация состояла в том, что если сил не хватит, то может нарушиться связь времен и связь имен, почти неправдоподобным средоточием которых был А. Р. Лурия. Он связывал нас с Г. И. Челпановым, И. П. Павловым, Г. Г. Шпетом, Р. О. Якобсоном, Л. С. Выготским, С. М. Эйзенштейном, В. М. Мясищевым, С. Г. Левитом, Л. А. Орбели, Б. Г. Ананьевым, Э. А. Асратяном, В. М. Черниговским, П. К. Анохиным, Н. И. Гращенковым, Н. Н. Бурденко, Н. В. Коноваловым, М. Ю. Рапопортом, А. А. Маркосяном, И. А. Соколянским, Д. Н. Узнадзе, И. С. Бериташвили. Все они отдавали дань его яркому человеческому и научному таланту. Дорогостоящее, например, признание, высказанное как-то исключительным по уму и таланту Б. М. Тепловым, в том, что А. Р. Лурия талантливее его.

В молодые, еще казанские годы А. Р. Лурия переписывался с В. М. Бехтеревым и З. Фрейдом. О его обширных контактах с западными учеными многое могли бы рассказать Дж. Брунер, К. Прибрам, М. Коул.

Замечательно, что А. Р. Лурия был «лицо неофициальное», но абсолютно авторитетное, пользовавшееся неограниченным доверием. Притом, что ему принадлежит немало собственных откры-

тий, Александр Романович не уставал делать открытия в работах западных и отечественных ученых и знакомил своих коллег и друзей друг с другом. Приведу лишь один пример. А. Р. Лурия убедил Н. А. Бернштейна сделать английский перевод ряда своих работ и содействовать их изданию в Англии. Познакомившись с ними, Дж. Брунер написал в письме А. Р. Лурии, что Н. А. Бернштейн — человек на грани гениальности, и сожалел, что не познакомился с ним при его жизни. Не поддается перечислению западная психологическая литература, которую А. Р. Лурия рекомендовал издательству «Прогресс» для перевода на русский язык, и советская психологическая литература, которую он рекомендовал этому и многим западным издательствам для перевода на европейские языки. Если учесть еще его собственные книги, изданные на многих языках, то следует признать, что существовал огромный невидимый «Издательский Дом Александра Лурия».

Казалось бы, мелочь, но нельзя забыть, что А. Р. Лурия многие годы был президентом, точнее Отцом родным «Международного землячества» иностранных студентов-психологов МГУ (не помню бюрократического названия для этой придуманной им самому себе должности, а на деле миссии). Он не давал покоя другим преподавателям факультета, и те, скрепя сердце, ездили на встречи в общезжития, а потом были благодарны ему. О признательности студентов и аспирантов и говорить нечего.

Подлинным триумфом этой деятельности А. Р. Лурии стал XVIII Международный психологический конгресс в Москве (1966), где он был больше чем председатель Программного комитета конгресса — его душой и мотором. Ему самоотверженно помогали две замечательные женщины — О. С. Виноградова и И. В. Равич-Шербо. Именно с этого времени отечественная психология, надеюсь, навсегда вернулась в мировое психологическое сообщество. Впрочем, сам он его никогда не покидал. То, что это был триумф именно А. Р. Лурии, не осознали в то время ни участники конгресса, ни, конечно же, он сам. Подобная деятельность была его естественным состоянием.

Столь же бескорыстным было его внимание к научной молодежи в самом широком смысле этого слова, т. е. не только к своим ученикам. А. Р. Лурия один из первых оценил талант Е. Н. Соколова, В. Д. Небылицына, М. И. Лисиной, А. И. Мещерякова, О. В. Виноградовой, В. И. Лубовского, В. В. Давыдова и др. Он содействовал устройству многих на работу по специальности (что тогда было очень нелегко), публикации их статей и книг (что всегда трудно).

Участливость (М. М. Бахтин сказал бы — участность в бытии) и доброта А. Р. Лурии сочетались с высочайшей требовательностью к ученикам, сотрудникам, коллегам. В начале 1930-х годов медлительный, но не флегматичный А. В. Запорожец стал лаборантом А. Р. Лурии в Академии комвоспитания им. Н. К. Крупской. Среди других в его функции входила зарядка и проявка фотокиноматериалов. Нетерпеливый А. Р. Лурия торопил его, стучал в дверь темной комнаты, раздражался по поводу опозданий своего лаборанта. По словам А. В. Запорожца, за это время в лаборатории уже скапливалось некоторое количество сырых и убогих пациентов и испытуемых, что вызывало еще большее раздражение молодого мэтра. После двух-трех месяцев сотрудничества А. Р. Лурия сказал своему будущему коллеге и ближайшему другу: «Саша, может быть, ты когда-нибудь станешь профессором, но лаборант из тебя никогда не получится!» — и... уволил его.

Многие годы спустя А. Р. Лурия категорическим тоном предложил своему бывшему лаборанту — уже профессору, академику, директору и т. д. — вечером приехать к нему. А. В. Запорожец не посмел ослушаться. А. Р. Лурия потребовал от него отчета за текущий день. Несколько обескураженный А. В. Запорожец послушно рассказал, что он делал в течение дня. Выслушав его, А. Р. Лурия в сердцах сказал: «Только в нашей стране золотыми часами забивают гвозди» — и отпустил его с миром.

Один эпизод из наших с ним отношений. Александр Романович как-то позвонил мне и строго сказал, чтобы я немедленно пришел к нему домой. При встрече, едва поздоровавшись, он произнес: «Если ты еще раз не выполнишь мою просьбу, я с тобой разнакомлюсь». Смутно припоминаю, что он был не вполне справедлив, хотя я был виновен, но заслуживал снисхождения. Речь шла не больше не меньше как о написании мною двух глав для готовившегося им тома «Человек» Детской энциклопедии. Мне действительно стало страшно. Я не стал вдаваться в объяснения, но с тех пор к его просьбам относился как к приказу, выполнял их более ответственно, чем просьбы непосредственных начальников и своего учителя А. В. Запорожца.

Нужно отдать должное самому А. Р. Лурии. Его ответственность, отзывчивость, пунктуальность служили прекрасным примером для окружающих. К сожалению, не так уж многие из них следовали этому образцу. Об А. Р. Лурии даже нельзя сказать, что он ничего не забывал — у него просто не было времени на забывание, потому что он ничего не откладывал на завтра, тем более в долгий ящик. Это редкий дар «поступающего мышления» (М. М. Бахтин).

Еще один пример. На заседании ученого совета, где был заслушан мой предварительный доклад о кандидатской диссертации, его попросили выступить моим официальным оппонентом. Он согласился. Спустя несколько дней, при встрече он сказал мне: «Володя, я уже написал отзыв на твою диссертацию, когда же я, наконец, ее увижу?» Подозреваю, что он написал его сразу после ученого совета.

А. Р. Лурия был «жаворонком» и донимал «сов» ранними звонками. Кажется, что он имел снисхождение лишь к А. В. Запорожцу и не звонил ему раньше десяти часов утра.

Систематичность А. Р. Лурия была поразительной. За месяц до своей кончины в день 75-летия он показал мне, как он подготовился к смерти. В нижних закрытых полках книжного шкафа были расставлены папки с неопубликованными работами. Шутя, он сказал, что осталась самая простая часть работы: подойти, взять папку и отнести в издательство. Как показали прошедшие двадцать лет, эта часть работы, во всяком случае, пока, является непосильной. К сожалению, у А. Р. Лурии не оказалось такого же преданного и энергичного ученика, каким был он сам в отношении к своему учителю Л. С. Выготскому. Труды Л. С. Выготского он начал издавать через 21 год после кончины учителя.

Феномен «ученичества» А. Р. Лурии (как и у А. В. Запорожца и Д. Б. Эльконина) — это особый сюжет, который нуждается в специальном психологическом анализе. Сам А. Р. Лурия, завершая автобиографию, пишет об этом очень просто, как о само собой разумеющемся: «Есть период первых исканий, встреча с гением, под влиянием которого я находился, и есть история моих дел, которые я смог совершить в течение довольно долгой жизни»¹. Ранняя эмансипация от учителя, видимо, не всегда является благом. Случай А. Р. Лурии тем более восхищает, что в своем сознании он считал себя учеником более сорока лет после кончины Л. С. Выготского (1934), почти двадцать лет из которых труды его учителя были запрещены. И каким он был учеником! Тысячу раз был прав Стефан Тулмин, который в своем маленьком эссе «Моцарт психологии», посвященном Л. С. Выготскому, назвал его ученика — А. Р. Лурию — Бетховеном. Уверен, что встреча Л. С. Выготского и А. Р. Лурии — это не просто счастливый случай. Это чудо, судьба, которая в равной мере оказалась благосклонной как к ученику, так и к учителю. Не будем их сравнивать. Поверим завету О. Мандельштама: «Не сравнивай. Живущий несравним».

¹ Лурия А. Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография. М., 1982. С. 181.

А они оба живы. Ученик надолго продлил жизнь учителя — Л. С. Выготского, как и мы сегодня продлеваем жизнь нашего учителя и коллеги — А. Р. Лурии.

Вообще-то постоянный рефрен А. Р. Лурии об ученичестве у Л. С. Выготского надо бы попробовать воспринять *cum grana salis*. Вспомним, что именно он уговорил К. Н. Корнилова пригласить Л. С. Выготского в Психологический институт, ученым секретарем которого он состоял в то время. В институте уже тогда (или чуть позже) работала блистательная плеяда ученых: Г. Г. Шпет, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, Н. А. Бернштейн, Н. И. Жинкин, С. В. Кравков, П. А. Шеварев, А. Ф. Лосев, П. П. Блонский, В. М. Боровский, А. Н. Леонтьев... Оставался еще и Г. И. Челпанов. С институтом сотрудничал Р. О. Якобсон. Подобного соцветия уже ставших и будущих талантов, собравшихся в одном месте, не знал ни до, ни после ни один университет мира. При этом А. Р. Лурия — один из самых молодых (моложе был только А. Н. Леонтьев) сотрудников по должности — общался со всеми. В психологии это называется «латентное научение». Иное дело, что А. Р. Лурия при такой богатой возможности выбора предпочел Л. С. Выготского... Или зрелый Л. С. Выготский предпочел самых молодых — А. Р. Лурию и А. Н. Леонтьева?..

Л. С. Выготский был суровый учитель. Широко известна его жесткая критика в адрес А. Р. Лурии по поводу его высказываний об отношениях психоанализа и исторического материализма. К чести ученика, следует сказать, что, редактируя первый том собрания сочинений Л. С. Выготского, Александр Романович это «слово» из песни не выкинул. Мне даже кажется, что он навсегда вытеснил из памяти слова «психоанализ» и «исторический материализм».

Как бы там ни было, но А. Р. Лурия сам стал замечательным учителем. Скажу лишь об одном из его педагогических приемов, объектом которого довелось быть и мне. Я называю этот прием «испытание доверием». Как-то он сказал мне: «Володя, ты преуспел в изучении зрительного восприятия, прочти в моем курсе «Общая психология» лекцию о зрительных образах». Надо ли говорить, как я (и другие, которым он делал аналогичные предложения) готовился. Ведь А. Р. Лурия, доверив лекцию, сам слушал ее, а его нелюбимая в оценках была известна. Он был проницателен, афористичен, его оценки часто походили на диагноз.

Однажды А. Р. Лурия точно так же «бросил в воду» молодого Б. М. Величковского. Тот после длительной подготовки выпалил за двадцать минут все содержание лекции и растерянно остановился. А. Р. Лурия сказал ему: «Боря, все замечательно, а теперь нач-

ни сначала». Молодому лектору не хватило оставшегося времени для изложения того, что он приготовил. Подобные опыты служили основанием для многократных предложений А. Н. Леонтьеву передать курс «Общая психология» следующему поколению преподавателей. Не только курс...

Очень многие из разных поколений психологов испытали на себе благотворное влияние доверия А. Р. Лурии. Мало того, он не только доверял молодым, но и выступал гарантом перед А. А. Смирновым, Б. М. Тепловым, А. Н. Леонтьевым, убеждал старшее поколение, что молодые справятся и не только с чтением лекций. Рекомендовал их ученым и руководителям многих учреждений, иностранным коллегам. Нужно сказать, что А. Р. Лурия редко ошибался, чувствовал, какое дело кому по плечу. Он всегда видел человека в зоне, точнее, в перспективе его ближайшего и более отдаленного развития. Не ошибался А. Р. Лурия и в отрицательных оценках. К сожалению, к нему не всегда прислушивались. Это и мой грех, за который самому приходилось расплачиваться. И, кажется, что до конца еще не расплатился...

Несомненно, А. Р. Лурия был человеком, если угодно — гражданином мира. Но он жил и в другом маленьком мире своих друзей и коллег, который называют научной школой Л. С. Выготского или школой Л. С. Выготского — А. Н. Леонтьева — А. Р. Лурии, в которую входили Л. И. Божович, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Б. В. Зейгарник, П. И. Зинченко, Д. Б. Эльконин и др. Конечно, каждый из перечисленных был интересен, оригинален сам по себе, создал свою школу, но многие годы они держались вместе, были склонны подчеркивать то общее, что у них есть, нежели различия, которые между ними были. Самым общим у них, конечно, была судьба советского ученого, которая, несмотря на все типично советские (и военные) перипетии, тяготы, изгнания с работы, наветы, запреты и т. п., оказалась счастливой. Ведь они не были репрессированы и имели возможность работать. А по советским меркам, это и было счастье. Впрочем, оценивалось оно вполне здраво. Как-то А. Р. Лурия поделился с женой Ланой Пименовной желанием отправить своего ученика Пеэтера Тульviste в Африку для проведения кросс-культурных исследований, на что она заметила: ведь в Африке едят людей, а ей жаль Пеэтера. Александр Романович, в свою очередь, ответил, что людей едят в Москве, а не в Африке.

Ожидание и страх репрессий, конечно, были, особенно в предвоенные годы. Страх погнал А. Р. Лурию, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца в Харьков, Л. И. Божович — в Полтаву, где их меньше знали, соответственно была меньше вероятность ареста. Страх

имел основания. В конце 1920-х годов возобновились аресты ученых, началась борьба за «чистоту идей», стали размножаться «самозванцы мысли» (выражение М. Мамардашвили), работы Л. С. Выготского и А. Р. Лурии подверглись критике и запрету. Замысел и «технология» переезда принадлежали А. Р. Лурии, так как первым приютом в Харькове была для них Всеукраинская психоневрологическая академия, с которой у него были контакты, в частности с известным неврологом М. С. Лебединским.

Наше послевоенное поколение психологов застало их уже в Москве, хотя они какое-то время еще именовали себя Харьковской психологической школой. Мне уже приходилось делиться своими размышлениями о «разделении функций» в этом замечательном научном сообществе, которое цементировали общая судьба, дружба и нежная любовь друг к другу. Ведь они все были такие разные, что никакая субординация между ними была немыслима.

А. Р. Лурия, несомненно, был гением, притом добрым, домашним гением, доброжелательно и иронично улыбчивым, всецело поглощенным научными проблемами, людскими судьбами и заботами, которому некогда было подумать о своей гениальности. Он как-то очень буднично воспринимал и лишь изредка, не специально, а к слову говорил о признании его научных заслуг, будь-то издание его книги за рубежом, избрание почетным членом иностранной академии или почетным доктором очередного иностранного университета. Если я не ошибаюсь, таких университетов было около пятнадцати.

Последняя глава автобиографии А. Р. Лурии называется «Романтическая наука». В ней он, вслед за Максом Ферворном, разделяет ученых по их отношению к науке на классиков и романтиков. Сам же он счастливо сочетал в себе свойства тех и других. Лучше сказать иначе: именно потому, что А. Р. Лурия был и оставался до конца жизни романтиком, он стал классиком. Расчлняя, анализируя («руками» травмы или скальпелем нейрохирурга), анатомируя реальность, как это и полагается классику, он никогда не утрачивал перспективы и свойств живого целого. Весьма показателен в этом отношении его посмертно опубликованный антиредукционистский манифест «О месте психологии в ряду социальных и биологических наук»². Даже изучая отдельную психическую функцию — великую память мнемониста, он выводил из нее другие черты личности. Его романтизм, понимаемый в общечеловеческом (а не

² Лурия А. Р. О месте психологии в ряду социальных и биологических наук. // Вопросы философии. 1977. № 9. С. 68–76.

применительно к ученым) смысле, был невероятно деятельным и действенным. То, что в его планах иногда казалось друзьям, коллегам и ученикам фантастическим, какими-то девичьими грезами, оказывалось вполне реализуемым.

Вернемся к школе. Я вовсе не хочу идеализировать это сообщество, хотя оно стало и моим, так как меня в него приняли. В нем появлялись и центробежные силы, проскальзывала взаимная ирония, бывали научные претензии, иногда достаточно суровая критика, даже некоторая зависть (но никогда не корысть). Например, А. Н. Леонтьев упрекал А. Р. Лурию в легкомысленном отношении к теории, а А. Р. Лурия А. Н. Леонтьева — в суперсерьезном отношении к философским (читай: марксистским) аспектам психологии. А. Р. Лурия с трудом выносил идеологическое суесловие, без которого, однако, нельзя было обойтись. Однажды во время доклада А. Н. Леонтьева он прошептал мне: «Ты посмотри на него. Когда я устану, у меня язык не шевелится, а он, чем больше устанет, тем больше балаболит, не может остановиться». В какой-то момент, почувствовав ревность А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия перестал говорить ему об очередных знаках своего признания за рубежом. При всех своих различиях, взаимных претензиях, которые в конце жизни они почти не скрывали, они не могли и дня прожить друг без друга. Их разлучила только смерть.

Словом, это было живое сообщество, членам которого ничто человеческое не было чуждо. Помимо общей судьбы их объединяли годы ученичества, сотрудничества с Л. С. Выготским и беззаветная любовь к психологии. А. В. Запорожец, перефразируя слова Аристотеля о метафизике, говорил, что много есть наук полезней, но лучше нет ни одной. Так что центростремительные силы всегда побеждали центробежные. Чтобы, не дай Бог, не сложилось впечатление, что это была некая секта, ложа, «орден меченосцев» и т. п., следует подчеркнуть широту их взглядов, терпимость к другим направлениям и научным школам, их тесные отношения и дружбу с другими психологами. А. Р. Лурия был более чем дружен с А. А. Смирновым, Б. М. Тепловым, Н. И. Жинкиным, А. Н. Соколовым, В. С. Мерлиным и др.

Разумеется, свой, как сказали бы социальные психологи, референтный круг был у каждого представителя этой замечательной школы, державшейся на разнообразии, на уникальности каждого ее участника и... на чувстве юмора, без которого выжить и сохраниться в советское время было невозможно.

До сих пор я говорил о А. Р. Лурии как бы вокруг да около психологии, а не о его собственной научной деятельности. Но все это

«вокруг» было возможно только потому, что он был психолог Милостию Божией. Его интерес к науке, к ее проблемам счастливо сочетался с негаснущим интересом и любовью к людям, что в нашей психологической среде случается не так уж часто. Это было больше, чем научное любопытство, это была человеческая и человеческая любознательность, постоянное стремление понять причины страдания и найти пути для его облегчения. Стойкость его интереса к отдельному человеку поразительна. Она не имеет аналогов в мировой психологической литературе. Я имею в виду многие десятилетия его наблюдений над великим мнемонистом Ш. и над пациентом З. Испытуемый и пациент — герои его маленьких книжек — стали его друзьями. Уверен, не только они...

Напомню призыв А. Р. Лурии к психологам, сделанный им в «Маленькой книжке о большой памяти». Он приглашал психологов следовать его примеру и детально описывать случаи исключительного развития отдельных психических способностей, так как подобные случаи помогут лучше понять целое. Правда, мне кажется, что этому призыву последовал лишь писатель В. В. Набоков, который едва ли знал о нем. Романы «Защита Лужина» и «Камера обскура» напоминают маленькие книжечки А. Р. Лурии. Если сравнивать не художественные достоинства их произведений, а отношение авторов к своим героям, то, по моему мнению, выигрывает А. Р. Лурия. В. В. Набоков, коллекционирующий причуды человеческой психики, относится к своим героям как ученый-энтомолог, разглядывающий редкие виды наколотых на булавку бабочек, А. Р. Лурия — как писатель, сопереживающий своим героям.

Вся жизнь А. Р. Лурии была отдана науке. Я даже не буду пытаться характеризовать его научное наследие, столь велико и многообразно оно, к тому же еще далеко не освоено. Не все опубликовано даже по-русски, например его книга «The nature of human conflicts» (1932)³. При таких грандиозных масштабах научной, педагогической, клинической, организационной (никогда не публичной), коммуникативной (ни одно письмо не осталось без ответа) деятельности, казалось бы, ни на что другое просто не может быть времени. Но А. Р. Лурии было тесно в науке. Он постоянно вырывался из нее в культуру, а точнее — он просто жил в культуре, поэтому и психология его была культурно-исторической. А нейропсихология — это уже частность в замечательном культурном контексте, правда, такая частность, которая принесла А. Р. Лурии

³ Книга А. Р. Лурии «Природа человеческих конфликтов: Объективное изучение дезорганизации поведения человека» издана лишь в 2002 году к 100-летию ученого.

мировую известность. А. Р. Лурию интересовали мировая живопись (его библиотеке по живописи мог позавидовать самый взыскательный искусствовед), русские деревянные церкви (он сам сделал превосходную слайдотеку деревянного зодчества на русском Севере), киноискусство (отсюда его контакты с С. М. Эйзенштейном). Помню, что по его заказу я привез из Японии телеобъектив каких-то невообразимых размеров для его фотоупражнений.

Нужно сказать, что культура отвечала А. Р. Лурии взаимностью. Я недавно узнал, что многое в лингвистических построениях Р. О. Якобсона основано на исследованиях А. Р. Лурии. Он об этом, несомненно, знал, но никогда не афишировал. То же можно сказать о теории построения движений Н. А. Бернштейна, реконструированной из осколков патологии. Многие осколки — результаты исследований А. Р. Лурии. О психологической теории деятельности и говорить нечего. А. Р. Лурия — такой же ее создатель, как А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, Д. Б. Эльконин и др.

Недавно признание А. Р. Лурии пришло совсем с неожиданной стороны. Питер Брук получил грант на экранизацию «Маленькой книжки о большой памяти». Выдающийся режиссер дважды был в Москве, в Петербурге, встречался с людьми, которые знали А. Р. Лурию и мнемониста Ш. Конечно, он встречался со многими западными коллегами и друзьями А. Р. Лурии. В итоге многих встреч Питер Брук сказал мне, что он почувствовал А. Р. Лурию своим братом. Это впечатление Мастера, полученное «из вторых рук», говорит о многом и дорогого стоит. Между ними действительно есть нечто общее. Это лучшая доброта и непосредственно воспринимаемая, не требующая никаких доказательств талантливость. Трудно будет П. Бруку подыскать актера на роль А. Р. Лурии. С тем большим нетерпением ожидаем воплощения этого замечательного культурного и художественного (а не научного) замысла.

К счастью, А. Р. Лурия еще живет в памяти многих поколений: его учеников, когда-то молодых его друзей и коллег. Надеюсь, я выражу общее мнение: чем дальше его нет, тем величественнее становится его фигура. Это какая-то обратная временная перспектива. И тем больше нам его не достает.

1997

Александр Владимирович Запорожец: жизнь и творчество (от сенсорного действия к эмоциональному)

Жизненный путь и научная биография Александра Владимировича Запорожца заслуживают монографического описания. Я рад, что к его столетию изданы воспоминания супруги Тамары Осиповны Гиневской об их совместной жизни, длившейся более полувека¹. В них представлена не научная биография, а атмосфера, в которой она протекала и люди, окружавшие Александра Владимировича.

В настоящих заметках мне не удалось ограничиться лишь академическими аспектами его деятельности и уроками, которые я от него получил. Александр Владимирович более тридцати лет дарил мне свои любовь и дружбу. Сначала я получил их в дар по наследству, по праву рождения, как сын Петра Ивановича Зинченко. (С моим отцом А. В. Запорожец подружился в свой харьковский период, который у него, в отличие от других «харьковчан» А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурии, продолжался до самой войны. Вернувшись после рытья окопов, он эвакуировался из Харькова с последним поездом.) Позже, мне кажется, я заслужил его расположение и сам. Его уроки, как и уроки моего отца, не просто хранятся в моей благодарной памяти, они вошли в мою плоть и кровь.

А. В. Запорожец родился 12 сентября 1905 года в Киеве. Его родители были увлечены революционной деятельностью и, видимо, не слишком много внимания уделяли сыну. Когда у ребенка обнаружили неполадки в легких, его мама Елена Григорьевна выбросила из головы революционные бредни и всерьез занялась сыном. Она освоила профессию массажистки, возила сына на французские и итальянские курорты. Болезнь отступила, не оставив никаких сле-

¹ См.: А. В. Запорожец — человек и мыслитель / Под ред. Л. А. Парамоновой. М., 2005.

дов. С тех пор у Александра Владимировича на всю жизнь остались очень трогательная, нежная любовь к матери, внимание и забота о ней. Елена Григорьевна дожила до преклонных лет. Щадя ее, сын скрывал свои, к счастью, достаточно поздно появившиеся недуги, равно как и любые жизненные неурядицы, которых у него, как и у всякого советского человека, было предостаточно. Следствием пребывания на курортах стала любовь к морю, к рыбалке. В зрелые годы он часто ездил в отпуск к родителям, проводившим лето в Одессе. Они после переезда в Москву сохранили дом в Аркадии. Там он многие часы просиживал на берегу моря с удочкой. Ловил бычков, но мне кажется, улов его мало интересовал. Во всяком случае, он никогда не хвастался своими рыбацкими достижениями, как, впрочем, и никакими другими. Из Одессы он привозил очередной заряд жизнестойкости и юмора, хотя казалось, что к его собственному неисчерпаемому запасу юмора и мягкой иронии трудно что-нибудь добавить. Это было у него в крови. Юмор и ирония экранировали его от партии, от советской власти, от действительности. Без чувства юмора нельзя было прожить почти всю жизнь в коммунальных квартирах, но квартирный вопрос его не испортил.

Чтобы выдержать такую жизнь да еще плодотворно работать, одного чувства юмора явно недостаточно. Спасала закалка. «20-й год, в Киеве голодно, — вспоминал он, — и родители отправили нас с сестрой в деревню, к деду, на подножный корм, где, как и полагается сельскому парубку, я занимался крестьянской работой: пахал, жал, молотил»². Это не жалоба, далее он пишет: «Потрясающее было время! С одной стороны — голод, лишения, холод; с другой — огромный духовный подъем! Поразительно, с какой страстью разбухшие революцией люди рвались тогда к творчеству, поискам новой правды, к построению нового общества, созданию новой культуры!»³. Не его вина, что ожидавшееся тогда будущее не случилось, но светлую память о том времени он сохранил на всю жизнь. Приведенные слова были написаны им за несколько месяцев до кончины.

К сожалению, революционный голод (в прямом смысле слова «голод») был не последним. Десятилетие спустя голод догнал его на Украине, в Харькове. То был Великий голод. Покинувшие деревню крестьяне умирали на улицах города, в том числе и в подъезде, где жил А. В. Запорожец. Еще через десятилетие страну настигла военная лихая година и бескормица. Он был с женой в эвакуации на Урале.

² Запорожец А. В. Мастер: Воспоминание о Лесе Курбасе // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 25.

³ Там же. С. 27.

Жизнь не баловала Александра Владимировича особыми благами, не всегда давая даже самое необходимое. Но он не унывал, радовался тому, что не случилось худшего. В середине 1930-х годов (или около того) в Харькове образовался небольшой элитарный научно-художественный кружок. Элитарность состояла в том, что члены этого кружка устраивали «картофельные балы». На большее просто не было денег. Недремлющее око НКВД прознало или прослышало об этом. История с Л. Д. Ландау, входившим в кружок, общеизвестна. Не знаю, как с другими участниками, но Тамара Осиповна семь раз навсегда прощалась с Александром Владимировичем, когда его «приглашали» в НКВД. Слава Богу, пронесло. Не могу сказать, что после этого в него вселился страх — он был мужественным человеком, — но стал значительно сдержаннее и осторожнее. Приобрел он и иммунитет к партии, куда его настойчиво звали почти до конца 1960-х годов. Однажды он чуть было не согласился, но вовремя представил себе реакцию беспартийного Бориса Михайловича Теплова на то, что Запорожец вступил в партию.

А. В. Запорожец не пасовал и перед райкомом КПСС, что удивляло прежде всего райкомовцев, привыкших командовать, а не убеждать и спорить. Однажды ему позвонил секретарь райкома и потребовал уволить его заместителя, разошедшегося с женой, так как морально неустойчивый человек не мог состоять в руководстве дошкольным воспитанием. Александр Владимирович ответил, что, если ему не изменяет память, родоначальник соцреализма А. М. Горький был даже трижды женат. Секретарь не нашелся, что на это возразить, и больше к вопросу об увольнении не возвращался. А. В. Запорожец избегал разговоров на партийно-политические темы. Они были ему не интересны, хотя он все знал и все видел.

Дом Запорожцев был открытым и хлебосольным для друзей, учеников и сотрудников. Пожалуй, там никогда не бывало «нужных» людей. Да и потом, годы спустя, я убеждался в том, что ряд людей не приглашались в него вовсе не случайно. В доме принимались два крайне редко пересекавшихся круга. Один — психологический: П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович. Когда бывали в Москве, то гостили в нем Д. Г. Элькин, Б. И. Хачапуридзе, Г. Д. Луков, П. И. Зинченко. Это сообщество можно определить как выготчане, харьковчане и их друзья. Другой — сборный, интимно-дружеский, хотя последнее, конечно же, относится и к психологическому сообществу. Во второй круг входили такие замечательные люди, как А. О. Гиневский — художник, ответственный секретарь МОСХа периода «оттепели», его жена Е. С. Гиневская — микробиолог, В. В. Левик — поэт и перевод-

чик, А. И. Константиновский — театральный художник и график, М. С. Пеккелис — профессор Гнесинского училища, сестра А. В. Запорожца Наталья Владимировна — музыковед, А. Ю. Ишлинский — академик по Отделению механики. Я считаю себя счастливым человеком, так как меня «допускали» в оба эти круга друзей, и в этом доме я прошел второй (если не первый и главный) университет.

Многие годы открытость дома для учеников, особенно университетских, была вынужденной. С «жилем» в Психологическом институте было неважно. Первый «непроходной» кабинет Александр Владимирович получил, когда возглавил Институт дошкольного воспитания. Да и тот не отдал под лабораторию только потому, что директор должен иметь кабинет. Какое-то время у него было даже два кабинета. Второй — академика-секретаря Отделения психологии АПН. Когда я занял эту должность, мне была приятна не должность, а то, что я работал в его кабинете. Что там происходит сейчас, не знаю. Несколькими годами назад я покинул это когда-то родное мне отделение.

Еще один штрих к его портрету, после чего я постараюсь (если мне это удастся) перейти на академический тон изложения. Когда я писал аналогичные заметки об А. Р. Лурии и других участниках школы, то задумывался о том, каково было распределение ролей в таком тесном, дружном и плодотворном коллективе, каковой была харьковско-московская школа психологов. Они ведь все такие разные, у каждого в Москве образовалась собственная школа, десятки учеников и учеников их учеников. И тем не менее они не могли жить друг без друга.

А. Н. Леонтьев, несомненно, был признанным всеми лидером. Кажется, что таким он был от рождения. Он много сделал не только для сохранения и развития собственной деятельности школы, но и для психологии в целом. Все они, любя его, подтрунивали над ним, когда он рассказывал о своих достижениях в «коридорах власти». А. Р. Лурия — гений, он действительно Бетховен в психологии, как его назвал Ст. Тулмин в статье «Моцарт в психологии», посвященной Л. С. Выготскому. Д. Б. Эльконин — человек с мужественным научным темпераментом, стойко выносивший неоднократные изгнания из науки, лишение ученых степеней и щедро разбрасывавший свои идеи. П. Я. Гальперин всегда был учителем, которого все остальные ласково называли «ребенком» или Гальпетя и ходили к нему советоваться, хотя понимали, что хорошая оценка вовсе не гарантирована.

А. В. Запорожец при всей своей бесконечной доброте был совестью этого небольшого коллектива таких разных единомышленников. Конечно, у них возникали трения, сложности, но мир в доме

сохранял главным образом Александр Владимирович, часто играя роль советчика, врача. К его помощи прибегали не только выготчанине. Обаяние, такт, доброжелательность, единственно нужные слова и поступки привлекали к нему окружающих. При нем невозможно было сделать что-либо стыдное. А. В. Запорожец, несомненно, тоже был лидером, но лидером незаметным, непоказным. Он был лидером нравственным, что заставляло стусевываться иных лидеров. Сознательно или бессознательно он держался в тени. Я, например, только из примечания А. Н. Леонтьева к своему тексту, посвященному гипотезе возникновения психики и ее экспериментальной верификации, узнал, что и то и другое было сделано совместно с А. В. Запорожцем. Конечно, все участники этого коллектива были личностями, талантливыми учеными, замечательными учителями. Я подчеркиваю лишь их доминирующие черты. При всей любви друг к другу они были справедливы и требовательны.

А. В. Запорожец был нетороплив, но основателен. Он не бегал, как А. Р. Лурия, через три ступеньки и не звонил друзьям и коллегам в 7–8 часов утра. Он не спешил с защитой докторской диссертации. Когда он защитил ее, Е. И. Бойко сказал ему, что, если у нас ученый в 55 лет защищает докторскую, его считают вундеркиндом. Эта ирония имела основания. Старшее поколение психологов достаточно трепетно относилось к докторской степени. Но зато какие это были диссертации! Защита каждой была событием в науке.

А. В. Запорожец был терпимее А. Р. Лурии. Одного из своих действительно талантливых учеников он называл «доброкачественным лентяем» и многое прощал ему. Вообще, он нас так замечательно воспитывал, что мы, его ученики, этого совершенно не замечали. А он, смеясь, говорил, что человека после 12–13 лет воспитывать бесполезно. Не раззнакомился со мной Александр Владимирович, когда я в 1960 году не принял его предложения организовать психологическую лабораторию в создаваемом им тогда Институте дошкольного воспитания или возглавить его лабораторию детской психологии в Психологическом институте, который он покидал. Я предпочел «сыграть в ящик» — в НИИ автоматической аппаратуры, где мне предложили организовать лабораторию инженерной психологии и заняться проблемами противовоздушной обороны. А. В. Запорожец отпустил меня и искренне пожелал успеха. Хотя он был огорчен и не скрывал этого, мой отказ никак не повлиял на наши отношения. Он только как-то сказал мне: «Глядя на тебя, я иногда чувствую себя, как курица, высидевшая утят и удивляющаяся, что они делают то, что она не умеет сама, например, плавают». Меня оправдывает то, что вместе с моей женой Н. Д. Гордеевой еще

при жизни А. В. Запорожца продолжили его исследования произвольных движений и предметных действий. К счастью, мы успели посвятить ему нашу первую книгу по исследованию моторики. Он был искренне рад тому, что почти забытая им, заслоненная директорскими обязанностями, проблематика развивается.

Перейду теперь к обещанному академическому тону и стилю.

Трудно переоценить вклад А. В. Запорожца в психологию. Именно в психологию, а не в психологическую теорию деятельности или в деятельностный подход. Стержнем его интересов была не деятельность, а действие во многих своих ипостасях: сенсорное, ориентировочное, перцептивное, умственное, эмоциональное, эстетическое, игровое, учебное, наконец, исполнительное действие, т. е. действие *per se*. Иногда он пользовался термином «психическое действие». Если сквозь призму понятия действия прочесть его труды, то неминуемо придешь к выводу, что в них заложены основания и общий абрис будущей психологии действия. Действие в его исследованиях выступало не только как объяснительный принцип или единица анализа психики, а как подлинный предмет изучения. Попробую проследить истоки его интереса к действию.

Не всем известно театральное, «допсихологическое» прошлое Александра Владимировича. В свое время многие в этом воочию убеждались на «капустниках» в Психологическом институте, на его научных докладах, которые он тщательно готовил не только по содержанию, но и по форме. Артистичность чувствовалась во всем: от лекций до застолья, когда он бывал тамадой. Но в последний год жизни Александра Владимировича мы узнали, что его допсихологическое прошлое было в высшей степени психологическим. Весной 1981 года украинский режиссер и исследователь театра А. С. Танюк разыскал А. В. Запорожца и попросил его написать воспоминания о своем ученичестве и работе в театре Леся Курбаса (1887–1942) — зачинателя нового направления в театральном искусстве.

Летом, во время отпуска, А. В. Запорожец выполнил просьбу, написал очерк «Мастер. Воспоминание о Лесе Курбасе». Из этого очерка следует, что проблематика формирования, строения, регуляции человеческого действия, эмоций, чувств заинтересовала его, когда он в юные годы недолгое время был учеником Леся Курбаса. Не забыл ученика и учитель. Танюк познакомил А. В. Запорожца со стенограммой выступления ученика Л. Курбаса — мастера художественного слова В. А. Мовсесяна — на вечере Л. Курбаса в музее им. А. А. Бахрушина (16 апреля 1979 года). А. В. Запорожец привел большой отрывок стенограммы, исключив слова о себе.

«Посмотрите, какие идеи развивают наши соседи — Выготский и его группа! Я проговорил с Львом Семеновичем часов пять — и поражен его размахом! Какой масштаб личности! И знаете, что поразительно? Он говорил о том, что важно в первую очередь нам, деятелям театра. Да-да! Это очень близко к тому, чем мы пытались заниматься, — конечно, любительски, не зная азов, интуитивно, — еще в “Молодом театре” и МОБе! (Это аббревиатура — Художественное объединение “Березиль”, созданное А. С. Курбасом в 1922 году в Киеве. — В. З.) И конечно, меня обрадовал один штрих: знаете, кого он считает самым талантливым человеком? Нашего Запорожца! Да-да, он был у нас в одной из студий, в Киеве! Приятно! Это вам не рефлексология!..»⁴ Эта оценка Л. С. Выготского дорогого стоит. Хорошо, что Александр Владимирович узнал о ней.

А. В. Запорожец писал о том, что он может сравнить А. С. Курбаса лишь с такими великими мастерами и преобразователями мирового театрального искусства, как К. С. Станиславский, Гордон Крег, В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов или С. М. Эйзенштейн. Вспоминая эти годы и уроки своего первого учителя, А. В. Запорожец писал о том, что А. С. Курбас ставил перед молодыми актерами задачу овладения сценическим поведением и эмоциями в терминах преобразования или превращения собственных движений (ср. со все чаще встречающимся в психологии термином «форма превращенная»): «Мне представляется достойной пристального изучения, оригинальной и глубокой по своему психологическому содержанию идея “перетворенного руху” (“превращенного движения”). А. С. Курбас предлагал актеру, прежде всего, сосредоточиться на содержании своей роли и спектакля в целом, осмыслить его и вчувствоваться во внутренний мир изображаемого героя, вжиться в ту систему отношений и обстоятельств, в которой герою предстоит действовать, осмыслить общественную значимость его переживаний и поступков. Вместе с тем он считал необходимым развить у актера способность расслабиться, снять мышечную напряженность, избавиться от власти штампов, жестко зафиксированных и прагматически направленных “орудийных” действий, ограничивающих “степени свободы” человеческой моторики, побуждая ее звучать подобно эоловой арфе в унисон с внутренней симфонией дум и переживаний изображаемой личности. Таким образом, выдвигалась новая и, с моей

⁴ Запорожец не включил в свой текст слова, выделенные курсивом. Они содержатся только в стенограмме мастера художественного слова В. Мовсесяна, записавшего воспоминания Курбаса. См.: *Запорожец А. В. Мастер: Воспоминание о Лесе Курбасе // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 34–35.*

точки зрения, очень продуктивная концепция актерской выразительности, в каких-то отношениях сходная с той системой научных понятий о живом человеческом движении, которая разрабатывается в современной психологии»⁵. Мне представляется достойным столь пристального внимания комментарий А. В. Запорожца к системе Леся Курбаса. Именно комментарий, а не только воспоминания, так на последних сказался более чем полувековой опыт работы автора в психологии. Орудийные действия ограничивают степени свободы человеческой моторики. Конечно, в работе актера не только моторики, но и перцепции, интеллекта, эмоций. А. В. Запорожец говорит о необходимости избавления от них и называет орудийные действия штампами. И об этом пишет представитель научной школы Л. С. Выготского, пафос которой в преодолении натуральной, природной психики, в отстаивании идей о ее культурном, орудийном характере, в развитии каузально-генетических, инструментальных методов ее изучения. Особенно примечательно одобрительное отношение А. В. Запорожца к исследованиям (и понятиям) живого и, как следует из контекста, не орудийного человеческого движения. Требование раскрепощения степеней свободы человеческой моторики есть выведение ее за пределы орудийности, т. е. культуры в природу человека, есть требование непосредственности, спонтанности. Роль последней в развитии психики ребенка он старался подчеркнуть, несмотря на идеологические табу. Из исследований моторики А. А. Ухтомского, Н. А. Бернштейна, А. В. Запорожца следует, что избыток степеней свободы кинематических цепей человеческого тела есть постоянно действующий резерв безграничного развития и совершенствования движений и действий.

Обращусь снова к его воспоминаниям: «Л. Курбас своей идеей строительства философского театра, утверждением того, что творчество актера и режиссера должно строиться не на голой интуиции, а на сознательном отношении к изображаемым событиям, на глубоком понимании их внутреннего смысла, пробудил во мне, может быть, сам того не подозревая, интерес к психологии, к научному познанию внутреннего мира человека, к исследованию возникновения *его мыслей и эмоциональных переживаний, процесса становления его личностных качеств*. Все это, — продолжает А. В. Запорожец, — побудило меня в конце концов уйти из театра, поступить во 2-й Московский университет и заняться изучением психологии. Я стал учеником знаменитого советского психолога

Л. С. Выготского. <...> Обнаружилось, что, несмотря на глубокое различие между моей предшествующей актерской и последующей научной деятельностью, между ними существует какая-то внутренняя связь и то, что раньше постигалось интуитивно, теперь должно было стать предметом объективного экспериментального изучения и концептуального осмысления»⁶.

Таким образом, А. В. Запорожец пришел в психологию с уже сложившимися интересами и своими проблемами. Они, впрочем, подпитывались его любовью к театральному искусству.

Напомню, что во второй половине 1920-х годов, когда А. В. Запорожец пришел в психологию, перед ней только начинала ставиться проблема овладения поведением и организации деятельности. В идее превращения, претворения действия в том виде, в котором она реализовалась не только А. С. Курбасом, но и другими мастерами театра и кино того времени, содержится отказ от натуралистического копирования действительности. «Многие молодые художники 20-х годов, — писал Г. Козинцев, — выросли на ненависти к натурализму»⁷. Но к их чести нужно сказать, что вполне от «натурализма», от природы, от спонтанности они не освободились. В сочинениях Е. Вахтангова, Г. Козинцева, В. Мейерхольда, К. Станиславского, С. Эйзенштейна сплошь и рядом встречаются такие противопоставления и эпитеты, сопровождающие термины «движение» и «действие»: физическое, машинообразное, шаблонное и живое, жизненное, раскованное; внешнее и преобразованное, внутреннее, психологическое, духовное, осмысленное и т. д. Мы видим, что уже в те годы начали закладываться основы понимания режиссуры как практической психологии, предметом которой выступало действие, представляющее собой материал актерского искусства. Конечно, не каждое действие может выступать таким материалом, а лишь то действие, которое специально перестроено или построено как эстетическое. Это положение хорошо выразил О. Мандельштам, когда писал о замечательном актере В. Н. Яхонтове: В. Н. Яхонтов не осуществляет реальное исполнительное действие, а дает «графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова»⁸. Впоследствии А. В. Запорожец, анализируя поведение детей, показывает, как действие оседает в жесте, в рисунке.

Даже этих отрывочных сведений из истории театрального искусства 1920-х годов достаточно для иллюстрации положения о

⁶ Там же. С. 33, 34.

⁷ Козинцев Г. М. Пространство трагедии. М., 1973. С. 6.

⁸ Мандельштам О. Э. Яхонтов // Экран. 1927. № 31. С. 15.

⁵ Запорожец А. В. Мастер: Воспоминание о Лесе Курбасе // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 33.

том, что идея превращенного действия может быть выражена на современном психологическом языке как идея не только формирования, проектирования действия и деятельности извне, но и их саморазвития.

Истоки подобной трактовки сценического искусства лежат в русском символизме. Вяч. Иванов писал: «Исконное имя сценического искусства — Действо». И далее: «Действо как искусство возникло из реального события и к переходу в реальное событие тяготеет»⁹. Обращу внимание, с одной стороны, на различие действия как реального события и художественного действия, а с другой — на подчеркивание генетической и двусторонней связи между ними. Уместно напомнить исследования А. В. Запорожца, посвященные формированию эстетического восприятия дошкольников. Он выделил стадию эстетического восприятия, предшествующую сопереживанию и вчувствованию, которую он назвал стадией «содействия». Замечательным свойством детских ролевых игр, по его мнению, является то, что они занимают промежуточное место между реальными и художественными действиями. Наконец, еще один урок, который вынес А. В. Запорожец из своей предшествующей актерской деятельности. Выражу это словами Вяч. Иванова: «Театр имеет своим художественным материалом целостный состав человека и стремится к производству целостного события»¹⁰. Если мы выделим превращенное действие и целостный состав человека, то получим личностное или психологическое действие, поступок, как материал актерского искусства и притом не просто отраженное действие (зрелище, иллюзию), а действие воистину, где истина, по словам Вяч. Иванова, утверждается непререкаемым логизмом действия. Сказанное выше свидетельствует о том, что атмосфера поисков, господствовавшая в театральном искусстве (да и вообще в искусстве) в те годы, наложила на А. В. Запорожца глубокий отпечаток. По словам супруги А. В. Запорожца, первыми его учителями помимо Л. Курбаса были В. Мейерхольд и С. Эйзенштейн. Под их влиянием и складывалась его программа психологических исследований и стратегия ее реализации. Поэтому вовсе не случайно во второй половине 1920 годов А. В. Запорожец стал учеником и последователем именно Л. С. Выготского, а не таких, в то время значительно более известных психологов, как П. П. Блонский, К. Н. Корнилов, Г. Г. Шпет, у которых ему также довелось учиться во 2-м Московском университете. Не случайно, что Л. С. Выгот-

⁹ Иванов Вяч. Борозды и Межи. М., 1916. С. 261.

¹⁰ Там же.

ский направил именно А. В. Запорожца в студию С. Эйзенштейна для планирования и организации совместных исследовательских работ, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться.

Дальнейшая, теперь уже научная, судьба А. В. Запорожца была неразрывно связана со школой Л. С. Выготского. Через всю жизнь А. В. Запорожец пронес глубокое уважение и любовь к своему второму учителю. Научные идеи и методологические принципы, выдвинутые Л. С. Выготским, обогатили его собственную программу, легли в основу его исследовательской работы. Конечно, верно, что программа исследований А. В. Запорожца была обогащена Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурией, но столь же верно и то, что его же программа обогатила культурно-историческую теорию Л. С. Выготского и психологическую теорию деятельности А. Н. Леонтьева. Более того, она прочертила для них новую перспективную линию, или зону ближайшего развития, в которой находится психология действия.

А. В. Запорожец пришел в психологию, чтобы понять аффективное, осмысленное, произвольное сценическое действие. Но так сложилась его научная судьба, что он долгие годы «тренировался» на сенсорном, перцептивном, умственном действиях, как бы наполняя их смыслом и волей. К своей «первой любви» — к аффективному действию он обратился в конце жизни, когда был загружен административными обязанностями. В 1959 году по настоянию А. А. Смирнова и Б. М. Теплова он возглавил Институт дошкольного воспитания и не сумел в полной мере реализовать свою научную программу исследования аффектов. В этом он повторил научную судьбу своего учителя Л. С. Выготского. Аффект действительно стал прологом и эпилогом научных биографий Льва Семеновича и Александра Владимировича. Они не нуждаются в оправдании. Мы, правда, не имеем теории аффектов Выготского-Запорожца. Но зато есть реализация аффектов, выразившаяся у Выготского в страстном отношении к науке, а у Запорожца — в безграничной любви к детям, в создании когда-то славного Института дошкольного воспитания. Трудно переоценить вклад А. В. Запорожца в психологию детского развития.

Обозначу лишь некоторые вехи на пути А. В. Запорожца к аффективному действию. Харьковский период научной деятельности А. В. Запорожца характеризуется широтой поиска. Здесь мы находим исследования, посвященные развитию эстетического восприятия детьми литературного произведения, иллюстраций к сказкам, театральным постановкам. Наряду с этим изучаются общие вопросы восприятия, намечаются контуры созданной впоследствии теории

перцептивных действий, вводится понятие сенсорного действия. Отчетливо формулируется положение о том, что *способ действия является живым отображением предмета*. Выделяются простые и сложные сенсорные действия. Система предметных операций последнего охватывает весь предмет и объединена предметной формулой. Эти положения принципиально важны для понимания фундаментального свойства образа восприятия — свойства предметности. В 1941 году А. В. Запорожец публикует выполненное совместно с В. И. Асниним исследование возникновения чувствительности кожи ладони к лучам видимого спектра, использованное А. Н. Леонтьевым при формулировании гипотезы о возникновении психики. Влияние действия на характер восприятия А. В. Запорожец распространяет и на процесс образования установки, к анализу которой он неоднократно обращался впоследствии, в том числе и со своими учениками А. И. Мещеряковым, Л. А. Венгером и В. П. Зинченко.

В те же 1930-е годы А. В. Запорожец предпринимает цикл исследований развития детского мышления. В них показано, что за значением, которое, согласно Л. С. Выготскому, является единицей анализа речевого мышления, скрывается предметно-практическое действие. В последнем рождаются «действенные суждения», «доречевые практические обобщения», представляющие собой «функциональные значения предметов». Они характеризуются как «динамические понятия», своего рода «сенсорно-динамические образования», в которых слиты сенсорные и моторные образования. Впоследствии Ж. Пиаже назвал подобные, порожденные действием образования «схемами» и «праксическими концептами». А. В. Запорожец, развивая идею Л. С. Выготского о том, что действие может становиться знаком, показал, как это происходит. Движение как бы отчуждается от действия, оно превращается в жест, в том числе и оседающий в рисунке, в мимический слепок вещи, в «ручное понятие».

В высшей степени интересны рассуждения А. В. Запорожца о возникновении мышления. По сравнению с более элементарной формой психики — перцепцией, где одно свойство предмета опосредуется другим, в мышлении появляется новая форма опосредования, когда индивид начинает относиться к одному предмету через другой. В этом случае содержанием его деятельности являются отношения между предметами, между вещами, а это уже есть содержание разумное, притом выступающее первоначально в самом действии, а не в размышлении. Таким образом, А. В. Запорожец обнаруживает в дошкольном детстве зачатки теоретического отношения к предмету, теоретической деятельности, на основе которых

возможно формирование причинного мышления. Он вводит понятие интеллектуального действия и характеризует его как двухактное: осуществляется мышление на первом акте, но изменение и развитие его средств происходят на втором акте. Заметим, что в те же годы и в тесном контакте с А. В. Запорожцем П. И. Зинченко проводил исследования мнемических действий. Действие *per se*, или исполнительное, навыковое действие изучал В. И. Аснин. К сожалению, В. В. Давыдов, работавший над развитием теоретического мышления школьников, явно недостаточно учитывал опыт изучения когнитивных действий, накопленных в Харьковской психологической школе.

Большой опыт исследований произвольных движений и действий А. В. Запорожец приобрел в годы Великой отечественной войны. Он работал в восстановительном госпитале, где проходили реабилитацию бойцы с ранениями верхних конечностей. Тогда же он испытал влияние Н. А. Бернштейна, на труды которого он опирался в дальнейшем при изучении развития произвольных движений. Нужно сказать, что, выбирая главное направление своих исследований в послевоенные годы, он колебался: продолжить ли исследования интеллекта или движения и действия. Выбор был не прост. Он остановился на последних и вместе с сотрудниками изучал развитие произвольных движений, а изучение развития мышления продолжили его ученики Г. И. Минская, Л. А. Венгер и др.

Согласно Н. А. Бернштейну, движение реактивно. А. В. Запорожец добавил к этому свойству чувствительность, «ощущаемость». В середине 1950-х годов в работе М. И. Лисиной, выполненной по давнему замыслу и под руководством А. В. Запорожца, было показано, что ощущаемость движения представляет собой неперемное условие его управляемости. Лишь после того, как испытуемые научились ощущать свои сосудистые реакции, они смогли ими управлять. Значит, движение представляет собой своего рода кентавр: оно обладает не только биодинамической, но также и чувственной тканью. Наглядно это можно представить себе как переходящие одна в другую наружная и внутренняя стороны ленты Мёбиуса. Конечно, сама по себе идея не нова. Р. Декарт говорил, что действие и страсть — одно. У П. А. Флоренского мы встречаем идею о том, что действие — не только исполнение, но и претерпевание. Однако в исследовании А. В. Запорожца и М. И. Лисиной имеется строгое экспериментальное доказательство этой идеи.

Затем А. В. Запорожец обратился к проблеме «внутренней картины», или внутренней формы движения, в содержание которой входит образ ситуации и тех действий, которые в этой ситуации

должны или могут быть выполнены. Впервые в мировой литературе он включил образ ситуации и образ действия, т. е. на сей раз своего рода перцептивную ткань, в биодинамическую ткань движения, двигательного акта. Более того, А. В. Запорожец утверждал, что объективно движение само представляет собой динамический осмысленный образ, а не самое орудие осуществления намерения. Вспомним также об исследованиях действенной природы мышления. В ходе развития исследований движений и действий они наполнялись когнитивными свойствами и функциями. Это, в конце концов, позволило ему заключить, что действие умное само по себе, а не потому, что им руководит внешний и посторонний ему интеллект.

Но и этого мало. А. В. Запорожец рассматривал действие как потребность, мотив, цель и задавался вопросами: каким образом действие может сделаться целью для другого действия? каким образом субъект начинает стремиться к действию как к известной внешней вещи, внешнему предмету? каким образом он может стремиться к действию так, как стремился раньше к пище или какому-либо другому предмету, удовлетворяющему его потребности? Единственная возможность этого, отвечал А. В. Запорожец, заключается в том, что действие опредмечивается. Тогда действие субъекта как бы отделяется от него и выступает не только как внешний предмет, но и как «внешний субъект», в котором оно овеществлено и персонифицировано. Овеществленная и персонифицированная субъектность действия — это уже не вполне действие, а, скорее, Деяние, Действо, возможно, не только эстетическое, но и сакральное. Наконец, от субъектности действия А. В. Запорожец пришел к проблеме личностных установок, к проблеме «моторика и личность», обсуждением которой заканчивается его замечательная книга «Развитие произвольных движений»¹¹. Через всю книгу проходит положение о том, что необходимо отказаться от понимания живого движения как механического перемещения тела или его органов в пространстве и перейти к рассмотрению его как сложного моторного акта, реализующего определенное (и целостное) отношение субъекта к предмету, к действительности, к другому человеку. Не менее важна мысль о том, что овладение новыми действиями (а не овладение предметами посредством действий и деятельности) представляет собой подлинное обогащение субъекта, развитие не только оперативных-технических способностей, но и его личности, истинно человеческого бытия.

По существу, эта книга должна рассматриваться как вклад в решение вечных проблем психологии: свободы воли и свободного

¹¹ Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960.

действия. Но пятьдесят лет тому назад обсуждать эти проблемы в нашей стране было не модно. В моде еще были рефлекс и «охранительное торможение». Мне кажется, что у А. В. Запорожца был род аллергии к теоретико-методологическим изысканиям. Сам он старался ограничиваться лишь минимумом «дежурных» ссылок на труды классиков марксизма-ленинизма. Они были в его библиотеке, а в качестве закладок использовались горелые спички. Он и мне советовал обойтись без философско-методологической проблематики психологии. Это, кажется, один из редких случаев, когда я не послушался и рад этому. Потому что без моих философских и теоретико-методологических упражнений я не смог бы проникнуть в глубинные (и нередко закамуфлированные эпохой) смысловые пласты плодотворной деятельности моего Учителя.

Проблема целостности поведения и деятельности индивида не может рассматриваться вне категорий ценности и смысла, связанных с эмоциональной, интимно-личностной сферой человека. В изучении эмоциональной сферы А. В. Запорожец также опирался на исследования Л. С. Выготского. Свой последний подготовленный, но не прочитанный доклад он посвятил роли Л. С. Выготского в разработке проблемы эмоций. По его мнению, главное в теории Выготского состоит в том, что сущность и источники происхождения самого глубинного и интимного в человеке заключается не в его телесных, внутриорганических процессах и не в имманентно присущих его духовной организации свойствах, а в его внешней чувственно-предметной деятельности, его взаимоотношениях с другими людьми, в создаваемых обществом произведениях культуры, в том числе в культуре художественной, в сокровищах искусства.

Размышления А. В. Запорожца шли в этом же направлении: «Психология должна исследовать механизм того поистине паразитического, магического влияния, которое оказывает искусство на аффективную сферу человека, буквально навязывая ему, подчас как бы вопреки его воле, устремления, совершенно не свойственные ему чувства, чуждые ему переживания (см. Л. Н. Толстой “Крейцера соната”, Л. Фейхтвангер “Успех” и др.). Есть основания полагать, что такого рода способы аффективного влияния, которые имеются в искусстве в наиболее совершенной и рафинированной форме, широко представлены и в более обыденных видах эмоционального выразительного воздействия, используемых людьми в повседневной жизни, в повседневном общении друг с другом»¹².

¹² См.: Зинченко В. П. Комментарии к рукописному наследию А. В. Запорожца // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 296–297.

Напомню, что именно в утверждении Л. С. Выготским объективности существования аффективно-смысловых образований, драмы человеческих страстей Д. Б. Эльконин видел неклассичность культурно-исторической психологии.

А. В. Запорожец возражал против натуралистического отождествления выразительных движений животных и человека, говорил о необходимости учета символизма определенных форм выразительности человека, при которых она, обладая известным внешним сходством с выразительностью животных, может иметь совершенно другой смысл, чем у наших животных предков. Он подчеркивал важность «второго выражения человеческих эмоций», к которому относится выразительность языка и воображения, и распространил на эмоции ранее высказанное им положение о наличии внутренней картины движения, утверждая существование в структуре эмоций внешней и внутренней форм. Выразительное движение — лишь внешнее проявление уже имеющегося чувства, а не способ его существования, формирования и развития. В своих размышлениях А. В. Запорожец не ссылаясь на Г. Г. Шпета, развивавшего учение В. фон Гумбольдта о внутренней форме, но в студенческие годы он слушал его лекции и восхищался ими. Кто знает, может быть Л. С. Выготский не до конца затмил Г. Г. Шпета, и влияние последнего все же сказалось, хотя и с большим опозданием.

А. В. Запорожец применил к изучению эмоций центральные для культурно-исторической психологии принципы интериоризации и опосредствования. Специфически человеческие, высшие эмоции опосредованы социальными мерками, эталонами ценности. На протяжении детства, ребенок, общаясь с окружающими, усваивает соответствующие нормы и эталоны. Мы видим, что в анализе эмоций используется та же логика, что и в анализе перцепции, где речь шла об усвоении социально выработанных сенсорных эталонов, становящихся оперативными единицами восприятия (см. также исследования Л. А. Венгера и В. П. Зинченко, выполненные под руководством А. В. Запорожца). Конечно, интериоризация — процесс изначально социальный, имплицитно включающий в себя такие формы активности как совокупное действие, общение, совместно-распределенная деятельность и пр. Однако, как можно понять из упомянутого выше исследования А. В. Запорожца и М. И. Лисиной, она требует от индивида высокой степени собственной активности. Обнаруживаемые ощущения от сосудистых реакций нужно объективировать (экстериоризировать), представить их перед собой, а затем пытаться сделать их ориентирами-регуляторами поведения. Аналогичное происходило и в исследованиях возник-

новения кожной чувствительности к свету, которые проводили А. В. Запорожец, В. И. Аснин, А. Н. Леонтьев. Из других исследований А. В. Запорожца следует, что объективация, «вынесение себя из себя», является неременным условием осмысленной, а не непосредственной интериоризации, когда речь идет о развитии, действительно, высших психических функций. При таком понимании интериоризация эквивалентна овладению собой.

Сравнивая когнитивную и эмоциональную регуляцию поведения, А. В. Запорожец находит в них сходные и различные черты. Первая характеризуется согласованием внутренних, точнее собственных средств и способов деятельности (сенсорных и перцептивных эталонов, оперативных единиц восприятия и памяти, моторных и интеллектуальных схем и программ) со сложившимися образами и представлениями об объективном значении наличной проблемной ситуации и тех ее преобразований, которые должны быть произведены для достижения цели. В отличие от этого эмоциональная регуляция характеризуется согласованием другого рода собственных средств (личностный смысл, нравственные ценности, нормы, идеалы, эталоны эмоционального отношения окружающим, внутренние аффективные побуждения личности и пр.) с общей направленностью и динамикой поведения и деятельности. А. В. Запорожец соотносил эмоциональные процессы не со значением, а со смыслом ситуации и действий в них производимых. Смысловые задачи решаются путем мысленных преобразований той или иной ситуации, позволяющие обнаружить ранее скрытую положительную или отрицательную ценность для индивида как сложившихся обстоятельств, так и действий, которые могут быть в ней произведены. Решение смысловых задач обеспечивает не только и даже не столько предвидение, сколько предчувствие последствий развития ситуации и изменений, вносимых в нее индивидом.

По сути дела здесь речь идет об эмоциональной интуиции, а в пределе — об интуиции совести (выражение А. А. Ухтомского). Выясняя различия между когнитивной и эмоциональной регуляцией, А. В. Запорожец не забывал положения Л. С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта, но понимал его не как данное, а как заданное и пытался понять строение интегративной системы эмоциональных и когнитивных процессов, обеспечивающей единую регуляцию поведения и деятельности. Включаясь в эту систему эмоции становятся «умными», обобщенными, предвосхищающими, а интеллект, функционируя в данном контексте, приобретает характер эмоционально-образного мышления, играющего важную роль в смыслообразовании и целеобразовании. Разумеется, «еди-

ная» система аффекта и интеллекта может выступать и в виде *союза ума и фурий*, а может и не достигаться вовсе, оставляя разлад между умом и сердцем. Словечко «единство» подразумевает известную автономию и даже свободу.

А. В. Запорожец подчеркивал наличие тесных и последовательно меняющихся взаимоотношений между аффектом и интеллектом. Значит, интеллектуализация высших психических функций, о которых писал Л. С. Выготский, не абсолютна, а интеллект не всемогущ. Эмоции способны выполнять оценочную и регулирующую функцию и по отношению к интеллекту: «Обычно люди сетуют, что разумные намерения и решения не реализуются вследствие того, что подавляются аффектом. Однако при этом забывают, что при чрезвычайной подвижности и бесконечности степеней свободы человеческого интеллекта было бы жизненно опасным, если бы любая мысль, пришедшая человеку в голову, автоматически побуждала его к действию. Весьма существенно и жизненно целесообразно следующее: прежде чем приобрести побудительную силу, рассудочное решение должно быть санкционировано аффектом в соответствии с тем, какой личностный смысл имеет выполнение этого требования для субъекта, для удовлетворения его потребностей и интересов»¹³. Конечно, не всемогущи и аффекты, они тоже поддаются интеллектуальной коррекции. Аффект и интеллект, равно как образ и действие, способны к взаимному ограничению степеней свободы каждого из участников этих противоречивых единств. С. Л. Франк называл подобное *непосредственным* тождеством противоположностей, но таким, при котором существенным остается и различие. Философы, следуя за самим Франком, характеризуют его позицию как монодуализм, суть которого состоит во вне- или металогиическом, непосредственном, истинном тождестве противоположностей¹⁴. Может быть под эту характеристику подпадает человеческое действие, в котором наблюдаются даже не *монодуальное*, а (поиграем словами) *монопольное* (от поли-) непосредственное тождество противоположностей познания, чувства и воли, в каждом из которых совпадают, сливаются их культурные и природные составляющие. Каждый из этих атрибутов действия (и души) может стать доминирующим в этом непосредственном тождестве. Культура, конечно, упорядочивает, организует эту стихию и хаос, А. Белый сказал бы, — закликает хаос, но не уничтожает его. С. Л. Франк в контексте раз-

¹³ Там же. С. 297.

¹⁴ Мареева Е. В. Семен Франк как зеркало русской религиозной философии // Вопросы философии. 2005. № 6. С. 22.

мышлений о душе характеризовал разумные волевые действия человека как нечто *механическое*, т. е. орудийное, сфабрикованное, и определял их как инстинкт «приличия». Вместе с этим он писал: «Под тонким слоем затвердевших форм рассудочной “культурной” жизни тлеет незаметный, но неустанно действующий жар великих страстей — темных и светлых, который и в жизни личности и целых народов при благоприятных условиях ежемгновенно может перейти во всепожирающее пламя»¹⁵.

Мне кажется, что, обратившись к проблеме эмоций, А. В. Запорожец вольно, а скорее невольно начал выходить за пределы культурно-исторической психологии, чувствуя, что она не всемогуща. При всей своей сдержанности он чувствовал и испытывал силу натуральных побуждений и страстей. В нем самом было эмоциональное предвосхищение того, что природа человеческая еще будет приносить свои таинственные сюрпризы культурно-исторической психологии. Отсюда его интерес к степеням свободы человеческой моторики и интеллекта, понимание необходимости как овладения ими, так и их раскрепощения и освобождения от орудийных штампов; внимание к внутренней системе дум и переживаний личности; интерес к произвольному и свободному действию; к спонтанности развития, ограничивающей претензии замены его обучением и формированием. Отсюда же протесты против упрощенных и наивно финалистских трактовок детского развития и забота о его амплификации. Наконец, отсюда же его постоянный и неудовлетворимый интерес ко всей аффективной сфере человека.

А. В. Запорожец соглашался с Л. С. Выготским, рассматривавшим эмоции как внутренний психологический механизм связи между мышлением с чувственно-предметной деятельностью индивида, который не только пассивно созерцает окружающую действительность, но относится к ней пристрастно. Это такое «между», которое может приобретать власть и над мышлением, и над деятельностью. С этой точки зрения «эмоциональное переживание» не отблеск состояний индивида, а то, что им, индивидом, не только воспринято и понято, но и действительно прожито и пережито. Это витальный опыт успехов и неудач, побед и поражений, который человек приобрел как личность, вступая в многообразные отношения с предметным миром и окружающими людьми.

Приступая к изучению эмоций, А. В. Запорожец вспоминал Н. Н. Ланге, сравнивавшего Эмоцию с Золушкой, обделенной в пользу ее старших сестер Мышления и Воли. Он пытался испра-

¹⁵ Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. М., 1995. С. 459.

вить эту несправедливость. Пафос его немногочисленных, посвященных эмоциям работ состоял в том, чтобы очертить круг, так сказать, положительных функций, выполняемых эмоциями. Нужно сказать, что это ему удалось в значительной степени благодаря тому, что он изучал детские эмоции. А в детстве Эмоция и в самом деле Принцесса, так как она играет значительно большую роль, чем ее старшие сестры Мысль и Воля. Впечатляет, например, полученный результат: формирующаяся у ребенка способность сочувствовать другим людям, названная им аффективной «децентрацией», предшествует и, видимо, является условием «децентрации» интеллектуальной. Беда, если эмоции угасают в более зрелом возрасте...

На основании своих исследований и, видимо, собственного жизненного опыта А. В. Запорожец заключил, что «*Чувства — ядро личности, орган индивидуальности*». Эти слова, найденные в его рукописном наследии, я поставил эпиграфом к докладу о Л. С. Выготском, написанном А. В. Запорожцем за несколько месяцев до кончины. Замечу, что последний доклад Д. Б. Эльконина также был посвящен Л. С. Выготскому.

Ядром личности самого Александра Владимировича, несомненно, были чувства, хорошо скрытые за внешней спокойной невозмутимостью. Такое заключение вовсе не принижает его ума и воли. Его чувства, действительно, были высшими, умными и действенными. Он понимал абсолютную ценность человеческих чувств и старался вывести их за пределы прагматики поведения и деятельности. Он и сам был подлинный «*муж чувств*», благотворное влияние которых многие испытали на себе.

До сих пор я открываю *горизонт ближайшего развития* своих исследований и размышлений в трудах А. В. Запорожца, А. А. Ухтомского, Г. Г. Шпета, Н. А. Бернштейна, С. Л. Рубинштейна и моих учителей — представителей школы Л. С. Выготского и не только... Хотелось бы пожелать того же следующим за моим поколениям психологов.

О начале научной работы Майи Ивановны Лисиной

Майя Ивановна Лисина (1929—1983) известна как замечательный детский психолог. Почти три десятилетия она изучала генезис и формы общения у детей и, видимо, сама забыла о начале собственной научной деятельности, весьма далекой от изучения младенчества и детства. А начало было не менее замечательным, чем продолжение.

После окончания МГУ им. М. В. Ломоносова в 1952 году М. И. Лисина стала аспиранткой А. В. Запорожца. Хотя ее научный руководитель заведовал лабораторией детской психологии, он предложил аспирантке тему, соответствующую его давним общепсихологическим интересам. По свидетельству А. Н. Леонтьева, он вместе с А. В. Запорожцем в 1936 году разработал гипотезу о генезисе и природе чувствительности. В 1940 году А. В. Запорожец и В. А. Аснин опубликовали первые результаты исследований, доказывающих ее правдоподобность¹. Хотя неоднократно высказывались сомнения в возможности выработки чувствительности кожи ладони к лучам видимого спектра, меня убеждает в доброкачественности исследований не только личное знакомство с экспериментатором, но и авторитетное мнение выдающегося физиолога Л. А. Орбели, который был официальным оппонентом по докторской диссертации А. Н. Леонтьева, где были подробно изложены эти исследования.

Однако А. В. Запорожцу этих, самих по себе интереснейших результатов, освещающих проблему возникновения ощущений, было недостаточно. Его волновал генезис произвольности вообще и произвольных движений в частности. Такую проблему легко поставить, но как подступиться к ее решению? Не так просто найти у взрослого человека элементарное «двигательное действие» (в терминологии Н. А. Бернштейна), которое человек не смог бы со-

¹ Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1959. С. 42, 108, 135.

вершить. И А. В. Запорожец решил превратить совершенно произвольные сосудистые реакции в произвольно управляемые, когда испытуемый сможет по инструкции экспериментатора сжимать или расширять сосуды. Ему удалось заинтересовать этой проблемой пришедшую к нему аспирантку — М. И. Лисину. Думаю, что А. В. Запорожцу сильно повезло. Далек не каждый принял бы такую тему, а главное — сумел бы выявить условия превращения вазомоторных реакций из произвольных в произвольные. (Наверное, проще было бы изучать йогов, но в 1950-е годы в СССР даже слово «йог» было прочно забыто.) Поиск М. И. Лисиной, частично проходивший на моих глазах, был драматическим. В конце концов она нашла адекватную психологическую обратную связь: испытуемым на движущейся ленте фотоплетизмографа предьявлялись их собственные сосудистые реакции. Они видели как фоновую пульсацию, так и пульсацию, которая меняется под воздействием болевого раздражения, вызываемого электрическим током. (Когда увещевания и просьбы не помогают, психологи нередко используют нехитрое, но верное чеховское правило: если зайца бить, его можно спички научить зажигать.) Задача испытуемых состояла в том, чтобы самим вызывать требуемую реакцию и тем самым избегать ударов тока. Не буду описывать многочисленные вариации условий эксперимента, которые привели к положительному результату. Скажу лишь, что для современных диссертаций объем выполненной работы был совершенно неправдоподобным: сорок три испытуемых, огромное количество экспериментов, в каждом из которых сотни проб. Редко в какой докторской диссертации можно сегодня обнаружить подобный объем работы. Но результат стоил усилий, труда и терпения.

В исследовании М. И. Лисиной было обнаружено новое фундаментальное свойство живого движения. Согласно Н. А. Бернштейну, живое движение реактивно, оно эволюционирует и инволюционирует. Оказалось, что оно к тому же еще и чувствительно. Общее правило, сформулированное М. И. Лисиной, состоит в том, что прежде чем движение станет управляемым, оно должно стать ощущаемым. Приведу очевидные примеры. От пациентов после перенесенного ими инсульта можно услышать: у меня рука «ослепла», за все цепляет. Мы на себе испытывали трудности управления «отсиженной ногой». Иракий Андроников, рассказывая о своем дебюте на эстраде, говорил, что он весь чувствовал себя как большая «отсиженная нога». И все же одно дело такие наблюдения, другое дело — строгое доказательство не только наличия подобной чувствительности, но и выявления условий доведения его до осо-

знания. В обычной ситуации подобная чувствительность движения совершенно избыточна с точки зрения регуляции внешнего поведения. В ее избыточности состоит еще одно сходство с моторикой. Мы в отдельных поведенческих актах используем далеко не все степени свободы, которыми обладают кинематические цепи нашего тела. Хочу еще раз подчеркнуть, что в работе М. И. Лисиной впервые экспериментально доказано наличие чувствительности и ощущаемости биодинамической ткани двигательного акта.

Если учесть, что ее исследование выполнялось в 1952–1955 годах, то можно с уверенностью сказать, что оно на десятилетие предвосхитило целое направление последующих исследований по использованию психологических и биологических форм обратной связи для эффективного управления поведением и действиями человека. Итоговый вывод этого замечательного исследования состоит в том, что чувствительность, ощущаемость движений — не только обязательный спутник их произвольности, но и необходимая ее предпосылка. В целом, это исследование можно считать аргументом (или расшифровкой) в пользу общего, но категорического высказывания Л. С. Выготского: осознание и овладение идут рука об руку.

Работа М. И. Лисиной не была забыта. На нее постоянно ссылается Б. Д. Эльконин как на образец исследования опосредствованного действия. Н. Д. Гордеева, опираясь на данные М. И. Лисиной о чувствительности движения, обнаружила неоднородность этой чувствительности: есть чувствительность к исполнению и чувствительность к ситуации. Обе формы чувствительности несколько раз в секунду чередуются по фазе, поочередно угнетая одна другую. Их сопоставление обеспечивает эффекты фоновой рефлексии.

Аппетит приходит во время еды: А. В. Запорожец, вдохновленный полученными результатами, еще до защиты М. И. Лисиной диссертации стал планировать следующий этап ее работы. Он предложил ей проделать то же самое со зрачковыми реакциями, но столкнулся с решительным отказом. (Тогда он предложил это сделать мне — в то время тоже его аспиранту. Мне это не удалось, возможно, не хватило лисинской настойчивости, и я со зрачковых реакций переключился на изучение движений глаз.) Нет худа без добра. Если бы М. И. Лисина согласилась, то мы не имели бы превосходного детского психолога. Думаю, что причина отказа была не только в интересе М. И. Лисиной к младенчеству, но и в истеричности для нее проблемы, а возможно, и в эффекте «выгорания». Не буду гадать.

К сожалению, в то время не было требований к публикации работ, предвещающих защиту диссертаций. М. И. Лисина защитила

диссертацию в 1955 году, и лишь два года спустя опубликовала небольшую статью «О некоторых условиях превращения реакций из произвольных в произвольные»². Больше она к этой работе не возвращалась. Подробно изложил и проинтерпретировал исследование М. И. Лисиной ее научный руководитель А. В. Запорожец в книге «Развитие произвольных движений»³.

Несколько слов о Маечке, как называл ее А. В. Запорожец (и я тоже). Она всегда была ровна, приветлива, доброжелательна к окружающим ее людям, проницательна, но сдержана, порой мягко иронична, хотя чувства юмора ей было не занимать. Для заработка, сидя в Ленинской библиотеке, на нескольких языках реферировала психологическую литературу. Ее рефераты систематически публиковались в журналах ВИНТИ. При этом она признавалась, что значительно большее удовольствие получает не от чтения психологических текстов, а от английских детективов, которые читает в библиотеке.

В 1965 году я поделился с ней радостью по поводу рождения сына и с недоумением рассказал ей о богатстве его спонтанной мимики. Она посмеялась над моей «отцовской тупостью» и сказала, что она с сотрудниками зафиксировала у младенцев до 60 видов экспрессии. Мы поговорили об избыточности моторики, чувствительности и вместе посмеялись по поводу того, что некоторые взрослые настолько успешно преодолевают избыточные виды экспрессии, что оставляют себе единственное сфинксоподобное выражение лица. О примерах, которые нам пришли в голову, я умолчу.

Конечно, жаль, что так рано ушла Майя Ивановна, но хорошо, что она была! Вместе с ней вспоминаются и другие богато одаренные женщины, которые были в нашей психологии: Л. И. Божович, Т. В. Розанова, О. С. Виноградова, И. В. Равич-Щербо, Е. Ю. Артемьева...

² Лисина М. И. О некоторых условиях превращения реакций из произвольных в произвольные // Доклады АПН РСФСР. 1957. № 1.

³ Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960.

Петр Яковлевич Гальперин: от действия с заданными свойствами к свободной мысли

Петр Яковлевич Гальперин — выдающийся психолог, пришедший в психологию из медицины в начале 1930-х годов. Общеизвестно, что он принадлежал к Харьковской, затем к Московской школе психологов, созданной А. Н. Леонтьевым и получившей наименование деятельностного подхода в психологии, или психологической теории деятельности. Он не был, как его ближайшие друзья и коллеги Л. И. Божович, А. В. Запорожец и др., непосредственным учеником Л. С. Выготского или, как А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, коллегой и соратником Л. С. Выготского по созданию культурно-исторической психологии. Он, как и мой отец, П. И. Зинченко, встретился с А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурией, А. В. Запорожцем уже в харьковский период их научной деятельности. С этой встречей была связана и проблематика его кандидатской диссертации, посвященной орудийности психики в преддошкольном и дошкольном возрасте. Под орудием он имел в виду не «орудие-знак», а реальное, вещественное орудие.

С участниками этой школы была связана его дальнейшая судьба и научная биография, которая, к сожалению, еще не написана. Я не могу претендовать на ее описание, так как не являюсь его непосредственным учеником, хотя и считаю его своим учителем. Моя задача значительно скромнее. Мне хотелось бы в этих заметках вспомнить о его уникальной роли в школе А. Н. Леонтьева, которую я не вполне законно рассматриваю как единое целое. Незаконно, потому что П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин в рамках психологической теории деятельности (или за ее пределами?) являются создателями своих собственных направлений в психологии и собственных научных школ. И эти последние, например, в сознании наших западных коллег далеко не всегда идентифицируются с психологической теорией деятельности, рассматриваются как вполне самостоятельные или имеющие корни в культурно-исторической психологии. Наиболее очевидными примерами такой оценки являются школы П. Я. Гальперина и А. Р. Лурии. Но независимо от этого вся их жизнь

и судьба были общими на протяжении многих десятилетий. Они всегда, включая военные годы (кроме фронтовиков П. И. Зинченко и Д. Б. Эльконина), были вместе. Их судьба была счастливой. Никто из них не был репрессирован. Им всем в той или иной мере удалось реализовать свои замыслы, во всяком случае, по нынешним, да и по любым меркам они многое сделали в психологии.

При значительных различиях созданных ими научных направлений они вполне ситуативно, но добровольно приняли некий персональный культурный психологический код, а именно: школа Л. С. Выготского — А. Н. Леонтьева — А. Р. Лурии, хотя они все, разумеется, понимали, что под этим кодом скрыты как минимум две научных парадигмы: культурно-историческая психология и психология деятельности. И каждый из них последовательно или параллельно работал в обеих. У меня есть подозрение, что именно разнообразие их талантов и интересов плюс недюжинные дипломатические и организационные способности А. Н. Леонтьева цементировали этот сложно организованный научный организм, придавали ему устойчивость, начиная с Харькова и кончая первым десятилетием (до 1979 года — года кончины А. Н. Леонтьева) существования факультета психологии Московского университета. Не только цементировали, но и привлекали к нему новых сотрудников.

Школа потому и школа, что в ней не было рядовых учеников. Роли в этом коллективе были различными. Признанным лидером был А. Н. Леонтьев, совестью — А. В. Запорожец, гением — А. Р. Лурия, мужественным научным темпераментом, щедро разбрасывающим свои идеи, — Д. Б. Эльконин. Учителем же всегда был П. Я. Гальперин. Конечно, они все были прежде всего личностями, учеными, я отмечаю лишь доминирующие личностные черты.

Петр Яковлевич был не самой сильной личностью среди них, но был признанным учителем. Л. И. Божович, А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, Д. Б. Эльконин и др., когда им удавалось задумать или сделать нечто, на их взгляд, существенное и интересное, говорили, что нужно пойти посоветоваться с учителем; часто они с любовью говорили: «Пойти к “ребю”». К нему ходили и следующие поколения (называвшие его ласковым именем Гальпетя), в том числе и мое. Ходил и я. Едва ли нужно говорить, что Петр Яковлевич далеко не всегда одобрял выслушанное. Слушал он замечательно. Когда я после его порой жестокой, но доброжелательно и иронично выраженной критики обескураженный приходил к своему непосредственному учителю А. В. Запорожцу, он с улыбкой меня утешал, говоря, что ему тоже нечасто приходится слышать комплименты от Петра Яковлевича. Нужно думать! Зря Петр Яковлевич не скажет.

А. Р. Лурия был слишком продуктивен и динамичен, чтобы советоваться с кем-либо. Да и Петра Яковлевича раздражала его продуктивность. Он говорил, что Александр Романович пишет быстрее, чем я читаю. Это не было большим преувеличением. Помню, что когда А. Н. Леонтьев в конце 1960-х годов организовал (дома у А. Р. Лурии) серию семинаров с докладами о психологической теории деятельности, то семинары кончились после доклада Петра Яковлевича. Докладчик указал на болевые точки теории, показывая это на примере экспериментальных исследований самого А. Н. Леонтьева. Самолюбие лидера было уязвлено. Потом Петр Яковлевич говорил мне, что он зря это сделал, так как А. Н. Леонтьев довольно долго таил обиду.

Коллеги и друзья Петра Яковлевича полусерьезно говорили, что у него «слабая нервная клетка». Но это не мешало ему быть беспощадным к научной легковесности и безвкусице. Приходилось наблюдать, как он на научном заседании прятал голову, когда с неудачным докладом выступал кто-то из его учеников или сотрудников. Конечно, критика, ирония, иногда юмор адресовались Петром Яковлевичем и ученым, представлявшим другие направления. Помню его очень жесткое публичное высказывание в адрес А. А. Смирнова. Хотя оно не было вовсе безосновательным, но его форма возмутила присутствовавших. К чести А. А. Смирнова, это не повлияло на его в высшей степени уважительное отношение к П. Я. Гальперину.

Петр Яковлевич, возможно, благодаря «слабой нервной клетке», возможно, в силу свойств своего характера всегда сторонился начальства, избегал руководящих постов. Когда же его самого, как врача по образованию, назначили главным врачом госпиталя (под Свердловском), где работали психологи над восстановлением движений рук после ранения, он скрывался в лесу во время наездов различных проверяющих комиссий. За него отдувались сотрудники, впрочем, не очень на него обижаясь. Они ведь были психологами и достаточно хорошо его знали и любили.

После войны П. Я. Гальперин всю дальнейшую жизнь работал в МГУ. Он последним из всей блестящей плеяды школы Л. С. Выготского стал доктором наук и профессором. Его долго уговаривали, стыдили, корили друзья и ученики. Но они не могли избавить Петра Яковлевича от унижительной для его возраста процедуры защиты. Правда, после защиты (не на ней) он был доволен. П. Я. Гальперин никогда не пытался претендовать на членство в Академии педагогических наук, здесь уговоры не помогали. Но все же ему еще раз пришлось занять руководящую должность. По настоянию декана А. Н. Леонтьева он возглавил кафедру детской психологии. А. В. Запорожец, детский психолог милостью Божьей, очень сме-

ялся по этому поводу, говоря, что только у нас возможно, чтобы человек, убежденный в том, что детской психологии не существует, стал заведующим кафедрой детской психологии.

Несколько слов о Петре Яковлевиче как о педагоге. Мое поколение студентов (1948–1953) было счастливым. Тогда по имени читающего курс общей психологии назывались чередующиеся поколения А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна (потом А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурия). Мы были леонтьевским, а по существу, леонтьевско-гальперинским поколением. А. Н. Леонтьев два года читал курс общей психологии. И два года П. Я. Гальперин вел за ним семинары. Это было про то же, но совершенно иначе. Не помню, был ли Петр Яковлевич на всех лекциях А. Н. Леонтьева, на некоторых бывал. Иногда мы думали, что профессору Леонтьеву не мешало бы посетить некоторые семинары доцента Гальперина. Как теперь принято говорить, плюрализм и диалог нам были обеспечены. Мы видели, что они по-разному относятся к некоторым проблемам. Какие-то Петр Яковлевич углублял, какие-то решал, против некоторых предупреждал, говоря, что семи пядей во лбу не хватит для их решения. От него мы слышали вполне объективные оценки так называемой буржуазной психологии. Он вполне доброжелательно рассказывал о психоанализе, о З. Фрейде и К. Юнге, как психоневролог по образованию, анализировал свои сновидения, архетипы национального сознания, в том числе и своего отца — правоверного еврея (не надо забывать, что это был конец 1940-х годов), часто обращался к психопатологии обыденной жизни. Вспоминается его замечательное определение действия алкоголя на человека, которое состоит в послышном снятии нравственных норм. Уверен, что многие из нас кое-что заимствовали из стиля его преподавания и общения.

Потом П. Я. Гальперин читал нам годовой курс истории психологии. Готовясь к нему, он прослушал такой же курс у Б. М. Теплова и не скрывал от нас, что многому у него научился. Нам он преподносил историю психологии как драму идей и драму людей. Нельзя забыть и спецкурс «Марксизм и вопросы языкознания», который его вынудили читать, а нас — слушать после известного сталинского «труда» на эту тему. В этом курсе он ходил по лезвию бритвы. Он, разумеется, не позволял себе выпадов против «корифея», но и воздерживался от демагогии, от идеологических шаблонов, перевел спецкурс в спокойное русло проблемы мышления и языка.

К сожалению, П. Я. Гальперин никогда не читал курс общей психологии психологам. Зато он не одно десятилетие читал этот курс философам, многие поколения которых вспоминают о нем с благодарностью и любовью.

* * *

Вклад в психологию Петра Яковлевича Гальперина разнообразен и многопланов. Для психологов многих поколений — это прежде всего личностный вклад в качестве учителя, собеседника, советчика. Он делился с нами своим живым знанием. Его дисциплинированный, строгий ум был окутан душевной, часто ироничной аурой. Она распространялась не только на содержание знаний, излагавшихся им, но и на слушателей, собеседников, на самого себя. Иногда внешняя форма бывала обманчивой, внутри нее оказывались достаточно жесткие оценки. С ним нужно было быть внимательным и осторожным, вслушиваться не только в текст, но и в подтекст. Внешне это могло звучать вполне безобидно и даже мило, например: «Когда-то в простоте душевной К. Н. Корнилов говорил, что психическая деятельность есть отражение мозговой деятельности». Что же она есть на самом деле? Вот главный вопрос (но, не ответ!) данной статьи.

П. Я. Гальперин был не только Учителем, но и Ученым. Эти две ипостаси отличались одна от другой. Различия можно выразить его же словами. Изучая роль установки в мышлении¹ (1940), он предложил различать две формы, в которых существует опыт: как знания о чем-то и как позиция, с которой мы рассматриваем окружающее. Обе формы опыта у П. Я. Гальперина не только не совпадали, что часто бывает, но порой его обширные знания учителя, лектора противоречили его позиции исследователя, экспериментатора, о чем будет сказано ниже.

О тесной связи и участии П. Я. Гальперина в развитии идей Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, о сотрудничестве и дружбе с Л. И. Божович, А. В. Запорожцем, П. И. Зинченко, Д. Б. Элькониным, которые, как и П. Я. Гальперин, создали свои научные школы, приходится напоминать снова и снова. Причина состоит в том, что в предисловиях к посмертным изданиям его трудов и лекций, написанных А. И. Подольским, П. Я. Гальперин предстает как гений-одиночка. Видимо, случайно в одном из них мелькнуло имя Л. С. Выготского, а в другом — А. Н. Леонтьева. Это противоречит духу и букве публикуемых за предисловиями сочинений самого П. Я. Гальперина. Автор интересной книги: «Петр Гальперин: Психолог, идущий по стопам Выготского»², Ж. Ханен пишет, что Гальперин не совсем командный игрок, что, конечно, справедливо. Но научная школа — не футбольная команда. Каждый участник шко-

¹ Гальперин П. Я. Об установке в мышлении // Труды республиканской конференции по педагогике и психологии. Киев, 1940 (на укр. яз).

² Haenen J. Piotr Galperin: Psychologist in Vygotsky's Footsteps. Commack, N.Y.: Nova Science Publ., 1995.

лы делает то, что школе действительно нужно, а не то, чего хотят ее лидер или коллеги.

Вместе с тем, вне контекста культурно-исторической психологии, психологической теории деятельности (в вариантах А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна), вне контекста исследований других участников этих научных школ, наконец, вне контекста мировой психологической науки вклад П. Я. Гальперина в психологию невозможно адекватно понять и оценить. Справедливо и то, что без его исследований, как, впрочем, и других участников этого научного сообщества, психологическая теория деятельности была бы другой. Да и сам П. Я. Гальперин признавал, что он принадлежал и принадлежит к числу тех, кто принимал активное участие в разработке взглядов этого направления. Признавал и то, что критика этих взглядов есть критика и его собственных взглядов того периода³.

Разумеется, влияние работавших вместе ученых было взаимным и прослеживание такого взаимовлияния, кстати, не всегда документированного соответствующими ссылками, представляет собой интересную задачу для историков психологии. Например, можно с уверенностью сказать, что первая работа П. Я. Гальперина: «Психологическое различие орудий человека и вспомогательных средств животных и его значение»⁴ (1935/1998) оказала сильное влияние на работы А. Н. Леонтьева, посвященные проблематике возникновения и развития психики и сознания, на работы А. В. Запорожца, посвященные развитию мышления у детей.

Упомянутую работу, составившую кандидатскую диссертацию П. Я. Гальперина, смело можно назвать пролегоменами к психологической теории деятельности и пробой сил в ее экспериментальном обосновании. Именно в ней убедительно показано рождение мышления из практического действия и его задач, показана логика, позднее афористически названная А. Валлоном: «От действия к мысли». Гальперин пишет: «На ранних ступенях овладения готовым орудием мышление отстает от практической деятельности по формальному составу своих операций. Как теоретическая деятельность, мышление сегодня воспроизводит в идее вчерашний день практической деятельности»⁵. Этот, лишь на первый взгляд, пессимистический вывод компенсируется общим заключением к работе в целом: «Пределы разума как общей “способности” непрерывно расширяются, в перспективе бу-

³ Гальперин П. Я. Введение в психологию. М., 1999. С. 257.

⁴ Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998.

⁵ Гальперин П. Я. Психологическое различие орудий человека и вспомогательных средств у животных и его значение // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 73.

душего они отодвигаются в неопределенную даль»⁶. Если воспользоваться оборотом Гальперина, можно добавить: практическая деятельность сегодня воспроизводит в идее вчерашний день мышления.

П. Я. Гальперин не только начал рассмотрение мышления как особой формы деятельности индивида, но и призвал к такому же анализу восприятия: «...само восприятие вопиет о том, чтобы быть понято как своеобразная деятельность»⁷. Этому призыву последовал А. В. Запорожец, который ввел понятие «сенсорное действие» и автор этих строк, который ввел понятие «перцептивное действие».

Исследования орудийной деятельности ребенка, изложенные в этой работе, сыграли большую роль в практической деятельности, которую во время Великой Отечественной войны вели психологи по восстановлению движений после ранения. В ней майор медицинской службы П. Я. Гальперин принимал непосредственное участие. Ему (вместе с Т. О. Гиневской) принадлежит замечательный результат: установление различий между анатомическими возможностями органа (разумеется, не только поврежденного) и его практическим функционированием. Было показано, что не только эффективность, но и сам процесс реализации существенно зависят от *психологического строя задания*. Например, подними руку на максимальную высоту или достань предмет. В маленькой статье, где изложены полученные результаты, появились понятия предметного и предметноцелевого действия, изложено выполненное тогда же пробное игротерапевтическое исследование⁸.

Поставлю и оставлю без обсуждения вопрос, почему первая без преувеличения краеугольная для теории деятельности работа, ожидала публикации более шестидесяти лет? Она была известна очень узкому кругу. Ссылки на нее встречались лишь у А. В. Запорожца. Самое поразительное, что мне не удалось найти ссылок на эту раннюю работу у самого П. Я. Гальперина, хотя упоминание исследований навыка (действия) и мышления в контексте его поздних работ были бы более чем уместны. Одно из объяснений такого умолчания может состоять в том, что его ранние работы были выполнены не «по правилам», т. е. вне строгих требований генетико-формирующего метода, когда исследование предметного действия выполнялось с установкой, «что получится», а не с конца, не с перечисления его требуемых свойств. Между тем в этих исследованиях были получены замечательные результаты: овладение

⁶ Там же. С. 93.

⁷ Там же. С. 91.

⁸ Гальперин П. Я., Гиневская Т. О. Зависимость объема движений от психологического характера задачи // Ученые записки МГУ. 1947. Вып. 111.

орудием, которое П. Я. Гальперин наблюдал у детей, есть освоение логики орудия и построение ребенком нового органа, который А. А. Ухтомский и Н. А. Бернштейн называли функциональным. Потом подобные органы, включая самые экзотические, строили А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, М. И. Лисина. То же можно сказать о реабилитации движений поврежденного органа. В процессе реабилитации происходило либо восстановление прежнего функционального органа, либо построение нового.

Упомяну еще одну раннюю работу П. Я. Гальперина⁹, посвященную анализу смысловой схемы поведения, лежащей в основе высшей нервной деятельности. Под смыслом он понимал субъективное значение вещей и производимых по отношению к ним действий, отличное от их объективного, предметного значения. Это был первый шаг на пути к пониманию смысла как отношения мотива к цели (А. Н. Леонтьев).

Я далек от мысли устанавливать приоритет во введении тех или иных понятий или объяснительных схем, из которых складывалась психологическая теория деятельности. Приводя ранние работы П. Я. Гальперина, я хотел показать, что основной концептуальный каркас теории присутствовал в них с самого начала. Ему не было свойственно распространенное среди ученых стремление начинать науку с себя. Он многим поколениям психологов Московского университета читал курс «История психологии» и учил нас исторической культуре, т. е. преемственности и форме.

Культурно-историческая психология, психологическая теория деятельности, равно как и теория поэтапного формирования умственных действий и понятий П. Я. Гальперина не являются завершенными. Внутри каждой из них и между ними имеются живые противоречия и точки роста, что сохраняет их актуальность и поддерживает интерес к ним. М. Коул даже назвал культурно-историческую психологию наукой будущего. А. Н. Леонтьев неоднократно подчеркивал незавершенность своей теории. В конце жизни его меньше заботила форма, которую в будущем обретет теория, а больше то, чтобы она вообще существовала. Это, между прочим, вполне трезвый взгляд на собственные достижения. И пока психологическая теория деятельности жива, хотя критики в ее адрес было достаточно. Думаю, что и П. Я. Гальперин видел будущее своей теории в развитии и не считал ее Системой Психологии. Подобные амбиции были ему не

⁹ Гальперин П. Я. Смысловая схема поведения, лежащая в основе высшей нервной деятельности // Психология: Сборник, посвященный 35-летию научной деятельности Д. Н. Узнадзе. Тбилиси, 1945.

свойственны. Он знал судьбу многих Систем Психологии, был мудр и обладал чувством юмора. Он тонко чувствовал драму науки и ученых, в том числе и на своем собственном опыте, и понимал, что все наши теории (не говоря о системах) нужны лишь до тех пор, пока их не сменят другие, лучшие теории. П. Я. Гальперин обладал острым критическим умом, который обращался как в чужой, так и в свой собственный адрес. Поэтапное формирование разных действий он характеризовал как довольно сложную систему, но при этом оговаривал, что «когда нам удастся наметить ее хотя бы в общих чертах, мы начинаем понимать, какие многочисленные и разнообразные отклонения возможны от этого оптимального пути»¹⁰.

П. Я. Гальперина как исследователя характеризовало счастливое качество — способность к самоограничению, — являющееся залогом успеха научной деятельности большого ученого, например, И. П. Павлова. И такое самоограничение было вполне сознательным. Подобное самоограничение он распространял как на себя, так и на психологию в целом. Приведу слова П. Я. Гальперина: «Итак, в качестве общего заключения нужно сказать, что психология изучает вовсе не всю психику, не все ее “стороны”, но вместе с тем и не только психику; психология изучает и поведение, но и в нем — не все его “стороны”. Психология изучает деятельность субъекта по решению задач ориентировки в ситуациях на основе их психического отражения. Не “явления сознания” служат ее предметом, но процесс активной ориентировки, в частности, с использованием того, что называется “явлениями сознания”. <...> Процесс ориентировки субъекта в ситуации, которая открывается в психическом отражении, формирование, структура и динамика этой ориентировочной деятельности, определяющие ее качество и возможности, — вот что составляет предмет психологии»¹¹. Ключевые слова «отражение» и «ориентировка». Позиция выражена предельно ясно и ей предшествуют пояснения, как в душевных проявлениях воли, чувства, мышления выделять их ориентирующие функции, стороны, аспекты. Там же со всей категоричностью заявлено: «Предмет психологии должен быть решительно ограничен. Психология не может и не должна изучать всю психическую деятельность и все стороны каждой из ее форм»¹². Деятельность — да, но только ориентировочная. Через ориентировку вводится даже субъект деятельности. На службу ориентировке поставлены и образ, и знаки, и слово, и,

¹⁰ Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 287.

¹¹ Гальперин П. Я. Введение в психологию. М., 1999. С. 150.

¹² Там же. С. 142.

в конце концов, даже действие. Автор, несомненно, имеет право на такое понимание и прежде всего на самоограничение. Тем более, что он продолжает: «Другие науки не меньше психологии имеют право на их изучение». Значит, и психология или другие психологи имеют такое же право. И, слава Богу, многие психологи им пользуются, не ограничивая понимание психики лишь ориентировочными функциями и не отрицая их, что было бы нелепо. Но не менее странно отрицать другие функции психики и сознания, например то, что последние являются источником произвольного, свободного, а не только ситуативного действия, в пределе — источником свободы воли. Конечно, свобода воли — предмет философии, но и психология вносит в решение этой вечной проблемы посильный вклад. П. Я. Гальперин совершенно справедливо заключает, что эмоции выполняют ориентирующие функции, но не лишне прислушаться к А. В. Запорожцу, который рассматривал эмоции как средство решения жизненных задач, а не только ориентировки в ситуации. И как ядро личности!

Чтобы быть правильно понятым сразу скажу, что ориентировка или ориентировочная деятельность, действительно, представляет собой важнейший предмет психологии. Но один из предметов... Выдвижению ориентировки в качестве главного или единственного предмета сопутствовали (или способствовали) внутренние и внешние обстоятельства. Начнем с первых. В упомянутой выше работе П. Я. Гальперина 1935 года, посвященной генезису орудийной деятельности, рассматривается природа избирательности человеческого познания: «Очевидно, перед сознанием субъекта выделяются лишь те особенности окружающего мира, которые являются прямым объектом его воздействия. Так, например, сложный химический состав мяса, плодов, злаков и корней является основой их пригодности в качестве пищи; но перед сознанием дикаря-охотника выступает не этот химический состав, а только свойства животных и растений, на которые он ориентируется в охоте или собирании. От характера практической деятельности зависит, следовательно, то, какого рода и в каком разрезе выступают перед сознанием наличные связи окружающей среды»¹³. И далее автор добавляет: не только наличные связи, но и те, которые лишь возможны и еще не существуют. И те и другие зависят от того, какова деятельность субъекта, устанавливающая их.

В приведенном отрывке, как и во всей работе в целом, отчетливо виден весомый вклад в то, что потом будет называться деятельност-

ным подходом или психологической теорией деятельности. Виден и ход мысли, использованный затем А. Н. Леонтьевым при формулировании гипотезы о происхождении психики: переход от ориентации с биологически значимых на биологически нейтральные (сигнальные) признаки объектов. Наконец, видно и то, что проблема ориентировки и ориентировочной функции психики сопровождала его на протяжении всей научной жизни. Обращению на нее более пристального внимания способствовало и немаловажное, чтобы не сказать трагическое, для психологии внешнее обстоятельство, ставшее потом для П. Я. Гальперина (и не только для него) внутренним.

Сегодня уже забыта мотивация обращения или, точнее возвращаясь к П. Я. Гальперину, А. В. Запорожцу, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьеву, Е. Н. Соколову и др. к ориентировке. Это случилось после Павловской сессии АН СССР и АМН СССР (1950), когда психологам было приказано следовать павловскому учению о высшей нервной деятельности. Психологи, сориентировавшись, нашли в концептуальном аппарате И. П. Павлова понятия «ориентировочный рефлекс», «ориентировочно-исследовательская деятельность», «рефлекс, что такое?», которые им были хорошо известны и до сессии под этими и другими именами: любопытство, исследовательское поведение, пробы и ошибки, та же ориентировка и т. п. Отдельное спасибо следует сказать великому ученому И. П. Павлову и за понятие «деятельность»: деятельность все же не «отправление» и даже не «поведение», поэтому понятие «ориентировочно-исследовательская деятельность» не так коржило психологический контекст, как понятие «нервная деятельность» и последующие вариации: психонервная, нервно-психическая деятельность и т. п.

Конечно, перелицовка психологической проблематики и терминологии на физиологический лад не украшала психологию и психологов, но нарушать правила игры в «идеологическом общезнании» было не принято. Можно было лишиться не только работы, но и свободы. За примерами далеко ходить было не нужно. Иногда подобная перелицовка была только внешней. Например, П. И. Зинченко заменял термины «мнемическая и познавательная установка» на термины «мнемическая и познавательная ориентировка». Подобные терминологические ухищрения встречались довольно часто: навыв — динамический стереотип, внимание — ориентировка и т. п.

Вместе с тем, в соответствии с известным уже в то время правилом, сформулированным в психологической теории деятельности: «сдвиг мотива на цель», целый ряд исследователей и в их числе П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Е. Н. Соколов, их ученики и сотрудники изучали ориентировочно-исследовательские движения руки

¹³ Гальперин П. Я. Психологическое различие орудий человека и вспомогательных средств у животных и его значение // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 88–89.

и глаза, их роль в формировании навыков, произвольных движений и действий, образов, в решении задач опознания, в решении мыслительных задач и т. д. и т. п. Это типичная тематика многих исследований того времени. Решались и, так сказать, противоположные задачи: ориентировочные движения, в свою очередь, выводились из неудачных исполнительных и опознавательных действий. Все эти исследования давали приращение научного знания. Но еще в 1960 году можно было встретить такого «концептуально-ориентировочного монстра»: «Психолог (а не вся психология — В. З.), опираясь на физиологические данные, изучает ориентировку как деятельность, направленную на обследование окружающего и на его отображение в голове субъекта, процесс превращения этой деятельности из внешней во внутреннюю, собственно психическую деятельность и ее роль в регуляции поведения человека. В качестве своеобразных форм ориентировочной деятельности *должны* (курсив мой — В. З.) рассматриваться не только познавательные, а также волевые процессы»¹⁴. Страшно подумать, сколько времени потратил умнейший и интеллигентнейший человек на изготовление этого странного коктейля из физиологической, философской и психологической терминологии.

Затем постепенно менялась терминология: возвращались к давнему термину сенсорное действие, стали использовать термины перцептивное, опознавательное, мнемическое, умственное действие и т. п. Иногда даже возвращались к термину «психическое действие», употреблявшемуся П. И. Зинченко в 1939 году. Наряду с понятиями «ориентирующий образ», появились понятия «оперативный образ», «образ-манипулятор», «образ-регулятор», «когнитивный образ», что свидетельствовало не столько о неудачности понятия «ориентировка», сколько о его бедности, выступавшей на фоне дифференциации исследований и, соответственно, функций ориентировки. В работах П. Я. Гальперина легко можно найти ссылки на эти исследования.

Что же заставляло П. Я. Гальперина и далее настойчиво сохранять понятие «ориентировка» и выдавать ее за предмет психологии? Более того, что заставляло его выделять собственно психологическое содержание из такого «многостороннего» объекта, как *психическая* деятельность?¹⁵ Ведь введение последнего термина уже само по себе ограничивало понимание предмета психологии.

Чтобы ответить на эти вопросы вернемся к введенному П. Я. Гальпериним различению двух форм опыта — знание и позиция. Суровое

ограничение предмета психологии он делал с позиции исследователя, стремившегося развивать психологию как подлинно объективную науку. На первых порах таким объективным, рождающим, например, мышление, для него была практическая деятельность. Был период, когда П. Я. Гальперин идентифицировал психическую и ориентировочную деятельность: «Сама психическая деятельность (не то, чем она является в самонаблюдении, а то, что она есть на самом деле) по самой общей и основной жизненной функции есть не что иное, как ориентировочная деятельность. У активных живых существ эта деятельность становится ведущей, потому что самое важное и трудное в поведении — это правильно ориентироваться в обстоятельствах, требующих действия, и далее правильно ориентировать свои действия»¹⁶. Но подобная идентификация казалась ему недостаточной, и он ставил задачу *выделения* из психической деятельности собственно психологического содержания, что разумно. А затем вновь отождествлял их.

У него возникли серьезные претензии к сложившемуся концептуальному аппарату психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева. Высоко оценивая первоначальную формулу А. Н. Леонтьева: психика живет в деятельности, она есть какой-то аппарат деятельности, П. Я. Гальперин все же сетовал, что мы не сумели тогда понять это до конца и поэтому все исследования реально обернулись таким образом, что внешняя деятельность выступала как условие эффективности или неэффективности психической деятельности, которая оставалась внутри. Иначе говоря, она оставалась, в лучшем случае фактором, или прежней совокупностью явлений и переживаний сознания. «“Явления” суть “явления” и “только явления”, нам нужны не “явления” психической деятельности, а сама психическая деятельность и такая деятельность, которая что-то делает, а не только “переживается”»¹⁷. П. Я. Гальперина не удовлетворяло и прибавление к деятельности эпитета «осмысленная»: «“осмысленная деятельность” означала “деятельность вместе с психикой” и требовала изучать поведение не только с физической стороны, но именно со стороны психики, “сознания”, а самой психики не только как “явлений сознания”, но именно по участию в деятельности»¹⁸. Но при всем при том печально констатирует П. Я. Гальперин: «Внешнее оставалось внешним, а внутреннее — внутренним». И еще более печальное заключение о следствиях дихотомии внешнего и внутренне-

¹⁶ Гальперин П. Я. Проблема деятельности в советской психологии // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.: Воронеж, 1998. С. 268–269.

¹⁷ Там же. С. 265.

¹⁸ Там же. С. 251.

¹⁴ Запорожец А. В. Развитие произвольных движений // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 87.

¹⁵ Гальперин П. Я. Введение в психологию. М., 1999. С. 64.

го (от которой и ему не удалось уйти): «Но процессуальное содержание предметной деятельности оставалось за пределами психологии, а содержание самой психической деятельности — за пределами предметной содержательности»¹⁹. П. Я. Гальперин справедливо полагал, что для «психологизации» объективной внешней деятельности леонтьевского включения в нее мотивации недостаточно, нужно переходить к следующему шагу. И этот следующий шаг заключается в том, что надо саму психическую деятельность понять как предметную деятельность. Но предметная, какой бы она ни была — внешне-предметной или идеально-предметной, — не только предметна. Она такая же, как и всякая деятельность, т. е. в ней есть операционная сторона, в ней же есть и мотивационная сторона. И это входит в ее структуру, которая подлежит расшифровке. Конечно, исследование операционной стороны психической деятельности и сегодня остается задачей будущего, и в этом критика П. Я. Гальперина в адрес теории деятельности вполне справедлива. Правда, сам он не захотел заметить, что этот его вызов уже приняла когнитивная психология, создающая зонды для прощупывания структур внутреннего. А он не уставал думать о функциональном своеобразии психической деятельности, о ее направленности. И действительно, введение понятия психической деятельности, обладающей модусом предметности и совершающейся к тому же во внешней и в идеальной формах, ставило перед ним трудно разрешимую задачу. Как отличить психическую деятельность от не-психической, но тоже предметной?

На проклятый вопрос, что же такое психическая деятельность, что она делает сама, помимо «переживаний», Гальперин отвечает: ориентирует. И на этом основании он выделяет из психической деятельности ориентировочную и *назначает* ее предметом психологии. И все же опыт П. Я. Гальперина, рассматриваемый как знание, не позволил ему оставить в стороне душевную жизнь и душевную деятельность как таковые. Он одобрительно относится к тому, что учение о внешней «осмысленной деятельности» — не только сфере приложения, но также источнике и питательной среде душевной жизни, — было полнейшим прогрессивным шагом²⁰. Но, не последним шагом!

Как человек, как учитель он понимал, что психическая деятельность, душевная жизнь и душевная деятельность шире ориентировки. Он ценил жизнь в духе. Но путь к их изучению, — говорит ученый, — представляет собой рассмотрение *всех ее форм* «как разных форм ориентировки субъекта в различных жизнен-

¹⁹ Там же. С. 257.

²⁰ Там же. С. 259.

ных ситуациях»²¹. Даже в приведенных отрывках видны колебания П. Я. Гальперина: он то щедрее, то скупее. Психическая жизнь то шире ориентировки, то совпадает с ней. Конечно, взгляд на психику, как на эпифеномен представляет собой анахронизм, но и сведение ее лишь к служебным функциям ориентировки можно рассматривать как утилитаризм, что едва ли много лучше эпифеноменализма. Мотивация подобного сведения выражается П. Я. Гальпериним вполне отчетливо. Психика — это то, что может быть доступно строгому исследованию. Остальное — от лукавого. Такая позиция выбрана вполне сознательно, при полном понимании того, что психика, мышление, сознание есть чудо и остаются таковыми до тех пор, пока мы не узнаем, как они сформировались. А узнать можно, лишь проследив путь их формирования, а еще лучше, — проконтролировав его. И здесь П. Я. Гальперин попадает в ловушку, которую он сам же, повторяю, вполне сознательно для себя приготовил: «структура ориентировочной деятельности не открывается ни внутреннему, ни внешнему наблюдению. Это не “явление”, а “сущность”. Именно структура ориентировочной части всякого действия составляет его психологические “механизмы”, психологические механизмы поведения. Эти механизмы нужно изучить, установить, построить! Структура ориентировочной деятельности — ее формирование, развитие и характерные особенности на каждом этапе развития функций в каждом периоде жизни субъекта — составляет подлинный предмет психологии»²². И чтобы исключить всякие недоразумения в вопросе о ненаблюдаемости структуры ориентировочной деятельности, в следующем абзаце автор пишет: «О путях исследования этой структуры можно сделать прежде всего одно отрицательное заключение: при современных методах исследования анализ сложившихся форм ориентировочной деятельности невозможен <...> ее изучение в “готовом” виде невозможно потому, что в процессе формирования происходят систематические изменения ее форм, состава и строения»²³. Казалось бы, уступка, автор смягчился и есть надежда на будущее совершенствование методов исследования. Однако в другой работе мы встречаем драматическое описание ориентировки в уже сложившемся процессе мышления: «Таким образом, и в плане восприятия, и в умственном плане предметное содержание действия уже

²¹ Гальперин П. Я. Введение в психологию. М., 1999. С. 138–139.

²² Гальперин П. Я. Проблема деятельности в советской психологии // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 269.

²³ Там же. С. 270.

не выполняется, а только “имеется в виду” за пределами того, что фактически делается. А это фактическое действие везде представлено движением “точки внимания” (во внешнем или во внутреннем плане), движением, которое идет напрямик от исходной точки к заключительной, вопреки объективным отношениям задачи, как бы демонстрируя этим свое отличие от предметного действия и свое пренебрежение к его объективной логике, к его трудностям. Внимание выступает как “чистая” активность духа, “чистая” направленность на свои объекты — как психическая деятельность во всем ее отличии от деятельности предметной. И никакая аппаратура не может открыть в нем чего-нибудь большего»²⁴.

К этому заключению можно относиться по-разному: как к крайнему скептицизму и как к интересной гипотезе. В свое время я предпочел второе и вместе с Н. Ю. Вергилесом мы наблюдали такое внимание, изучая викарные движения глаз при решении задач, предъявляемых на изображении, стабилизированном относительно сетчатки²⁵.

Так или иначе, но в приведенном отрывке мы встречаемся с предельной честностью исследователя, который гарантирует получение достоверных данных об ориентировочной деятельности лишь на внешнем — материальном и громко-речевом этапах, которые поддаются контролю на всем их протяжении. А во «внешней речи про себя» контроль возможен только по результату каждой операции. «Дальнейшее — молчание...», или выдвигание гипотезы о том, что действие становится «чисто психическим», внутренним, идеальным, что ориентировка осуществляется в образном плане или в поле образа. При конструировании гипотез позиция исследователя смягчается. Часто она уступает место опыту — знанию.

Проиллюстрирую это на примере проблематики образа, которая никогда не выступала для П. Я. Гальперина предметом экспериментального изучения. Но он не был бы большим психологом, если бы он ее обошел вовсе. Оставим в стороне плохое слово «отражение», которое часто мелькает в его работах («И зеркало корчит всезнайку», — сказал О. Мандельштам). Будем говорить только об образе, притом не вообще, а в контексте исследований мышления и формирования умственных действий.

П. Я. Гальперин пишет, что содержание предметного процесса «бесспорно входит в содержание мышления, и самое мышление есть

²⁴ Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 292.

²⁵ Зинченко В. П. Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного образа. М., 1969.

построение знания об этом процессе, построение образа его предметного содержания. <...> В мышлении предметный процесс не просто повторяется, а выступает как образ и притом в определенной функции — служить отображением оригинального процесса и ориентировать в нем. <...> В мышлении дело идет об ориентировке в вещах на основе образа этих вещей, а не о самих вещах или самом их образе»²⁶. Как минимум, мы можем сказать, что образ выступает в качестве важнейшего средства, орудия мышления. Орудия, участвующего как на начальной фазе его развертывания, так и в качестве его итога, результата. П. Я. Гальперин утверждал, что «отдельная мысль — как явление психологическое — представляет собой не что иное, как предметное действие, перенесенное во внутренний, умственный план, а затем ушедшее во внутреннюю речь»²⁷. Вместе с тем, для него «ближайший вопрос заключается в том, как же образ предметного содержания действия участвует в его исполнении, для чего образ нужен действию?»²⁸. Ко времени постановки этого вопроса и даже раньше на него был дан ответ его другом, коллегой по научной школе и соседом по коммунальной квартире А. В. Запорожцем. (Они не портили своей дружбы научными дискуссиями и коммунальными ссорами.) К тому, что было сделано А. В. Запорожцем (1960) и не замечено П. Я. Гальпериним, можно добавить лишь некоторые любопытные, порой наивные детали. Гальперин пишет: «Когда образ появился, он уже выполнил свою роль, выполнил тем, что открыл субъекту поле совершаемого или возможного действия. Дальше действует не образ, а субъект, образ нужен не действию, а субъекту»²⁹. Образ и после своего появления выполняет роль регулятора действия и совершает эту работу не только до начала действия, но и по ходу его осуществления (оставим в стороне чреватые ошибками автоматизмы). Что касается принадлежности образа субъекту, а не действию, то ведь последнему принадлежит и само действие не в меньшей степени, чем образ. Кстати, субъект в такой же мере корректирует действие, в какой он корректирует образ. И в такой же мере корректирует образ, в какой он корректирует действие. Здесь мы имеем дело не с рефлексом, а с бернштейновским рефлекторным кольцом, в котором вообще невозможно определить, где начало, а где конец, и что чему (кому) принадлежит. Сегодня мы можем сказать, что это кольцо не рефлекторное, а рефлексивное.

²⁶ Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 280–281.

²⁷ Там же. С. 272.

²⁸ Там же. С. 267.

²⁹ Там же.

Понятие «образ» П. Я. Гальперин использовал не только для характеристики процесса мышления, но и для характеристики (определения!) мысли. Выше шла речь о том, что предметное действие является только возможной мыслью, хотя и может быть единицей мысли. Встречаются и более категорические высказывания: «мысль о действии есть нечто совершенно отличное от самого действия»³⁰. Замечу, что и мысль о мысли есть нечто совершенно отличное от исходной мысли. Гальперин рассматривает два значения слова «мысль». «В качестве процесса она представляет собой сокращенное и автоматизированное действие, о подлинном содержании которого, мы, как правило, уже ничего не знаем и работа которого сигнализируется только неким нерасчлененным “чувством”; рассказать о нем — значит расчленить его, т. е. разрушить и его и его функцию, чему оно стихийно, но решительно сопротивляется»³¹. Второе значение слова «мысль — идея, ключевой образ, внезапно открывающийся и освещающий запутанное положение»³². И далее: «Когда мысль выступает как новый образ (предмета или ситуации), несущий решение задачи, она есть целое, изображение которого составляет проблему, проблему такого изложения, которое передавало бы всю остроту его “видения”, что и вызывает муки творчества»³³.

Здесь я должен повторить неоднократно высказывавшееся мною недоумение. Я спрашивал П. Я. Гальперина: если образные явления столь существенны для понимания мышления, его генеза и функционирования, то почему среди этапов формирования умственных действий отсутствуют этапы формирования образа ситуации, формирования образа действий, которые должны быть в ситуации выполнены, наконец, этапы оперирования, манипулирования образом, посредством которых мысленный образ ситуации приводится к виду, пригодному для решения проблем и принятия решений. На эти вопросы я неизменно получал один и тот же ответ: «Володя, не толкай меня на этот дырявый феноменологический мост. Образ — это слишком тонкая материя, в которой сложно разобраться».

Как я старался показать выше, П. Я. Гальперин неплохо разобрался в этой тонкой материи, но в качестве проницательного теоретика, а не экспериментатора. Думаю, что его размышления об образе латентно присутствуют и в его экспериментатике и могут быть эксплицированы посредством анализа «учебных карт», свое-

³⁰ Там же. С. 292.

³¹ Там же. С. 297.

³² Там же. С. 293.

³³ Там же. С. 297–298.

го рода информационных моделей, предъявлявшихся испытуемым или учащимся.

С проблематикой образа тесно связана проблематика «преобразования предметного действия в мысль, предметного явления в явление психологическое»³⁴. Примем, что предметное действие, действительно, не относится к психологическим явлениям, что в высшей степени сомнительно. Остановимся на слове «преобразование». П. Я. Гальперина, видимо, не устраивало довольно странное положение А. Н. Леонтьева о принципиальной общности строения внешней и внутренней деятельности. Если его принять, то интериоризация есть не что иное, как похороны внешней предметной деятельности. Интерпретируя раннюю работу А. Н. Леонтьева о развитии памяти и внимания (1931), Гальперин говорил, что там был установлен закон *роста* извне внутрь. Правда, А. Н. Леонтьев позднее сам высказывал аналогичное положение: в процессе интериоризации внутренний план впервые рождается. Редко обращается внимание на то, что утверждение весьма противоречиво. Если они имеют общее строение, то во внешней предметной деятельности уже присутствует внутренний план. Действительно, в структуре деятельности, предложенной А. Н. Леонтьевым, имеются мотивы, цели и смыслы, понимаемые как отношение первых ко вторым. Без них невозможна никакая деятельность, ни внешняя, ни внутренняя. Но тогда, как быть с положением об интериоризации, в которой внутренний план *впервые* рождается? К тому же, А. Н. Леонтьев не предпринял попыток проследить судьбу этого новорожденного, ограничившись утверждением, что за внутренней деятельностью стоит грандиозная работа мозга. Замечу, что и за внешней деятельностью она не менее грандиозна. П. Я. Гальперин до А. Н. Леонтьева утверждал, что процесс интериоризации это и есть процесс образования идеального, внутреннего плана. Л. С. Выготский уподоблял принцип развития принципу метаморфоз и ограничился метафорой: гусеница, куколка, бабочка. Но при этом он подчеркивал и принципиальность различий между внешним действием и мыслью.

П. Я. Гальперина не удовлетворяли и те преобразования предметного действия, которые наблюдались в его исследованиях: материальный план, громкая речь, внешняя речь про себя. По мнению П. Я. Гальперина на этих этапах действие все еще оставалось предметным или логическим, но не психологическим образованием. Его волновала проблема, так сказать, языка внутренних идеальных действий, а, говоря его словами, ненаблюдаемая структура сложившейся ориентировочной деятельности. И он постоянно искал «кандидатов»

³⁴ Там же. С. 289.

на роль такого языка внутреннего, идеального, психического. Одним из них, хотя и не очень надежным, он называл действие «по представлению». Выше много говорилось о действии «на основе образа». И все же первой формой действия в уме, согласно П. Я. Гальперину, является речь, только без ее громкости, т. е. «внешняя речь про себя». Дальнейшие изменения действия состоят в том, что из него выделяется его обобщенный, постоянный состав, который тоже представлен словами-носителями предметных значений. Затем последние начинают осознаваться во внутреннем плане раньше звуковых образов, что делает произнесение слов излишним. Остаются речевые значения, за которыми самонаблюдение не обнаруживает ни чувственных образов предметов, ни звуковых образов речи, ни ее кинестезии. Иначе говоря, в результате превращений и автоматизации «внешней речи про себя» предметное действие в уме превращается в мысль об этом действии, в «чистую мысль» о решении задачи, которую это действие составляет³⁵. Но на этом поиск П. Я. Гальперина не кончается. Контроль за действием начинает ограничиваться «чувством» согласования или рассогласования с его программой; сокращенная часть действия, не участвуя в его исполнении, продолжает участвовать в его «понимании». Он завершает свой анализ образом ступенчатой пирамиды, на каждом ярусе которой действие получает существенно новую форму: материальную или материализованную, громко-речевую, в звуковых образах речи и, наконец, «без-образную»

В завершающей форме, во «внутренней речи» от действия сохраняется только своеобразное переживание — «сознавание» объективного содержания процесса, его направления и благополучного или неблагоприятного движения — переживание, которому нельзя дать более точное описание, а тем более определение³⁶. Это описание взято из относительно более ранней работы Гальперина. К пирамиде, которую он описал, следует добавить слой образов из его более поздних работ и слой схем, вырабатываемых самим индивидом, который, им лишь упоминается без подробной расшифровки.

Интерпретируя или оценивая идею пирамиды, следует сказать, что она весьма продуктивна. К ней могут быть добавлены слои глубинных семантических структур, которые пытаются «прощупать» лингвисты и психологи: невербализованные моторные программы речи, нереализованные программы предметного, перцептивного, мнемического и, собственно, умственного действий. Все они могут стоять за мыслью и представлять собой «эмбрион словесности» (Г. Г. Шпет).

³⁵ Гальперин П. Я. Введение в психологию. М., 1999. С. 245–248.

³⁶ Там же. С. 249–250.

М. К. Мамардашвили предложил замечательный термин: «невербальное внутреннее слово». Невербальное, но все же слово или его внутренняя форма, в состав которой входит «чистый предметный остов словесной структуры и динамические логические формы» (Г. Г. Шпет). Интересны размышления Н. И. Жинкина о стоящих за мыслью предметных кодах. Всю эту пирамиду языков, можно рассматривать как сор, из которого *растут стихи, не ведая стыда*. Дополнительно поэта: и «чистые» мысли. К сожалению, когда я изображал в форме конуса языка описания мира, своего рода их Вавилонское столпотворение, то не вспомнил об идее пирамиды языков П. Я. Гальперина³⁷.

Конечно, вне пространства языков невозможно понять мышление и сознание. Но не менее важно понять действия индивида, будь это действия с вещами, со знаками, символами, словами, образами, наконец, действия с мыслями. И здесь позволю себе высказать еще одно недоумение. П. Я. Гальперину принадлежат образцы анализа предметного действия, его свойств, его судьбы. На этом анализе основана педагогическая теория и практика всей его научной школы. Я отношу эту теорию и практику к психологической педагогике. Но сам-то он, проявляя методологический ригоризм, и признавая психическую деятельность предметной, не считал предметное действие психическим и даже не считал психическую деятельность в целом предметом психологии. Оставим в покое ориентировку. Прислушаемся лишь к С. Дали, который сказал: «Я не ищущу, я нахожу».

Основанием отказа предметному действию в модусе психического послужила идентификация оппозиций внешнего и внутреннего, объективного и субъективного, материального и идеального, имевшая идеологическую подоплеку. Подобная идентификация в большей или меньшей степени характерна для многих психологов, в том числе и для представителей психологической теории деятельности. Иное дело, что П. Я. Гальперину было свойственно больше, чем другим, додумывать мысль до конца. Он хотел найти бестелесное, беспримесное, «чистое» идеальное, психическое, субъективное, внутреннее. При этом он неоднократно ссылался на магическую формулу К. Маркса «идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней»³⁸. При буквальном понимании этой формулы от нее отдает чем-то мичуринско-лысенковским.

³⁷ Зинченко В. П. Психологическая педагогика. Ч. 1. Живое знание. 2-е изд. Самара, 1998; Зинченко В. П. Психолого-педагогические основы развивающего обучения. М., 2002.

³⁸ Маркс К. Капитал. Т. 1. М., 1955. С. 19.

Для того чтобы материальное стало идеальным нужна не только голова, нужен индивид, способный к осуществлению поведения и деятельности, который только и может осуществить подобное преобразование. И его действие выполняет в таком преобразовании функцию посредника-медиатора. Об этом в 1939 году писал П. И. Зинченко: «Любой психический процесс должен быть понят не как метафизическая “функция” или “способность” сознания, не как механическая сумма реакций организма, а как определенное психическое действие, т. е. такое действие, которое необходимо предполагает отражение действительности в форме того или иного психического состояния. Психическое состояние необходимо опосредствовано действием. Само действие вместе с тем является реальным процессом, в котором происходит переход или “перевод” предметной действительности в ее идеальное отражение в психике, в сознании действующего субъекта»³⁹. Это относится к любому действию, в том числе и к предметному. А последнее наполнено когнитивными (ориентировочными) и аффективными компонентами. Его психологическое строение весьма сложно, в чем убеждают не только исследования П. Я. Гальперина и его школы. Декарт говорил, что действие и страсть — одно. Это лишь на более высоких (высоких ли?) стадиях развития психики оказывается возможным познание без претерпевания. Появляется равнодушное когито.

Как это ни мало для П. Я. Гальперина, но исследования показывают, что психика уже находится «внутри» действия (см. выше). Но она же находится и за ним, в виде мотивов, целей, смыслов и пр. Иначе и не может быть. Медиатор должен обладать свойствами крайних членов, между которыми он находится и которые объединяет. В противном случае он не сможет выполнить своих посреднических функций. Он просто не будет узан, принят и признан в качестве такового. Да и самого П. Я. Гальперина можно понять так, что если действие еще не мысль, то единица анализа мысли или даже прамысль, притом такая, которая по своей ценности часто превосходит так называемую «чистую» мысль.

Действие, в том числе и прежде всего внешнее, приобретает идеальные черты не только от осуществляющего его человека, но и от своего предмета. П. А. Флоренский⁴⁰ в свое время писал, что вещь не может непосредственно превратиться в идею, равно как идея в

вещь. Для этого нужен посредник, который одновременно есть и вещь, и идея. В качестве такого посредника выступает сакральный символ, например, икона, крест. Но ведь такими качествами обладает и культурный предмет, в том числе даже простейшее орудие, имеющее не только назначение, но и значение, т. е. ту же идею. Об этом писали М. М. Бахтин, Л. С. Выготский и П. Я. Гальперин. Поскольку это так, то действие впитывает идеальные свойства, как от совершающего его индивида, так и от своего предмета. Последнее следует и из превосходного исследования генезиса орудийной деятельности, выполненного П. Я. Гальпериним в молодые годы.

Наконец, и «чистота» идеального, «чистота» сознания и мысли весьма сомнительна. Уж если вспоминать Маркса, то он недвусмысленно писал, что на сознании с самого начала лежит проклятие материи в виде языка, который П. Я. Гальперин то искал для «чистой» мысли, то оставлял такой поиск. Сила тяжести предметного действия снова притягивала его к себе. Мне кажется, что перечисленные выше дихотомии, тем более их идентификацию пора преодолеть (или оставить философам). Нужно последовать примеру А. А. Ухтомского, который утверждал, что субъективное не менее объективно, чем, так называемое, объективное. К этому нужно добавить, что идеальное может быть столь же внутренним, сколь и внешним. Другими словами, необходимо расширить понятие объективного за счет включения в него субъективного⁴¹. И расширить понятие субъективного, включив в него вполне реальные идеальные объекты, в том числе и идеальные действия. К этому шел и П. Я. Гальперин, который высказал твердую уверенность в том, что учение об «осмысленной деятельности, <добавлю: и учение П. Я. Гальперина о психике как об ориентировочной деятельности>, в конце концов, станет основанием для психологии, настоящей психологии — объективной науки о *субъективном мире человека* (и животных)»⁴². В итоге щедрость победила! Но не только. Редко обращается внимание на то, что Гальперин перевернул навязшее в зубах определение психологии как науки о субъективном отражении объективной действительности. В его определении подразумевается объективность субъективного. Оно стоит как бы наравне с объективным миром. А в каких отношениях находятся оба мира — это дело личной судьбы и обстоятельств. Для психологии — это ис-

³⁹ Зинченко П. И. Проблема произвольного запоминания // Научные записки Харьковского пед. ин-та иностранных языков. Харьков, 1939. Т. 1. С. 161.

⁴⁰ Флоренский П. А. Философия культа // Труды Московской патриархии. М., 1977. Сб. 17.

⁴¹ Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. 1977. № 7.

⁴² Гальперин П. Я. Проблема деятельности в советской психологии // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 271.

комое, проблема, вопрос, на который она должна искать ответы. В субъективном мире мир объективный может отражаться, искажаться. Носитель субъективного мира может дистанцироваться от объективного мира, погружаться в себя, может порождать новый мир и объективировать его. Одним словом, быть его хозяином или заложником. Кстати, ориентироваться в своем собственном мире (а тем более овладеть им) вовсе не проще, чем в так называемом объективном. Именно этому учил нас П. Я. Гальперин на своих лекциях.

И все же у меня остается главный вопрос к П. Я. Гальперину-ученому, который в очередной раз попытаюсь сформулировать. Гальперин, действительно, объективировал психическую деятельность, вынес ее наружу (Г. Г. Шпет сказал бы: овнешнил душу), придал психической деятельности черты предметности, осмысленности, признал возможность ее внешне-предметного и идеально-предметного осуществления (почти по Ф. Тютчеву Гальперин сделал ее «жилищем двух миров»), констатировал наличие у нее сложной структуры и т. д. И отличил психическую деятельность от точно такой же предметной, но не-психической деятельности по одному единственному параметру, — по функции ориентировки. Не слишком ли расточительно конструировать компас такой же сложности, как корабль? А уж если сконструировали такой сложный аппарат, то не стоит ли придать ему еще какие-либо функции, помимо отражательных и ориентирующих? В том числе и функции порождения того самого субъективного мира человека, которым должна заниматься настоящая психология. Не будем спорить, что-то рождается в практической (не-психической) деятельности, но многое рождается и в самой психической деятельности. Действие рождает действие, — говорит ученик Гальперина Б. Д. Эльконин, образ рождает образ, мысль рождает мысль, я рождает второе я, наконец, есть второе, третье и т. д. рождение самого человека. Как говорил О. Мандельштам:

Я и садовник,
Я же и цветок.

Эта сложнейшая работа требует соответствующего устройства, и оно само *растет* (выражение П. Я. Гальперина) в той мере, в которой ее выполняет. Оставим в стороне, так называемую, не-психическую деятельность (если таковая возможна). Нам важнее, что, отличая от нее психическую, Гальперин по-своему строил онтологию психического как такового и вольно или невольно психологизировал то, что в рамках деятельностного подхода называлось внешней предметной деятельностью.

Возможен и другой вариант объяснения разделения деятельности на психическую и не-психическую. Первая от второй отличается как искусство от не-искусства, т. е. чуть-чуть. Назовем вторую ее настоящим именем — бездушная деятельность. В ее «познании» опыта было ему не занимать. Может быть, именно от бездушной (или бессубъектной, как у Г. П. Щедровицкого) деятельности хотел дистанцировать Гальперин свою любимую науку? Этого мы никогда не узнаем.

Разумеется, поиск онтологии психического продолжается. Успехи на этом пути П. Я. Гальперина, как говорилось выше, во многом объясняются его способностью к самоограничению и требовательностью к себе. Он неукоснительно соблюдал выработанные им нормативы исследования: «Изучение предметного действия можно, но не следует начинать с того, чтобы ставить его в произвольно выделенные условия и смотреть, что получится, как оно будет выполняться или формироваться. Наоборот, в исследовании предметных действий исходным становится вопрос: “Что нужно для того, чтобы сформировать такое-то действие с такими-то свойствами?” Нужно идти не от условий к действию (какое получится), а от заданного действия к условиям, обеспечивающим его формирование. Не наблюдать и констатировать формирование действий, а строить его! И создавать условия, которые для этого необходимы. <...> Лишь впоследствии, когда путь формирования будет установлен, по его генетической шкале, открывается возможность анализа уже готовых, сложившихся явлений»⁴³. Что же все-таки верно? Закрывается, о чем столь же недвусмысленно заявлял П. Я. Гальперин, или открывается? Сформулированные нормативы частично наивны, частично претенциозны. Чтобы «задать» действие, нужно уже его знать! И такое знание приобретается часто в поисковых, так сказать, в до-нормативных исследованиях, выполнявшихся в том числе и в ранних работах Гальперина.

Так или иначе, ему удалось пройти по этому пути достаточно далеко. Но! Не до конца. Для дальнейшего развития мышления все же оставались некоторые, степени свободы, чтобы оно могло течь спонтанно, по непредсказуемому руслу. Ж.-Ж. Руссо в свое время сказал: кто начал мыслить (в том числе, видимо, и с помощью теории и практики формирования умственных действий), того уже не остановить. Он будет «думой думу развивать» (А. С. Пушкин). В шутовском стихотворении Томаса Элиота есть строчки, заставляющие серьезно задуматься о дистанции между предметным действием и мыслью:

⁴³ Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 288–289.

Знайτε, что он погружен, как в сон,
В мысли про мысли о мыслях про имя...

Мысль ведь может затеряться среди предметов, заблудиться в лесу символов. Умберто Эко не без иронии писал, что, согласно законам герметизма, во всем мире, во всей вселенной не существует хотя бы одной единственной данности, не символизирующей иной данности. Да и практика (не теория!) марксистско-ленинской теории познания свидетельствует о том, что от абстрактного слишком часто восходят не к тому конкретному. Это я к тому, что еще неизвестно, какая задача сложнее, (и важнее?) выведение мышления из предметного действия или возвращение мышления и мысли к предметной действительности. За свободу мысли приходится расплачиваться.

* * *

Несколько слов в заключение. Вспоминая лекции П. Я. Гальперина, беседы с ним, перечитывая и вчитываясь в собранные и изданные, наконец, труды, видишь как он медленно, но верно приближался к пониманию «чуда мышления» (выражение А. Эйнштейна). Такое понимание, видимо, составляло главную цель его исканий, а может быть и жизни. По складу своего характера он был рационален, не сочувствовал спонтанности, страшился стихии. Ее вокруг него хватало с избытком. В то же время он понимал, что «планово-поэтапно» добраться до мысли едва ли удастся, о чем говорят приведенные выше более чем скептические суждения об экспериментальных методах и аппаратуре. П. Я. Гальперина мало устраивали простые решения и его собственная мысль постоянно вырывалась за пределы наблюдаемых этапов формирования умственных действий, за пределы типов ориентировки в сферы идеального, в сферы «чистой», свободной от предметного действия (и от социальных обстоятельств) мысли. Позиция строгого исследователя не могла сдерживать спонтанных, свободных интеллектуальных порывов, которые, к счастью, превращались в тексты. Ведь Гальперин определял мышление как деятельность, «чтобы узнать». И для этого он переставал ориентироваться на экспериментальные результаты и обращался к глубинам собственного духа, «чтобы найти». «Чтобы узнать» соответствует поэтическому: «И сладок нам лишь узнаванья миг» (О. Мандельштам). П. Я. Гальперин не мог отказать себе в «выпуклой радости узнаванья». Опыт-знание и опыт-позиция, хотя порой и вступали в противоречия, но, в конце концов, прекрасно дополняли друг друга.

Загадка творческого понимания: Штрихи к портрету Даниила Борисовича Эльконина

Имя, идеи, труды Д. Б. Эльконина широко известны не только в нашей стране. Вся его научная биография пришлась на период российской истории, которую А. М. Пятигорский в очаровательной книжечке «Философия одного переулка» охарактеризовал как «не сезон для мысли». Но живая мысль возникала, развивалась и в безвременье. Для артикуляции мыслей требовалось мужество или, — как скромно говорил Д. Б. Эльконин, — научный темперамент, которым он обладал в полной мере, хотя был «не сезон» и для личности.

Я не буду писать о вкладе Д. Б. Эльконина в науку и образование, в том числе и психологическое. Мне хочется написать о бытии ученого в условиях социалистического и идеологического общежития. Все нижеследующее основано на его рассказах и моих личных впечатлениях, кое-что на рассказах его друзей, прежде всего моего учителя А. В. Запорожца. Узнал я Д. Б. Эльконина, будучи еще студентом, в конце 1940-х годов, когда он хрипловатым голосом читал нам незабываемые лекции по психологии игры и детства. Затем я ближе познакомился с ним в лаборатории детской психологии НИИ психологии АПН РСФСР (ныне Психологического института РАО), руководимой А. В. Запорожцем. В этой же лаборатории работал Д. Б. Эльконин до тех пор, пока усилиями А. А. Смирнова не получил собственную лабораторию психологии младшего школьника. В эти годы у нас сложились теплые отношения, которые затем, несмотря на большую разницу в возрасте, переросли в дружбу. Думаю, что Д. Б. Эльконин перенес на меня часть своих дружеских симпатий к моему отцу П. И. Зинченко, как и я, в свою очередь, перенес свою любовь к Д. Б. Эльконину на его сына Б. Д. Эльконина, которого я знаю с детства. Мы с В. В. Давыдовым бывали в доме Эльконовых в Лефортове, где его семья жила на Красноказарменной улице в двух небольших комнатах, распо-

ложенных в хорошо известной советской коридорной (адекватно отражающей суть коммунально-социалистического бытия) системе. К счастью, этот быт не совпадал с бытием Д. Б. Эльконина и не определял его сознание.

Начало научной биографии Д. Б. Эльконина было счастливым. (По его словам, не только начало, но и вся его жизнь была тяжеловатой, но счастливой.) Вот его рассказ. После окончания Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена его привлекла физиология, и он пошел в лабораторию А. А. Ухтомского, чтобы поучиться у него. Едва ли молодой Эльконин представлял себе, что Ухтомский — великий физиолог. (Многие и сегодня в этом не убеждены.) В лаборатории он встретил пожилого человека в толстовке с окладистой бородой, которого принял за служителя. Спросив его, как найти профессора Ухтомского, он услышал в ответ: «Это я и буду». Профессор поручил Д. Б. Эльконину исследование локального действия постоянного электрического тока на спинномозговую иннервацию мышц. Сначала молодой сотрудник должен был провести опыты на пяти сотнях лягушек, затем прочесть более 1000 страниц текстов и, наконец, написать статью объемом в несколько страниц. Вскоре после публикации в английском физиологическом журнале появился отклик на статью, в котором было написано: «Как показано в классическом исследовании русского физиолога Д. Б. Эльконина...» Став «классиком», он оставил физиологию и начал совместную с Л. С. Выготским работу над проблемами детской игры. Думаю, что историкам психологии еще предстоит выяснить, какое влияние оказал ранний период ученичества Д. Б. Эльконина у А. А. Ухтомского на его дальнейшую научную биографию и, более широко, на корпус идей психологической теории деятельности. Об этом думаешь, когда вспоминаешь идеи А. А. Ухтомского о функциональных органах (новообразованиях). Он же писал и о доминантных (ведущих) деятельности человека. Идеи о новообразованиях и ведущей деятельности как основе науки о развитии ребенка всегда были центральными в творчестве Д. Б. Эльконина. Видимо, не без помощи А. А. Ухтомского Д. Б. Эльконин воспитал в себе «способность переключения в жизнь другого человека, способность понимания ближайшего встречного человека как конкретного, ничем не заменимого в природе самобытного существа»¹, одним словом, воспитал в себе «доминанту на лицо другого». Как и А. А. Ухтомский, он не принимал «индивидуалистического отношения к жизни, индивидуалистического миропонимания, индивидуалистической

¹ Ухтомский А. А. Парабиоз и доминанта // Ухтомский А. А. Избранные труды / Под ред. Е. М. Крепса. Л., 1978. С. 90.

науки»². Д. Б. Эльконин был совокупностью не всех общественных отношений, а, по его словам, лишь тех общественных отношений Людей, которые складывались в науке, в психологии, участником строительства которых он был. В начале 1930-х годов он получил (без защиты) свою первую кандидатскую ученую степень. Ему сопутствовали не только научные, но и административные успехи. Тогда же он стал заместителем директора по науке Ленинградского педологического центра, где при его участии была организована медико-психолого-педагогическая клиника для пациентов от рождения до студенческого возраста. В ней Д. Б. Эльконин начал реализацию программы, как теперь принято говорить, комплексных исследований детства. Впоследствии полусуто-полусерьезно он говорил о себе, что, став «классиком» и администратором в науке смолоду, на всю свою жизнь приобрел иммунитет к научному тщеславию и к административной карьере. Этим сомнительным вещам он предпочитал дело, которое делать ему чаще всего мешали, что не мешало ему всю жизнь помогать делать дело другим.

После трагично известного постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпроса» Центр, в котором работал Д. Б. Эльконин, закрыли, его лишили кандидатской степени, и он стал безработным с семьей на руках. И здесь произошло чудо. Он пришел на прием к секретарю Ленинградского обкома партии А. А. Жданову с просьбой разрешить ему работать хотя бы учителем начальной школы, учить детей грамоте. На вопрос секретаря, изменил ли он свои взгляды, Д. Б. Эльконин ответил, что он за ночь своих убеждений не меняет. Видимо, личность Д. Б. Эльконина произвела на А. А. Жданова такое сильное впечатление, что он дал разрешение. И тогда начался «букварный вектор» в научно-педагогической деятельности Д. Б. Эльконина — период изучения процесса овладения детьми чтением, письмом, период изучения устной и письменной речи младших школьников. Замечательным и неожиданным итогом этой работы было написание книги для чтения и букварей для народов Крайнего Севера с соответствующими указаниями учителю³. Много позже Д. Б. Эльконин написал букварь и для русской школы (1961, 1969, 1972). В то время возникший у него на всю жизнь интерес к проблеме психологии игры пришлось отложить до лучших (?) времен.

² Там же.

³ Эльконин Д. Б. Букварь: Учебник русского языка для мансийской начальной школы. Л., 1938; Эльконин Д. Б. Первая книга по русскому языку для школ народов Крайнего Севера. Л., 1946; Эльконин Д. Б. Русский язык: Учеб. пособие для II класса школ народов Крайнего Севера. М.; Л., 1979.

Работая учителем, Д. Б. Эльконин подготовил вторую кандидатскую диссертацию, защита которой состоялась накануне войны. Она проходила в его родном пединституте им. Герцена, проходила трудно (до 12 часов ночи) и закончилась отрицательным голосованием. Участвовавший в защите С. Л. Рубинштейн не мог простить соискателю упрека в свой адрес по поводу его вольного обращения с наследием Л. С. Выготского. Упрек был выражен со свойственной Д. Б. Эльконину горячностью и в далеких от парламентских выражениях. После этого отношения между С. Л. Рубинштейном и Д. Б. Эльконым навсегда остались более чем прохладными. Известие о том, что Д. Б. Эльконину все же присуждена кандидатская степень, нашло его на Ленинградском фронте. Спас его диссертацию А. А. Смирнов.

Воевал Д. Б. Эльконин, видимо, умело, о чем свидетельствуют боевые награды и звание майора, в котором он закончил войну. Приведу один эпизод из его военной жизни. Его вызывают в Особый отдел и спрашивают о национальности. Он говорит: еврей — и слышит в ответ, что все в порядке. У особистов, оказывается, возникло подозрение, не финн ли он, так как очень похожа фамилия — Эльконэн. Даниил Борисович, смеясь, говорил, что в этой стране ему один раз в жизни повезло, что он еврей. Но не надолго.

После войны он работал в подмосковном Военно-педагогическом институте Советской армии. В начале марта 1953 года за «космополитизм и недооценку учения Павлова» Ученый совет института второй раз лишил Д. Б. Эльконина кандидатской степени (кстати, не этим Ученым советом присвоенной) и уволил из армии. Были забыты боевые заслуги, вклад в подготовку кадров военных психологов (под руководством Д. Б. Эльконина защитили кандидатские диссертации адъюнкты этого института М. В. Гамезо, М. П. Коробейников, В. В. Офицеров, В. Ф. Рубахин). Забыта и личная трагедия: первая семья — жена и две дочери были эвакуированы из Ленинграда на Кавказ и там уничтожены фашистами. Ученый совет не мог простить Д. Б. Эльконину свободомыслия, таланта педагога. ВАК не утвердил решения совета, и Даниилу Борисовичу не пришлось в третий раз защищать кандидатскую диссертацию. Нужно вспомнить добрым словом А. А. Смирнова, обладавшего абсолютным чутьем к таланту и порядочности: он сразу же добыл штатную (и штатскую) единицу для ученого-воина, что было не только не просто, но еще и опасно.

Дальше начался вполне благополучный, по советским меркам, и хорошо известный период жизни и научной деятельности Д. Б. Эльконина. Во время оттепели — защита докторской диссертации (1962),

позднее — избрание членом-корреспондентом АПН СССР (1968), возврат к любимой проблематике детской игры, разработка теории учебной деятельности, возрастной периодизации детства, издание книг, создание собственной научной школы, международная известность, любовь да совет в новой семье, дружба и прощание с выготчанами, которые постепенно уходили из жизни. Было приятно видеть, каким счастьем лучились его глаза, когда он рассказывал о своем внуке. Его наблюдения за маленьким Андреем послужили основанием для превосходного эссе о генезисе предметного действия.

И все же, все же... С 1968 по 1984 год он так и оставался членом-корреспондентом АПН. Как правило, так называемые анонимные инстанции (секреты Полишинеля), в которых утверждались списки претендентов в академию были нетерпимы к широте взглядов, к научной принципиальности. Яркие личности им были не нужны. При этом Д. Б. Эльконину цинично говорили, что он (почему именно он?) должен уступать дорогу молодым, и заставляли академиков голосовать за себя и за своих выдвиненцев, например, за С. Михалкова — автора эпохального труда «Дядя Степа».

Даниил Борисович относился к этому достаточно спокойно и говорил, что П. Я. Гальперин не удостоился избрания даже в члены-корреспонденты. Это не беда. Его волновало то, что, несмотря на большие усилия, которые он прилагал вместе с А. В. Запорожцем, В. В. Давыдовым, ему так и не удалось создать Центр детства, подобный тому, каким он руководил в довоенные годы в Ленинграде.

Д. Б. Эльконина волновала судьба дошкольников-шестилеток, которых начали насильно гнать в школу. Волновала и ситуация в психологии, экстенсивность развития которой достигалась за счет падения профессионализма и перемены в которой он воспринимал с горечью. В оценках он не очень стеснялся: доставалось и старым, и новым лидерам (первых он называл боссами, вторых — босяками). И среди первых, и среди вторых он отчетливо различал тех, кто действительно любил науку, и тех, кто любил себя в науке.

Научный темперамент Даниила Борисовича, помимо мужества, включал в себя и научную щедрость. Он вынашивал идеи, но не мог долго носить их в себе. Он в полном смысле слова разбрасывал их, дарил экспериментальные замыслы. Мне тоже кое-что перепадало, начиная с моей экспериментальной кандидатской диссертации и кончая теоретическими упражнениями. Я, например, неоднократно использовал его замечательную идею о совокупном Я, которое лишь в процессе развития ребенка расщепляется на Я-Ты (ср. со ставшими известными и популярными ныне работами М. Бубера, посвященными «основному слову Я-Ты»).

Д. Б. Эльконин не страшился научного пиратства, говоря, что с идеей нужно украсть и голову, а это даже в такой бандитской стране, как наша, сложновато. Он был постоянен в привязанностях и в дружбе. Было трогательно наблюдать его взаимоотношения с Л. И. Божович, А. В. Запорожцем, П. Я. Гальпериным, А. Н. Леонтьевым, его пиетет к А. А. Смирнову, его заботу об учениках и сотрудниках и, вообще, его бесконечную доброту. Она не мешала Даниилу Борисовичу, как он говорил, «со всей большевистской откровенностью» высказываться по существу сделанного его коллегами. Он и сам не был чужд научной робости, но мне кажется, что он испытывал ее только перед двумя людьми — Б. М. Тепловым и П. Я. Гальпериным, да, пожалуй, еще перед памятью своего учителя Л. С. Выготского. Ему до последних лет жизни казалось, что он все еще не до конца понял учителя и недостаточно развил его учение. Я думаю, что Д. Б. Эльконин из всей плеяды выготчан наиболее органично соединял и развивал достижения культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности. Для него любая форма деятельности, будь то общение, игра, учение, труд, выступала сначала исторически, культурно, а затем уже и структурно.

Даниил Борисович был необыкновенно цельной личностью и своей преданностью науке, принципиальностью, научными достижениями, талантом педагога оказал огромное влияние на многие поколения психологов. Он живет в памяти и в поступках тех, кто его знал и любил.

Свой последний научный доклад Д. Б. Эльконин сделал на ученом совете НИИ дефектологии АПН СССР, в мае 1984 года за несколько месяцев до своей кончины. Доклад (как и все заседание) был посвящен памяти его учителя и друга Л. С. Выготского. Д. Б. Эльконин начал доклад так: «при чтении и перечитывании работ Льва Семеновича <...> всегда возникает ощущение, что чего-то я в них до конца не понимаю. И я все время стараюсь найти и отчетливо сформулировать ту центральную идею, которая руководила им с самого начала его научной деятельности до самого ее конца»⁴. Замечу, что это постановка вопроса подлинно генетического психолога, старающегося добраться до корней, до сути и до смысла. Между прочим, именно этому Д. Б. Эльконин вместе с В. В. Давыдовым учили детей, называя это же формированием теоретического мышления.

⁴ Эльконин Д. Б. Об источниках неклассической психологии // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 476.

Д. Б. Эльконин очень точно сформулировал свое непонимание: «Когда читаешь его последние работы, создается впечатление, что их внутренний скелет глубоко скрыт за Монбланом конкретных фактов, полученных в самых различных исследованиях, которые трудно соединить в нечто вполне целостное. Поэтому и хочется восстановить внутреннюю логику его жизни как исследователя, как ученого и определить, когда и как был сформулирован целостный скелет его подхода к психике человека»⁵. А вот объяснение Л. С. Выготским трудностей понимания его теории развития внешних психических функций (трудностей, которые испытывал не только Д. Б. Эльконин): «Есть два различных способа методологического оформления конкретных психологических исследований. При одном методологии исследования излагается отдельно от самого исследования, при другом она пронизывает все изложение. Можно было бы привести немало примеров того и другого. Одни животные — мягкотелые — носят свой костяк снаружи, как улитка раковину; у других скелет помещается внутри организма, образуя его внутренний остов. Второй тип организации представляется нам высшим не только для животных, но и для психологических монографий. Поэтому мы избрали именно его»⁶. Такой «высший тип организации» Л. С. Выготский избрал не только для психологической монографии «История развития высших психических функций», но и для изложения своего учения в целом. Восстановление невидимого скелета, действительно, трудная работа с негарантированным успехом. Поэтому до сего времени ведутся споры о том, в чем состоит его учение и даже о том, существует ли оно вообще как нечто целостное? Спасибо Б. Г. Мещерякову, который провел логико-семантический анализ концепции Л. С. Выготского и показал, что она удовлетворяет достаточно суровым требованиям нового типа анализа⁷. Наличие такого результата не отменяет вопросов, поставленных Д. Б. Эльconiным.

Если начать отсчет с 1931 года, т. е. со времени встречи Д. Б. Эльконина с Л. С. Выготским, то процесс понимания длился 53 года. Д. Б. Эльконин своим примером подтвердил сентенцию Вергилия — все может надоесть, кроме понимания, и, в конце концов, был вознагражден. Он вернул свой долг учителю, сформулировав центральную идею культурно-исторической психологии, и оставил ее нам. Суть его понимания состоит в том, что Л. С. Выготский в

⁵ Там же. С. 476.

⁶ Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3. М., 1983. С. 23.

⁷ Мещеряков Б. Г. Логико-семантический анализ концепции Л. С. Выготского. Самара, 1998.

«Психологии искусства» «создал основы совершенно новой, я бы сказал, неклассической психологии, сущность которой состоит в следующем. Первичные формы аффективно-смысловых образований человеческого сознания существуют объективно вне каждого отдельного человека, существуют в человеческом обществе в виде произведений искусств или в других каких-либо материальных творениях людей, т. е. эти формы существуют раньше, чем индивидуальные или субъективные аффективно-смысловые образования»⁸. Далее Д. Б. Эльконин называет признание объективного существования аффективно-смысловых образований вне и до индивидуального сознания чрезвычайным шагом в психологии. Здесь в этой формулировке (и в дальнейшем тексте!) все важно. Главное, что основной своей задачей Л. С. Выготский видел изучение человеческого сознания. И не менее важно, что такое аффективное сознание существует объективно. Невольно вспоминается Б. Пастернак:

Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

Искусство создает палитру человеческих чувств, которая несомненно избыточна для каждого отдельного человека, но, видимо, недостаточна для человечества в целом. Потом уже можно размышлять, исследовать, спорить, как происходит усвоение, присвоение (овладение) этих чувств индивидуальным сознанием: в содействии, в сочувствии, в сопереживании или в специальных формах эстетической деятельности. Это работа психологов, педагогов и самих художников.

Важно, что искусство признано «общественной техникой чувств», что «искусство есть социальное в нас, и если его действие совершается в отдельном индивидууме, то это вовсе не значит, что его корни и существо индивидуальны»⁹. «Переплавка чувств вне нас совершается силой социального чувства, которое объективировано, вынесено вне нас, материализовано и закреплено во внешних предметах искусства, которые сделались орудиями общества»¹⁰. Все эти положения Л. С. Выготского Д. Б. Эльконин приводит в другой статье, но также написанной после 1980 года¹¹. Комментируя эти положения, он пишет: «Таким образом, оказывается, что

⁸ Эльконин Д. Б. Об источниках неклассической психологии // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 477.

⁹ Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987. С. 238.

¹⁰ Там же. С. 239.

¹¹ См.: Эльконин Д. Б. Очерк научного творчества Л. С. Выготского // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 412–413.

сформулированный Л. С. Выготским основной закон формирования специфически человеческих высших психических процессов, закон, согласно которому всякая высшая, собственно человеческая психическая функция первоначально существует во внешней интерпсихической форме и лишь затем в особом процессе интериоризации превращается в индивидуальную интрапсихическую, был первоначально намечен уже при объективном анализе произведений искусства, при выяснении общественной природы человеческих эмоций. В этом мы видим важнейшее значение для всех дальнейших исследований его работы по психологии искусства»¹².

Д. Б. Эльконин обращает внимание читателей на то, что Л. С. Выготский и позднее возвращался к проблематике природы человеческих аффектов: он специально анализировал взгляды Спинозы на соотношение аффекта и интеллекта. Замечу попутно, что в те годы Л. С. Выготский был не одинок. Трудно сказать, в соответствии ли с собственной логикой или под влиянием Л. С. Выготского С. М. Эйзенштейн «мысленно представлял тот период, когда будет создана развернутая культура основных законов создания выразительных форм, и когда ученый, как и художник, в равной степени смогут сознательно подойти к законам наивысшей выразительности, чтобы пользоваться и управлять ими. Нахождение этих законов и было основной целью жизни Эйзенштейна-мыслителя»¹³. Палитра чувств и партитура их выразительных средств — это предмет специальных размышлений. Оставим его и продолжим работу понимания, начатую Д. Б. Эльconiным.

Содержание человеческого сознания не ограничено миром аффективно-смысловых образований. Столь же объективно и вне индивидуального сознания существует мир языка, что задолго до Л. С. Выготского со всей категоричностью утверждал В. фон Гумбольдт. Л. С. Выготский соглашался с ним и называл язык идеальной формой или культурой, предстоящей ребенку, которую он должен сделать своей собственной реальной формой. Д. Б. Эльконин в целом ряде работ изучал этапы или стадии погружения ребенка в объективно существующий мир или, как он называл, в систему языка. Он выделял раннюю стадию понимания речи, затем стадию развития собственной активной речи ребенка. Особенно интересны его соображения относительно диалогического характера развития речи ребенка, когда диалог выступает частью совместной

¹² Там же. С. 414.

¹³ Лурия А. Р. Л. С. Выготский и его вклад в советскую психологическую науку // Лурия А. Р. Психологическое наследие. М., 2003. С. 282.

деятельности ребенка со взрослым. На основе диалога происходит активное овладение грамматическим строем родного языка. В связи с диалогом нужно высказать сожаление, что у Д. Б. Эльконина, впрочем, как и у Л. С. Выготского, не состоялся диалог с М. М. Бахтиным. Д. Б. Эльконин, в отличие от Ж. Пиаже, рассматривал диалог не как спор, а как взаимопонимание, как разъяснение с учетом точек зрения другого человека. От подобной трактовки диалога Д. Б. Эльконин, как и М. М. Бахтин, видел ход к проблеме сознания¹⁴. Эльконин прослеживал также постепенную автономизацию речи (и самого ребенка) от непосредственной связи с практической деятельностью и с наглядной ситуацией, в которой или по поводу которой происходит общение ребенка и взрослого¹⁵.

Д. Б. Эльконин излагает замечательные исследования игровой деятельности детей-дошкольников, выполненные участником Харьковской школы психологов Григорием Демьяновичем Луковым. К сожалению, его вклад в психологию оценен лишь в малой степени. В моей памяти сохранились возвышенные оценки его работ и научного потенциала, которые я слышал от П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, П. И. Зинченко, Д. Б. Эльконина. В 50-е годы мне довелось быть свидетелем нескольких очень теплых дружеских встреч между перечисленными лицами и Г. Д. Луковым. В «Научных дневниках» Д. Б. Эльконина 28 августа 1982 года сделана запись: «Вернуть к жизни Гришу Лукова...»¹⁶. Г. Д. Лукова и Д. Б. Эльконина связывала не только дружба. У них было много общего в судьбах. Оба — разносторонне одаренные — один в Ленинграде, другой в Харькове занимались проблемами игры и речи. Кандидатская диссертация Г. Д. Лукова называлась: «Об осознании ребенком речи в процессе игры (1937). Возможно, она имеется в архиве Д. Б. Эльконина (?). Оба ученых в 1941 году добровольцами пошли на фронт и начали войну рядовыми. Г. Д. Луков закончил войну полковником, Д. Б. Эльконин — майором. К сожалению, только Д. Б. Эльконин вернулся после войны к проблематике детской психологии, игры и речи дошкольников, а Г. Д. Луков остался в армии, преподавал военную психологию и написал соответствующий учебник.

Предложенная Г. Д. Луковым экспериментальная модель позволила представить изменения, происходящие в структуре связей

¹⁴ Эльконин Д. Б. Выдержки из научных дневников // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 516.

¹⁵ Эльконин Д. Б. Развитие речи в раннем детстве // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 367.

¹⁶ Эльконин Д. Б. Выдержки из научных дневников // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 516.

между предметом, способом действия с ним и словом: «На наших глазах происходит, во-первых, отрыв способа употребления предмета от конкретной вещи, за которой этот способ первоначально закреплен, и, во-вторых, отрыв слова от предмета. На этой основе происходит как бы переворачивание структуры “действие-предмет-слово” в структуру “слово-предмет-действие”»¹⁷. За таким «переворачиванием» скрывается огромная работа по созданию того, что В. ф. Гумбольдт называл внутренней формой языка. Развивая идеи Гумбольдта, Г. Г. Шпет обосновывает концепцию внутренней формы слова. Он полагает, что в нее входят: предметный остов и динамические смысловые, логические формы. Я полагаю, что идеи Шпета коррелятивны тому, на чем настаивали Г. Д. Луков и Д. Б. Эльконин: «Каждое слово для ребенка как бы содержит в себе возможную систему действия, а тем самым и особенность того предмета или явления, к которому он (ребенок — В. З.) относит само слово. Связь слова и предмета и связь возможных действий со словом по своему содержанию, выступает для говорящего как образ действия с называемым предметом или явлением»¹⁸. И хотя Г. Д. Луков и Д. Б. Эльконин не пользовались понятием «внутренняя форма слова», их экспериментальные исследования переименования предметов в игровой ситуации следует рассматривать как первую плодотворную попытку проникновения в процесс ее становления. Интересно, что Л. С. Выготский в тех редчайших случаях, когда он использовал понятие внутренней формы слова, то понимал ее, вслед за А. А. Потебней, как образ. Но в контексте своих исследований взаимоотношений игры и речи он пришел к заключению, что между образом и предметом стоит действие. Именно это было показано в блестящих исследованиях Г. Д. Лукова, выполненных по предложенной им «методике двойного переименования» игровой функции предметов, а затем развито и обобщено Д. Б. Эльконым.

Ниже я вернусь к их исследованиям в связи с проблемой символической деятельности. А пока скажу, что подобная трактовка слова Г. Г. Шпетом, Г. Д. Луковым, Д. Б. Эльконым не только предвосхитила трактовку слова как действия, — в терминологии Дж. Остина, — перформатива, но и позволила представить себе хотя бы в общих чертах путь, на котором слово становится микроскопом человеческого сознания и бытия. Как оно приобретает такую власть над нами, что мы говорим: «Вначале было слово», и именно слово создает предмет, давая ему имя?

¹⁷ Эльконин Д. Б. Психология игры. М., 1978. С. 231–232.

¹⁸ Там же. С. 236.

Исследования Г. Д. Лукова и Д. Б. Эльконина подтвердили прогноз Л. С. Выготского: «Игра есть новый аспект в развитии речи: речь в ее аспекте, обращенном к развитию Welt (мира) вместо Um Welt (окружающая среда) и сознательной цели»¹⁹.

Д. Б. Эльконин не оставил своим вниманием и следующие стадии вхождения ребенка в мир языка. Он разрабатывал методы первоначального обучения детей чтению, создавал буквари, разрабатывал методы обучения детей устной и письменной речи. Здесь Д. Б. Эльконин обернул укоренившееся в педагогике представление о том, что обучение письменной речи должно находиться в прямой зависимости от устной. Он показал, что начало обучения письменной речи становится причиной дальнейшего развития речи устной²⁰. В книге «Развитие устной и письменной речи учащихся», подготовленной к изданию еще в 1940 году и изданной спустя почти шестьдесят лет, интересно обсуждаются *психологические* различия между устной и письменной речью, рассматривается *культура* той и другой, показано своеобразие учебных действий, необходимых для формирования такой культуры. Д. Б. Эльконин стремился понять письменную речь в качестве особого способа становления мысли. Он показал, что максимальные возможности произвольной речи обнаруживаются в свободном письме, а не в списывании и диктовке, которые тогда преобладали в обучении письменной речи младших школьников, а сегодня, кажется, уже преобладают у старших школьников и студентов, пользующихся Интернетом. Здесь же Д. Б. Эльконин обсуждает проблему автора и ориентацию его на читателя, нащупывает пути организации общения и совместной учебной деятельности в начальной школе.

Для дальнейшего важно подчеркнуть, что, изучая понимание речи, овладение ею, разрабатывая методы обучения чтению, устной и письменной речи, Д. Б. Эльконин опирался на идеи Л. С. Выготского и развивал культурно-историческую психологию. В частности, он создавал методы обучения, открывающие перед ребенком новые пути общения и способствующие переносу его мыслей, чувств и воли в гораздо более широкий мир социальной действительности, в мир культуры²¹.

Конечно, мы и сейчас можем обсуждать удобную для нерадивых педагогов, хотя и имеющую академический интерес, гипотезу Н. Хомского о врожденности лингвистических структур. Можем

¹⁹ Там же. С. 291.

²⁰ Эльконин Д. Б. Развитие устной и письменной речи учащихся. М., 1998. С. 6.

²¹ Там же. С. 104–105.

спорить и о том, как происходит усвоение языка, становится ли язык органом человека или человек — органом языка (это мотивы И. Бродского). Видимо, возможно и то, и другое, но главное, что язык как форма или содержание сознания (или и то, и другое вместе) существует объективно. Д. Б. Эльконин рассматривал слово не только в качестве посредника-медиатора, а видел за ним мир языка, что точно соответствовало тому, как Л. С. Выготский видел за объективно существующими аффективно-смысловыми образованиями мир искусства.

Не иначе обстоит дело и с мышлением. Тождество мышления и бытия утверждал Парменид, более того, он постулировал наличие теоретического мира, с чем соглашались Г. Г. Шпет²², К. Поппер и др. Д. Б. Эльконин, вслед за Л. С. Выготским заботился о формировании у ребенка теоретического отношения к действительности, о том, чтобы центральные новообразования школьного возраста, связанные с развитием интеллекта, — осознание и овладение психическими процессами — приходили «через ворота научных понятий»²³. Впоследствии ученик и сотрудник Д. Б. Эльконина В. В. Давыдов успешно реализовывал программу развития теоретического мышления у младших школьников.

²² Ретроспективное подтверждение существования и некоторых особенностей мира мышления можно найти у Г. Г. Шпета, который в статье «Мудрость или разум», написанной и впервые изданной в 1917 году, отметил (кстати, тоже ссылаясь на Парменида) важнейшую для философии идею о том, что есть не только мир идей, мир теории, но есть и укорененный в бытии мир смысла и мир мышления: «Философия как знание сознается тогда, когда мы направляем свою мысль на самое мысль. Бытие, как то, что есть, как истина, тогда изучается подлинно философски, когда наша рефлексия направляется на самое мысль о бытии. Ибо для мысли мысль открывается в себе самой, в своей подлинной сущности, а не как возникающее и преходящее, “нам кажущееся”, — здесь подлинно “незыблемое сердце совершенной Истины”. Бытие само по себе есть бытие, и только. Лишь через мысль бытие становится предметом мысли и, следовательно, предметом философии как знания. Нужно прийти к этому сознанию, что бытие философски есть через мысль, что предмет мысли и предмет бытия есть одно и то же, есть *один* предмет. “Одно и то же, — по Пармениду, — мышление и бытие”. Или он говорит еще яснее: “Одно и то же мышление и то, на что направляется мысль; и без сущего, в зависимости от которого высказывается мысль, ты не найдешь мышления”. Итак, не только предмет бытия для философии есть предмет мысли, но и мысль, на которую направляется философия, есть непременно мысль о предмете, и мысли “ни о чем”, следовательно, нет. Здесь у философии как знания — прочное и надежное начало». Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные труды по философии культуры. М., 2006. С. 316–317.

²³ Эльконин Д. Б. Интеллектуальные возможности младших школьников и содержание обучения // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 192, 196.

Когда в конце 1950-х годов Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов начинали работу по развитию теоретического мышления у детей, это был акт гражданского мужества, ибо развитие теоретического мышления отвращает от догматизма, пробуждает сомнение, а соответственно, и разум, избытка которого не наблюдается ни в каком обществе. Не случайно в начале 1980-х годов была сделана попытка со стороны Президиума АПН СССР запретить работы по развивающему обучению. Ученые устояли, но ущерб был огромен.

Мы можем заключить, что и в этой сфере Д. Б. Эльконин исходил из объективного существования мира мышления и искал пути не адаптации, а включения детей в новый мир, формирования у них соответствующих новообразований и эффективной интеллектуализации других психических функций.

Замечательные наблюдения относительно предпосылок к развитию теоретического мышления были в 1930-е годы сделаны А. В. Запорожцем и А. Н. Леонтьевым. А. В. Запорожец следующим образом описывал переход от интеллектуальных операций к интеллектуальным действиям: «Действие, бывшее раньше единым, как бы раскалывается на две части — теоретическую и практическую: осмысление задачи и ее практическое решение»²⁴. В «Методологических тетрадах» А. Н. Леонтьева мы читаем: «Как разумное содержание (действие в отношениях межпредметных) приводит к возникновению интеллектуального действия? Действие отделяется от субъекта как вещь, как орудие, или понятие. Разделяется собственно *подготовка* действия и само действие. Подготовка = приведение ситуации в соответствие со способом действия — орудием, понятием. Это теоретический интеллектуальный акт, который, становясь особым действием (разделение труда), становится теоретическим мышлением»²⁵. Значит, последователи Л. С. Выготского изучали не только субъективацию объективного (мышления), но и объективацию субъективного (порождение того же мышления из действия).

Конечно, по поводу мира мышления можно сказать, что после прогнозов В. И. Вернадского, П. Тейяра де Шардена о возникновении ноосферы, С. В. Мейена о будущей ноократии (власти разума) сомневаться в существовании мира мышления не приходится. Но ноосфера, как и духосфера в смысле П. А. Флоренского, слишком далека от человека. И та и другая ближе к космосу. К тому же они, во всяком случае пока, не состоялись. Более того, они, кажется, се-

²⁴ Запорожец А. В. Действие и интеллект // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 189.

²⁵ Леонтьев А. Н. Философия психологии. М., 1994. С. 191.

годня от нас даже дальше, чем в свое время были от авторов этих прогнозов. А мир мышления со всеми своими достоинствами и недостатками — это значительно более близкая к человеку реальность.

Здесь мы подходим к проблеме объективности мира деятельности и действий. Для аргументации этого положения нет нужды обращаться к античности. Д. Б. Эльконин пишет, что у ребенка уже к трем годам «появляется умение отделять самого себя от своих действий, на которое указывал еще И. М. Сеченов: «Когда ребенок на вопрос «Что делает Петя?» отвечает от себя совершенно правильно, т. е. соответственно действительности: «Петя сидит, играет, бегает», анализ собственной особы ушел у него уже на степень отделения себя от своих действий»²⁶. А. В. Запорожец по поводу аналогичных ситуаций в 1938 году писал, что действие становится как бы внешним объектом, даже внешним субъектом: «Каким образом может действие сделаться целью для другого действия? Каким образом действие может быть так отчуждено, что субъект начинает стремиться к нему, как к известной внешней вещи, внешнему предмету? ...Единственная возможность этого заключается в том, что действие *опредмечивается*, приобретает предметный характер. Тогда действие выступает перед ним, как внешний субъект, в котором действие овеществлено»²⁷.

Субъектность действия есть нечто большее, чем его предметность. Именно на этом настаивал Д. Б. Эльконин, вводя понятие «совокупного действия» — именно действия, осуществляемого ребенком со взрослым — именно совокупного, а не просто совместного действия. Он пишет, что на самых ранних этапах взрослый действует вместе с ребенком: «Здесь у ребенка вообще самостоятельных действий нет, так как взрослый действует руками ребенка (лишь постепенно вычлениются отдельные звенья, производимые собственно ребенком). Взрослый начинает действие, потом младенец его продолжает и вновь действует взрослый»²⁸. На основе идей Д. Б. Эльконина о совокупном действии, я предположил, что в качестве исходной единицы развития следует полагать не просто орудийное действие, а *совокупную деятельность*: «Совокупная деятельность “лепит” форму и содержание социальных и предметных действий индивида, — она становится базой для последующего

²⁶ Эльконин Д. Б. Развитие личности ребенка-дошкольника // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 143.

²⁷ Запорожец А. В. Действие и интеллект // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 190.

²⁸ Эльконин Д. Б. Выдержки из научных дневников // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 501.

развития и формирования как многообразных форм предметной деятельности, так и многообразных форм социальных действий и общения»²⁹. Б. Г. Мещеряков сравнил совокупную деятельность с онтогенетической Пангеей, из которой дифференцировались все континенты человеческого сознания и деятельности³⁰.

Д. Б. Эльконина волновала не столько интериоризация интерпсихического действия, сколько строение и порождающие свойства совокупного действия. В нем он видел искомое Л. С. Выготским единство аффекта и интеллекта: «Аффект — это ориентация на другого, социальный смысл. Интеллект — ориентация на реальные предметные условия осуществления действия»³¹. Благодаря этому действие ребенка, выделяясь и относительно автономизируясь от совокупного действия, приобретает рефлексивные черты, что дает дополнительные основания считать его не только единицей анализа психики, но и единицей ее развития.

В цитированной выше работе мы с Б. Г. Мещеряковым подчеркивали, что совокупная деятельность включает предметы, а нередко и орудия. Поэтому уже здесь встречается специфически человеческая среда развития если еще не деятельности, то прадеятельности (ср. «праязык» у Л. С. Выготского). Последняя (помимо предмета деятельности) объективно оказывается тройко опосредствованной: взрослым (медиатором, посредником), знаком (семиотическим артефактом) и орудием (техническим артефактом). Эта «святая троица» составляет фундамент исходной генетической единицы развития³². Последний аспект изучения совокупного действия интересно развивает Б. Д. Эльконин.

Многоликость действия, его субъектность, предметность, аффективность, рефлексивность представляют собой условия включения действия в осмысленную человеческую деятельность в качестве ее органического компонента. В контексте деятельности индивид, предмет, действие, слово, также рассматриваемое как действие, смыкаются в единое социокультурное и психофизическое образование. Впрочем, все сказанное не снимает проблематики

²⁹ Зинченко В. П., Смирнов С. Д. Методологические вопросы психологии. М., 1983. С. 139.

³⁰ Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г. Совокупная деятельность как генетически исходная единица психического развития // Психологическая наука и образование. 2000. № 2. С. 87.

³¹ Эльконин Д. Б. Выдержки из научных дневников // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 518.

³² Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г. Совокупная деятельность как генетически исходная единица психического развития // Психологическая наука и образование. 2000. № 2. С. 92.

анализа живого движения (термин Н. А. Бернштейна) и условий его превращения в формы действия, каким бы последнее ни было: индивидуальным или совокупным.

Глубокие соображения по этому поводу высказывал Г. В. Ф. Гегель: если растение, взаимодействуя с объектом, разрушает последний, то более высокая форма жизни характеризуется тем, что животное в процессе деятельности использует объект, оставляя его самим собою. Подобный тип «ассимиляции» объясняется тем, что живое движение подобно двуликому Янусу. Оно обладает не только энергией, силой, но и двумя видами чувствительности: к ситуации и к собственному исполнению. Поэтому движение — это не только «выход» из организма, но и «вход» в него. Собственно предметное действие — не только исполнение двигательной задачи, но и построение образа этого исполнения, построение образа действия, т. е. его же ментальной репрезентации и объективации.

Приведенные рассуждения относятся не только к действию, но и к деятельности. Д. Б. Эльконин сделал следующий шаг. Он убедительно показал двойную роль символизации в развитии игровой деятельности ребенка. Именно деятельности! Символизация вначале встречается при переименовании предмета. Это приводит к разрушению или по крайней мере к смягчению жесткой фиксации предметного действия, что создает потенциальную возможность впоследствии «встраивать» его (и себя!) в разные деятельности. Кроме того, символизация, по словам Д. Б. Эльконина, выступает как условие моделирования общего значения данного действия.

Затем символизация встречается при взятии на себя ребенком роли взрослого человека. И здесь обобщенность и сокращенность действий выступают как условия моделирования теперь уже социальных отношений между людьми в ходе их деятельности. Тем самым ребенок проясняет для себя человеческий смысл этой деятельности. Благодаря этому двойному плану «символизации», включает автор, действие включается в деятельность и получает свой смысл в системе межчеловеческих отношений³³.

Д. Б. Эльконин наметил решение одной из сложнейших проблем психологической теории деятельности. Многие справедливо говорили, что деятельность не складывается из действий. А. Н. Леонтьев настойчиво подчеркивал неаддитивность действий. Они действительно не аддитивны. Они должны *изменить* свои значения и смыслы и лишь таким образом «врасти» в деятельность или вы-

³³ Эльконин Д. Б. Психология игры. М., 1978. С. 245–246.

растить, породить ее. Таким образом, мы не только вновь подходим к объективации действия и деятельности, но и к проблеме порождения новых видов деятельности. Впрочем, никто из создателей или адептов психологической теории деятельности не сомневался в объективном, независимом от человека существовании мира деятельности. Максималист-методолог Г. П. Щедровицкий настаивал даже на бессубъектности мира деятельности и даже на том, что люди случайные эпифеномены миров мышления и деятельности³⁴. Психологи до таких высот объективации деятельности не поднимались. Напротив, удивлялись тому, что марксист Г. П. Щедровицкий не обратился к Марксу и не назвал деятельность *всеобщей* по аналогии с марксовым *всеобщим* трудом. Ее субъектом является человечество.

В некоторой степени возражения по поводу бессубъектности деятельности можно отнести и к «Психологии искусства» Л. С. Выготского. Может быть даже скорее к ее замыслу, чем к исполнению. В «Предисловии» к ней автор пишет: «Мы пытаемся изучать чистую и безличную психологию искусства, безотносительно к автору и читателю, исследуя только форму и материал искусства»³⁵. Слава Богу, полностью реализовать такой «бессубъектный» замысел ему не удалось. Его «социологизаторские» интенции по ходу изложения сильно смягчились: «...чувство не становится социальным, а, напротив, оно становится личным, когда каждый из нас переживает произведение искусства, становится личным, не переставая при этом оставаться социальным»³⁶.

Психологов больше интересовали особые или отдельные, по терминологии А. Н. Леонтьева, виды, их структура, овладение ими и порождаемые ими новообразования. И здесь вклад Д. Б. Эльконина огромен и неоценим. Можно по-разному относиться к психологической теории деятельности в вариантах А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна, к претензиям теории на статус главного объяснительного принципа в психологии, но невозможно преуменьшить значение эмпирических и экспериментальных исследований деятельности и действий, рассматриваемых в качестве предмета исследования.

Д. Б. Эльконину принадлежит возрастная периодизация психического развития, в основание которой положен феномен ведущей

деятельности. Как детский и возрастной психолог он изучал в той или иной мере все возрасты и соответствующие им виды ведущей деятельности. Предложенная Д. Б. Элькониним типология ведущих форм, или видов ведущей деятельности сохранилась до настоящего времени, пожалуй, за одним исключением. Согласно Д. Б. Эльконину ведущей деятельностью подростка является интимно-личностное общение. Этот тип деятельности невозможно унифицировать и нормативно определить. Поэтому в советское время демагоги от психологии заменяли интимно-личностное общение на общественно-значимую деятельность и даже на общественно-полезный труд. Более органичным и соответствующим варианту Д. Б. Эльконина является версия Б. Г. Мещерякова: «Подросток — это существо, которое имеет право самостоятельно искать и выбирать тип и вид ведущей деятельности. Единственная деятельность, которая может претендовать на адекватное соответствие своеобразию социальной ситуации развития подростка, — это *деятельность самоопределения*. Беда только в том, что увидеть это мешает традиция рассматривать самоопределение “по ту сторону” от деятельности»³⁷. В деятельности самоопределения большой удельный вес занимает *деятельность* диалогического по своей природе сознания, а, соответственно, и интимно-личностное общение.

В сфере психологии деятельности главные достижения Д. Б. Эльконина связаны с *миром* детской игры и с *миром* учебной деятельности. Надо ли говорить, что они тоже существуют объективно! Изложение (и анализ) этих исследований Д. Б. Эльконина далеко вышло бы за пределы разумного объема журнальной публикации. Они получили мировую известность и в этом не нуждаются.

Вернемся к вопросу о том, что затрудняло понимание Д. Б. Элькониним культурно-исторической психологии Л. С. Выготского, развитию которой он посвятил всю свою научную жизнь, и от которой он никогда не уходил, как это бывало с некоторыми другими учениками и последователями Л. С. Выготского. Напомню, что неклассичность этого направления состоит в том, что аффективно-смысловые образования сознания существуют до и вне индивидуального сознания. Эта идея была отчетливо артикулирована Л. С. Выготским в «Психологии искусства», написанной им в конце 1910-х — начале 20-х годов, то есть задолго до знаком-

³⁴ Щедровицкий Г. П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 569.

³⁵ Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987. С. 9.

³⁶ Там же. С. 239.

³⁷ Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г. Совокупная деятельность как генетически исходная единица психического развития // Психологическая наука и образование. № 2. 2000. С. 89. См. также: Мещеряков Б. Г. Логико-семантический анализ концепции Л. С. Выготского. Самара, 1998.

ства с Д. Б. Элькониным. Последний познакомился с ним через пять-шесть лет его в высшей степени энергичной и плодотворной работы в области психологии, когда проблематика психологии искусства отошла на второй-третий план его научных интересов.

Многие исследователи творчества Л. С. Выготского удивляются тому, что «Психология искусства» не была издана в середине 1920-х годов после защиты ее Л. С. Выготским в качестве кандидатской диссертации. Это едва ли объяснимо трудностями издания. В то время выходило много книг по психологии, в том числе была издана «Педагогическая психология» Л. С. Выготского (1926). Видимо, у Л. С. Выготского были свои сомнения или основания для того, чтобы воздержаться от публикации «Психологии искусства». Об этом говорит и то, что книга практически полностью была готова к изданию. На ней был даже входивший в идеологические правила игры, но еще не обязательный марксистский налет, а также избыточный революционный энтузиазм относительно роли нового искусства в «переплавке человека», в формировании «нового человека».

Не исключено, что Л. С. Выготский совершенно сознательно воздержался от публикации «Психологии искусства» именно потому, что в ней, как справедливо заметил Д. Б. Эльконин, достаточно отчетливо выступала проблематика сознания, над которым в середине 1920-х годов начали сгущаться тучи. Сознание стали идентифицировать с «классовым нутром», а не с какими-то странными аффективно-смысловыми образованиями, которые нужно еще обнаружить в искусстве. В 1929 году, в год Великого перелома, вся страна вовсе лишилась сознания. Нужно сказать, что в любом случае — сознательно или случайно не была издана «Психология искусства» — задержка Л. С. Выготского спасла. Напомню, что М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет, в книгах которых присутствовали мотивы о сознании, были репрессированы, а Г. Г. Шпет, в конце концов, расстрелян.

Л. С. Выготский в 1930-е годы сам смог убедиться, что задержка с изданием книги себя оправдала. Его подвергали критике за «грехи» существенно менее тяжкие, чем сознание. Ортодоксам не нравилась переоценка роли значения, знака, культуры в психическом развитии, так как все они, по мнению критиков, больше связаны с сознанием, а не с материальной деятельностью людей.

Так или иначе, но издание «Психологии искусства» задержалось почти на сорок лет. Она вышла в свет лишь в 1968 году. Значит Д. Б. Эльконин смог впервые познакомиться с ней после своей тридцатилетней энергичной и плодотворной работы в психологии. Но и спустя десять лет после выхода «Психологии искусства»

в его фундаментальной книге «Психология игры» (1978) на нее нет ссылок, она отсутствует в перечне литературы. Это не значит, что Д. Б. Эльконин утратил интерес к своему учителю. В разделе «От автора» подробно рассказано, какое влияние оказал Л. С. Выготский на Д. Б. Эльконина вообще и на разработку им проблем психологии игры в частности. В «Приложении» к книге приведены выписки из конспекта лекций Л. С. Выготского по психологии детей дошкольного возраста. Так что учитель не забыт, как не был забыт он А. В. Запорожцем и А. Р. Лурией, которые тоже не уделили «Психологии искусства» должного внимания. У них ссылки на эту работу носили преимущественно формально-биографический характер.

Д. Б. Эльконин предложил нам своего рода гештальт не только научной биографии, но и теории Л. С. Выготского. Он кратко выразил то, что я старался показать в этом длинном тексте: «...разрабатывая проблемы психологии искусства, Л. С. Выготский одновременно создавал общую схему исследований в объективной психологии, связывая ее суть и ее смысл. Я называю это неклассическим подходом к психологии. И с этой точки зрения, Л. С. Выготский является основоположником неклассической психологии — психологии, которая представляет собой науку о том, как из объективного мира искусства, из мира орудий производства, из мира всей промышленности рождается и возникает субъективный мир отдельного человека»³⁸. Далее Д. Б. Эльконин пишет, что лишь в этом контексте следует рассматривать постановку и разработку Л. С. Выготским проблем, связанных с ролью символа-знаковых систем в становлении человеческого сознания, с определением содержания и функций знаковых операций в этом процессе.

Интересно, что почти теми же словами П. Я. Гальперин выразил надежду на то, что психология когда-нибудь станет объективной наукой о субъективном мире человека, не заметив при этом реального вклада Л. С. Выготского в осуществление этой надежды. В «Методологических тетрадах» А. Н. Леонтьева мы также встречаем расширение понятия «объективное»: «Психика как субъективность входит в объективную реальность, независимо от познания ее (психики!): психика существует до психологии!»³⁹

Независимо от того, заметил П. Я. Гальперин вклад Л. С. Выготского или нет, существенно то, что и он, и Д. Б. Эльконин вольно

³⁸ Эльконин Д. Б. Об источниках неклассической психологии // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 478.

³⁹ Леонтьев А. Н. Философия психологии. М., 1994. С. 262.

или невольно, но одинаково решительно перевернули абсолютную идеалистическую формулу: психика есть субъективное отражение объективного мира, — оправдывающую любой произвол: мир такой, каким я его вижу, каким я его хочу видеть, каким я хочу, чтобы видели его окружающие... В формуле — психология есть объективная наука о субъективном мире — нет места произволу, зато есть место человеку и его богатейшему субъективному миру. А насколько верно или ошибочно он отражает объективный мир, отгораживается и бежит от него или стремится его изменить — это дело его личной судьбы, свободного выбора и обстоятельств.

По отношению к мирам языка, мышления, деятельности справедливы размышления Г. Г. Шпета, изложенные в статье «Сознание и его собственник» (1916). В самом начале он замечает: «Факты обнаружения психической деятельности человека в его восприятии или активном действии приписывают *душе* как носителю душевных сил и состояний человека, что приводит к определению самой души как нового значения я»⁴⁰. Термин «я» оказывается синонимом не только души, но и личности, индивида, собственного имени, имрека. Шпет иронизирует: «Полагают, что достигли Бог знает какой широты, если позволяют себе называть “я” не только “душу”, но и “психофизиологический организм” и при случае даже одетый в платье организм»⁴¹.

Шпет настаивает, что всякое «я» есть «собственное», уникальное, единственное. Но отсюда и соблазн говорить «мое сознание», «мое мышление», «моя деятельность», «моя душа» и т. д. Чье же мышление, сознание, чей язык на самом деле? Ответ Шпета на вопрос, кто собственник сознания, справедлив и для аналогичного вопроса о мышлении: «Если мы под сознанием и его единством понимаем *идеальный* предмет, т. е. рассматриваем его в его сущности, то лишено смысла спрашивать *чье* оно: к сущности я может относиться сознание, но не видно, чтобы к сущности сознания относилось быть сознанием я или иного “субъекта”»⁴². Иное дело, что «я» может быть носителем сознания, в том числе и своего индивидуального сознания, своего мышления, своей глупости, наконец. Эта мысль не нова. Шпет ссылается на Л. Леви-Брюля и Э. Дюркгейма. Последний писал, что образы действий, мысли и чувства представляют то замечательное свойство, что они существуют вне инди-

⁴⁰ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. *Philosophia Natalis*. Избранные труды по философии культуры. М., 2006. С. 264.

⁴¹ Там же. С. 297–298.

⁴² Там же. С. 306.

видуальных сознаний⁴³. Точно так же, как идеальная форма вещи существует вне самой вещи, что не уставал разъяснять Э. В. Ильенков. Есть и более древние источники, которые интересно проследживает С. С. Аверинцев⁴⁴. Эти утверждения не отрицают возможности существования индивидуального или общего единства сознания. Другой вопрос, насколько такие единства сознаваемы, способны к автономии, к свободе, к развитию и саморазвитию. В какой мере индивидуальное сознание способно черпать из «ничейного», или чистого сознания, из «ничейного» языка, зависит от него самого. От него же зависит внушаемость, подверженность манипулированию со стороны.

Надеюсь, беглость изложения некоторых вех научной биографии Д. Б. Эльконина не помешала читателю заметить, что его исследования, посвященные овладению ребенком словом, речью, мышлением, игровой, учебной деятельностью полностью соответствовали исходному замыслу Л. С. Выготского, который Д. Б. Эльконин, по его словам, не понимал и, в конце концов, обнаружил в «Психологии искусства». Как любил говорить А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин виновен, но заслуживает снисхождения. Этот замысел с такой отчетливостью, как он, не выразил никто из учеников и последователей Л. С. Выготского, включая участников «тройки» — А. Р. Лурию и А. Н. Леонтьева. Справедливо говорят, что большое видится на расстоянии, и мы должны быть благодарны Д. Б. Эльконину, что он *имел мужество жить долго* (И. В. Гёте). Он единственный из прямых учеников Л. С. Выготского, кто увидел изданным его шеститомное «Собрание сочинений» смог бросить ретроспективный взгляд на содеянное им.

Естественно ожидать вопрос читателя: а что, собственно, нового добавляет подобная трактовка культурно-исторической психологии, ключевые слова которой — «опосредствованность», «инструментальность», «орудийность»? Кстати, и Л. С. Выготский называл произведения искусства орудиями общества, называл орудиями слово, знак, символ. Я и сам дополнял список средств-медиаторов, которыми оперировал Л. С. Выготский, другими средствами, такими как смысл, миф, лик, а также медиатором-персоной, или персональным медиатором. Не являются ли, например, различия между словом-средством и миром языка, искусством-орудием и миром аффективно-смысловых образований, медиатором-персоной и

⁴³ Durkheim E. *Les Règles de Méthode sociologique*. 6 éd. Ch. I. Цит. по: Там же. С. 307.

⁴⁴ См.: Аверинцев С. С. *София—Логос*. Словарь. Киев, 2000. С. 159.

миром человеческих отношений, мышлением-функцией, новообразованием и миром мышления чисто лингвистическими, не имеющими принципиальной разницы для психологии, в том числе и для культурно-исторической? Думаю, что во всех перечисленных случаях различия подобны различиям между психическим и культурным, духовным развитием. Трудно спорить с тем, что особенно к последнему академическая психология почти не прикасалась. Одно дело усвоить, нередко путем импринтинга некоторые знаки и символы, а другое — овладеть миром символов, научиться дистанцироваться, отказываться от них, расшифровывать, разоблачать, научиться проникать в их безбрежную внутреннюю форму.

Сказанное, конечно, относится не только к объективно существующему миру аффективно-смысловых образований, к миру искусства, но и к мирам языка, мышления, сознания, деятельности, к миру человеческих отношений. Овладеть внешними средствами (орудиями, медиаторами, артефактами и т. п.) культурного развития, превратить их во внутренние средства и способы культурного поведения и деятельности крайне важно и нужно. Не менее важно и нужно суметь увидеть, открыть для себя скрытые за внешними средствами и орудиями миры. Посох, — при всей его полезности, — не самоцель, а средство путешествия и знакомства с миром (у С. Есенина посох — он же и светильник!). В таких путешествиях человек создает собственные миры и хорошо, если он сохраняет их открытыми. Конечно, такие миры субъективны. По словам первого учителя Д. Б. Эльконина А. А. Ухтомского, это такое субъективное, которое не менее объективно, чем так называемое объективное. Расширение понятия «объективное» путем включения в него реальности субъективного есть условие построения психологии как объективной науки о субъективном мире человека. И здесь достижения научной школы Л. С. Выготского в целом и одного из наиболее ярких ее представителей Даниила Борисовича Эльконина трудно переоценить.

Василий Васильевич Давыдов: личность и деятельность

Природа наша делаема.
А. А. Ухтомский

Печален я: со мною друга нет.
А. С. Пушкин

Саморазвитие духа

Василий Васильевич Давыдов родился в 1930 году 31 августа, и меня не оставляет чувство, что уже 1 сентября он пошел в школу. В школе он и умер. Ученье во всех смыслах этого слова было делом его жизни и страстью. От нас ушел очень хороший человек. Яркий, талантливый. Сегодня нам только кажется, что мы знаем, кого мы потеряли.

Более шестидесяти лет тому назад после окончания школы рабочей молодежи Василий Васильевич поступил в МГУ им. М. В. Ломоносова на отделение психологии философского факультета. Академик И. П. Бардин — металлург — очень сокрушался, что его лаборант Вася Давыдов не пошел по его рекомендации в Московский институт стали и сплавов. Психологии помог случай. Вася после выпускных экзаменов в школе, получив золотую медаль, поехал в деревню на родину своей мамы и познакомился там с отдыхающими москвичами. Те, присмотревшись к медалисту-абитуриенту — будущему металлургу, убедили его в том, что он обладает недюжинными способностями к гуманитарным наукам. Жаль, что имя этих проницательных людей утрачено.

Академик Т. И. Ойзерман очень сожалел, что психолог Давыдов после окончания университета не поступил к нему в аспирантуру на кафедру зарубежной философии. Цвет российской философии — Э. В. Ильенков, П. В. Копнин, Б. М. Кедров, М. К. Мамардашвили, Э. Г. Юдин, как и многие ныне здравствующие философы, считали его за своего. Каюсь, я однажды воспользовался его философской эрудицией. Мне нужно было срочно подготовить реферат по философии к кандидатскому экзамену. Порывшись в глубинах собственного духа, я не нашел там ничего сколько-нибудь стояще-

го и обратился за помощью к другу. Василий Васильевич на следующий день принес мне требуемое, и я получил не только отличную оценку, но и удивленно-восхищенный отзыв преподавателя.

Замечательные педагоги А. М. Арсеньев, Ю. К. Бабанский, М. Н. Скаткин, Э. И. Моносзон, президенты Академии педагогических наук СССР В. Н. Столетов, А. В. Петровский признавали его крупным педагогом. Но Василий Васильевич был психологом милостию Божией. Все остальное было средством понимания психологических проблем.

В. В. Давыдов был превосходным студентом. О том, что такое учебная деятельность, он знал не понаслышке. Выражаясь словами зрелого В. В. Давыдова, молодой Давыдов пришел в университет *сложившимся, полноценным субъектом учебной деятельности*. По его внешнему виду ни преподаватели, ни сокурсники не могли подозревать заключенных в нем *скрытых возможностей сознания, мышления, личности*, добавлю, — и деятельности. Но очень скоро все убедились, что у него уже были «сформированы познавательные потребности, мотивы, задачи, действия и операции учебной деятельности». Не только сформированы, но и представлены в целостной структуре, о чем он сам тогда, видимо, не имел ни малейшего представления. Не буду гадать, определялось ли *формирование его способностей, в том числе и к учебной деятельности, целенаправленно организованным содержанием и формой его воспитания и обучения* или *было стихийным*. Помню, что для него учение было естественным состоянием, а субъективно, — видимо, слабо дифференцированным «единым новообразованием». Может быть, Вася Давыдов решил понять природу собственных способностей, секрет своих учебных успехов и поэтому сделал учебную деятельность главным предметом исследования Василия Васильевича Давыдова, чтобы поделиться этим секретом с другими. А успехи были удивительными. Любой из нас, его однокурсников, сильно бы удивился, вдруг узнав, что В. Давыдов не сумел ответить на семинаре, зачете или экзамене, будь то анатомия, цитоархитектоника мозга, антропология, история партии, языкознание или психология. Ему были незнакомы предэкзаменационные волнения, стрессы, лихорадочное перелистывание конспектов и, вообще, никакая суета. Его ответы всегда были четки, содержательны, уверенны, в нем не было бравады, бахвальства, пренебрежения к слабым студентам. Он совсем не был похож на отличника. Ему не чужды были кутеж, кураж, он не чурался компаний, имел музыкальный слух и хороший голос, не отлынивал от общественной работы, дефицита которой в наше время не ощущалось.

Не буду спорить с В. В. Давыдовым о том, что все психические способности человека формируются в деятельности. Хотя я так же, как и он, приверженец культурно-исторической психологии, но в случае В. В. Давыдова я всегда чувствовал его природные способности и силы, его неумную энергию и богатый творческий потенциал. Он впоследствии имел все основания утверждать, что именно творческий потенциал представляет собой ядро личности. Без него она просто не может «выделаться».

Ему, да и всем нам, его однокашникам, повезло с учителями психологами — нас учили П. Я. Гальперин, К. М. Гуревич, А. В. Запорожец, Б. В. Зейгарник, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, Е. Н. Соколов, Н. Ф. Талызина, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин. К их числу несомненно относится и любимый всеми нами психологически ориентированный антрополог Я. Я. Рогинский. Мы, конечно, тогда слабо представляли себе, что это ареопаг имен, умов, талантов, личностей. Они были просты в общении, доступны. Нам обеспечивалась свобода выбора и миграции от одного к другому. Например, Ю. Б. Гиппенрейтер перешла от П. Я. Гальперина к А. Н. Леонтьеву, Н. Н. Поддъяков — от А. Н. Леонтьева к А. В. Запорожцу, Л. С. Цветкова — от А. В. Запорожца к А. Р. Лурия, В. П. Зинченко — от С. Л. Рубинштейна к А. В. Запорожцу и т. п. Два года курс общей психологии нам читал А. Н. Леонтьев, а семинарские занятия по его курсу вел П. Я. Гальперин. В следующие два года мы слушали у П. Я. Гальперина историю психологии, психологию мышления и речи. С первых курсов ученичество В. В. Давыдова у П. Я. Гальперина перешло в сотрудничество и в дружбу. Они даже в каникулы не могли надолго расстаться друг с другом. Студент ездил с учителем отдыхать на Волгу, где они переправлялись на пустынный остров и без галстуков продолжали свои «интеллектуальные безумства».

Учитель и ученик были очень разными, что, видимо, и сблизило их. Молодой задор Василия Васильевича сдерживался ироничностью и скепсисом Петра Яковлевича. Эти его качества были основаны на превосходном знании истории нашей науки, на дисциплине ума и способности к укрощению своей собственной фантазии. После длительного латентного периода, спустя десятилетия, некоторые из черт учителя перешли к ученику. Я их почувствовал на себе по тому, как он сдерживал некоторые мои поэтические увлечения, теоретико-методологические фантазии, уводившие меня, по его мнению, со столбовой дороги психологической теории деятельности. Его укоры (и уколы) не мешали мне постоянно консультироваться с ним, зачитывать ему сомнительные места по телефону. Хотя наши кабинеты в Академии были рядом, но обсуждать там научные

проблемы было практически невозможно. В критике В. В. Давыдов, как и наш учитель П. Я. Гальперин, был нелицеприятен.

Лекции А. Н. Леонтьева, школа П. Я. Гальперина, дружба с философом Э. В. Ильенковым и его окружением оказали влияние на всю дальнейшую научную биографию и судьбу В. В. Давыдова. Все они были носителями теоретического мышления, так сказать, *in vivo* и пробудили в нем интерес к тому, что же такое теоретическое мышление *per se*, каковы его корни и пути развития. Проблематика формирования умственных действий, которую он так успешно начал развивать с П. Я. Гальпериным, оказалась ему тесна. Его влекли теоретические обобщения и понятия, теоретическое мышление как предмет исследования и формирования, выступавшее для В. В. Давыдова в тесной связи с «мировой загадкой» происхождения психики, истоки которой он всегда искал в деятельности и других формах активности живого существа. Многие годы спустя он характеризовал теоретические знания как знания, содержанием которых является процесс происхождения и развития какого-либо предмета.

Судьба не всегда благоприятствовала В. В. Давыдову. После аспирантуры его не оставили в МГУ. Причиной была его слишком тесная связь с философами-фрондерами, первыми «возмутителями спокойствия» в советской философии — Э. В. Ильенковым, А. А. Зиновьевым, В. И. Коровиковым, начавшими работу по восстановлению и развитию первоначальной формы марксистской диалектики. А. Р. Лурия, у которого было безошибочное чутье к таланту, тут же пристроил В. В. Давыдова редактором созданного тогда им журнала «Доклады АПН РСФСР». Ему пришлось несколько лет поработать редактором не только «Докладов», но и книг, стоявших в планах издательства Академии педагогических наук СССР. Редактором В. В. Давыдов был замечательным и превосходно переводил некоторых авторов с русского на русский язык. Когда это было практически невозможно, В. В. Давыдов обращался ко мне, и я писал рецензии, после которых авторы уже не могли подняться. Редактор и рецензент выполняли разные функции: редактор учил, как надо писать, а рецензент — как не надо.

После издательства он пришел в Институт психологии (ныне — Психологический институт РАО), с которым была связана вся его дальнейшая жизнь. Приходу в институт В. В. Давыдов, как и автор этих строк, обязан незабвенному А. А. Смирнову, который не дал пропасть талантливому молодому ученому в должности главного редактора издательства АПН РСФСР. Узнав о полученном В. В. Давыдовым предложении занять эту должность, Анатолий Александрович пригласил в институт своего будущего преемника.

И здесь произошла еще одна счастливая не только для В. В. Давыдова, но и для Д. Б. Эльконина встреча (хотя она состоялась только потому, что они уже давно знали друг друга). Это была встреча теоретических интересов, замыслов и энергии молодого ученого с огромным педагогическим опытом, научной проницательностью, здравым смыслом и мудростью зрелого Д. Б. Эльконина — прямого соратника Л. С. Выготского. В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина сблизил, видимо, буйный научный темперамент, которым в полной мере обладали оба. Они избрали в качестве плацдарма для своих исследований 91-ю московскую школу. Именно в ней закладывались основы теории учебной деятельности, теории и практики развивающего обучения. Именно здесь родилась образовательная система Эльконина-Давыдова, по которой в России сегодня работают около 10 % школ. Уже несколько лет патронаж их деятельности осуществляет Ассоциация развивающего обучения, президентом которой был В. В. Давыдов.

91-я школа — это не только детище Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, это в огромной мере и подвижничество Василия Васильевича, это продолжавшийся почти двадцать лет тяжкий труд по разработке программ, по составлению поурочных конспектов учителям. Книги, учебники, ученые и почетные звания, признание, академическая и президентская премии — все это потом. А тогда были повседневная работа с учителями и одновременно большая радость исследователя, в которой он не отказывал себе до последнего дня.

Замечательный ученик стал замечательным учителем. Я об этом говорю со знанием дела, поскольку волею судеб, а скорее, волею Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова мой сын Саша Зинченко учился в 91-й школе, и я в качестве друга, коллеги В. В. Давыдова и в качестве заинтересованного отца часто бывал в школе и в находившейся при ней лаборатории, наблюдал за отношением учителей к сотрудникам лаборатории и ее руководителям, а в своем доме наблюдал за личностным ростом, развитием сына и его одноклассников. Обучение действительно оказалось развивающим. Правда, «фронт развития» был очень неровным. В чем-то обучение (в соответствии с теорией) делало один шаг, а развитие два-три..., в чем-то обучение делало десять шагов, топталось на месте, а о развитии говорить и вовсе не приходилось. Например, новая методика обучения письму «сформировала» у сына такой почерк, который Саша исправил, лишь начав пользоваться компьютером. В обучении цветокомпозиции были получены замечательные результаты, которые себя тут же исчерпали. Во многом наблюдались эффекты скрытого или, как говорили необихевиористы, латентного обуче-

ния, которое проявляло себя спустя годы. Главный итог я видел не в предметном обучении, не в полученной сумме знаний, которая всегда недостаточна и сомнительна, а в формировании установки на понимание (а не на запоминание и усвоение), в формировании приемов учебной деятельности (которая, согласно В. В. Давыдову, внутренне связана с теоретическим мышлением) и, если можно так выразиться, в снятии барьеров перед учением, задачей, пониманием, учителем, экзаменатором. Это закладывало основания будущей самостоятельности и веры в себя, в свои собственные силы.

В теории развивающего обучения имеются три тесно связанных между собой центра: учебная деятельность, теоретическое мышление и рефлексия. Только при наличии всех трех можно говорить о развивающем обучении именно в смысле Эльконина-Давыдова. Это не просто понять, но еще труднее реализовать в школьном преподавании. Самый сложный пункт, которому В. В. Давыдов придавал решающее значение и уделял наибольшее внимание, это соотношение эмпирического и теоретического мышления. Понимание этого соотношения требует определенной философско-методологической культуры. Там, где ее нет или где она недостаточна, раздаются вполне обывательские упреки: «как это возможно в младших классах готовить теоретиков?» Прибегну к неожиданной (может быть, и для Д. Б. Эльконина с В. В. Давыдовым) аргументации, что здесь дело не в возрасте. Прислушаемся или вчитаемся в воспоминания П. А. Флоренского о своем детстве: «На Аджарском шоссе я с детства приучился видеть землю не только с поверхности, а и в разрезе, даже преимущественно в разрезе, и потому на самое время смотрел сбоку. Тут дело совсем не в отвлеченных понятиях, и до всего, указываемого мною, чрезвычайно легко подойти, руководствуясь рассуждениями. А дело здесь в всосавшихся спервоначала и по-своему сложивших всю мысль привычках ума. <...> В строении моего восприятия план представляется внутренне далеким, а поперечный разрез — близким; единовременность говорит и склонна распасться на отдельные группы предметов, последовательно обозреваемые, тогда как последовательность — это мой способ мышления, причем она воспринимается как единовременная. <...> Координата — времени — стала настолько живой, что время утратило свой характер дурной бесконечности, сделалось уютным и замкнутым, приблизилось к вечности. Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом проросла все мышление и определила основной характер его — стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали»¹.

¹ Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М., 1992. С. 99.

Это и есть главные черты теоретического мышления, сложившиеся у П. А. Флоренского в детские годы. Именно о развитии такого мышления в начальной школе заботился В. В. Давыдов. Его интересовали глубина, корни и вертикаль. Он никогда не стремился строить образование по типу «шведского стола» знаний (выражение Э. Фромма) и вообще с подозрением относился к всезнайкам и скорохватам. К сожалению, по легкому и пагубному для учащихся пути «шведского стола» идут многие «инноваторы» в образовании, растет число экзотических кушаний. В. В. Давыдов заботился о методе, а какие знания приобретут с его помощью учащиеся, — это дело жизненных обстоятельств, свободного выбора.

Теоретическое мышление о корнях, истоках, о происхождении и развитии — это живое мышление, так как оно само вырастает из живого знания. Думаю, что теоретическое мышление и живое знание обладают свойствами гетерогенности и полифонии. Оставим этот особый сюжет и вернемся в 91-ю школу.

Забавным доказательством того, что Д. Б. Эльконину и В. В. Давыдову удавалось формировать в первых классах начала теоретического мышления, были недоразумения между детьми и учителями при переходе в пятый класс. Дети отказывались усваивать готовые знания. Они требовали ответа на вопросы, откуда это известно, почему так происходит и т. п. Не все учителя средней школы были готовы к этому, некоторые жаловались В. В. Давыдову на избыточную любознательность детей. Были случаи даже ухода, бегства от маленьких теоретиков.

Атмосфера в школе была замечательной. Многие выпускники не только сохраняют о ней добрую память, но навещают ее, приходят на первый звонок 1 сентября. Эмигрировавшие выпускники приглашали в гости и радушно принимали своего в высшей степени требовательного учителя математики В. М. Сапожникова, которого связывали с В. В. Давыдовым дружеские отношения.

Позднее я назвал систему Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова психологической педагогикой. К моему удивлению, на сей раз В. В. Давыдов не спорил с этим. Согласился он и с тем, что для развивающего обучения важно не столько определение «нормы развития», сколько понимание развития как нормы. Между прочим, это не только точнее, но и труднее, поскольку требует и учета горизонта (вместо зоны) ближайшего развития и ее целенаправленного расширения, а то и построения.

Поднимаясь по административной лестнице до вице-президента Российской Академии образования, В. В. Давыдов никогда не терял связи со школой и со своей лабораторией в Институте психологии,

продолжая теоретические и экспериментальные исследования, методическую работу по совершенствованию школьного преподавания. В последние годы мне вновь посчастливилось наблюдать его работу с учителями, с работниками народного образования в городах и всех России и за ее рубежами. Он выступал как ученый, педагог, как истинный просветитель. В. В. Давыдов любил свое дело, а школа, учителя отвечали ему взаимностью. Казалось, что он «двужильный». Он не уставал от своей просветительской деятельности.

Талант В. В. Давыдова — ученого-психолога был очень рано и безоговорочно признан старшим поколением психологов. В. В. Давыдов на равных общался и сотрудничал не только со своими учителями, но и с Н. А. Бернштейном, Ф. Д. Горбовым, Н. И. Жинкиным, А. А. Смирновым, П. А. Шеваревым, а также с психологами Еревана, Киева, Риги, Тбилиси, Харькова, Тулы и других городов. На равных он разговаривал и спорил с крупнейшими математиками о том, как преподавать математику в начальной школе.

Его вклад в общую психологию, в педагогическую психологию, в образование, в школьное дело огромен. Учебная деятельность, практическое сознание, теоретическое мышление, творчество как ядро личности, личность *per se*, рефлексия — это основные доминанты его собственной научной и практической деятельности и характерные особенности его богатой и незаурядной натуры. Одновременно это и этапы саморазвития давыдовского духа. В. В. Давыдов находился под влиянием гегелевско-марксовской диалектики, что всегда было предметом его особой гордости. Могу себе представить перечисленные доминанты, этапы и как разделы ненаписанной им, но существующей в его трудах фундаментальной монографии, или... монографии о его научном наследии, которое при всем его пиетете к своим учителям не менее богато, чем оставленное ими. Он всегда понимал, что общая и педагогическая психология — это сообщающиеся сосуды, что они невозможны одна без другой. И став директором в трудное для Института психологии время, он отстаивал его право на фундаментальную науку. Это право чиновники от науки хотели у Института отнять и передоверить едва родившемуся Институту психологии Академии наук СССР. Мало того, они забрали у Института Имя и передали его новому институту. Челпановский институт должен был получить название Института педагогической психологии. В. В. Давыдов сопротивлялся как мог и добился того, чтобы институт назывался Институтом общей и педагогической психологии². Он предпринял реальные шаги

² Тем удивительнее и непростительнее, что молодой доктор отправил на пенсию еще полных сил замечательных ученых Н. И. Жинкина, Л. С. Славину, А. Н. Соколова.

для расширения исследований по общей психологии, для организации дискуссий по кардинальным теоретико-методологическим проблемам психологии и образования. Ему помогали в этом психологически и педагогически ориентированные философы-профессионалы, многие из которых, учась на философском факультете МГУ, слушали общую психологию у П. Я. Гальперина. Это А. С. Арсеньев, Г. С. Батищев, Э. В. Бесчеремных, В. С. Библер, В. А. Лекторский, М. К. Мамардашвили, Ф. Т. Михайлов, А. П. Огурцов, В. С. Швырев, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и другие. Все они стали участниками организованного В. В. Давыдовым замечательного семинара по философско-методологическим проблемам психологии. Институт приобретал второе дыхание. Как в старые добрые челпановские времена, в *auditorium maximum* вновь разгорались философско-психологические дискуссии, которые ничем не напоминали становившуюся тогда официальной психолого-физиологическую версию системного подхода, наводившего на В. В. Давыдова тоску, которую он не умел скрывать.

В. В. Давыдов многое сделал для того, чтобы психология заслуживала наименования культурно-исторической. Не могу утверждать, что она стала именно таковой, но, несомненно, она стала культурно-событийной. Этому способствовал переход ряда участников семинара на постоянную работу в Институт. Культурными событиями не только для Института, но и для культурной Москвы были доклады Л. Н. Гумилева, курсы лекций М. К. Мамардашвили, сосланного к тому времени в Тбилиси. По стенограммам этих курсов были изданы «Картезианские размышления» и «Кантианские вариации».

Подобное естественное для В. В. Давыдова поведение сочли строптивостью, которая не могла остаться безнаказанной. Его независимость, профессионализм, высокая требовательность, научная честность, приверженность деятельностному подходу раздражали. Наряду с наступлением так называемого системного подхода на психологическую теорию деятельности началась травля В. В. Давыдова. Его исключили из партии и в соответствии с советскими обычаями автоматически освободили от должности директора Института общей и педагогической психологии АПН СССР. Таким образом, его непосредственные противники — с позволения сказать, коллеги, инициировавшие эту постыдную акцию, сами остались «чисты». К сожалению, пришлось еще раз убедиться, что нет большей ненависти, чем ненависть посредственности к таланту. К счастью, она не может заблаговременно его распознать и задушить в колыбели, а когда он разовьется, уже поздно. Но опыт, конечно, не только В. В. Давыдова, показывает, что портить жизнь, ставить палки в ко-

леса никогда не поздно. Между прочим, позиция педагогов в этой ситуации заслуживает большего уважения. Они участвовали в травле В. В. Давыдова, но делали это открыто. Некоторые — искренне, некоторые — по заданию партии. Специалистов по коммунистическому воспитанию разъярила книга А. С. Арсеньева, Э. В. Бесчеремных, В. В. Давыдова и др. «Философско-психологические проблемы развития образования», вышедшая под редакцией В. В. Давыдова³. Хотя она получила весь дежурный набор эпитетов: идеализм, мракобесие, подрыв, подкоп и т. п., — это делалось, по крайней мере, публично. Так же открыто Президиум АПН потребовал, чтобы новый директор Института вывел вступившегося за шестилеток Д. Б. Эльконина из состава ученого совета института. Закаленный советской властью и лично товарищем А. А. Ждановым, Д. Б. Эльконин шутил по этому поводу: «То ли время не то, то ли патроны в КГБ отсырели?» Для характеристики нравов того времени необходимо сказать, что никто из руководителей Академии педагогических наук, Отделения психологии и возрастной физиологии этой академии, Института психологии АН СССР, факультета психологии МГУ, Общества психологов СССР не вступился за В. В. Давыдова. Чудовищность этой истории усугубляется еще и тем, что В. В. Давыдов был в то время едва ли не единственным в стране психологом, профессионально владевшим историей философии, в том числе и философией марксизма. Примечательно, что за несколько лет до В. В. Давыдова подобной травле и за то же подвергался его друг Э. В. Ильенков. Но мир не без добрых людей. В защиту В. В. Давыдова выступили физики Е. П. Велихов, Ю. Б. Харитон, философы, в их числе и наши однокашники по философскому факультету МГУ. Решающую роль в восстановлении В. В. Давыдова в партии сыграл философ Б. М. Пышков, работавший в то время в Международном отделе ЦК КПСС. Он популярно объяснил руководителю Отдела пропаганды ЦК КПСС Г. Л. Смирнову, что неприлично исключать его друга, академика Васю Давыдова из партии, и машина дала задний ход.

Знаю, что добрый человек В. В. Давыдов до конца своих дней ничего не забыл и не простил своих гонителей и их помощников. Случившееся дорого обошлось В. В. Давыдову, но, к счастью, не сломило его. Помню, как он по-давыдовски заразительно смеялся, когда его утешал М. К. Мамардашвили. Мы с В. В. Давыдовым оказались в Тбилиси, и при первой встрече Мераб обнял Васю и спросил, как о чем-то само собой разумеющемся: «Вася, ты уже создал

³ Философско-психологические проблемы развития образования / Под ред. В. В. Давыдова. М., 1981.

свою партию?» На недоуменный взгляд В. В. Давыдова он пояснил: «Насколько я тебя знаю, ты ведь не можешь жить вне партии...»

Несмотря ни на что директорство В. В. Давыдова было важной вехой в истории Психологического института. Его имя всегда будет стоять рядом с именами двух беспартийных директоров — Г. И. Челпанова и А. А. Смирнова. Возможно, исключение В. В. Давыдова из партии символично: оно еще больше сблизило его с этими замечательными людьми. А ведь институт за свою почти столетнюю историю пережил многих директоров, некоторых даже его старожилы не могут назвать.

Василий Васильевич был замечательным учителем, научным руководителем десятков аспирантов и соискателей. Многие из них требовали, как говорил Б. М. Теплов, интенсивного руководства. В. В. Давыдов был очень надежным психологическим причалом. Не у всех причаливавших были чистые помыслы, но когда они, получив нужное, отворачивались от него, В. В. Давыдов не говорил о них плохо. Он ценил свой труд и душу, которую в них вкладывал.

Научная школа Давыдова существует, и не только в России, не только в СНГ, но и в мире. Мне на следующий день после кончины Василия Васильевича позвонил из Швеции наш американский коллега и друг, профессор Джеймс Верч, и сказал, что психологи многих стран знают о случившемся и скорбят вместе с нами. Очень растрогала нас телеграмма из Израиля, под которой стояли подписи семнадцати русских психологов, в их числе, конечно, и учеников В. В. Давыдова.

На IV Международном конгрессе по теории деятельности (Дания, Орхус, июнь 1998 года) состоялось специальное заседание, посвященное памяти Василия Давыдова, на котором выступали Л. В. Берцфаи — вдова В. В. Давыдова, И. Ломпшер (Германия), С. Веджетти (Италия), В. П. Зинченко (Россия), К. Аmano (Япония), М. Коул (США), Ю. Энгерстём (Финляндия), В. В. Рубцов, Ю. В. Громыко (Россия), Ж. Карпей (Нидерланды) и другие. На пленарном заседании конгресса был зачитан доклад В. В. Давыдова «Новый подход к пониманию структуры и содержания деятельности», который он успел подготовить до своей кончины. Его автор остался верен себе, верен психологической теории деятельности С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева, наконец, верен проблематике природы идеального, которую он многие годы обсуждал с Э. В. Ильенковым.

Талант, трудолюбие, ответственность, сила духа Василия Васильевича сочетались с ранимостью, которую он скрывал, как и свои недуги. Наряду с любимой работой он тянул тяжелую административную, гражданскую, социальную и, что греха таить, дружескую

лямку, ни от чего не отказываясь. Плохо мы его берегли. Возможно, слабой компенсацией этого будет наша долгая и благодарная память о Василии Васильевиче Давыдове.

Готовность к мысли

В «Заключении» к книге «Теория развивающего обучения»⁴ В. В. Давыдов в качестве важнейших итогов многолетней собственной работы и работы коллектива его единомышленников указал следующие. Постоянное усвоение полноценных понятий и умений при осуществлении учебной деятельности способствует развитию у школьников мышления и сознания теоретического типа. Это, так сказать, общий результат. Более частный, ведущий к общему, состоит в том, что выяснение и уточнение условий развития основных мыслительных действий — анализа, планирования, рефлексии, абстракции и обобщения — как компонентов теоретического мышления обеспечивает выполнение школьниками учебных действий. Обратим внимание на точность (или осторожность) формулировок. Теоретическое мышление и его компоненты развиваются, а учебная деятельность и учебные действия усваиваются, формируются. Это отчетливо заявлено как при подведении итогов, так и при обозначении новой фундаментальной задачи: изучать формирование учебной деятельности, процесс ее интериоризации и по ходу последней выявлять конкретные особенности развития познавательных процессов у школьников. Наконец, В. В. Давыдов говорит о необходимости продолжения разработки такой сложной проблемы, как внутренняя взаимосвязь развития теоретического мышления и формирования учебных действий. Но и до окончания такой разработки он утверждал, что «всеобщими моментами психического развития человека служат его обучение и воспитание»⁵. Замечу, моментами, а не формами. Правда, иногда у него речь шла об усвоении/присвоении как о форме именно детского (а не всеобщего) развития.

В высшей степени примечательно положение о том, что выявление конкретных особенностей познавательных процессов должно осуществляться по ходу интериоризации, ибо в конце интериоризации шансов понять конкретные особенности познавательных процессов мало. В другой работе В. В. Давыдов приводит по этому поводу давнее высказывание П. Я. Гальперина: «Только в ге-

⁴ Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

⁵ Давыдов В. В. Последние выступления. Рига, 1998. С. 26.

незисе раскрывается подлинное строение психических функций: когда они окончательно сложатся, строение их становится неразличимым, более того — “уходит вглубь” и прикрывается “явлением” совсем другого вида, природы и строения»⁶. Другими словами, под этим прикрытием остается тайна психических функций, в том числе и тайна мышления. Забегая вперед, зададимся вопросом: не легче ли эту тайну просто отбросить, как это не раз бывало в истории психологии? Если подлинное строение раскрывается только в генезисе, или, что то же самое, по ходу интериоризации, то зачем умножать сущности? То, как поступить с тайной, обсудим позднее, а пока вернемся к логике В. В. Давыдова.

Итак, предметом обучения и формирования являются учебная деятельность и учебные действия, а целью — развитие теоретического мышления и перечисленных выше его компонентов. Оно же выступило и в качестве предмета исследования, которое должно было дать ответ на вопросы о том, что подлежит развитию и с помощью каких средств. Значит, развитие теоретического мышления у учащихся выступало в качестве побочного (а не прямого) продукта развивающейся учебной деятельности. Стратегия В. В. Давыдова вполне соответствует размышлениям Л. С. Выготского о сложных взаимоотношениях между обучением и развитием: «Мы обучили ребенка на пфенниг, а он развился на марку. Один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии. В этом и заключается самый положительный момент новой теории. Она учит нас видеть разницу между таким обучением, которое дает столько, сколько дает, и между таким, которое дает больше, чем оно дает непосредственно»⁷. Эту же мысль более конкретно выразил Д. Н. Узнадзе: «Мы обучаем ребенка письму, и вот он уже выучился писать две-три буквы. В чем же эффект учения? <...> Он приобрел умение активно регулировать в определенных границах работу своих малых мышц. Научившись писать эти две-три буквы, он, кроме этого, приобрел и нечто другое: он способен сейчас легче овладеть письмом других букв. А когда он научится писать несколько слов, он будет знать, как писать не только эти слова, но и другие, <...> которым он не только никогда не учился, но которых раньше никогда не слышал»⁸. Общий вывод Д. Н. Узнадзе состоит в том, что обучение предполагает не только приобретение конкретного, индивидуального навы-

⁶ Гальперин П. Я. К учению об интериоризации // Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 25–32.

⁷ Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 230.

⁸ Узнадзе Д. Н. Теория установки. М.; Воронеж, 1997. С. 408.

ка или знания, но и нечто большее, а именно: оно направлено на развитие соответствующих сил учащихся⁹. Подобное мы наблюдаем и в перцептивном научении. Сила — это и размерность мышления, мысли. Р. Декарт говорил, что истинна только сильная мысль. А. Блок говорил о «мускулах сознания», М. К. Мамардашвили — «о мускулах мысли», которые по мере упражнения могут укрепляться.

Казалось бы, при такой постановке вопроса непредсказуемы или, скажем мягче, трудно предсказуемы отдаленные последствия обучения. Предвидение на сто шагов вперед вообще не представимо, как не предствимы и точки приложения развивающихся сил, которые разбудило обучение. Л. С. Выготский и сам говорил о том, что развитие совершается с иной скоростью, чем обучение, каждый из этих процессов измеряется собственной мерой. Развитие осознания и произвольности не может совпадать по своему ритму с ритмом программы по грамматике. Развитие не подчиняется школьной программе, оно имеет собственную логику. Было бы чудом, если бы существовало полное соответствие между одним и другим¹⁰.

Эта коллекция высказываний Л. С. Выготского весьма противоречива. По отношению к развитию автор проявляет безграничный оптимизм, похожий на оптимизм генетика А. Г. Гурвича, говорившего о «неудержимости онтогенеза», и на оптимизм поэта: «Скорость внутреннего прогресса быстрее, чем скорость мира» (И. Бродский). По отношению же к обучению звучит нескрываемый пессимизм, распространяющийся, правда, на существующие теории и практики обучения. В поисках пути разрешения этого противоречия Л. С. Выготский находит место психологическим исследованиям в проблематике установления взаимоотношений между обучением и развитием. Для человека (ребенка) «развитие из сотрудничества путем подражания, которое является источником возникновения всех специфических человеческих свойств сознания, развитие из обучения — основной факт»¹¹. Цитируя это высказывание Л. С. Выготского, В. В. Давыдов опустил слова «путем подражания». Он предпочитал, вслед за А. Н. Леонтьевым, использовать термин «присвоение», а чаще говорил о «воспроизведении». О подражании он говорил лишь в контексте проблемы развития психики в раннем детстве. Между прочим, слово «подражание» во все не калька со слова «имитация», в нем присутствует активный

⁹ Там же. С. 409.

¹⁰ Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 244.

¹¹ Там же. С. 250.

залоги, как и в словах «отражение», «выражение», «кураж» не в меньшей степени, чем в слове «воспроизведение». Думаю, что более приемлемы два последних термина, хотя в них и слабо представлен смысловой оттенок продуктивности соответствующих этим терминам актов. Его желательно специально подчеркнуть. Этот оттенок удачно ввел в написание последнего термина М. К. Мамардашвили — «вос-произведение». Наиболее адекватно продуктивность психических актов выражается словом «порождение». Это относится к порождению не только образов, слов, мыслей, но и движений, которые не повторяются, а каждый раз строятся.

Развитие происходит не из всякого обучения, а только из того, которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой! «Поэтому представляется правдоподобным, что обучение и развитие в школе относятся друг к другу, как зона ближайшего развития и уровень актуального развития»¹². И, наконец, главное: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет в процессе обучения вызвать к жизни те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне ближайшего развития»¹³. Здесь ключевое словосочетание — вызвать к жизни, а не сформировать. Л. С. Выготский следует той же логике при обсуждении проблемы культурного развития. Он различает и соотносит культурный возраст с паспортным, с одной стороны, и с интеллектуальным — с другой. Последний он связывает с одаренностью¹⁴. Не обошел Л. С. Выготский и проблему развития личности: «Сущность культурного развития <...> заключается в том, что человек овладевает процессами собственного поведения, но необходимой предпосылкой для овладения является образование личности, и поэтому развитие той или иной функции всегда производно от развития личности в целом и обусловлено им»¹⁵. Вместе с тем, констатируя этот факт, автор признает, что личность как бы незримо присутствовала и участвовала в его исследованиях высших психических функций. Это честное признание не означает того, что в трудах Л. С. Выготского мало разговоров о личности. Однако предметом исследования она не выступила. То же можно сказать о теории развивающего обучения. Позицию обоих ученых следует признать разумной, ибо развитие личности — таинственно, а формирование — безнравственно.

¹² Там же. С. 250.

¹³ Там же. С. 251.

¹⁴ Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3. М., 1983. С. 305.

¹⁵ Там же. С. 316.

Таким образом, мы видим, что В. В. Давыдову, различавшему формирование учебной деятельности и развитие мышления, было с кого брать пример. Упомянутое выше «Заключение» к своей книге он начал так: «Теория развивающего обучения разработана нами в русле основных идей научной школы Л. С. Выготского и одновременно развивает и конкретизирует эти идеи. В данной теории было найдено основание для закономерного сочетания двух направлений, возникших в этой школе и долгое время отдельно в ней существовавших, — деятельностного и культурно-исторического»¹⁶.

Что же развил и конкретизировал В. В. Давыдов в «гипотезе Л. С. Выготского о роли обучения в психическом развитии человека»? Оставим пока в стороне развитие и конкретизацию деятельностного подхода А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна применительно к учебной деятельности. Здесь успехи научной школы Эльконина-Давыдова очевидны. Созданная теория учебной деятельности развивается и операционализируется применительно к старшим школьным возрастам. Она используется и при организации других видов деятельности. Попробуем понять, как в рамках развивающего обучения оказывается возможным развитие мышления. Как возможно невозможное?

Ведь нужно угадать, предвидеть, прощупать, изучить, определить, наконец, сконструировать горизонт (перспективу) ближайшего и более отдаленного развития высших психических функций. Тогда это и будет означать, что обучение опережает развитие, в том числе и созревание. Л. С. Выготский формулирует это следующим образом: «Обучение потому и может вмешаться в ход развития и оказать свое решительное воздействие, что эти <высшие психические. — В. З.> функции еще не созрели к началу школьного возраста и что обучение может известным образом организовать дальнейший процесс их развития и тем самым определить их судьбу»¹⁷. Все верно, кроме того, что как раз неизвестно, каким образом обучение может организовать дальнейший процесс их развития. По этому поводу Л. С. Выготский предложил не теорию, а несколько вдохновляющих примеров, относящихся к развитию научных и житейских понятий, но он отчетливо сформулировал проблему уровней и структуры обобщения, которая для В. В. Давыдова стала отправной.

Л. С. Выготский показал, что отношения общности между понятиями связаны со структурой обобщения: «...каждой структуре

обобщения (синкрет, комплекс, предпонятие, понятие) соответствует своя специфическая система общности и отношений общности общих и частных понятий, своя мера единства абстрактного и конкретного, мера, определяющая конкретную форму данного движения понятий, данной операции мышления на той или иной ступени развития значений слов»¹⁸. Именно в этом пункте открывается выход. Здесь обобщение связывается с действием, а ступень, которой достигло развитие значения, — с мыслительной операцией. Для разъяснения своей мысли Л. С. Выготский прибегает к географической метафоре, которая помогает уяснить самое существенное во взаимной зависимости понятий между собой. Он условно представляет себе, что все понятия, наподобие точек земной поверхности, располагаются между северным и южным полюсами. Долготой того или иного понятия он обозначает место, занимаемое им между полюсами крайне наглядной и крайне отвлеченной мысли о предмете. Понятия по долготе различаются в зависимости от той меры, в которой представлено в них единство конкретного и абстрактного. Широтой понятия Л. С. Выготский обозначает место, занимаемое им среди других понятий той же долготы, но относящихся к другим точкам действительности, подобно тому как географическая широта обозначает пункт земной поверхности в градусах земных параллелей. И далее Л. С. Выготский заключает: «Долгота понятия будет, таким образом, характеризовать в первую очередь природу самого акта мысли, самого схватывания предметов в понятии с точки зрения заключенного в нем единства конкретного и абстрактного. Широта понятия будет характеризовать в первую очередь отношения понятия к объекту, точку приложения понятия к определенному пункту действительности. Долгота и широта понятия вместе должны дать исчерпывающее представление о природе понятия с точки зрения обоих моментов — заключенного в нем акта мысли и представленного в нем предмета. <...> Это место понятия в системе всех понятий, определяемое его долготой и широтой, этот узел, содержащийся в понимании его отношений с другими понятиями, мы называем мерой общности данного понятия»¹⁹. Этот узел характеризует не только меру общности, но и смысл данного понятия.

Метафору Л. С. Выготского можно назвать метафорой «семантического глобуса». Она действительно напоминает *globus intellectualis* Г. В. Лейбница и предвосхищает метафору семиосферы,

¹⁶ Давыдов В. В. Последние выступления. Рига, 1998. С. 517.

¹⁷ Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 254.

¹⁸ Там же. С. 271–272.

¹⁹ Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 274.

предложенную Ю. М. Лотманом²⁰. Своя версия семиосферы предложена В. П. Зинченко²¹.

Л. С. Выготский конкретизировал географическую метафору. Для синкретов, комплексов, предпонятий существует иное отношение к объекту и иной акт схватывания объекта в мысли. Подобная трактовка понятия близка к трактовкам Г. Г. Шпета (понятие — живой орган) и Х. Ортеги-и-Гассета (понятие — орган схватывания вещей или аппарат для овладения вещами). В. В. Давыдов, ссылаясь на Э. В. Ильенкова, тоже говорит о понятии как об орудии мыслительной деятельности, средстве размышления, способе объяснения²². Ю. М. Лотман указывает на активность семиосферы: «Несмотря на то, что нам, погруженным в семиосферу, она может представляться хаотическим неурегулируемым объектом, набором автономных элементов, следует предположить наличие у нее внутренней урегулированности и функциональной связанности частей, динамическое соотношение которых образует поведение семиосферы. Предположение это отвечает принципу экономии, так как без него очевидный факт отдельных коммуникаций делается трудно объяснимым»²³. Наконец, если бы живое слово-понятие не содержало в своей ткани динамических логических форм (Г. Г. Шпет), трудно было бы объяснить, как возможно «поступающее мышление» (в смысле М. М. Бахтина).

Именно эта двуликость понятия, выражающая единство структуры и функций мышления, а также единство понятия и возможных для него мыслительных операций и действий делает реальным «вмешательство» обучения в процесс развития мышления. Введение в когнитивную сферу человека новой реальности требует, «вызывает к жизни», порождает новые способы оперирования реальностью, новый круг возможных типических операций мышления, адекватных той или иной ступени развития понятий. Такие операции, как и концептуальное содержание, вполне могут быть предметом обучения. Близкой логикой руководствовался и В. В. Давыдов. Для него понятие выступало как форма мыслительной деятельности, посредством которой воспроизводится идеализированный предмет и система его связей, отражающих в своем единстве всеобщность, сущность движения материального объекта. Понятие

²⁰ Лотман Ю. М. О семиосфере // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.

²¹ Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. М., 2002.

²² Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М., 2000. С. 361–362.

²³ Лотман Ю. М. О семиосфере // Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 20.

для В. В. Давыдова — и форма отражения, и особое мыслительное действие²⁴, конструкция мышления и форма бытия.

Итак, Л. С. Выготский и В. В. Давыдов каждый по-своему нашли основания для исследования развития научных понятий. Л. С. Выготский выдвинул принцип развития в обучении системе научных знаний, принцип, последовательное проведение которого способствует преодолению господствующего спонтанно-реактивного типа обучения. По его словам, этот термин обозначает переход от спонтанного типа обучения в раннем детстве к реактивному типу обучения в школе²⁵. За словом «спонтанный» он не видел отрицательного оттенка, а лишь констатировал факт. Что касается реактивности, то именно ей противостоит развивающее обучение. (Невольно вспоминается Н. А. Бернштейн, противопоставивший реактивной и рефлекторной физиологии физиологию активности, которую А. Р. Лурия назвал психологической физиологией.)

Я хочу показать возможно более отчетливо, чем это сделал В. В. Давыдов, что стратегия разработки теории развивающего обучения была намечена Л. С. Выготским. Это сделано не в качестве упрека, а для лучшего понимания (прежде всего мною самим) как оснований теории, так и ее самой. Я пошел навстречу пожеланиям В. В. Давыдова и, по крайней мере, освободил свое изложение «от фундаментальных и историко-теоретических оснований»²⁶ и сосредоточился на конкретных психолого-педагогических данных.

Что же сделал В. В. Давыдов, какой была его собственная стратегия? Им была поставлена достаточно претенциозная задача развития теоретического мышления у школьников. При этом от начал свою работу не со студентов вуза или старших школьников, что казалось бы естественным, а с учеников начальной школы (со старшими школьниками сегодня успешно работают его ученики и последователи). Для тех, кого фрустрирует словосочетание «теоретическое мышление и начальная школа», он сделал подстрочное примечание и допустил использование вместо термина «теоретическое мышление» терминов «разумное мышление», «рефлексирующее мышление», «постигающее мышление»²⁷. Вообще любой из этих терминов и даже просто термин «мышление» вполне приемлем, лишь бы под ним не скрывалось распространившееся сегодня сверх всякой меры «клиповое мышление» и даже хуже того — «кли-

²⁴ Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 63.

²⁵ Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 290.

²⁶ Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 522.

²⁷ Там же. С. 69.

повое сознание». Теоретичность или «надэмпиричность» (термин Л. С. Выготского) — свойство любого подлинного мышления и даже интеллектуального действия. Приведу замечательную характеристику разумного действия, данную А. В. Запорожцем: «Само осуществление мышления главным образом сосредоточивается на первом акте интеллектуального действия <теоретическом>. Но изменение мышления и его развитие происходит как раз на втором акте <практическом>, ибо понятие, которое здесь возникло или которое было применено, привлечено к решению задачи, во-первых, проверяется, а во-вторых, обогащается, претерпевает изменение»²⁸. Подобная трактовка интеллектуального действия с необходимостью влечет, что его результат будет если и не теоретическим, то во всяком случае над-эмпирическим. А. В. Запорожец на основании исследований мышления дошкольников, выполненных еще в 1930-е годы, заключил, что уже в этом возрасте возникает в зачатке теоретическая деятельность, оформляется детское рассуждение²⁹.

Б. М. Теплов, анализирувавший практический интеллект, не отказывал ему в теоретичности. Да и сам В. В. Давыдов порой достаточно широко трактует теоретическое мышление: «Все формы общественного сознания являются высшим продуктом “организованного мышления”, соотносимого с понятием теории (в ее широком смысле). <...> “Организованное мышление” имеет, на наш взгляд, логику теоретического мышления, которая обнаруживается во всех формах общественного сознания»³⁰. Дело не в прилагательном «теоретическое», а в трактовке В. В. Давыдовым этого вида мышления. Воспроизведем ее. «Этому типу мышления свойственен анализ как способ выявления генетически исходной основы некоторого целого. Далее для него характерна рефлексия, благодаря которой человек постоянно рассматривает основания своих собственных мыслительных действий и тем самым опосредствует одно из них другими, раскрывая при этом их внутренние взаимоотношения. Наконец, теоретическое мышление осуществляется в основном в плане мысленного эксперимента, для которого характерно выполнение человеком такого умственного действия, как планирование»³¹. Анализ, рефлексия, планирование — необходимые качества разумного мышления. Вопросы могут возникать относительно их достаточности

²⁸ Запорожец А. В. Действие и интеллект // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 189–190.

²⁹ Запорожец А. В. Мышление и деятельность ребенка // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 197.

³⁰ Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 68.

³¹ Там же. С. 69.

сти и раскрытия. Конечно, имеются более детальные, равно как и более обобщенные характеристики мышления. Кстати, и по книгам В. В. Давыдова можно составить более полный образ как мышления *per se*, так и мышления теоретического.

Чтобы удовлетворить придирчивого и требовательного читателя, приведу синтетический и вместе с тем эстетический образ познания и мышления, принадлежащий И. В. Гёте, который можно рассматривать и как его автопортрет. Он видел в познании и мышлении «бездны чаяния, ясное созерцание данного, математическую глубину, физическую точность, высоту разума, глубину рассудка, подвижную стремительность фантазии, радостную любовь к чувственному»³². Попробуем представить себе, что всем этим богатством И. В. Гёте обязан школьному обучению, и тут же возникнет вопрос, какой коллектив педагогов (даже руководимый Д. Б. Элькониним и В. В. Давыдовым) смог бы обеспечить такое обучение и развитие мышления? Столь же трудно представить себе ученого, который взялся бы изучать работу такого невероятного даже не органа, а органа, оркестра, каким было мышление великого поэта, мыслителя, ученого.

Чаще всего исследователь выбирает для изучения какой-либо один из инструментов мышления, неминуемо утрачивая целое. Учитывая психолого-педагогическую ориентацию исследований В. В. Давыдова, вопрос о достаточности перечисленных свойств поднимать едва ли целесообразно. Дай Бог, чтобы школа содействовала развитию перечисленных. В. В. Давыдов то ли был уверен, что знает когнитивную сферу, то ли сам конструировал перспективу ближайшего развития мышления учащихся, с которыми предстояло работать. Что касается перспективы более отдаленного развития, то он, видимо, рассчитывал на их собственные силы и способности.

Обратимся к раскрытию свойств теоретического мышления. Для анализа, понимаемого как выявление генетически исходной основы целого, необходимы живые понятия. Романтик Ф. Шлегель характеризовал их следующим образом: «Каждое понятие должно быть расчлененным, органическим и живым, генетическим. <...> Оно должно охватить возникновение, развитие и вершину становления каждого предмета»³³. Говоря словами П. А. Флоренского, оно должно охватить корни и вертикаль. Спора нет, анализ генетической основы целого — важнейшее требование к мышлению. Но есть еще и анализ ставшего, анализ функциональной структуры некоторого целого. И здесь нужно признать, что для культурно-исторической

³² Цит. по: Франк С. Л. Живое знание. Берлин, 1923. С. 41.

³³ Вайнштейн О. Б. Язык романтической мысли. М., 1994. С. 35.

психологии как целого характерен своего рода «генетический» редукционизм, разделявший В. В. Давыдовым. Конечно, установление клеточки, исходной единицы, или основания развития целого — это много. Но и структура целого — тоже кое-что!

Следующее свойство — рефлексия. Это важнейшее условие осознания и произвольности развивающихся высших психических функций. Осознать — значит овладеть, постоянно подчеркивал Л. С. Выготский. Вслед за ним А. Н. Леонтьев заботился о сознательности в обучении. Рефлексия — важнейшее средство достижения этого. Однако утверждение о том, что человек постоянно рассматривает основания своих мыслительных действий, раскрывая при этом их взаимоотношения, фактически неверно. Достаточно вспомнить высказывание К. Гаусса, которому нельзя отказать в теоретичности его мышления: «Решение у меня есть уже давно, но я еще не знаю, как к нему прийти». Математик оказался далек от раскрытия и вербализации не только внутренних взаимоотношений мыслительных действий, но и самих действий, которые привели его к результату. Но он, видимо, обладал — по В. В. Давыдову — теоретическим знанием в форме всеобщего способа действия, а говоря проще — в форме хватки, приема.

И. Бродский говорил, что рефлексия — это постскрипtum к мысли. Хорошо, если она еще и прескрипtum к действию. Дело в том, что рефлексия или рефлексивные акты неоднородны. Уровень фоновой, недоступной сознанию рефлексивной оценки обстоятельств и собственных возможностей действия в этих обстоятельствах обнаружен даже в элементарных двигательных актах³⁴. Подобные уровни рефлексии несомненно присутствуют в ткани мышления (метафора Л. С. Выготского, похожая на метафору Н. А. Бернштейна, говорившего о биодинамической ткани живого движения). Они присутствуют в ткани любого мышления, в том числе и такого, который Г. В. Ф. Гегель называл «наивным образом мышления», т. е. воспроизводящего содержание ощущений и созерцания без внутренней рефлексии³⁵. Если же под внутренней рефлексией понимать «исследование природы самих понятий», то она действительно характерна для специального вида теоретического мышления, которое В. В. Давыдов идентифицировал с мышлением диалектическим (о диалектике разговор будет далее). Впрочем, и сам В. В. Давыдов не отказывается в рефлексии практическому

³⁴ Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2001. № 6.

³⁵ См.: Давыдов В. В. Теория развивающегося обучения. М., 1996. С. 60.

сознанию³⁶. На ней же, выступающей в формах оценки и контроля, основывается и формирование у учащихся учебных действий и учебной деятельности. Она же, понимаемая как универсальный способ отношения к собственной деятельности, выступает одним из главных результатов такого формирования. Таким образом, понимание В. В. Давыдовым рефлексии значительно шире тесного контекста теоретического мышления. Он вводит ее в сферу нравственного поведения. Последнее из названных В. В. Давыдовым свойств теоретического мышления — планирование — оставим без комментариев.

Посмотрим на теоретическое мышление в целом. Выше мы видели, что В. В. Давыдов употребляет этот термин, как минимум, в трех смыслах: первый — как чрезвычайно широкий, вплоть до всех форм общественного сознания и «организованного мышления», второй — как синоним диалектического мышления, третий — как образ, или модель мышления, которое следует развивать посредством обучения.

В. В. Давыдов ценил и неоднократно ссылался на гегелевскую хитрость человеческого ума. Она была свойственна и ему, и он (возможно, невольно) ею воспользовался, создавая теорию и практику развивающегося обучения. Теорию учебной деятельности он сделал метафорой теоретического мышления, а теоретическое мышление — метафорой создаваемой им практики учебной деятельности. Переноса смыслы (а иногда и значения) с одной на другую, он обогащал каждую из них, пока они обе не стали трудно различимы, пока учебная деятельность по свойственному ей закону преобразования материала не превратилась в реальную умственную работу, в размышление. Нужно отдать должное его таланту самоограничения в исследовании. В этом он похож на своего учителя П. Я. Гальперина. Ему на самом деле нужна была лишь одна проекция мышления — деятельностная. Как и учитель, он пренебрег интуицией, созерцанием. Лишь немногим ласковее он относился к воображению. Л. С. Выготского больше волновала проблема средств мышления, понимаемого как деятельность: «мышление <...> представляет собой деятельность особого рода, подчиненную собственным законам»³⁷. После двух, правда, слабо связанных между собой деятельностной и интуитивистской концепций мышления, предложенных А. Бергсоном, и после весьма прагматичной концепции мышления Дж. Дьюи деятельностная трактовка, конечно, не была новостью. К 60-м го-

³⁶ Там же. С. 103.

³⁷ Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 282.

дам XX века в нашей стране были разные варианты деятельностной проекции мышления, предложенные С. Л. Рубинштейном, Б. М. Тепловым, А. В. Запорожцем, П. Я. Гальпериным. Энергично занимались продуктивным мышлением Я. А. Пономарев, сотрудничавший с В. В. Давыдовым, и В. Н. Пушкин.

Нужно сказать, что в большинстве деятельностных проекций мышления в той или иной форме присутствовала интуиция как некоторый X, с которой практику, заботящемуся о развитии мышления, нечего делать. Как говорилось выше, В. В. Давыдов все же нашел ей или ее аналогам место по краям процесса, а в сердцевины ткани мышления поместил рефлексию, что само по себе тоже не было новостью. В 1960–1970-е годы у нас был своего рода «рефлексивный бум» — появились публикации В. А. Лефевра, Г. П. Щедровицкого, И. С. Ладенко, Э. Г. Юдина и других, посвященные рефлексивным процессам. Наконец, подобный посткибернетический бум с программированием и алгоритмизацией обучения переживался в педагогике. Психологи Дж. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам также озаботились планами и структурами поведения. Проблема состояла не в планировании, а в том, что планировать.

Итак, В. В. Давыдов ограничился тем, что включил в образ теоретического мышления минимум его свойств: анализ, рефлексию, планирование (почему-то стоящее на последнем месте). Зато все они были подлинно деятельностными, т.е. подлежащими операционализации, формами которой стали сотрудничество, партнерство, коллективно-распределенная деятельность, диалог, дискурсивная практика, создававшие ситуацию сочувственного взаимопонимания. Как бы ни назывались эти формы, их целью было вовлечение (и научение) учащихся в работу с понятиями как важнейшую разновидность мышления, или мыследеятельности (В. В. Давыдов воздерживался от использования последнего термина, который был популярен в научной школе нашего с ним друга Г. П. Щедровицкого). Парадоксально, что успех системы развивающего образования был достигнут ценой отказа от тайны мышления. И тем не менее В. В. Давыдов сделал невозможное возможным. Не поняв чудо мышления, он начал его творить. Трезво оценив практику спонтанно-реактивного обучения, он оставил попытки связать ее каким-либо внешним способом с развитием мышления и просто отбросил ее. Под прикрытием авторитета закаленного на разных, в том числе и научных фронтах Д. Б. Эльконина, совместно с ним В. В. Давыдов начал замену спонтанно-реактивного обучения на теоретико-рефлексивное.

Предметом обучения стало образование понятий в их развитии, как сказал бы Л. С. Выготский, в их каузально-динамической обу-

словленности. Работа над анализом развивающегося понятия протекала в сотрудничестве учащихся с педагогом и друг с другом. В ходе такой работы учащимся открывалось движение значений и смыслов, т.е. жизнь понятий, а не их номинальные значения. Рефлексия собственных действий «не утекала» к педагогу, не напоминала задержанную обратную связь, когда ученик, получивший положительную или отрицательную оценку, не мог сообразить, за что она поставлена. Обучение состояло в том, что, так сказать, взаимно рефлексивное сотрудничество (дискуссия) учащегося с педагогом и сверстниками открывало им способы мыслительной деятельности, способы усвоения и использования понятий. При такой стратегии не создавалось разрывов (пропасти) между знанием и действием. Что касается планирования, то это — необходимое условие любой осмысленной деятельности.

Замена спонтанно-реактивного или объяснительно-иллюстративного обучения на теоретико-рефлексивное (о последнем термине надо еще подумать) — это нечто существенно большее, чем замена рефлекторной дуги рефлекторным кольцом, произведенная в свое время Н. А. Бернштейном. Для В. В. Давыдова было естественно использовать версию происхождения и развития психики, например, лаконично выраженную А. Валлоном: «От действия к мысли» в качестве если не модели, то образца для теории и практики обучения. Можно сказать, что построенное по этому образцу развивающее обучение — это умное обучение и, соответственно, учебная деятельность выступает как умственная деятельность, а когда ее предметом становятся развивающиеся понятия, то — как теоретическая деятельность. Следовательно, развитие мышления, пусть не во всей своей полноте, выступает прямым, а не побочным продуктом обучения, которое становится уже не моментом, а формой развития мышления.

Не буду даже пытаться описывать или реферировать работы сотрудников школы Эльконина-Давыдова, посвященные развитию теории и практики учебной деятельности. Они широко известны. Скажу лишь, что сам В. В. Давыдов вторгался в то, что называется общей психологической теорией деятельности, вносил в нее коррективы, уточнения, по мере сил усовершенствовал ее и старался обогащать ее объяснительный и предсказательный потенциал. Здесь была вполне уместна и его философская компетентность.

Вернемся еще раз к цитированному выше «Заключению» к последней книге В. В. Давыдова. Автор пишет: «Сейчас <...> научный “инструментарий” в основном разработан и с его помощью можно определять глобальный развивающий эффект осуществления школьниками учебной деятельности и составляющих ее учебных действий с функ-

ционированием и развитием указанных мыслительных действий»³⁸. Далее он в качестве перспективы намечает разработку «такой сложной проблемы, как внутренняя взаимосвязь развития теоретического мышления и формирования учебных действий»³⁹. По этому поводу позволю себе заметить, что иногда полученный результат оказывается больше того, кто его получил. Глобальный результат уже получен, и внутренняя взаимосвязь тоже установлена. Созданный кентавр теоретико-рефлексивного обучения формирует (не побоюсь этого слова) готовность к мысли, что, на мой взгляд, важнее формирования отдельных умственных действий. Психологии достаточно хорошо известны состояния готовности (установки), будь то перцептивная готовность или готовность к действию. К сожалению, готовность к мысли — качество, которое не так часто встречается, особенно за пределами детского возраста. Оно начинает подавляться реактивной системой образования уже в начальной школе, хотя все еще продолжает находиться и в благоприятном сензитивном периоде развития, и в перспективе его усиления. Предельной формой готовности развития является «неудовлетворенный голод мысли» (О. Мандельштам), стоящий в одном ряду с «духовной жаждой». Слишком часто вместо готовности к мысли встречаются готовность к вере, к неверию, к скепсису, а то и банальная умственная лень, или «суета сует и томление духа».

Следует особо подчеркнуть: система развивающего обучения Эльконина-Давыдова не подавляет, а развивает детскую готовность к мысли и на ее базе формирует готовность мыслить понятиями (а не жить по понятиям). Этот глобальный результат, как и многое другое, был предугадан Л. С. Выготским (читатель, видимо, заметил, что я, ссылаясь на него, как бы поверяю В. В. Давыдова). Л. С. Выготский, размышляя о возможных вариантах опоры обучения на свою метафору «семантического глобуса», писал: «Всякое понятие, изолированно возникающее в сознании, образует как бы группу готовностей, группу предрасположений к определенным движениям мысли. В сознании поэтому всякое понятие представлено как фигура на фоне соответствующих ему отношений общности. Мы выбираем из этого фона нужный для нашей мысли путь движения. Поэтому мера общности с функциональной стороны определяет всю совокупность возможных операций мысли с данным понятием»⁴⁰, а также «чувство смысловой инициативности»

³⁸ Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 520.

³⁹ Там же. С. 521.

⁴⁰ Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 275.

(М. М. Бахтин) и увеличивает «размах культурных ассоциаций» (И. Бродский). Об источнике готовности к мысли точно писал Г. Г. Шпет: «Понятие как результат в своей концептивной форме только потому и определяется свободно от противоречия, что оно момент, покой, но противоречие в нем есть, заключено в нем имплицитно, как его потенциальная энергия»⁴¹. Такая энергия познания, равно как и энергия заблуждения питает готовность к мысли.

По ходу работы над настоящим текстом я поделился своей версией о «глобальном результате» с одним из самых опытных и творческих участников разработки теории и практики развивающего обучения — с Г. А. Цукерман. К моей радости, она не только меня поддержала, но и добавила, что готовность к мысли включает в свой состав три важнейшие установки, которые формируются у учащихся: 1) установку на поиск общего способа решения, 2) установку на понимание, 3) установку на выявление оснований того или иного заключения, вывода и требование их доказательности. Если это еще не теоретическое мышление, то — необходимые и, на мой взгляд, достаточные условия его развития. Уверенность в этом мне придает приводимое В. Ф. Асмусом высказывание Ж.-Ж. Руссо. «Человек не легко начинает думать, но однажды начав, уже не останавливается», — пишет В. Ф. Асмус и далее цитирует Ж.-Ж. Руссо: «...кто думал, тот всегда будет думать, и ум, раз попробовавший мыслить, не может остаться в покое»⁴². Как говорится, лиха беда начало! Было и начало, была и радость, была и беда, которую многие еще помнят и о которой я писал в год кончины В. В. Давыдова и позднее⁴³.

В заключение скажу о своем видении перспективы дальнейшей работы над развитием мышления, будь оно теоретическим или каким-либо другим. Готовность мыслить понятиями — это, конечно, очень много и приближает к своего рода императиву А. Ф. Лосева — мыслить только чистой мыслью, а не ощущать, т. е. мыслить посредством очищенной от эмпирии мыслью. Может быть, это и идеал В. В. Давыдова — предельная форма развития теоретического мышления, в которой схватывается всеобщее, особенное и единичное. Чтобы к нему прийти, нужно постепенно расширять деятельностную проекцию теоретического мышления, включая в нее другие деятельностные компоненты, другие средства мышления. В конце концов, для мышления (а не для деятельности и поведения!)

⁴¹ Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 411.

⁴² Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984. С. 124.

⁴³ Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. М., 2002.

все средства хороши. Не следовало бы пренебрегать и, так сказать, внедеятельностными компонентами, такими как интуиция, созерцание, которое, впрочем, согласно И. Г. Фихте, — синоним деятельности. Развитие созерцательности — не менее увлекательная (и полезная) задача, чем развитие воображения, мышления, деятельности. Так или иначе, но для дальнейшего развития теоретико-рефлексивного обучения необходим более полный полифонический образ мышления, на основе которого можно будет обогатить как понятие учебной деятельности, так и ее практику.

Вместо послесловия

В конце 50-х — начале 60-х годов XX века советские философы, психологи и педагоги не только провозгласили: школа должна учить мыслить, но и начали создавать мыслящие школы. Они были названы школами развивающего обучения. Временами это движение встречало противодействие, временами — государственную поддержку. Сегодня и то и другое сменилось глухим равнодушием, хотя энтузиасты — ученые и педагоги — продолжают работать. Однако невозможно далее не признавать очевидное: мы из лидеров образования и науки об образовании стали аутсайдерами. Поучительно, что стратегия Сингапура — лидера по качеству математических и естественнонаучных знаний у своих учащихся (что зафиксировано Международными программами оценки качества образования в странах — TIMSS) — состоит в объединении мировых информационных и коммуникационных технологий с концепцией «мыслящих школ и обучающейся нации». А стратегия Южной Кореи — одного из лидеров по качеству знаний и умений школьника (в соответствии с программой PISA) и лидера по «Школьной линейке» (UNICEF) — состоит в гармоничном развитии личности и творческом созидании, нацеленных на «образование корейцев как лидеров XXI века».

Не напоминают ли эти стратегии стратегию культурно-исторической психологии Л. С. Выготского и стратегию теории и практики развивающего обучения Эльконина-Давыдова?

Живая память в исследованиях Петра Ивановича Зинченко (ретроспект и проспект)¹

Все можно сделать естественным.
Блез Паскаль

Судьба и случай

Науче, как и человеку, присущи разные виды памяти: кратковременная, оперативная, долговременная и постоянная, или автобиографическая (история). Что-то из долговременной памяти вдруг становится актуальным и вновь входит в научный дискурс. Такому «вдруг» работы моего отца Петра Ивановича Зинченко, выполненные в 30–60-х годы XX столетия, обязаны усилиям Б. Г. Мещерякова, который не только вспомнил о них, но и дал себе труд сопоставить их с работами наших англоязычных коллег. Я очень рад, что они не остались равнодушными ни к статье Б. Г. Мещерякова, ни к работам П. И. Зинченко. И речь, конечно, идет вовсе не об утверждении приоритета в высказывании той или иной идеи, или в обнаружении того или иного эффекта или феномена. Вопрос о приоритете в науке весьма щекотлив и второстепенен. Иногда важнее бывает, не кто первый высказал идею, а кто первый от нее отказался. Речь идет, прежде всего, о диалоге и о резонансе идей, концептуальных схем, теорий, о взаимной амплификации научных представлений. И так поздно состоявшийся диалог, на мой взгляд, несомненно продуктивен, он открывает новые перспективы исследований памяти.

Мой отец ушел из жизни в 1969 году, то есть еще до первых публикаций Ф. Крейка и Р. Локхарта, Дж. Мейса и С. Мак Кафферти, когда ему было около 66 лет (для участника Второй мировой войны это не так мало). В мои 80 лет в памяти он остается живым.

¹ Настоящая статья связана с тематическими номерами журналов: «Journal of Russian and East European Psychology» (2008. № 46, 6) и «Культурно-историческая психология» (2009. № 2, 3), посвященных П. И. Зинченко и его давним исследованиям памяти, относящимся к проблемам непроизвольной и произвольной памяти, к характеристике уровней запоминания.

Я искренне благодарен всем авторам, принявшим участие в обсуждении идей моего отца — П. И. Зинченко, за высокую оценку его исследований памяти. Я подозреваю, что трактовка памяти (прежде всего произвольной (*involuntary*), а не случайной (*incidental*), как и концепции, развиваемые участниками дискуссии, в равной мере направлены на разъяснение мудрого тезиса Б. Спинозы о том, что, хотя память сама родом из идеи, она есть ищущий себя интеллект. Она не только находит, но хранит и собирает его. По словам М. Хайдеггера, память — это собранность мышления. Такая ее характеристика соответствует положению Л. С. Выготского об интеллектуализации высших психических функций (это еще раз к вопросу о приоритете). П. И. Зинченко находил интеллект за произвольной памятью, которую не только усиливают, но и строят такие умственные действия, как например, классификация. Поэтому он старался переориентировать учебную деятельность школьников и студентов с заучивания материала на его понимание и осмысление. Это умудрились не заметить создатели теории учебной деятельности его (и мои) друзья — Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов.

Прежде чем самому включаться в дискуссию, я хотел бы добавить некоторые штрихи к биографии моего отца. Здесь мне не удастся удержаться от «реконструкций при воспроизведении», так хорошо описанных и оправданных Ф. Бартлетом в книге о памяти, опубликованной в 1932 году². Реконструкция при воспроизведении типична для припоминания собственной судьбы и жизни, она же позволительна при воспроизведении не чужой мне жизни родного отца, постоянно присутствующего в моей произвольной памяти. Он до сих пор играет в моей жизни роль аффективно-когнитивного и поведенческого образа совести.

Первый (и главный!) сюжет я хочу посвятить Судьбе и Случаю. Думаю, что исследование памяти было его судьбой или, как говорят в России: «На роду было написано». Однако без случая и без «хочу и могу», т. е. без чувства и воли судьба слишком часто оказывается бессильной. Впрочем, если верить Владимиру Набокову, то сама «Случайность — логика фортуны».

П. И. Зинченко родился в 1903 году в многодетной крестьянской семье в слободе Николаевской на Нижней Волге. В семье было 13 детей (только 6 из них дожили до седых волос), и только он один получил высшее образование. Вначале он окончил Учительскую семинарию и после небольшой учительской практики стал школьным инспектором. Можно предположить, что в своей учительской, и за-

тем и инспекционной работе, он заинтересовался памятью, которая у учащихся (во всяком случае, с точки зрения педагогов) никогда не бывает достаточной при усвоении необходимого (всегда ли необходимого?) учебного материала. До сих пор жива старая максима Ларошфуко: «Все жалуется на свою память, и никто не жалуется на свой ум». Возможно, его поражал контраст (как потом и меня) между слабостью произвольной памяти учащихся и удивительно здравым проциательным умом и великолепной живой памятью его неграмотной матери — моей бабушки Татьяны Петровны, прожившей до девяноста лет и ушедшей из жизни в том же году, что и он. Возможно, память его не просто заинтересовала, а захватила своей тайной и, судя по его дальнейшей жизни, раскрытие этой тайны стало его судьбой.

Так или иначе, но отец решил продолжить образование и стать психологом. Во второй половине 1920-х годов он сделал попытку поступить на психологический (в то время — педологический) факультет Второго Московского университета, где преподавали П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Г. Г. Шпет, А. Р. Лурия, вероятно, и А. Н. Леонтьев, и многие другие выдающиеся психологи. Однако учителя с Нижней Волги не приняли. Если бы его попытка увенчалась успехом, он бы учился вместе со своими будущими друзьями и коллегами, впоследствии ставшими известными учениками Л. С. Выготского — В. И. Аснимым, Л. И. Божович, А. В. Запорожцем, Р. Е. Левиной, Н. Г. Морозовой, Л. С. Славиной. П. И. Зинченко вернулся на родину и вскоре был призван в армию. Волею случая он попал в один из самых культурных городов России — Харьков, бывший в то время столицей Украины. Отслужив в армии, он не вернулся домой, а поступил в Харьковский педагогический институт (называвшийся тогда Институтом социалистического воспитания), который окончил в 1930 году. В этом же году в Москве окончили университет А. В. Запорожец и др. И здесь в свои права вступила судьба. В начале 1930-х годов в Харькове его «догнали» соратники и ученики Л. С. Выготского, да и сам Выготский несколько раз приезжал в Харьков, содействовал становлению Харьковской школы психологов. И вовсе не случайно П. И. Зинченко выбрал в научные руководители своего сверстника А. Н. Леонтьева, за плечами которого уже была книга «Развитие памяти», опубликованная в 1931 году. Устойчивый интерес к памяти у П. И. Зинченко сохранялся, и первая его диссертация была посвящена памяти школьников, но не припоминанию, а забыванию («полураспаду») школьных знаний. Общий мотив и результат этой работы состоит в том, что забывание формы, в которой преподносятся школьные знания, не трагично. Сохраняется существо и смысл полученных знаний. Примечательно, что уже

² Bartlett F. Remembering. A study in experimental and social psychology. Cambridge, 1932.

в этой работе, он рассматривал забывание не как пассивное погружение содержаний памяти в некоторый мыслимый «физикальный низ», а как работу по их смысловой (семиотической) перешифровке, трансформации. Таким образом, забывание помогает институционализированному знанию становиться частью живого знания, например, такого, каким обладает хороший педагог. Едва ли П. И. Зинченко в то время знал о книге Ф. Бартлета. История повторяется. Ссылка на нее появилась только в его книге 1961 года. К сожалению, забывание редко становится предметом психологического исследования. Еще реже обращается внимание на то, что без забывания не было бы полноценного воспоминания, а лишь буквальное, такое, которое описано А. Р. Лурией в «Маленькой книжке о большой памяти». Её герой Ш., при своей абсолютной памяти, был неспособен к творчеству, не умел «рой превратить в строй». Г. Г. Шпет писал, что «забывание — кнут творчества, оно вздымает на дыбы фантазию»³. Однако и фантазия должна иметь свои границы. Видимо, результаты, полученные при изучении забывания, натолкнули П. И. Зинченко на мысль, что повторение и заучивание не единственный и не самый эффективный способ приобретения знаний. И он обратился к изучению живого произвольного запоминания.

Таким образом, судьба и случай сделали П. И. Зинченко полноправным участником Харьковской психологической школы и на всю жизнь (кроме лихих годов Второй мировой войны, на которой ему довелось быть сапером) связала его с друзьями и коллегами, часть из которых потом переехала в Москву. Отъезд в Москву А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, А. В. Запорожца, П. Я. Гальперина вынудил его после 1945 года стать неформальным лидером Харьковской школы. Эту роль он исполнял добросовестно, ответственно, но без удовольствия. Значительно большую радость ему доставляла его педагогическая работа со студентами и аспирантами и проведение экспериментальных исследований памяти.

П. И. Зинченко оказал огромное, почти неправдоподобное, хотя и вполне произвольное влияние на судьбы своих близких. Его жена, моя мама, Вера Давидовна, училась вместе с ним, стала педагогом, затем начала преподавать психологию в Харьковской консерватории. Моя сестра Татьяна Петровна Зинченко (1939–2001) и я стали психологами. (Меня отец отговаривал становиться психологом, иронизировал по поводу психологии: это не профессия, а довольно узкая специальность; психология после теологии и меди-

³ Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 188.

цины — самая точная наука и т. п.) Моя жена — Наталья Дмитриевна Гордеева (по образованию — биолог) стала психологом. Наш сын — Александр тоже стал психологом и женился на психологе Алле Волович. Сейчас они оба психотерапевты и живут в Беркли.

Пожалуй, самое удивительное, что сын и дочь, вслед за ним, посвятили большое время исследованиям памяти. А внук, попав в США, защитил докторскую диссертацию по ностальгии, которая представляет собой ярчайшую форму, хотя и произвольной, но неуничтожимой, постоянной памяти, возможно, памяти рода. Это такая произвольная память, которая прочнее всякой произвольной. А ведь некоторые сомневаются в существовании культурной генетической памяти. История нашей семьи — свидетельство того, что такие сомнения неосновательны.

Если бы случилось невозможное, и вся наша семья собралась вместе, то мы во главе с П. И. Зинченко смогли бы открыть, надеюсь, неплохой Психологический колледж.

Содержание и культурно-исторический контекст

Обращусь к ранним исследованиям и публикациям П. И. Зинченко, в которых забывание и запоминание трактовались как специальные мнемические — в широком смысле — психические действия или как результат действий познавательных, умственных, практических. Оба его исследования были опубликованы в малотиражном и малоизвестном психологам (кроме ближайшего окружения харьковчан) издании — в Научных записках Харьковского педагогического института иностранных языков. Независимо от того, как интерпретировать критику Л. С. Выготского, имеющуюся в статье Зинченко о запоминании (я согласен с ее интерпретацией, предложенной Б. Г. Мещеряковым⁴), его собственные исследования, изложенные в ней, вполне соответствовали духу культурно-исторической теории Л. С. Выготского. Память рассматривалась в них не только как натуральная психическая функция, а как функция культурная, опосредованная действием. Зинченко начал рассматривать действие как медиатор, который, наряду со знаком, словом, символом играет решающую роль в формировании памяти как высшей психической функции. Новым, по сравнению с культурно-историческим подходом к психике и сознанию, было то, что само мнемическое действие стало рассматриваться в качестве предмета и задачи психологиче-

⁴ Мещеряков Б. Г. Память человека: эффекты и феномены. М., 2004.

ского исследования. Своеобразие его подхода к памяти состояло в том, что он не стал изучать мнемическое действие, так сказать, «в лоб», а шел к нему постепенно: от изучения действий ориентировочных, познавательных, умственных. То есть от действий, обеспечивающих эффективность произвольного запоминания. Затем он проследивал как эти, прежде самостоятельные, целенаправленные действия превращаются в способы, приемы, операции целенаправленного мнемического действия.

Важным условием решения этой задачи было изменение содержания и методов исследования процессов памяти. Нужно было отказаться от традиционного объекта исследования, который можно кратко обозначить как «память в лаборатории» и перейти к изучению формирования и функций памяти в жизни и деятельности субъекта. Такая смена объекта исследования психологии памяти была сделана П. И. Зинченко в его ранних работах, выполненных в 1930 годы. Это вовсе не означает, что он исключил из арсенала используемых им методов лабораторные эксперименты. Напротив, он разработал целый ряд новых лабораторных методов исследования процессов памяти, но они в отличие от прежних, в большей мере имитировали проявления памяти в реальной деятельности. Именно с этим связан его постоянный интерес и вклад в психологию обучения. С этим же связано и то, что в 1960 годы он не только принял, но и в значительной степени сформулировал инженерно-психологическую тематику исследования мнемических процессов.

Большая часть исследований П. И. Зинченко посвящена сравнительному анализу произвольного и произвольного запоминания. В одной из своих последних работ он повторяет главный итог этих исследований: «Общей единицей структурного генетического и функционального анализа произвольного и произвольного запоминания является действие человека»⁵. Различия между двумя видами запоминания он связывал прежде всего с различиями в целях и направленности системы действий, реализующих оба вида запоминания. Вместе с тем он писал о том, что продуктивность произвольного запоминания зависит от способов немнемических действий. Иначе говоря, произвольное запоминание фиксирует события, происходящие в различных сферах человеческой деятельности: игровой, учебной, трудовой и т. п. Операционный состав этих видов деятельности образует фундамент, на котором строится здание человеческой памяти. В равной степени это справедливо и по отношению к

⁵ Зинченко П. И. Исследования процессов памяти // Проблемы психологии памяти. Харьков, 1969. С. 4.

произвольной памяти, которая в своей осмысленной форме опирается на этот же фундамент. Таким образом, П. И. Зинченко отказался от традиционного подхода, руководствовавшегося идеей строго отдельного, пофункционального изучения психики, т. е. такого изучения, в котором предметная осмысленная деятельность бралась лишь в качестве некоторого формального условия, присутствовавшей в эксперименте переменной, но сама по себе не подвергалась анализу. Основным объектом его исследований были различные формы предметной, осмысленной деятельности, в первую очередь познавательной, и их мнемические эффекты. Однако последние интересовали его не ради них самих, а служили средством анализа состава и строения немнемической реальной осмысленной деятельности. Именно это дало ему возможность выделить существенные особенности произвольных осмысленных мнемических действий по сравнению с познавательными действиями

Поиски функциональных связей между отдельными психическими процессами, предпринятые П. И. Зинченко, позволили ему по-новому поставить проблему связи и взаимоотношений между мышлением и запоминанием и наметить пути ее дальнейшего изучения. Несмотря на то, что в его работах ставилась задача определения роли мыслительных (и шире познавательных) процессов в запоминании, ему удалось вскрыть определенные черты собственно мыслительной деятельности. Это оказалось возможным благодаря тому, что в работах П. И. Зинченко наметился определенный методический прием, важной особенностью которого является то, что воспроизведение того или иного тестового материала служило не только показателем эффективности процессов запоминания, но и показателем уровня сформированности целого ряда познавательных действий, в том числе и мыслительных.

Проблема взаимоотношений мышления и памяти возникает при систематическом изучении любого из этих процессов. Это совершенно естественно, так как всякое разумное поведение, предполагающее решение проблемной ситуации, опирается на прошлый опыт. Однако многие исследователи, принимая это очевидное положение, при обсуждении взаимоотношений мышления и памяти шли по пути оперирования результатами, полученными в функциональных исследованиях обоих процессов. Преодоление традиционной эмпирической позиции, согласно которой мышление и память являются самостоятельными функциями, состоит в экспериментальном изучении динамики таких характеристик памяти как точность, прочность, объем и т. п., происходящей под влиянием формирующихся познавательных и мыслительных действий. Равным образом

необходимо определение того вклада, который вносят хранение образов, схем поведения, а также процессы узнавания, реконструкции и воспоминания в мышление. В этом смысле методически одинаково правомерны и продуктивны различные линии анализа. Так логика исследований произвольной памяти привела П. И. Зинченко и А. А. Смирнова к изучению мыслительной деятельности. Аналогичным образом логика исследования процессов мышления привела Ж. Пиаже и Б. Инельдер к изучению процессов памяти. Обе указанные линии анализа неминуемо приводят к сближению процессов памяти и мышления, к преодолению наивного постулата эмпирических теорий, согласно которому образные воспоминания являются первичным условием мышления. Даже первичные образные воспоминания не являются «памятью материи» в смысле А. Бергсона. В них, пользуясь терминами Г. Г. Шпета, присутствует узрение или интеллигибельная интуиция, а затем — и умозрение. П. И. Зинченко, ссылаясь на исследования зрительной кратковременной памяти, писал, что для более длительного ее хранения нужно осуществить специальные действия. Без них информация не пройдет ни в оперативную, ни в долговременную, ни в произвольную, ни в произвольную память⁶. Если же учесть неопределенность термина «первичность» применительно к образным воспоминаниям, то согласно исследованиям Ф. Бартлета, а также П. И. Зинченко воспоминание — это и есть мышление (ср. с положением Л. С. Выготского об интеллектуализации высших психических функций). В конце концов, не только воспоминание, но даже восприятие первых слов, обращенных матерью к младенцу, привлекающих не значением, а значимостью, пробуждает в нем «память духа», а не «память материи».

К тому же сами воспоминания, как показывают исследования, имеют различную структуру в зависимости от состава познавательных действий и от алфавита оперативных единиц памяти, которыми владеет субъект (или в терминологии Ж. Пиаже — в зависимости от того, воспроизводится ли ситуация, организованная дооператорными или операторными схемами). Вывод, к которому пришли Ж. Пиаже и Б. Инельдер состоит в том, что организация памяти должна меняться в зависимости от уровня схем мышления и прогрессировать вместе с интеллектом индивида. Этот вывод вполне согласуется с результатами, полученными при изучении памяти и мышления П. И. Зинченко, А. А. Смирновым и их сотрудниками. Так, например, формирование классификации как познавательного действия изменяет результаты запоминания, ины-

⁶ Там же.

ми словами, познавательное действие превращается в средство осуществления мнемического действия.

Таким образом, исследования, идущие от памяти к мышлению, равно как и исследования, идущие от мышления к памяти, позволяют выявить и в известной мере сблизить операционный состав мыслительной и мнемической деятельности. Упомянутые исследования были выполнены на материале долговременной памяти. Возникает проблема выявления операционного состава, на базе которого реализуется кратковременное запоминание. Аналогичная проблема возникает и при анализе процессов оперативного мышления, осуществляющегося в условиях дефицита времени. И те и другие процессы протекают в диапазоне времени, измеряемом долями секунды. Сознывая преждевременность отождествления мнемических и мыслительных преобразований информации, которое отчетливо выступает в книге Пиаже и Инельдер, П. И. Зинченко ставил вопрос о близости процессов преобразования информации в целях запоминания и процессов информационной подготовки решения. Экспериментальное подтверждение близости этих процессов, осуществляющихся в указанном диапазоне времени, даст новые аргументы против традиционного функционального дуализма в трактовке мышления и памяти. Преодоление последнего вовсе не отрицает наличия существенных различий в целях, направленности, мотивации познавательных и мнемических действий, служивших предметом многолетних исследований П. И. Зинченко и его сотрудников.

Тематика прикладных исследований в области психологии обучения и инженерной психологии, которой П. И. Зинченко занимался последние годы, заставила его обратиться к проблемам оперативной и кратковременной памяти. Известно, что установка на запоминание не может сама по себе обеспечить высокую продуктивность этого процесса, если человек не вооружен в достаточной мере теми или иными способами преобразования материала. Тем более это справедливо для симультанного или сукцессивного (с малыми интерстимульными интервалами) предъявления значительного по объему тестового материала, т. е. для задач кратковременной и оперативной памяти. Поэтому П. И. Зинченко, начиная исследование этих процессов, заботился о том, чтобы и в этом случае сделать воспроизведение материала испытуемыми индикатором операционного состава немнемических действий, обеспечивающих запоминание. Особенно большое значение он придавал анализу семантических преобразований информации, осуществляющихся в кратковременной памяти.

Следует напомнить, что П. И. Зинченко работал в то время рядом с другими замечательными исследователями. А. В. Запорожец изучал

сенсорные и интеллектуальные действия; В. И. Аснин изучал действие, так сказать, *per se*, т. е. практическое действие — навык; П. Я. Гальперин изучал орудийные действия. Все эти исследования 1930-х годов развивали идеи Выготского и одновременно с этим послужили фундаментом для созданной позднее А. Н. Леонтьевым психологической теории деятельности. Было бы наивно думать, что этим исследованиям уже предшествовала некая теория деятельности. Скорее можно говорить о ее предощущении, которое легко обнаружить в работах самого Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, а также в книге А. Р. Лурии⁷. Интересно признание самого А. Н. Леонтьева, которое он сделал в докладе, прочитанном 11 марта 1976 года: «Очень важна работа Петра Ивановича Зинченко о произвольном запоминании. Я имею в виду особенно первую публикацию, которая появилась только, к сожалению, в 1939 году. Она защищалась где-то, по-моему, в 1938 или 1937 году, <...> если мне не изменяет память. В чем был пафос? Занимает предмет место цели — один эффект, занимает структурное место условия — другой эффект: в этом была сущность, главное для нас, по крайней мере. Так возникло представление и вместе с тем членение, выделились понятия собственно деятельности, мотива, дальше — цели, условий; ну, словом, этот первоначально выраженный арсенал тех понятий, которые я описывал неоднократно в последние годы»⁸.

В свою очередь, П. И. Зинченко писал о том, что Выготский намечает подход к памяти как к особой по своим функциям деятельности: «Память означает использование и участие предыдущего опыта в настоящем поведении, с этой точки зрения память и в момент закрепления реакции и в момент ее воспроизведения представляет собой деятельность в точном смысле этого слова»⁹. Важно не то, кто в контексте психологии памяти использовал понятие «деятельность», а то, какое развитие получила идея трактовки психики как деятельности. Как ни странно, ее развитию способствовало то, что в начале 1930-х годов А. Н. Леонтьев отказался от опасной для того времени программы Выготского, направленной на изучение сознания, и начал строить собственную программу психологических исследований. Она постепенно приобретала очертания программы изучения деятельности, что, не в последнюю очередь, было связано с его повышенной чувствительностью к «методологическому принуждению» (термин П. Фейерабенда) со сто-

⁷ Лурия А. Р. Природа человеческих конфликтов. М., 2002.

⁸ Леонтьев А. Н. Проблема деятельности в истории советской психологии // Вопросы психологии. 1986. № 4. С. 116.

⁹ Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1926. С. 153.

роны господствовавшей марксистской идеологии. В полной мере А. Н. Леонтьев оценил значение вклада Выготского в изучение сознания лишь в 1967 году. Несколько лет спустя он предложил продуктивный путь изучения сознания, выделив в качестве его образующих значение, смысл и чувственную ткань.

Оглядываясь назад, можно, не без сожаления, констатировать, что А. Н. Леонтьев представил свою версию психологической теории деятельности в достаточно абстрактной форме, сделав акцент на ее философско-социологических обоснованиях. Это способствовало постепенному превращению понятия деятельности в методологический (в философском смысле слова) принцип объяснения всей психической жизни человека, включая его «вторичное» сознание и личность. Сегодня эти претензии значительно уменьшились, но инерция сохраняется. В происходившем с психологической теорией действия была определенная логика. Любое представление, будь то представления о деятельности, о сознании, об установке, о гештальте и т. п., становящиеся средством объяснения другой реальности (в том числе психической), как писал К. Маркс, подвергаются испарению, путем превращения их в абстрактные определения. Такие определения необходимы, ибо на их основе возможно воспроизведение конкретного путем мышления. Однако нет худа без добра. Таким конкретным стало изучение развития различных психических действий, а затем и их структуры. А принцип деятельности выполнил тогда полезную охранительную функцию, защищая идеологически беззаботных ученых, работавших в его рамках (или «под его крышей»!). Эти ученые, в том числе, конечно, и сам А. Н. Леонтьев, изучали орудийные, сенсорные, перцептивные, мнемические, интеллектуальные действия, имеющие самостоятельную научную ценность, независимо от какой бы то ни было теории деятельности. Выполненные в 1930-е и в последующие годы исследования перечисленных действий представляют собой своего рода пролегомены к некоторой будущей и давно назревшей общей психологической теории действия. При изучении действия невозможно столь резкое, как в теории деятельности, противопоставление между внешним и внутренним, между исполнительными и ментальными, когнитивными актами, которое мешает исследованию и тех и других, превращает эмпирически наблюдаемые эффекты интериоризации и экстериоризации в научную и философскую парадигму, а на деле заводит в тупик, из которого нет выхода. Для того чтобы прийти к идее интериоризации не нужно быть ученым-психологом, будь его имя П. Жане или Л. С. Выготский. В 1922 году В. Э. Мейерхольд писал: «Основной недостаток современного актера — абсолютное незнание современной биомеханики. Только некоторые исключительно боль-

шие актеры интуитивно угадывали правильный метод игры, то есть принцип подхода к роли не от внутреннего к внешнему, а, наоборот, от внешнего к внутреннему, что конечно способствовало развитию в них громадного технического мастерства; такими были Дузе, Сара Бернар, Грассо, Шаляпин, Коклен и др.»¹⁰

Недальновидно и опрометчиво распространять это положение на все творчество в искусстве, а тем более — на всю психологию. В. В. Кандинский утверждал, «что внешнее, не рожденное внутренним, мертворожденно»¹¹.

В действии, действительно, интегрирована *вся* психология индивида; перцептивное, мнемическое, умственное, практическое действие, аффекты и переживания — это условные понятия, приемлемые лишь в плане аналитической абстракции, ибо в живом действии и даже в живом движении перечисленные атрибуты неотделимы друг от друга. С. Л. Рубинштейн видел в действии зачатки всех элементов психологии, что давало основание его утверждению: действие есть исходная единица анализа всей психики. Однако действие, равно как и деятельность, не столько интериоризируется, сколько дифференцируется. Думаю, что вовсе не случайно в тезаурусе П. И. Зинченко не нашло место понятие «интериоризация». Замечу также, что задачи выведения ментальных актов из действия и сведения (редукции) их к ним не симметричны. Поэтому аналитическая абстракция ментальных актов и их изучение вполне законны, как и законна их интерпретация в терминах когнитивных действий. Что касается понятия деятельности, то сегодня оно в значительной мере утратило роль универсального объяснительного принципа, но, в сравнении с действием, еще не стало полноценным предметом научного исследования. Произошло то, что должно было произойти. Исследуемые компоненты предложенной А. Н. Леонтьевым структуры деятельности стали много богаче контекста, в который они входили, чем и вызвана необходимость создания психологической теории действия. Богаче оказались и представления об «отдельных» или особых (в терминологии Леонтьева) деятельности: коммуникативной, игровой, учебной, трудовой. К середине 1970-х годов это признал и он сам: «Человеческая деятельность не существует иначе, как в форме действия или цепи действий, <...> подчиняющихся *частным целям*, которые могут выделяться из общей цели. <...> Роль общей цели выполняет

¹⁰ Мейерхольд В. Э. Актер будущего и биомеханика (Доклад 12 июня 1922 г.) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 т. М., 1968. Т. 2. С. 488–489.

¹¹ Кандинский В. В. Точка и линия на плоскости. СПб., 2004. С. 28.

осознанный мотив, превращающийся, благодаря его осознанности, в *мотив-цель*»¹². Таким образом, стирается ранее установленное автором качественное различие между деятельностью и действием: деятельность подчинена мотиву, действие — цели. Остается лишь количественное. Прав был Э. Г. Юдин¹³, утверждавший, что квинтэссенцией деятельностного подхода к психологии является изучение действия.

Поэтому-то так важно обращение к истокам возможной общей психологической теории действия и именно этим, видимо, объясняется интерес к начальному этапу становления Харьковской психологической школы. Есть и еще одна, казалось бы, внешняя, но не менее веская причина обращения к первым работам ученых. В них присутствует особый аромат непосредственного и искреннего удивления тем, что им открылось в таинственном акте интуиции. В них еще нет патины академизма. В них радость интуиции преобладает над бременем необходимых доказательств. Сказанное, разумеется, имеет общий характер и относится не только к представителям обсуждаемой научной школы. Я далек от того, чтобы сомневаться в существовании теории деятельности. Сомневающимся достаточно и без меня, виной чему, возможно, является ее схематизм. С. Л. Рубинштейн в последние годы жизни отошел от субъект-объектной парадигмы и обратился к проблеме Человек—Мир, А. Н. Леонтьев также в своих последних работах обратился к Образу Мира. Мне кажется, что подобная переориентация должна дать новый импульс развитию теории деятельности. Для А. Н. Леонтьева понятие деятельности было синонимом предметной деятельности, последняя вполне укладывается в субъект-объектную парадигму. В нее, кстати, не укладывается культурно-историческая психология. Смена парадигмы и обращение к Миру настоятельно требует обращения к анализу духовной деятельности. Здесь для психологии неопределимы уроки Г. Г. Шпета, М. Хайдеггера, М. М. Бахтина, М. К. Мамардашвили, В. В. Бибихина. В новом свете могут выступить исследования живой памяти П. И. Зинченко, живого движения Н. А. Бернштейна, произвольного (свободно-го) действия А. В. Запорожца.

После высказанных общих соображений остановлюсь на вопросе об уровне строения памяти и шире — психики и сознания.

¹² Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. В 2 т. Т. 2. М., 1983. С. 154–155.

¹³ Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. М., 1978.

Глубина обработки и уровни активности

Вне идеи развития (дизонтогенеза и распада) в психологии слишком многое остается необъяснимым. В любом исследовании развития выделяются ступени, стадии, уровни этого процесса. Однако, последовательность стадий, уровней функционирования, обнаруживаемых в развитии, вовсе не обязательно повторяется при осуществлении уже сложившихся актов. Для анализа функциональных структур последних требуется богатое воображение, которому должна сопутствовать разработка специальных методов и исследовательских процедур. Их сочетание дает более или менее правдоподобное представление о свойствах того или иного уровня и о структуре сложившегося психического акта в целом. Одно из первых представлений о структуре сознания принадлежит З. Фрейду. Применяв топографический подход к психическим явлениям, он выделил сознательное, предсознательное, бессознательное и определил их как динамические системы, обладающие собственными функциями, процессуальными чертами, энергией и идеационным содержанием. Несмотря на разностороннюю, порой хорошо обоснованную критику, представления Фрейда об уровне строения сознания стали клише или схематизмом не только психологического сознания, но и сознания европейской культуры XX века. Живы они и в XXI веке.

Непосредственное отношение к сознанию имеет предложенное в 1922 году Г. Г. Шпетом расчленение уровней восприятия и понимания слова. Он пишет: «Услышав произнесенное N слово, <...> мы умеем воспринятый звук отличить, (1) как голос человека — от других природных звуков, воспринять его как общий признак человека, (2) как голос N — от голоса других людей, как индивидуальный признак N, (3) как знак особого психофизического (естественного) состояния N в отличие от других возможных состояний его или какого-либо другого человека. Все это — функции слова естественные, природные»¹⁴. Далее, «мы воспринимаем слово как явление не только природы, но также как факт и “вещь” мира культурно-социального. Мы воспринимаем, следовательно, слово (4) как признак наличности культуры и принадлежности N к какому-то менее или более сознаваемому кругу человеческой культуры и человеческого общежития, связанного единством языка. Если оказывается, что язык нам знаком, <...> то мы его (5) узнаём как более или менее или совершенно определенный язык, узнаём *фонетические, лексиче-*

ские и семасиологические особенности языка, и (6) в то же время понимаем слышимое слово, т. е. улавливаем его смысл, различая вместе с тем сообщаемое по его качеству простого сообщения, приказания, вопроса и т. п., т. е. вставляем слово в некоторый нам известный и нами понимаемый *смысловой и логический номинативный* (называющий вещи, лица, свойства, действия, отношения) *контекст*. Если, кроме того, мы достаточно образованны, <...> мы (7) воспринимаем и, воспринимая, различаем условно установленные на данной ступени культуры формы слова в тесном смысле *морфологические* (“морфемы”), *синтаксические* (“синтагмы”) и *этимологические* (точнее, словообразовательные)¹⁵. Особняком стоит «момент (8) различения того *эмоционального* тона, которым сопровождается у N передача понимаемого нами осмысленного содержания “сообщения”»¹⁶. Последний «момент» представляет собой в такой же мере факт культурно-социальный, как и *естественный*, «сам лежащий в основе человеческого (и животного) *общения*»¹⁷. Шпет специально предупреждает, что эта последовательность не воспроизводит временного эмпирического ряда в развитии и углублении восприятия. В заключении он говорит: «Приведенное расчленение восприятия слова только приблизительно намечает самые общие контуры его структуры. Каждый член ее — сложное переплетение актов сознания»¹⁸. Думаю, что общие контуры структуры слова и уровни его восприятия и понимания — это *умозрение* Г. Г. Шпета, в основании которого лежит его особая чувствительность к слову, вызванная знанием многих языков (по разным оценкам от 17 до 19 языков).

Выявление уровней организации того или иного психологического акта есть лишь начало пути к изучению его структуры. Не буду далее следовать за Шпетом, рассматривающим новые данности, новые функции, новые углубления и «ступени» восприятия и понимания при обсуждении структуры слова, его внешних и внутренних форм. Ученик и сотрудник Г. Г. Шпета — Н. И. Жинкин писал о целостном восприятии структуры слова: «Самые разнообразные слоговые слияния внутри слогового потока не являются помехами. Наоборот, они связывают слоговой поток в хорошо узнаваемое целое, обладающее собственным значением. Они узнаются как целое так же, как любые предметы. Чтобы узнать нашего знакомого не нужно рассматривать и “опознавать” по очере-

¹⁵ Там же. С. 211.

¹⁶ Там же. С. 212.

¹⁷ Там же. С. 211–212.

¹⁸ Там же. С. 213.

¹⁴ Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 210–211.

ди его глаза, нос, уши и другие компоненты лица»¹⁹. Слово имеет собственное лицо, сливающееся с его значением и смыслом. Иное дело, путь к такому восприятию слова.

Уровневая организация присутствует и в структуре деятельности, предложенной А. Н. Леонтьевым. Таким образом, для психологии идея уровневой обработки материала, с которым сталкивается человек, вполне естественна. Была бы та глубина, в которую следует (и хочется) погружаться.

В качестве иллюстрации приведу выписку из искусствоведческой работы русского философа М. О. Гершензона: «Пленительность искусства — та гладкая, блестящая переливающая радугой ледяная кора, которую как бы остывает огненная лава художественной души, соприкасаясь с наружным воздухом, с явью. <...> Но вместе с тем блестящая ледяная кора скрывает от людей глубину, делает ее недоступной; в этом — мудрая хитрость природы. Красота — приманка, но красота — и преграда. <...> Для слабого глаза она непрозрачна: он осужден тешиться ею одной, — и разве это малая награда? Лишь взор напряженный и острый проникает в нее и видит глубины, тем глубже, чем он острее. Природа оберегает малых детей своих, как щенят, благодетельной слепотою. Искусство дает каждому вкушать по силам его: одному всю свою истину, потому что он созрел, другому часть, а третьему показывает лишь блеск ее, прелесть формы для того, чтобы огнепалая истина, войдя в неокрепшую душу, не обожгла ее смертельно и не разрушила ее молодых тканей»²⁰. В приведенном отрывке речь идет о возможной глубине проникновения во внутреннюю форму произведения искусства, а соответственно, и о глубине понимания его смысла, о полноте построения воспринимающим образа этого произведения. Надо ли говорить о том, что чем глубже понимание и эстетическое переживание, вызванное произведением искусства, тем прочнее оно будет храниться в душе. С подобной ситуацией мы сталкиваемся при восприятии, понимании и интерпретации знака, слова, символа, мифа и других артефактов. Все они имеют свои внешние и внутренние формы, наличие которых артикулировано еще в античности, но детальная разработка понятий внешней и внутренней формы языка и слова принадлежит В. фон Гумбольдту, Х. Штейнталу, А. А. Потебне и Г. Г. Шпету. В свете их исследований, долгие годы игнорируемых психологией, мы имеем дело не с привычной нам оппозицией между неопределенными внешним и внутренним, а с внешними и внутренними

¹⁹ Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982. С. 17.

²⁰ Гершензон М. О. Гольфстрем. Ключ веры. Мудрость Пушкина. М., 2001. С. 228–229.

формами целого, которое представляет собой «метаформу». При относительной простоте внешней формы внутренняя форма артефактов избыточна и допускает большое число степеней свободы для интерпретации целого. А. Л. Доброхотов назвал такую избыточность «прибавочной значимостью»: «Независимо от намерений создателя или пользователя, любой артефакт скрыто содержит в себе не только утилитарное решение задачи, но и момент интерпретации мира. Этот момент и составляет “прибавочную значимость” артефакта, позволяющую мыслить культуру как целое и переходить к сопоставлению ее разнородных явлений, создавая тем самым общую морфологию культуры»²¹. Избыточность знака, конечно, минимальна (но она есть!), в символе она — огромна. Запоминаясь, артефакт, благодаря его интерпретативным свойствам, интеллектуализирует память. Проникновение во внутреннюю форму артефакта есть приобщение к культуре. Создаваемые нами образы, обобщения, понятия, обладают свойством открытости и ограничены только нашей собственной активностью, направленной в мир, на природу и культуру, на других людей и самих себя. Если принять во внимание совокупный опыт человечества, то мы сможем убедиться в том, что понимание не имеет границ. Еще один довод в пользу этого положения принадлежит Вергилию, который сказал: Все может надоесть, кроме понимания. Это мы знаем и на своем собственном опыте. Соответственно, на опыте науки мы должны были бы убедиться в бесплодности поисков «окончательных» объяснений и «последних» истин. Их с успехом заменяет создаваемый нами «пространства внутренней избыток».

Б. Г. Мещеряков²² совершенно справедливо соотнес эффекты глубины или уровней обработки Ф. Крейка и Р. Локхарта²³ с эффектами активности и деятельностного опосредования П. И. Зинченко. На материале П. И. Зинченко он следующим образом расшифровывает эти эффекты. Выполнение познавательной задачи активными способами (например, классификация, составление плана, подбор слов, придумывание слов с заданными свойствами) приводит к лучшему произвольному усвоению материала в сравнении с произвольным запоминанием без достаточной умственной обработки материала. Выбор названия «эффект активности» продиктован отнюдь не тем, что необходимо противопоставлять понятия «уровень (глубина) обработки» и «уровень (интенсивность) активности»;

²¹ Доброхотов А. Л. Выступление на «круглом столе» Культурология как наука: за и против // Вопросы философии. 2008. № 11. С. 12.

²² Мещеряков Б. Г. Память человека: эффекты и феномены. М., 2004.

²³ Craik F., Lockhart R. Levels of processing: A framework for memory research // Journal of verbal learning and verbal behavior. 1972. № 11. P. 671–684.

предлагаемое название довольно условно и определяется прежде всего соображениями краткости и смысловой ассоциативности, но акцент в дефиниции этого эффекта должно сделать на превосходстве активного произвольного запоминания над пассивным (неопосредствованным) произвольным запоминанием. С содержательной точки зрения, более точным, но слишком громоздким, было бы название типа «эффект превосходства активного произвольного запоминания над пассивным произвольным запоминанием».

Об эффекте, который предлагается назвать «эффектом активности», П. И. Зинченко писал достаточно четко и доказательно: «непроизвольное запоминание, опирающееся на содержательные и активные способы работы с материалом, является более продуктивным, чем произвольное, если в последнем не используются аналогичные способы. Так, например, непроизвольное запоминание пятнадцати изображенных на карточках предметов, осуществлявшееся в процессе их классификации, дало лучшие результаты, чем произвольное, не опиравшееся на классификацию (от 9,6 у средних дошкольников до 13,2 у взрослых — при непроизвольном запоминании, и соответственно от 6,6 до 11,5 — при произвольном запоминании)»²⁴.

Аналогичные результаты, но при других способах работы с материалом, получены в опытах с запоминанием отрывков текста: превосходство непроизвольного запоминания текста в случае активной работы по его осмыслению над произвольным запоминанием с простым повторением. Следует отметить, что эффекты деятельностного опосредствования были вновь открыты в североамериканской когнитивной психологии в рамках подхода к памяти с точки зрения теории глубины (или уровней) обработки²⁵.

Итак, глубине уровней обработки соответствуют различные по интенсивности уровни активности. И здесь психологии неocenимую услугу оказывают исследования Н. А. Бернштейна, посвященные анализу уровней построения движений²⁶ и исследования А. В. Запорожца, посвященные развитию произвольных движений²⁷. Бернштейн проследил развитие живого движения от фонового уровня (А) палеокинетических регуляций к субкортикальному уровню (В) синергий и штампов, затем к кортикальному уровню (С) построения пространственного поля, далее к следующему кортикальному уровню (D) предметных действий. Наконец, он указал на последний уро-

²⁴ Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. М., 1961. С. 477–478.

²⁵ Мещеряков Б. Г. Мнемические эффекты П. И. Зинченко // Культурно-историческая психология. 2009. № 2. С. 10.

²⁶ Бернштейн Н. А. О построении движений. М., 1947.

²⁷ Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960.

вень (Е), лежащий выше уровня действий и выходящий за его пределы. Он называл его высшим уровнем символических координаций. Бернштейн, вслед за А. А. Ухтомским, рассматривал сами движения и действия как функциональные органы индивида, которые, как живое существо, эволюционируют, инволюционируют, обладают реактивностью и чувствительностью. Они существуют виртуально и актуализируются в соответствии с задачами поведения и деятельности. В функциональном органе отражается не то, что свойственно индивиду и внешней среде, взятым по отдельности, а то, что *возникает* в них при взаимодействии друг с другом и исчезает вместе с прекращением этого взаимодействия. Будучи сформированы, функциональные органы существуют как некоторый набор средств и способов активности (когнитивной, аффективной, коммуникативной, исполнительной и пр.). Их важнейшим свойством является способность к предвидению. Условно такие органы можно назвать культурным или деятельностным потенциалом индивида, своего рода «фонотекой» (Н. А. Бернштейн). Л. С. Выготский для характеристики психических актов предпочитал использовать термины «психологические орудия», «новообразования». Идея функциональных органов не нова. В свое время И. Г. Фихте говорил, что человек создает органы «душой и сознанием назначенные». Такие приобретения (создания) оказываются неколебимей, чем недвижимость (И. Бродский), их виртуальная реальность слишком часто становится реальнее реальной.

Бернштейн говорил о «фонотеке», можно говорить об «арсенале» функциональных органов, формируемых человеком. Существенно, что идея функциональных органов индивида возникла у А. А. Ухтомского в контексте размышлений об анатомии и физиологии человеческого духа. К этой идее близка идея личных конструкторов Дж. Келли²⁸, возникшая в контексте размышлений о личности. Целесообразно различать относительно постоянные функциональные органы и оперативные. К числу постоянных можно отнести, например, интегральный образ мира, слово, культурную память, интеллектуальные приемы и схемы, схематизмы сознания, двигательные умения и навыки и т. п. Они имеют свои внешние и внутренние формы и столь же избыточны, как и артефакты, о которых говорилось выше. Для таких функциональных органов ближе подходит термин «функциональные структуры когнитивных и исполнительных актов». Оперативные функциональные органы — это органы в действии, например, текущие доминанты, функциональные состояния индивида, срочные когнитивные и поведенческие акты, скла-

²⁸ Келли Дж. Теория личности. СПб., 2000.

дывающиеся здесь и теперь. Келли также подчеркивает, что личные конструкты являются орудиями опыта, а не просто его продуктами. В них, как и в функциональных органах, присутствует не только Istwert, но и Sollwert, не только инсайт, но и форсайт.

Ученик и сотрудник П. И. Зинченко Г. К. Серeda находил приемы ориентации произвольной памяти учащихся на будущее и тем самым достигал резкого повышения ее эффективности²⁹.

Согласно Бернштейну, уровни определяют ранговый порядок сложности и значимости действий организма вообще. Исследование возможного соотношения рангов сложности движения и рангов сложности перцепта и пути к нему представляет собой интересную задачу. Близкая логика прослеживается в развитии исследований уровней обработки информации в кратковременной зрительной памяти. В них обращалось основное внимание не столько на выделяемое перцепиентом содержание, сколько на консервативные и динамические функциональные блоки («ящики в голове»), участвующие в обработке информации. В зависимости от характера решаемых задач в ней могут принимать участие сенсорный регистр, иконическая память, сканирование, опознание, формирование моторных инструкций (программ использования полученных данных), оперирование, манипулирование (mental rotation) программами, блок семантической обработки (извлечение и придание смысла), повторение во внутренней речи и, наконец, вербальный или моторный ответ. Каждый из функциональных блоков характеризуется различным соотношением консервативных и динамических свойств. Например, в сенсорном регистре преобладают консервативные, в блоке семантической обработки — динамические свойства. В последнем случае человек проникает в более глубокие пласты значений и смыслов³⁰. Максимальная глубина обработки достигается за пределами кратковременной памяти после актов дискурсии при работе со значениями.

Функциональные блоки (они же уровни) обработки информации подобно функциональным органам существуют виртуально, они актуализируются по мере надобности при возникновении поведенческих или других задач. Они могут быть организованы иерархически. Возможна и гетерархия, которая может представлять собой своего рода когнитивный пул, т. е. не последовательное, а параллельное сочетание сил, направленных на решение задачи. Обнаружение большой

²⁹ Серeda Г. К. О структуре учебной деятельности, обеспечивающей высокую продуктивность произвольного запоминания // Проблемы психологии памяти. Харьков, 1969. С. 12–20.

³⁰ Зинченко В. П. Продуктивное восприятие // Вопросы психологии. 1971. № 6.

части перечисленных и не перечисленных функциональных блоков, открытых почти за полвека существования когнитивной психологии, потребовало изобретения изощренных экспериментальных приемов исследования, получивших названия микроструктурного и микродинамического анализа. Все они осуществляются в таком временном диапазоне, который не доступен никакому самонаблюдению, не поддается описанию на «языке внутреннего». К сожалению, спроецировать работу изученных уровней обработки информации в кратковременной памяти на реальный процесс решения проблемных ситуаций можно лишь гипотетически. Любому решению предшествует фаза ознакомления с проблемной ситуацией или фаза информационного поиска. Регистрация движений глаз показывает, что на этой фазе наблюдается различная длительность зрительных фиксаций. На каждом шаге ознакомления с ситуацией глубина обработки, а, соответственно, и проникновения в ситуацию различна. Такому предположению не противоречит и возможность практически мгновенного схватывания смысла ситуации. Примером может быть эксперимент В. Б. Малкина над шахматным гроссмейстером³¹. Естественно, что выше приведен далеко не полный перечень потенциально возможных уровней обработки информации, определяемых задачами внимания, наблюдения, запоминания и действия. Если позволить себе немножко пофантазировать, то можно провести внешнюю аналогию между ранговой сложностью двигательных, перцептивных и умственных действий и рангами рефлексивного проникновения в глубину замыслов соперника. Последнее — сюжет рефлексивных игр, развитый В. А. Лефевром.

Иной акцент был поставлен в исследованиях А. В. Запорожца. При анализе развития произвольных движений (в терминологии Бернштейна, — это уровни D и E) основное внимание было уделено макrogenезу, т. е. развертыванию процесса формирования образа ситуации и образа действий, которые в этой ситуации должны быть выполнены. Образ ситуации и образ действий выступили у Запорожца в качестве внутренней картины (внутренней формы) произвольных движений и действий, без которой невозможно сколько-нибудь эффективное их осуществление. Следовательно, глубина обработки зависит не только от воспринимаемого, запоминаемого предмета, но и от уровня активности. Мы имеем дело с синергией (в ином смысле, чем у Бернштейна уровень B) образа и действия. Точнее, действие, приводящее к формированию образа, становится внутренней формой сложившегося образа. В свою оче-

³¹ См. наст. изд.: Гл. «Николай Александрович Бернштейн: психологическая физиология». С.

редь, складывающийся или сложившийся образ становится внутренней формой выполняемых движений и действий.

Подобные динамические отношения между образом и действием далеки от стимульно-реактивных схем описания поведения. Образ не просто вызывает то или иное действие, а трансформируется в действие, становится образом-регулятором. При этом он утрачивает свойства избыточности и константности, необходимые для принятия решения о действии или отказа от него. В образе действия присутствуют релевантные задаче и вполне реальные свойства ситуации и объекта действия. Происходит декомпозиция образа и композиция действия. Осуществление последнего тоже можно рассматривать как его декомпозицию, но действие не исчезает вовсе, оставляя после себя не только результат, но и образ измененной действием ситуации.

Мы сталкиваемся с удивительными превращениями образа. Образ наличной ситуации трансформируется в образ требуемой ситуации. В терминологии Л. С. Выготского — в актуальное будущее поле. Образ требуемой ситуации, в свою очередь, трансформируется в образ действия. Наконец, когда действие начинается, образ действия становится образом в действии, не столько оседает, сколько воплощается в нем. Все происходящее ведет к тому, что не только действие во всей своей сложности становится предметным, но также осуществляющие его движения, как бы впитывающие в себя предмет, приобретают предметные черты. Чарльз Шеррингтон говорил когда-то о предметных рецепторах. Он имел в виду зрение и слух. Предметной становится и кинестетика, и проприорецепция. Чувствительность движения к самому себе, к собственному протеканию дополняется чувствительностью к ситуации, к предмету действия. Мало этого, движение становится чувствительным к смыслу двигательной задачи, т. е. к планируемому будущему результату и построенной программе его достижения. И все это, как и в случае уровней обработки в зрительной кратковременной памяти, происходит в недоступном самонаблюдению диапазоне времени. Но происходит вовсе не автоматически (не хотелось бы использовать термин «бессознательно»). В исследовании Н. Д. Гордеевой³² показано, что чувствительность движения к самому себе и чувствительность его к ситуации меняются со сдвигом по фазе. Их чередование зависит от скорости движения: при выполнении, например, комфортного движения, длящегося около одной секунды, смена чувствительности

³² Гордеева Н. Д. Продуктивный хаос как условие порождения предметного действия // Вопросы психологии. 2007. № 3. С. 116–127; Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2001. № 6. С. 26–41.

наблюдается с интервалом от 100 до 200 мс. Другими словами, происходит сопоставление показаний обоих видов чувствительности и соотнесение полученной оценки со смыслом текущей двигательной задачи. Обнаруженный эффект был назван эффектом фоновой рефлексии. Последняя даже в простых движениях происходит несколько раз в секунду. Важно заметить, что при смене обоих видов чувствительности она не падает до нуля. Значит, сохраняется готовность в случаях внешней или внутренней необходимости ее повышения.

Наличие подобного механизма в свое время было предсказано Бернштейном. После того, как овладевающий навыком определил его двигательный состав и установил, как будут *выглядеть* (снаружи) требуемые движения, «он доходит до того, как должны *ощущаться* (изнутри) и сами эти движения, и управляющие ими сенсорные коррекции»³³. Это есть не что иное, как заглядывание внутрь самого себя, о котором мы, совершая даже сложные действия, не подозреваем.

Следовательно, уже на таких глубинных уровнях активности наблюдается ее интенциональность, рефлексивность, содержательная сложность и др., что позволяет говорить не просто о бессознательном, а о бытийном слое или уровне работы сознания. Сказанное справедливо для макрогенеза восприятия (формирования нового образа); для микрогенеза восприятия (опознания знакомого образа); для различных по сложности преобразований информации в кратковременной памяти, необходимых для решения проблем или перевода ее в долговременную память; для построения движений и действий (непроизвольных и произвольных, вынужденных и спонтанных, свободных). На бытийном уровне сознания теряют смысл привычные различия субъективного и объективного, внешнего и внутреннего. Конечно, изученные и изучаемые уровни обработки информации субъективны, но лишь в том смысле, что они принадлежат индивиду. Но это такое субъективное, которое не менее объективно, чем, так называемое, объективное. Речь идет об особой онтологии единого континуума бытия-сознания.

Я начал разговор об уровнях обработки информации и уровнях активности с примера, относящегося к психологии искусства. Известно, что восприятие искусства играет существенную роль в личностном развитии человека. По мере погружения во внутренние формы произведений искусства мы ведь углубляемся и в себя, начинаем строить свою собственную внутреннюю форму, которая

³³ Бернштейн Н. А. Биомеханика и физиология движений. М.; Воронеж, 1997. С. 238.

тоже неоднородна, имеет свои ступени и уровни. Это, конечно, относится не только к восприятию искусства, а имеет более широкое значение. Но это уже другой сюжет.

Едва ли нужно пояснять, что сказанное об образе и действии имеет непосредственное отношение к памяти и к результатам ее исследований, проведенных Зинченко, Крейком и Локхартом и также к намеченным ими перспективам изучения уровней ее активности и глубины обработки. Их исследования не только не противоречат друг другу, а дают новые основания для трактовки человеческой памяти в целом и отдельных ее видов — запоминания, сохранения, воспоминания, воспроизведения, забывания — как динамического функционального органа, несомненно обладающего и консервативными свойствами.

Некоторые перспективы: от уровней к функциональным органам и их моделям

Позволю себе сделать общее заключение относительно уровней глубины обработки и уровней активности, независимо от того, относятся ли изученные уровни к перцепции, памяти, пониманию, к решению проблем или организации действия. Разумеется, изученные когнитивные и исполнительные акты не исчерпывают полноту измерений внутреннего мира или внутреннего пространства человека. Не мой взгляд, сегодня задача исследователей состоит не столько в том, чтобы увеличивать число измерений, сколько в том, чтобы установить смысловые связи между уже известными подходами, каждый из которых предлагает свое объяснение, по сути дела, одного и того же с различных сторон изучаемого предмета. Хотя они все разные, но ни одно из них не толкает на путь редукции к нейрофизиологическим механизмам, который выводит объяснение за рамки психологии. В. Н. Порус³⁴ предлагает вместо движения по «трассе редукционистского слалома» другой путь — путь построения *топологической системы*, в которой «уровни» или «типы» объяснений выступают как взаимные «транскрипции», способы прочтения своих смыслов в иных языках. Такой путь к пониманию целого давно назрел и для его реализации уже имеются достаточные предпосылки. Выше отмечалось, что первоначальные представления об иерархи-

³⁴ Порус В. Н. Как объяснить? Знак развилки на пути психологии // Методология и история психологии. 2008. Вып. 1. С. 95–96.

ческой организации когнитивных и исполнительных актов оказываются неудовлетворительными и уступают место представлениям об их гетерархической организации. Но когда речь идет о координации между собой сложных когнитивных актов в интересах обеспечения исполнительных актов, имеющих, в свою очередь, уровневую структуру, ситуация еще более усложняется. Гетерархии недостаточно. Необходима координация не только по вертикали между уровнями, находящимися внутри того или иного акта. Необходима также координация по горизонталям и диагоналям, т. е. между уровнями, относящимися к различным функциональным структурам отдельных когнитивных или исполнительных актов. Нечто подобное имел в виду А. Кёстлер, вводя термины «матрица» и «бисоциация», последнему М. К. Петров предпочел термин «мультисоциация»³⁵. Речь может идти о многосвязной сети горизонтальных и вертикальных уровней, подобной многосвязной сети нейронов, соединенных по принципу «каждый с каждым»³⁶. Такая «пространственная» многосвязная сеть служит основанием для построения функциональных моделей или структур деятельности, включающих в себя компоненты, принадлежащие к разным уровням. Опыт построения межуровневых моделей постепенно накапливается. Его начало заложено в моделях управления движением, предложенных Н. А. Бернштейном и его последователями. Не стану вдаваться в проблему, как нейроны «узнают» друг друга в многосвязных сетях. Важнее ответить на вопрос, как «узнают» друг друга уровни или компоненты, относящиеся к различным функциональным структурам когнитивных и исполнительных актов. Ответить на этот вопрос помогает рассмотрение таких актов (постоянных функциональных органов) как метаформ. Проиллюстрирую это на примере действия, слова и образа. Во внутреннюю форму действия входят образ и слово; во внутреннюю форму образа входят действие и слово, наконец, во внутреннюю форму слова входят образ и действие. Метаформы, будь они слово, образ или действие, содержат соответствующие им функциональные, вербальные, перцептивные, предметные и операциональные значения. Они не статичны, а динамичны и их динамика порождает новые смыслы. В. фон Гумбольдт видел за формами языка в качестве внутренней формы формирующую идею духа. Она же присутствует за метаформами образа и действия. Разумеется, все метаформы не беспристрастны. За ними

³⁵ Петров М. К. Философские проблемы науки о науке. Предмет социологии науки. М., 2006.

³⁶ Зинченко В. П., Назаров А. И. Послесловие // Бернштейн Н. А. Биомеханика и физиология движений. М.; Воронеж, 1997. С. 576–594.

есть и чувства. Таким образом, мы получаем переплетение, бахрому или гирлянды внутренних форм, где входящие в них компоненты опутаны сетями прямых и обратных связей. При таком рассмотрении функциональные структуры действия, образа и слова больше, чем «знакомы». Они не только по своему происхождению, но и по своему функционированию представляют собой гетерогенные образования, что и составляет основу их взаимоотношений и взаимодействий при решении новых задач, возникающих в неопределенных и меняющихся условиях поведения и деятельности. Происходит деконструкция запасенных ранее структур и композиция новых структур требуемых задачами деятельности. В том числе и структур, с помощью которых конструируется будущее.

Не углубляясь в динамику внутренних форм, ограничусь метафорической характеристикой того, как человек противостоит неопределенности и изменчивости мира (внешнего и внутреннего, если такое различие еще имеет смысл). А. В. Запорожец сравнивал освобожденное от штампов живое движение с Эоловой арфой. Живое движение участвует в порождении образа. Живой образ, в свою очередь, может быть вибрирующим, напряженным, мучительным и зыбким, т. е. таким же подвижным, как смысл и движение. Он подвержен оперированию, манипуляциям и трансформациям. Полизначно и полисемично слово. Его тоже нужно найти: *Я слово потерял, что вам хотел сказать, / И мысль бесплотная в чертог теней вернется*. Об этом же: *Какая боль искать потерянное слово* (О. Мандельштам). Подобным же образом описывается поведение мысли: «Логика мысли не есть уравновешенная рациональная система. Логика мысли подобна порывам ветра, что толкают тебя в спину. Думаешь, что ты еще в порту, а оказывается — давно уже в открытом море, как писал Лейбниц»³⁷. Наконец, читателям, озабоченным поисками физиологических механизмов поведенческих и психических актов, можно напомнить, что близкую метафору использовали нейрофизиологи, утверждавшие, что в живом организме сеть дендритов подвижна, как ветки дерева при легком ветерке. Приведенные примеры говорят о том, что психология не только должна стать более толерантной к неопределенности³⁸, но и быть внимательной к способам ее преодоления.

А теперь вспомним, что за всеми перечисленными актами стоят сложнейшие, находящиеся в неравновесном состоянии функ-

³⁷ Deleuze G. La vie comme une oeuvre d'art // Le Nou-vel Observateur. 1986. № 1138. P. 58. См.: Жиль Делёз // Новейший философский словарь. Постмодернизм. Минск, 2007. С. 121.

³⁸ Зинченко В. П. Толерантность к неопределенности: новость или психологическая традиция? // Вопросы психологии. 2007. № 6.

циональные структуры, которые столь же необходимы для организации поведения и деятельности, сколь и избыточны. Из их элементов (уровней) нужно строить оперативные функциональные органы. Видимо, действительно для описания такой работы необходимо привлечение топологических категорий, или, как давно предупреждал Н. А. Бернштейн, строить новую математику, которой до сих пор нет, и едва ли она будет построена в обозримом будущем. Приходится пользоваться поэтическими формулами и, обходясь своими силами, строить, «понимательные» или интеллигибельные концептуальные схемы.

Заключая разговор об уровнях глубины обработки и уровнях активности, не могу не признать, что меня не покидает ощущение тайны, чуда происходящего в человеческом восприятии, памяти, мышлении. На языке науки это чудо состоит в переходе от сукцессивности к симультанности восприятия мира. Таким же чудом является поразительная готовность нашей памяти, практически мгновенно выбирающей из ее не имеющего отчетливых границ объема, то, что нужно в данный момент. На языке поэзии его выразили У. Блейк: *В одно мгновенье видеть вечность...* и Б. Пастернак: *Мгновенье длился этот миг, / Но он и вечность бы затмил*. Возможно, прикоснуться к тайне симультанности поможет обращение к проблеме соотношения непосредственного и опосредованного в человеческом познании и деятельности. В конце концов, непосредственное и опосредованное — это ведь тоже уровни организации психической жизни человека, его сознания и деятельности.

Опосредованность психики культурными артефактами, конечно, есть благо. Однако не меньшим благом в человеческой жизни является непосредственность. Вооруженная культурными средствами *непроизвольная* память как бы преодолевает надолбы и рвы опосредованности и приближается по характеру своей работы к непосредственной памяти. Начало исследований того, как это происходит, положено в исследованиях П. И. Зинченко и его последователей. Эти исследования вносят вклад в решение более общей проблемы, которую можно обозначить как проблему свободного действия. Психология медленно, но верно приближается к раскрытию механизмов не только свободного двигательного действия (это проблема Н. А. Бернштейна, А. В. Запорожца, Н. Д. Гордеевой), но и свободного когнитивного, в том числе и мнемического действия.

Исследования соотношения непроизвольного и произвольного, непосредственного и опосредованного в человеческой памяти, выполненные П. И. Зинченко, — это вызов и перспектива развития когнитивной психологии.

Вступительные заметки о живой памяти: Памяти Зинченко Татьяны Петровны

Мне очень хотелось написать правильное предисловие к книге моей родной сестры Татьяны Петровны Зинченко¹, унаследовавшей проблематику своих многолетних исследований памяти у нашего отца Петра Ивановича Зинченко (1903–1969). Правильное — вовсе не означает комплиментарное, но, во всяком случае, адекватно выражающее и оценивающее сделанное автором. Предисловие, в котором говорится о том, что есть в книге, а не о том, чего нет, и что в ней могло бы быть. Помучившись некоторое время, я понял, что правильное предисловие у меня не получается, что может быть, и к лучшему. Дело в том, что любой увлеченный и профессиональный автор, глубоко погруженный в ту или иную проблему, не склонен из нее «выныривать» в более широкий контекст, в котором проблема существует. Для этого нужен дилетант, роль которого я и попытаюсь сыграть в предпосылаемом книге тексте. Он будет представлять собой размышления, к которым дает повод книга Т. П. Зинченко, равно как и давние работы П. И. Зинченко. Читатель встретится в книге не только со ссылками на них, но и с прямыми заимствованиями, которые, разумеется, оговорены.

Мы с сестрой, как и наш отец, являемся приверженцами культурно-исторической психологии, развивавшейся в нашей стране Л. С. Выготским (1896–1934) и его последователями. Обращаясь к истокам этой концепции, можно с уверенностью сказать, что именно на исследованиях памяти были наиболее отчетливо продемонстрированы ее преимущества по сравнению с классическими исследованиями памяти, начавшимися на заре экспериментальной психологии. Хотя главным предметом книги Т. П. Зинченко является память, ее процессы не выступают в чистом виде.

¹ См.: Зинченко Т. П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. СПб., 2002.

Автор рассматривает участие в процессах запоминания, воспроизведения, забывания attentionных, интеллектуальных функций и аффективных состояний. Возможно, многим надоевший «узелок, завязанный на память», на который постоянно ссылались Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев, положил начало изучению опосредствованного характера не только памяти, но и других психических актов: ощущения, восприятия, внимания, мышления, аффектов. Опосредствованность, в самом общем смысле этого слова, означает включенность психики в контекст жизни и деятельности индивида. В более частичном смысле, следует различать, как минимум, две формы опосредствованности. Применительно к памяти это означает, что она сама, ее содержание и приемы опосредствуют наши отношения с миром, все доступные нам виды поведения и деятельности. В этом случае память выступает в качестве средства. Во втором случае память сама испытывает на себе влияние самых разнообразных средств: от узелка, завязанного на память, до мнемосхемы, карты, компьютера, шпаргалки и т. д., и т. п. Значит мнемический акт, мнемическое действие может быть либо опосредствующим, либо опосредствованным. Самое интересное (и трудное для исследования) то, что обе формы опосредствования вполне совместимы не только друг с другом, но и во времени. Их изучение, да и то относительное, возможно лишь в перспективе исследований памяти. Это же справедливо и по отношению к другим психическим актам, силам, способностям, функциям, процессам, как бы мы их не обозначали.

Было бы наивно думать, что идея опосредствования — это достояние научной школы Л. С. Выготского. Столь же наивно пытаться определить, какая из двух форм опосредствования является первичной, главной, ведущей в жизни памяти и ее носителя. Приведу давнюю, рассказанную Сократом историю об опосредствующих функциях памяти: «Так вот, я слышал, что близ египетского города Навкратиса родился один из древних тамошних богов, которому посвящена птица, называемая ибисом. А самому божеству имя было Тевт. Он первый изобрел число, счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом городе верхней области, который греки называют египетскими Фивами, а его бога — Аммоном. Придя к царю, Тевт показал свои искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его мнению, хорошо или нет, кое-что порицал, а кое-что хвалил. По поводу каждо-

го искусства Тамус, как передают, много высказал Тевту хорошего и дурного, но это было бы слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: “Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятьливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости”. Царь же сказал: “Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой — судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых”»².

Как мы видим, эта история вполне современна. За две с половиной тысячи лет люди (и психологи!) так и не решили, что лучше? Память — средство, или средства памяти? По моим, естественно, субъективным и пристрастным ощущениям, память — не самая сильная сторона души современного человека, а память психологов — и того менее. Для того чтобы ее усилить, не нужно забывать, что память может, а порой, и должна выступать также в качестве цели.

В чем же тогда состоит заслуга культурно-исторической психологии, если о включенности памяти в жизненный контекст и ее средствах размышляли испокон веку. Прежде, чем отвечать на этот вопрос, обратимся еще к одной столь же давней и все еще живой позиции, тесно связанной с той, о которой только что рассказано.

Экспериментальная психология памяти прошла большой путь, конца ему не видно. Она начиналась с того, чтобы представить эту замечательную силу человеческой души как «чистую мнему». С подобной установкой начиналось изучение и других сил души, получивших название психических функций. По мере их изучения предпринимались многочисленные попытки их комбинирования в целях выделения главной, ведущей функции, которые не привели к успеху. В частности, память выступала то в роли главной, то в роли подчиненной, выполняющей служебные функции — функции образования следов, хранения, воспроизведения и т. п. Подобные

² Платон. Федр 274 с, d, e — 275 а, b // Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 185–186.

перестановки памяти в разных вариантах композиции психических функций отражали философские споры о соотношении памяти и творчества, репродуктивных и продуктивных процессов, а говоря современным языком, консервативных и динамических сил памяти.

В истории культуры имеются крайние позиции: от полного разделения миров творчества и репродукции, до их полного слияния. Сократ предполагает, что наши души подобны воску — у разных людей он отличается по качеству — и что это «дар Памяти, матери всех муз»³. Согласно Платону, знание истины и души заключено в памяти, в припоминании некогда виденных всеми душами идей-образов, смутными копиями которых являются все земные вещи. Было время, когда память занимала подобающее место среди сил души, более того, именно она считалась первой и главной среди них. Грек гомеровской эпохи — писал А. Ф. Лосев, — «никогда не творит тут чего-нибудь нового, небывалого. Вся его фантазия направлена лишь к тому, чтобы по возможности точно воспроизвести уже имеющееся, уже бывшее, вечное или временное. <...> Фантазия у греков имела цель не создать новое, а только воспроизвести старое, — вот о чем говорят рассматриваемые нами гомеровские мифы о богах»⁴. А. Г. Новохатько замечает, что «к таким же выводам пришел М. Элиаде, который показал, почему такую колоссальную роль играла тренировка памяти, например, у сказителей, Эмпедокла и пифагорейцев. В древнегреческой культуре ясно просматриваются два вида памяти, неподвластные Лете, “Забвению”, что открывало возможность духовного бессмертия: 1) Лета бессильна перед теми, кто вдохновлен музами (так и теми, кто обладает пророческим даром, направленным в прошлое), что дает им возможность восстановить в памяти события, произошедшие у истоков мира (или воссоздать структуру, образец порождения мира); 2) Лета вынуждена отступить и перед людьми типа Эмпедокла и Пифагора, кто способен так развить специальной техникой свою память, что можно заявить об их “всезнании” — они помнили **абсолютно все** свои предыдущие состояния»⁵.

Августин также признавал Память одной из главнейших способностей души, наряду с Рассудком и Волей. Ему принадлежит одно из самых поэтических описаний работы памяти, которые имеются в истории культуры: «Прихожу к равнинам и обширным дворцам

³ См.: Платон. Теэтет 191 d // Платон. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 251.

⁴ Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1963. С. 212.

⁵ См.: Новохатько А. Г. Историзм самосознания как проблема творчества // Э. В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999. С. 152.

памяти (*campos et lata praetoria memoria*), где находятся сокровищницы (*thesauri*), куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято. Там же сложены и все наши мысли, преувеличившие, преуменьшившие и вообще как-то изменившие то, о чем сообщили наши внешние чувства. Туда передано и там спрятано все, что забвением еще не поглощено и не погребено. Находясь там, я требую показать мне то, что я хочу; одно появляется тотчас же, другое приходится искать дольше, словно откапывая из каких-то тайников; что-то вырывается целой толпой, и вместо того, что ты ищешь и просишь, выскакивает вперед, словно говоря: «Может, это нас?». Я мысленно гоню их прочь, и наконец то, что мне нужно, проясняется и выходит из своих скрытых убежищ. Кое-что возникает легко и проходит в стройном порядке, который и требовался: идущее впереди уступает место следующему сзади и, уступив, скрывается, чтобы выступить вновь, когда я того пожелаю. Именно так и происходит, когда я рассказываю о чем-либо по памяти»⁶.

Это было написано в IV н. э. К XX веку о дворцах памяти забыли. В. Хлебников воскликнул: «О погреб памяти», а А. Ахматова взяла это восклицание эпиграфом к стихотворению «Подвал памяти», в котором, впрочем, «Сверкнули два живые изумруда. И кот мяукнул...» Существуют и более мрачные метафоры, о некоторых будет сказано ниже.

Можно ли сказать, что в обозримых масштабах человеческой истории, равно как и в истории образования, ценность памяти уменьшилась, уступив место мышлению, интеллекту, пониманию, аффекту. Так ли это на самом деле? Если судить по изменению удельного веса исследований памяти по сравнению с исследованиями мышления и эмоций в экспериментальной психологии, то такое заключение окажется справедливым. А если судить по внедрению ЕГЭ, настраивающего на скорейшую сдачу знаний в утиль, то едва ли. В любом случае, нельзя упускать из виду замечательного теоретического положения Л. С. Выготского об интеллектуализации высших психических функций, в их числе, разумеется, и памяти. Так что же происходит? Не означает ли, что интеллект поглощает память, а вместе с ней и другие психические процессы? Известно, что психологические воззрения Л. С. Выготского складывались под сильным влиянием Б. Спинозы. Обратимся к первоисточнику. Спиноза проблему памяти ставит в контекст проблематики, вскрывающей природу «интеллекта». При этом память непосредственно увязывается с воображением («имагинацией»).

⁶ Августин Блаженный. Исповедь. М., 1991. С. 243.

«Если человеческое тело подвергалось однажды действию одновременно со стороны двух или нескольких тел, то душа, воображая впоследствии одно из них, тотчас будет вспоминать и о других»⁷.

Формируя воображение, человек одновременно формирует и развивает свою память. Вместе с тем, память по отношению к воображению — всегда предположена. Вот и весь секрет: «Отсюда ясно, — пишет Спиноза, — что такое память. Она есть не что иное, как некоторое сцепление идей, заключающих в себе природу вещей, находящихся вне человеческого тела, происходящее в душе сообразно с порядком и сцеплением состояний человеческого тела»⁸. Только тут есть одна любопытная тонкость, которую отмечает А. Г. Новохатько: «Память есть некоторое “сцепление идей”. Но идеи, согласно Спинозе, суть только такие состояния человеческого тела, которые заключают в себе как природу этого тела, так и природу тела внешнего. Идеи — это целостности, которые заключают в себе единство противоположностей. Память тем самым всегда обречена зацеплять оба вышеуказанных момента именно в силу того, что она *своим родом из идеи*. Иными словами, память имеет “интеллектное” происхождение. Однако это вовсе не означает, что память сама по себе способна вывести человеческую душу на постижение вещей в их “первых причинах” — даже если предположить, что ей обеспечена со стороны человеческого тела возможность бесконечно сцеплять идеи внешних по отношению к нему тел»⁹.

Согласно Спинозе, память прежде, главнее воображения, но позже интеллекта, родом из него. Взгляд удивительно интересный и поучительный, в том числе и в свете наивных, правда, уже достаточно давних усилий создать на основе памяти «искусственный интеллект». Философы и психологи, кажется, всегда знали, что путь к интеллекту пролагает действие. У Фихте, у Гёте «Вначале было дело». Из действия выводил интеллект А. Бергсон. А. Валлон дал афористическое название своей книге «От действия к мысли». К этим идеям пришли А. В. Запорожец, М. Вертгеймер, Ж. Пиаже и др. А что же память?

«Память (как и воображение, “имагинация”) — своего рода предчувствие интеллекта, симптом возможности его обнаружения, можно, наконец, сказать, что память есть ищущий себя интеллект,

⁷ Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей // Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М., 1957. С. 423.

⁸ Там же.

⁹ Новохатько А. Г. Историзм самосознания как проблема творчества // Э. В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999. С. 148–149.

или интеллект, нуждающийся в “очищении”, <...> но ни в коем случае не есть самый этот *интеллект как таковой*. Мера развития интеллекта определяет меру развития памяти (да и других способностей души), а не наоборот. Мысля, человек *вспоминает* соответственно тому, как, каким способом он на деле привык “сцеплять” и соединять между собой различные образы вещей. Вот почему душа от мышления одной вещи тотчас переходит к мышлению другой, не имеющей с первой никакого сходства. Всякий переход от одной мысли к другой происходит, — настаивает Спиноза, — смотря по тому, как привычка расположила в его теле образы вещей. Солдат, например, при виде следов коня на песке тотчас переходит от мысли о коне к мысли о всаднике, а отсюда — к мысли о войне и т. д. Крестьянин же от мысли о коне переходит к мысли о плуге или поле»¹⁰. Интеллект ищет не только память. Живое движение ищет свой смысл. Интеллект ищет себе задачу на смысл. Эмоция ищет свой объект. Да и сама жизнь, как говорил А. А. Ухтомский, есть требование от бытия смысла и красоты.

Если выразить идеи Спинозы о памяти и мышлении на близком нам психологическом языке, то именно он сформулировал положение об интеллектуализации психических функций. Сформулировал то, что потом не без влияния Спинозы, доказывал Л. С. Выготский: «Вся система отношений функций друг с другом определяется в основном господствующей на данной ступени развития формой мышления»¹¹. Именно вследствие перехода от наглядного мышления к абстрактному (в понятиях) происходят существенные изменения в памяти: возникает логическая память¹². Для ее возникновения уже к начальной школе имеются достаточные предпосылки: «Дети, поступающие в школу, уже владеют относительно развитыми формами мышления, понимания. <...> Однако процессы мышления, понимания носят у них преимущественно произвольный, еще достаточно неуправляемый характер»¹³. Тем не менее, эти процессы с самого начала школьного обучения содействуют организации учебного материала.

Согласно Выготскому, — интеллектуализируются и другие силы души. И этот процесс в онтогенезе начинается очень рано. Так что Г. Эббингаузу для изучения свойств «чистой мнемы», если таковая

¹⁰ Там же. С. 149.

¹¹ Выготский Л. С. Лекции по психологии // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 415.

¹² Выготский Л. С. Педология подростка // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. М., 1984. С. 130–132

¹³ Зинченко П. И. Произвольное запоминание. М., 1961. С. 498.

вообще имеется, нужно было деинтеллектуализировать память, что он и пытался сделать, давая испытуемым для запоминания бессмысленные слоги. Но вполне достичь этого ему не удалось, а обратить течение времени вспять было не в его власти.

Л. С. Выготский, развивая идеи интеллектуализации памяти и других психических функций, проявил разумную осторожность и не растворил память в интеллекте. Подобный упрек можно, скорее, адресовать педагогике и педагогической психологии. Это особенно относится к тем ее представителям, которые ориентированы прежде всего на развитие творческих способностей учащихся. Против последнего трудно было бы что-нибудь возразить, если бы авторы подобных проектов хотя бы отдаленно представляли себе, что такое творчество. Творчество «в лоб» не изучается и не формируется. Т. П. Зинченко подходит к этой проблематике не прямо, а косвенно, со стороны памяти, изучая различные пути порождения нового, каким бы элементарным это новое не было. С этой точки зрения, интересны представленные в книге эффекты интерференции в памяти, различные способы кодирования информации в системах кратковременной и долговременной памяти, наличие в памяти разных уровней преобразования информации, отличающихся не только по своим языкам (кодам), но и глубиной обработки информации. Естественно, что все эти обстоятельства определяются смыслом задач, которые решаются человеком. Другими словами, в нашей психической жизни или в психической организации память, при всей ее контекстуальности и опосредованности (в двух смыслах этого слова) выступает как «государство в государстве». Растворяясь в ней, она остается сама собой и, более того, сама может ассимилировать другие психические функции, вбирать в себя многие их свойства. Память также эффективно использует средства, сложившиеся в ходе развития других психических функций, например восприятия и мышления. Мы, таким образом, вновь возвращаемся к идее опосредования. П. И. Зинченко показал в свое время, как сложившиеся интеллектуальные операции становятся средствами произвольного, а потом и произвольного запоминания. Т. П. Зинченко показала, как складывающиеся мнемические карты и схемы становятся средствами памяти и более широко — средствами трудовой и учебной деятельности. В этих случаях речь идет уже не о внешних средствах («узелок»), а о внутренних, собственных средствах индивида. Таким образом, память выступает подобно живому существу, подобно относительно автономному организму.

Напомню, что Н. А. Бернштейн в 1930-х годах ввел в контекст биомеханики и физиологии активности понятие «живое движе-

ние» и уподобил его живому существу. Равным образом, имеются основания говорить о живой памяти. Исследования произвольной памяти П. И. Зинченко и А. А. Смирнова, выполненные в те же годы, можно считать началом ее изучения. Значительно больше, по сравнению с наукой, знает о живой памяти искусство, не скованное суровой необходимостью добывать доказательства тому, что извлекается из глубин творческого духа его представителей в виде метафор, образов, прозрений, пророчеств, видений. Поверим в молодости оптимистичному О. Мандельштаму: «В видении обман немислим». Для такой веры имеются основания, так как слишком многое из провидческого в искусстве задним числом подтвердилось. Сказанное является своего рода оправданием приводимых ниже реминисценций из области искусства, которые для психологии памяти можно считать эвристиками или вызовом к изучению живой памяти, представленной в этих реминисценциях.

Ларошфуко когда-то сказал, что все жалуется на свою память и никто не жалуется на свой ум. Опыт преподавания и оценки знаний учащихся подтверждает максимум знаменитого афориста. Жалобы на память — это своего рода защитная реакция на возможные упреки в непонятливости, тупости, лени и т. п. На самом деле человеческая память представляет собой весьма совершенный инструмент, удивительный функциональный орган нашей жизни. Именно так характеризовал психологическое воспоминание А. А. Ухтомский. Яркую характеристику этого функционального органа дал Владимир Набоков: Память превращается «либо в необыкновенно развитый орган, работающий постоянно и своей секретцией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами»¹⁴. Это соответствует мыслям Вяч. И. Иванова о памяти, разрушающей и созидающей жизнь. Известно, что человек может быть весь захвачен любимым делом, страстью, мыслью. Он может весь поместиться в большом зубе, как в тесном ботинке, может весь превратиться в слух, в зрение: «я весь внимание». В таких случаях не человек хозяин своих анатомических или функциональных органов, а последние становятся хозяевами человека. Он подчиняется им. То же происходит и с памятью, когда «тревожащие душу воспоминания-привидения требуют возвращения в жизнь и тем грозят ей разрушением»¹⁵. В таких случаях не память — орган

¹⁴ В последнем случае речь идет о ностальгии эмигранта. *Набоков В. В. Лик // Набоков В. В. Защита Лужина. Камера обскура. Лолита. Рассказы.* М., 2003. С. 521.

¹⁵ *Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся.* М.; СПб., 1995. С. 609.

человека, а человек — орган памяти, он не только подчинен, но подавлен ею. К подобным свойствам и функциям памяти, да и других психических актов психология приближается очень неспешно, зато, будем надеяться, основательно.

Память обладает необозримым объемом, не имеющим ясных границ не только в объеме, но и в прочности сохранения, и поразительной готовностью.

Сочетание невероятной избыточности памяти и ее практически мгновенной готовности до сих пор представляет собой проблему для психологии. Память хранит прошлое только потому, что она ориентирована на будущее. По словам В. В. Набокова, у нас «мелькают будущие воспоминания»; события «зачисляются в штат воспоминаний»; «воспоминания только тогда приходят в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом»¹⁶; «память — это длинная вечерняя тень истины»¹⁷, поэтому нечто «впоследствии сделалось воспоминанием стыдным»¹⁸. Наконец, он пишет о силе памяти: «Ничто-ничто не пропадает, в памяти накапливаются сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли, — и вот кто-то приезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, не выдававшуюся двадцать лет»¹⁹.

Не менее удивительны, чем объем, сила, прочность и готовность памяти, ее забывчивость, способность к забыванию сделанного и решенного, к вытеснению неприятного, к деятельно-семиотической переработке накопленного, к преодолению излишнего и избыточного. Прислушаемся к М. А. Булгакову: «Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот кажется и недавно все это было, а между тем и восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кое-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик?»²⁰ И далее конкретизация: «Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, — было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти — ничего не помню»²¹; «но все же это теперь как-то

¹⁶ *Набоков В. В. Весна в Фиальте.* Цит. по электронной версии: <<http://lib.ru/NAVOKOW/rassk16.txt>>

¹⁷ *Там же.*

¹⁸ *Набоков В. В. Круг.* Цит. по электронной версии: <<http://lib.ru/NAVOKOW/fial02.txt>>

¹⁹ *Там же.*

²⁰ *Булгаков М. А. Театральный роман.* Цит. по электронной версии: <<http://lib.ru/BULGAKOW/teatral.txt>>

²¹ *Там же.*

смыслось в моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки, в ней все это я позабыл»²². Видимо, физическое время, заполненное одиночеством, печалью, неприкаянностью, ощущением несуществования, неподвластно памяти. Булгаков тонко заметил, что это время в памяти Максудова не просто провал, пустота. Она заполнена скукой, может быть тоской. Физическое время — это время распада, разложения. Продуктивная память живет в психологическом времени, мерой которого являются мысли и действия человека. Человеческая память событийна, а не хронографична. Это, конечно, не исключает «Живой хронологии», в том числе и в смысле одноименного рассказа А. П. Чехова, или автобиографической памяти. Событийная память произвольна, она не требует специальных мнемических усилий, хотя по своей силе и прочности она успешно спорит с произвольной памятью. Парадоксальность взаимоотношений между произвольной и произвольной памятью можно проиллюстрировать точными заметками А. А. Ахматовой о забывании. Она писала, что отсутствие — лучшее лекарство от забвения, лучший же способ забыть навек — это видеть ежедневно. Создается впечатление, что наша память, как и живое движение, разумна сама по себе, а не потому, что ею руководит высший и внешний по отношению к ней интеллект. Не только разумна, но и пристрастна, аффективна. И это настолько верно, что в долгой истории ее изучения попытки обнаружить в памяти, так сказать, «чистую мнему» оказались безрезультатными. В этом свете подвергались вполне резонным сомнениям представления А. Бергсона, противопоставлявшего память материи и память духа, равно как и представления раннего Л. С. Выготского, противопоставлявшего натуральную и культурную память.

Справедливости ради следует сказать, что чистая мнема все же была найдена. Это так называемый сенсорный регистр. Но время «чистого», ничем не замутненного хранения в нем оказалось меньше 0,1 с. Оно меньше времени одной зрительной фиксации и близко к времени инерции зрения. Если бы оно было большим, то мы были бы невосприимчивы к настоящему и видели только уже прошедшее. Наличие великих мнемонистов, подобных Шерешевскому, описанному А. Р. Лурией, лишь подтверждает сказанное. Мы, конечно, можем утешать себя тем, что в каждом из нас «сидит» великий мнемонист Ш. Память сенсорного регистра не ограничена по объему, но она сверх короткая, и мы не подозреваем о ней. Памятливость нашего внутреннего Ш. не распространяется дальше,

²² Там же.

чем на 70 мс. Уже кратковременная память, включая иконическую, не говоря уже о долговременной памяти, разделяет свойства, присущие действию и деятельности, зависит от задач, целей, мотивов, предметного содержания, на которые направлены мнемические акты. Поэтому Т. П. Зинченко опирается на исследования памяти, выполненные Петром Ивановичем Зинченко, на основании которых он трактовал ее как мнемическое действие и мнемическую деятельность. Примечательно, что он начал свои исследования памяти с забывания и воспроизведения и показал, что не только воспроизведение, но и забывание есть действие. Каждому на собственном опыте известно, что осуществить такое действие порой труднее, чем запомнить.

Сочетание в памяти консервативных и динамических свойств остается загадочным. Однако, это такая загадка, решение которой не предполагает исключения или вычитания какой-либо группы свойств. И те и другие в равной степени обеспечивают то, что принято называть хорошей памятью. Хорошая — не значит буквальная, скорее, — осмысленная. Именно сочетание консервативных и динамических свойств памяти делает ее живым органом, даже организмом. Память как дериват деятельности и одна из ее форм способна к внутреннему движению и самодвижению. Напомню, что А. Н. Леонтьев настаивал на «внутреннем движении деятельности». Эти сюжеты интересно рассматриваются в книге Т. П. Зинченко.

Обратимся к традиционной проблематике памяти и обучения, мимо которой не прошла Т. П. Зинченко. Психолого-педагогический пафос исследований П. И. Зинченко был направлен против механического запоминания. От него мы с ней впервые услышали полный вариант средневековой заповеди учителя: «Повторение — мать учения и прибежище ослов». Непроизвольное осмысленное, опирающееся на понимание и умственные действия запоминание более продуктивно, чем произвольное, не использующее в должной мере интеллектуальные средства. Трудности узнавания ведут к более тщательному ознакомлению; трудности воспроизведения — к лучшему пониманию, требующему разнообразных способов обработки материала.

Не столь давно ушло время (а может быть, еще и не ушло), когда память была главным, если не единственным средством обучения. Утешает то, что от этого практически отказалась педагогика и дидактика, хотя практика живет по своим законам. Нагрузка на память в средней и высшей школе все еще достаточно велика. Да и самые, так сказать, передовые теории обучения, в том числе и теория развивающего обучения, формулируют свои задачи в терми-

нах усвоения (присвоения). Прислушаемся к одному из создателей последней — В. В. Давыдову: «“Источником” психического развития, согласно Д. Б. Эльконину, являются заданные (или “конечные”) идеальные формы, к которым оно приходит в результате их усвоения. Иными словами, источники развития заданы в качестве объективных общественных образцов, которые, взаимодействуя с процессом развития, детерминируют его как бы “сверху”, т. е. со стороны высших и конечных форм. Это взаимодействие как раз и является усвоением (присвоением) идеального как существенного аспекта исторически складывающейся культуры. Усвоение (присвоение) — это всеобщая форма психического развития ребенка. В этом и состоит подлинный смысл культурно-исторического обоснования практики развивающего обучения»²³.

Вначале отмечу то, что смущает в этой характеристике. Странно звучит словосочетание «высшая и конечная идеальная форма». Конечность формы противоречит самой идее развития. Конечная форма — это мертвая форма, а живая наука имеет дело с живыми формами и бесконечно погружается в их анализ. Ей должно уподобляться образование, тем более развивающее, которое должно иметь своей целью не достижение «нормы развития», а рассматривать развитие как норму.

Согласимся, что главной целью развивающего обучения является усвоение. Если отвлечься от специфичности содержания, предлагаемого для усвоения, то в этой теории (или системе) развивающего обучения ничем не отличается от всех остальных, и в ней должно было бы найтись место для памяти. Но не нашлось! Важной составной частью развивающего обучения является формирование у учащихся теоретического мышления, которое противопоставляется мышлению рассудочному или рассудочно-эмпирическому. Неявно, а иногда и вполне явно предполагается, что теоретическое мышление эквивалентно мышлению творческому. Однако теоретическое мышление опирается на анализ. В этой, по крайней мере, своей первой фазе оно не отличается от рассудочного. Главная же черта теоретического мышления состоит в том, что оно преследует воспроизведение развитой сущности предмета, выведение единичного из всеобщего. Хорошо, если оно уже известно (!) В. В. Давыдов, характеризуя понятия, говорит о том, что с их помощью воспроизводится идеализованный объект и система его связей, а также

²³ Давыдов В. В. Достижения Э. В. Ильенкова в материалистической диалектике и теоретической психологии // Э. В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999. С. 26.

о том, что понятие должно рассматриваться как мыслительное действие. Не только воспроизводится, но и воображается, строится.

Чтобы нечто воспроизвести, нужно не только знать это нечто, но и знать как. Нужно знать «материальные объекты» и «идеализованные объекты». А знать, между прочим, означает и помнить. Если объект проанализирован, то нужно запомнить результат анализа и его способы. Нужно помнить и систему связей анализируемого ли, воспроизводимого ли объекта. Если речь идет о том, что понятие — это мыслительное действие, то нужно знать набор и последовательность операций, входящих в него, чтобы успешно осуществить это действие. О. Мандельштам, комментируя «Божественную комедию», пишет: «Образованность — школа быстрейших ассоциаций. Ты схватываешь на лету, ты чувствителен к намекам — вот любимая похвала Данта. В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что бегаёт быстрее»²⁴.

Одним словом, в развивающем обучении, как, впрочем, в любом другом, имеется место для работы памяти. Но это место авторы теорий утаивают, чем, кстати, снижают его потенциал. Причины этого могут быть разные. Все теории обучения так или иначе противопоставляют себя некоему фантому, т. е. скорее всего выдуманной «теории» обучения, опиравшейся исключительно на запоминание или зубрежку. Если такое и было, то очень давно. Кстати, нельзя сказать, что сократовский метод обучения был изобретен недавно. Вторая причина более серьезна. Авторы теорий обучения просто не знают (или вытесняют?) того, что происходило в психологии памяти после Германа Эббингауза. А происходило много замечательного. Ограничусь лишь несколькими указательными жестами. П. Жане показал, что память ориентирована на будущее. Афористичен Л. С. Выготский: «Намерение всегда опирается на память»²⁵.

Ф. Бартлет, изучая реконструкции при воспроизведении запомненного, показал, что подобные реконструкции вполне могут быть продуктивными. Он как бы подтвердил тезис Гегеля (в интерпретации А. Г. Новохатько), что «память выполняет, скорее, именно своей репродуктивностью продуктивную базисную роль в развитии психики»²⁶. И еще один тезис Гегеля: «Превращение дела памяти в

²⁴ Мандельштам О. Э. Разговор о Данте // Мандельштам О. Э. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 217.

²⁵ Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3. М., 1983. С. 288.

²⁶ См.: Новохатько А. Г. Историзм самосознания как проблема творчества // Э. В. Ильенков: личность и творчество. М., 1999. С. 151.

дело воображения есть деградация»²⁷. Но без «дела воображения», как и без «дела памяти» невозможно творчество. Творческое воображение должно направляться аффективной, волевой или детерминирующей тенденцией.

Вернусь к памяти. А. Н. Леонтьев экспериментально показал генезис произвольного опосредованного запоминания. По сути дела, он начал экспериментальное исследование процесса интеллектуализации человеческой памяти, которое продолжили П. И. Зинченко, А. А. Смирнов и Т. П. Зинченко. Они нашли впечатляющие взаимоотношения и взаимодействия между мышлением и памятью, опираясь, в том числе, и на теоретическое исследование этой проблемы П. П. Блонским. В исследованиях произвольной памяти было показано, что она вовсе не случайная память (*incidental memoгу*), какой она рассматривалась в бихевиоризме, а тесно связана с деятельностью. И при том по разному с ее разными структурными компонентами: цель, средство, способы достижения, результат. Многие сделано на достаточно абстрактном материале (хотя и не на бессмысленных слогах), но многое — и на материале учебной деятельности школьников. Показано, что при разных учебных задачах следует ориентироваться либо на произвольную, либо на произвольную память. Между этими двумя видами памяти существует сложная динамика взаимоотношений, определяющая, в том числе и различия в их продуктивности. Все это оказалось возможным, потому что память стала рассматриваться как мнемическое — в широком смысле — психическое действие²⁸.

В книгах П. И. Зинченко (1961) и А. А. Смирнова (1966) имеются специальные разделы, посвященные памяти и обучению, памяти и пониманию, но все это богатство осталось вне рамок теорий обучения, будь то теория Н. А. Менчинской, теория П. Я. Гальперина или теория Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Пожалуй, о памяти в контексте развивающего обучения вспоминает лишь В. В. Репкин, многие годы работавший в Харькове вместе с П. И. Зинченко. Книга Т. П. Зинченко, в которой воспроизводятся важнейшие вехи истории исследований памяти, представляет собой своевременное напоминание о роли памяти в различных видах человеческой деятельности. Такое напоминание очень нужно педагогике и педагогической психологии.

²⁷ Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 3. // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. XI. М., 1935. С. 182.

²⁸ См.: Зинченко П. И. О забывании и воспроизведении школьных знаний // Научные записки Харьковского пед. ин-та иностр. яз. Т. 1. Харьков, 1939.

Все перечисленные теории обучения прошли мимо когнитивной психологии, которая появилась более 40 лет тому назад, практически одновременно с теорией развивающего обучения. Многие ее достижения также имеют прямое отношение к обучению, а не только к компьютерной науке. Остановлюсь лишь на упомянутой выше проблеме соотношения консервативных и динамических свойств памяти. Когнитивная психология, не подозревая о давности ее постановки, нашла весьма интересный вариант ее решения. Ее представители создавали специальные экспериментальные процедуры, порой искусственные, для изолированного изучения тех или иных познавательных функций (над ними тоже витал образ Г. Эббингауза), но осуществлявшихся в малых интервалах времени. Была обнаружена богатая номенклатура функций (функциональных блоков, уровней, компонентов и т. п.), выполняющих самые разные задачи: хранения, селекции, сканирования, оперирования или манипулирования входной информацией, перекодирования, семантической обработки, формирования программ требуемых действий, сопоставления текущей информации с уже накопленной и т. д. и т. п. Различные, правда, немногочисленные пока попытки композиции обнаруженных функциональных блоков в целостные познавательные структуры, например, структуры информационного поиска, формирования образа, опознания, информационной подготовки решения или подготовки и реализации исполнительного действия показали возможность чередования консервативных и динамических, репродуктивных и продуктивных блоков и функций.

Память (в отличие от воображения) не связана с внешним предметом деятельности. Он налицо. Она сохраняет имя Я как некоторую «вещь» для Я в первичном акте труда. А. Г. Новохатько напоминает, что за это положение Гегель удостоился похвалы от Маркса. Сегодня об этой функции памяти говорят, как о сохранении идентичности и, конечно, не только в процессах орудийной деятельности или труда. Эта функция памяти даже шире, чем то, что принято называть автобиографической памятью. Это, скорее, память, конституирующая личность. В нашей литературе перебирались различные варианты психологических образований, которые могли бы составить «ядро» личности: иерархия мотивов (А. Н. Леонтьев), эмоции (А. В. Запорожец), чувство вины и ответственности (М. М. Бахтин), творчество (В. В. Давыдов), смысловые образования (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Б. Ф. Зейгарник) и т. д. Кандидатом на эту роль вполне может выступать и память, поскольку личность есть человек исторический, сознающий свое место в истории, в культуре, в стране, в нации, наконец, в роду и племени и не забы-

вающий о нем. Для того чтобы нечто «натворить» или пережить, не обязательно быть личностью. А хранить память об отеческих гробах и любить родное пепелище может только личность. Впрочем, личность сама есть ядро всего перечисленного и еще многого сверх этого. Как сказал Сальвадор Дали, личность — это избыток индивидуальности. И душевная сила памяти — не последнее ее свойство. Мне трудно судить, насколько правильными оказались вступительные заметки о памяти к книге, которую предстоит прочесть, надеюсь, заинтересованному читателю. Моя интенция состояла в том, чтобы обратить его внимание на чудесные свойства памяти, которые обнаруживаются не только в самонаблюдении, но и в ее экспериментальных исследованиях. Может быть обнаружить эти свойства, удивиться им, а затем и вовлечься в их изучение помогут исторические и литературные реминисценции, которые были приведены в этих заметках. Знакомясь с исследованиями памяти, изложенными в книге, полезно пытаться узнавать в них свою собственную память, свою собственную индивидуальность, свой собственный стиль. Подобные установки способствуют превращению научного, книжного знания в знание живое, в пределе — личностное, которого так недостает нашей психологии.

Послесловие к книге¹ Федора Дмитриевича Горбова

Мне очень повезло в жизни. Федор Дмитриевич Горбов (1916–1977) одарил меня своей дружбой, которая, впрочем, была весьма требовательна и сурова, какой и полагается быть мужской дружбе. Дружба была не по-московски тесной, так как мы несколько лет жили на соседних улицах. Помню, как в самом начале нашего знакомства он спросил меня, что мне нужно для полного счастья в моей научной работе. Я сказал, что мне нужен окулометр, разработанный одной американской фирмой, позволяющий регистрировать движения глаз и накладывать траекторию на рассматриваемый объект. Он как-то с сомнением, посмотрев на меня, сказал: я думал ты умнее. Я ведь не о том спрашиваю, причем здесь методика и техника, я спрашиваю о психологии. Позже он все же признал во мне психолога, что, не скрою, было приятно.

Федор Дмитриевич умел, как никто другой, как бы ненароком расширять сознание окружающих. А основания для этого у него были. Он вырос в семье, где высокая гуманитарная культура была естественной средой обитания, а образование получил медицинское. Как врач он видел все: в студенческие годы работал на скорой помощи, потом врачом авиационного полка, далее работа в военных госпиталях, учеба и сотрудничество с замечательным неврологом М. Ю. Раппопортом в Институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, работа в авиационной и космической медицине. Как врач он, казалось, изнутри видел телесный организм, а как гуманитарий, психолог, психоневролог, психотерапевт он видел «анатомию и физиологию человеческого духа» (выражение А. А. Ухтомского). Такое сочетание делало Федора Дмитриевича диагностом слушающим, а не инструментальным, всматривающимся в результаты анализов. Известна шуточная классификация врачей: хирурги — гру-

¹ Горбов Ф. Д. Я — второе Я. М., 2000.

богатые люди, мало читают, диагноз поставить не могут, лечить могут; терапевты — культурные люди, начитаны, диагноз поставить могут, лечить не могут; психиатры — высокоинтеллектуальные люди, приятные во всех отношениях, диагноз поставить не могут, лечить не могут. Лучшие диагносты — патологоанатомы, но пациенты к ним поздно обращаются. Федор Дмитриевич, услышав ее, кажется, от А. В. Запорожца, посмеялся и возражать не стал. Но его диагностика потрясла специалистов (о благодарных пациентах я и не говорю). Поэтому его совершенно не случайно привлекли к отбору и подготовке космонавтов. Ему же принадлежит первая статья о космической психологии. Когда его спрашивали, чем же он руководствовался, отбирая первых космонавтов для полета в неизвестность, он отвечал, что при прочих равных условиях (здоровье, знания, профессионализм и т. п.) главным для него было, чтобы человек был хороший, остойчивый: «Я моделировал его поведение не в полете. Там, действительно, неизвестность. А после полета, когда его ожидают не огонь и воды, а медные трубы».

Федор Дмитриевич был добр и внимателен к людям и всегда честен с ними. Он не лукавил с пациентами, испытателями, летчиками, кандидатами в космонавты. Спустя годы после его кончины при упоминании его имени лица знавших его, в том числе и первых космонавтов, светлеют.

После того как Федор Дмитриевич расстался с авиационной и космической проблематикой, он пришел в Психологический институт. Очень скоро у психологов сложилось впечатление, что он в нем работал всегда. Его приняли все поколения от старейших, включая директора А. А. Смирнова, до самых молодых. Не только приняли, но и полюбили. Это относится и к университетским психологам. Б. В. Зейгарник, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и многие другие очень ценили его, испытывали искреннее удовольствие от общения с ним.

От самых разных людей доводилось слышать, что им редко встречались более одаренные и блестящие люди. Я рад, что ввел его в дома своих учителей А. В. Запорожца и А. Н. Леонтьева, познакомил со своим отцом П. И. Зинченко. Федор Дмитриевич в общении с психологами умел оживлять академическое знание, показывая их собственное знание с неожиданной стороны, открывая его жизненный смысл. Иногда он это делал с иронией, в том числе и с самоиронией.

Замечательно его популярное объяснение трудностей тестирования интеллекта и сомнительности результатов такого тестирования. Чемпион мира, говорил Федор Дмитриевич, бежит 100 метров

за 10 секунд. Большинство здоровых людей пробегут эту дистанцию за 20 секунд, значит, они отличаются от чемпиона не более чем в два раза. А во сколько раз отличается умный от дурака? Что вы тестируете, может быть, сами тесты? Потом я встретил у Э. Боринга печальное и вместе с тем лучшее определение интеллекта: интеллект — это то, что изучается с помощью тестов на интеллект.

Как-то я спросил Федора Дмитриевича, в чем смысл его докторской диссертации, имевшей довольно мудреное для психолога название: «Пароксизмы, возникающие при непрерывной деятельности и в связи с ней». Неужели неясно, — ответил он, — если не будешь делать перерывы, доведешь себя до пароксизма. Воображение и изобретательность Федора Дмитриевича были поразительны. Корни, конечно, в детстве. Его мама Евгения Викторовна рассказывала, что, когда сын был подростком, она, застав его лежащим в ванне, вдруг спросила: Ты кто? и услышала мгновенный ответ: Я — затонувшая статуя.

Незабываемы годы, проведенные с ним в Экспертном совете ВАКа по психологии. Казалось, его эрудиция, профессионализм, интуиция не знают границ. Он мгновенно схватывал суть далеких от него проблем и был предельно внимателен и справедлив в оценках. Никогда не забывал о том, что за каждой диссертацией стоит человеческая судьба. Федор Дмитриевич олицетворял «принцип сочувствия» в науке, провозглашенный в те же годы С. В. Мейенем. Так же он вел себя на заседаниях Ученого совета. Его выступлений ждали. Часто он был ироничен, парадоксален, но неизменно доброжелателен. Его критика всегда была конструктивной, а ирония никогда не была злой. Как-то он начал свое выступление по поводу доклада В. В. Давыдова следующим образом: «Василий Васильевич, несомненно, психолог с Большой ... дороги». Громче и заразительнее всех смеялся докладчик, который, действительно, бывал задирист и запальчив.

В институте ему выделили небольшую комнату в подвальном этаже, где он никогда не бывал один. К нему стекались люди из самых разных научных учреждений. Он, шутя, говорил, что похож на равнина, который дает советы. К сожалению, поскольку мы живем в Стране Советов, далеко не все к моим советам прислушиваются, добавлял он и был прав. Но, как от хорошего врача, люди уходили от него в лучшем настроении, чем пришли. Грешен, ко мне это тоже относится. Помню разговор втроем: Федор Дмитриевич, Борис Федорович Ломов и я беседовали во второй половине 1960-х годов. Он говорил нам с Ломовым: вы — молодцы, инженерную психологию уже выпустили из бутылки. Даже если захотите, ее не остановите, ее доделают и без вас. Страна больная, хотя этого не

осознает. Через двадцать лет ей очень понадобится психотерапия. Вы еще молоды, начните это дело, а я помогу. Жаль, что мы не прислушались. Он, в отличие от нас, далеко видел вперед.

При всей своей доброте, сочувственном понимании, симпатиях, антипатиях Федор Дмитриевич, когда нужно, занимал объективную позицию, становился, как сказал бы М. М. Бахтин, в позицию вненаходимости. Помню, как он решительно встал на защиту пациентов психиатрических клиник. Речь шла об одном откровенном мерзавце, и кто-то предположил, что он психически болен. Федор Дмитриевич, посуровев, сказал, что психиатрия — это не паноптикум моральных уродов. Никакую болезнь он не считал стыдной и советовал, во-первых, не стесняться болезни, во-вторых, не подчиняться ей. Сам он говорил, что его астма ничему в жизни не помешала, он никогда ей не поддавался.

Всего несколько слов о книге. Надеюсь, она уже прочитана. В нашей отечественной традиции, к сожалению, не так много работ, в которых бы органически соединялись психология и искусство. Можно указать на Г. Г. Шпета, М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, Н. Н. Волкова, Б. М. Теплова, М. К. Мамардашвили, давших образцы такого соединения. Когда я говорю об органичности, то это нечто большее, чем привлечение произведений искусства для иллюстрации тех или иных мыслей. Речь идет о том, что искусство на десятилетия, а то и на столетия опережает науку в познании человека и может служить источником эвристик идей и знаний о нем. Что еще более важно, оно содержит живое знание о человеке и может служить образцом для науки. Человек ведь узнает себя в произведении искусства. Хорошо бы узнавать себя и в научном произведении, прежде всего в психологическом.

Книга Федора Дмитриевича, несомненно, обладает этим достоинством, так как в ней соединился медицинский и психологический опыт профессионала, огромный жизненный опыт с гуманитарной культурой. Это редкое сочетание весьма и весьма поучительно для молодежи, дерзающей консультировать людей, предсказывать их поведение и деятельность, заниматься диагностикой и лечением. Она полезна и для тех, кто уже занялся этим многотрудным делом. Смерть застала Федора Дмитриевича за работой над книгой. Редакторы не всегда могли реконструировать ход его мысли, поэтому в книге встречаются некоторые огрехи. Читателю следует также учесть, что книга писалась в те годы, когда Федор Дмитриевич в печатном слове не все мог сказать о том, что знал и умел.

Мераб Константинович Мамардашвили: послесловие к дружбе

С Мерабом Константиновичем Мамардашвили меня связывает более чем сорокалетнее знакомство и дружба, пришедшая на последние двадцать лет. Возможно, наше сближение объясняется тем, что я был тесно связан с некоторыми его друзьями, эмигрировавшими из страны, прежде всего с Александром Моисеевичем Пятигорским, и тем, что некоторые из друзей отделились от философии, уйдя в другие области. Я же, напротив, стараясь наверстать упущенное в годы учебы на философском факультете, готов был размышлять о философских проблемах. Он мне охотно помогал в этом, предупреждая однако, что мне не следует погружаться, например, в философию Канта или в индийскую философию. Это должны делать профессиональные философы.

Были и внешние, хотелось бы думать — не случайные — причины для нашего сближения. М. К. Мамардашвили был приглашен Алексеем Николаевичем Леонтьевым для чтения курса лекций «Методологические проблемы психологии» на факультете психологии Московского университета. В результате несколько поколений психологов испытали влияние его необыкновенной личности, получая от его лекций не только интеллектуальное, но и эстетическое наслаждение, воочию наблюдая процесс рождения мысли. Его лекции были и уроками гражданственности. Позднее он говорил, что его «...основная задача — через собственное развитие и просвещение развивать и структурировать определенным образом социальную материю вокруг себя так, чтобы она была дифференцирована и многообразна. Потому что только сложные организмы жизнеспособны»¹. Задачу расширения своего и другого сознания он блестяще выполнял и в лекциях, и в дружеском общении. Не

¹ См. его посмертно опубликованное интервью: Комсомольская правда». 1990. 28 ноября.

только речь, но и все его поведение воспринималось как осмысленный текст: «Звучали шаги как поступки». Праздник духа длился на факультете психологии недолго. Из ректората университета позвонили декану А. Н. Леонтьеву и «доверительно информировали» его о том, что сектор философии ЦК КПСС недоволен лекциями М. К. Мамардашвили, и попросили его уволить. Декан отказался. Тогда ему прислали приказ об увольнении философа, подписанный проректором Хлябичем. Вскоре М. К. Мамардашвили пригласили читать философию во ВГИКе. Леонтьев попросил меня взять его курс. Мамардашвили посоветовал мне согласиться, сказав при этом: не старайся выглядеть философом, будь самим собой и читай, как сможешь. Открывая этот курс, я говорил студентам, что профессор Мамардашвили читал вам максиметодологию, я же буду пытаться вам читать миниметодологию. В течение ряда лет, пока я читал этот курс, я пользовался его консультациями. Этот курс оказался опасным. Забегая вперед, скажу, что и меня со временем уволил (по телефону) новый декан факультета психологии, сменивший А. Н. Леонтьева после его кончины.

Еще одной внешней причиной нашего сближения послужила адресованная мне просьба Александра Романовича Лурии. Неожиданно для многих этот замечательный ученый и обладающий богатым чувством юмора человек, казался бы, закаленный еще в 1930-е годы практикой советской «научной» критики, иногда оканчивавшейся для него увольнением, крайне болезненно воспринял направленную против него статью физиолога М. М. Кольцовой. Просьба Лурии состояла в том, чтобы я ответил ей на страницах журнала «Вопросы философии». Я пытался убедить Александра Романовича, что эта критика ниже порога его различения, как, впрочем, и журнала «Вопросы философии». К счастью, он был непреклонен. Пришлось эту просьбу выполнять. Тогда я, в свою очередь, обратился с просьбой к Мерабу Константиновичу сочинить вместе статью об объективном методе в психологии, а заодно пойти на встречу пожеланиям хорошего человека и ответить Кольцовой. К моей большой радости он согласился, и мы, набросав план статьи, пошли посоветоваться к умному А. Н. Леонтьеву. Как обычно, он с удовольствием принял участие в интриге, внес в наш план некоторые коррективы и дополнения, свободно фантазировал о возможности и необходимости установления новых связей между философией и психологией, сожалел об утрате старых. В конце беседы возникла идея написать статью втроем. Договорились о том, что мы с Мамардашвили реализуем принятый план и принесем первый вариант текста на суд Алексею Николаевичу. Так мы и сдела-

ли. Написали, согласовали друг с другом свои части. Согласование состояло в том, что я пытался сделать написанные им куски более понятными, а он мои куски — более непонятными. С этой работой мы справились не вполне. По отзывам читателей, швы все равно просвечивают в тексте. (Лишь к концу, в последние годы своей жизни М. К. Мамардашвили впал, «как в ересь, в неслыханную простоту». К нашему счастью, он ее не утаил.)

А. Н. Леонтьев прочел статью, ограничился минимумом замечаний, вместе с нами подписал ее, и она была передана в редакцию журнала. Геннадий Сардионович Гургенидзе вскоре прислал нам верстку с просьбой быстро вернуть, так как статья шла в ближайший, апрельский (1977) номер журнала. Вдруг А. Н. Леонтьев звонит нам, призывает к себе и театральным шепотом произносит, что это еще не статья, а материал к статье и над ней самое время начинать работать. Мы оба понимали, что сердиться на него в такие минуты трудно, а главное — бесполезно, — и приняли это как приглашение к общению, которое оказалось довольно длительным. Работали мы у него дома по субботам в течение нескольких недель. Потом мы подсчитали, что работа над статьей, перемежавшаяся беседами на свободные темы, заняла в общей сложности 25–30 часов. Ни о каком быстром возврате верстки не могло быть и речи. Читали статью вслух, подолгу застревая почти на каждой фразе. Каждый тур обсуждения заканчивался ужином, которым угощала нас по-старомосковски хлебосольная Маргарита Петровна — жена Алексея Николаевича. Но всему приходит конец. Мы вновь расписались под статьей. Верстку пришлось перебирать заново. В последний вечер за ужином А. Н. Леонтьев интригуяюще спросил: а какая реакция будет на статью, и на кого она подействует? Мамардашвили ответил вполне буднично: статью замолчат. Никакой реакции на нее не последует, а подействует она на молодежь, которая поймет и примет, что о серьезных вещах можно писать и так.

Статья была возвращена Г. С. Гургенидзе, а через день наш автор позвонил ему и попросил снять свою фамилию. Мотивы этого он не объяснил ни Гургенидзе, ни нам. Спрашивать, а тем более гадать о них мы не стали. Этого не позволяла абсолютная вежливость Мамардашвили. Как бы то ни было, но мы были благодарны А. Н. Леонтьеву за полезные обсуждения, да и за помощь в публикации. Без его имени статья едва ли прошла бы в то время через редколлегия журнала. Это были не пустые опасения. Приблизительно за год до этого Эрик Григорьевич Юдин вместе с редакцией журнала организовал «круглый стол» по теоретико-методологическим проблемам анализа деятельности. Редколлегия

журнала отклонила этот материал. Он был опубликован под редакцией Э. Г. Юдина после его кончины в Трудах ВНИИ технической эстетики (серия «Эргономика», вып. 10, 1976).

Наша статья² вышла в июле 1977 года. Прогноз Мамардашвили полностью оправдался: ссылки на статью встречались только в работах молодых философов и психологов. В одном, пожалуй, он все же ошибся. Статья подействовала на меня, которого лишь с большой натяжкой можно было отнести к числу молодых. Совместная работа с Мамардашвили вовлекла меня в проблематику психологии сознания, с которой я до сих пор не могу расстаться. В своей последней статье³, посвященной его памяти, я использовал его уроки. Вместе с тем я уверен, что если бы он успел ее прочесть, она стала бы лучше, а возможно, стала бы другой.

Наш ответ М. М. Кольцовой в защиту А. Р. Лурии содержался лишь в маленьком подстрочном примечании к статье, сформулированном М. К. Мамардашвили. Приведу его полностью. В статье шла речь о том, что обыденное сознание легче приписывает свойства предметности нейрональным механизмам мозга, ищет в них информационно-содержательное отношение и объявляет предметом психологии мозг... Здесь следовало примечание: «В самое недавнее время подробный и, к сожалению, далеко не оригинальный вывод при всей его нелепости был сделан М. М. Кольцовой»⁴. Александр Романович Лурия успел прочесть статью и был доволен ответом (он скончался спустя месяц, в августе 1977 года).

Не могу не вспомнить еще об одном внешнем обстоятельстве, благодаря которому я получил не только возможность общения с Мамардашвили у него на родине, но и вновь испытать радость от совместной работы с ним. В 1979 году в Тбилиси проходила международная конференция по проблеме «Бессознательное». Она так долго готовилась и столько откладывалась, что я забыл содержание подготовленного для нее доклада, да и утратил интерес к нему. Тем более что он был уже опубликован в первом томе трудов за год до конференции. Незадолго до конференции я предложил М. К. Мамардашвили выступить с совместным докладом. Мы согласовали тему и договорились, что доклад будем готовить в его тбилисском доме. Накануне конференции мы день работали над докладом и успели

² Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. 1977. № 7. С. 109–125.

³ Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 15–36.

⁴ Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. 1976. Т. XXVI. Вып. 2. С. 235.

его подготовить благодаря помощи и консультации Юрия Петровича Сенокосова, который взял на себя литературную обработку и оформление наших не очень прибранных мыслей. Там же в Тбилиси после доклада наши грузинские друзья, психологи-эргономисты, взяли у нас текст доклада и опубликовали его полностью в сборнике тезисов конференции «Эргономика в системе дизайна» (Боржом, 1979)⁵. Наиболее интересная, принадлежащая М. К. Мамардашвили идея, выраженная в этом докладе, состоит в том, что наличие феноменов бессознательного является непреодолимой преградой для любых форм редукции психического. Волна антипсихологизма, захлестнувшая психологию в начале XX века и не схлынувшая до настоящего времени, не смогла преодолеть эту преграду. Чтобы в этом убедиться, необходимо провести своего рода психоаналитический курс (или эксперимент) над самой психологической наукой, в ходе которого, возможно, удастся расшифровать вытесненные (а точнее, зашифрованные с помощью особой деятельности семиотического переозначивания) идеи, относящиеся к пониманию психического как реального. Ясно, что после вытеснения или зашифровки этих идей возможны и даже необходимы разные формы редукции психического к реальностям любого рода, в том числе и мистическим, вроде демонов и гомункулусов. Такой ход рассуждений был абсолютно чужд Мамардашвили. Он говорил не только о реальности психического, но и о том, что в мысли, в чувстве прежде всего следует видеть проявление бытийной силы (энергии) Сознания. Проблема сознания волновала его, потому что в сознании он всегда видел не только отношение к действительности, являющееся весьма сомнительным фактом, но и отношение в действительности, представляющее собой весьма реальный акт. Столь же серьезно он относился и к проблематике бессознательного, усматривая в нем наличие пластов превращенной (и извращенной) сознательной деятельности, сохраняющих свое влияние и находящих выход в поведении помимо воли и желания субъекта. Многие психологи (не все) тянулись к нему, потому что он, как никто, помогал им обрести себя как психологов, имеющих дело с реальностью, которая ничуть не хуже реальности физической, химической, физиологической и пр., и даже лучше, поскольку она сложнее.

И вдруг источник нашего научного и человеческого оптимизма, человек, помогавший осознать необходимость превращения

⁵ См. также: Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Изучение высших психических функций и эволюция категории бессознательного // Вопросы философии. 1991. № 10. С. 34–40.

нашего безответственного мира в мир ответственности, где можно называть добро и зло и где понятия «наказания» и «искупления», «греха» и «покаяния», «чести» и «бесчестия» имели смысл, географически отдалился от нас. В 1980 году М. К. Мамардашвили уехал в Тбилиси и стал работать в Институте философии АН Грузии. Тому были разные причины. Официозная Москва опасалась свободы и интеллектуальной избыточности. Она не любила умных и духовно богатых. Кстати, только это и накопил Мамардашвили за всю свою жизнь. Он уходил из Института истории, естествознания и техники АН СССР по тем же причинам, по которым его и раньше уходили из других мест. Были и семейные обстоятельства — болезнь старенькой мамы, живущей в Тбилиси.

Мы с Василием Васильевичем Давыдовым — тогда еще директором Института общей и педагогической психологии АПН СССР и с Владимиром Михайловичем Муниповым — заместителем директора ВНИИ технической эстетики задумались над тем, как продолжить общение М. К. Мамардашвили с московской интеллигенцией. Он ведь давно сам стал неотъемлемой частью культурной Москвы. Решение было простым. Два года подряд НИИОПП и ВНИИТЭ приглашали его для чтения лекций аспирантам институтов. Лекции проходили в переполненной Большой аудитории старого доброго челпановского Института психологии на Моховой. Темы курсов — философия Декарта и философия Канта. Праздник духа продолжался и в годы застоя. Реализации нашего замысла великодушно способствовал и директор Института философии АН Грузии — Нико Зурабович Чавчавадзе.

Эти лекции были замечательны не только своим содержанием, которое к тому же было не всем доступно. Привлекала форма, помогавшая если не понять, то почувствовать содержание творимого на наших глазах. Стыдно признаться, но европейски образованный грузин учил нас русскому языку. Он сам в совершенстве владел особым языково-духовным слухом и презирал идеологизированный воляпюк, на котором нам в молодости рассказывали о философии и заставляли на нем выражать свои мысли. Этот язык, — по словам Мамардашвили, — визжал, в нем были чудовищные, дубовые сочетания из пяти или десяти слов, посредством которых не может выражаться никакой человечески возможный смысл. Он отгораживал нас от всех глубин души человеческой. Духовная раскованность и незамутненный русский язык М. К. Мамардашвили были сродни языку, который мы слышали в докладе и в беседах с Романом Осиповичем Якобсоном на тбилисской конференции по проблеме «Бессознательное». Не случайно М. К. Мамардашвили ценил Ми-

хаила Булгакова за стиль, который нес в себе что-то радостное, радость самого слова, живущего и движущегося по законам слова же.

Нередко после его лекций мы поднимались в кабинет к В. В. Давыдову и обсуждали ситуацию, сложившуюся в психологии, да и в гуманитарной науке в целом. Сейчас обидно вспомнить, что в беседах с ним мы — психологи — жаловались на оскудение психологической культуры, на распространенную в то время недостойную критику наших реальных достижений в области культурно-исторического анализа психики и сознания, на неразвитость науки о человеке и отсутствие целостных представлений о нем. Только теперь мы понимаем, что Мамардашвили олицетворял новое сознание и новое мышление о человеке, проникнутое страстной заботой о его настоящем и будущем. Его волновали не культура и не история сами по себе, а человек в культуре и в истории, — человек, который должен постоянно превосходить себя, чтобы быть самим собой. В этом он видел скрытые предпосылки развития и существования культуры, ее скрытую пружину. Ибо культура не совокупность готовых ценностей и продуктов, лишь ждущих потребления или осознания. Это способность и усилие человека быть...

После снятия В. В. Давыдова праздник кончился. Закрылся и семинар по философским проблемам психологии, который мы вели вместе с ним и участником которого был М. К. Мамардашвили. Пал один из последних оплотов московского научного свободомыслия.

Застой был замечателен отсутствием фатальности и полной безысходности. В начале 1980-х годов неожиданно для философов и психологов был создан Межведомственный совет по проблеме «Сознание». Учредителями Совета были Госкомитет по науке и технике СССР и Военно-промышленная комиссия при Совмине СССР. Председателем Совета был назначен Евгений Павлович Велихов, испытывавший искренний интерес к проблемам сознания. Он ввел Мамардашвили в состав Совета. Открылась еще одна отдушина — семинар по проблемам сознания в Президиуме АН СССР под руководством Е. П. Велихова и ежегодные научные школы по этой же проблеме, проводившиеся в Грузии (Тбилиси, Батуми, Боржом, Телави и т. д.). И в семинаре, и в школах неоднократно участвовал Мамардашвили. Среди участников хотелось бы назвать С. С. Аверинцева, А. В. Ахутина, Н. П. Бехтерева, Б. С. Братуся, М. Н. Вайнцвайга, В. В. Давыдова, В. Л. Деглина, В. С. Гурфинкеля, В. В. Иванова, В. Ж. Келле, Ю. М. Лотмана, Ю. И. Манина, В. И. Медведева, М. А. Мокульского, Н. Л. Мухелишвили — ученого секретаря Со-

вета и организатора наших поездок в Грузию, Ю. П. Сенокосова, Л. И. Спивака, Н. З. Чавчавадзе, Ю. А. Шрейдера. Работал действительно междисциплинарный и в высшей степени профессиональный коллектив. Однако философское видение проблематики сознания, его гносеологии и особенно онтологии в наибольшей мере присутствовало в докладах Мамардашвили. Его интерес к онтологии сознания делал его настоящим философом. В своем философствовании он шел не от гносеологии к реальности, а от мира, от его суровой реальности к оценке любого философствования, будь оно традиционным, классическим или современным. Особенно нетерпим он был к любым предвзятым схемам, порожденным самозванцами мысли. Его собственное философствование всегда было органично, естественно и очень лично. Он обнажал истоки и корни социальной мифологии и алхимии, изменивших сознание ученых и пронизывающих до мозга костей общественную и гуманитарную науку, показывал предельную глупость и трагичность возникшей в XX веке идеи формирования «нового человека», «новой морали». Эта идея вытеснила «старое» знание о человеке, в частности то, что человек может и должен формировать себя самолично. Без этого он утрачивает свое человеческое лицо. Реализация идеи формирования нового человека привела, — по словам Мамардашвили, — к максимальной неразвитости набора человеческих лиц и характеров, с которыми мы имеем дело. Такая неразвитость в сочетании с военной и технической мощью может стать причиной антропологической катастрофы. Было бы неверно думать, что его волновали лишь глобальные проблемы современности. Он заботился (и мечтал) о достойной человека микроскопии социальной и культурной жизни, о воссоздании ее естественности, богатства и чувства свободы, которые никогда не изменяли ему самому, несмотря на любые внешние обстоятельства. В этом он видел цель и смысл универсальной борьбы человечества за свободы — борьбы, к которой мы присоединяемся с таким опозданием. И, возможно, потому с таким озлоблением.

Его доклады и лекции никогда не были изложением, а всегда — размышлением. Мы осязали звучащую и говорящую плоть его мысли, лицезрели процесс его мышления *in status nascendi*, то есть в моменты возникновения мыслей, порой неожиданных для него самого. Приятно было наблюдать, с какой радостью он мыслил и с каким пристрастием Мастера сам наблюдал за своим мышлением, являя собой живое опровержение постулата У. Джеймса о невозможности совмещения того и другого. Возможно, секрет состоит в том, что акты его мысли одновременно были актами его личного действия. Это было «поступающее мышление» (выраже-

ние М. М. Бахтина), а поступок — это не только продукт сознания, но и предмет осознания. Потому что поступок всегда от лица и перед лицом, говорил Мамардашвили.

Сейчас многое из того, что он говорил в своих лекциях и докладах, опубликовано им самим. Оно уже существует в культуре и потому необратимо. Еще больше предстоит опубликовать его друзьям и коллегам. К счастью, у Ю. П. Сенокосова, да и у многих других, имеется богатая фонотека его публичных выступлений. Слушая их, мы будем вспоминать его слова о том, что философия — это сознание вслух, а сознание — это страсть. Поэтому слово для М. К. Мамардашвили всегда было больше, чем действие, акт. Оно было работой, ремеслом. Казалось, он всегда знал, помнил, что философия, как и поэзия, прежде чем стать делом, искусством письменным, была искусством устным. Он никогда не проповедовал, а свободно, без видимых усилий следовал неизбежности мысли, мужеству невозможного, понимая под этим волю и верность судьбе, своей «планиде»: «А планида наша — мастеровой труд, в себе самом исчерпывающееся достоинство ремесла, “пот вещи”, на совесть сработанной. Сказав это, я чувствую, насколько это похоже на клятву Мандельштама “четвертому сословию”. Поэтому то же самое, что я сказал о философах, гораздо поэтичнее можно сказать его же, Мандельштама, словами: “Как пехотинцы мы умрем, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи”»⁶.

Настоящие субъективные заметки не претендуют на рассказ о научной биографии философа, на характеристику подлинного масштаба его личности, реализованной им в виде уникальных по своей естественности мысли и бытия. Его научное и духовное наследие предстоит еще осваивать и развивать.

В заключение поделюсь еще одним воспоминанием. Во время наших встреч у Леонтьева, Алексей Николаевич как-то спросил: с чего начался человек? Мераб не задумываясь, ответил: с плача по умершему. Никогда не думал, что мне и всем, кто его знал и любил, придется плакать по нем. Как сказал Тициан Табидзе: «И свистящий ноябрь запечатал двери».

1991

* * *

В моих отношениях с Мерабом Мамардашвили тесно переплелись дружба и не сразу осознанное мной ученичество. Дружба с ним — одна из самых больших ценностей, хранящихся в моей душе, а

⁶ Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 199.

ученичество пробудило во мне до сих пор не угасающий интерес к психологической проблематике сознания, который он деликатно поддерживал. Одной из самых больших ценностей в структуре его сознания была светлая радость *честной* мысли. Радостью Мераб называл чувство необратимой исполненности смысла, которым он щедро делился с многочисленными слушателями. Нужно сказать, что радость довольно странная, так как Мераб рассматривал акт думания как часть испытания нами нашей судьбы, а жуткий труд мысли уподоблял аду. Теперь-то мы знаем, чего ему стоили эта радость и его «сознание вслух». К нему вполне можно отнести слова любимого им Осипа Манделштама:

Видно даром не проходит
Шевеленье эти губ.

В одной из своих лекций Мамардашвили говорил, что он рассматривает художественную литературу и поэзию как экспериментальную психологию. Я откликнулся на это сначала брошюрой «Возможна ли поэтическая антропология?», а затем книгой «Посох Манделштама и трубка Мамардашвили». В последней я использовал размышления поэта и философа в качестве эвристик для решения некоторых психологических проблем. Потом, как мне кажется, я сделал следующий шаг (и да простят меня философы) стал рассматривать философию как экспериментальную психологию мышления и сознания. В конце концов, добротные психологические эксперименты есть дело мысли, а опыт истории психологии говорит о том, что многие из них задумывались философами.

2011

Комментарий психолога к *трудам и дням* Георгия Петровича Щедровицкого

Глашатай Больших Проблем

Георгий Петрович Щедровицкий принадлежал к так называемым решателям проблем и делателям решений. Вся его жизнь была направлена на то, чтобы увеличить число людей, умеющих профессионально, разумно и ответственно обращаться с проблемами и осуществлять решения, какими бы эти проблемы ни были, научными или практическими. Одна из рекомендаций Г. П. Щедровицкого (возможно, наивная) будущим решателям проблем состоит в том, чтобы *на себя оборотиться* — на свое собственное мышление, на свою собственную деятельность, а главное — понять мышление и деятельность как идеальные объекты, понять универсум мыследеятельности. Это очень трудная и очень полезная, хотя и с негарантированным результатом, работа. Ей нужно было учить и учиться самому. Привлечению единомышленников и расширению их круга, несомненно, способствовал его буйный научный темперамент, незаурядный педагогический талант и организаторские способности. Не последнюю роль играли сознание своей миссии и уверенность в себе. Что касается его организаторских талантов, то, с современной точки зрения, он был какой-то почти неправдоподобный *child-manager* — чистый, совестливый и бескорыстный. Его педагогический талант не был лишен лукавства, которое тонко подметил А. М. Пятигорский, описывающий свои первые подростковые опыты философствования («мыследеятельности») во взрослом сообществе: «Да очень просто, — отвечал я, предвосхищая в этом вступительном обороте ораторскую манеру моего будущего друга, мэтра московских методологов Георгия Петровича»¹. Иллюзия простоты и понятности в сочетании с ора-

¹ Пятигорский А. М. Философия одного переулка. М., 1992. Цит. по электронной версии: <http://www.shkp.ru/lib/archive/lect/11/1/copy_of_1>

торским даром, с несомненно присутствовавшими в нем элементами суггестии (видимо, искренней и произвольной), привлекали к нему многих, в том числе и наивно-невинных в философии и методологии. Надо ли говорить, что некоторые участники его Кружка так и не смогли расстаться со своей невинностью, усвоив и усугубив внешние черты поведения мэтра.

Будучи философом и ученым, он стремился обеспечить процедуры решения проблем и принятия решений соответствующим методологическим инструментарием. Как и полагалось в начале второй половины XX века, он еще искренне верил в науку, в научную организацию мышления и деятельности, заботился об эффективном развитии науки и ее практических приложений. Убеждение в том, что научную организацию человеческого бытия (которой, впрочем, никогда не было) сменит его тотальная методологическая организация, придет позднее. А до тех пор Г. П. Щедровицкий отстаивал научность философии и *научность науки*. Атмосфера существования науки тех лет требовала именно этого. В разное время разные люди характеризовали ее как атмосферу торжества *самозванцев мысли, красного нетерпения, обнаглевшего самосознания, практиков-практикантов и фельдшеризма, философии в повелительном наклонении, растлевающего дурмана, непрожеванной и непереваренной мысли, безусловной банальности, усредненной, смутной понятности, тупоумных теорий, трагического дилетантизма, не сезона для мысли...* Но мысли рождались, в том числе и *несезонные*. Задним числом, оценивая то время, с горечью убеждаешься, что наука может развиваться, а ученые — размножаться даже в неволе. Трудно переоценить и роль наших учителей, которые заслуживают отдельного разговора.

Конечно, в отстаивании научности философии и науки Г. П. Щедровицкий был не одинок. Наше и последующие поколения с благодарностью вспоминают, наряду с Георгием Петровичем, А. А. Зиновьева, Э. В. Ильенкова, В. И. Коровикова, Б. А. Грушина, М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорского, Б. С. Грязнова, Э. Г. Юдина и других. Одни из них наивно или — по-блоковски — считали (верили!), что с марксизма-ленинизма достаточно стереть *случайные черты*, и мы увидим — он *прекрасен*. Другие — также по-блоковски — предпочитали *свою обедню отслужить* и даже стать *новым иереем*. Так или иначе, но каждый по-своему и все вместе они очищали и расширяли наше сознание, отвращали от догматизма, учили строгости мышления и на своем примере показывали, что можно (!) думать и можно думать иначе. В Г. П. Щедровицком удивительным образом сочетались убежденный марксист и столь

же убежденный идеалист, в чем он, в отличие от официозных марксистов, не стеснялся признаваться и чему, по своему обыкновению, находил вполне рациональное объяснение. Видимо, это так и было. Мне кажется, что от идеализма он взял мышление, а от марксизма — его агрессивно-проектировочный, прожективный вектор.

Конечно, я не смогу сколько-нибудь точно датировать свои первые осмысленные встречи с Г. П. Щедровицким. Скорее могу вспомнить первые впечатления о нем, когда он пришел в 1949 году на второй курс философского факультета МГУ. Они весьма смутны и не слишком благоприятны, так как связаны с его чрезмерной общественной активностью. Таких я всегда инстинктивно сторонился. Когда же он переключил свою энергию на более мирные, научные цели, у меня начал просыпаться интерес к нему. Наше сближение началось уже после университета в 1953–1954 годах. В университетские годы я сблизился с психологом В. В. Давыдовым, философами Б. М. Пышковым, И. В. Блаубергом, В. П. Кешелавой, бывших, как Давыдов и Щедровицкий, моими однокашниками, а также с А. М. Пятигорским, А. А. Зиновьевым, которые были старше меня. Контакты и дружеские отношения с Э. В. Ильенковым, М. К. Мамардашвили установились позднее. Должен признаться, что все эти и другие контакты с философами, логиками на первых порах никак не были связаны со сколько-нибудь осознанными интересами к философии и тем более к методологии. Мне было приятно бывать с ними, узнавать, например, от А. А. Зиновьева, что *засуха в нашей стране оттого, что 200 миллионов набрали в рот воды и не выпускают*, или, что *пожар есть горение вещей, к сожжению не предназначенных*. Частенько наше общение трудно было назвать вполне трезвым. Пепси в Советском Союзе тогда не было, соответственно, и у нас не было выбора.

Когда Г. П. Щедровицкий начал формировать свой круг единомышленников, он пытался вовлечь в него и меня, что было задолго до оформления Московского методологического кружка. Но то ли он был недостаточно настойчив, то ли я — слишком увлечен экспериментальными исследованиями и поэтому неподатлив, попытка не удалась, что не помешало связывавшим нас в течение десятилетий дружеским отношениям. Мне было достаточно методологического руководства с его стороны в наших лыжных прогулках и байдарочных походах. Георгий Петрович был признанным всеми участниками Главным разъяснителем, и мы с восхищением, смешанным порой, с удивлением, воспринимали его категорические суждения, формулировавшиеся в виде законов, например: «Подметка — это *основа* ботинка!», «Береза *вообще* не сохнет — в этом

ее особенность!», «В бакалее *всегда* много народа!» и т. п. Несмотря на его апломб, мы не рисковали доверять ему руководство нашими вылазками. Начальником, который всегда прав, неизменно был его брат — Лев Петрович Щедровицкий.

Я был доброжелательным наблюдателем содержательной стороны его жизни. Иногда давал советы, некоторые он принимал, некоторые — нет. Иногда я помогал делом, порой успешно, порой — безуспешно. Наши отношения — сюжет для специального рассказа, на который, возможно, я когда-нибудь решусь. Здесь приведу лишь некоторые эпизоды. Щедровицкий с молодых лет отличался неправдоподобно высокой продуктивностью. Он говорил, что старается ежедневно писать две-три страницы текста, и рекомендовал мне делать то же самое. Я отшучивался, говоря нечто вроде того, что ты уже опоздал: чтобы догнать по продуктивности Вильгельма Вундта, тебе нужно было начинать со дня рождения. Я его явно недооценил: неполный «Архив Г. П. Щедровицкого» (1995) содержит 3553 единицы хранения. Первый вариант кандидатской диссертации Щедровицкого насчитывал свыше 900 страниц текста. В Ученом совете (кажется, Института философии АН СССР) ему сказали, чтобы из своего фолианта он извлек любую треть и этого будет более чем достаточно. По другой версии, ему сказали: таких диссертантов нужно душить в колыбели. Версии о том, что эта работа может защищаться как докторская, к сожалению, не последовало. Писать еще одну было глупо, и Георгий Петрович ограничился кандидатской.

Естественно, пространства журналов «Вопросы языкознания», «Вопросы философии», «Вопросы психологии» ему явно было мало. На его счастье, в 1957 году начали издаваться «Доклады АПН РСФСР». Главным редактором издания стал А. Р. Лурия. Проблема состояла в том, что любая статья должна была быть представлена членом Академии педагогических наук. При этом нужно было найти такого человека, который бы дал себе труд разобраться в нелегких для понимания текстах Г. П. Щедровицкого. Мы перебрали с ним несколько кандидатур и остановились на Петре Алексеевиче Шевареве — ученом старой закалки, строгом и ответственном, что контрастировало с его удивительной мягкостью и доброжелательностью. Я познакомил их. П. А. Шеварев согласился прочесть его первую статью «О возможных путях исследования мышления как деятельности» и — «*Коготок увяз...*». До сих пор я не знаю, чем нужно больше восхищаться: научной продуктивностью Щедровицкого или терпением и добросовестностью П. А. Шеварева. С 1957 по 1964 год Г. П. Щедровицкий самостоятельно и с соавторами

опубликовал в этом издании свыше 30 статей. В какой-то момент иссякло терпение у главного редактора. А. Р. Лурия при встрече попросил меня: «Передай своему приятелю Щедровицкому, что будет лучше для главного редактора, для “Докладов” и для автора, если он прекратит писать недоступные пониманию статьи». Все же А. Р. Лурии следует отдать должное. Он долго терпел «интеллектуальные безумства Г. П.» (выражение А. В. Запорожца, у которого в течение ряда лет в Институте дошкольного воспитания работал Щедровицкий). И А. Р. Лурию, и А. В. Запорожца трудно осуждать. По их словам, им и марксизм давался с трудом, как, впрочем, и мне, видимо, по наследству от моих учителей. Нужно отдать должное и Г. П. Щедровицкому. В 1978 году он посвятил памяти П. А. Шеварева свою работу — «Опыт логического анализа рассуждений» («Аристарх Самосский»), изданную лишь в 1997 году, и с большой теплотой рассказывал о нем в своих воспоминаниях.

Описанный эпизод интересен тем, что он иллюстрирует отношение к Г. П. Щедровицкому старшего поколения психологов. Это была смесь удивления и непонимания, восхищения и настороженности. Надолго запомнился случай, когда на одном представительном научном собрании в Психологическом институте Г. П. Щедровицкий публично обвинил докладчика в клевете. П. И. Размыслов, прославившийся еще в 1930-е годы зоологической ненавистью к Л. С. Выготскому, выступал с очередными инсинуациями в его адрес. Присутствовали многие ученики и соратники Выготского, но отреагировал лишь Георгий Петрович.

Известности Г. П. Щедровицкого среди сотрудников института способствовала его работа в Издательстве АПН РСФСР и в редакции журнала «Вопросы психологии». А. А. Смирнов и Б. М. Теплов обсуждали с ним вопрос о привлечении его к работе в Психологическом институте. Щедровицкий сам объяснил, почему этого не произошло: этих достойных людей настораживала его неуемная энергия и бескомпромиссность. А. А. Смирнов и Б. М. Теплов были старше и мудрее. Они опасались скандалов, на которые их толкал несомненно талантливый, но чрезмерно задорный и задиристый Г. П. Щедровицкий. Спустя многие годы, в 1980 году, он высказал сожаление, что не стал сотрудником института². Кто знает, может, это был плод минутного настроения. Трудно сказать, как бы сложилась его академическая карьера в психологии, но стойкий и *пристрастный* интерес к ней он сохранял всю жизнь. Думаю, что эта не скрываемая им *пристрастность* помешала постоянно озабо-

² Щедровицкий Г. П. Я всегда был идеалистом. М., 2001. С. 70.

ченному методологией А. Н. Леонтьеву привлечь Щедровицкого к преподаванию методологии психологии на факультете психологии МГУ. Он предпочел истинного философа-олимпийца М. К. Мамардашвили, говорившего о сложнейших проблемах психологии, умудряясь при этом вовсе не упоминать психологию как науку и никого из психологов.

Как бы то ни было, Психологический институт, директором которого был благороднейший А. А. Смирнов, в 1958 году на долгое время дал приют Комиссии по психологии мышления и логике, работавшей под патронажем все того же П. А. Шеварева и под фактическим руководством Г. П. Щедровицкого. В ее работу вовлекались более молодые поколения психологов, не только и даже не столько из числа работавших в Психологическом институте. Конечно, участвовали и не психологи!

Щедровицкий оказал огромное влияние на многие поколения психологов, работавших в его семинарах. Нужно было бы провести нечто вроде специального социологического исследования среди участников семинаров и среди тесно работавших с ним психологов над теми или иными проблемами. Возможно, такая работа будет проделана. Я же ограничусь одним примером. Сильный психолог — теоретик и практик — Ф. Е. Василюк в предисловии к своей книге пишет: «Почти все методологические средства, которые используются в этой книге, были созданы работой знаменитого Московского методологического кружка под руководством Г. П. Щедровицкого. Мне довелось посещать кружок в середине 1970-х годов, и особенное влияние на мое мышление оказали тогда В. Я. Дубровский и О. И. Генисаретский, которых я считаю своими учителями в области методологии»³. Такое признание дорогого стоит. Думаящих психологов, в том числе и студентов, привлекали новизна, яркость, полемический талант, характерные для выступлений Г. П. Щедровицкого, неприятие им так называемых методологических принципов советской психологии. Особенно неприязненно он относился к принципу отражения. Его влияние на мышление ряда поколений психологов сравнимо по силе (но не по характеру) с влиянием М. Мамардашвили.

Конечно, было и остается влияние другого рода. Дальнейшее изложение будет представлять собой попытку анализа и оценки значения трудов Щедровицкого для психологии. На мой взгляд, центральные проблемы, которые на протяжении всей научной жизни волновали Г. П. Щедровицкого, это проблемы мышления

³ Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. М., 2003. С. 7–8.

и деятельности. Хотя при их рассмотрении он чаще всего был настроен антипсихологически, именно здесь можно найти наиболее интересные и значительные для психологии результаты. В том числе значительные для ее теории и методологии. Хочу повиниться и предупредить, что, работая над настоящим текстом, я пользовался лишь доступными мне опубликованными материалами самого Щедровицкого и не обращался к работам его учеников и единомышленников. Не могу обещать, что в своих комментариях к ним мне удастся, несмотря на добрую о нем память и все мои старания, сохранить полную беспристрастность. В свое время кураторы науки из ЦК КПСС, ощущавшие себя полными хозяевами науки и жизни, укоряли меня в том, что я веду себя в психологии слишком похозяйски. На что я отвечал, что психология — это действительно мое дело.

Объективация субъективного

Г. П. Щедровицкий решительно постулировал, хотя и не сразу и не без колебаний, наличие *теоретического мира*. В 1989 году он, ссылаясь на К. Поппера, говорил, что его «принцип самостоятельного существования идеальных содержаний и сущностей отнюдь не смешон, не представляет собой идеалистической ошибки, а есть принцип жизненно важный, без которого развивать мышление и деятельность нельзя. Надо понять, что реально существуют сущности, или идеальные содержания, и это есть подлинный мир, а мир феноменальный — мир проявлений — есть, по сути дела, эпифеноменальный»⁴.

Здесь Щедровицкий категоричнее самого К. Поппера в его более ранних работах, на которые сам и ссылался. Лишь в 1998 году издана книга К. Поппера «Мир Парменида»⁵, где автор пишет, что Парменид был первым, кто стал явно утверждать, что существует теоретический мир как особая реальность, скрытая за феноменальным миром. Парменид впервые сформулировал критерий реальности, указывая на то, что подлинная реальность — это теоретический мир, который инвариантен по отношению к любым кажущимся изменениям⁶.

⁴ Щедровицкий Г. П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 565.

⁵ Popper K. The World of Parmenides. L.; N.-Y., 1989.

⁶ См.: Овчинников Н. Ф. Парменид — чудо античной мысли и непреходящая идея инвариантов // Вопросы философии. 2003. № 5. С. 83.

Согласно Пармениду, все, что реально, есть, должно быть вечным и неизменным и такое реальное бытие не может быть раскрыто посредством чувств. Внутренне противоречиво приписывать существование тому, что никогда не является одним и тем же в разное время, и непоследовательно утверждать, что любая существующая вещь возникает из ничего. Чтобы избежать этого тупика, нужно вывести чувственность из сферы реального существования, так как лишь ощущение проявляет такое непостоянство. То, что остается после отбрасывания ощущений, есть сфера абстракций — непоколебимых и вечных истин, если и являющихся доступными, то только для разума⁷. Здесь уже абстракция, идея более объективна, чем действующий на органы чувств объективный мир в привычном для нас смысле слова «объективность».

В 60-е годы XX века советские философы стали возвращаться к проблематике объективности идеального, утверждать существование *идеальных объектов, объектов знания*, образующих особую «действительность», которая существует наряду с эмпирическими объектами и является ничуть не меньшей реальностью, чем они⁸. Но Г. П. Щедровицкому было недостаточно признания мира идеальных объектов, мира теории. Он постулировал наличие *мира мышления* как «особой субстанции, существующей в социокультурном пространстве»⁹, то есть в пространстве *между* людьми, а не в голове отдельного человека. Он говорил, что мир мышления должен быть положен как новая реальность — отдельно от реальности материи и противостоящая ей¹⁰. Речь идет, по сути дела, об онтологии мышления, или о мире мышления. Впервые о мире мышления (и о мире деятельности) он писал в 1966 году, ссылаясь на В. фон Гумбольдта: «Принято считать, — говорил он <Гумбольдт>, что человек овладевает языком, но, может быть, правильнее сказать: язык овладевает человеком. <...> Затем эта мысль была распространена на мышление: не человек осуществляет мышление, а мышление использует человека как агента. Мышление как бы вбирается отдельным человеком, а потом в том же виде или с некоторыми изменениями передается дальше»¹¹.

⁷ См.: Робинсон Д. Интеллектуальная история психологии. М., 2003.

⁸ Ильенков Э. В. Идеальное // Философская энциклопедия. В 5 т. Т. 2. М., 1962. С. 225–226. Щедровицкий Г. П. Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 216–217.

⁹ Щедровицкий Г. П. Философия у нас есть // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 10.

¹⁰ Там же.

¹¹ Щедровицкий Г. П. Теория деятельности и ее проблемы // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 255.

Для психологии вся проблема в том, как оно «вбирается», в чем проявляется и как передается. Щедровицкий предлагал свой вариант решения проблемы, как передать детям новые способы мышления в процессе обучения: «Мы им передаем не процедуру Аристарха Самосского (она достаточно сложна и громоздка), а результаты дальнейшей обработки и анализа его процедуры. Это — некоторая искусственная процедура, обеспечивающая получение того же самого результата. Этот механизм как бы непрерывного снятия процессов, которые были уже реализованы, переведения реализованных процедур в набор средств и методов есть фактически *один из основных и важнейших механизмов развития нашей мыслительной деятельности и деятельности вообще*»¹².

Дело не в том, кем и когда впервые были высказаны идеи о мире языка, мире мышления, мире мудрости, мире чувств, мирах образов и образов действий. А дело в том, что Г. П. Щедровицкий проделал огромную работу по конструированию онтологических картин мира мышления, существующего не как психический процесс, а объективно, как субстанция особого рода. Он бы вполне мог повторить за своими друзьями (и моими тоже) М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорским: «Без онтологии тоска берет за горло».

Выделение перечисленных миров, находящихся не в голове отдельного человека, *не «между ушами»*, как пошутил один американский психолог, а объективно, есть необходимое условие развития культурно-исторической психологии в любых ее вариантах, в том числе и собственно психологического исследования индивидуального мышления, что мне хотелось бы особенно подчеркнуть. Но условие — это одно, а предмет исследования — совершенно другое. Изучение «бессубъектного мышления» и «бессубъектной деятельности» есть один из вариантов антипсихологизма, к которому призывал психологов Г. П. Щедровицкий, порой не слишком стесняясь в выражениях: «Я убежден, — категорично заявлял он, — что психика не есть качество или характеристика человека. Психика должна рассматриваться субстанционально, если мы хотим строить психику вне субъектов»¹³. И далее он говорит о том, что необходимо преодолеть «предваряющую, преждевременную материализацию (с разными вариациями — вроде той, что психика находится в голове у человека, и другой белиберды)»¹⁴.

¹² Там же. С. 261.

¹³ Щедровицкий Г. П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 578.

¹⁴ Там же.

Замечу, что «психика вне субъекта» если и не построена, то строится уже довольно давно. А. М. Пятигорский говорил, что еще буддийские философы понимали, что «психика как материал, предмет может описываться (исследоваться, созерцаться, наконец) и как непсихологическое»¹⁵. Автор замечает, что это соответствует Павловско-Шеррингтоновскому пониманию психики. Таким образом, названная предваряющей и преждевременной материализация психики, которой с момента своего возникновения занимается классическая, естественнонаучная психология, «преодолела» (и, на мой взгляд, преждевременно) античную идеализацию психики, т. е. представление о ней как о душе, в том числе и представление о ней как о качестве человека. Человек в естественнонаучной парадигме был заменен на субъекта, т. е. изолированную психическую функцию испытуемого в психологической лаборатории. По инерции (или инертности и нечувствительности к языку) подозрительные психологические субъекты до сих пор блуждают по страницам психологической литературы и вытесняют такие замечательные слова, как дитя, ребенок, человек, личность.

Г. П. Щедровицкий смешивает два вопроса: принадлежность психики и местопребывание психических актов. В конце концов, при всей ограниченности противопоставления объективного и субъективного, при том, что субъективное не менее объективно, чем так называемое объективное (это мотив А. А. Ухтомского), субъективное тоже нуждается в онтологических представлениях и картинах. И опыт их построения в психологии накапливается. Правда, наиболее детальные онтологические картины не столько субъективного (душевная жизнь) мира, сколько субъектного и даже бессубъектного (психика) миров. Таковы модели когнитивных процессов, модели построения движений, в которых человек редуцирован к субъекту-функции. Очень постепенно в них вводятся такие отчетливо психологические феномены, как образ ситуации, образ требуемого действия, образ собственных возможностей его осуществления. Бессубъектные онтологические картины начинают одушевляться и отличаться от машинообразных прототипов. Наиболее интересные онтологические представления о психике могут быть построены на пересечении двух путей — объективации субъективного и субъективации объективного (это мотив Г. Г. Шпета).

Один из моих любимых учителей П. Я. Гальперин (не слишком чтимый Г. П. Щедровицким) видел будущее психологии в том, что она станет объективной наукой о субъективном мире челове-

ка (и животных). И такой мир действительно есть. Иное дело, что в нем от Другого, от других, от коллектива, от «собора со всеми», а что от самого себя? Г. Г. Шпет, завершая обсуждение вопроса о том, чье сознание, пишет: «В конце концов, хитро не “собор со всеми” держать, а себя найти мимо собора, найти себя в своей, имьярековой свободе, а не соборной»¹⁶. Между прочим, Г. П. Щедровицкий такой «хитростью» и такой свободой обладал в полной мере, особенно если учесть социальную ситуацию, в которой ему довелось жить и работать. Мне кажется, что онтологическая картина мышления, будь оно индивидуальное, коллективное или «чистое», без интуиции, страсти, хитрости, свободы, едва ли будет полной. Важно подчеркнуть, что онтологическую картину мира мышления Г. П. Щедровицкий начал строить не сразу, а с исследования индивидуальных процессов мышления *per se* и попыток их онтологизации. Первые результаты такой работы публиковались, начиная с 1957 года (совместно с Н. Г. Алексеевым), в упомянутых «Докладах АПН РСФСР».

Мышление как субстанция в предмете психологии мышления

В настоящем контексте не столь важна проблема онтологизации индивидуального мышления по сравнению с утверждениями о субстанциональности и объективности мира мышления в целом. Здесь самое время обратиться к культурно-исторической психологии в версии Л. С. Выготского и отношения к ней Г. П. Щедровицкого, которое не было простым и однозначным. Мне даже кажется, что Щедровицкий не заметил в ней главного, и его в какой-то мере оправдывает то, что положения Л. С. Выготского об идеальной форме долгие годы не замечались соратниками и последователями самого Выготского, пожалуй, кроме Д. Б. Эльконина.

Г. П. Щедровицкий отдавал должное идеям Выготского о единицах анализа психики, о взаимоотношениях мышления и речи, о функциональной роли игры в развитии ребенка и т. д. Мимоходом, в контексте размышлений о знаке, он отметил важность психологического направления Л. С. Выготского, в котором знак рассматривается как средство (или «орудие»), включающееся в поведение индивида и перестраивающее его¹⁷. Наибольшей похвалы от Ще-

¹⁶ Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. *Philosophia Natalis*. Избранные труды по философии культуры. М., 2006. С. 310.

¹⁷ Щедровицкий Г. П. К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 516.

¹⁵ Пятигорский А. М. Лекции по буддийской философии // Ахутин А. В., Библихин В. В., Пятигорский А. М. Философия на троих. Рига, 2000. С. 350.

дровицкого Выготский удостоился за «антипсихологизм». Остановимся на этом подробнее. С точки зрения Щедровицкого, концептуализм, или субъективно-психологическое понимание мышления, берущее начало с Абельяра, есть «величайшая и самая значительная по своим последствиям научная ошибка в последнюю тысячу лет»¹⁸. Он считает, что история методологических исследований XVIII–XIX столетий — это история непрерывных колебаний между внешне-объективным и субъективно-психологическим пониманием мышления. Лишь в первой четверти XX века происходит резкое отвержение и разрушение субъективно-психологической точки зрения, выдвижение на передний план «логицизма»¹⁹. Под «психологизмом» Щедровицкий понимает переформулирование логических положений на язык так называемых «душевных», или «психических», явлений. Такая трактовка логических положений долгое время считалась оправданной, «так как все соглашались с тем, что значения знаков языка задаются человеческим пониманием и, следовательно, должны существовать в этом “понимательном аппарате”»²⁰. Далее Щедровицкий категорично утверждает, что психологизм ничего не дал теории мышления и даже не сумел выделить особого предмета психологической теории мышления. Развивая свою мысль, он положительно отзываясь о Вюрцбургской школе, гештальтпсихологии, школах Ж. Пиаже и Л. С. Выготского — *антагонистов психологизма*. Для всех этих школ, исключая гештальтпсихологию, отправной точкой явились знаки, их «значение» и «смысл», их употребление в деятельности людей. Из перечисленных научных школ Щедровицкий все же выделяет Выготского и его учеников, но с некоторыми оговорками: «Анализ употребления знаков в деятельности и их влияния на структуру поведения, обещавший богатые результаты, очень скоро выдвинул на передний план вопрос, что такое значение знака, а затем — с той же необходимостью вопрос об отношении знака к действительности, к объективному миру, т. е. вопрос традиционно логический. Психологическое исследование знаков и мышления как особого рода знакового поведения оказалось зависимым от логических понятий; предмет психологической теории мышления, намечавшийся казалось столь естественно в первых работах, вдруг исчез и слился с предметом логической теории»²¹. Столь же суровой оценке подвер-

¹⁸ Щедровицкий Г. П. Методология науки, логика, теория мышления // Щедровицкий Г. П. *Философия. Наука. Методология*. М., 1997. С. 232.

¹⁹ Там же. С. 233.

²⁰ Там же. С. 235.

²¹ Там же. С. 237–238.

глись ученики Выготского, которые вовсе, по мнению Щедровицкого, потеряли мышление, а также П. Я. Гальперин и Ж. Пиаже.

Казалось бы, после столь суровых оценок автор должен был предложить свою версию предмета психологии мышления. Вместо этого он оправдывает тщетность усилий психологов, направленных на поиск (построение) такого предмета. Оказывается, что сама установка на создание особой и самостоятельной психологии мышления сомнительна. В лучшем случае такое возможно *после* логического анализа и описания мышления. И, наконец, методология в «повелительном наклонении» (выражение И. Г. Фихте): «... нет и не может быть особой психологической теории мышления, нет и не может существовать мышления как предмета чисто психологического анализа»²².

Щедровицкий суров не только по отношению к психологии. Он ведь согласен с В. С. Швыревым, что логика исследует не мышление, а правила формального выведения, и сам пишет о непригодности логики для исследования мышления²³. Но это относится лишь к традиционной, формальной логике и не относится к новой, содержательной, или содержательно-генетической логике, которую намеревался построить Щедровицкий как эмпирическую науку. Отрицание психологии мышления вполне логично, так как это расчищает дорогу для построения новой, эмпирической логики, предметом которой, в частности, выступают традиционные психологические проблемы: мышление как деятельность, выделение посредством нее определенного содержания, движение по этому содержанию и пр.²⁴ Я вовсе не отрицаю значения содержательно-генетических исследований Щедровицкого. Напротив, думаю, что их результаты полезно сопоставить с содержательно-генетическими или казуально-генетическими (Л. С. Выготский) исследованиями мышления, проведенными психологами.

Приведенные положения Щедровицкого о мышлении и роли психологии в его изучении датированы 1962 и 1964 годом. Но и спустя четверть века он не смягчил свою позицию. В 1989 году он сочувственно приводит слова Р. Д. Коллингвуда, что психология есть мошенничество XX века. Правда, Щедровицкий вносит поправку: не психология, а «психологические представления» — ибо психология очень важна и нужна. Ее вполне можно, как полагал

²² Там же. С. 239.

²³ Щедровицкий Г. П. О различии исходных понятий «формальной» и «содержательной» логик // Щедровицкий Г. П. *Избранные труды*. М., 1995. С. 37, 38.

²⁴ Там же. С. 38–39.

Щедровицкий, построить на основаниях СМД-методологии, и тогда будет настоящая, подлинная психология, потому что все, что существовало до этого, есть один сплошной психологизм без всякой психологии²⁵. В отстаивании такого взгляда на психологию Щедровицкий был последовательным и, по его словам, жестким и даже догматичным²⁶.

Однако приходится только сожалеть, что из его рассуждений о творческом мышлении исчезла тайна. А. Эйнштейн, перед тем как начать рассказывать М. Вертгеймеру о создании теории относительности, сказал, что он сомневается в том, что можно понять чудо мышления. Эйнштейн же без ложной скромности заявлял, что люди и без него додумались бы до частной теории относительности. А общая теория относительности — это факт его личной биографии. Без него ее не было бы.

Щедровицкий едва ли согласился с Эйнштейном, поскольку для него «человек вообще в мышлении ни при чем». Если человек в мышлении есть случайность, то зачем ему знать свое мышление или структуру мышления? Мышление действительно чудо! Оно и процесс, как утверждал С. Л. Рубинштейн, и эту точку зрения упорно отстаивал А. В. Брушлинский. Оно и деятельность, действие, как утверждал А. Бергсон, а вслед за ним очень многие, включая А. Н. Леонтьева и того же С. Л. Рубинштейна. Что касается Щедровицкого, то у него имеется аргументация как в пользу первого, так и в пользу второго утверждения. В одном случае он членит мышление на процессы, а последние — на операции и ставит задачу создания их алфавита. В другом случае он членит мышление на действия, а последние тоже на операции. При этом он решительно отвергает пригодность категории «процесс» для анализа деятельности, что вполне справедливо. Она не охватывает такие «вещи», как инсайт, событие, поступок, в которых присутствуют все три «цвета» времени: прошлое, настоящее, будущее. Но тогда возникает вопрос, какими категориями схватить реальность мыследеятельности.

Видимо, для мыследеятельности справедлив ответ, данный Щедровицким относительно деятельности. Последняя есть «структура, состоящая из разнородных элементов. Каждый ее элемент включен в свой особый закон развития, реализуемый с помощью специфических механизмов.

²⁵ Щедровицкий Г. П. Смысл и значение // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 559.

²⁶ Щедровицкий Г. П. Что значит рассматривать «язык» как знаковую систему // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 542.

ческих механизмов. Закономерности деятельности могут быть поняты только тогда, когда мы берем эту структуру как целое»²⁷. Абстрактно это может быть и верно, во всяком случае, — просто. А конкретно-психологически, практически проблема в том, что не хотят разнородные элементы составлять целое. Для деятельности, как и для организма, действительны проблемы совместимости органов и тканей и отторжения чужеродного. Поэтому-то для психологии крайне важно обсуждение запутанной проблемы единиц анализа психики. И. М. Сеченов, возможно, наивно, но верно относил к элементам мысли не только чувственные ряды, но и ряды личного действия. На наличие элементов мысли в действии указывали Ч. Шеррингтон, С. Л. Рубинштейн, А. В. Запорожец.

Так что проблема мыследеятельности для психологии не нова. Иное дело, что путь *от действия к мысли*, намеченный А. Валлоном, не всегда достигает успеха. Элементы мысли не только развиваются, но и улетучиваются, деградируют. В итоге не мысль достигает планетарных масштабов, а глупость — геркулесовых столпов. Деятельность становится *иллюзорно-компенсаторной* (Б. С. Братусь), и вдохнуть в нее чужую мысль чрезвычайно трудно. Щедровицкий постоянно сталкивался с подобными трудностями на практике, поэтому он так часто возвращался к проблематике *оестествления* проектируемых им искусственных образований, что для психологии весьма поучительно. Оестествление — это преодоление надолгов и рвов опосредования и возврат к непосредственности, без которой невозможна интуиция.

Вернемся к рассуждениям Щедровицкого о Л. С. Выготском и культурно-исторической психологии. Мне не удалось найти в его трудах признания Выготского создателем последней. Он упоминается по важным, но все же частным для психологии вопросам. Щедровицкий обошел главную идею Выготского, состоящую в утверждении объективности аффективно-смысловых образований человеческого сознания, существующих вне каждого отдельного человека в виде произведений искусства. Выготский настойчиво подчеркивал, что такие образования существуют раньше, чем индивидуальные аффективно-смысловые образования. Первые представляют собой идеальную форму, своего рода *общественную технику чувств*, источник умных эмоций отдельного индивида. Мы можем назвать объективно существующие аффективно-смысловые образования (по аналогии с миром языка, миром теории) миром

²⁷ Щедровицкий Г. П. Теория деятельности и ее проблемы // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 262.

аффектов и чувств, становящимся *образцом для дальнейшего человечества* (А. А. Ухтомский). Вслед за В. фон Гумбольдтом Выготский признавал наличие мира языка и называл его идеальной формой или культурой. Наличие подобных положений дало основания его ближайшему ученику и соратнику Д. Б. Эльконину утверждать новизну и неклассичность культурно-исторической психологии. В неявной форме у Выготского содержалось также признание объективно существующего мира идей, мира теории. Во всяком случае, иначе он не смог бы написать работу «Исторический смысл психологического кризиса», в которой он был почти столь же неласков к существующим в то время теориям психологии, как и Щедровицкий. Правда, у Выготского это не распространялось на всю психологию.

Конечно, идеи объективного существования мира аффектов, мира искусств сами по себе не новость. В. В. Кандинский задолго до Выготского писал, что произведение искусства, отделившись от художника (если угодно, это есть объективация субъективного), получает самостоятельную жизнь, обладает активными *силами* (О. Мандельштам назвал бы их приглашающими), живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы²⁸. Но Выготского лишь на первых порах его психологической карьеры, во время написания «Психологии искусства», интересовало строение объективно существующего аффективно-смыслового мира искусства. Затем его основной проблемой стало индивидуальное формирование субъективного мира и овладение им. Отсюда и «переход от интериндивидуального к интраиндивидуальному» (что эквивалентно бахтинскому диалогизму и ставшей позднее модной коммуникативности), и «извне — внутрь» (или понятие «интериоризации», наличие которого у него со всей категоричностью отрицал Щедровицкий), и понятие «деятельности» (наличие которого с не меньшей категоричностью отрицал А. В. Брушлинский), и т. п. Но главная интенция Выготского состояла в том, чтобы понять механизм субъективации объективного. Средством такого понимания стали понятия «орудийности», «инструментальности», «опосредствования», которые практически не встречаются у Щедровицкого. Отсюда интерес Выготского к орудиям, средствам медиации, к знаково-символической деятельности, к слову, к знаку, что больше всего привлекало Щедровицкого в нем. Но для Щедровицкого самым главным было понять реальность мышления, существующего как субстанция, независимо от того, есть люди или нет людей.

²⁸ Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 99.

Признание или «учреждение» мира мышления, а затем и мира деятельности, признание их объективности не менее значимо для культурно-исторической психологии как «науки будущего» (М. Коул), чем признание Выготским объективности аффективно-смысловых образований. Но на этом сходство заканчивается.

Субъективный мир стоит наравне с объективным миром, будь последний природным или миром теории, миром мышления и т. п. А в каких отношениях окажутся объективный и субъективный миры, вопрос личной судьбы и обстоятельств. Для психологии — это не случай, а проблема, при решении которой возможны разные варианты. Конечно, человек так или иначе отражает объективный мир, с большим или меньшим успехом ориентируется и действует в нем. Носитель субъективного мира может дистанцироваться от объективного мира, породить иной мир, погружаться в него или объективировать, быть его хозяином или заложником, а то и жертвой. Испытывать внутреннюю клаустрофобию, бежать от себя, завоевывать свободу или бежать от нее. Ориентироваться в своем собственном мире (мирах!), а тем более овладеть им, жить в нем и с ним в мире никак не проще, чем жить в так называемом объективном мире. Если воспользоваться терминологией Щедровицкого, можно сказать, что игры с самим собой не проще, чем игры с природой или оргдеятельностные игры. В конце концов, не только последние представляют собой «средство деструктурирования предметных форм и способ выращивания новых форм организации коллективной деятельности»²⁹. Психологи всегда подозревали, что декомпозиция образа есть одновременно композиция действия, а декомпозиция посредством действия предметных форм есть композиция нового образа измененной тем же действием ситуации. И такие акты композиции и декомпозиции есть выращивание новых форм организации *индивидуальной* деятельности. Правда, психологи выражали это по-своему, а не в терминологии Щедровицкого.

Разумеется, легко заменить слово «психология» словечком «психологизм», равно как и объяснить реальный успех Выготского в развитии психологии тем, что он стал «антипсихологистом». Выготский не редуцировал все мышление к оперированию вещами и знаками. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочесть его поистине драматическое сочинение «Мышление и речь». Оно даже более драматично, чем его «Психология искусства». В последней мы имеем

²⁹ Щедровицкий Г. П. Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 293–294.

дело с драматизмом, так сказать, объективным, выступающим предметом анализа автора, а в «Мышлении и речи» просвечивает драма самого автора, осознававшего приближение конца и спешившего закончить книгу. Выготскому, судя по началу книги, действительно очень хотелось понять мышление как оперирование знаками, значениями, понятиями, и он вовсе не случайно придал значению статус единицы анализа речевого мышления, что неоднократно с одобрением отмечал Щедровицкий. Но логика исследования привела Выготского (не сразу и не прямо) к замене значения смыслом, что, впрочем, соответствовало его представлениям о смысловом строении сознания. Я уже не говорю о том, что Выготский, делая заключительный шаг в анализе речевого мышления, пишет: «Мысль еще не последняя инстанция в этом процессе. <...> За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция»³⁰. Пользуясь терминологией Щедровицкого, можно было бы сказать, что антипсихологист Выготский стал подлинным психологом. Хотя я думаю, что если Выготский и заблуждался, то он заблуждался как психолог. Психологи — тоже люди!

Другое дело, что у Выготского не сходятся начало и конец книги, на что Щедровицкий не обратил внимания, а может быть — слукавил, так как смысл не поддается изображению в схемах и моделях СМД-методологии. Более того, понятие смысла, как мне кажется, крайне редко находится в пределах ее тезауруса. Интересна в этом отношении упомянутая выше работа об Аристархе Самосском. Обсуждая «основную линию» осуществления мышления и его «краевые процессы», Щедровицкий задается вопросами о том, что их объединяет, что задает целостность движения мысли. Казалось бы, напрашивается ответ, что их цементирует *смысл* задачи, но он старательно избегает такого ответа, видимо, потому, что смысл нельзя изобразить на чертеже двухплоскостного процесса решения задач. Если бы смысл не чувствовался в подтексте, эта интересная работа многое бы потеряла.

Движение мысли Щедровицкого противоположно движению мысли Выготского. Если Выготский (в перспективе книги «Мышление и речь») уходит от значения к смыслу, то Щедровицкий — от смысла к значению. Это отчетливо видно в его статье «Смысл и значение», датированной 1974 годом. В ней обещается развить деятельностный подход к этим категориям. Говоря о схемах и структурах смысла, Щедровицкий отмечает их роль в понимании, но предупреждает, что он тонкости последней проблемы оставляет за

³⁰ Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 357.

рамками статьи. Главное внимание он обращает на конструирование значений, на *сведение* понимаемых инженером-языковедом смыслов исходных знаковых выражений к создаваемым конструкциям значений. Такой инженер *выражает* множество *ситуативных смыслов* через наборы специально выделенных *элементарных значений и последующую организацию их в структуры*³¹. Любопытна все же одна «тонкость»: откуда языковед-инженер черпает множество смыслов? И откуда — критерии их адекватности? В примечании автор специально оговаривает (чтобы читатель не заблуждался), что «значения первичны» — такая деятельность начинается со значений: именно конструкции значений дают первое структурное представление понимания. Дальнейшая задача лингвиста-инженера состоит в очередном сведении, на сей раз значений к знакам. При обсуждении вопросов о «знании знаков», «знании о знаках», «знании языка» смысл вовсе не упоминается. Не возвращается Щедровицкий и к работе понимания, рождающегося лишь во встречах двух противоположно направленных процессов — означения смысла и осмысления значения, которые происходят на всех этапах многоплоскостного решения задач и на всех этапах понимания. При этом приходится соглашаться с тем, что *полное* понимание в принципе невозможно. Последнее должно не удручать, а утешать, так как именно в дельте непонимания, т. е. разрыва (любимое слово СМД-методологов) между смыслом и значением возможно рождение нового. Поэтому, например, М. М. Бахтин настаивал на продуктивном, творческом характере подлинного понимания.

Следующий вопрос касается структуры смысла. Щедровицкий, видимо, не случайно воздержался от ее изображения. Здесь больше подходят метафоры. Выше упоминалась метафора кровеносной системы смысла (Г. Г. Шпет). Удачна метафора М. Вебера: человек — это животное, повешенное в паутине смыслов, которую он же сам сплел (уместно добавить — из своего собственного бытия). Близка к веберовской метафора Варлама Шаламова, уподоблявшего смысл стихотворения неводу, а рифму — крючку невода, мощному магниту, который высовывается в темноту и мимо него пролетает вся вселенная.

Щедровицкий тоже не удержался от метафоры. В контексте рассказа об оргдеятельностных играх он подчеркивает важную роль и значение «смыслового облака» общей работы, разные части и фрагменты которого удерживаются и схематизируются участниками игры. Обращу внимание на то, что в отличие от коллективной мысле-

³¹ Щедровицкий Г. П. Смысл и значение // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 568.

деятельности, начинающейся со смыслового облака, индивидуальная работа лингвиста-инженера начинается со значения (см. выше).

«Смысловое облако» очень близко к описанию Л. С. Выготского, говорившего, правда, не о смысле, а о мысли: «Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому переход от мысли к речи представляет собой довольно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в слове»³². Если отвлечься от трудноуловимой разницы между смыслом и мыслью (Г. Г. Шпет сказал, что смысл есть со-мысль), то сходство метафор очевидно. Очевидно и то, что оба автора расчленяют смысл и мысль на части, «кусочки», чтобы затем выразить их в словах ли, в значениях ли или в парадигматических схемах деятельности. Весь вопрос в том, не являются ли индивидуальный «мыслитель» Выготского или коллектив мыслительной игры Щедровицкого *печальными наборщиками готового смысла* или готовой мысли? Выготский давал на этот вопрос двусмысленный ответ: мысль и воплощается и совершается в слове. В конце книги «Мышление и речь» он склоняется ко второму варианту. У Щедровицкого в мыслительной ситуации происходит схематизация ее смысла и идеализация ее содержания. Интерпретируя его, можно было бы сказать, что смысл воплощается (или совершается?) в деятельности. А деятельность, как известно, умирает в продукте, в том числе и в таком, каким является знак, схема, графема, значение, понятие, словом, во всем том, из чего людям в дальнейшем придется извлекать смысл. Меня, как психолога, интересует судьба смысла (мысли). Будет ли воплощенный смысл таким же, как исходное смысловое облако, или иным? В каком виде он будет присутствовать у носителей, реализаторов деятельности, ее акторов?

Всякая не пустая мысль (идея) есть мысль о смысле. И когда смысл воплощен в знаке, в действии, в образе, в словесном значении, это еще половина дела, хотя и чрезвычайно важная. Вторая половина — это извлечение смысла, его «вычитывание», которое вместе с тем является и «вчитыванием» своего смысла, что не проще. Щедровицкий с подкупающей наивностью ставит задачу лингвисту-инженеру сделать всего один шаг — создать для «смысла» особые изображения, отличающиеся от изображений «значений»³³. Подозреваю, что это шаг длиной в вечность. Здесь

³² Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 356.

³³ Щедровицкий Г. П. Смысл и значение // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 568.

трудности принципиальны. Указанная выше двуактность жизни мысли, смысла, идеи справедлива не только для точек диалогической встречи двух или нескольких сознаний (М. М. Бахтин), для обобщения, рождающегося в общении (Л. С. Выготский), но даже для рождения любого интеллектуального действия. В свое время (1938) это было показано учеником Л. С. Выготского А. В. Запорожцем. Он рассматривал переход от владения предметными отношениями (типа навыка) к *воспроизведению* этих отношений или решению новых задач. Этот переход Запорожец называл переходом от интеллектуальных операций к интеллектуальным действиям и следующим образом описывал его: «Действие, бывшее ранее единым как бы раскалывается на две части — теоретическую и практическую: осмысление задачи и ее практическое решение... Первый акт состоит в преобразовании ситуации, преобразовании задачи, т. е. некоторая ситуация А превращается в ситуацию А 1, которая делает возможным употребление известного способа решения. <...> Второй акт представляет собой применение известного способа, инстинктивного или приобретенного путем навыка. <...> Итак, само осуществление мышления главным образом сосредоточивается на первом акте интеллектуального действия. Но изменение мышления и его развитие происходят как раз на втором акте, ибо понятие, которое здесь возникло или было применено, привлечено к решению данной задачи, во-первых, проверяется, во-вторых, обогащается, претерпевает изменение»³⁴.

А. В. Запорожец также отчетливо артикулировал ряд, казалось бы, важнейших для Щедровицкого положений о том, что мышление — это не процесс, происходящий внутри сознания и движимый силами самого сознания, что мышление есть деятельность субъекта по отношению к предмету, деятельность, в которой субъект приходит в соприкосновение с предметом, наталкивается на его сопротивление и познает таким образом его свойства³⁵. Это я вспоминаю не только для того, чтобы еще раз показать, что действенная и деятельностная трактовка мышления для психологии не новость. Своего рода пролегомены к деятельностной трактовке мышления принадлежат Ч. Шеррингтону, А. Бергсону, Дж. Дьюи, М. Вертгеймеру, Ж. Пиаже, А. Валлону, П. Я. Гальперину и в их ряду — Г. П. Щедровицкому.

В размышлениях А. В. Запорожца роль смысла в осуществлении мыслительного акта выступает более выпукло, чем у его учителя

³⁴ Запорожец А. В. Действие и интеллект // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 189–190.

³⁵ Там же. С. 178.

Л. С. Выготского: итог первого этапа (осмысления) — найденный смысл определяет выбор средства, играет роль крючка или магнита, о котором писал В. Шаламов. Наличие такого смыслового магнита есть неременное условие поиска значения во внутреннем словаре или словаре отстоявшихся в культуре значений подходящего средства выражения. Когда оно найдено, оно становится не просто значением, а живым значением или живым понятием. Без учета таких тонкостей, от которых абстрагировался Щедровицкий, работа «языковеда-инженера», едва ли может быть эффективной.

Здесь мы вплотную подошли к проблеме структуры знаковой операции, составляющей ткань человеческого мышления. Важность понимания этой структуры подчеркивали Г. Г. Шпет, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, А. В. Запорожец, М. Вертгеймер, Г. П. Щедровицкий, В. В. Давыдов и многие другие. Постановку проблемы внутренней структуры знаковой операции (и ее решение!) я нашел в «Записи ряда основных положений доклада Л. С. Выготского “Проблема сознания”», сделанной А. Н. Леонтьевым. Доклад состоялся в 1933–1934 году. Точная дата не указана. Комментаторы сообщают, что в угловых скобках на четных страницах «Записей» приведены не слова Выготского, а соображения А. В. Запорожца и А. Н. Леонтьева. При этом в тексте не указывается автор приводимых соображений. После слов Выготского: «Значение есть путь от мысли к слову» — в угловых скобках написано: «Значение не есть сумма всех тех психологических операций, которые стоят за словом. Значение есть нечто более определенное — это внутренняя структура знаковой операции»³⁶. В. В. Давыдов одобрительно цитирует это положение, приписывая его Выготскому³⁷. Думаю, что кому бы оно ни принадлежало, оно сомнительно и противоречит приведенному выше исследованию А. В. Запорожца. Значение — это, скорее, результат знаковой операции, внутренняя же ее структура (или ее наполнение?) — это ее смысл. К такому же выводу можно прийти на основании результатов исследований Щедровицкого, изложенных в «Аристархе Самосском», о чем вскользь упоминалось выше.

Чтобы избежать недоразумений относительно недооценки смысловой, т. е. собственно психологической составляющей мышления в более поздних работах Щедровицкого, приведу недвусмысленное его описание: «...мышление людей есть функция от ис-

пользуемых ими знаковых средств, а отнюдь не функция нашего сознания. Человек мыслит не головой, а вещами и знаками, действуя с теми и другими и соотнося то, что получается, с эталонами, фиксированными в культуре. Сознание процессов мышления есть лишь условие работы, некий вспомогательный механизм. <...> Итак, мысль и знание теснейшим образом связаны с их знаковыми формами. Знаковые формы являются конструкциями, которые создаются по определенным законам»³⁸. Добавлю: в том числе и по неопределенным, таинственным законам интуиции, инсайта, движения смысла, рефлексии и того же сознания.

Справедливости ради должен сказать, что тайна и чудо мышления не вовсе ускользают из сознания Г. П. Щедровицкого. Описывая практику организационно-деятельностных игр, он говорит о необычайно сложном «месиве» из фрагментов различных систем мыследеятельности, к которым можно добавить и «кусочки смыслового облака». Речь идет о «стихийном и хаотическом процессе состыковки друг с другом различных слоев и слоевых процессов из различных слоев индивидуальной мыследеятельности»³⁹. Так что же верно? Творческое мышление — это организованность или стихия, хаос, мусорная свалка (ахматовский *сор, из какого, не ведая стыда, растут стихи*). И здесь организаторам таких игр можно посочувствовать и пожелать успехов в решении практических задач, в достижении поставленных целей. В то же время следует предупредить, что понять психологические механизмы коллективного мышления никак не проще, чем индивидуального. Как уже говорилось выше, успешный творческий (а другой не интересен) результат не несет на себе сколько-нибудь достоверных следов его получения.

Общая теория деятельности и проблема культуры

Значит, Г. П. Щедровицкий заимствовал из культурно-исторической психологии лишь то, что относится к употреблению знаковых средств. Впрочем, это не так мало. Нельзя сказать, что в работах самого Щедровицкого размышления о культуре занимают большое место. Насколько я понимаю, он идентифицирует культуру или ее идею с идеей (понятием) воспроизводства деятельно-

³⁸ Щедровицкий Г. П. Методология и наука // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 343.

³⁹ Щедровицкий Г. П. Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 293.

³⁶ Выготский Л. С. Проблема сознания // Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. М., 1982. С. 160.

³⁷ Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 407.

сти, что делает излишним более широкое понимание культуры в культурно-исторической психологии.

Идеи воспроизводства и *производства* культуры отчетливо артикулированы Марксом, чего не заметил марксист Г. П. Щедровицкий, говоривший, что понятия простого и расширенного воспроизводства Маркс использует не в контексте культуры. Не стану воспроизводить полностью витиеватую форму изложения Маркса. Приведу лишь его идею о том, что главное не продукт, не условия процесса и способы его предметного воплощения. Другими словами, главное не деятельность. Все это лишь моменты. Главное — индивиды, но индивиды в их взаимных связях, которые они как воспроизводят, так и *производят заново*. Постоянным является лишь их собственный процесс движения, в котором они *обновляют самих себя* в такой же мере, в какой они обновляют тот мир богатства, который они создают⁴⁰. Здесь Маркс прав по существу, а не потому, что он марксист. Ведь если представить культуру результатом воспроизводства *бессубъектной* (об этом ниже) деятельности, то мы неизбежно приходим к бессубъектности культуры. Такого вывода Щедровицкий не сделал!

Мне кажется, что если бы перед ним возникла задача операционализации того, что он называет воспроизводством деятельности, то он непременно обратился бы к механизмам и законам психического развития, установленным, конечно, не только Л. С. Выготским и его научной школой. Правда, на этом пути его поджидало бы созданное им же самим препятствие. Предметом гордости Щедровицкого было основанное на идее воспроизводства деятельности принципиально важное для него разделение социальности и культуры. Сначала я подумал, что речь идет не о социальности, а социализации, на которую действительно он ссылается: «Можно быть сколько угодно социализированным, адаптированным к социальности и — в силу этого — быть абсолютно бескультурным или антикультурным»⁴¹.

В этом случае утверждение Щедровицкого — банально, не соответствует тому пафосу, каким оно сопровождается. Однако эта проблема имеет свою предысторию. В 1972 году она ставилась вне контекста социализации. Он формулировал гипотезу о том, что «“логико-эпистемологическое” относится к определенным орга-

низованностям нашей деятельности, входящим в систему культуры, а “социальное” и “социально-психологическое” принадлежит к широкому кругу процессов, образующих как бы “сферу человеческой активности” вокруг этих организованностей»⁴². Автор фиксирует целый ряд изобразительных (как представить в онтологической картине) и концептуальных трудностей, возникающих на пути подтверждения выдвинутого *предположения*. А в 1989 году считает его доказанным. Упрощая схему Щедровицкого, можно представить выдвигаемую им оппозицию следующим образом: деятельность — это ядро, имеющее отношение к культуре, а активность — сфера, не имеющая к ней отношения. «Социальное», «социально-психологическое», все «сферы человеческой активности», включая коммуникацию, Г. П. Щедровицкий вынес за пределы культуры в социальное. Однако «логико-эпистемологические организованности нашей деятельности», о которых он говорит, можно также включить в тело культуры.

Возможен и другой вариант. Не вернее ли их включить в тело цивилизации, которую М. Пришвин характеризовал как «силу вещей», что не противоречит трактовке мышления Г. П. Щедровицкого. Он утверждал, что «само мышление и движущиеся в нем знания представляют собой естественно действующий объект, т. е. в частности, объект, который не меняется от соприкосновения его с другими надстраивающимися над ним формами, типами мышления. Мы должны показать, что мышление как предмет и объект познания подобно природе, что познающее мышление может стоять к мышлению-объекту в таком же отношении, в каком оно стоит к природе»⁴³. Правда, Щедровицкий оговаривает если не сомнительность, то проблематичность этого утверждения, но оптимистически смотрит на перспективы его обсуждения. Если принять тезис об «оестествлении» законов мышления, уподоблении их законам природы, то мир мышления (в трактовке Г. П. Щедровицкого) выступает вслед за второй природой — предметным миром, по Марксу, — как очередная форма человеческой природы. И тогда логико-эпистемологические организованности нашей деятельности действительно могут быть отнесены не к культуре, а к цивилизации.

По отношению к обоим искусственным мирам — миру цивилизации и миру мышления — возникает одна и та же проблема: сле-

⁴⁰ См.: Ильенков Э. В. Идеальное // Философская энциклопедия. В 5 т. Т. 2. М., 1962. С. 227.

⁴¹ Щедровицкий Г. П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 585.

⁴² Щедровицкий Г. П. Логико-эпистемологические и социально-психологические мотивы в современной методологии науки // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 287.

⁴³ Щедровицкий Г. П. Методология и наука // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 347.

лать их по возможности искусственно-естественными, т. е. проблема «оестествления» этих миров, как называл ее Щедровицкий. Другими словами, сделать их человеко-размерными, не подавляющими человека. Эту проблему легче осознать и поставить, чем решить:

Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил — убил.

А. Блок

Что касается культуры, то, как писал М. М. Бахтин, она в принципе не имеет собственной территории, а располагается на границах. Поэтому она может выполнять защитные функции, вступаясь за слабого, например, за человека против техники (эргономика), за природу против человека (экология), за мышление против идеологии (Г. П. Щедровицкий; Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов). Последние упомянуты в связи с их проектом развития теоретического мышления у детей, который они начали осуществлять с конца 1950-х годов. Я не сомневаюсь, что проект возник не без влияния Г. П. Щедровицкого. В. В. Давыдов, в отличие от меня, начиная с 1958 года, принимал активное участие в работе «Комиссии по психологии и логике мышления».

Завершая комментарий к исследованиям Г. П. Щедровицкого в области мышления, отмечу его счастливую непоследовательность, которая иногда прорывалась сквозь логико-методологический панцирь, которым он маскировал свою достаточно широкую натуру. Хотя он, утверждая свое понимание объективного, субстанционального и пр. мира мышления, более чем критически относился к психологическим исследованиям мышления, сам он приложил к ним и свою голову, и свои руки. И у него это неплохо получалось, особенно в ранний период его научной деятельности. Некоторые из его исследований вполне можно оценить как продолжение и развитие исследований продуктивного мышления классиком психологии М. Вертгеймером.

Работы Г. П. Щедровицкого в области психологии и педагогики мышления *заслуживают* специального анализа. Косвенным подтверждением сказанного является то, что его друг В. В. Давыдов обошел их своим вниманием в печатном (но не в устном) слове. Справедливости ради нужно сказать, что лишь в посмертно опубликованном докладе, подготовленном В. В. Давыдовым в 1998 году и посвященном проблематике деятельности, Г. П. Щедровицкий был упомянут, поскольку «также имел своеобразную теорию деятельности (1993). Она изложена в достаточно развернутом виде

в его «Избранных трудах», которая пока мало известна психологам. Свою теорию сам Г. П. Щедровицкий назвал методологической теорией, но в каком-то смысле она сопоставима с психологическими теориями С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева⁴⁴. Запоздалое и своеобразное признание сделано В. В. Давыдовым незадолго до кончины, но тем более оно значимо.

Деятельность в активном и пассивном залоге

Отвлечемся пока от того, насколько было обосновано «учреждение» мира мышления и правдоподобна его интерпретация. Несомненно, что Г. П. Щедровицкий нашел свою нишу для интересной и вполне академической работы. Он сотворил себе некий метанаучный, возможно даже метафилософский мир, в котором можно было скромно жить, над которым можно размышлять. Почти гарантировано, что размышления о мире мышления не прошли бы незамеченными. Другими словами, можно было бы почти похайдегеровски эмигрировать в миры сознания, теории, мышления и мысли. Но Щедровицкий по складу своего характера был реформатором. Его привлекала не только научно-исследовательская деятельность, но и социальная активность, что не часто встречается среди ученых-профессионалов и еще реже среди философов. О «самозванцах мысли» (выражение М. К. Мамардашвили) речи не идет. Обе доминанты его души — научная деятельность и социальная активность — довольно долго соревновались одна с другой. Ему было мало утверждения бытия мышления и растворения себя в этом бытии. Пользуясь выражением М. М. Бахтина, его собственное мышление должно было стать участным в полном или всеобщем бытии. Его личностная позиция — *не-алиби в бытии* — сформировалась, видимо, в бурной комсомольской молодости. Г. П. Щедровицкий вполне по-советски призывал своих единомышленников занимать «активную жизненную позицию». И он, как ученый, для реализации своей социальной активности учреждает еще один мир — мир окружающей нас деятельности, представляющий, как и мир мышления, субстанцию, целостность, универсум особого рода⁴⁵. Будучи человеком цельным, он соединяет мир мышления с миром деятель-

⁴⁴ Давыдов В. В. Новый подход к пониманию структуры и содержания деятельности // Вопросы психологии. 2003. № 2. С. 43.

⁴⁵ См.: Щедровицкий Г. П. Стратегия научного поиска // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 510.

ности в единый мир — мир мыследеятельности. А пока остановимся на мире деятельности.

Забегая вперед, скажу, что при всем пиетете, с которым Щедровицкий цитирует принцип деятельности, принадлежащий К. Марксу, к нему самому, по крайней мере частично, может быть обращена марксова критика материализма. Напомню, что в материализме «предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно». Перефразируя Маркса, можно сказать, что, с точки зрения психологии, главный недостаток теории деятельности Г. П. Щедровицкого состоит в том, что она берется только в форме объекта, а не субъективно. Дальнейшее послужит обоснованию этого тезиса.

Главная, но лишь частично справедливая претензия Щедровицкого к любым, в том числе и к психологическим исследованиям деятельности состоит в том, что они носят эмпирический характер и до сих пор деятельность не выделена в качестве *идеального предмета изучения*, не выделены единицы ее анализа, нет ясности в том, что такое деятельность — вещь или процесс, и т. п. Этому противоречит следующее его высказывание: «сами выражения “деятельность”, “действие”, если оставить в стороне определение их через схемы воспроизводства (с которыми мы уже частично знакомы — В. З.) выступают как выражения сильных идеализаций, чрезмерных редукций, которым в реальной жизни могут соответствовать только крайне редкие искусственно созданные и экзотические случаи»⁴⁶. Между прочим, редкость явлений или событий — еще не основание, по которому наука ими должна пренебрегать. А что касается искусственности, экзотики и даже абсурда, то их элементы присутствуют в любом экспериментальном исследовании. Эксперимент — это все же создание условий, которые в жизни не встречаются. Иначе он не нужен.

Здесь полемизировать со Щедровицким довольно сложно, потому что его критика в адрес психологических исследований деятельности носит слишком общий характер. Я готов согласиться с ним в том, что существует лишь одна единица ее анализа — это она сама, т. е. весь универсум человеческой деятельности, если речь идет о его собственной методологической теории деятельности. Если же речь идет о психологической теории деятельности, в существовании которой он всегда сомневался, то в ней имеется класси-

⁴⁶ Щедровицкий Г. П. Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 297.

фикация ее видов: коммуникативная, игровая, учебная, трудовая, управленческая, свободная и т. п. Изучению некоторых ее видов, например игровой, учебной, он посвящал свои исследования. Деятельность изучалась и «в глубину»: изучались многочисленные формы действий, операций, функциональных блоков, или блоков функций, для чего разрабатывались методы микроструктурного и даже микродинамического анализа компонентов деятельности. Сегодня анализ доведен до выделения волн и квантов действия⁴⁷. Другое дело, что анализу деятельности *per se*, ее, так сказать, верхнего слоя можно и нужно предъявлять претензии в абстрактности. Он не слишком далеко ушел от гегелевской схемы: цель, средство, результат. Небогата и распространенная схема: планирование, реализация, контроль.

Могу согласиться с тем, что носителем деятельности является все человечество, живущее не только в настоящем, но и жившее в его истории. Подписываюсь и под тем, что деятельность разворачивается по своим собственным внутренним, имманентным законам, что это поток, передающийся от одного поколения к другому, что он распределяется между отдельными индивидами. В. В. Давыдов, видимо, под влиянием Щедровицкого, рассматривал учебную деятельность как коллективно-распределенную. Наконец, я могу согласиться даже с не вполне эстетически выраженным суждением, что люди и машины образуют единую материю, на которой *паразитирует* деятельность. То есть последняя как бы выступает в роли субъекта, хотя бы и неполноценного, паразитирующего. Повторяю, я не только готов согласиться, но уже со многим согласился.

И тем не менее одно из моих «я» говорит другому «я», работавшему многие годы в оборонной промышленности над проблемами инженерно-психологического и эргономического анализа и проектирования деятельности операторов средств вооружения и военной техники: «Представь себе, что ты с этим бы пришел к своим товарищам — инженерам, проектировавшим и создававшим эту технику?». Ответ ясен: меня бы прогнали. Прогнали бы и в том случае, если бы я добавил, вслед за Г. П. Щедровицким, что деятельность — это очень сложная структура, сверхсложная система. Последние слова я, конечно, произносил, но мне приходилось их подкреплять классификацией систем и структур операторской деятельности, простенькими или более сложными структурными их представлениями, моделями, или, говоря в терминах Щедровиц-

⁴⁷ Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2000. № 6.

кого, онтологическими картинками. При этом я и мои коллеги по «человеческому фактору» занимались еще и «оцифровкой» таких картинок, т. е. комментировали их численными результатами экспериментальных исследований операторской деятельности или ее элементов.

Мы не гнушались операционализировать концептуальные представления, модели и схемы деятельности и действий, развитые Н. А. Бернштейном, А. В. Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, Э. Г. Юдиным и др., и предлагать свои варианты. В. Э. Мильман опубликовал в журнале «Вопросы психологии» около 15 таких вариантов. И некоторые из них неплохо работали и служили основанием для разработки требований, рекомендаций и даже многих стандартов по учету человеческого фактора при проектировании техники. Снова встану на соглашательскую позицию: пусть наши исследования деятельности носили эмпирический характер и даже являлись (как и теория деятельности А. Н. Леонтьева) всего лишь «искаженным психологизированным отражением методологической теории деятельности»⁴⁸, развитой Щедровицким. Но тогда нужно предметно показать, в чем искажения, или вместо «психологизированной» теории деятельности предложить подлинно психологическую, а не только методологическую теорию деятельности. Или, как в случае мышления, сказать, что психологии деятельности нет и быть не может.

Должен сказать, что А. Н. Леонтьев не претендовал на окончательность своей теории (или представлений о) деятельности. Он прекрасно понимал, что «введение так называемой категории деятельности ставит много вопросов, в том числе и дискуссионных»; что «психологическому исследованию деятельности положено лишь начало, и оно по необходимости отвлекается от некоторых психологических реалий»⁴⁹. А. Н. Леонтьева незадолго до кончины волновало, чтобы теория деятельности *была*, пусть и в другом виде. Что касается хронологии, то «Платон мне друг, но...». Вот как описывает А. Н. Леонтьев генезис и истоки возникновения теории деятельности (психологической!): «очень важна работа Петра Ивановича Зинченко о произвольном запоминании. Я имею в виду особенно первую публикацию, которая появилась только, к сожалению, в 1939 году. В чем был пафос? Занимает предмет место цели — один

⁴⁸ См.: Щедровицкий Г. П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 583.

⁴⁹ Леонтьев А. Н. Категория деятельности в современной психологии // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. В 2 т. Т. 2. М., 1983. С. 244–245.

эффект, занимает структурное место условия — другой эффект: в этом была сущность, главное для нас, по крайней мере.

Так возникло представление и вместе с тем членение, выделились понятия собственно деятельности, мотива, дальше — цели, условий; ну, словом, этот первоначально выделенный арсенал тех понятий, которые я описывал неоднократно в последние годы, а впервые — несколько раньше»⁵⁰. К этим перечисленным Леонтьевым понятиям следует добавить понятие психологического действия и более узкое — мнемического действия; последнее у П. И. Зинченко стало единицей анализа памяти. Впоследствии С. Л. Рубинштейн предложил рассматривать действие как единицу анализа всей психики, своего рода клеточку, неразвитое начало развития целого. Цитированную А. Н. Леонтьевым работу П. И. Зинченко Щедровицкий хорошо знал и неоднократно на нее ссылался.

Я, разумеется, согласен с критикой Щедровицкого субъект-объектных представлений деятельности. От них, в конце концов, отказались *авторы* психологической теории деятельности. С. Л. Рубинштейн заменил их оппозицией «человек—мир», позднее А. Н. Леонтьев — оппозицией «человек—жизненный мир», стоящий *за* деятельностью. Можно пойти дальше и, вслед за О. Мандельштамом, сказать: *Я — создатель миров моих*. И более того:

Все в мире переплетено
Моею собственной рукою.

Мне кажется, что такой взгляд, по крайней мере, более оптимистичен (кстати, его подтверждает вся жизнь Щедровицкого), чем его перевернутая субъект-объектная схема. В ней субъектом выступает либо деятельность, либо мышление, а в качестве объекта — человек. Получается парадоксальная ситуация: бессубъектная деятельность становится субъектом, что, учитывая издавна существующую у человечества манию персонификации, в принципе возможно. Ведь становится же время (созданное человеком) *действующим лицом*, что справедливо не только для Алисы в Стране Чудес. Вяч. И. Иванов, В. В. Кандинский говорили о великих произведениях искусства не только как о субъектах, а как о личностях, уча-

⁵⁰ Леонтьев А. Н. Проблема деятельности в истории советской психологии // Вопросы психологии. 1986. № 4. С. 116. См. также: Зинченко П. И. Проблема произвольного запоминания // Научные записки Харьковского педагогического института иностранных языков. 1939. Т. 1. С. 145–187; Мещеряков Б. Г. П. И. Зинченко и психология памяти (К 100-летию со дня рождения ученого) // Вопросы психологии. 2003. № 4. С. 84–103.

ствующих в создании духовной атмосферы. С другой стороны, не всякий человек соглашается стать объектом, винтиком (этот мотив тоже звучит у Щедровицкого) и позволять, чтобы на нем *паразитировала* деятельность. Ведь если допустить, что он, пусть и случайно, обладает сознанием, рефлексией, свободой воли, собственной мыследеятельностью, то сможет пойти против потока деятельности, выйти из него, сесть на берегу и посмотреть на суету сует, которую другие считают деятельностью, и отдаться, например, собственному потоку сознания. Это, конечно, очередная психологизация, но подобная интерпретация *методологической теории деятельности*, которую Щедровицкий называл *Общей Теорией Деятельности*, направляется сама собой. Она не столь уж и произвольна.

Удивительно, что марксист Г. П. Щедровицкий в поисках характерной особенности мира деятельности не обратился к Марксу и не назвал ее *всеобщей деятельностью* по аналогии с марксовым *всеобщим трудом*. В этом случае был бы очевиден субъект такой деятельности или труда, которым является человечество. Кстати и индивиду приятнее участвовать во всеобщей, а не в бессубъектной деятельности. А вслед за всеобщей деятельностью можно вести разговор об особенной деятельности (А. Н. Леонтьев) как о ее разновидности, затем — об индивидуальной деятельности. В такой логике найдут место и упоминавшиеся выше иллюзорно-компенсаторные формы деятельности, например, пустой активизм и пр.

Н. В. Гоголь говорил об одном из своих персонажей, что *деятельность покинула его*. Это много хуже по сравнению с тем, когда человек сам оставляет деятельность. У человека органами, осуществляющими выбор желаемой деятельности (и не только ее!) являются душа, сознание, личность. Имеются аргументы в пользу того, что не только деятельность, но и действия могут приобретать субъектные черты. Выше шла речь о том, что для методологической теории деятельности понятие действия не имеет ровно никакого значения. В психологической теории деятельности, напротив, понятие действия играет центральную роль. Э. Г. Юдин совершенно справедливо назвал изучение действия квинтэссенцией деятельностного подхода. Действительно, психологическая теория деятельности вправе гордиться исследованиями исполнительных, сенсорных, перцептивных, мнемических, умственных действий. В ее рамках внимание и эмоции также рассматривались как формы действия. Мне даже кажется, что настало время обобщения этих исследований и создания психологической теории действия. И именно со стороны исследований действия возможна дополнительная психологическая аргументация в пользу рассмотрения деятельности как субъекта.

В уже цитированной выше работе А. В. Запорожец рассматривает эту проблему, но применительно не к деятельности, а к действию: «Каким образом может действие сделаться целью для другого действия? Каким образом действие может быть так отчуждено, что субъект начинает стремиться к нему, как к известной внешней вещи, внешнему предмету? Каким образом он может стремиться к действию так, как стремился раньше к пище или к какому-нибудь другому предмету, удовлетворяющему его потребности? Как действие получает такого рода отчуждение, становится до такой степени внешним, что превращается в цель субъекта? Единственная возможность этого заключается в том, что действие *опредмечивается*, приобретает предметный характер. Тогда действие выступает перед ним как внешний субъект, в котором это действие овеществлено»⁵¹. Поставленные А. В. Запорожцем вопросы и данный на них ответ, на мой взгляд, имеют такое же отношение к действию, как и к деятельности. Но для того, чтобы субъективировать действие и деятельность, нужно самому быть субъектом (лучше личностью!), быть в состоянии принять вызов с их стороны и суметь преодолеть их сопротивление. В итоге действие и деятельность одушевляются. Значит, в подобной логике мы имеем дело с субъект-субъектной схемой, а не объект-субъектной схемой, как получается в логике методологической теории деятельности, вопреки намерениям ее автора. Строго говоря, эта схема даже не объект-субъектная, а объект-объектная, если всерьез принять положения о том, что люди — лишь случайные и пассивные носители мышления и деятельности. Рискуя выйти за пределы *психологического* комментирования, предположу, что субъективация, очеловечивание, а еще лучше — вочеловечивание субстантивированных миров мышления и деятельности, мира аффективно-смысловых образований снимет или, по крайней мере, существенно облегчит как проблему их распредмечивания, так и проблему оестествления искусственного, которые заботили Г. П. Щедровицкого.

В анализе деятельности он более логичен и последователен, чем в анализе мышления. С его точки зрения, самым принципиальным пунктом для методологической теории деятельности является положение о том, что единственная схема, через которую деятельность может быть задана, — это схема *воспроизводства деятельности*, о которой частично шла речь выше. Хотя это и марксов термин, но в контексте размышлений о деятельности он не кажется мне удачным. В нем

⁵¹ Запорожец А. В. Действие и интеллект // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 190.

пассивный залог преобладает над активным. Здесь ближе подходит понятие превращенных (нередко — превратных или извращенных) форм деятельности (этим понятием широко пользовался М. К. Мамардашвили). У психологов термин «воспроизводство» ассоциируется не столько с К. Марксом, не с его даже расширенным производством, сколько с исследованиями памяти Г. Эббингауза, со скудным воспроизведением по памяти, с повторением, даже с бессмысленной моторной персеверацией. В психологии есть и другое понимание воспроизведения, в котором на передний план выходит активный залог и которое может служить совсем не лишним подтверждением той исключительной роли, которую Г. П. Щедровицкий придавал воспроизводству деятельности. Все же в связи с возможной двойственностью понимания термина «воспроизведение» в психологическом контексте более привычны и адекватны термины «трансляция», «развитие», «формирование деятельности», создание в ее актах новообразований. Вся эта терминология также используется Г. П. Щедровицким

Мне, конечно, можно возразить, что я снова занимаюсь очередной психологизацией деятельности, что через процесс воспроизводства «проходит демаркационная линия между деятельностью и действием, поскольку действие, оказывается, не есть единица деятельности и деятельность из действий не складывается⁵².

Каюсь, чем больше детализируется структура действия, тем менее отчетливо я могу представить демаркационную линию между деятельностью и действием. Разве что грань между ними в том, что представления о деятельности до сих пор достаточно абстрактны, а о действии — весьма конкретны. Вместе с тем я согласен, в том числе и с А. Н. Леонтьевым, предупреждавшим, что деятельность не аддитивна. При всей справедливости этих утверждений, вне действий деятельность невозможна. Из чего-то ведь она должна состоять! Если деятельность — структура или система, то хотелось бы знать, какие компоненты ее конституируют.

Бедность психологической и схематизм методологической интерпретации категории «деятельность» далеко не безобидны. Дело даже не в том, что психологи с помощью одного скудного по содержанию понятия пытаются объяснить другие значительно более содержательные. Кажущаяся понятность и простота деятельности, в свою очередь, создает иллюзию легкости ее проектирования (или воспроизведения?), конструирования, программирования, управления и т. п. И в самом деле, в чем проблема? Поставил цель, предо-

ставил средства, задал результат, создал соответствующую социальную ситуацию или контекст достижения цели, объявил деятельность нормативной, установил правила-нормы, организовал сообщество, разделил обязанности между участниками, внушил «обманы путеводные», пообещал вознаграждение — «замотивировал», регламентировал кары, назвал организованное сообщество группой, коллективом, собранием, орденом, партией, классом — и успех гарантирован. Конечно, для успеха нужен еще талантливый режиссер, лидер, менеджер, секреты деятельности которого, впрочем, остаются его секретами. Надо ли говорить, что нарисованная картинка весьма реалистична, это слепок с жизни, с практики организации деятельности, а не итог ее теоретико-методологических исследований. Для эффективности подобной практики «психологизация» исследований деятельности скорее помеха. На такой «пустяк», как свободная деятельность, лучше не обращать внимания. Если люди все равно случайные носители мышления и деятельности, то не все ли им равно, что носить. Лучше и проще забыть, что свободной, согласно Гегелю и Марксу, является такая деятельность, где имеется свобода в постановке цели, в выборе средств ее достижения, в определении вида результата. Эта деятельность — творчество, в котором, между прочим, есть своя суровая дисциплина и ответственность. Уменьшение числа степеней свободы превращает деятельность в функционирование, в работу; сведение их до минимума, — в тяжелую обязанность, в кагору. Еще одним «пустяком» (помехой) является сознание.

Постижима деятельность или нет — покажет будущее, оно же и подскажет средства ее постижения. Сегодня ясно, что необходимо существенное обогащение и развитие наших представлений о ней. Г. П. Щедровицкий признавал наличие в деятельности имманентных ей законов развития. Споры нет, он многое сделал для ее рационального объяснения и понимания. Но тот же рационализм поставил ему пределы. Трудно сказать, помогут ли ее дальнейшему познанию постоянно изобретаемые новые неклассические формы рациональности.

«А был ли мальчик?», или Возможна ли мыследеятельность?...

Выше уже шла речь о том, что Г. П. Щедровицкий соединял мир деятельности с миром мышления. Ему принадлежит неологизм *мыследеятельность*. Нравится он нам или нет, но он вошел в язык (я встретил его у японского писателя Харуки Мураками). Конечно, введение нового слова проблемы не решает, о чем свидетельствует опыт психологии, в частности, попытки обогащения и развития психологической теории

⁵² Щедровицкий Г. П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 584.

деятельности. Довольно длительное время психологическое содержание деятельности не столько извлекалось из нее, сколько искусственно вводилось. Например, деятельность плюс мотив (А. Н. Леонтьев); деятельность плюс потребность-нужда (В. В. Давыдов); деятельность плюс мышление, итог — осмысленная деятельность (П. Я. Гальперин); деятельность плюс сознание, итог — единство сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн). К деятельности «прибавлялись» также аффекты, функциональные состояния, личностные смыслы и пр.

В этом же духе можно понимать и вариант Г. П. Щедровицкого: деятельность плюс мышление, итог — мыследеятельность. Это понятие имеет вполне практические основания: «В реальном мире общественной жизни деятельность и действие (в реальности Щедровицкий все же признает последнее — *В. З.*) могут существовать только вместе с мышлением и коммуникацией (хорошо бы было так на самом деле — *В. З.*). Отсюда и выражение “мыследеятельность”, которое больше соответствует реальности и поэтому должно заменить и вытеснить выражение “деятельность” как при исследованиях, так и в практической организации»⁵³.

То, что понятие «мыследеятельность» больше соответствует реальности, достаточно спорно, если, конечно, не ограничивать реальность участниками Московского методологического кружка. Думать трудно, и люди это делают без большой охоты. Понятие «мыследеятельность» все же довольно искусственно, хотя адекватно для ситуаций, в которых оно возникло. В нем фиксируются ситуации, когда мышление включено в контекст практической деятельности, когда необходимо организовать коллективную комплексированную работу⁵⁴. Мыследеятельность — это полезный инструмент организации надпрофессионального и надпредметного мышления, в которой у Г. П. Щедровицкого был огромный и, кажется, неповторимый опыт. Думаю, если такая деятельность станет повсеместной, что едва ли случится скоро, приставка «мысле» отпадет сама собой.

Так или иначе, но стратегия обогащения понятия «действия» и стратегия изучения действия была совершенно иной по сравнению с обогащением понятия «деятельность». Его когнитивные, оценочные, аффективные, даже рефлексивные свойства и компоненты выявлялись в нем самом, извлекались из него, а не вводи-

лись извне. Рефлекторное кольцо Н. А. Бернштейна, заменившее рефлекторную дугу, оказалось настолько насыщенным и перенасыщенным психологическим содержанием, что утратило свое наименование, стало моделью, функциональной структурой *действия*. Напомню, что Н. А. Бернштейн, столкнувшись со сложностью живого движения, уподоблял последнее живому существу. Он бы едва ли удивился, что в *самом* живом движении обнаружены свойства, составляющие фундамент будущей осознанной регуляции движений. Различия между рефлекторной и рефлексивной организацией кардинальны, они меняют принцип *условно-отраженного действия* (А. А. Ухтомский) на принцип свободно-порожденного, личного действия. Как говорил Томас Элиот:

В моем начале — мой конец.

В моем конце — мое начало.

Сам Н. А. Бернштейн говорил об этом в терминах сличения личного и должного: *istwert* (что есть) и *sollwert* (что должно быть). В. А. Лефевр рисовал человека, держащего в руках планшет, на котором изображен его двойник, выбирающий разные варианты действий. Таким образом он иллюстрировал возможность проигрывания действия до действия, т. е. рефлексивность действия и его принципиальную субъективность. Щедровицкий ссылаясь на это особое изображение рефлексии Лефевром, предложенное им в 1962 году⁵⁵. В 1965 году Лефевр опубликовал материалы к конференции, о которых Щедровицкий не мог не знать⁵⁶. Они вызвали скандал из-за фразы: «существо», являющееся лидером». Цензура переполошилась, хотя внятного объяснения причин переполоха не дала. Скорее, в подтексте сквозила обида за лидера, которому маловато быть существом. Статья же Лефевра посвящена самоорганизующимся и саморефлексивным системам. В ней рассматривается возникновение индивидуального сознания и самосознания, а также некоторые условия организации коллективной деятельности, правда, еще не мыследеятельности. Щедровицкий проигнорировал эту работу Лефевра, как и все последующие, посвященные конфликтующим структурам и рефлексивному управлению. Не думаю, что игнорирование имело личностные причины. Они, скорее,

⁵³ Щедровицкий Г. П. Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 297–298.

⁵⁴ Щедровицкий Г. П. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 115.

⁵⁵ Щедровицкий Г. П. Об одном направлении в современной методологии // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 410.

⁵⁶ Лефевр В. А. О самоорганизующихся и саморефлексивных системах и их исследования // Проблемы и исследования систем и структур. М., 1965. См. также повторную публикацию: Прикладная эргономика. 1994. № 1.

принципиальны и связаны с тем, что проблему сознания и самосознания Щедровицкий сознательно оставлял за пределами своих научных интересов и поисков. Включение этой проблематики могло бы поколебать его взгляд на деятельность как на бессубъектную. Возможно, он именно поэтому настаивал на наличии демаркационной линии между деятельностью и действием. Может быть, он прав, утверждая, что деятельность не складывается из действий, но она из них вырастает, не утрачивая ни рефлексивности, ни субъектности. В противном случае она вырождается в нечто иное. Сказанное имеет отношение к деятельности и к мыследеятельности в особенности. И. Бродский удачно охарактеризовал рефлексиию как постскриптум к мысли. С не меньшим основанием ее можно признать прескриптумом к действию. А если к этому добавить наличие фонового уровня рефлексии внутри действия, то она и есть движение смысла, о котором писали Г. Г. Шпет, Н. А. Бернштейн и А. В. Запорожец. В этом свете людей, обладающих рефлексией, переживающих и порождающих новые смыслы, едва ли можно признать *случайными эпифеноменами мира мышления и деятельности*⁵⁷.

При развитии структурных представлений о действии, естественно, возникал вопрос, а есть ли в нем место для мышления, в частности, для принятия решений? Оказалось, что мышление и принятие решений есть, а конкретное место указать невозможно. Результаты исследований предметного действия показывают, что судьба реакции решается и на станции отправления, и на станции назначения, и на всех промежуточных станциях. Действие либо целиком умное, либо целиком если и не глупое, то ошибочное, несовершенное. Слово сочетание «умное делание» — не только достояние теологии. Мне кажется, что при развитии методологической теории деятельности полезно учитывать результаты психологических исследований предметных, перцептивных, мнемических, умственных и аффективных действий, а не считать их интеллектуальными излишествами.

Удачная аббревиатура

Развитие методологической теории деятельности пошло не вглубь, авширь. Продолжая вербальные игры, Г. П. Щедровицкий к и без того непривычному словосочетанию «мыследеятельность» прибавил слово «система». В итоге получился труднопроизносимый

⁵⁷ Щедровицкий Г. П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г. П. *Философия. Наука. Методология*. М., 1997. С. 562.

вербальный монстр «системомыследеятельность». Пользователей выручает только довольно благозвучная многократно использованная выше аббревиатура — СМД-методология. Трудно сказать о мотивах создания этого монстра. Возможно, они связаны с тем, что слово «мыследеятельность» не несет на себе отчетливых следов методологии и философии. Возможно также, что прибавление слова «система» — дань модному в то время системному подходу, с помощью которого философы и методологи пытались заменить или, по крайней мере, смягчить становившуюся одиозной марксистско-ленинскую фразеологию. В оправдание ее «окультуривания» Маркса даже назначили родоначальником системного подхода, что выдавалось за революционный шаг в развитии марксизма. Наконец, возможно, наиболее правдоподобный мотив — это экспансионистские претензии методологии, развивавшейся Щедровицким и его единомышленниками.

На мой взгляд, если даже все перечисленные мотивы действительны, добавление слова «система» излишне. Фонетическую громоздкость и неудобоваримость этого словосочетания еще можно как-то пережить. А с убеждениями что делать? Понятия «мышление» и «деятельность» и без того беспредельно широки, а главное, ни тому, ни другому слово «система» не к лицу. Оно наделяет их оттенком какой-то безнадежности. Это хорошо видно на примере психологии, где системный подход складывался независимо от размышлений А. А. Богданова, Л. фон Берталанфи и даже независимо от К. Маркса. Л. С. Выготский восхищался системностью бихевиоризма. Он сам писал о системном (но не только!) и смысловом строении сознания. Но у Выготского до и после системы, над и под ней просвечивали культура и история с их непредсказуемостью. По-своему системны гештальтпсихология, генетическая эпистемология Ж. Пиаже и другие направления в психологии. Еще раз обратимся к Выготскому: «Понятие структуры одинаково распространяется на все формы поведения и психики. Снова в свете или, вернее, в сумерках структуры все кошки серы: вся разница в том, что один вечный закон природы — закон ассоциации сменяется другим, столь же вечным законом природы — законом структуры. Для культурного, исторического в человеческом поведении снова нет соответствующих понятий»⁵⁸.

В оправдание введения громоздкого выражения «СМД-методология» скажу, что, видимо, для Щедровицкого оно было сред-

⁵⁸ Выготский Л. С. *История развития высших психических функций* // Выготский Л. С. *Собрание сочинений*. Т. 3. 1983. С. 16.

ством обозначения и очерчивания своей области исследований и интересов. СМД-методология стала неким знаком, свидетельствующим о принадлежности к созданному и возглавлявшемуся им философско-методологическому движению или к кругу единомышленников.

Проектируя человека?..

В начале этого текста шла речь о том, что в молодости Щедровицкий верил в науку, в научное мировоззрение. К концу 1980-х годов он посуровел и отказал науке в возможностях проектирования, программирования, предвидения будущего и т. д.⁵⁹ Скорее всего он прав. Ноосфера не состоялась! Но настораживает предлагаемая им альтернатива: «Методология <...> есть нравственность XX века и ближайших последующих веков, ибо жить по традиционной морали уже нельзя. <...> А как жить — непонятно. Приходится через мышление строить нравственность совершенно по-новому и потом ее использовать как временный склад морали»⁶⁰.

Но ведь нечто подобное *мы уже проходили*. Нравственность не построить! Она, как совесть, если она есть, так она есть, а если нет, так — нет. На философском языке это называется безосновность. И здесь, к счастью, бессильно как научное, так и методологическое мышление. Самое простое было бы отнести приведенный и последующие пассажи Щедровицкого за счет «куража», но, к сожалению, кураж не случаен, как и он сам — не случайный носитель мышления и СМД-методологии. И дело даже не в претензиях СМД-методологии на тотальность. А дело в том, что на всех нас были и остаются лохмотья сталинской шинели. Когда перманентная революция не получилась, ее заменили перманентным воспитанием, впечатывавшим в нас советскую символику, мифологию, мистику. Хорошо известно, что распечатывание и разоблачение символов, ритуалов, схематизмов сознания, архетипов — это большой труд и положительный результат, т. е. достижение истины, не гарантирован. В СМД-методологии сохранялась, естественно, в трансформированном виде навязывавшаяся нам идеологическая ориентация человека в мире.

Подобная ориентация порождала и продолжает порождать идеи и проекты социально-педагогического проектирования образования в целом и конструирования человека. Приведу программу такого кон-

⁵⁹ Щедровицкий Г. П. Перспективы и программы развития СМД-методологии // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М., 1997. С. 566.

⁶⁰ Там же.

структивизма, сформулированную Щедровицким: «Представление человека, в аспекте педагогических процессов формирования и изготовления его, дает основание не только для более эффективной практической точки зрения и не только для преобразования педагогической практики в конструктивно-техническую деятельность, но и для нового естественнонаучного представления “человека”, при котором он выступает как порождение системы обучения и воспитания, обладающее всеми теми свойствами и качествами, которые закладываются в него этими процессами <...> Вместе с тем очень важно и существенно, что естественнонаучные знания о “человеке”, с какой бы точки зрения они ни вводились и сколь бы сложными и синтетическими ни были, не могут заменить педагогических проектов “человека”. Поэтому, наряду с исследованием живущих сейчас и живших в прошлом людей, остается специальная деятельность педагогического проектирования “человека”»⁶¹. Но не только. «В системе педагогики появляется особая специальность педагога-проектировщика, разрабатывающего модель-проект человека будущего общества»⁶². И вполне логичное завершение: «вся система “инкубатора” в целом дает возможность формировать именно таких людей, какие нужны обществу»⁶³.

Прошу простить меня за избыточное цитирование, призванное показать, что речь идет не о случайных оговорках. Г. П. Щедровицкий был занятным картезианцем. Принцип *Cogito* он, видимо, склонен был в большей мере относить только к своему *ego*, а не к другим. И в его размышлениях о мышлении, деятельности, мыследеятельности и в размышлениях о воспитании явно недооценивалась человеческая субъективность, хотя на практике многих он учил и научил думать. Крайне резко и во многом справедливо оценивая весьма скромные успехи в решении психолого-педагогической наукой классической проблемы соотношения обучения и развития, он заключает: «...все и любые психологические знания о “человеке” до сих пор не могли дать знаний, необходимых для целенаправленного и сознательного формирования людей, обладающих заранее заданными свойствами и качеством»⁶⁴.

⁶¹ Щедровицкий Г. П. Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логика. М., 1993. С. 133.

⁶² Щедровицкий Г. П. Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 208.

⁶³ Там же. С. 209.

⁶⁴ Щедровицкий Г. П. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности // Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 129.

И, слава Богу, поскольку, благодаря этой своей некомпетентности, психологи просто не смогли внести сколько-нибудь существенный вклад в формирование «нового человека». Они были слишком академичны (может быть, слишком порядочны) для этого. Можно даже согласиться с тем, что психологи были слишком путанно академичны, порой и нарочито путанны. Ведь пока психологи не смогут договориться о том, что такое личность, она может чувствовать себя в безопасности. В таком деле можно не без удовольствия принять упрек в недостатке таланта. При желании и добром отношении к психологам такую неспособность можно интерпретировать как род их пассивного сопротивления.

* * *

Для того чтобы перестать ходить по кругу, системомыследеятельности многовато, а мыследеятельности явно маловато. К последней нужно добавить память и переживания, рождающие новые жизненные смыслы взамен утрачиваемых. В этом случае проектирование жизни становится ее *творением*. И творимая *жизнь* будет *жизнью*, а не *тенью суждений* (это мотив А. Белого). На практике Г. П. Щедровицкий это хорошо знал, что и привлекало к нему множество людей. Возможно, это объясняется тем, что Георгий Петрович Щедровицкий всю свою жизненную практику подчинял принципу: руководствоваться не какими бы то ни было реалистическими или мифическими функциями полезности, а сохранять верность самому себе. В 2003 году его школьный ученик В. А. Лефевр, ставший ныне маститым американским профессором, представил этот принцип в виде закона соответствия или закона само-рефлексии: человек генерирует такие образцы поведения, при которых устанавливается и сохраняется отношение подобия между субъектом и его моделью себя⁶⁵. Несколько мудрёно, но верно. Верность самому себе, к сожалению, не часто встречается. Г. П. Щедровицкий был одним из немногих, и мне посчастливилось быть с ним в дружбе.

⁶⁵ Лефевр В. А. Закон само-рефлексии: возможное общее объяснение трех различных психологических феноменов // Рефлексивные процессы и управление. 2003. Т. 3. № 1. С. 64–73.

Теоретический мир психологии

Казалось бы, в соответствии со здравым смыслом отношения между теорией, экспериментом, практикой должны быть взаимодополнительными. С этим трудно спорить. Вместе с тем мы часто слышим, что теории нам нужны лишь до тех пор, пока их не сменяют другие, лучшие теории; или — противоположное: если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов. На деле все не так просто. Теории не отмирают, а факты оказываются упрямыми. И те и другие достаточно долго живут независимо друг от друга и рано или поздно обогащают науку. В конце концов по собственной логике начинают строиться мир теории, мир эксперимента и мир практики. Поводом для моих размышлений о теоретическом мире психологии, в том числе и об отношении его к миру эксперимента, послужила книга Дэниела Н. Робинсона¹, профессора Джорджтаунского университета (США), — «Интеллектуальная история психологии», перевод которой на русский язык издан Институтом философии, теологии и религии св. Фомы (Москва). Настоящая статья — не рецензия, а именно размышления, навеянные этой интересной книгой.

* * *

Интеллектуальная история психологии есть история идей, т. е. вполне объективных интеллектуальных достижений — не менее объективных, чем научный метод или полученный с его помощью экспериментальный факт, эффект, феномен. Объективность идей и смыслов опасно недооценивать. Они подобны джину, выпущенному из бутылки. К сожалению, когда идея овладевает массами, она действительно становится материальной силой, т. е. превращается в свою противоположность, как мрачно заметил И. Губерман. Идеи, как люди, живут и имеют свою судьбу. Вот что писал о жизни идеи М. М. Бахтин, анализировавший творчество

¹ Робинсон Д. Н. Интеллектуальная история психологии. М., 2005.

Ф. М. Достоевского: «Достоевский сумел открыть, увидеть и показать истинную сферу жизни идеи. Идея живет не в изолированном индивидуальном сознании человека, — оставаясь только в нем, она вырождается и умирает. Идея начинает жить, т. е. формироваться, развиваться, находить и обновлять свое словесное выражение, порождать новые идеи, только вступая в существенные диалогические отношения с другими чужими идеями. Человеческая мысль становится подлинной мыслью, то есть идеей, только в условиях живого контакта с чужой мыслью, воплощенной в чужом голосе, то есть в чужом, выраженном в слове сознании. В точке этого контакта голосов-сознаний рождается и живет идея. Идея — как ее видел художник Достоевский — это не субъективное индивидуально-психологическое образование с “постоянным местопребыванием” в голове человека; нет, идея интериндивидуальна и интерсубъективна, сфера ее бытия не индивидуальное сознание, а диалогическое общение между сознаниями. Идея — это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний»².

Объективны не только идеи. Объективна культура и ее ценности. Европейское понятие культуры, согласно С. Л. Франку, включает в себя «объективное, самоценное развитие внешних и внутренних условий жизни, повышение производительности материальной и духовной, совершенствование политических, социальных и бытовых форм общения, прогресс нравственности, религии, науки, искусства, словом, многостороннюю работу поднятия коллективного бытия на объективно высшую ступень»³, т. е. для европейца культура — это «совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей»⁴. Приведенная характеристика культуры в ее расширенном и кратком вариантах содержит в своей внутренней форме размышления представителей философской антропологии и философской психологии. Она вполне адекватна пониманию культуры в культурно-исторической психологии.

Л. С. Выготский исходил из объективности аффективно-смысловых образований человеческого сознания, существующих вне каждого отдельного человека в виде произведений искусства. Он подчеркивал, что такие образования существуют раньше, чем индивидуальные или субъективные аффективно-смысловые обра-

² Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. С. 294.

³ Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 177.

⁴ Там же.

зования. Как я уже писал, концептуальные положения Л. С. Выготского дали основания его ближайшему ученику и соратнику Д. Б. Эльконину утверждать новизну и неклассичность культурно-исторической психологии.

Иронично аргументировал объективность идей Г. Г. Шпет: «Идея, смысл, сюжет — объективны. Их бытие не зависит от нашего существования. Идея может влезть в голову философствующего персонажа, ее можно вбить в его голову или невозможно, но она *есть*, и ее бытие нимало не определяется емкостью его черепа. Даже то обстоятельство, что идея не влезает в его голову, можно принять за особо убедительное свидетельство ее независимого от философствующих особ бытия. Головы, в которых отверстие для проникновения идеи забито прочною втулкой, воображают, что они “в самих себе” “образуют” *представления*, которые как будто бы и составляют *содержание* понимаемого. Если бы так и было, то это, конечно, хорошо объясняло бы возможность взаимного *непонимания* беседующих субъектов»⁵. Шпетовский тон доказательства объективности существования идей, смыслов, сюжетов, аффективно-смысловых образований, если угодно самых разных идеальных форм, говорит о том, что их объективность была для него, как и для С. Л. Франка, и позднее для М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, само собой разумеющейся.

Не буду рассматривать основания, по которым, например, А. А. Ухтомский, М. К. Мамардашвили рассматривали субъективное не менее объективным, чем так называемое объективное. Это знал О. Мандельштам:

Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи.

Идеи в буквальном смысле слова витают в воздухе. Один из героев У. Эко заметил, что, если тебе пришла идея в голову, можешь быть уверен, что она уже приходила и кому-то другому. Важно уметь понять ее, продумать основания и следствия, в чем неопределимую пользу оказывает история идей в философской психологии и их судьба в психологии, отпочковавшейся от философии. О генеалогии идей, бытующих в современной психологии (Д. Н. Робинсон рассматривает психологию до 1950 года), редко задумываются, хотя

⁵ Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. Под ред. Т. Г. Щедриной. М., 2007. С. 244.

теоретическая реальность, реальность идей несомненно скрыта и за психологической (человеческой) эмпирией, экспериментальной, практикой, феноменологией. И в то же время теоретическая реальность явлена не только в форме знания, но и в форме знания о незнании, в качестве своего рода вызова. В психологии также есть свои инварианты (архетипы), маскируемые многообразными формами поведения, деятельности и сознания людей в меняющихся обстоятельствах их жизни. Многие из них в свое время были эксплицированы.

Книга Д. Н. Робинсона, насколько мне известно, — это первый и вполне интересный опыт систематического изложения истории идей в психологии. Она не претендует на то, чтобы быть книгой по истории психологии, и может, как предвидит автор, удивить и даже разочаровать авторов книг по истории психологии. Не стану предварять реакции на книгу Д. Н. Робинсона историков психологии, но мой опыт чтения ее говорит о том, что результатом такого чтения является не только лучшее понимание истории психологии, но и иное отношение ко все более расширяющейся предметной области психологии⁶. Если говорить о жанре книги Д. Н. Робинсона, то, при всей оригинальности, ее можно поместить между историей психологии и исторической психологией⁷.

М. Коул — автор одной из последних книг, посвященных культурно-исторической психологии⁸, назвал ее наукой будущего. Как следует из истории культуры, в том числе и из истории психологии, истории психологических идей, культурно-историческая психология в такой же мере является наукой прошлого. Это лишь на первый взгляд парадоксальное утверждение демонстрирует книга Д. Н. Робинсона, где возникновение психологических идей, их жизнь и судьба даются на фоне культуры и истории. Конечно, остается вопрос, что берет психология у культуры и истории и что она им возвращает. Казалось бы, о равноценности вкладов и заимствований говорить не приходится: взаимоотношения, скорее, асимметричны. Разумеется, непревзойденным примером влияния на культуру (если оставить в стороне знак влияния) является психоанализ. Амбивалентность отношения культуры к психоанализу прекрасно выражена в шутивном (только по форме) стихотворении И. Брод-

⁶ Зинченко В. П. Преходящие и вечные проблемы психологии. Послесловие // *Аткинсон Р. С., Смит Э. Е., Бем Д. Дж.* Введение в психологию. СПб.: М., 2003; *Зинченко В. П., Мамардашвили М. К.* Проблема объективного метода в психологии // *Вопросы философии.* № 7. 1977.

⁷ *Шкуратов В. А.* Историческая психология. Ростов, 1996.

⁸ *Коул М.* Культурно-историческая психология: наука будущего. М., 1997.

ского «Письмо в бутылке», повторяющем сюжет Е. Баратынского и О. Манделштама:

Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.

Близко по масштабу влияние прагматизма и бихевиоризма, но только на американскую культуру. Консервативная Европа не столь чувствительна к психологическим новациям, что, может быть, не так плохо. Как справедливо пишет Д. Н. Робинсон, слишком много психологий породили эмпиризм и рационализм. Возможно поэтому прошло время, когда психология, возникшая и развивавшаяся вместе с философией на протяжении многих веков, была неотъемлемой частью культуры и истории, вольно или невольно, но весьма эффективно участвовала в решении задач управления поведением и деятельностью людей. Д. Н. Робинсон говорит о взаимности влияния, обращая внимание на примечательную регулярность, с какой философы-материалисты процветали в периоды империи, а спиритуалистические идеалистические философы всплывали на поверхность в периоды начинающегося разрушения. Интеллектуалы, хотя тому и бывали достопримечательные исключения, выступали в роли апологетов столь же успешно, как и в роли критиков, а так называемые системы мысли очень часто представляют собой не что иное, как рационалистические объяснения фактов, преобладающих в жизни. Если бы Д. Н. Робинсон был ближе знаком с происходившим в нашей стране, возможно, он отнес бы идеологов коммунистической утопии, цинично прикрываемой так называемым диалектическим и историческим материализмом, к достопримечательному исключению из замеченной им регулярности. Эту достопримечательность заметили А. Белый и Б. Пастернак, писавшие об исчезновении в СССР материи. Сегодня идеалистов не наблюдается, зато спиритуалисты и эзотерики — в избытке.

Д. Н. Робинсон не без иронии пишет о том, что психология после отпчования от философии получила привилегию называть себя молодой наукой: «Именно такой подход к основаниям науки более или менее гарантирует каждому поколению психологов привилегию переоткрытия некоторых из самых примечательных идей в истории мысли»⁹. Долги весьма неохотно признаются не

⁹ *Робинсон Д. Н.* Интеллектуальная история психологии. М., 2005. С. 457.

только перед философией или философской психологией. «Никто из современных психологов не обращается, благоговей, к анналам учений девятнадцатого столетия, пытаюсь обнаружить там проблемы и методы, подходящие для психологии. Самый беглый взгляд на курсы и тексты по психологии как студенческого, так и профессорского уровня покажет без сомнения, а возможно, и без сожаления, что сознательно признаются лишь очень немногие достижения девятнадцатого столетия»¹⁰. Д. Н. Робинсон пишет, что дело не в том, чтобы признать современного бихевиориста, изучающего роль болевого или пищевого подкрепления в обучении тем или иным формам поведения, учеником И. Бентама. Изменились методы исследования, изменилась терминология, но предмет остался. Остались и проблемы. Именно в этом смысле автор говорит, что задача всегда состояла в том, чтобы сохранить предмет, развивая далее научные методы и теории. Однако получалось это далеко не всегда. Претензии при зарождении тех или иных психологических направлений часто превосходили их объяснительный потенциал. Иногда это было связано с вполне разумным самоограничением или с осознанием ограниченности метода. Д. Н. Робинсон констатирует, что, например, бихевиоризм уступил (без сожалений) ум — философии, тело — биологии, а личность — клиницистам. О душе, в контексте разговора о бихевиоризме, даже и вспоминать как-то неуместно. Зато технические приемы модификации поведения рекомендуется применять без ограничений как по отношению к «организмам» белых крыс, осужденного преступника, аутичного ребенка, дрессированного тюленя, шизофренического пациента, так и по отношению к трудному студенту.

В книге фиксируется парадоксальная ситуация, связанная с возникновением и развитием экспериментальной психологии. С одной стороны, сужается предметное и проблемное поле исследований, из него исчезает ряд предметов, например поступок, душа, из-за невозможности применения к ним экспериментального метода исследования. Автор называет это метафизическим обязательством относительно метода, которым, возможно, неосознанно связал себя современный психолог. А с другой стороны, экспериментальный метод как основное достижение научной психологии со времен В. Вундта и Э. Титченера, до сих пор остается в центре психологии, и ищет свой предмет. Добавим: он часто находит его вне того пространства, которое ранее обозначалось как психологи-

¹⁰ Там же. С. 456.

ческое. Это особый сюжет, получивший название редукционизма в психологии. Предмет психологии, подчиняясь методу, начинают искать не там, где потеряли, а там, где ищущему кажется светлее, слишком часто — только кажется. В этом, конечно, есть и положительная сторона. Начинается эпоха конструирования предмета психологии. Строго говоря, эпоха конструирования предмета началась в античности, так что она, скорее, продолжается. Различия состоят в том, что меняется пространство, в котором ищется и конструируется предмет психологии.

И психика, и то, что начинает признаваться таковой, изучаются непсихологическими методами. Тем самым безгранично расширяется предметная область психологии, строится онтология психики. Остановимся на этом подробнее. Онтология-то строится, но она какая-то удивительная, чтобы не сказать странная. Ее источником оказывается не реальность, как она есть, а реальность, построенная в эксперименте, реальность, максимально очищенная от любых жизненных обстоятельств, которые могли бы нарушить «строгость» эксперимента, помешать получению стерилизованных, дистиллированных результатов. Это «башня молчания» в опытах И. П. Павлова (произнесшего свое знаменитое: «Все в методе»); остановленные мгновения в тахистоскопических исследованиях восприятия, внимания, кратковременной памяти; максимально полная сенсорная и перцептивная изоляция в экспериментах с животными и с людьми; запоминание бессмысленных слогов с целью измерить свойства «чистой мнемы». Своего рода апофеозом естественнонаучного подхода было определение световой чувствительности глаза С. И. Вавиловым и Ю. Б. Харитоновым, которые нашли, что глаз чувствителен к одному кванту света. Это эквивалентно тому, что он мог бы воспринимать в безвоздушном пространстве горящую свечу на расстоянии, равном 500 км, если бы она еще могла в нем гореть. Психологи в сотрудничестве с другими учеными построили как бы свой беспредметный научный мир — мир изолированных цветов, запахов, звуков, текстур, случайных последовательностей, ассоциативных рядов. Они пытались очистить пространство от времени и время от пространства. Кстати, психологи начали создавать абстрактные и беспредметные миры задолго до художников, поэтов, композиторов, не говоря уже о кино. От таких миров не так прост возврат к мирам реальным, если они еще сохранялись, и если мы знаем, что они собой представляют. Не знаю, как с абстрактными мирами в искусстве, но в науке любой эксперимент несет на себе печать абсурда. Ведь эксперимент есть создание условий или ситуаций, которые в ре-

альной жизни практически не встречаются. В нем трудно обнаружить, по крайней мере с обывательской точки зрения, жизненный смысл, бытовую рациональность. В этом плане теоретический мир психологии оказывается не только более предметным в силу предметности мысли, но и более природосообразным по сравнению с миром, построенным экспериментальной психологией. В любом случае взаимоотношения обоих миров должны быть предметом размышления.

Исходный красивый замысел по созданию экспериментальной психологии вполне ясен. Он состоял в том, чтобы разобрать душу на части, изучить элементы, из которых она состоит, а затем собрать воедино. И дело даже не в том, что душа не желает составляться, а может быть, и состоять из элементов, но в том, что «материя», подлежащая собиранию, опредмечиванию, одушевлению, все увеличивается. Такое увеличение происходит не без влияния, а то и не без прямого участия души (и сознания). Душа не столько складывается из элементов, сколько раскрывается и «изготавливает» свои «элементы», о чем будет сказано ниже. Соответственно, задача синтеза психологического знания отодвигается все дальше и дальше. Аналитические тенденции в психологии все еще преобладают. Это только гению И. В. Гёте казалось, что чередование анализа и синтеза столь же естественно, как систола и диастола. Конечно, попытки интеграции психологического знания иногда приводят к успеху, но они почти не имеют отношения к исходному замыслу — синтезу души из найденных элементов и даже из найденных целостностей.

Я не ставлю перед собой цель обесмыслить достижения экспериментальной психологии, но поставить ряд вопросов — полезно. Может быть, у психологов была иллюзия относительно того, что разбираемый на части предмет был душой? Может быть, они изначально изучали не ее, а нечто другое, поэтому-то так беспомощны попытки ее синтеза из элементов, которые на самом деле являются элементами психики, а не души? Д. Н. Робинсон пишет, что трактат Аристотеля «О душе» посвящен в такой же мере душе, как и ее «привходящим свойствам»¹¹, т. е. состояниям души, связанным с телом. Таковыми являются ощущения, аффекты, память, образы и пр. От них отличается ум, который, хотя и обитает каким-то образом внутри души, но в отличие от души и других ее атрибутов является вечным. Значит, рассматриваемые Аристотелем свойства души можно назвать психикой, а душа и ее деятельность — нечто

¹¹ Аристотель. О душе // Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М., 1976. С. 371.

иное. Если это действительно так, то психология, экспериментально изучающая психику, строго следует аристотелевским традициям, но не всем, а только одной из них, а именно — естественнонаучной традиции, может быть, искусственно выделенной из учения о душе Аристотеля. Поэтому неизменно возникает вопрос относительно возможного отношения результатов экспериментальных психологических исследований к жизненным реалиям. Изредка возникает вопрос и о душе, что она есть, помимо ее психических свойств и функций.

Чаще всего ответ на последний вопрос заменяется констатацией факта. Время от времени, кто с сожалением, а кто с гордостью заявляет, что раньше психология была наукой о душе, а теперь она стала наукой об ее отсутствии. Подавляющее большинство по умолчанию разделяют последнее утверждение. По пальцам можно перечислить психологов, не отказавшихся от души как предмета изучения. При чтении книги интересно проследить развитие представлений о душе, ее функциях, атрибутах, взаимоотношениях с материей, с телом, о гармонии и дисгармонии ее сил и способностей. Не менее интересно проследить, как постепенно вытесняется и испаряется само понятие души. Вначале оно заменяется понятием «ум», затем — понятием «психика»; проблема взаимоотношений души и тела заменяется психофизиологической проблемой, решение которой берет на себя (правда, без надежды на успех) физиологическая психология, редуцирующая в конце концов не только душу, но и тело к мозгу, ищущая нейроны сознания. Г. Г. Шпет, как бы предвидя подобное, говорил, что возникнет целлюлярная психология¹².

Русскоязычному читателю в дополнение к рассказу Д. Н. Робинсона можно порекомендовать обратиться к «Лекциям по античной философии» М. К. Мамардашвили, в которых более подробно и полно прослеживается античный дискурс о душе. М. К. Мамардашвили связывает идею души с идеей формы и у Сократа, и у Платона. «Формы — как конструктивного органа жизни, без которого человеческие способности, как эстетические, так и способности восприятия и мышления, “уходят в песок”. Теряются. Разрушаются временем»¹³. Наличие души, обладающей идеальной формой, есть условие преодоления хаоса, восприятия природной необходимости, которая не дана неопределенному мышлению. «Под душой

¹² См.: Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. *Philosophia Natalis*. Избранные труды по философии культуры. М., 2006. С. 287.

¹³ Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. М., 1999. С. 249.

мы постепенно уже начинаем понимать своего рода некоторую душу душ. Что называется у Платона душой? — Душа душ, то есть такой предмет, воздействие которого на людей рождает в них души. Конструктивный предмет, подобно музыкальному инструменту, который тоже есть Душа душ¹⁴.

М. К. Мамардашвили приводит следующее разъяснение Платона: «...гармонию, пути которой сродны круговращениям души, Музы даровали каждому рассудительному своему почитателю не для бессмысленного удовольствия — хотя в нем только и видят нынче толк, — но как средство против разлада в круговращении души, должствующее привести ее к строю и согласованности с самой с собой»¹⁵. Это же относится и к мышлению: «...усвоив природную правильность рассуждений, мы должны, подражая безупречным круговращениям бога, упорядочить непостоянные круговращения внутри нас»¹⁶. М. К. Мамардашвили подробно и убедительно показывает, что «само понятие души и рассуждение о ней или о Логосе на уровне идеальных предметов и есть условие проявления понятий природной необходимости. Есть условие способности философа или ученого видеть в природе не явления, которые хаотичны и разрознены, а действие того, что греки называли по-природе»¹⁷.

В последнюю выписку следует вчитаться особенно внимательно. Психологи, притязая понять душу, отказались от нее и как от средства познания, во всяком случае, главной предпосылки познания, видения «по-природе»: «И такой предпосылкой является существование, возникновение особых конструктивных предметов, через которые и при условии существования которых можно мыслить и говорить о существовании природной необходимости. А без них, т. е. если душа наша не организована и не воспроизведена через эти особые предметы, мы никакой природной необходимости увидеть не сможем и не узнаем. И тогда, присутствуя, как я цитировал вам старых философов, мы отсутствуем»¹⁸.

Выражаясь на привычном психологическом языке, речь идет о преодолении постулата непосредственности, о восприятии, опосредствованном душой, «шестым» органом чувств, истинных, а не случайных явлений. Для такого восприятия, как говорил Платон в вольном изложении М. К. Мамардашвили, нужно «повернуть гла-

¹⁴ Там же. С. 251.

¹⁵ Платон. Тимей. 47 d. // Платон. Сочинения. В 3 т. Т. 3. М., 1990. С. 450.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. М., 1999. С. 252.

¹⁸ Там же.

за души»¹⁹. Эта же линия рассуждения продолжается Аристотелем, который предполагал существование ума или порядка. Человек сам по себе — со своими личными способностями восприятия, рассуждения и чувства — ничего не стоит. «Он — ничто, если к нему не приставлены особые предметы, которые существовали бы, которые самодействовали и, тем самым, помогали бы ему»²⁰. И здесь античные мыслители подходят к проблеме развития, при обсуждении которой важнейшую роль играет также понятие формы, т. е. чего-то такого, что неразложимо на взаимодействующие части. Например, согласно Аристотелю, «ребенок вырастает “руководимый” формой взрослого: это она как бы вытягивает из ребенка то, чем он станет»²¹. В этой мысли об идеальной форме заключен главный смысл культурно-исторической психологии.

Предлагая замечательную метафору души, Платон говорит о соединенной силе окрыленной пары коней (аффект и разум) и вознице (воля). Это можно понять так, что душа не сводится к своим атрибутам (как это было у Демокрита). Видимо, душа — это некоторый таинственный избыток познания, чувства и воли, некий идеальный предмет, форма. Возможно, это форма форм, или, как у Аристотеля, — порядок порядка, закон законов, мысль мыслей, движение движения. М. К. Мамардашвили настойчиво подчеркивает конструктивный характер «идеальных предметов», «идеальных форм», которые он то отождествляет с душой, то считает их ее органами. В любом случае, — это конструкции, «через которые канализируется сам по себе хаотически разбросанный ход наших впечатлений, переживаний и мыслей»²². Такие конструкции и есть условие построения теоретического мира. Увиденные М. К. Мамардашвили у античных авторов функции организованной души вкупе с построенными конструкциями потом получали разные наименования: «органы, душой и сознанием назначенные» (И. Г. Фихте); «органы чувств — теоретики» (К. Маркс); «предметные рецепторы» (Ч. Шеррингтон); «функциональные органы индивида» (А. А. Ухтомский); «органы-новообразования» (Л. С. Выготский); «идеальные формы» (Э. Шпрангер); «артефакты» (М. Вартофски); «артеакты», «амплификаторы», «усилители» (М. К. Мамардашвили). К этому можно добавить популярные в когнитивной психологии когнитивные схемы и карты, начало изучения которых положили Э. Толмен в США

¹⁹ Там же. С. 149.

²⁰ Там же. С. 248–249.

²¹ Там же. С. 192.

²² Там же. С. 254.

и Ф. Н. Шемякин в СССР. Со времен Августина Блаженного подобные внешние и внутренние (собственные) средства деятельности получили обобщенное наименование посредников-медиаторов.

Ключевым и собирательным в этом перечне может быть положение о функциональных органах-новообразованиях, душой и сознанием назначенных. А раз так, то такие «третьи вещи», тела «второго рождения», как их называет М. К. Мамардашвили, одновременно и духовны и телесны. На это же можно посмотреть и глазами Ф. Ницше: созидательное тело создало себе дух, как дань своей воле. Если оставить в стороне различия между материализмом и идеализмом, которыми, почти как советские диалектические материалисты, озабочен Д. Н. Робинсон, то смысл двух позиций одинаков. В обеих речь идет о конструктивных функциях, о новообразованиях, о самосозидании, о внутреннем росте, в пределе — о том, что сам человек не факт, а акт, притом одушевленный (П. А. Флоренский), точнее, он артефакт или артеакт, т. е. существо искусственное, в широком смысле слова — существо экспериментальное. Природа не делает людей, люди делают себя сами (М. К. Мамардашвили). И успех в этом самопроизводстве, или самопроизведении не гарантирован, что в аргументации не нуждается. Но прав был и Б. Спиноза, говоривший: то, на что способно человеческое тело, никто не определил.

Не определены и возможности человеческого духа. И экспериментальная психология, приоткрывающая человеку его возможности, какими бы они ни были — физическими, психическими, духовными, делает полезное дело. Она, часто сама того не сознавая, делает дело, адекватное конструктивной природе человека. Она создает ситуации, которых в жизни практически не бывает, но ведь и человек, как категорично говорил М. К. Мамардашвили, все делает, как в первый раз. Дважды войти в одну и ту же реку он действительно не может, не может дважды совершить одно и то же движение, одинаково произнести одно и то же слово. Он их не повторяет, а строит. Пределы строительства (телесного и духовного) прощупывает экспериментальная психология, добиваясь порой удивительных результатов. Подобное и, конечно, не единственное «оправдание» экспериментальной психологии не только не отменяет проблемы души, которой продолжает заниматься философская психология, напротив — на этом пути открываются возможности соединения гуманитарного и естественнонаучного подходов в психологии.

В идее опосредствования—посредничества—медиации смыкаются культура, теоретический и экспериментальный миры психоло-

гии и подавляющее большинство психологических практик (независимо от того, осознают ли это сами практикующие психологи). Хотя эта идея артикулировалась в античности, затем терялась, возрождалась и вновь терялась, а после Л. С. Выготского стала едва ли не общепризнанной, сам акт опосредствования представляет собой тайну и вызов психологии, что, впрочем, неудивительно, ибо акты медиации суть акты творения субъективного мира человека. Этот вызов отваживаются принять очень немногие. Наиболее перспективны подходы Б. Д. Эльконина²³ и Дж. Верча²⁴.

Возвращаясь к проблематике души, отметим еще одно немаловажное обстоятельство, которое, если и не ускользнуло вовсе из поля зрения Д. Н. Робинсона, не было выделено специально. Его книга имеет четкую структуру. Первая часть — философская психология, а две другие имеют одинаковое название — от философии к психологии. У читателя может возникнуть впечатление, что философская психология, трансформировавшись в просто психологию, исчезла. На самом деле подобное впечатление будет ложным. Философская психология продолжала и продолжает существовать и развиваться. Ее существенной частью является, в отличие от классической психологии, продолжение дискурса о душе и духе, взаимоотношениях души и тела, об одушевлении тела и овнешнении души²⁵. Реконструируются традиции православной патристики (Григорий Палама), где развивались представления об энергийной проекции человека²⁶.

Дальнейшая эволюция философской психологии, рассказ о которой Д. Н. Робинсон прервал практически на полуслове, и ее современное состояние, не только до середины XX века, но и нынешнее, — заслуживают специальной книги. В нашей отечественной традиции представляют огромный интерес психологические воззрения С. Л. Франка, А. А. Ухтомского, П. А. Флоренского, Г. Г. Шпета, А. Ф. Лосева, М. М. Бахтина, Э. В. Ильенкова, Э. Г. Юдина, М. К. Мамардашвили. Не менее интересны психологические взгляды Ф. Ницше, Х. Ортеги-и-Гассета, Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти, М. Фуко, Ж. Батая, М. Бланшо и др.

Здесь можно лишь с сожалением констатировать, что подавляющее большинство психологов мира не считают философскую психологию психологией. И снова мешает этому негласное ото-

²³ Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития. М., 1994.

²⁴ Wertsch J. V. Mind as action. N.Y.; Oxford, 1998.

²⁵ Подорога В. А. Феноменология тела. М., 1995.

²⁶ Хоружий С. С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. М., 1995.

ждествление психологии с экспериментальным методом, его фе-тишизация. История и теория психологии — эти словосочетания кажутся естественными, по крайней мере — привычными, а философская психология — это уже чересчур и воспринимается чем-то вроде возврата к античности и патристике. В то же время только через философию психология может осознать себя, внести посильный вклад в культуру, в образование. Последнее нуждается и в философской дидактике.

Для отечественного читателя книга Д. Н. Робинсона имеет особое значение. Дело в том, что в советское время психология, наряду с другими гуманитарными науками, была настолько идеологизирована, что так называемая методология советской психологии пронизывала теорию (теории) психологии, а то и вытесняла ее вовсе. Даже наиболее авторитетные теории, например, культурно-историческая психология Л. С. Выготского, психологическая теория деятельности С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева были совсем не свободны от идеологических и методологических штампов. Родимые пятна советских идеологов сохраняются на нашей научной и учебной литературе по психологии, в том числе и по истории психологии, до сих пор. Методологические принципы детерминизма, отражения, системности, рефлексорной природы психики, деятельности и в дополнение к последнему — единства сознания и деятельности, вторичности, а по сути, второсортности сознания — все это своего рода прокрустово ложе, в котором должна была укладываться теоретическая работа. Эти же принципы служили критериальной базой для оценки истории психологии и новых достижений в области теории психологии. Приходится только удивляться, что, несмотря на суровые ограничения свободы мысли, советское время ознаменовалось возникновением и развитием целого ряда продуктивных научных направлений и серьезными достижениями во многих областях психологии, в их числе — и в теории психологии. Возможно, секрет состоит в том, что такие психологи, как Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, В. В. Давыдов, добровольно-принудительно взявшие на себя обязательства создавать и развивать марксистскую психологию, действительно погружались в философию (не только марксистскую) и интересно размышляли о предмете психологии, о единицах анализа психики, о сознании, деятельности, личности, о проблемах развития психики и сознания, предлагали свои варианты смыслового строения сознания, структуры предметной деятельности, развития произвольных движений, соотношения внешнего и внутреннего, фор-

мирования умственных действий и понятий, соотношения мысли и слова, эмпирического и теоретического мышления в обучении и развитии индивида и т. п.

Избыточная аргументация объективности существования идеальных смыслов, мира идей или теоретического мира мне понадобилась для того, чтобы напомнить психологам, что он существует и в психологии, притом существует независимо от того, знают они о нем или нет, отрефлексирован он ими или нет. Подобное напоминание тем более уместно, что в психологии после длительного господства идеологии уже несколько десятилетий длится не только «методологическая передышка», почти замерла работа в области теории психологии. Дело даже не столько в малой частоте публикаций на эти темы, сколько в редкости диалогических встреч со знанием, вне которых живая идея не может родиться, развиваться, стать событием. Систематическую работу не могут заменить замечательные в своем роде реминисценции, связанные с юбилейными датами выдающихся отечественных психологов — создателей оригинальных направлений и научных школ: Г. И. Челпанова, Г. Г. Шпета, А. А. Ухтомского, С. Л. Рубинштейна, Н. А. Бернштейна, Л. С. Выготского, В. Н. Мясищева, Б. М. Теплова, А. Р. Лурии, Б. В. Зейгарник, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, А. А. Смирнова, П. И. Зинченко, А. В. Запорожца, М. И. Лисиной, Д. Б. Эльконица, В. В. Давыдова и др.

Конечно, приятно, что в развитии научного и культурного наследия многих из советских ученых участвуют наши зарубежные коллеги, но теоретический вакуум, образовавшийся в отечественной психологии, налицо. Слишком медленно растет интерес к современной философской психологии. К сожалению, психологи чаще обращаются к восточной мудрости, чем к европейскому разуму, забывая о том, что психология как наука — все же порождение последнего. Дефицит теоретической работы особенно удручает еще в связи с тем, что число психологов увеличилось по сравнению с советскими временами в десятки раз, а процент профессионалов в лучшем случае остался прежним. Соответственно, и подготовка психологов достигла гомерических размеров. В ней история и теория занимают, мягко говоря, не самое почетное место. Сегодня система образования психологов (если употребимо слово «система» к этому предмету) ориентирована, за редчайшим исключением, на их будущую практическую работу при минимуме не только теоретических, но и фундаментальных знаний. В принципе такое возможно при подготовке специалистов для практической работы с людьми. Но тогда такое образование должно называться не словом «психо-

логия», а иначе. Например, в США это называется бихевиориальной наукой, социальной работой (последняя появилась и у нас), где преобладает обучение практическим умениям и навыкам, а не обучение психологическим теориям, концептам, экспериментам, не погружение в экзистенциальную проблематику души и духа. Более того, при решении многих утилитарно-практических задач противопоказано погружаться в проблематику сознания, личности, свободной воли, свободного выбора и свободного действия. Например, «специалисту» по НЛП вовсе не нужно знать нейронауку, лингвистику и программирование.

Если же речь идет о подготовке психолога в подлинном смысле этого слова, то он должен знать и ориентироваться в вечных проблемах психологии, которым посвящена книга Д. Н. Робинсона. Она полезна как начинающему, так и зрелому психологу, особенно преподавателю психологии. Она поможет развеять уже укоренившуюся иллюзию, что психология — это очень просто, что психолог — это человек, который дает советы. В этом уверены тысячи молодых людей, связывающих свое будущее с психологией, поступающая на соответствующие факультеты и отделения. Еще более печально, что в этом уверены и сотни новобранцев-преподавателей психологии. Г. Г. Шпет назвал бы их практиками-практикантами, насаждающими фельдшеризм в психологии, с элементами драматизации, группового тренинга, тестирования, харизмейкерства и т. п. Впору открывать программу по развитию теоретического мышления у психологов по примеру известной программы Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, посвященной развитию теоретического мышления у младших школьников, которую они создавали с начала 60-х годов XX века. К счастью, научная школа Эльконина-Давыдова — одна из немногих — еще существует и плодотворно работает.

Неспешное чтение книги Д. Н. Робинсона, несомненно, будет способствовать пробуждению интереса к теоретическому миру психологии и восстановлению вкуса к теоретическому мышлению. Выражаясь словами Т. Элиота, в погружении в мысли про мысли о мыслях есть своя прелесть. Конечно, дело не только в прелесть, даже не в эстетике мышления. М. К. Мамардашвили говорил, что «состояние, в котором я мыслю, особое; без этого состояния мы видели бы вещи, видели бы богов, следовали бы ритуалам. То есть — это отдельное бытие мышления»²⁷. В это состояние человек может себя привести или впасть путем деавтоматизации, де-

спонтанизации, десимволизации привычных способов видения и действия в мире, отстранения от того, что видится по законам знаково-символических связей на его «культурном» сознании. Дж. Гибсон описывал это как переход от восприятия видимого мира к восприятию видимого поля; это процедура, которую философы называют распродумыванием мира, а поэты — возвратом к непосредственности восприятия мира. При этом мысль, автономизируясь от предметного мира, приобретает новые степени свободы по сравнению с предметным действием. После свободного полета она возвращается или восходит к своему конкретному. Но за свободу мысли приходится расплачиваться: от абстрактного нередко «восходят» не к тому конкретному. А без свободы мысли было бы еще хуже и скучнее.

Д. Н. Робинсону при изложении истории идей удалось удержаться на довольно шаткой грани. Он не приписывает предшественникам, будь они философы или философские психологи, современного понимания психологических задач. Особенно в последней части своей книги он пытается оживлять и одухотворять современность, обращаясь к древним и более поздним авторам. Едва ли можно возражать против того, что созданная экспериментальной психологией онтология психики нуждается в оживлении и одухотворении. Об этом говорит прорывающаяся время от времени у больших психологов тоска по целостным представлениям о реальности психического. Нельзя удовлетворить эту тоску, оставаясь в пределах необозримого фактического материала. Полезно возвращение к истокам. М. К. Мамардашвили поставил к своему курсу «Лекции по античной философии» эпиграф из И. В. Гёте: «Истина давно обретена и соединила высокую общину духовных умов. Ее ищи себе усвоить, эту старую истину». В этой работе нам помогает Д. Н. Робинсон. Ему, конечно же, можно предъявить ряд претензий по поводу охвата материала, полноты представленности как идейного наследия, так и современных течений психологии. Но ничто не мешает читателю мысленно (или фактически!) дополнить текст, что и делает автор настоящей статьи, напоминая об отечественных традициях философской и теоретической мысли в психологии.

М. К. Мамардашвили, начиная читать курс лекций по античной философии, говорил слушателям: «Мертвые знания нам не важны — мы обращаемся к прошлому и понимаем его лишь в той мере, в какой можем восстановить то, что думалось когда-то в качестве нашей способности мышления, и то, что мы можем сами подумывать. Так как проблема не в том, чтобы прочитать и потом помнить

²⁷ Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. М., 1999. С. 273.

текст, а в том, чтобы суметь высказать мысль, содержащуюся в нем, как возможность актуального, теперешнего мышления людей XX века»²⁸. Он завершил свой курс советом читать Платона, «потому что многое из того, что вы делаете или будете делать, или подумаете, знаете вы об этом или не знаете, возвращается к этим истокам и существует в них, не в виде ответа, конечно, а в виде грамотного способа об этом думать и говорить. А ответа у Платона нет»²⁹. Ответов нет и у Д. Н. Робинсона. Но познакомиться с его способом размышления и обсуждения очень полезно для собственной идентификации как психолога.

**Вместо заключения:
Владимир Петрович Зинченко
как собеседник**

²⁸ Там же. С. 8.

²⁹ Там же. С. 309.

А. И. Назаров

Мой учитель и постоянный собеседник

Мы очно познакомились в 1961 году, когда после окончания отделения психологии философского факультета МГУ я был направлен «по распределению»¹ на работу в п/я 701 (одно из закрытых предприятий тогдашнего Министерства электроники). Двумя годами ранее на этом предприятии при отделе математики была создана первая в СССР небольшая лаборатория инженерной психологии, руководителем которой был В. П. Зинченко. С этого времени и по сей день наше сотрудничество и тесные личные контакты не прекращаются, за исключением одного короткого периода, который, по нашему а posteriori взаимному согласию, оказался досадным недоразумением, инспирированным недоброжелателями. Открытость для других и доверчивость — одна из черт характера Владимира Петровича.

Лично я воспринимаю начало нашей совместной с Владимиром Петровичем работы как подарок Судьбы, которая «отслеживала» линии нашей жизни еще до их пересечения во времени и пространстве. Я имею в виду тот факт, что с разницей в 8 лет (настолько В. П. Зинченко старше меня) мы заканчивали одну и ту же 131 среднюю школу г. Харькова, после чего учились на упомянутом выше отделении психологии.

60-е годы XX столетия имели в нашей жизни особое значение, не только в силу происходящих тогда социальных и очень противоречивых перемен, но и в связи с круто изменившимся социальным статусом отечественной психологии. Это был второй романтический период ее истории, если первым периодом считать 1920–1930-е годы, о которых в своей научной автобиографии говорил А. Р. Лу-

¹ В те времена выпускников вузов не отпускали «в свободное плавание», как сейчас, а направляли на работу по специальности. На предписанном месте нужно было отработать не менее 2-х лет, и только после этого можно было по собственному желанию переходить на другое место работы.

рия. Правда, наша романтика была в большей степени *естественно* ориентированной, зачастую в ущерб традиционной гуманитарной направленности психологии. Сейчас мы возвращаемся к этой традиции, двигаясь по гегелевской спирали развития, о чем красноречиво свидетельствуют последние работы Владимира Петровича.

Возвращаясь к началу, хочу отметить одну особенность стиля руководства В. П. Зинченко, который в полной мере я могу оценить только сейчас. Он никогда не ставил перед сотрудниками конкретных задач, которые нужно было выполнять к определенному сроку. Скорее он обозначал конечную цель, которую формулировал в контексте той или иной общепсихологической тематики, предоставляя каждому полную свободу в конкретной разработке этой цели. Например, я должен подготовить для очередного отчета раздел о деятельности человека-оператора в режиме слежения. Кто-то должен написать главу о психофизических свойствах зрительного восприятия. Конечно, это не значит, что Владимир Петрович игнорировал те частные и весьма конкретные задания, которые исходили от инженерно-технического персонала. В этом случае он говорил мне: «Ты пойдешь в такую-то комнату, узнай, что им нужно от нас». И еще одна деталь. Владимир Петрович принимал работу сотрудников такой, какая она есть, не делая каких-либо существенных замечаний и тем более убийственных разносов, но при этом высказывал свое мнение в порядке свободного обсуждения заинтересовавшей его темы. Разумеется, такой стиль возможен не при всяких сотрудниках. Наверное, повезло и нам, и самому Владимиру Петровичу, что в лаборатории сложились такие гармоничные деловые отношения. В музыке такое распределение функций складывается во взаимодействии дирижера и оркестрантов. Ниже я еще вернусь к этому сравнению.

Лаборатория инженерной психологии на протяжении всего времени ее существования тесно сотрудничала с факультетом психологии МГУ, руководимым тогда А. Н. Леонтьевым. Научным продуктом этого сотрудничества явилось первое в СССР издание «Инженерная психология», вышедшее в 1964 году под редакцией А. Н. Леонтьева, Д. Ю. Панова (начальника отдела математики п/я 701) и В. П. Зинченко. В этом хорошо известном факте есть одна сторона, которая не получила должной оценки многих видных представителей научного сообщества, в том числе и психологов. Речь идет о серьезной финансовой поддержке научно-исследовательских работ по общей и прикладной психологии, выполнявшихся в ряде ведущих психологических учреждений. Она осуществлялась по линии хоздоговоров, заключавшихся между

этими учреждениями и п/я 701. О масштабе такого финансирования можно судить по данным, которые по просьбе А. Н. Леонтьева я подготовил в 1968 году: численность сотрудников факультета психологии МГУ, работавших по совместительству на хоздоговорной основе в этом году, составила 20 (если не больше) человек, а общий объем финансирования — около 70 тыс. руб. (это по тем советским временам!). И все это оказалось возможным только благодаря инициативе В. П. Зинченко, поддержанной Д. Ю. Пановым. К сожалению, как показали дальнейшие события, вместо заслуженной пожизненной благодарности Владимир Петрович ощутил на себе столь распространенное в нашем обществе явление, о котором В. Высоцкий рассказал в своей песне о беспечной Правде и коварной Лжи.

Между тем, не без бесспорного влияния хоздоговорной политики, научная деятельность на факультете психологии начала развиваться стремительно и в разных направлениях. Первой ласточкой стали сенсационные экспериментальные исследования движений глаз, которые проводились тогдашними аспирантами В. Я. Романовым, С. Д. Смирновым под руководством Ю. Б. Гиппенрейтер. В 1969 году вышла книга В. П. Зинченко (в соавторстве с Н. Вергилесом) «Формирование зрительного образа», в которой, в частности, была описана авторская методика длительного восприятия изображений, стабилизированных относительно сетчатки. Высказанные в этой книге идеи о функциональной фовеа и о переключении каналов зрительной системы с помощью движений глаз легли в основу последующего цикла экспериментов с саккадическим подавлением, которые были проведены мною совместно с Н. Д. Гордеевой. При поддержке хоздоговоров с п/я 701 оживились экспериментальные исследования мышления (под руководством О. К. Тихомирова), психофизиологии восприятия (под руководством Е. Н. Соколова), поведения человека в условиях статистической неопределенности воспринимаемых сигналов (А. Н. Леонтьев и Е. П. Кринчик).

Важным событием стало создание в 1969 году кафедры психологии труда и инженерной психологии, которую организовал и возглавил Владимир Петрович. В то время он увлекся идеей микроструктурного анализа психических процессов, в контексте которой под его руководством были проведены широкомасштабные экспериментальные исследования восприятия, оперативной памяти, мышления и двигательных действий. Чтобы все это оказалось возможным, необходима была современная техническая база, которой ни факультет, ни кафедра не располагали. Вначале помощь

пришла, опять-таки при активном посредничестве В. П. Зинченко, все от того же «почтового ящика», который незадолго до этого был переименован в НИИ Автоматической аппаратуры. Затем были использованы другие каналы, доступ к которым Владимир Петрович имел благодаря личным контактам с ответственными представителями оборонной промышленности. В результате в лабораториях кафедры появились новейшие отечественные электронные приборы и даже вычислительная машина М6000². Штат кафедры пополнился двумя инженерами, создававшими уникальные периферические устройства для предъявления стимульного материала и регистрации различных параметров действий испытуемых.

1970-е годы были самыми продуктивными в научной жизни факультета психологии, причем, наиболее весомый вклад — прямой или косвенный в виде технического обеспечения различных экспериментальных исследований — принадлежал кафедре, руководимой В. П. Зинченко. Но с кончиной А. Н. Леонтьева в 1979 году ситуация на факультете резко изменилась. До такой степени, что в 1982 году А. А. Бодалев (декан факультета) предложил Владимиру Петровичу освободить должность заведующего кафедрой. Это было сделано «без шума», то есть без консультаций с коллективом кафедры и когда большинство сотрудников факультета находилось в отпуске. К сожалению, в жизни Владимира Петровича подобные сюрпризы встречались не один раз. Здесь есть что-то общее с судьбой В. Высоцкого — признанного народом, но отвергнутого тогдашней властью.

Действительно, популярность Владимира Петровича в научных (не только психологических) кругах общеизвестна. Его лекции и доклады не только академичны, но и прагматичны, причем этот абстрактно-конкретный переход осуществляется им с необычайной и завидной легкостью путем искусного привлечения какого-нибудь остроумного анекдота. Феноменальная память, эрудиция, охватывающая время от древних философов до наших дней, ассоциативность (в хорошем смысле этого слова) мышления, богатый жизненно-научный опыт, с одной стороны, и интуитивное понимание какой-то недостаточности, парадоксальности, незаконченности, нежизненности концептуального аппарата современной психологии, с другой стороны, создают в нем то внутреннее напряжение, которое частично разрешается в его творчестве. Частично,

² До этого на факультете психологии была ЭВМ «Днепр», которую А. Н. Леонтьев «пробил» для выполнения микроструктурных исследований памяти; под руководством В. П. Зинченко эта тематика разрабатывалась Ю. К. Стрелковым, ныне заведующим кафедрой психологии труда и инженерной психологии.

потому что проблема освещается с какой-то новой стороны, но продолжает дразнить своей нерешенностью. Как будто *она* протягивает ему руку, и он уже готов *ее* обнять, но *она* отходит от него на видимое, но все же недостижимое расстояние. Творчество Владимира Петровича проблемно, а не финально. Особенно это характерно для его последних работ. К сожалению, в нашем отечестве тем, кто руководит наукой, и кто определяет социальный статус ученого (должность, ученую степень, звание, принадлежность к кругу академиков разных рангов) нужна финальность, конечный, причем чуть ли не тактильно осязаемый результат, отвечающий критериям более идеологичным, чем научным. Но иногда даже этого мало. В течение нескольких лет я был свидетелем того, как при всех положительных формальных критериях, позволяющих Владимиру Петровичу стать на более высокую ступень научной иерархии, со стороны руководства следовал отказ без всякого сколько-нибудь вразумительного объяснения его причин. При том огромном интересе, с которым профессионалы и непрофессионалы читают работы Владимира Петровича, слушают его доклады, лекции и выступления, такая реакция кажется, мягко говоря, странной.

Выше я обещал вернуться к музыкальной метафоре. Вот что я имел в виду. Есть люди, которые сочиняют музыку — композиторы. Есть те, кто доносит эту музыку до слушателей, — исполнители. Есть гениальные композиторы и гениальные исполнители. Среди последних — пианисты Эмиль Горовец, Святослав Рихтер, скрипач Давид Ойстрах, виолончелист Мстислав Ростропович и многие другие представители разных жанров. Исполнительство — это вид творчества. В творчестве Владимира Петровича есть не только сочинительская, но и исполнительская составляющая. Этим объясняется роскошное цитирование им разных авторов, которым сопровождаются его работы последних 20 лет. Но это не механическое цитирование, характерное для многих современных психологов, а скорее *многотемная импровизация*, открывающая в ассоциировании экспонируемых тем новые свойства. Эти свойства, в которых, собственно, и заключена мысль автора, трудно уловимы, потому что они не в цитатах, а между ними, и поэтому доступны только тем, кто обладает достаточным объемом рабочей памяти и способностью интуитивно постигать имплицитную авторскую идею. Имплицитную, потому что для ее экспликации еще нет подходящего понятийного аппарата. Незыблемые понятия и концепции дают осечки перед вызовами настоящего, а новые воспринимаются пока на интуитивном уровне — этот драматизм переходного периода в психологии наилучшим образом выражен в многостороннем творчестве Владимира Петровича Зинченко.

В. А. Лефевр

Рассказы о Владимире Петровиче Зинченко

Все знают, что Владимир Петрович Зинченко — выдающийся ученый и мыслитель. Здесь я хочу написать о нем как о человеке.

Рукопись

Март, 1955 год. Я ученик десятого класса обычной московской школы. Теперь я понимаю, что наша школа была привилегированной. Чтобы добежать от школы до Кремля сильному мальчику требовалось четыре с половиной минуты. Со дня смерти Сталина прошло два года. Оттаивают сердца. На моей парте лежит рукописный текст. На обложке написано В. П. Зинченко. Дело было так. Учителем логики был Георгий Петрович Щедровицкий. Нам, его ученикам, казалось, что он знает какую-то глубокую тайну, которая хранится в его туго набитом портфеле. Он запретил нам приносить в школу стандартный учебник логики и на каждом уроке выдавал нам два-три листка написанного им текста. Как-то я рассказал Щедровицкому, что уже два года самостоятельно произвожу психологические эксперименты. Меня интересовала точность, с которой люди могут воспроизводить углы. Я даже открыл синусоидальный закон распределения ошибок, который был открыт в Америке примерно в то же самое время. Внимательно меня выслушав, Георгий Петрович очень отчетливо произнес:

— Я знаком с самым крупным в мире специалистом по психологии восприятия. Я попрошу его написать для тебя текст по интересующим тебя вопросам и указать литературу.

Через неделю Щедровицкий принес мне текст, написанный Зинченко. Так я заочно познакомился с Владимиром Петровичем, одним из самых отзывчивых и доброжелательных людей, которых я знаю.

Минитмен

Прошли годы. Мы с Владимиром Петровичем работаем в «почтовом ящике», в котором создаются сложные радиоэлектронные системы. Зинченко со своей лабораторией занимается инженерной психологией, а я вместе с В. Е. Лепским, П. В. Барановым и А. Ф. Трудолобовым — рефлексивными системами. Отделом, к которому мы принадлежали, руководил Д. Ю. Панов. Это был очень интеллигентный человек с белым лицом и белыми пальцами.

Шел 1967-й год. Обстановка в мире была зловещей. Советский Союз и США создавали системы ракетных комплексов, направленных друг на друга. В Америке подходила к концу разработка ракетной системы Минитмен. В «Правде» периодически появлялись «кровожадные» статьи. Однажды нас с Зинченко вызвал к себе Панов. Своими белыми пальцами он выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда папку и раскрыл ее.

— Это схема запуска американских ракет Минитмен.

Мы с Зинченко были потрясены. Дело в том, что схема запуска является наиболее секретной частью всей системы. Если она вдруг попадает к противнику, то хранится под грифом секретности «особой важности», а не лежит в комнате без специальной охраны.

— Не волнуйтесь, — сказал Панов. — Эта схема не является секретным документом. Это не добыча наших агентов. Американцы опубликовали ее в открытой печати. Вот тут и возникает проблема: зачем американцы опубликовали этот материал?

Панов дал нам копию схемы. Вернувшись к себе, мы начали ее изучать. Оказалось, что на финальном этапе запуска ракету нельзя отправить в небо нажатием одной кнопки. Нужно нажать одновременно на две кнопки, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга. Сделано это для того, чтобы один оператор, нажав на кнопку, не мог добежать до второй кнопки и, убив второго оператора, нажать на нее. Мы пришли к выводу, что американцы хотели показать нам, как бороться с несанкционированным запуском. Своей публикацией они ясно сформулировали эту проблему.

Теперь, прожив в Америке почти сорок лет, я не уверен в правильности нашего вывода. Скорее всего, эта статья была направлена на внутреннюю американскую аудиторию, чтобы показать населению, на что правительство тратит деньги налогоплательщиков и сколь безопасна военная продукция в мирное время.

Девушка и самиздат

В лаборатории Зинченко работала машинистка Аня. Она была худенькой, у нее было прозрачное личико и огромные голубые гла-

за. Аня носила светлые длинные платья и казалась гостьей, пришедшей к нам из девятнадцатого века. Она была всеобщей любимицей. Работала Аня очень быстро, поэтому у нее оставалось время печатать и «для себя». А печатала она самиздат. Окружающие это хорошо знали и часто брали у нее самиздатские тексты почитать. Соседней лабораторией руководил человек, которого я назову Иван Иванович. Это был добрый, полный, выпивоха и турист. Его любили сотрудники. Аня иногда печатала материалы и для Ивана Ивановича. Однажды, когда он зашел к ней, Аня протянула ему листок с текстом.

— Смотрите, Иван Иванович, какая прелесть! — воскликнула она. — Это стихи Пастернака из романа «Доктор Живаго».

— Так-с, — сказал Иван Иванович и вышел из комнаты.

Через пятнадцать минут группа из пяти сотрудников Первого отдела нагрянула в лабораторию Зинченко. Все было перевернуто. Искали рукописи. К счастью, ничего, кроме Пастернака, не обнаружили. Владимир Петрович делал все возможное, чтобы погасить скандал, взять вину на себя и защитить бедную Аню.

Тут необходимо пояснить специфику отношений между органами КГБ и организациями военно-промышленного комплекса. Эти организации в некоторых случаях оказывались сильнее и КГБ, и даже ЦК КПСС. Особенно силен был наш директор Семенихин. Однажды, когда сотрудники института пожаловались ему на утреннюю давку в метро, он добился того, что в окружающих наш институт организациях начало работы было перенесено на более раннее время.

Сотрудники КГБ, входящие в Первый отдел, работали в институте годами. Они, по существу, слились с обычными сотрудниками. Они вместе обедали и ходили друг к другу в гости. Местным сотрудникам КГБ было крайне неприятно проводить обыск «у себя дома» и они решили «сдать» доносчика, Ивана Ивановича, предав его имя гласности.

Через пару недель казалось, что все обошлось. Но это было не так. Однажды мне позвонил приятель, не работавший в нашем институте, и сказал, что срочно хочет меня увидеть. Оказалось, что он в курсе событий, которые происходят в лаборатории Зинченко. Он рассказал, что Иван Иванович был разъярен оттого, что его имя было открыто, люди перестали с ним здороваться, и отказываются ходить с ним в поход на байдарках. Поэтому Иван Иванович донес в районное отделение КГБ, что в институте проводится враждебная политическая работа, и что институт превратился в подпольную антисоветскую типографию. Я спросил своего приятеля, отку-

да ему все это известно. Он только засмеялся. Я понял, что должен действовать и немедленно все рассказал Владимиру Петровичу. Через пять минут он был в кабинете Семенихина. Удар по КГБ был нанесен уже следующим утром. Иван Иванович не смог даже войти в здание института, у него был аннулирован и пропуск и допуск к секретной работе.

Финал этой истории демонстрирует уникальный дар Владимира Петровича — умение убеждать. Ведь другого человека директор, возможно, не стал бы и слушать.

Поколение Октября

Мало кто знает, что Владимир Петрович Зинченко спас группу людей от верной тюрьмы. В конце шестидесятых в Москве была создана лаборатория по исследованию систем. Ее возглавил замечательный мыслитель Побиск Кузнецов. Слово П-О-Б-И-С-К является сокращением фразы «Поколение Октября Борцов И Строителей Коммунизма». Родители Побиска, сами того не ведая, дали ему имя трагического поколения. С начала войны — он в армии, командует взводом разведки, ранения; в госпитале спорит с соседом, что коробка передач советского танка плохо сделана, в результате попадает в лагерь; после смерти Сталина реабилитирован. Лаборатория Кузнецова занималась по-настоящему новаторскими проектами. Некоторые из них были связаны с инженерной психологией.

В 1970 году началась массовая подача документов на эмиграцию в Израиль. С целью запугивания власти решили устроить большое «еврейское дело». Выбор пал на лабораторию Побиска. Группу его сотрудников-евреев обвинили в хищении средств. Всем близким к лаборатории было ясно, что это дело сфабриковано. Побиск мужественно защищал своих сотрудников. Его арестовали, но потом решили не судить, а вывести из дела как «душевнобольного». Тут сказались два фактора: во-первых, он не был евреем, а во-вторых, «он уже отсидел ни за что». По логике органов того времени, можно было отсидеть заранее за еще несовершенное преступление. Некоторые сотрудники лаборатории были арестованы, другие вызывались на допросы и в течение многих месяцев ожидали ареста. Следователи их запугивали, говоря, что есть эксперт, который скоро даст заключение, что вся их работа «липа», что они получали деньги, не выдавая никакого реального продукта. Одному из подследственных удалось подсмотреть имя эксперта. Им оказался Зинченко. На следующий день в 6 утра я уже входил в квартиру Владимира Петровича.

— Я знаю, зачем ты приехал, — сказал он. — Ты заботаешься о моем экспертном заключении по поводу твоих друзей. Можешь не беспокоиться. Я его уже написал. Следователи давили на меня, чтобы отзыв был отрицательным, однако я написал его подчеркнуто положительно. Я не мог поступить иначе, глядя на всю эту вакханалию антисемитизма.

После того как следствие получило заключение Зинченко, допросы прекратились, и большинство подследственных было освобождено.

Живой «разговор» Интервью с Владимиром Петровичем Зинченко

Татьяна Щедрина — В «Вопросах философии» сложилась интересная традиция: брать интервью у своих авторов-юбиляров. И это не только «веяние времени», модная тенденция сегодняшнего дня, но возможность исторической реконструкции той духовной атмосферы 50–60-х годов XX века, в которой формировалось отечественное философское и научное сообщество. Сегодня еще живы люди, для которых тогда было «настоящее», и мы можем сохранить их воспоминания, хотя бы в интервью, сделать актуальной эту историю. Вы, Владимир Петрович — один из тех людей, для которых шестидесятые годы — это «настоящее». Как Вы относитесь к самой идее таких интервью?

Владимир Зинченко — Сохранение исторической памяти — дело, конечно, нужное и доброе. Интервью — это живой разговор. В отличие от письменного текста, разговор имеет преимущества: он более понятный, более доступный. Так что в интервью больше шансов увидеть, услышать, интуитивно уловить живое знание о прошлом. Но только я сейчас что-то читателей не вижу. Читателей тех исторических воспоминаний, которые сегодня восстанавливаются. Вообще поразительный контраст между тем, как читают сегодня студенты и преподаватели, да и коллеги мои, и тем, что открылось нам сегодня и что можно читать. Хотя это, может быть, даже и естественно... Но в нашей молодости не было и десятой доли того книжного богатства, которое имеют современные студенты. Мы ведь пришли учиться в психологию в конце 1940-х годов, когда очень многое было запрещено. Л. С. Выготский был запрещен. И первое его издание (посмертное, так сказать) было в 1956 году. Книга «Психология искусства» еще позже была издана. Выготского мы знали исключительно *изустно*. Нам повезло, нас учили его ученики: Александр Владимирович Запорожец, Даниил Борисович Эльконин; коллеги и соратники: Александр Романо-

вич Лурия, Алексей Николаевич Леонтьев. Надо им отдать должное, они своего учителя не забывали, в учебном процессе имя его мелькало. Хотя в своих статьях они порой не ссылались на него (не было назойливых ссылок), но корпус его идей в нашем обучении присутствовал. *Читать* работы Выготского, конечно, кроме «Мышления и речи», я начал значительно позже, уже после издания его трудов.

Т. Щ. — *Вы пришли в психологию в конце 40-х годов XX века. Чем обусловлен Ваш интерес к этой науке? Он шел из семьи? Как Вы сделали свой профессиональный выбор?*

В. З. — Конечно, если бы у меня отец не был психологом, и если бы в доме не собирались харьковские психологи, не приезжали московские психологи, то, конечно, я и слова бы такого «психология», наверное, не знал. В школе тогда ее не преподавали. Мой интерес к психологии шел из семьи и был связан с человеческими отношениями, с симпатиями, которые естественно возникли у меня и к этим людям, и к их жизни. В моем детстве еще телефонов не было, и я частенько бывал почтальоном у отца, носил записочки к его коллегам и друзьям. Вспоминается, например, такой замечательный харьковский психолог Владимир Ильич Аснин. Когда я к нему приходил, он не просто брал записочку в дверях, но обязательно приглашал меня в дом, усаживал, что-то выпытывал, расспрашивал, обращал мое внимание на меня самого. Это были мои первые уроки самосознания и самопознания, идущие из психологии. Отец в этом смысле был как-то более деликатен. Но у меня где-то в девятом классе сформировался интерес к психологии. Нужно отдать должное Петру Ивановичу Зинченко, он не вмешивался в процесс моего профессионального самоопределения. Он как-то раз сказал: «Послушай, психология это не профессия, это узкая специальность. Наукой она станет не скоро. Психология после богословия и медицины самая точная наука». В его словах слышалась ирония и самоирония, но в то же время я не мог не видеть, с каким интересом и настойчивостью он сам занимался психологическими исследованиями. Он занимался проблемами памяти. Ходил, между прочим, в школу, к нам в класс. Просил меня почаще приглашать ребят домой. Эксперименты проводил. Некоторые из моих одноклассников до сих пор помнят отца, вспоминают, как проходили эксперименты.

Т. Щ. — *А какие эксперименты он проводил?*

В. З. — Он занимался произвольной и произвольной памятью, его волновала их продуктивность. Ребятам постарше — мне и моим однокашникам — он давал определенные тексты и ставил

либо установку на понимание (разберись, сделай себе конспект, чтобы ты по настоящему понял), либо установку на запоминание. А потом анализировал. Результаты воспроизведения оказывались разными. Установка на понимание часто была значительно более продуктивной, чем установка на запоминание. Разный характер конспектов был (для понимания выделяется одно, для запоминания — другое). Но, несмотря на то, что он сам был увлечен своим делом, отговаривал меня до самого последнего момента. Он говорил: «Слушай, поступил бы ты в какой-нибудь лесной институт, стал бы лесником, я бы ушел на пенсию. Жили бы мы себе в лесу замечательно». И только, когда он провожал меня в Москву сдавать вступительные экзамены (мама со мной поехала), он признался: «Знаешь, в глубине души мне все-таки приятно, и хотелось бы, чтобы ты стал психологом». Хотя он совершенно искренне пытался меня от этого отвлечь. Гены, наверное, были сильные у него, потому что сестра моя тоже стала психологом, хотя ему удалось сначала ее отговорить поступать на психологию, и она поступила в Харьковский университет на филологический факультет. А потом она вышла замуж и уехала в сырой Ленинград и все-таки стала психологом.

Т. Щ. — *Вот Вас отец отговаривал от профессии психолога, а Вы своего сына отговаривали?*

В. З. — Да, мы с женой Натальей Дмитриевной Гордеевой — тоже психологом — Сашу отговаривали. Но, как вы понимаете, тут проявилось «автономное мышление». В школе № 91 (школа развивающего обучения), где он учился, старались сделать детей свободомыслящими, теоретически мыслящими. Я не уверен в том, что его мышление вышло теоретическим, но что оно вышло автономным — это точно. Здесь проявляется наша наследственная черта. Я ушел в экспериментальную психологию, поскольку мне казалось, что отношение моих учителей идет ко мне сквозь призму их отношения к отцу. И переходя в НИИ автоматической аппаратуры, я увидел хороший повод оказаться в такой сфере, где не только моего отца не знают, но не знают ни Леонтьева, ни Запорожца, ни Гальперина, ни Рубинштейна и т. д., где я смогу понять, а чего я стою сам по себе. И сын не пошел в экспериментальную психологию, а сразу в медицинскую психологию, в психотерапию. Сейчас — в психоанализ, область, где мы с женой вообще ничего не понимаем на профессиональном уровне. И не являемся для него авторитетами. Он в этом смысле — Зинченко.

Т. Щ. — *А кто из приезжавших москвичей-психологов Вам больше всего запомнился? Какие встречи из памяти детства наиболее яркие?*

В. З. — Конечно, это совершенно удивительный А. В. Запорожец, которого я помню еще по довоенным годам. Он же детский психолог был. Из моих довоенных воспоминаний он вот только один остался. А уже в послевоенные годы (1946–1948) это был П. Я. Гальперин — умнейший, ироничный человек; А. Н. Леонтьев, который не отличался особой понятностью речи. Но он производил впечатление своим артистизмом и... да той же непонятностью. Так что, вот три человека — москвичи, хотя приезжали нечасто, но в памяти остались. Сейчас уже невозможно различить харьковские и московские впечатления от этих людей, потому что с 1948 года я уже учился в Москве и часто виделся с ними. Учителя были замечательные. А. Р. Лурию, конечно, надо добавить. Он человек на грани гениальности (об остальных такое сказать трудно, а о нем можно). Удивительно яркий человек, создатель нейропсихологии. Он воплощал тип западного ученого. Никакой прохладцы у него никогда не было, ни одного дела, которое было бы отложено на завтра. Мощная организационная хватка у него была, но одновременно — и талантливый писатель. Он положил начало нового жанра в психологической литературе — жанра case history, продолжающегося потом десятилетиями: «Маленькая книга о большой памяти», «Потерянный и возвращенный мир» и др. Это удивительная личность.

Т. Ш. — *Вы поступили на философский факультет в 1948 году (еще ведь не было отдельного факультета психологии, он был в составе философского). В это время развернулась Философская дискуссия 1947 года, ставшая предметом обсуждения в беседе вашего однокурсника Л. М. Митрохина с Т. И. Ойзерманом¹. А каким Вам запомнилось это время?*

В. З. — Я учился на психологическом отделении философского факультета и до нашей группы, до психологов, докатывались лишь слабые отголоски дискуссии 1947 года. Мы были очень далеки от философии, от философских дискуссий. Хватило бы времени и сил запомнить эти идеологемы, или, как я называл, «идеологаммы», которые с нас требовали знать наизусть. Но особенно здесь отличались историки партии, хотя эта дисциплина у меня никак не укладывалась в голову и у меня в дипломе две тройки: на первом курсе и на госэкзамене — по истории партии. А что касается философии, то нам повезло, потому что пришли интересные люди (не всех убили из ИФЛИЙцев). Понимаете, когда занятия ведут Матвей Яковлевич Ковальзон, Владислав Жанович Келле, Василий Васильевич Соколов, это ведь что-то значит. Высокий профессиональный

уровень был. А потом, своеобразие нашего времени студенческого, заключалось в том, что в философских группах на курсе были фронтовики. А жизнь курса была единая. Они нас «сопляками» не называли, хотя, по сути, мы для них были именно такими, ведь они уже прошли фронт. Они нас окорачивали, «наступали» на наш язык, или заставляли, чтобы мы его прикусили, потому что они время чувствовали лучше нас. Нашей беззаботности у них не было, ведь кругом аресты продолжались. В нашей группе был один фронтовик Юра Бабахан, так его арестовали за то, что папу репрессировали в 1937 году. Фронтовиком он мог быть, а вот ученым — нет.

Т. Ш. — *Его посадили?*

В. З. — Да. Он после освобождения закончил пединститут, но фронт, а потом лагерь подкосили его, он рано умер. За ним пришли в общежитие, и увели прямо при нас. Мы еще несколько месяцев ждали, надеялись, что он вернется. Книжки от него на этажерке остались. А потом мы аукцион устроили и разобрали его книжки. Аукцион есть аукцион: «История ВКП(б) — три копейки! Кто больше?». Не думали тогда о последствиях. На наше счастье в комнате не нашлось стукача. Так что психологическая атмосфера была довольно мрачной. Я помню как-то раз на семинаре Анатолия Павловича Бутенко, я упомянул вслух книгу Н. И. Бухарина по историческому материализму (образованный был!). Так он меня в перерыве загнал в угол, показал кулак, выматерил и сказал: «Второй раз я тебе такого простить не смогу». И люди и Господь спасали. Довольно быстро мы сообразили, что к чему, потому что пошла полоса персональных дел о моральном облике на комсомольских собраниях. Какой-то деятель, помню, говорил на одном из собраний: «Я случайно (!) увидел в замочную скважину, что там происходило в комнате...» Разбирали какой-то кружок целовальников из общежития (они не крест целовали, как вы понимаете).

Т. Ш. — *А с философами Вы подружились в студенческие годы?*

В. З. — Да, конечно, еще во время обучения сложились дружеские, добрые, теплые отношения со многими философами: Борис Михайлович Пышков, Леонид Иванович Греков, Анатолий Федорович Зотов... К сожалению, многие от нас уже ушли: недавно — Лев Николаевич Митрохин, Иван Тимофеевич Фролов, Игорь Викторович Блауберг — мои однокурсники. Да и со старшекурсниками... Александр Моисеевич Пятигорский (он был курсом постарше) мой друг со студенческих лет, а с Мерабом Константиновичем Мамардашвили отношения установились позже. Общался с Александром Александровичем Зиновьевым, с Эвальдом Васильевичем Ильенковым — это ближе к концу обучения, и в аспирантские годы.

¹ См.: Митрохин Л. М. Из бесед с академиком Ойзерманом // Вопросы философии. 2004. № 5. С. 33–77.

Т. Щ. — *А когда сформировались Ваши научные интересы? В студенческие годы или чуть позже?*

В. З. — Вы знаете, никакого особого интереса к теоретическим проблемам, а тем более к философским проблемам психологии у меня в студенческие годы не было. Иногда я заходил к А. В. Запорожцу (отношения с ним были почти семейные) и спрашивал его про «первичные и вторичные качества». Он отвечал: «Не морочь мне голову. Делом надо каким-то заняться». Одна попытка написать теоретическую работу у меня была на третьем курсе. Я выбрал себе руководителя С. Л. Рубинштейна, и он мне сказал: «Разберись с проблемой памяти (у тебя папа занимался этой проблемой), но не у папы, а у И. М. Сеченова». И я взялся за дело. Как ни странно, эти странички до сих пор где-то у меня валяются. Я как-то посмотрел на эту курсовую работу, и мне так стыдно стало. Куриным почерком что-то написано, с какими-то сокращениями, недописанными словами. Я подумал: «Господи, боже мой! Ведь Сергей Леонидович еще и одессит, как же он надо мной не поиздевался, не высек, как следует!» Так что на этом мои теоретические упражнения закончились. И дальше я начал заниматься экспериментальной психологией. Дипломная работа у меня посвящена психологии установки. Потом я поступил в аспирантуру и там мой научный интерес тоже был далек от теории. Я регистрировал движения глаз, движения рук при формировании двигательных навыков. Занимался честной экспериментальной работой, как, вообще-то говоря, и полагается начинать биографию психологу — не с теоретизирования, а с эксперимента. Я оказался в аспирантуре у своего же учителя А. В. Запорожца в лаборатории детской психологии челпановского Психологического Института. В лаборатории начали готовить книгу «Очерки психологии детей дошкольного возраста». И поскольку я занимался восприятием, то, естественно, меня попросили написать соответствующую главу. Мы с Т. В. Ендовицкой написали большую главу «Развитие ощущений и восприятий в детском возрасте». А потом А. В. Запорожец и Д. Б. Эльконин, занимавшиеся в разное время развитием мышления, сказали: «Вот тебе наши материалы, напиши еще главу о мышлении». Так волей-неволей я стал «вкручиваться» в какую-то теоретическую проблематику. Это было втягивание в концептуальную сферу психологии — естественное, медленное, постепенное. И я уже чуть было туда совсем не втянулся, как вдруг случайная встреча — и я оказался в оборонной промышленности. Оборонное предприятие, где я начал работать в 1959 году, носило название «Почтовый ящик № 701», потом ему присвоили открытое название *НИИ автоматической аппаратуры*. Мы с моим другом учеником Бориса Михайло-

вича Теплова Владимиром Дмитриевичем Небылицыным работали там на полставки. Через год нам сказали: «Здесь нужен человек постоянный, который сможет организовать лабораторию». И после консультации с учителями я оказался начальником лаборатории инженерной психологии в НИИ автоматической аппаратуры и отдал оборонной промышленности и ПВО нашего государства десять лет. И тут уж, как Вы догадываетесь, мне было не до теорий, потому что они там не слишком ценились. Хотя и без теоретических изысканий не обошлось: пришлось разрабатывать принципы анализа деятельности операторов в системах управления. Это ведь деятельность с информационными моделями, а не с реальными объектами. Разрабатывали и психологические требования к информационным моделям. Инициатором организации этой лаборатории стал дважды доктор (физико-математических и технических наук), профессор Дмитрий Юрьевич Панов. Он был причастен к созданию физтеха, к созданию ВИНТИ (это он уже на склоне лет оказался в оборонной промышленности). Потом в наш институт пришел Владимир Сергеевич Семенихин, ставший впоследствии академиком, генеральным конструктором. И оба поддерживали меня с моей лабораторией, потому что пользу чувствовали. Это не было только абстрактной оценкой значимости психологии, они мне доверили руководство научно-исследовательскими работами по психологическим масштабам — огромными. Были выделены деньги, и я стал как бы казначеем Общества психологов. Я получил от НИИ большую сумму на психологические исследования, и открыл серию хоздоговорных работ. Моими контрагентами стали ЛГУ, МГУ, челпановский Институт психологии, Харьковский университет (отца не забыл), Тбилисский университет. Это было начало 1960-х годов. Потом я стал заказывать работы Вильнюсскому университету, Тартускому. Полученные средства использовались в основном на техническое оснащение лабораторий, создание оригинальных экспериментальных установок. Мы развивали инженерную психологию как экспериментальную психологию, но повышенной ответственности. Какие-то деньги мы специально планировали на издания. Стали выходить монографии, сборники, переводы научной литературы, организовывались конференции. Так складывалась довольно большая корпорация ученых, в которую входили и психологи, и физиологи, и инженеры, и математики. И эта «психологическая зараза» распространилась в том самом учреждении, где мы работали. А потом вышла за его пределы, потому что наши ребята из НИИ уже стали делать диссертации на границе техники и психологии. Работы совместные стали появляться: вместе с инженерами, вместе с математиками. А потом там ком-

пьютеры появились — это фантастика какая-то — никакое академическое или учебное психологическое учреждение об этом и мечтать не могло. Первая вычислительная машина, которую я увидел, — это машина АРАГАЦ (армянская). У нее пульт управления как двуспальная кровать — из красного дерева — гигантская, с такими кнопками огромными (чуть ли не как спичечные коробки). Мы начали использовать ЭВМ на линии эксперимента и стали проводить исследования и в области восприятия, и в области внимания, памяти и т. д. По сути дела мы с минимальным временным интервалом по сравнению с учеными США начали развивать когнитивную психологию, которая затем переросла в когнитивную науку (название, конечно, сомнительное: ведь «старая» психология была не менее когнитивной, но оно устоялось). Постепенно у нас установились дружественные контакты с институтами Министерства обороны с головной организацией в стране по инженерной психологии, с Институтом авиационной медицины, с Институтом медико-биологических проблем (там специалисты создавали космическую медицину и психологию), с Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова. Совместно мы написали «Руководство по инженерной психологии» для всех отраслей оборонной промышленности, для многих видов вооружения и военной техники.

Т. Ш. — *Как же Вам удавалось продуктивно сотрудничать со столь разными по концептуальной направленности учреждениями (медицинскими, биологическими)?*

В. З. — Тут, как ни странно, я должен с благодарностью вспомнить кошмарную Павловскую сессию двух академий: Академии наук и Академии медицинских наук 1950 года, на которой шельмовали выдающихся физиологов, в том числе и работавших с И. П. Павловым. Нам тогда популярно объяснили, что главное понятие психологии — это рефлекс, а главный предмет психологии — это мозги, это высшая нервная деятельность. Эти дикие термины: «первая и вторая сигнальная система»... А. Р. Лурию спросили в то время, что такое «вторая сигнальная система?». Он ответил, что это бывшая речь. Но мы почти профессионально знали Павловское учение, вошли в физиологию, даже архитектуру мозга нам читали. Это потом помогло в моих междисциплинарных контактах. В инженерной психологии действительно компетенция и гигиенистов, и физиологов, и врачей была в высшей степени необходима. Потом мы потихоньку перешли от инженерной психологии к эргономике. А эргономика это комплекс наук о трудовой деятельности. До сих пор у меня сохранились контакты с военными. Есть большая книга «Введение в эргономику», она издана в 1974 году. Ее

авторы — три полковника и один генерал, под редакцией младшего лейтенанта запаса В. П. Зинченко.

Т. Ш. — *Когда эргономика сформировалась у нас в стране как отдельное направление? И как Ваша психологическая деятельность повлияла на становление этой научной отрасли?*

В. З. — Она развивалась параллельно с инженерной психологией с начала 1960 годов. Хотя, строго говоря, эргономика — это развитие идей В. М. Бехтерева и В. Н. Мясищева 1920 годов, и в этом смысле — мы пионеры этой отрасли науки.

Т. Ш. — *А Вы продолжали общаться с философами, когда разрабатывали идеи эргономики, инженерной психологии?*

В. З. — Очень редко. Потому что, сами понимаете, рабочий день начинался в 8.15 и в 17.00 он никогда не заканчивался. Так что здесь мне было не до интеллектуальных безумств. Правда, были иногда встречи с Александром Пятигорским. Иногда он подъезжал в Уланский переулок, мы в кафе «Лебедь» у Чистых прудов обедали. Изредка встречался с Г. П. Щедровицким. Да, я ведь еще был и лыжник, и байдарочник. Вот тут, конечно, встречался с философами. Но это уже на природе. Мои линии философского общения могут быть прочерчены со студенческих лет. Я часто вспоминаю «уроки», которые нам давали философы. Как можно, например, запомнить такую сложную вещь, что «материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении». Сложно, почти невозможно. Но, когда А. А. Зиновьев нам говорил, что «Материя — это объективная реальность, данная Богом нам в ощущении», тогда все становилось понятно. А когда Мераб Мамардашвили добавил: «не Богом, а боком», то это — сразу, и на всю жизнь. Но интерес у меня был, все-таки, к экспериментальной психологии.

Т. Ш. — *А как этот интерес реализовывался?*

В. З. — В МГУ я стал создавать лабораторию экспериментальной психологии, а потом перевел ее в подвал Психологического института. И у меня работали сотрудники, которые ходили на работу в Психологический институт, в МГУ, а зарплату получали в НИИ автоматической аппаратуры. После работы я шел к ним в подвал Психологического института, и мы там опять проводили экспериментально-исследования. Тем более что в этом подвале я долгое время был прописан. Я же не москвич. 1957 год ознаменовался для меня двумя достижениями. Я получил прописку в подвале Психологического института, что для меня было значительно более важным, чем защита в этом же Институте кандидатской диссертации. Прописка полезнее и дороже. Я лет пятнадцать был там прописан. Своего жилья не было. Кстати, в то время мы с Н. Ю. Вергилесом осуществили цикл иссле-

дований, которые никакого отношения к эргономике и инженерной психологии не имели. Это фундаментальные исследования движений глаз в условиях стабилизации изображения относительно сетчатки. Изучение зрительных образов — их формирования, распознавания — большой кусок моей научной биографии удивительно увлекательный. Зуд был такой — позитивиста-экспериментатора. Меня даже в какой-то институт КГБ как-то пригласили, и сказали: «Ты нам приходишь. Дадим любое количество оборудования, людей. Делай, что хочешь». Я спрашиваю: «А в мир я смогу выйти? Опубликовать смогу?». «Нет — отвечают — этого не сможешь». И я отказался.

Все-таки было какое-то желание оставаться в психологическом мире, поэтому на границе перехода из Психологического института в НИИ автоматической аппаратуры я начал преподавать, и никогда не оставлял преподавание. Начал я читать «Проблемы восприятия», а когда увлекся гештальтпсихологией, меня студенты стали называть «гештальтовцем». Потом начал читать «инженерную психологию» в МГУ, еще на отделении психологии. Только в 1966 году факультет психологии организовался. К 1970 году я создал кафедру психологии труда и инженерной психологии в МГУ.

Кроме преподавания, я, работая в «ящике», занимался и научной деятельностью, много писал, и мне предложили защитить докторскую диссертацию. Профессор Д. Ю. Панов меня «толкал»: «Делай “закрытую” докторскую по совокупности». Я сделал доклад по совокупности, послал его в ВАК. А там долго не отвечают. Я уже успел «открытую» докторскую защитить по теме «Восприятие и действие». А из ВАКа мне звонят и говорят, что получено разрешение для защиты «закрытой» диссертации. Ну, я им и сказал: «Спасибо, я уже защитился».

Т. Щ. — *Когда это произошло?*

В. З. — Это был уже 1967 год. Как раз 10 лет спустя после кандидатской. И тут судьба вновь случайно повернулась на 180 градусов. На какой-то конференции я восстановил университетское знакомство с Владимиром Михайловичем Муниповым. Он стал меня приглашать к сотрудничеству с Всесоюзным Научно-исследовательским институтом технической эстетики (ВНИИТЭ) Комитета по науке и технике. Познакомил меня с директором, предложили мне возглавить отдел эргономики. Я директору сказал, что я человек неожиданный, для моих исследований может понадобиться жабий глаз, например. Он сказал, что его это не смущает. Я очень хорошо расстался с В. С. Семенихиным. Он оставил за мной всю технику, которая была в подвале Психологического института. Еще консультантом на некоторое время оставил в НИИ АА, про-

пуск сохранил в это секретное учреждение. В 1969 году я перешел в ВНИИТЭ. Там было три лаборатории: лаборатория зрительного восприятия и визуального мышления; лаборатория функциональных состояний, лаборатория дизайна (конструкторская). Коллектив был большой и плюс коллектив кафедры МГУ (80–90 человек), потому что были еще хоздоговорные деньги. Во ВНИИТЭ была своя полиграфическая база, и мы стали выпускать два типа книжек. Труды ВНИИТЭ (серия «эргономика»). При мне около 30 книг таких вышло. И второй тип — «Принципы и рекомендации» (это практические публикации). Люди стали работать совершенно иначе. Когда молодой человек видит, что он сделал исследование, а через полгода оно уже издано, у него совершенно другое отношение к своей работе, другая мотивация. Здесь у меня было больше свободного времени, поэтому я потихоньку начал восстанавливать свои контакты с психологами и философами. Больше времени можно было проводить в университете.

Т. Щ. — *Это было уже начало 1970-х годов? Что происходило в это время на психологическом факультете МГУ?*

В. З. — Тут вот какое событие произошло. Я бы должен был бы чертыхнуться, но в то же время сказать спасибо ЦК КПСС. Они ведь, как одесситы, любили впутываться в чужие дела. Дело было так. Начало 1970-х годов. Декан факультета психологии — А. Н. Леонтьев. Ему уже трудно стало самому читать курс «Методология психологии». И он стал думать, на кого можно положиться, кому доверить читать такой сложный курс. Первый, кто ему пришел в голову, это Э. В. Ильенков. И он начал читать. Но ему не задалось это чтение (Эвальд был скорее семинарист-докладчик, чем систематический лектор). И тогда пригласили Мераба Мамардашвили. Это было замечательно. Был полный аншлаг. Так продолжалось долго. Но тут началось «нашествие» Ленинграда...

Т. Щ. — *А что это за «нашествие», расскажите, пожалуйста, подробнее.*

В. З. — Психологам из Ленинграда очень хотелось занять все ключевые позиции в психологической науке. Б. Ф. Ломов, Е. В. Шорохова, А. А. Бодалев и т. д. Началось соревнование с московскими психологами. Решительное наступление было после 1979 года, но и до этого тучи сгущались. Леонтьеву предложили уволить Мамардашвили, чтобы он не «развращал молодежь». Леонтьев сказал, что он сам увольнять Мамардашвили не будет: «Если нужно, увольняйте его сами». Тогда был приказ проректора, Мамардашвили уволили. Леонтьев пригласил меня к себе и говорит: «Может быть, Вы возьметесь читать?».

Т. Щ. — *Это в каком году было?*

В. З. — Это было в году 1974–1975. Нужно еще вот что вспомнить. Несколько ранее у меня во ВНИИТЭ стал работать Э. Г. Юдин. Они с И. В. Блаубергом и В. Н. Садовским стали издавать Ежегодник «Системные исследования», а это междисциплинарная область, по определению. Они мне стали предлагать, чтобы я писал статьи в Ежегодник. Я откликнулся, публиковал и теоретико-методологические статьи (дал коллекцию видов редукционизма в психологии, варианты выхода из него и т. д.). Поэтому какой-то маленький методологический опыт у меня к моменту увольнения Мамардашвили был. И все-таки я Леонтьева спросил: «Какой же я методолог?». А он: «Нет, я просто не вижу больше никого, кто мог бы это осилить». Я, конечно, пошел к Мерабу. И он сказал: «Читай. Если будет нужна помощь, обращайся. Только я тебя умоляю, не погружайся в Декарта, не погружайся в Канта. Если надо, ты лучше меня спроси». Ну, я и не погружался. Я только говорил ребятам, что, вот Вам читал М. К. Мамардашвили максимум методологию, а я буду читать мини-методологию.

Т. Щ. — *Да, это хороший выход из положения.*

В. З. — И так, потихоньку втягивался, втягивался и втянулся. Мало-помалу становился, извините за выражение, теоретиком. Позже меня даже привлекли друзья из «Вопросов философии» в редколлегию. Словом, мой легкий характер и старые дружеские отношения, которые забылись на некоторое время, помогли мне и в тот момент.

Т. Щ. — *Вы упомянули об Э. Г. Юдине. Как он оказался в Институте Технической эстетики?*

В. З. — Эрику Григорьевичу, прошедшему «лагерь», с огромным трудом удалось должность «научного сотрудника» получить, а я помог ему перебраться из ИИЕТа во ВНИИТЭ, я ведь был там еще и секретарем партийной организации. Я в своем отделе организовал теоретико-методологическую лабораторию и добился, чтобы ее возглавил Э. Г. Юдин. Эргономика — междисциплинарная системная наука, и я уговорил администрацию: «Без системщика нам никуда». Так во ВНИИТЭ появилась теоретико-методологическая служба. Но Эрик очень быстро скончался. Он успел подготовить один том по методологии деятельности, там была его вступительная методологическая статья. Но до выхода тома он не дожил. Мы посвятили этот том его памяти. Кстати, тогда же Эрик договорился с «Вопросами философии», что этот том полностью будет опубликован в одном из номеров журнала (там были статьи А. П. Огурцова, В. С. Швырева и др.), но не получилось. А мы эту книгу

выпустили. Интересная была жизнь во ВНИИТЭ... И все это прервалось. Не могу сказать, чтобы совсем неожиданно прервалось, но, во всяком случае, атмосфера мерзела. Ленинградцы наступали. Сняли В. В. Давыдова с должности директора челпановского Института психологии, исключили из партии.

Т. Щ. — *А почему?*

В. З. — Знаете, дурное дело — не хитрое. Причина была в том, что мы с В. В. Давыдовым в этом Институте в 1970-е годы организовали методологический семинар. На этом семинаре выступали Г. С. Батищев, Э. В. Ильенков, В. С. Швырев, А. С. Арсеньев, В. С. Библер, М. К. Мамардашвили. Мы с Давыдовым тоже готовили доклады. Затеялась любопытная жизнь, и «приревновал» Психологический институт АН СССР. Как же так? Большая психологическая аудитория битком набита, 200–300 человек. Люди сидят на ступеньках, между рядами. А у них ничего, как будто бы их и нет. Значит, надо закрыть. Это так же, как и Мамардашвили надо уволить, Давыдова надо из партии исключить. Повод нашли. Дутые какие-то были «дела». Это был конец 1970-х годов. А. Н. Леонтьев в 1979 году умер. Деканом поставили ленинградца А. А. Бодалева, сделали его академиком-секретарем Отделения психологии в АПН СССР. То ли еще одного ленинградца не хватило, то ли остатки совести не позволили, но на место Давыдова взяли подчинившегося им москвича. Даже мой учитель А. В. Запорожец смеялся: «Ладно, президент Общества психологов — ленинградец, но председатель секции психологии в Московском доме ученых?!».

Кстати, Давыдова потом в партии восстановили благодаря усилиям наших однокашников-философов, вступившихся за него. Решительную помощь оказал Б. М. Пышков, работавший в то время в ЦК партии. Помню, как мы с Давыдовым, еще до его восстановления, приехали в Тбилиси, где нас встретил уже изгнанный к тому времени из Москвы М. К. Мамардашвили. Приобняв Давыдова, он спросил: «Вася, ты уже создал новую партию? Ведь, насколько я тебя знаю, ты не можешь жить вне партии».

А в 1982 году меня уволили и МГУ, хотя у меня был там курс методологии, плюс кафедра инженерной психологии, но все это на полставки.

Т. Щ. — *А почему уволили, и как все это было? И кафедру Вашу закрыли?*

В. З. — Нет, на кафедру мне силком вставили еще одного ленинградца, и в 1982 году 31 августа, в день возвращения из отпуска, мне позвонил декан и сказал, что он больше в моих услугах не нуждается. Я как-то подергался, но мне сказали, что ЦК не пере-

шибешь. Мне посоветовали и из ВНИИТЭ уйти, что я и сделал. Тут я тряхнул стариной и своими оборонными связями. Я обратился к В. С. Семенихину, а он поговорил с Н. Н. Евтихиевым (ректором МИРЭА) и я оказался в МИРЭА. И хотя я Семенихину говорил, что ЦК будет против, но он мне ответил: «Это мне наплевать, потому что у нас разные ЦК. Психология под отделом науки, а мы под отделом оборонной техники, и они к нам не имеют никакого отношения». Да, забавные отношения.

Т. Щ. — *Вы оказались в МИРЭА в 1984 году. Сколько Вы там работали?*

В. З. — Я до сих пор там работаю. У меня там кафедра.

Т. Щ. — *А как оказались в Институте содержания и методов обучения РАО?*

В. З. — Подождите, было еще два забавных эпизода. Наша страна — очень интересная, где левая рука никогда не знает, что делает правая. Это я понял еще в начале 1950-х годов, когда по партийной линии стоял вопрос: «Может ли мой беспартийный отец быть советским ученым», а по государственной — его награждали орденом «Знак почета». Дикость какая-то. Когда я уже работал в МИРЭА, неожиданно Е. П. Велихов создал Совет по сознанию. Потом я стал его замом председателя, а Н. Мухелишвили — его ученым секретарем. А в начале я стал вести параллельно с кафедрой в МИРЭА одну из секций в Совете по сознанию. Собрались мы как-то у Велихова, и я говорю, что вообще-то вас надо образовать, чтобы вы хоть поняли, что такое сознание. И мы учинили такой семинар: ликбез для Велихова и для себя. Два раза в месяц мы собирались в Президиуме Академии наук. И устроили «парад алле»: Вяч. Вс. Иванов, С. С. Аверинцев, Ю. И. Манин, М. К. Мамардашвили, В. В. Давыдов, Н. П. Бехтерева и др. Совет был подчинен Комитету по науке и технике и Военно-промышленной комиссии Совета Министров. Деньги стали выделять. Научные школы мы организовывали в Тбилиси, в Сухуми, в Бакуриани, в Батуми. Ю. М. Лотман приезжал на одну из школ. Хорошая была подготовка. Параллельно создавался Совет по человеку. Это были мечты И. Т. Фролова, который давным-давно мечтал о создании Института человека. Одновременно шла его партийная карьера: главный редактор «Коммуниста», главный редактор «Правды», член Политбюро при М. С. Горбачеве. А это уже реальная власть, и ему удалось создать Центр наук о человеке, а потом — Институт человека. Но он не мог быть директором, потому что — член Политбюро. И он уговорил меня, поскольку я стал у него заместителем председателя Совета по человеку, руководителем Центра наук о человеке. И здесь мне опять помогла моя инженерно-

психологическая и эргономическая междисциплинарность. Я людей знал. И физиологов, и философов, и антропологов. Институт человека (в здании ИФ РАН) — это была хорошая задумка. Так я стал руководить Центром наук о человеке до 1991 года. А потом И. Т. Фролов сам стал директором Института человека, и наши пути разошлись. Я вернулся на кафедру в МИРЭА. Тут началась реорганизация Академии, а я член-корреспондент РАО (еще с 1974 года). И новый Президент Академии А. В. Петровский предложил стать академиком-секретарем Отделения психологии и возрастной физиологии. Это были 1991–1992 годы. И я до 1998 года был академиком-секретарем Отделения, какие-то контакты с большой Академией наладил (с Отделением физиологии), пошла работа. А в 1997 году я перестал быть членом Президиума, позже перешел в Отделение культуры, где сотрудничаю с милыми интеллигентными людьми: Б. А. Грушиным, В. И. Гараджой, В. А. Лекторским, И. А. Антоновой, С. О. Шмидтом. Тогда же я собрал небольшую группу, но не у психологов, а в Институте содержания и методов обучения. Мы занимаемся исследованиями на границе педагогической и общей психологии. Обратились к проблематике живого знания, которую в 1920-е годы развивали Г. Г. Шпет, С. Л. Франк; к проблематике эстетического восприятия и эстетического воспитания. Здесь нам помогают не только работы Выготского, но и М. М. Бахтина, Г. Г. Шпета и др. В 1998 году я дал согласие организовать кафедру психологии в университете «Дубна». Могу похвастаться: кафедра очень сильная — 9 докторов наук, 8 из них — выпускники МГУ тех времен, когда там прилично учили. Сейчас у меня минимум организационных дел — только кафедральные. Зато есть время на лекции, которые я читаю в Дубне, в МГППУ, в Высшей школе экономики. Читаю разделы «Общей психологии», «Методологию (мини!) психологии», «Психологию искусства», «Психологию творчества»... Правда, в 2005 году я дал слабину, согласился стать главным редактором нового журнала «Культурно-историческая психология». Уговорил В. В. Рубцов — ректор МГППУ — издателя журнала.

Т. Щ. — *Как эволюционировала ваша проблематика? Как вы пришли к такому широкому пониманию сознания, связанному с культурно-исторической психологией? Почему она Вам ближе?*

В. З. — Есть в американской психологии (от Э. Толмена идет) понятие латентного научения. И поэтому могу с уверенностью сказать: «просто так в жизни ничего не проходит». Даже не слишком большие мои ученические усилия на философском факультете все же сделали свое дело. Я много читал: о назначении человека, о назначении ученого, книги по истории русской философии (не Н. Г. Чер-

нышевского, но В. Г. Белинского и Д. И. Писарева читал с удовольствием). Это еще со школьных лет. Три года я снимал комнату, где одним из жильцов был мой однокашник Борис Пышков (он когда-то работал в «Вопросах философии»). Три года по вечерам — забываемые беседы. Мое образование происходило в разговорах. С Эвальдом Ильенковым были добрые отношения. Я к нему домой заходил (он жил в центре Москвы), когда у меня зажигалка сломается или часы. Я заходил с просьбой: «Почини», а заодно о чем-нибудь и поговорим. С однокашниками мы в Татьянин день десятилетия встречались в ресторане «Будапешт» — тоже разговоры. Повезло мне — мы сошлись с неврологом, психологом Ф. Д. Горбовым, работавшим с логиками и космонавтами. А уж когда начал в Совете по сознанию работать, так я решил серьезно разобраться, что такое сознание. Помогли мне в этом М. К. Мамардашвили, В. А. Лекторский. И еще одна линия моего интереса к культурно-исторической психологии, к истории российской психологии и культуры. Мне, как это ни удивительно, очень много дал ВНИИТЭ. Не только в том смысле, что я получил возможность вести экспериментальную работу. Там были встречи с очень интересными людьми, занимающимися проблемами эстетики (А. А. Дорогов — энциклопедист, Б. В. Нешумов — художник, Г. Л. Демосфенова — искусствовед). Они меня вводили в мир К. Малевича, ГАХНа и т. д. Отсюда у меня интерес к визуальному мышлению, я стал читать Р. Арнхейма. Поскольку я стал в этом ориентироваться, меня стали приглашать на эстетические конгрессы. Постепенно я заинтересовался концепциями Г. Г. Шпета и М. М. Бахтина.

Т. Ш. — *Почему Вам стали интересны их идеи?*

В. З. — Это произошло уже после 1977 года, когда я ушел в техническую эстетику. Правда, о Шпете я знал и раньше, еще по рассказам Запорожца, который его блистательные лекции слушал в 1920-е годы. Но было еще одно событие, которое подвигло меня к идеям Шпета и Бахтина. В 1960-е годы меня позвали на Международный конгресс по философии, логике и методологии науки. Там я познакомился с Бонифатием Михайловичем Кедровым. Конгресс был посвящен творчеству. И мне сказали: «Выступи, как психолог, о творчестве». Отвечаю: «Я, вообще-то, движением глаз занимаюсь». А потом стал думать и подготовил доклад «Перцептивные и мнемические элементы творческой деятельности». А потом уже занялся визуальным мышлением. И дошел (во многом через Шпета) до своих статей о гетерогенезе творческого акта. То же самое и с сознанием. Меня мало волновало бессознательное, подсознание, этих понятий в моем научном лексиконе нет. Но когда А. Н. Леонтьев заговорил

о «единицах», образующих сознание (чувственная ткань, значение, смысл), мне показалось, что их маловато. Что же это за теория деятельности, где действие не участвует в «образовании» сознания. И тогда я выстроил трехэтажную структуру. Чувственная и биодинамическая ткань — бытийный слой; значение и смысл — рефлексивный; я-ты — духовный слой. Этот духовный слой я поставил во главу угла. С этого начинается Родина, с я-ты. Рефлексивный слой где-то посерединке, и замечательно подпитывает духовный и бытийный слой. Вот так я заинтересовался проблемами сознания и к нему опять придется возвращаться, уже после гетерогенеза. Кроме Шпета и Бахтина есть еще две фигуры, совершенно замечательные — Н. А. Бернштейн и А. А. Ухтомский. Я часто перечитываю их работы и нахожу в них много нового и интересного. Я думаю, что меня просто Бог или школьная учительница литературы Надежда Афанасьевна Грановская наградили приличным литературным вкусом.

Т. Ш. — *Сколько лет Вы сотрудничаете с «Вопросами философии»?*

В. З. — Начал сотрудничать очень давно. Где-то с начала 1980-х годов. Вообще, у меня в «Вопросах философии» около 20 статей и первые статьи были в 1960-е годы. Вспоминается одна забавная ситуация. Я как раз занимался стабилизацией изображения и создал такие условия, что испытуемый, оказывается, не понимает, на каком он свете. Потому что выступает в достаточно чистом виде способность зрительной системы манипулировать и оперировать образами. И тогда я подумал: «О каком отражении тут можно говорить? Оно ведь только повод для воображения, фантазии, порождения образа». И написал для «Вопросов философии» статью к юбилею ленинской теории отражения: глаз я назвал демиургом, который творит мир, порождает образы. И они с удовольствием ее напечатали. Не помню, была ли в ней ссылка на высказывание В. И. Ленина о том, что сознание творит мир. Но я давно думал о том, что было бы значительно лучше, если бы его собственное сознание только отражало. Фантом «теории отражения» до сих пор в чести у психологов. До 1990-х годов членам редколлегии привозили домой ксерокс каждого номера «Вопросов философии», и мы систематически читали, это ведь очень интересно, видеть журнал до самой печати. Вообще была интересная работа редколлегии, интересные обсуждения бывали. А потом как-то все сразу кончилось: бумаги нет, ксерокса нет, да и началась бескормица, надо было как-то выживать, стало не до заседаний. А хорошо бы возобновить!

Т. Ш. — *Как вы думаете, за последние годы в журнале произошли какие-то изменения в тематическом плане. Мне показалось, что за*

последние пять лет облик журнала сильно изменился: он стал еще более профессиональным, содержательным, глубоким и разносторонним. Появились интересные статьи авторов из разных регионов страны. Он стал более живой, более откликающийся на реальность сообщества.

В. З. — Журнал уже сразу после перестройки стал замечательным. В нем стали появляться статьи, которые Шпет назвал бы «Своевременными напоминаниями». В «Вопросах философии», конечно, не совсем своевременно, иногда с опозданием на десятилетия, читая которые, испытываешь прелесть новизны. Когда ты видишь и читаешь статьи не только современных философов, но и наших исторических собеседников: П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, Э. Гуссерля, Л. Витгенштейна, Г. Г. Шпета и др. — это же удивительно. Вообще-то говоря, одна из радостей — это узнавать что-то новое, и еще — узнавать подтверждение тому, до чего ты додумался сам. Мы стараемся делать то же и в журнале «Культурно-историческая психология».

Т. Ш. — *И, еще один вопрос: Ваши исследовательские планы? Над чем Вы сейчас работаете?*

В. З. — В настоящее время мы с Н. Д. Гордеевой продолжаем экспериментальные исследования живого движения и действия (пока — предметного, а надо бы и социального). Оказалось, что действие обладает не только реактивностью (как у Н. А. Бернштейна), но и чувствительностью: оно чувствительно к ситуации и к своим собственным возможностям осуществления. Оба вида чувствительности даже в простейшем действии чередуются со сдвигом по фазе несколько раз в секунду. Сопоставление показаний двух видов чувствительности создает эффект, названный нами «фоновой рефлексией». Исследования не просто оправдывают метафоры Бернштейна «живое движение», «действие — живое существо», а делают их фактом, реальностью. Они же доказывают справедливость давнего положения С. Д. Рубинштейна о том, что действие может рассматриваться как единица анализа всей психики. Действительно, анализ находит в нем зачатки всех элементов психологии — познания, чувства и воли. Но ведь это же, как учили нас древние, — атрибуты души. Более того, вспоминается Гегель, который в «Феноменологии духа» писал, что дух не есть нечто абстрактно простое, а есть система движений, различающая себя в моментах. Я не к тому, что живое движение и действие это и есть душа, дух. Но, как минимум, на действие нужно посмотреть как на посредника-медиатора между душой и телом. Благодаря его посредничеству одушевляется тело, и душа приобретает телесные черты. Это большой разговор об интеграции духовного и телесного организмов (я думаю, он один или един). Над этим сюжетом я последние годы до-

вольно много работаю. Спасибо, «Вопросы философии» даже опубликовали мою статью о душе. Но задача эта не простая.

И еще одна линия моих интересов, это исторические портреты. Я как-то посчитал, что написал около 30 таких портретов. Я их условно называю «Лица». Как говорят одесситы: «лица с раньшего времени». Там есть и А. А. Ухтомский, а есть и С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Г. П. Щедровицкий, М. К. Мамардашвили и Д. Н. Ошанин, Ф. Д. Горбов, М. Вертгеймер и т. д. Написал статью «А. Р. Лурия — в обратной временной перспективе». Это очень хорошо для Александра Романовича подходит. Есть люди, которые чем дальше от нас отодвигаются, тем большими становятся. Таков Лурия. А есть наоборот. Конечно, это счастье, что с такими людьми общался всю жизнь. Н. А. Бердяев говорил: «во мне больше не от моего Я, а от другого». И во мне много от других. От таких, как Мераб Мамардашвили, Александр Пятигорский, Эвальд Ильенков. От Саши Зиновьева довольно много досталось мне в молодые годы. Вот Вам и духовный слой сознания, вырастающий из взаимодействия, как говорил Г. Г. Шпет, из слиянного общения я-ты, а попутно и содержание, и междисциплинарность, о которой мы говорили.

Т. Ш. — *Ваши пожелания читателям журнала «Вопросы философии»?*

В. З. — Конечно, я сам благодарный читатель этого журнала и буду продолжать его читать. А что собственно можно пожелать? Когда-то была такая байка, что человек живет в океане информации. А на самом деле, я думаю, что человек живет в океане мусора. Человеческий глаз делает сто тысяч фиксаций в день. Сто тысяч картинок он вырезает из окружающей действительности. Вот, когда ляжете спать, вспомните, посчитайте, а что вы в этот день видели? И окажется, что — пару пустяков. Все это куда-то уходит. А мысли — это другое. И «Вопросы философии» это журнал, в котором ты можешь встретиться с мыслью. И начнешь эту мысль гнать в дверь, а она — в окно встает. Не расстанешься с ней. И это есть *cogito ergo sum*. Надо, чтобы мысль стоила того. Не менее важно, чтобы и ты стоил мысли. Недавно я со своим сверстником встречался, вспоминали конец XX века. Говорили тогда: «Дожить бы до начала XXI века». Дожили, и что увидели? Нового я пока ничего не увидел, но радость познания остается. Остается тайна и радость прикосновения к ней.

P.S. Прежде всего мне хотелось бы выразить искреннюю признательность всем авторам настоящей книги, которую я практически еще не читал. Исключение составляют лишь некоторые тексты. Относительно большинства текстов инициатор этого издания,

организатор, точнее, модератор и редактор Татьяна Геннадьевна Щедрина сохраняет интригу и хочет преподнести их мне в качестве сюрприза. Буду ждать! Воспользуюсь классической формулой: *Я эту книгу не читал, но* (здесь я дам свое окончание) огромное спасибо всем авторам за доброе отношение, внимание и труд!

Несколько слов о том, что я не только читал, но даже и писал сам. Здесь я должен сказать спасибо судьбе, которая благоприятствовала мне, способствуя встречам с замечательными учителями, друзьями, коллегами. Могу лишь сожалеть, что не всем в этой книге мне удалось вернуть свой долг. Надеюсь, еще не вечер, и работа моей благодарной памяти будет продолжаться. Не со всеми героями этой книги мне посчастливилось общаться. Однако мои очерки о них я тоже рассматриваю как долг, но не свой лично, а долг психологии, который в полной мере она еще не осознала.

Должен признаться, что когда я несколько десятилетий тому назад начинал писать статьи и очерки (как вошедшие в книгу, так и оставшиеся за ее пределами) об ученых и их творчестве, у меня не было идеи написания книги. Эту идею впервые несколько лет тому назад высказала их моя жена — Наталья Дмитриевна Гордеева — психолог, хорошо знавшая героев моих текстов, их первый читатель (слушатель!) и, что греха таить, придирчивый редактор. Далеко не сразу я понял, что, отдавая им должное, я заботился не только о том, чтобы сохранилась память о них. Сейчас перечитывая свои тексты и готовя их к печати, я осознал, что работа над ними была «заботой о себе» или работой над самим собой. Мне уже доводилось ссылаться на М. Фуко, говорившего, что к самому главному приходишь, пятясь... Я продолжал неоконченный разговор с ними, делал их современниками, участниками моего настоящего, оценивал и переоценивал свои взгляды на них, на психологию, и на самого себя. В этой рефлексивной работе, сопровождавшейся к тому же переживаниями, которые лишь в малой степени отражены в текстах, я продолжал строить или достраивать самого себя. Так что долги долгами, но плохо осознаваемый элемент эгоизма в моей работе, несомненно, присутствовал. К тому же воспоминания и перечитывание других есть возвращение к себе и перечитывание самого себя. И теперь, перечитав свои тексты, я вновь хочу обратиться к трудам многих, о которых я написал.

В заключение хочу еще раз поблагодарить авторов-участников этой книги, судьбу, а главное — Наталью Дмитриевну, побудившую меня к написанию этих текстов, и Татьяну Геннадьевну, реализовавшую этот непростой проект.

В. Зинченко
18.05.2011

Избранные научные труды В. П. Зинченко

I. Монографии и Учебные пособия

1. Зинченко В. П. (соавтор Смолян Г. Л.) Человек и техника. М.: Знание, 1965.
2. Зинченко В. П. (соавторы: Запорожец А. В., Венгер Л. А., Рузская А. Г.) Восприятие и действие М.: Просвещение, 1967.
3. Зинченко В. П. (соавтор Вергилес Н. Ю.) Формирование зрительного образа. М.: МГУ, 1969.
4. Зинченко В. П. (соавторы: Величковский Б. М., Лурья А. Р.) Психология восприятия. М.: МГУ, 1973.
5. Зинченко В. П. (соавторы: Мунипов В. М., Смолян Г. Л.) Эргономические основы организации труда. М.: Экономика, 1974.
6. Зинченко В. П. (соавтор Мунипов В. М.) Методологические проблемы эргономики. М.: Знание, 1974.
7. Зинченко В. П. (соавторы: Гордеева Н. Д., Девишвили В. М.) Микроструктурный анализ исполнительской деятельности. М.: ВНИИТЭ, 1975.
8. Зинченко В. П. (соавторы: Леонова А. Б., Стрелков Ю. К.) Психометрика утомления. М.: МГУ, 1979.
9. Зинченко В. П. (соавтор Мунипов В. М.) Основы эргономики. М.: МГУ, 1979.
10. Зинченко В. П. (соавторы: Величковский Б. М., Вучетич Г. Г.) Функциональная структура зрительной памяти. М.: МГУ, 1980.
11. Зинченко В. П. (соавтор Гордеева Н. Д.) Функциональная структура действия. М.: МГУ, 1982.
12. Зинченко В. П. (соавтор Смирнов С. Д.) Методологические вопросы психологии. М.: МГУ, 1983.
13. Зинченко В. П. Возможна ли поэтическая антропология? М.: РОУ, 1994.
14. Зинченко В. П. (соавтор Моргунов Е. Б.) Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М.: Тривола, 1994, 1995.
15. Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании. М.: Тривола, 1995.
16. Зинченко В. П. Образ и деятельность. М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.
17. Зинченко В. П. Посох Манделыштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М.: Новая школа, 1997.
18. Зинченко В. П. Живое знание. Материалы к курсу лекций. Самара: СПГУ, 1997, 1998.
19. Зинченко В. П. Психология доверия. Самара: СПГУ, 1998.
20. Зинченко В. П. Мысль и слово Густава Шпета. (возвращение из изгнания). М.: РОУ, 2000.
21. Зинченко В. П. Мышление и язык: Учеб. пос. Дубна: Университет «Дубна», 2001.

22. *Зинченко В. П.* (соавтор Мунипов В. М.) Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды: Учебник. М.: Логос, 2001.
23. *Зинченко В. П.* (соавтор Зинченко Т. П.) Психология памяти: Учеб. пос. Дубна: Университет «Дубна», 2002.
24. *Зинченко В. П.* Психологические основы педагогики: Учеб. пос. М.: Гардарики, 2002.
25. *Зинченко В. П.* (соавтор Мещеряков Б. Г.) Большой психологический словарь. СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, 2003, 2008. (соредактор и автор десятков статей).
26. *Зинченко В. П.* (соавтор Мещеряков Б. Г.) Современный психологический словарь. СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, 2006. (соредактор и автор десятков статей)
27. *Зинченко В. П.* (соавтор Белянин А. В.) Доверие в экономике и общественной жизни. М.: Либеральная миссия, 2010.
28. *Зинченко В. П.* (соавторы: Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г.) Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М.: РОС-СПЭН, 2010.
29. *Зинченко В. П.* Сознание и творческий акт. М.: Языки славянских культур, 2010.

II. Сборники научных работ

30. *Зинченко В. П.* К вопросу о формировании ориентирующего образа // Ориентировочный рефлекс и ориентировочно-исследовательская деятельность. М.: АПН РСФСР, 1957.
31. *Зинченко В. П.* (соавтор: Запорожец А. В.) Развитие перцептивных действий и формирование сенсорного образа у ребенка // Психологические исследования в СССР. М.: Прогресс, 1962 (на англ. и франц. языках).
32. *Зинченко В. П.* (соавторы: Запорожец А. В., Эльконин Д. Б.) Развитие мышления // Психология детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1964.
33. *Зинченко В. П.* (соавторы: Ендовицкая Т. В., Рузская А. Г.) Развитие ощущения и восприятия // Психология детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1964.
34. *Зинченко В. П.* (соавторы: Леонтьев А. Н., Панов Д. Ю.) Проблемы инженерной психологии // Инженерная психология. М.: МГУ, 1964.
35. *Зинченко В. П.* Теоретические проблемы психологии восприятия // Инженерная психология. М.: МГУ, 1964.
36. *Зинченко В. П.* (соавторы: Майзель Н. И., Назаров А. И., Цветков А. А.) Анализ деятельности оператора // Инженерная психология. М.: МГУ, 1964.
37. *Зинченко В. П.* (соавтор Панов Д. Ю.) Игровые системы управления и информационные модели // Система, человек и автомат. М.: Наука, 1965.
38. *Зинченко В. П.* (соавтор Зинченко П. И.) Исследование памяти в связи с задачами инженерной психологии // Проблемы инженерной психологии. Вып. 3. Л., 1965.
39. *Зинченко В. П.* (соавтор Рузская А. Г.) Взаимоотношение осязания и зрения у детей дошкольного возраста // Развитие восприятия детей раннего и дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1966.
40. *Зинченко В. П.* (соавтор Березкин Б. С.) Исследование информационного поиска // Проблемы инженерной психологии. М.: Наука, 1967.
41. *Зинченко В. П.* (соавтор Запорожец А. В.) Развитие перцептивных действий и формирование сенсорного образа у ребенка // Психологические исследования в СССР. М.: Просвещение, 1968.

42. *Зинченко В. П.* (соавторы: Вучетич Г. Г., Шлягина Е. И.) Сравнительный анализ преобразования информации, осуществляющихся в кратковременной памяти и условиях симулянного и сукцессивного предъявления текстового материала // Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. Харьков: ХГУ, 1970.
43. *Зинченко В. П.* Память и мышление в работах П. И. Зинченко // Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. Харьков: ХГУ, 1970.
44. *Зинченко В. П.* (соавтор Зинченко Т. П.) Восприятие // Общая психология. М.: Просвещение, 1970, 1977, 1982, 1994, 1996.
45. *Зинченко В. П.* (соавтор Панин К. И.) Построение информационных моделей в системах управления // Эргономика. Вып. 1. М.: ВНИИТЭ, 1970.
46. *Зинченко В. П.* (соавторы: Клевцов В. П., Вучетич Г. Г.) Образно-концептуальная модель как внутреннее средство деятельности оператора // Эргономика. Вып. 3. М.: ВНИИТЭ, 1971.
47. *Зинченко В. П.* О микроструктурном методе исследования познавательной деятельности // Эргономика. Вып. 3. М.: ВНИИТЭ, 1972.
48. *Зинченко В. П.* (соавторы: Гордон В. П., Вучетич Г. Г.) Порождение образа // Научно-технический прогресс и искусство. М.: Искусство, 1973.
49. *Зинченко В. П.* Проблемы визуальной культуры в свете психологии восприятия и мышления // Эргономика. Вып. 6. М.: ВНИИТЭ, 1973.
50. *Зинченко В. П.* (соавтор Гордон В. М.) Методологические проблемы психологического анализа деятельности // Системные исследования. Ежегодник 1975. М., 1975.
51. *Зинченко В. П.* (соавторы: Вдовина Л. И., Гордон В. М.) Исследование функциональной структуры процесса решения комбинаторных задач // Моторные компоненты зрения. М.: Наука, 1975.
52. *Зинченко В. П.* Микроструктурный анализ процессов восприятия // Психологические исследования. Вып. 6. М.: МГУ, 1976.
53. *Зинченко В. П.* (соавтор Мунипов В. М.) Эргономика и проблемы комплексного подхода к изучению трудовой деятельности // Эргономика. Вып. 10. М.: ВНИИТЭ, 1976.
54. *Зинченко В. П.* (соавторы: Гордеева Н. Д. и др.) Функциональная структура и критерии оценки инструментальных пространственных действий // Проблемы космической биологии. Т. 34. М.: Наука, 1977.
55. *Зинченко В. П.* Установка и деятельность. Нужна ли парадигма? // Бессознательное. Т. 1. Тбилиси: Мецниереба, 1978.
56. *Зинченко В. П.* (соавтор Гордон В. М.) Структурно-функциональный анализ психической деятельности // Системные исследования. Ежегодник 1978. М., 1978.
57. *Зинченко В. П.* (соавтор Леонова А. Б.) Методы оценки функциональных состояний человека // Физиология человека и животных. Т. 21. М.: ВИНТИ, 1978.
58. *Зинченко В. П.* (соавтор Запорожец А. В.) Восприятие, движение, действие // Основы психологии. Ощущение и восприятие. М.: Педагогика, 1982.
59. *Зинченко В. П.* (соавторы: Горохов В. Г., Мунипов В. М.) Методология эргономики // Системные исследования. М.: Наука, 1982.
60. *Зинченко В. П.* (соавтор Давыдов В. В.) Принцип развития в психологии // Диалектика в науках о природе и человеке. М.: Наука, 1983.
61. *Зинченко В. П.* От генезиса ощущений к образу мира // А. Н. Леонтьев и современная психология. М.: Педагогика, 1983.
62. *Зинченко В. П.* (соавтор Гордеева Н. Д.) Микроструктурный анализ исполнительной деятельности оператора // Анализ и оптимизация операторской деятельности. М.: ВНИИТЭ, 1986.

63. *Зинченко В. П.* (соавтор Запорожец А. В.) Восприятие, движение, действие // Запорожец А. В. Избранные психологические труды. Т. 1. М.: Педагогика, 1986.
64. *Зинченко В. П.* Универсальный решатель проблем // Раздумья о будущем. Диалоги в преддверии третьего тысячелетия. М.: Политиздат, 1987.
65. *Зинченко В. П.* Культура и техника // Красная книга культуры. М.: Искусство, 1989.
66. *Зинченко В. П.* (соавтор Жуков Ю. М.) Социоисторические исследования труда и общения (К истории становления предметных действий) // Человек в системе наук. М.: Наука, 1989.
67. *Зинченко В. П.* Образование, мышление, культура // Новое педагогическое мышление. М.: Педагогика, 1989.
68. *Зинченко В. П.* (соавтор Давыдов В. В.) Теоретические основы научной школы Выготского — Леонтьева — Лурии // Психология. Республиканский сборник. Минск, 1990.
69. *Зинченко В. П.* (соавтор Гордеева Н. Д.) Модель предметного действия // Системные исследования: Ежегодник. М.: Наука, 1991.
70. *Зинченко В. П.* (соавторы: Гордеева Н. Д., Евсевичева И. В.) К проблеме реактивности и чувствительности предметного действия // Интеллектуальные процессы и их моделирование. М., 1991.
71. *Зинченко В. П.* (соавтор Назаров А. И.) Размышления об искусственном интеллекте // О человеческом в человеке / Под общ. ред. И. Т. Фролова. М.: Политиздат, 1991.
72. *Зинченко В. П.* Мамардашвили открывает Декарта психологам // Картезианские размышления М. К. Мамардашвили. М.: Прогресс, 1996.
73. *Зинченко В. П.* (соавтор Эльконин Б. Д.) Психология развития // Гуманитарная наука в России. М., 1996.
74. *Зинченко В. П.* Г. Г. Шпет: возвращение из изгнания // Густав Густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи. М.: Смысл, 2000.
75. *Зинченко В. П.* (соавтор Гордеева Н. Д.) Рефлексивное управление как условие осуществления движений и построения целесообразного действия // Рефлексивное управление. М.: ИП РАН, 2000.
76. *Зинченко В. П.* Размышление о душе и духовном развитии // Психология искусства. Т. 2. Самара, 2003.
77. *Зинченко В. П.* Переходящие и вечные проблемы психологии // Труды Ярославского методологического семинара. Методология психологии. Т. 1. Ярославль: МАПН, 2003.
78. *Зинченко В. П.* О трудах и днях Г. П. Щедровицкого // Познающее мышление и социальное действие (наследие Г. П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли). М.: Ф.А.С.-Медиа, 2004.
79. *Зинченко В. П.* Проблема произвольности и закономерности развития детей раннего и дошкольного возраста. О творческом пути А. В. Запорожца // Московская психологическая школа: История и современность. Т. II. М.: ПИ РАО, МГППУ, 2004.
80. *Зинченко В. П.* Духовный организм и его функциональные органы (опыт интегративной работы в психологии) // Труды Ярославского методологического семинара. Т. 2. Предмет психологии. Ярославль: МАПН, 2004.
81. *Зинченко В. П.* Проблема творческого акта // Бонифатий Михайлович Кедров. Очерки. Воспоминания. Материалы. М.: Наука, 2005.
82. *Зинченко В. П.* Психология на качелях между душой и телом // Психология телесности: между душой и телом. М.: АСТ, 2005.
83. *Зинченко В. П.* Гетерогенез мысли: подходы Л. С. Выготского и Г. Г. Шпета (продолжение разговора) // Густав Шпет и современная философия гумани-

- тарного знания / Под ред. Т. Г. Щедриной. М.: Языки славянских культур, 2006.
84. *Зинченко В. П.* Л. С. Выготский в контексте культуры XX века // Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский — П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог. — Приглашение к диалогу. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
 85. *Зинченко В. П.* Загадка творческого понимания. К столетию Д. Б. Эльконина // Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский — П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог. — Приглашение к диалогу. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
 86. *Зинченко В. П.* Александр Владимирович Запорожец. Становление психолога (1905–1981) // Выдающиеся психологи Москвы. Изд. 2. М.: Психол. ин-т РАО, МГППУ, 2007.
 87. *Зинченко В. П.* (соавтор Мамардашвили М. К.) Проблема объективного метода в психологии // Философия. Наука. Культура. «Вопросам философии» 60 лет. М.: Вече, 2008.
 88. *Зинченко В. П.* Шепот прежде губ, или что предшествует эксплозии детского языка // Разумное поведение и язык. Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка. М.: Языки славянских культур, 2008.
 89. *Зинченко В. П.* Гетерогенез творческого акта: слово, образ и действие в «котле cogito» // Современный когнитивный подход: философия и когнитивные науки. М.: Канон, 2008.
 90. *Зинченко В. П.* Культурно-философские истоки проблемы непосредственности // Творческое наследие Г. Г. Шпета в контексте современного гуманитарного знания. Томск: Изд-во Томского государственного университета, 2009.
 91. *Зинченко В. П.* Плавильный тигль Вильгельма Гумбольдта и внутренняя форма слова Густава Шпета в контексте проблемы творчества // Густав Шпет и его философское наследие. У истоков семиотики и структурализма / Под ред. Т. Г. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2010.
 92. *Зинченко В. П.* Сфера и онтология сознания // Мамардашвили и время. Пермь, 2010.
 93. *Зинченко В. П.* Послесловие к дружбе // Эрик Григорьевич Юдин. М.: РОССПЭН, 2010.
 94. *Зинченко В. П.* Хронотопическая структура сознания // Мераб Мамардашвили. Быть философом — это судьба. М.: Прогресс-Традиция, 2011.

III. Предисловия и Послесловия к книгам

95. *Зинченко В. П.* (соавтор Панов Д. Ю.) Построение систем управления и проблемы инженерной психологии (Предисловие) // Инженерная психология. М.: Прогресс, 1964.
96. *Зинченко В. П.* (соавтор Дракин В. И.) Послесловие // *Пушкин В. Н.* Оперативное мышление в больших системах. М., Л.: Энергия, 1965.
97. *Зинченко В. П.* (соавтор Лурия А. Р.) Предисловие и общая редакция // *Грегори Р. Л.* Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. М.: Прогресс, 1970.
98. *Зинченко В. П.* (соавторы: Забродин Ю. М., Ломов Б. Ф.) Вступительная статья // *Аткинсон Р.* Человеческая память и процесс обучения. М.: Прогресс, 1980.
99. *Зинченко В. П.* А. Н. Леонтьев и современная психология (Предисловие) // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. Т. 1. М.: Педагогика, 1983.

100. *Зинченко В. П.* Предисловие // *Василюк Ф. Е.* Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1984.
101. *Зинченко В. П.* (соавтор Венгер Л. А.) О творческом пути А. В. Запорожца (Предисловие и комментарий) // *Запорожец А. В.* Избранные психологические труды. Т. 1. М.: Педагогика, 1986.
102. *Зинченко В. П.* Вступительная статья // *Вертгеймер М.* Продуктивное мышление. М.: Прогресс, 1987.
103. *Зинченко В. П.* Последействие // *Домашев Ю. Н., Романов В. Я.* Психология внимания. М.: Тривола, 1995.
104. *Зинченко В. П.* Психология действия (Предисловие и редакция) // *Гордеева Н. Д.* Экспериментальная психология действия. М.: Тривола, 1995.
105. *Зинченко В. П.* (соавтор Назаров А. И.) Когнитивная психология и психология (Предисловие и редакция) // *Солсо Р.* Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996.
106. *Зинченко В. П.* Последействие и редакция // *Верч Д.* Голоса разума. М.: Тривола, 1996.
107. *Зинченко В. П.* Об этой книге (Предисловие) // *Выготская Г. Л., Лифанова Т. М.* Лев Семенович Выготский. М.: Смысл, 1996.
108. *Зинченко В. П.* (соавтор Назаров А. И.) Последействие // *Бернштейн Н. А.* Биомеханика и физиология движений. Избранные психологические труды. М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО МОДЭК, 1997.
109. *Зинченко В. П.* Предисловие // *Горбов Ф. Д.* Я — второе Я. М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО МОДЭК, 2000.
110. *Зинченко В. П.* Предисловие // *Зинченко Т. И.* Память в экспериментальной и когнитивной психологии. СПб.: Питер, 2002.
111. *Зинченко В. П.* Переходящие и вечные проблемы психологии (Предисловие и редакция) // *Аткинсон Р. и др.* Введение в психологию. СПб.: Еврознак, 2003.
112. *Зинченко В. П.* Предисловие к русскому изданию // *Хант Г.* О природе сознания. М.: АСТ, 2004.
113. *Зинченко В. П.* (соавтор Назаров А. И.) Форум психологических поколений. (Послесловие) // *Робинсон Д.* Интеллектуальная история психологии. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005.
114. *Зинченко В. П.* Жизнь в мысли и слове (Предисловие) // *Шпет Г. Г.* Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2006.

IV. Статьи в научных журналах

115. *Зинченко В. П.* Некоторые особенности движений руки и глаза и их роль в формировании двигательных навыков // *Вопросы психологии.* 1956. № 6.
116. *Зинченко В. П.* Процесс образования установки // *Доклады АПН РСФСР.* 1958. № 2.
117. *Зинченко В. П.* Движение глаз и формирование зрительного образа // *Вопросы психологии.* 1958. № 3.
118. *Зинченко В. П.* (соавторы: Лаврентьева Т. В., Ломов Б. Ф., Рузская А. Г., Тараканов В. В.) Сравнительный анализ осязания и зрения. Сообщения I—XII // *Доклады АПН РСФСР.* 1959. № 5; 1960. № 2, 3, 5, 6; 1961. № 1, 4, 5; 1962. № 1, 3.
119. *Зинченко В. П.* (соавтор Ломов Б. Ф.) О функциях движений руки и глаза в процессах восприятия // *Вопросы психологии.* 1961. № 1.
120. *Зинченко В. П.* Восприятие и действие (сообщение I и II) // *Доклады АПН РСФСР.* 1961. № 2, 5.

121. *Зинченко В. П.* (соавторы: Ван Чжи Цин, Тараканов В. В.) Становление и развитие перцептивных действий // *Вопросы психологии.* 1962. № 2.
122. *Зинченко В. П.* (соавтор Панов Д. Ю.) Узловые проблемы инженерной психологии // *Вопросы психологии.* 1962. № 5.
123. *Зинченко В. П.* (соавторы: Майзель Н. И., Фаткин Л. В.) Анализ деятельности оператора в режиме информационного поиска // *Вопросы психологии.* 1965. № 2.
124. *Зинченко В. П.* (соавторы: Майзель Н. И., Фаткин Л. В.) Количественные оценки деятельности оператора в режиме информационного поиска // *Вопросы психологии.* 1965. № 3.
125. *Зинченко В. П.* (соавторы: Леонтьев А. Н., Ломов Б. Ф., Шлаен П. Я.) Автоматизация и управление // *Техника и вооружение.* 1966. № 5.
126. *Зинченко В. П.* (соавтор Вергилес Н. Ю.) Проблема адекватности образа // *Вопросы философии.* 1967. № 4.
127. *Зинченко В. П.* Восприятие как действие // *Вопросы психологии.* 1967. № 1.
128. *Зинченко В. П.* (соавторы: Венгер Л. А., Запорожец А. В.) Проблемы психологии восприятия на XVIII Международном психологическом конгрессе // *Вопросы психологии.* 1967. № 5.
129. *Зинченко В. П.* (соавтор Вергилес Н. Ю.) Функциональная модель сенсорного звена зрительной системы и возможный механизм кратковременной зрительной памяти // *Вопросы психологии.* 1967. № 6.
130. *Зинченко В. П.* Перцептивные и мнемические элементы творческой деятельности // *Вопросы психологии.* 1968. № 2.
131. *Зинченко В. П.* (соавторы: Вергилес Н. Ю., Ретанова Е. А.) Исследование перцептивных действий в связи с проблемой инсайта // *Вопросы психологии.* 1968. № 4.
132. *Зинченко В. П.* (соавтор Ретанова Е. А.) О моторном алфавите мышления // *Научная мысль.* 1968. № 12.
133. *Зинченко В. П.* (соавтор Ретанова Е. А.) К проблеме визуального мышления // *Техническая эстетика.* 1969. № 7.
134. *Зинченко В. П.* (соавтор Вучетич Г. Г.) Сканирование последовательно фиксируемых следов в кратковременной зрительной памяти // *Вопросы психологии.* 1970. № 1.
135. *Зинченко В. П.* Продуктивное восприятие // *Вопросы психологии.* 1971. № 6.
136. *Зинченко В. П.* (соавтор Мунипов В. М.) Человеческий фактор в современной технике // *Вопросы философии.* 1971. № 11.
137. *Зинченко В. П.* (соавторы: Мунипов В. М., Гордон В. М.) Исследование визуального мышления // *Вопросы психологии.* 1973. № 2.
138. *Зинченко В. П.* (соавторы: Леонтьев А. Н., Ломов Б. Ф., Лурия А. Р.) Парапсихология: фикция или реальность? // *Вопросы философии.* 1973. № 3.
139. *Зинченко В. П.* О визуальной культуре // *Вопросы философии.* 1973. № 10.
140. *Зинченко В. П.* Зрительное восприятие и творчество. Восприятие как перцептивная деятельность // *Техническая эстетика.* 1975. № 6.
141. *Зинченко В. П.* Зрительное восприятие и творчество. Онтогенез перцептивной деятельности // *Техническая эстетика.* 1975. № 7.
142. *Зинченко В. П.* Зрительное восприятие и творчество. Микроструктурный анализ процессов восприятия и кратковременной памяти // *Техническая эстетика.* 1975. № 8.
143. *Зинченко В. П.* Зрительное восприятие и творчество. Микроструктура исходных (репродуктивных) уровней переработки информации // *Техническая эстетика.* 1975. № 9.

144. Зинченко В. П. (соавтор Мамардашвили М. К.) Об объективном методе в психологии // Вопросы философии. 1977. № 7.
145. Зинченко В. П. Формирование визуальной культуры // Социальные науки. АН СССР. 1975. № 12 (21).
146. Зинченко В. П. (соавторы: Гордеева Н. Д., Ребрик Б. М.) О формировании сложных пространственных действий // Вопросы психологии. 1978. № 3.
147. Зинченко В. П. (соавтор Величковский Б. М.) Методологические проблемы современной когнитивной психологии // Вопросы философии. 1979. № 7.
148. Зинченко В. П. (соавтор Давыдов В. В.) Принцип развития в психологии // Вопросы философии. 1980. № 12.
149. Зинченко В. П. Будущее Гомо-фабера // Импакт. 1980. № 36.
150. Зинченко В. П. Идеи Л. С. Выготского о единицах анализа психики // Психологический журнал. 1981. № 2.
151. Зинченко В. П. (соавторы: Давыдов В. В., Талызина Н. Ф.) Проблема деятельности в работах А. Н. Леонтьева // Вопросы психологии. 1982. № 4.
152. Зинченко В. П. Искусственный интеллект и парадоксы психологии // Курьер ЮНЕСКО. 1984. № 2.
153. Зинченко В. П. (соавторы: Мунипов В. М., Рубахин В. Ф.) Психологические проблемы эффективности и качества труда // Психологический журнал. 1984. № 2.
154. Зинченко В. П. О соотношении деятельности и действия // Вопросы философии. 1985. № 5.
155. Зинченко В. П. Эргономика и информатика // Вопросы философии. 1986. № 7.
156. Зинченко В. П. Гуманитаризация подготовки инженеров // Вестник высшей школы. 1986. № 10.
157. Зинченко В. П. (соавтор Давыдов В. В.) Вклад Л. С. Выготского в психологическую науку // Советская педагогика. 1986. № 11.
158. Зинченко В. П. Искусственный интеллект и парадоксы психологии // Природа. 1986. № 2.
159. Зинченко В. П. Психология — перестройке // Вестник высшей школы. 1987. № 7.
160. Зинченко В. П. (соавторы: Велихов Е. П., Лекторский В. А.) Сознание: опыт междисциплинарного подхода // Вопросы философии. 1988. № 11.
161. Зинченко В. П. Проблема образующих сознания в деятельностной теории психики // Вестник МГУ. Серия: Психология. 1988. № 3.
162. Зинченко В. П. Развитие зрения детей в контексте общего духовного развития человека // Вопросы психологии. 1988. № 6.
163. Зинченко В. П. Последнее интервью А. Н. Леонтьева // Наука в СССР. 1989. № 5.
164. Зинченко В. П. Наука — неотъемлемая часть культуры? // Вопросы философии. 1990. № 1.
165. Зинченко В. П. Духовное возрождение (интервью) // Человек. 1990. № 2.
166. Зинченко В. П. (соавтор Мещеряков Б. Г.) О возрождении гуманитарного образования в школе // Человек. 1990. № 4.
167. Зинченко В. П. Гуманитарный вектор науки // Коммунист. 1990. № 4.
168. Зинченко В. П. Системный анализ в психологии? (Развернутый комментарий к Тезисам А. Н. Леонтьева, или Опыт психологической интерпретации в науке) // Психологический журнал. 1991. № 4.
169. Зинченко В. П. Послесловие к дружбе (М. К. Мамардашвили) // Вопросы философии. 1991. № 5.
170. Зинченко В. П. (соавтор Мамардашвили М. К.) Изучение высших психических функций и категория бессознательного // Вопросы философии. 1991. № 10.

171. Зинченко В. П. Миры и структура сознания // Вопросы психологии. 1991. № 2.
172. Зинченко В. П. Проблемы психологии развития (читая Мандельштама) // Вопросы психологии. 1991. № 4, 5, 6; 1992. № 3–4, 5–6.
173. Зинченко В. П. Слово — сильнее государства // Альтер-Эго. 1992. № 1.
174. Зинченко В. П. Слово об учителе (П. Я. Гальперин) // Вопросы психологии. 1993. № 1.
175. Зинченко В. П. Культурно-историческая психология и психологическая теория деятельности: живые противоречия и точки роста // Вестник МГУ. Серия: Психология. 1993. № 2.
176. Зинченко В. П. Культурно-историческая психология: опыт амплификации // Вопросы психологии. 1993. № 4.
177. Зинченко В. П. Кризис или катастрофа? // Вопросы философии. 1993. № 5.
178. Зинченко В. П. Штрихи к портрету Д. Б. Эльконина // Вопросы психологии. 1994. № 1.
179. Зинченко В. П. Психология в Российской Академии образования // Вопросы психологии. 1994. № 4.
180. Зинченко В. П. Как возможна поэтическая антропология? // Человек. 1994. № 6.
181. Зинченко В. П. Становление психолога (к 90-летию А. В. Запорожца) // Вопросы психологии. 1995. № 5.
182. Зинченко В. П. Вклад А. А. Ухтомского в психологическую физиологию // Вопросы психологии. 1995. № 5.
183. Зинченко В. П. (соавтор Моргунов Е. Б.) Наследие Л. С. Выготского // Сибирский психологический журнал. 1996. Вып. 3.
184. Зинченко В. П. (соавтор Гордеева Н. Д.) Н. А. Бернштейн и психология действия // Вестник МГУ. Серия: Психология. 1996. № 3.
185. Зинченко В. П. Движение — это живое существо (к 100-летию Н. А. Бернштейна) // Вопросы психологии. 1996. № 6.
186. Зинченко В. П. От классической к органической психологии // Вопросы психологии. 1996. № 5–6.
187. Зинченко В. П. Мир образования и/или образование мира // Мир образования. 1996. № 3, 4.
188. Зинченко В. П. Принципы и заповеди психологической педагогики // Magister. 1996. № 2.
189. Зинченко В. П. О целях и ценностях образования // Педагогика. 1997. № 5.
190. Зинченко В. П. Фантом утраченного кресла // Педагогика. 1997. № 3.
191. Зинченко В. П. Участность в бытии. К 95-летию А. Р. Лурии // Вопросы психологии. 1997. № 5.
192. Зинченко В. П. Психология доверия // Вопросы философии. 1998. № 7.
193. Зинченко В. П. Саморазвитие духа (памяти В. В. Давыдова) // Вопросы психологии. 1998. № 5.
194. Зинченко В. П. (соавтор Давыдов В. В.) Проблемы психологии развития // Вопросы психологии. 1998. № 5.
195. Зинченко В. П. (соавторы Гордеева Н. Д., Евсевичева И. В., Курганский А. В.) Микродинамика моторной стадии действия // Вопросы психологии. 1998. № 6.
196. Зинченко В. П. Слово о С. Л. Рубинштейне // Вопросы психологии. 1999. № 5.
197. Зинченко В. П. Проблема внешнего и внутреннего в становлении образа мира // Мир психологии. 1999. № 1.
198. Зинченко В. П. Г. Г. Шпет и М. М. Бахтин: оппоненты или единомышленники? // Вопросы психологии. 1999. № 6.

199. Зинченко В. П. (соавтор Мещеряков Б. Г.) Л. С. Выготский и современная культурно-историческая психология (критический анализ книги М. Коула) // Вопросы психологии. 2000. № 2.
200. Зинченко В. П. Дистанционное образование: к постановке проблемы // Педагогика. 2000. № 2.
201. Зинченко В. П. Гипотеза о происхождении учения А. А. Ухтомского о доминанте // Человек. 2000. № 3.
202. Зинченко В. П. Алексей Алексеевич Ухтомский и психология (К 125-летию со дня рождения) // Вопросы психологии. 2000. № 4.
203. Зинченко В. П. Феликс Трофимович Михайлов // Мир психологии. 2000. № 2.
204. Зинченко В. П. (соавтор Мещеряков Б. Г.) Совокупная деятельность как генетически исходная единица психического развития // Психологическая наука и образование. 2000. № 2.
205. Зинченко В. П. Психологическая теория деятельности («воспоминания о будущем») // Вопросы философии. 2001. № 2.
206. Зинченко В. П. Очень субъективные заметки о психологической диагностике // Человек. 2001. № 1.
207. Зинченко В. П. (соавтор Гордеева Н. Д.) Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2001. № 6.
208. Зинченко В. П. Возможно ли целостное представление о мышлении? // Психологическая наука и образование. 2001. № 2.
209. Зинченко В. П. Размышления о живой памяти // Психологическая наука и образование. 2001. № 3.
210. Зинченко В. П. Предмет психологии: подъем по духовной вертикали // Человек. 2001. № 5.
211. Зинченко В. П. Время — действующее лицо // Вопросы психологии. 2001. № 6.
212. Зинченко В. П. Размышления о душе и ее воспитании // Вопросы философии. 2002. № 2.
213. Зинченко В. П. А. Р. Лурия в обратной временной перспективе // Московский психотерапевтический журнал. 2002. № 2.
214. Зинченко В. П. П. Я. Гальперин: от действия с заданными свойствами к свободной мысли // Вопросы психологии. 2002. № 5.
215. Зинченко В. П. Страсть стать человеком // Семья и школа. 2002. № 4.
216. Зинченко В. П. О душе и ее воспитании // Развитие личности. 2002. № 1.
217. Зинченко В. П. Человек в пространстве времен // Развитие личности. 2002. № 3.
218. Зинченко В. П. Наука о мышлении // Психологическая наука и образование. 2002. № 1–2.
219. Зинченко В. П. Теоретический мир психологии // Вопросы психологии. 2003. № 5.
220. Зинченко В. П. Да, очень противоречивая фигура... Интервью к 100-летию А. Н. Леонтьева // Психология в вузе. 2003. № 1–2.
221. Зинченко В. П. Мысль и слово: подходы Л. С. Выготского и Г. Г. Шпета // Точки — Punkta. 2003. № 3–4.
222. Зинченко В. П. Загадки творческого понимания. К 100-летию Д. Б. Элькони-на // Вопросы психологии. 2004. № 1.
223. Зинченко В. П. Исторический или психологический кризис? // Вопросы психологии. 2004. № 3.
224. Зинченко В. П. Тайнство творческого акта. К 100-летию Б. М. Кедрова // Вопросы психологии. 2004. № 5.
225. Зинченко В. П. На пути к восстановлению исторической справедливости: О книге И. М. Фейгенберга «Н. А. Бернштейн: от рефлекса к модели будущего» // Вопросы психологии. 2004. № 6.

226. Зинченко В. П. Комментарий к комментарию: Г. Д. Гачев. Гуманитарный комментарий к физике и химии // Вопросы философии. 2005. № 1.
227. Зинченко В. П. Живое время (и пространство) в течении философской мысли // Вопросы философии. 2005. № 4.
228. Зинченко В. П. Готовность к мысли. К 75-летию В. В. Давыдова // Вопросы психологии. 2005. № 4.
229. Зинченко В. П. Психология на качелях между душой и телом // Человек. 2005. № 2, 3.
230. Зинченко В. П. Принцип активного покоя в мышлении и действии // Культурно-историческая психология. 2005. № 1.
231. Зинченко В. П. (соавтор Назаров А. И.) Последствие теории действия А. В. Запорожца // Вопросы психологии. 2005. № 5.
232. Зинченко В. П. Гетерогенез творческого акта: непроизвольный вклад когнитивной психологии и психологии действия // Точки-Punkta. 2006. № 1–2 (6).
233. Зинченко В. П. Сознание как предмет и дело психологии // Методология и история психологии. 2006. № 1.
234. Зинченко В. П. Александр Владимирович Запорожец: жизнь и творчество (от сенсорного к эмоциональному действию) // Культурно-историческая психология. 2006. № 1.
235. Зинченко В. П. Психологические аспекты влияния искусства на человека // Культурно-историческая психология. 2006. № 4.
236. Зинченко В. П. Детство — ценность, а не объект воспитания и проектирования // Общественные науки и современность. 2006. № 1.
237. Зинченко В. П. Интервью // Вопросы психологии. 2006. № 4.
238. Зинченко В. П. Живые метафоры смысла // Вопросы психологии. 2006. № 5.
239. Зинченко В. П. «Живой разговор». Интервью вела Т. Г. Щедрина // Вопросы философии. 2006. № 8.
240. Зинченко В. П. Порождение и метаморфозы смысла: от метафоры к метаформе // Культурно-историческая психология. 2007. № 3 (см. также Точки-Punkta. 2007. № 1, 2).
241. Зинченко В. П. Толерантность к неопределенности: новость или психологическая традиция // Вопросы психологии. 2007. № 6.
242. Зинченко В. П. Плавильный тигль Вильгельма Гумбольдта и внутренняя форма слова Густава Шпета // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4. № 3.
243. Зинченко В. П. Общество на пути к человеку психологическому // Вопросы психологии. 2008. № 4.
244. Зинченко В. П. Шепот прежде губ, или что предшествует эксплозии детского языка // Культурно-историческая психология. 2008. № 2.
245. Зинченко В. П. Живая память в исследованиях П. И. Зинченко (ретроспект и проспект) // Культурно-историческая психология. 2009. № 3.
246. Зинченко В. П. Мысль, слово, образ, действие, аффект: общее начало и пути развития (от первичной интегральности к богатству душевной жизни) // История и методология психологии. 2009. № 1.
247. Зинченко В. П. Нужно ли преодолевать постулат непосредственности? // Вопросы психологии. 2009. № 2.
248. Зинченко В. П. От потока к структуре сознания // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 6. № 2.
249. Зинченко В. П. О былом единстве психологов и судьбе С. Л. Рубинштейна // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 6. № 3.
250. Зинченко В. П. О начале научной работы М. И. Лисиной (период 1952–1955 гг.) // Вопросы психологии. 2009. № 2.

251. *Zinchenko V. P.* Ответ психолога физиологам («Работа по психологии» Г. Г. Шпета) // Вопросы психологии. 2009. № 3.
252. *Zinchenko V. P.* Теоретическое и/или полифоническое мышление // Психологическая наука и образование. 2010. № 4.
253. *Zinchenko V. P.* Тело как слово, образ и действие // Человек. 2010. № 2.
254. *Zinchenko V. P.* Опыт думания о думании // Вопросы философии. 2010. № 11.
255. *Zinchenko V. P.* Доопытная готовность овладения словом и приобщения к культуре // Культурно-историческая психология. 2010. № 2.
256. *Zinchenko V. P.* (соавторы: Пружинин Б. И., Шедрина Т. Г.) Искусство как феномен культурно-исторического познания // Пространство культуры. Дом Бурганова. 2010. № 1.
257. *Zinchenko V. P.* (соавтор Хухорева А. В.) Культура и ценности: методологические проблемы психологического исследования // Пространство культуры. Дом Бурганова. 2011. № 2.

V. Публикации на иностранных языках

258. *Sintschenko W. P.* Prinzipien der Analyse Tätigkeit // Probleme und Ergebnisse der Psychologie III/IV. 1962.
259. *Zinchenko V. P.* (and Van-Chzhi-tsin, Tarakanov V. V.) The Formation and Development of Perceptual Activity // Subject Index to Soviet Psychology and Psychiatry. Vol. II. Fall 1963 — Summer 1964.
260. *Zinchenko V. P.* Perception as Action // Perception and Activity. XVIII International Congress of Psychology. Moscow: Moscow University, 1966.
261. *Zinchenko V. P.* (and Zaporozhets A. V.) The development of perceptual activity and the formation of a sensory image in the child // Psychological Research in the USSR. Moscow: Progress Publishers, 1969.
262. *Zinchenko V. P.* (and Vergiles N. Yu.) Formation of visual images // Studies of Stabilized Retinal Images / Ttrans. B. Haigh. New York: New York Consultants Bureau, 1972.
263. *Zinchenko V. P.* (and Munipov V. M., Gordon V. M.) The Study of Visual Thinking // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XII. № 2. Winter, 1973–1974.
264. *Zinchenko V. P.* (and Leontev A. N., Lomof B. F., Luria A. R.) Parapsychology: Fiction or Fact? // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XII. № 3. Spring, 1974.
265. *Zinchenko V. P.* (and Leontev A. N., Lomof B. F., Luria A. R.) Parapsychology: Fiction or Fact? // Soviet Psychology. № 12 (3). 1974.
266. *Zinchenko V. P.* (and Munipov V. M., Smolyan G. L.) Ergonomics — Its History, Subject, and Methodology // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XIII. № 2. Winter, 1974–1975.
267. *Zinchenko V. P.* Problems of Visual Culture in the Light of Modern Investigations of Visual Perception and Visual Thinking // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XIII. № 2. Winter, 1974–1975.
268. *Zinchenko V. P.* Productive Perception // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XIII. № 2. Winter, 1974–1975.
269. *Zinchenko V. P.* (and Vuchetich G. G., Postnikov Yu. S.) Study of the Process of Sequential Information Processing // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XIII. № 2. Winter, 1974–1975.
270. *Zinchenko V. P.* (and Vuchetich G. G.) Scanning Successively Fixed Traces in Short-Term Memory // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XIII. № 2. Winter, 1974–1975.

271. *Zinchenko V. P.* The Psychological Theory of Activity and the Psychology of Action // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 33. № 4. July–August, 1995.
272. *Zinchenko V. P.* (and Munipov V. M.) Object and Tasks of Ergonomics // Studia Psychologica. The Journal for Basic Research in Psychological Sciences. Bratislava: Veda, 1978.
273. *Zinchenko V. P.* (and Davidov V. V.) The Principle of Development in Psychology // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XX. № 1. Fall 1981.
274. *Zinchenko V. P.* (and Gordon V. M.) Methodological Problems in the Psychological Analysis of Activity // The Concept of Activity in Soviet Psychology. Armonk, New York: M. E. Sharpe, Inc. 1981.
275. *Sintschenko W. P.* (und Mamardaschwili M. K.) Die Erforschung der höheren psychischen Funktionen und die evolution der Kategorie des Unbewussten // Zeitschrift für Psychologie. Berlin, 1981. Bd. 189. Hft. 3.
276. *Zinchenko V. P.* (and Davidov V. V., Talyzina N. F.) The Problem of Activity in the Works of A. N. Leontev // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XXI. № 4. Summer, 1983.
277. *Zinchenko V. P.* From the Genesis of Sensations to an Image of the World // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XXIII. № 3. Spring, 1985.
278. *Zinchenko V. P.* Vygotsky's ideas about units for the analysis of mind / Culture, Communication, and Cognition: Vygotskian Perspectives. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1985.
279. *Zinchenko V. P.* (y Munipov V.) Fundamentos de ergonomia. Moscú: Editorial Progreso, 1985.
280. *Zinchenko V. P.* (and Leonova A. B., Strelkov Yu. K.) The psychometrics of fatigue. London: Taylor and Francis, 1985.
281. *Zinchenko V. P.* (and Munipov V.) Fundamentals of Ergonomics. Progress Publishers, Moscow, 1989.
282. *Zinchenko V. P.* (and Gordeeva N. D., Devishvili V. M.) Microstructural Analysis of the Execution of Complex Motor Actions. Methods and Results. New Delhi-Calcutta: Oxonian Press PVT. LTD, 1989.
283. *Zinchenko V. P.* The Problem of the “Formative” Elements of Consciousness in the Activity Theory of the Mind // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 28. № 2. March–April, 1990.
284. *Zinchenko V. P.* The Problem of the “Formative” Elements of Consciousness in the Activity Theory of the Mind (Vestn. Mosk. Un-ta, Ser. 14: Psikhologiya. 1988. № 3. P. 25–34) // Subject Index to Soviet Psychology. Vol. XXVIII. № 2. March–April, 1990.
285. *Zinchenko V. P.* Worlds of Consciousness and the Structure of Consciousness // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 30. № 5. September–October, 1992.
286. *Zinchenko V. P.* Problems in the Psychology of Development (Reading O. Mandel'shtam) // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 30. № 6. November–December, 1992.
287. *Zinchenko V. P.* The Psychological Theory of Activity and the Psychology of Action // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 33. № 4. July–August, 1995.
288. *Zinchenko V. P.* (and Leontev D. A.) Discussion of Problems of Activity // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 33. № 4. July–August, 1995.
289. *Zinchenko V. P.* Cultural-Historical Psychology and the Psychological Theory of Activity: Retrospect and Prospect // Wertsch J. V. Sociocultural studies of mind. New York: Cambridge University Press, 1995.

290. *Zinchenko V. P.* Developing activity theory: The zone of proximal development and beyond // Ed. B. Nardi. Context and Consciousness: Activity Theory and Human-Computer Interaction. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996.
291. *Zinchenko V. P.* (and Zaporozhets A. V.) Perception, Movement, and Action // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 35. № 1. 1997 (See also: Vol. 40. № 4. 2002).
292. *Zinchenko V. P.* (and Gordeeva N. D.) A Model of an Object-Related Action: Composition, Structure and Function // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 35. № 4. 1997.
293. *Zinchenko V. P.* The Thought and Word of Gustav Shpet (Return from Exile) // Journal of Russian and East European Psychology. 2000. Vol. 38. № 4, 5.
294. *Zinchenko V. P.* From classical to Organic Psychology // Journal of Russian and East European Psychology. 2001. Vol. 39. № 1.
295. *Zinchenko V. P.* The Psychological Theory of Activity. “Remembrances of the Futur” // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 42. № 2. March–April, 2004.
296. *Zinchenko V. P.* (and Veresov N. N.) Editors Introduction. A. V. Zaporozhets and Psychology of voluntary action (1) // Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 40. № 3. May–June, 2004.
297. *Zinchenko V. P.* A. R. Luria (1902–2002): A Retrospective View on Time // A. R. Luria and Contemporary Psychology: festschrift celebrating the centennial of the birth of Luria. Nova Science Publishers, Inc. 2005.
298. *Zinchenko V. P.* Desde la *Psycologia classica* a la *organica* (От классической к органической психологии) // *Eclecta*. Vol. VII. № 9, 10. *Revista de Psychologia General*. Mexico, 2005.
299. *Zinchenko V. P.* Thought and Word: The Approaches of L. S. Vygotsky and G. G. Shpet // *The Cambridge Companion To Vygotsky*. The Cambridge University Press, 2007.
300. *Zinchenko V. P.* Lev Vygotsky: From “Silver Age” to “Red Terror” // *Children in Europe*. Exploring issues, celebrating diversity. Vygotsky issues. 2007.
301. *Zinchenko V.* (and Munipov V., Munipov M.) The influence of Bartlett’s work on Soviet and Russian ergonomics // *Ergonomics*. Vol. 51. № 1. January, 2008.
302. *Zinchenko V.* Living Memory // *Journal of Russian and East European Psychology*. Vol. 46. November–December, 2008.
303. *Zinchenko V.* Le creuset de Wilhelm von Humboldt et la forme interne de Gustave Chpet dans le contexte du problème de la création // *Gustav Chpet et son héritage aux sources russes du structuralisme et de la sémiotique / Slavica Occitania*. № 26. Toulouse, 2008.
304. *Zinchenko V.* (and Wertsch J. V.) Shpet’s Influence on Psychology // *Gustav Shpet’s to Philosophy and Cultural Theory*. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2009.
305. *Zinchenko V. P.* Consciousness as the subject matter and task of psychology // *Journal of Russian and East European Psychology*. Vol. 47. № 5. September–October, 2009.
306. *Zinchenko V. P.* Consciousness as the Subject and Task of Psychology // *Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogisam in Michail Bakhtin*. Stockholm University Sweden, 2010. <www.psy.ku.dk>
307. *Zinchenko V. P.* Earlier Stages of Child’s Cultural Development // *Motives, Emotions and Values in the Development of Children and Young People*. Cambridge University Press, 2011.

Указатель имен

Содержание

Татьяна Шедрина

Свобода и История: стиль мышления Владимира Петровича Зинченко 5

Раздел I. Культурно-историческая психология: философские основания*В. А. Лекторский.* Деятельностный подход вчера и сегодня 15*Б. И. Пружинин.* Культурно-историческая природа познания и стиль научного мышления 28*В. Н. Порус.* Социально-эпистемологический взгляд на культурно-историческую психологию 43*Н. С. Автономова.* Две проекции бессознательного и проблема перевода 60*Т. Г. Шедрина.* Понятие «личность» в текстах Густава Шпета: аспекты значений и контексты употребления 69*С. С. Хоружий.* Темпоральность религиозного опыта 90*В. Л. Рабинович.* Тайновидец и тайнодержец: Сквозь термины — к звездам 109**Раздел I. Культурно-исторический подход в психологических исследованиях***М. Коул, Дж. Верч.* Свобода и скованность человеческого действия 117*Б. Г. Мещеряков.* Z-концепция, как я ее понимаю 141*В. М. Мунипов.* От психотехники к инженерной психологии и эргономике (исторический очерк) 163*Сет Чайклин.* Всего восемьдесят лет, и все еще растем: «Разговор» с Володей Зинченко о теории деятельности 175*Е. Б. Моргунов.* Человек развивающийся: профессиональная организация как «зона ближайшего развития» 187*В. А. Петровский.* Начала персонологии «Я»: существует ли ее предмет? 200*В. М. Алахвердов.* Субъективные заметки при чтении книги*В. П. Зинченко «Сознание и творческий акт» (к юбилею Мастера) 216***Раздел III. Владимир Зинченко. Мои Учителя и Заслуженные собеседники**

Алексей Алексеевич Ухтомский психология 231

Густав Шпет и Михаил Бахтин: оппоненты или единомышленники... 272

Слово о Сергее Леонидовиче Рубинштейне 285

Лев Семенович Выготский: жизнь и деятельность 294

Николай Александрович Бернштейн: психологическая физиология 300

Психология в Российской академии образования 320

Алексей Николаевич Леонтьев: от генезиса ощущений к образу мира 341

Участность в бытии: Александр Романович Лурия 353

Александр Владимирович Запорожец: жизнь и творчество (от сенсорного действия к эмоциональному) 363

О начале научной работы Майи Ивановны Лисиной 383

Петр Яковлевич Гальперин: от действия с заданными свойствами к свободной мысли 387

Загадка творческого понимания: Штрихи к портрету Даниила Борисовича Эльконина 413

Василий Васильевич Давыдов: личность и деятельность 437

Живая память в исследованиях Петра Ивановича Зинченко (ретроспект и проспект) 465

Вступительные заметки о живой памяти: Памяти Зинченко Татьяны Петровны 492

Послесловие к книге Федора Дмитриевича Горбова 509

Мераб Константинович Мамардашвили: послесловие к дружбе 513

Комментарий психолога к трудам и дням Георгия Петровича Щедровицкого 523

Теоретический мир психологии 565

Вместо заключения: Владимир Петрович Зинченко как собеседник*А. И. Назаров.* Мой учитель и постоянный собеседник 585*В. А. Лефевр.* Рассказы о Владимире Петровиче Зинченко 590

Живой «разговор» Интервью с Владимиром Петровичем Зинченко 595

Избранные научные труды В. П. Зинченко 615

Указатель имен 629